



1 Pa  
193







А. И. Герценъ.

(Съ фотографіи Левицкаго, 1861 г.).



СОЧИНЕНІЯ  
А. И. ГЕРЦЕНА  
СОЧИНЕНІЯ  
Поредиена от П. А. Златков  
А. И. ГЕРЦЕНА.

---

Томъ II.

СПЕТЕРБУРГЪ  
Издана отъ Печатница  
1903.



7

ARH

COPIED

A. N. L. P. H. A.

10

10



19k1  
193

# СОЧИНЕНІЯ А. И. ГЕРЦЕНА

и

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

~~~~~  
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.  
~~~~~

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ II.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе Ф. Павленкова.  
1905.



1Рк'193

1а

СОДЕРЖАНИЕ

А.Н. ЛЕРЦЕНА

Перепечатка из А. А. Захарьина

ВЪ СЕМЬ ТОМОВЪ

(Въ издательстве "Университетская типография" в 8 томахъ (1) 1905 г. и (2) 1906 г.)

Томъ II

Пр 25227 wpr



39.15005

Типографія М. Меркушева, Невскій, 8.



## Оглавленіе II-го тома.

### Былое и Думы.

	стр.
Посвященіе Н. П. Огареву . . . . .	2

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

##### Дѣтская и Университетъ.

Глава I. Моя нянюшка и La grande armée. — Пожаръ Москвы. — Мой отецъ у Наполеона. — Генераль Иловайскій. — Путешествіе съ французскими плѣнниками. — Патриотизмъ К. Кало. — Общее управленіе имѣніемъ. — Раздѣлъ. — Сенаторъ . . . . .	7
Глава II. Разговоръ нянюшекъ и бесѣда генераловъ. — Ложное положеніе. — Русскіе энциклопедисты. — Скука. — Дѣвичья и передняя. — Два нѣмца. — Ученье и чтенье. — Катехизисъ и Евангеліе. . . . .	21
Глава III. Смерть Александра I и 14 декабря. — Нравственное пробужденіе. — Террористъ Бушо. — Корчевская кузина. — Н. Огаревъ . . .	41
Глава IV. Никъ и Воробьевы горы . . . . .	55
Глава V. Подробности домашняго житья. — Люди XVIII вѣка въ Россіи. — День у насъ въ домѣ. — Гости и habitués. — Зоненбергъ. — Камердинеръ и пр. . . . .	62
Глава VI. Кремлевская экспедиція. — Московскій Университетъ. — Химикъ. — Мы. — Маловская исторія. — Холера. — Филаретъ. — В. Пассекъ. — Генераль Лиссовскій. — Н. А. Полевой . . . . .	77
Глава VII. Конецъ курса. — Шиллеровскій періодъ. Молодая юность и артистическая жизнь. — С.-симонизмъ и Н. Полевой. . . . .	110
Прибавленіе: А. Полежаевъ . . . . .	122



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

## Тюрьма и Ссылка.

Глава VIII. Пророчество.—Арестъ Огарева.—Пожаръ.—Московский либераль.—М. Θ. Орловъ.—Кладбище . . . . .	126
Глава IX. Арестъ.—Добросовѣтный.—Капцелярія пречистенскаго частнаго дома.—Патріархальный судъ . . . . .	133
Глава X. Подъ калачей.—Лиссабонскій квартальный.—Зажигатели . . . . .	138
Глава XI. Крутицкія казармы.—Жандармскія повѣстованія.—Офицеры . . . . .	145
Глава XII. Слѣдствіе. Г. sen.—Г. jun.—Генераль Стааль. Сентенція.—Соколовскій . . . . .	152
Глава XIII. Ссылка.—Городничій.—Волга.—Пермь . . . . .	163
Глава XIV. Вятка.—Капцелярія и столовая его превосходительства.—К. Я. Тюфяевъ . . . . .	174
Глава XV. Чиновники.—Сибирскіе генераль-губернаторы.—Хищный полицмейстеръ. Ручной судья.—Жареный исправникъ.—Татаринъ.—Мальчикъ женскаго пола.—Картофельный терроръ и проч. . .	188
Глава XVI. Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ . . . . .	208
Глава XVII. Наслѣдникъ въ Вяткѣ.—Паденіе Тюфяева.—Переводъ во Владиміръ.—Исправникъ на слѣдствіи . . . . .	219
Глава XVIII. Начало Владимірской жизни . . . . .	226

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

## Владиміръ на Клязьмѣ.

Глава XIX. Княгиня и княжна . . . . .	234
Глава XX. Сирота . . . . .	241
Глава XXI. Разлука . . . . .	253
Глава XXII. Въ Москвѣ безъ меня . . . . .	267
Глава XXIII. Третье марта и девятое мая 1838 года . . . . .	275
Глава XXIV. 13 іюня 1839 года . . . . .	292

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

## Москва, Петербургъ и Новгородъ.

Глава XXV. Диссонансъ.—Новый кругъ.—Отчаянный гегелизмъ.—В. Бѣлинскій, М. Бакуининъ и пр.—Ссора съ Бѣлинскимъ и миръ.—Новгородскіе споры съ дамой.—Кругъ Станкевича . . . . .	303
---	-----



Глава XXVI. Предостереженія.—Герольдія.—Канцелярія министра. III Отдѣленіе.—Исторія будочника.—Генераль Дуббельтъ.—Графъ Вен- кендорфъ.—Ольга Александровна Жеребцова.—Вторая ссылка . . . . .	334
--	-----

Глава XXVII. Губернское правленіе.—И у себя подъ надзоромъ. Отеческая власть помѣщиковъ и помѣщицъ.—Каннибальское слѣд- ствіе.—Отставка . . . . .	357
---	-----

Глава XXVIII. Grübeleі.—Москва послѣ ссылки.—Покровское.— Смерть Матвѣя.—Іерей Іоаннъ . . . . .	366
--	-----

#### Глава XXIX. Наши.

I. Московскій кругъ.—Застольная бесѣда.—Западники (Вот- кинъ, Рѣдкинъ, Крюковъ, Е. К....) . . . . .	379
--	-----

II. На могилѣ друга . . . . .	388
-------------------------------	-----

#### Глава XXX. Не наши.

Славянофилы и панславизмъ.—Хомяковъ, Кирѣевскіе, К. Акса- ковъ.—П. Я. Чаадаевъ . . . . .	393
---	-----

Глава XXXI. Кончина моего отца.—Наслѣдство.—Дѣлежъ.—Два пле- мянника . . . . .	429
---	-----

Глава XXXII. Последняя поѣздка въ Соколово.—Теоретическій раз- рывъ.—Натянутое положеніе.—Dahin! Dahin! . . . . .	453
--	-----

Глава XXXIII. Частный приставъ въ должности камердинера.— Оберъ-полицмейстеръ Кокошкинъ.—„Безпорядокъ въ порядкѣ“.—Еще разъ Дуббельтъ.—Паспортъ . . . . .	461
---	-----

#### Прибавленіе къ „Былое и Думы“.

Н. X. К. . . . .	470
------------------	-----

Базиль и Армансъ . . . . .	496
----------------------------	-----

Примѣчанія. . . . .	503
---------------------	-----





# БЫЛОЕ И ДУМЫ.



## Н. П. Огареву.

Въ этой книгѣ всего больше говорится о двухъ личностяхъ. Одной уже нѣтъ, — ты еще встался, а потому тебѣ, другъ, по праву принадлежитъ она.

Искандеръ.

1 июля, 1860 г.

Eagle's Nest, Bournemouth.

Многіе изъ друзей совѣтовали мнѣ начать полное изданіе *Былого и Думъ*, и въ этомъ затрудненія нѣтъ, по крайней мѣрѣ, относительно двухъ первыхъ частей. Но они говорятъ, что отрывки, помѣщенные въ *Полярной Звѣздѣ*, расщеплены, не имѣютъ единства, прерываются случайно, забываются иногда, иногда остаются. Я чувствую, что это правда, но поправить не могу. Сдѣлать дополненія, привести главы въ хронологическій порядокъ—дѣло не трудное; но все переплавить, d'un jet, я не берусь.

*Былое и Думы* не были писаны подъ рядъ; между ними главами лежатъ цѣлыя годы. Оттого на всемъ остался отбѣнокъ своего времени и разныхъ настроеній,—мнѣ бы не хотѣлось стереть его.

Это не столько *записки*, сколько *исповѣдь*, около которой, по поводу которой собрался тамъ-сямъ схваченныя воспоминанія изъ *былого*, тамъ-сямъ остановленныя мысли изъ *думъ*. Впрочемъ, въ совокупности этихъ пристроекъ, надстроекъ, флигелей *единство есть*, по крайней мѣрѣ, мнѣ такъ кажется.

Записки эти не первый опытъ. Мнѣ было лѣтъ двадцать пять, когда я начиналъ писать что-то въ родѣ воспоминаній. Случилось это такъ. Переведенный изъ Вятки во Владиміръ, я ужасно скучалъ. Остановка передъ Москвой дразнила меня, оскорбляла; я былъ въ положеніи человѣка, сидящаго на послѣдней станціи безъ лошадей!

Въ сущности, это былъ чуть-ли не самый «чистый, самый серьезный періодъ оканчивавшейся юности» <sup>1)</sup>. И скучалъ-то я тогда свѣтло и счастливо, какъ дѣти скучаютъ наканунѣ праздника или дня рожденія. Всякій день приходили письма, писанныя мелкимъ шрифтомъ: я былъ гордъ и счастливъ ими, я ими росъ. Тѣмъ не менѣе разлука мучила, и я не зналъ за что припяться, чтобъ поскорѣе протолкнуть эту *вѣчность*—какихъ-нибудь *четыре*хъ мѣсяцевъ... Я послушался даннаго мнѣ совѣта и

<sup>1)</sup> См. «Тюрьма и Ссылка».



стать на досугѣ записывать мои воспоминанія о Крутицахъ, о Вяткѣ. Три тетрадки были написаны... потомъ прошедшее потонуло въ свѣтѣ настоящаго.

Въ 1840 Бѣлинскій прочелъ ихъ; онѣ ему понравились, и онъ напечаталъ двѣ тетрадки въ *Отечественныхъ Запискахъ* (первую и третью); остальная и теперь должна валяться гдѣ нибудь въ нашемъ московскомъ домѣ, если не пошла на подтопки.

Прошло *пятнадцать лѣтъ* <sup>1)</sup>, «я жилъ въ одномъ изъ лондонскихъ захолустій, близъ Примрозъ-Гилиа, отдѣленный отъ всего міра далью, туманомъ и своей волей.

«Въ Лондонѣ не было ни одного близкаго мнѣ человѣка. Были люди, которыхъ я уважалъ, которые уважали меня, но близкаго никого. Всѣ, подходившіе, отходившіе, встрѣчавшіеся, занимались одними общими интересами, дѣлами всего человѣчества, но крайней мѣрѣ, дѣлами цѣлаго народа; знакомства ихъ были, такъ сказать, безличныя. Мѣсяцы проходили, и ни одного слова о томъ, о чемъ хотѣлось поговорить.

... «А между тѣмъ, я тогда едва начиналъ приходить въ себя, оправляться послѣ ряда странныхъ событій, несчастій, ошибокъ. Исторія послѣднихъ годовъ моей жизни представлялась мнѣ ясныи и ясныи, и я съ ужасомъ видѣлъ, что ни одинъ человѣкъ, кромѣ меня, не знаетъ ея и что съ моей смертію умретъ истина.

«Я рѣшился писать; но одно воспоминаніе вызывало сотни другихъ, все старое, полузабытое воскресало: отроческія мечты, юношескія надежды, удаля молодости, тюрьма и ссылка,—эти раннія несчастія, не оставившія никакой горечи на душѣ, пронесшіеся какъ вѣшнія грозы, освѣжая и укрѣпляя своими ударами молодую жизнь» <sup>2)</sup>.

... Этотъ разъ я писалъ не для того, чтобы выиграть время,—торопиться было некуда.

Когда я начиналъ новый трудъ, я совершенно не помнилъ о существованіи *Записокъ одного молодого человѣка*, и какъ-то случайно попалъ на нихъ въ British Museum'ѣ, перебирая русскіе журналы. Я велѣлъ ихъ списать и перечиталъ. Чувство, возбу-

<sup>1)</sup> Введеніе къ «Тюрьмѣ и Ссылкѣ», писанное въ маѣ 1854 г.

<sup>2)</sup> Послѣ этого введеніе къ первому изданію «Тюрьма и Ссылка» заканчивалось такъ:

«Я не имѣлъ силы отогнать эти тѣни,—пусть онѣ, свѣтлыми сѣнями, думалось мнѣ, встрѣчаютъ въ книгѣ, какъ было на самомъ дѣлѣ.

«И я сталъ писать сначала; пока я писалъ двѣ первыя части, прошли нѣсколько мѣсяцевъ поспокойнѣе...

«Цѣлая живучесть человѣка всего болѣе видна въ невѣроятной силѣ разсѣянія и себя-оглушенія. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично; человѣкъ разсѣивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственномъ кладбищѣ»... Лондонъ, 1 мая 1854 г.

Прим. издат.

жденное ими, было странно: я такъ оцутительно увидѣлъ, насколько я состарѣлся въ эти пятнадцать лѣтъ, что на первое время это потрясло меня. Я игралъ еще тогда жизнью и самымъ счастьемъ, какъ будто ему и конца не было. Тотъ *Записокъ одного молодого человѣка* до того былъ резень, что я не могъ ничего взять изъ нихъ; онѣ принадлежатъ молодому времени, онѣ должны остаться сами по себѣ. Ихъ утреннее освѣщеніе нейдетъ къ моему вечернему труду. Въ нихъ много истиннаго, но много также и шалости; сверхъ того, на нихъ остался очевидный для меня слѣдъ Гейне, котораго я съ увлеченіемъ читалъ въ Вяткѣ. На *Быломъ и Душахъ* видны слѣды жизни и больше никакихъ слѣдовъ не видать.

Мой трудъ двигался медленно... Много надобно времени для того, чтобы иная была отстоялась въ прозрачную думу—неутѣшительную, грустную, но примиряющую пониманіемъ. Безъ этого можетъ быть искренность, но не можетъ быть *истины!*

Нѣсколько опытовъ мнѣ не удалось,—я ихъ бросаю. Наконецъ, перечитывая нынѣшнимъ лѣтомъ одному изъ друзей юности мои послѣднія тетради, я самъ *узналъ знакомыя* черты, и остановился... Трудъ мой былъ конченъ.

Очень можетъ быть, что я далеко перецѣпилъ его, что въ этихъ едва обозначенныхъ очеркахъ схоронено такъ много *только для меня одного*; можетъ, я гораздо больше читаю, чѣмъ написано; сказанное будить во мнѣ сны, служить іероглифомъ, къ которому у меня есть ключъ. Можетъ, я одинъ слышу, какъ подъ этими строками бьются духи... можетъ, но оттого книга эта мнѣ не меньше дорога. Она долго замѣняла мнѣ и людей, и утраченное. Пришло время и съ нею разстаться.

Все личное быстро осыпается, этому обнищанію надо покориться. Это не отчаяніе, не старчество, не холодъ и не равнодушіе; это—сѣдая юность, одна изъ формъ выздоровленія, или лучше, самый процессъ его. Человѣчески переживать иные раны можно только этимъ путемъ.

Въ монахѣ, какихъ бы лѣтъ онъ ни былъ, постоянно встрѣчается и старецъ и юноша. Онъ похоронами всего личнаго возвратился къ юности. Ему стало легко, широко... иногда слишкомъ широко... Дѣйствительно, человѣку бываетъ подчасъ пусто, спротивно между безличными всеобщностями, историческими стіхіями и образами будущаго, проходящими по ихъ поверхности, какъ облачныя тѣни. Но что же изъ этого? Людямъ хотѣлось бы все сохранить: и розы, и снѣгъ; имъ хотѣлось бы, чтобъ около спѣлыхъ гроздьевъ винограда вились майскіе цвѣты! Монахи спасались отъ минутъ ропота молитвой. У насъ нѣтъ молитвы: у насъ есть *трудъ*. Трудъ наша молитва. Быть можетъ,



что *плоды того и другого* будутъ одинакій, но на сію минуту не объ этомъ рѣчь.

Да, въ жизни есть пристрастіе къ возвращающемуся ритму, къ повторенію мотива; кто не знаетъ, какъ старчество близко къ дѣтству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обѣ стороны полного разгара жизни, съ ея вѣнками изъ цвѣтовъ и терній, съ ея колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходныя въ главныхъ чертахъ. Чего юность *еще* не имѣла, то *уже* утрачено; о чемъ юность мечтала безъ личныхъ видовъ, выходитъ свѣтлѣе, спокойнѣе и также безъ личныхъ видовъ изъ-за тучъ и зарева.

... Когда я думаю о томъ, какъ мы двое теперь, подъ *пятдесятью лѣтъ*, стоимъ за первымъ станкомъ русскаго вольнаго слова, мнѣ кажется, что наше ребячье *Грютели* на Воробьевыхъ горахъ было не *тридцать три* года тому назадъ, а много три!

Жизнь... жизни, народы, революціи, любимѣйшія головы возникали, мѣнялись и печезали между Воробьевыми горами и Примрозъ-Гилемъ; слѣды ихъ уже почти замаскированы безпощаднымъ вихремъ событій. Все измѣнилось вокругъ: Темза течетъ вмѣсто Москвы-рѣчки и чужое племя около... и нѣтъ намъ больше дороги на родину... одна мечта двухъ мальчиковъ, одного 13 лѣтъ, другого 14—удѣляла!

Пусть-же *Былое* и *Думы* заключать счетъ съ личною жизнью и будутъ ея оглавленіемъ. Остальные *думы*—на дѣло, остальные *силы*—на борьбу.

Таковъ остался нашъ союзъ...  
Опять одинъ мы въ грустный путь пойдѣмъ,  
Объ истинѣ глася неутомимо—  
И пусть мечты и люди идутъ мимо!

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

### ДѢТСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТЪ.

(1812—1834).

Когда мы въ памяти своей  
Проходимъ прежнюю дорогу,  
Въ душѣ всѣ чувства прежнихъ дней  
Вновь оживаютъ понемногу,  
И грусть и радость тѣ же въ ней,  
И знаетъ ту жъ она тревогу,  
И такъ же вновь тѣснится грудь,  
И такъ же хочется вздохнуть.

*Н. Огаревъ (Юморъ).*

### ГЛАВА I.

Моя нянюшка и La grande armée. — Пожаръ Москвы. — Мой отецъ у Наполеона. — Генераль Пловайскій. — Путешествіе съ французскими плѣнниками. — Патриотизмъ К. Кало. — Общее управленіе имѣніемъ. — Раздѣлъ. — Сенаторъ.

...«Вѣра Артамоновна, ну, расскажите мнѣ еще разокъ, какъ французы приходили въ Москву», говаривалъ я, потягиваясь на своей кроваткѣ, обшитой холстиной, чтобъ я не вывалился, и завертываясь въ стѣганое одѣяло.

— И! что это за рассказы, ужъ столько разъ слышали, да и почивать пора, лучше завтра пораньше встанете, отвѣчала обыкновенно старушка, которой столько же хотѣлось повторить свой любимый рассказъ, сколько мнѣ его слушать.

«Да вы немножко расскажите, ну, какъ же вы узнали, ну, съ чего же началось?»

— Такъ и началось. Папенька-то вашъ, знаете какой, все въ долгой ящикъ откладываетъ; собирался, собирался, да вотъ и собрался! Всѣ говорили пора ѣхать, чего ждать, почитай въ городѣ никого не оставалось. Нѣтъ, все съ Павломъ Ивановичемъ <sup>1)</sup> пере-

---

<sup>1)</sup> Голохвастовъ, мужъ меньшей сестры моего отца.



говариваютъ, какъ вмѣстѣ ѣхать, то тотъ не готовъ, то другой. Наконецъ — такъ мы уложились и коляска была готова; господа сѣли завтракать, вдругъ нашъ кухмистръ взошелъ въ столовую такой блѣдный, да и докладываетъ: «непріятель въ Драгомировскую заставу вступилъ», такъ у насъ у всѣхъ сердце и опустилось, сила, молъ, крестная съ нами! Все переполошилось; пока мы суетились, да ахали, смотримъ — а по улицѣ скачутъ драгуны въ такихъ каскахъ и съ лошадинымъ хвостомъ сзади. Заставы всѣ заперли, вотъ вашъ папенька и остался у праздника, да и вы съ нимъ; васъ кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, такіе были щедушные, да слабые.

И я съ гордостью улыбался, довольный, что принималъ участіе въ войнѣ.

— Сначала еще шло кое-какъ, первые дни, то-есть, ну такъ бывало взойдутъ два-три солдата и показываютъ, нѣтъ ли вышитъ; поднесемъ имъ по рюмочкѣ, какъ слѣдуетъ, они и уйдутъ, да еще сдѣлаютъ подъ козырекъ. А тутъ видите, какъ пошли пожары, все больше да больше, сдѣлалась такая неурядица, грабежъ пошелъ и всякіе ужасы. Мы тогда жили во флигелѣ у княжны, домъ загорѣлся; вотъ Павелъ Ивановичъ говоритъ, пойдете ко мнѣ, мой домъ каменный, стоитъ глубоко на дворѣ, стѣны капитальныя; пошли мы, и господа и люди, всѣ вмѣстѣ, тутъ не было разбора; выходимъ на Тверской бульваръ, а ужъ и деревья начинаютъ горѣть; добрались мы, наконецъ, до Голохвастовскаго дома, а онъ такъ и пышитъ, огонь изъ всѣхъ оконъ. Павелъ Ивановичъ остолбенѣлъ, глазамъ не вѣритъ. За домомъ, знаете, большой садъ, мы туда, думаемъ, тамъ останемся сохранны; сѣли пригорюнившись на скамеечкахъ, вдругъ откуда ни возьмись ватага солдатъ, прельняныхъ, одинъ бросился съ Павла Ивановича дорожный тулунчикъ скидывать; старикъ не дастъ, солдатъ выхватилъ тесакъ да по лицу его и хватъ, такъ у нихъ до кончины шрамъ и остался; другіе принялись за насъ, одинъ солдатъ вырвалъ васъ у кормилицы, развернулъ пеленки, нѣтъ ли де какихъ ассигнацій или брильянтовъ, видить, что ничего нѣтъ, такъ нарочно озорникъ изодралъ пеленки да и бросилъ. Только они ушли, случилась вотъ какая бѣда. Помните нашего Платона, что въ солдаты отдалъ, онъ сильно любилъ вышитъ и былъ онъ въ этотъ день очень въ куражѣ; повязалъ себѣ саблю, такъ и ходилъ. Графъ Растопчинъ всѣмъ раздавалъ въ арсеналѣ за день до вступленія непріятеля всякое оружіе, вотъ и онъ промыслилъ себѣ саблю. Подъ вечеръ видить онъ, что драгунъ верхомъ въѣхалъ на дворъ: возлѣ конюшни стояла лошадь, драгунъ хотѣлъ ее взять съ собой, но только Платонъ стремглавъ бросился къ нему и, уцѣпившись за поводья, сказалъ: «Лошадь наша, я тебѣ ее не дамъ». Драгунъ угрозилъ

ему пистолетомъ, да видно онъ не былъ заряженъ; баринъ самъ видѣлъ и закричалъ ему: «Оставь лошадь, не твое дѣло». Куда ты! Платонъ выхватилъ саблю, да какъ хватить его по головѣ, драгунъ-то и покачнулся, а онъ его еще, да еще. Ну, думаемъ мы, теперь пришла наша смерть, какъ увидятъ его товарищи, тутъ намъ и конецъ. А Платонъ-то, какъ драгунъ свалился, схватилъ его за ноги и стащилъ въ творило, такъ его и бросилъ бѣдняжку, а еще онъ былъ живъ; лошадь его стоитъ, ни съ мѣста, и бьетъ ногой землю, словно понимаетъ; наши люди заперли ее въ конюшню, должно быть она тамъ сгорѣла. Мы все скорѣй со двора долой, пожаръ-то все страшнѣе и страшнѣе; измученные, не ѣвши, вошли мы въ какой-то уцѣлѣвшій домъ, и бросились отдохнуть; не прошло часу, наши люди съ улицы кричатъ: «Выходите, выходите, огонь, огонь!»—тутъ я взяла кусокъ равендюка съ бильярда и завернула васъ отъ ночного вѣтра; добрался мы такъ до Тверской площади, тутъ французы тушили, потому что ихъ набольшой жилъ въ губернаторскомъ домѣ; сѣли мы такъ просто на улицѣ, караульные вездѣ ходятъ, другіе верховые ѣздятъ. А вы-то кричите, надеждаетесь; у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлѣба. Съ нами была тогда Наталья Константиновна, знаете бой-дѣвка; она увидѣла, что въ углу солдаты что-то ѣдятъ, взяла васъ и прямо къ нимъ, показываетъ: маленькому, моль, *манжес*; они сначала посмотрѣли на нее такъ сурово да и говорятъ *але, але*; а она ихъ ругать, экіе моль окаянные, такіе сякіе; солдаты ничего не поняли, а таки вспрыснули со смѣха и дали ей для васъ хлѣба моченого съ водой и ей дали краюшку. Утромъ рано подходитъ офицеръ и всехъ мужчинъ забралъ, и вашего папеньку тоже, оставилъ однихъ женщинъ, да раненаго Павла Ивановича, и повелъ ихъ тушить окольные дома, такъ до самаго вечера пробыли мы одни; сидимъ и плачемъ, да и только. Въ сумерки приходитъ баринъ и съ нимъ какой-то офицеръ...

Позвольте мнѣ смѣнить старушку и продолжать ея рассказъ. Мой отецъ, окончивъ свою брандъ-маіорскую должность, встрѣтилъ у Страстного монастыря эскадронъ итальянской конницы, онъ подошелъ къ ихъ начальнику и рассказалъ ему по-итальянски, въ какомъ положеніи находится семья. Итальянецъ, услышавъ *la sua dolce favella*, общалъ переговорить съ герцогомъ Тревизскимъ и предварительно поставить часового въ предупрежденіе дикихъ сценъ въ родѣ той, которая была въ саду Голохвастова. Съ этимъ приказаніемъ онъ отправилъ офицера съ моимъ отцомъ. Услышавъ, что вся компанія второй день ничего не ѣла, офицеръ повелъ всехъ въ разбитую лавку; цвѣточный чай и леванскій кофе были выброшены на полъ, вмѣстѣ съ большимъ количествомъ финиковъ, винныхъ ягодъ, миндаля; люди наши набили себѣ имп



карманы; въ десертѣ недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезенъ: десять разъ ватаги солдатъ придирались къ несчастной кучкѣ женщинъ и людей, расположившихся на кочевье въ углу Тверской площади, но тотчасъ уходили по его приказу.

Мортъ вспомнилъ, что онъ зналъ моего отца въ Парижѣ, и доложилъ Наполеону; Наполеонъ велѣлъ на другое утро представить его себѣ. Въ синемъ поношенномъ полуфракѣ съ бронзовыми пуговицами, назначенномъ для охоты, безъ парика, въ сапогахъ иѣсколько дней нечищенныхъ, въ черномъ бѣлѣ и съ небритой бородой, мой отецъ—поклонникъ приличій и строжайшаго этикета—явился въ тронную залу Кремлевскаго дворца по зову императора французовъ.

Разговоръ ихъ, который я столько разъ слышалъ, довольно вѣрно переданъ въ исторіи барона Фенъ и въ исторіи Михайловскаго-Данилевскаго.

Послѣ обыкновенныхъ фразъ, отрывистыхъ словъ и лаконическихкихъ отбѣтокъ, которымъ лѣтъ тридцать пять приписывали глубокій смыслъ, пока не догадался, что смыслъ ихъ очень часто былъ пошлъ, Наполеонъ разобралъ Растончина за пожаръ, говорилъ, что это вандализмъ, увѣрялъ, какъ всегда, въ своей непреодолимой любви къ миру, толковалъ, что его война въ Англіи, а не въ Россіи, хвастался тѣмъ, что поставилъ караулъ къ Воспитательному дому и къ Успенскому собору, жаловался на Александра, говорилъ, что онъ дурно окруженъ, что мирныя расположенія его неизвѣстны императору.

Отецъ мой замѣтилъ, что предложить миръ скорѣе дѣло побѣдителя.

— Я сдѣлалъ, что могъ, я посылалъ къ Кутузову, онъ не вступаетъ ни въ какіе переговоры и не доводитъ до свѣдѣнія государя моихъ предложеній. Хотятъ войны, не моя вина,—будетъ имъ война.

Послѣ всей этой комедіи, отецъ мой попросилъ у него пропускъ для выѣзда изъ Москвы.

— Я пропусковъ не велѣлъ никому давать, зачѣмъ вы ѣдете? чего вы боитесь? я велѣлъ открыть рынки. Императоръ французовъ въ это время, кажется, забылъ, что, сверхъ открытыхъ рынковъ, не мѣшаетъ имѣть покрытый домъ и что жизнь на Тверской площади среди непріятельскихъ солдатъ не изъ самыхъ пріятныхъ.

Отецъ мой замѣтилъ это ему; Наполеонъ подумалъ и вдругъ спросилъ:

— Возьметесь-ли вы доставить императору письмо отъ меня? на этомъ условіи я велю вамъ дать пропускъ со всѣми вашими.

«Я принялъ бы предложеніе в. в., замѣтилъ ему мой отецъ, но мнѣ трудно ручаться».

— Дасте-ли вы честное слово, что употребите всѣ средства лично доставить письмо?

«Je m'engage sur mon honneur, Sire».

— Это довольно. Я пришлю за вами. Имѣете вы въ чемъ-нибудь нужду?

«Въ крышѣ для моего семейства, пока я здѣсь, больше ни въ чемъ».

— Герцогъ Тревизскій сдѣластъ, что можетъ.

Мортѣ дѣйствительно далъ комнату въ генераль-губернаторскомъ домѣ и велѣлъ насъ снабдить съѣстными принасами; его метръ-д'отель прислалъ даже вина. Такъ прошло нѣсколько дней, послѣ которыхъ, въ четыре часа утра, Мортѣ прислалъ за моимъ отцомъ адъютанта и отправилъ его въ Кремль.

Пожаръ достигъ въ эти дни страшныхъ размѣровъ: накалившійся воздухъ, непрозрачный отъ дыма, становился невыносимъ отъ жара. Наполеонъ былъ одѣтъ и ходилъ по комнатѣ, озабоченный, сердитый; онъ начиналъ чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнуть и что тутъ не отдѣлаешься такою шуткою, какъ въ Египтѣ. Планъ войны былъ нелѣпъ, это знали всѣ, кромѣ Наполеона, Ней и Нарбонъ, Вертъ и простые офицеры; на всѣ возраженія онъ отвѣчалъ кабаллистическимъ словомъ: «Москва»; въ Москвѣ догадался и онъ.

Когда мой отецъ взомель, Наполеонъ взялъ запечатанное письмо, лежавшее на столѣ, подаль ему и сказалъ, откланиваясь: «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конвертѣ было написано: à mon frère l'empereur Alexandre.

Пропускъ, данный моему отцу, до сихъ поръ цѣлъ; онъ подписанъ герцогомъ Тревизскимъ и внизу скрѣпленъ *московскимъ* оберъ-полиціймейстеромъ Лессепсомъ. Нѣсколько постороннихъ, узнавъ о пропускѣ, присоединились къ намъ, прося моего отца взять ихъ подъ видомъ прислуги или родныхъ. Для большого старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пѣшкомъ. Нѣсколько уланъ верхами провожали насъ до русскаго арьергарда, въ виду котораго они пожелали счастливаго пути и поскакали назадъ. Черезъ минуту казаки окружили странныхъ выходцевъ и повели въ главную квартиру арьергарда. Тутъ начальствовали Винценгероде и Иловайскій IV.

Винценгероде, узнавъ о письмѣ, объявилъ моему отцу, что онъ его немедленно отправить съ двумя драгунами къ государю въ Петербургъ.

— Что дѣлать съ вашими? спросилъ казакскій генералъ Иловайскій; здѣсь оставаться невозможно: они здѣсь не видѣ ружей-

ныхъ выстрѣловъ, и со дня на день можно ждать серьезнаго дѣла. Отецъ мой просилъ, если возможно, доставить насъ въ его ярославское имѣніе, но замѣтилъ при томъ, что у него съ собою нѣтъ ни конейки денегъ.

— Сочтемся послѣ, сказалъ Иловайскій, и будьте покойны, я даю вамъ слово ихъ отпавить.

Отца моего повезли на фельдъегерскихъ по тогдашнему фашишнику. Намъ Иловайскій досталъ какую-то старую колымагу и отпавилъ до ближняго города съ партией французскихъ плѣнниковъ, подъ прикрытіемъ казаковъ; онъ снабдилъ деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сдѣлалъ все, что могъ въ суетѣ и тревогѣ военнаго времени.

Таково было мое первое путешествіе по Россіи; второе было безъ французскихъ улановъ, безъ уральскихъ казаковъ и военно-плѣнныхъ,—я былъ одинъ и возлѣ меня сидѣлъ пьяный жандармъ.

Отца моего привезли прямо къ Аракчееву и у него въ домѣ задержали. Графъ спросилъ письмо, отецъ мой сказалъ о своемъ честномъ словѣ лично доставить его; графъ обѣщалъ спросить у государя и на другой день письменно сообщилъ, что государь поручилъ ему взять письмо для немедленнаго доставленія. Въ полученіи письма онъ далъ росписку (и она цѣла). Съ мѣсяцъ отецъ мой оставался арестованнымъ въ домѣ Аракчеева; къ нему никого не пускали; одинъ С. С. Шишковъ пріѣзжалъ, по приказанію государя, разспросить о подробностяхъ пожара, вступленія непріятели и о свиданіи съ Наполеономъ; онъ былъ первый очевидецъ, явившійся въ Петербургъ. Наконецъ, Аракчеевъ объявилъ моему отцу, что императоръ велѣлъ его освободить, не ставя ему въ вину, что онъ взялъ пропускъ отъ непріятельскаго начальства, что извинялось крайностью, въ которой онъ находился. Освобождая его, Аракчеевъ велѣлъ немедленно ѣхать изъ Петербурга, не выдавши ни съ кѣмъ, кромѣ старшаго брата, которому разрѣшено было проститься.

Пріѣхавши въ небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отецъ мой засталъ насъ въ крестьянской избѣ (господекаго дома въ этой деревнѣ не было); я спалъ на лавкѣ подъ окномъ; окно затворялось плохо, снѣгъ, пробиваясь въ щель, заносилъ часть скамьи и лежалъ не таявши на оконницѣ.

Все было въ большомъ смущеніи, особенно моя мать. За нѣсколько дней до пріѣзда моего отца, утромъ староста и нѣсколько дворовыхъ съ поспѣшностью взошли въ избу, гдѣ она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтобъ она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски, она только поняла, что рѣчь шла о Павлѣ Ивановичѣ; она не знала, что думать; ей



приходило въ голову, что его убили или что его хотятъ убить, и потомъ ее. Она взяла меня на руки и ни живая, ни мертвая, дрожа всѣмъ тѣломъ, пошла за старостой. Голохвастовъ занималъ другую избу, они вошли туда; старикъ лежалъ дѣйствительно мертвый возлѣ стола, за которымъ хотѣлъ бриться; громовой ударъ паралича мгновенно прекратилъ его жизнь.

Можно себѣ представить положеніе моей матери (ей было тогда семнадцать лѣтъ) среди этихъ *полудикихъ* людей съ бородами, одѣтыхъ въ нагольные тулупы, говорящихъ на совершенно незнакомомъ языкѣ, въ небольшой законѣтой избѣ, и все это въ ноябрѣ мѣсяцѣ страшной зимы 1812 года. Ея единственная опора былъ Голохвастовъ; она дни, ночи плакала послѣ его смерти. А *дикіе* эти жалѣли ее отъ всей души, со всѣмъ радушіемъ, со всей простотой своею, и староста посылалъ нѣсколько разъ сына въ городъ за изюмомъ, пряниками, яблоками и баранками для нея.

Лѣтъ черезъ пятнадцать, староста еще былъ живъ и иногда прѣзжалъ въ Москву, сѣдой какъ лунь и плѣшивый; моя мать угощала его обыкновенно чаемъ и помнила съ нимъ зиму 1812 года, какъ она его боялась и какъ они, не понимая другъ друга, хлопотали о похоронахъ Павла Ивановича. Старикъ все еще называлъ мою мать, какъ тогда, Юлиза Ивановна—вмѣсто Луиза, и разсказывалъ, какъ я вовсе не боялся его бороды и охотно ходилъ къ нему на руки.

Изъ Ярославской губерніи мы переѣхали въ Тверскую и, наконецъ, черезъ годъ перебрались въ Москву. Къ тѣмъ порамъ воротился изъ Швеціи братъ моего отца, бывший посланникомъ въ Вестфалии и потомъ ѣздившій за чѣмъ-то къ Бернадоту; онъ поселился въ одномъ домѣ съ нами.

Я еще, какъ сквозь сонъ, помню слѣды пожара, оставшіеся до начала двадцатыхъ годовъ, большіе обгорѣлые дома безъ рамъ, безъ крышъ, обвалившіеся стѣны, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и трубъ на нихъ.

Разсказы о пожарѣ Москвы, о Бородинскомъ сраженіи, о Березинѣ, о взятіи Парижа, были моею колыбельной пѣснью, дѣтскими сказками, моею Иліадою и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отецъ и Вѣра Артамоновна безпрестанно возвращались къ грозному времени, поразившему ихъ такъ недавно, такъ близко и такъ круто. Потомъ возвратившіеся генералы и офицеры стали наѣзжать въ Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой, едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у насъ. Они отдыхали отъ своихъ трудовъ и дѣлъ, разсказывая ихъ. Это было дѣйствительно самое блестящее время петербургскаго періода; сознаніе силы давало новую жизнь, дѣла и заботы, казалось, были отложены

на завтра, на будни, теперь хотѣлось поппировать на радостяхъ побѣды.

Тутъ я еще больше наслушался о войнѣ, чѣмъ отъ Вѣры Артамоновны. Я очень любилъ разсказы графа Милорадовича, онъ говорилъ съ чрезвычайною живостью, съ рѣзкой мимикой, съ громкимъ смѣхомъ, и я не разъ засыпалъ подъ нихъ на диванѣ за его сппной.

Разумѣется, что при такой обстановкѣ я былъ отчаянный патріотъ и собирался въ полкъ; но исключительное чувство національности никогда до добра не доводитъ; меня оно довело до слѣдующаго. Между прочими у насъ бывалъ графъ Кенсона, французскій эмигрантъ и генералъ-лейтенантъ русской службы. Отчаянный роялистъ, онъ участвовалъ на знаменитомъ праздникѣ, на которомъ королевскіе опричники топтали народную кокарду и гдѣ Марія Антуанета пила на погибель революціи. Графъ Кенсона, худой, стройный, высокій и сѣдой старикъ, былъ типъ учтивости и изящныхъ манеръ. Въ Парижѣ его ждало пѣрство, онъ уже ѣздилъ поздравлять Людовика XVIII съ смѣтомъ и возвратился въ Россію для продажи имѣнья. Надобно было на мою бѣду, чтобъ вѣжливѣйшій изъ генераловъ всѣхъ русскихъ армій сталъ при мнѣ говорить о войнѣ. «Да, вѣдь вы, стало, сражались противъ насъ?» спросилъ я его пренаивно. — *Non, mon petit, non j'étais dans l'armée russe.* «Какъ, сказалъ я, вы французъ и были въ нашей арміи, это не можетъ быть!» Отецъ мой строго взглянулъ на меня и замаялъ разговоръ. Графъ геройски поправилъ дѣло; онъ сказалъ, обращаясь къ моему отцу, «что ему правятся такіа *патріотическія* чувства». Отцу моему онъ не понравился, и онъ мнѣ задалъ послѣ его отъѣзда страшную гонку. «Вотъ что значить говорить очертя голову обо всемъ, чего ты не понимаешь и не можешь понять: графъ изъ вѣрности *своему* королю служилъ *нашему* императору». Дѣйствительно, я этого не понималъ!

Отецъ мой провелъ лѣтъ двѣнадцать за границей, братъ его еще дольше; они хотѣли устроить какую-то жизнь на иностранномъ манеръ, безъ большихъ тратъ и съ сохраненіемъ всѣхъ русскихъ удобствъ. Жизнь не устранивалась, оттого-ли что они не умѣли сладить, оттого-ли что помѣщичья натура брала верхъ надъ иностранными привычками? Хозяйство было общее, имѣнье пераздѣльное, огромная дворня заселяла нижній этажъ, всѣ условія безпорядка, стало-быть, были налицо.

За мной ходили двѣ нянюшки—одна русская и одна пѣмка; Вѣра Артамоновна и М-ше Прово были очень добрыя женщины, но мнѣ было скучно смотрѣть, какъ онѣ цѣлый день вяжутъ чулокъ и пикпируются между собой, а потому при всякомъ удобномъ случаѣ я убѣгалъ на половину Сенатора (бывшаго послан-

ника), къ моему единственному пріятелю, къ его камердинеру Кало.

Добрѣе, кротче, мягче я мало встрѣчалъ людей; совершенно одинокій въ Россіи, разлученный со всѣми своими, плохо говорившій по-русски, онъ имѣлъ женскую привязанность ко мнѣ. Я часы цѣлые проводилъ въ его комнатѣ, докучалъ ему, притѣснялъ его, шалилъ,—онъ все выносилъ съ добродушной улыбкой, вырѣзывалъ мнѣ всякія чудеса изъ картонной бумаги, точилъ разные бездѣлны изъ дерева (за то, вѣдь, какъ-же я его и любилъ!). По вечерамъ онъ приносилъ ко мнѣ наверхъ изъ бібліотеки книги съ картинами: пушествіе Гмелина и Паласса и еще толстую книгу «Свѣтъ въ лицахъ», которая мнѣ до того правилаась, что я ее смотрѣлъ до тѣхъ поръ, что даже кожаной переплетъ не вынесъ; Кало часа по два показывалъ мнѣ однѣ и тѣ же изображенія, повторяя тѣ же объясненія въ тысячный разъ.

Передъ днемъ моего рожденія и моихъ именинъ, Кало заперся въ своей комнатѣ, оттуда были слышны разные звуки молотка и другихъ инструментовъ; часто быстрыми шагами проходилъ онъ по коридору, всякій разъ запирая на ключъ свою дверь, то съ кастрюлькой для клея, то съ какими-то завернутыми въ бумагу вѣщами. Можно себѣ представить, какъ мнѣ хотѣлось знать, что онъ готовитъ; я подсылалъ дворовыхъ мальчиковъ вывѣдать, но Кало держалъ ухо остро. Мы какъ-то открыли на лѣстницѣ небольшое отверстіе, падавшее прямо въ его комнату, но и оно намъ не помогло; видна была верхняя часть окна и портретъ Фридриха II съ огромнымъ носомъ, съ огромной звѣздой и съ видомъ исхудалаго коршуна. Дни за два шумъ переставалъ, комната была отворена,—все въ ней было по старому, кой-гдѣ валялись только обрѣзки золотой и цвѣтной бумаги; я краснѣлъ, снѣдаемый любопытствомъ, но Кало, съ натянуто-серьезнымъ видомъ, не касался щекотливаго предмета.

Въ мученіяхъ доживалъ я до торжественнаго дня; въ пять часовъ утра я уже просыпался и думалъ о приготовленіяхъ Кало; часовъ въ восемь являлся онъ самъ въ бѣломъ галетухѣ, въ бѣломъ жилетѣ, въ синемъ фракѣ и съ пустыми руками.—Когда же это кончится? Не испортилъ-ли онъ? И время шло и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексѣевны Голохвастовой уже приходилъ съ завязанной въ салфеткѣ богатой игрушкой и Сенаторъ уже приносилъ какія-нибудь чудеса, но безпокойное ожиданіе сюрприза мutilо радость.

Вдругъ, какъ-нибудь невзначай, послѣ обѣда или послѣ чая, нянюшка говорила мнѣ: «Сойдите на минуточку внизъ, васъ спрашиваетъ одинъ человѣкъ». Вотъ оно, думалъ я, и опускался, скользя на рукахъ, по поручнямъ лѣстницы. Двери въ залу от-



воряются съ шумомъ, играетъ музыка, транспарантъ съ моимъ вензелемъ горитъ, дворовые мальчики, одѣтые турками, подаютъ мнѣ конфеты, потомъ кукольная комедія или комнатный фейерверкъ. Кало въ поту, суетится, все самъ приводитъ въ движеніе и не меньше меня въ восторгѣ.

Какіе же подарки могли стать рядомъ съ такимъ праздникомъ,—я же никогда не любилъ *вещей*, бугоръ собственности и стяжанія не былъ у меня развитъ ни въ какой возрастъ,—усталь отъ неизвѣстности, множество свѣчекъ, фольги и запахъ пороха! Недоставало, можетъ, одного—товарища, но я все ребячество провелъ въ одиночествѣ <sup>1)</sup> и, стало, не былъ избалованъ съ этой стороны.

У моего отца былъ еще братъ, старшій обоимъ, съ которымъ онъ и Сенаторъ находились въ открытомъ разрывѣ; несмотря на то, они имѣлиемъ управляли вмѣстѣ, т. е. разоряли его сообща. Беспорядокъ тройнаго управленія при ссорѣ былъ вопіющъ. Два брата дѣлали все пацерекоръ старшему, онъ имъ. Старосты и крестьяне теряли голову; одинъ требуетъ подводъ, другой сѣна, третій дровъ, каждый распоряжается, каждый посылаетъ своихъ повѣренныхъ. Старшій братъ назначаетъ старосту, — меньшіе смѣняютъ его черезъ мѣсяць, придравшись къ какому-нибудь вздору, и назначаютъ другого, котораго старшій братъ не признаетъ. При этомъ, какъ слѣдуетъ, силетни, переносы, лазутчики, фавориты и на днѣ всего бѣдные крестьяне, не находившіе ни расправы, ни защиты, и которыхъ тормозили въ разныя стороны, обременяли двойной работой и неустройствомъ капризныхъ требованій.

Ссора между братьями имѣла первымъ слѣдствіемъ, поразившимъ ихъ,—потерю огромнаго процесса съ графами Девиеръ, въ которомъ они были правы. Имѣя одинъ интересъ, они не могли никогда согласиться въ образѣ дѣйствія; противная партія естественно воспользовалась этимъ. Сверхъ потери большого и прекраснаго имѣнія, сенатъ приговорилъ каждаго изъ братьевъ къ уплатѣ проторей и убытковъ *по тридцати тысячъ* руб. асс. Этотъ урокъ раскрылъ имъ глаза и они рѣшились раздѣлиться. Около года продолжались пріготовительные толки, имѣнье было

<sup>1)</sup> Кромѣ меня, у моего отца былъ другой сынъ, лѣтъ десять старше меня. Я его всегда любилъ, но товарищемъ онъ мнѣ не могъ быть. Лѣтъ съ двѣнадцати и до тридцати онъ провелъ подъ ножомъ хирурговъ. Послѣ ряда истязаній, вынесенныхъ съ чрезвычайнымъ мужествомъ, превративъ цѣлое существованіе въ одну перемежающуюся операцію, доктора объявили его болѣзню неизлечимой. Здоровье было разрушено; обстоятельства и нравъ способствовали окончательному сломать его жизнь. Страницы, въ которыхъ я говорю о его уединенномъ, печальномъ существованіи, выпущены мной; я ихъ не хочу печатать безъ его согласія.

разбито на три довольно ровныя части, судьба должна была рѣшиться, кому какая достанется. Сенаторъ и мой отецъ ѣздили къ брату, котораго не видали нѣсколько лѣтъ, для переговоровъ и примиренія; потомъ разнесся слухъ, что онъ пріѣдетъ къ намъ для окончанія дѣла. Слухъ о пріѣздѣ старшаго брата распро-  
странилъ ужасъ и безпокойство въ нашемъ домѣ.

25227  
Это было одно изъ тѣхъ оригинально-уродливыхъ существъ, которые только возможны въ оригинально-уродливой русской жизни. Онъ былъ человѣкъ даровитый отъ природы и всю жизнь дѣлалъ нелѣпости, доходившія часто до преступленій. Онъ получилъ порядочное образованіе на французскій манеръ, былъ очень начитанъ,—и проводилъ время въ развратѣ и празднои пустотѣ до самой смерти. Онъ началъ свою службу тоже съ Измайловскаго полка, состоялъ при Потемкинѣ чѣмъ-то въ родѣ адъютанта, потомъ служилъ при какой-то миссіи и, возвратившись въ Петербургъ, былъ сдѣланъ оберъ-прокуроромъ въ синодѣ. Ни дипломатическій кругъ, ни монашескій не могли укротить необузданный характеръ его. За ссоры съ архіереями онъ былъ отставленъ; за пощечину, которую хотѣлъ дать или далъ на офиціальномъ обѣдѣ у генералъ-губернатора какому-то господину, ему былъ воспрещенъ въѣздъ въ Петербургъ. Онъ уѣхалъ въ свое тамбовское имѣніе; тамъ мужики чуть не убили его за волокитство и свирѣпости; онъ былъ обязанъ своему кучеру и лошадямъ спасеніемъ жизни.

Послѣ этого онъ поселился въ Москвѣ. Поклонный всѣмъ родными и всѣмъ посторонними, онъ жилъ одинъ одинехонекъ въ своемъ большомъ домѣ на Тверскомъ бульварѣ, притѣснялъ свою дворню и разорялъ мужиковъ. Онъ завелъ большую бібліотеку и цѣлую крѣпостную сераль, и то и другое держалъ пазаперти. Лишенный всякихъ занятій и скрывая страшное самолюбіе, доходившее до наивности, онъ для разсѣянія скуналъ ненужныя вещи и заводилъ еще болѣе ненужныя тяжбы, которые велъ съ ожесточеніемъ. *Тридцать* лѣтъ длился у него процессъ объ Ама-тіевской скринкѣ и кончился тѣмъ, что онъ выигралъ ее. Онъ оттигалъ послѣ необычныхъ успѣій стѣну, общую двумъ домамъ, отъ обладанія которой онъ ничего не приобрѣталъ. Будучи въ отставкѣ, онъ, по газетамъ, приравнивая къ себѣ повышеніе своихъ сослуживцевъ, покупалъ ордена, имъ данные, и клалъ ихъ на столъ, какъ скорбное напоминаніе: чѣмъ и чѣмъ онъ могъ бы быть изукрашенъ!

Братья и сестры его боялись и не имѣли съ нимъ никакихъ сношеній; наши люди обходили его домъ, чтобъ не встрѣтиться съ нимъ, и блѣднѣли при его видѣ; женщины страшилась его



нагихъ преслѣдованій, дворовые служили молебны, чтобъ не достаться ему.

И вотъ этотъ-то страшный человѣкъ долженъ былъ пріѣхать къ намъ. Съ утра во всемъ домѣ было необыкновенное волненіе; я никогда прежде не видалъ этого мрачнаго «брата-врага», хотя и родился у него въ домѣ, гдѣ жилъ мой отецъ, послѣ пріѣзда изъ чужихъ краевъ; мнѣ очень хотѣлось его посмотрѣть и въ то же время я боялся, не знаю чего, но очень боялся.

Часа за два передъ нимъ явился старшій племянникъ моего отца, двое близкихъ знакомыхъ и одинъ добрый, толстый и сырой чиновникъ, завѣдывавшій дѣлами. Все сплѣли въ молчаливомъ ожиданіи, вдругъ взошелъ офиціантъ и какимъ-то не своимъ голосомъ доложилъ: «Братецъ изволили пожаловать». — Проси, сказалъ Сенаторъ съ примѣтнымъ волненіемъ; мой отецъ принялся нюхать табакъ, племянникъ поправилъ галстухъ, чиновникъ повернулся и откашлянулъ. Мнѣ было вѣрно идти наверхъ, я остановился, дрожа всемъ тѣломъ, въ другой компаніи.

Тихо и важно подвигался «братецъ», Сенаторъ и мой отецъ пошли ему навстрѣчу. Онъ несъ съ собою, какъ носятъ на свадьбахъ и похоронахъ, обѣими руками передъ грудью—образъ, и противнымъ голосомъ, нѣсколько въ постъ, обратился къ братьямъ съ слѣдующими словами:

— Этимъ образомъ благословилъ меня предъ своей кончиной нашъ родитель, поручая мнѣ и покойному брату Петру печься объ васъ и быть вашимъ отцомъ въ замѣну его... Если-бъ покойный родитель нашъ зналъ ваше поведеніе противъ старшаго брата...

«Ну, mon cher frère, замѣтилъ мой отецъ своимъ изученно безстрастнымъ голосомъ,—хорошо и вы исполнили послѣднюю волю родителя. Лучше было бы забыть эти тяжелыя напоминовенія для васъ, да и для насъ».

— Какъ? что?—закричалъ набожный братецъ. Вы меня за этимъ звали... и такъ бросилъ образъ, что серебряная риза его задребезжала. Тутъ и Сенаторъ закричалъ голосомъ еще страшнѣйшимъ. Я опречетью бросился на верхній этажъ и только успѣлъ видѣть, что чиновникъ и племянникъ, испуганные не меньше меня, ретировались на балконъ.

Что было и какъ было, я не умѣю сказать; испуганные люди забились въ углы, никто ничего не зналъ о происходившемъ, ни Сенаторъ, ни мой отецъ никогда при мнѣ не говорили объ этой сценѣ. Шумъ мало по малу утихъ и раздѣлъ имѣнія былъ сдѣланъ, тогда или въ другой день—не помню.

Отцу моему досталось Васильевское, большое подмосковное имѣніе въ Рузскомъ уѣздѣ. На слѣдующій годъ мы жили тамъ



цѣлое лѣто; въ продолженіе этого времени Сенаторъ купилъ себѣ домъ на Арбатѣ; мы пріѣхали одни на нашу большую квартиру, опустѣвшую и мертвую. Вскорѣ потомъ и отецъ мой купилъ тоже домъ въ Старой-Конюшенной.

Съ Сенаторомъ удалялся, во-первыхъ, Кало, а, во-вторыхъ, все живое начало нашего дома. Онъ одинъ мѣшалъ ипохондрическому праву моего отца взять верхъ, теперь ему была воля вольная. Новый домъ былъ печаленъ, онъ напоминалъ тюрьму или больницу; нижній этажъ былъ со сводами, толстыя стѣны придавали окнамъ видъ крѣпостныхъ амбразуръ, кругомъ дома со всѣхъ сторонъ былъ ненужной величины дворъ.

Въ сущности скорѣе надобно дивиться, какъ Сенаторъ могъ такъ долго жить подъ одной крышей съ своимъ отцомъ, чѣмъ тому, что они разѣхались. Я рѣдко видалъ двухъ человѣкъ болѣе противоположныхъ, какъ они.

Сенаторъ былъ по характеру человѣкъ добрый и любившій разсѣянія; онъ провелъ всю жизнь въ мірѣ, освѣщенномъ лампами, въ мірѣ официально-дипломатическомъ и придворно-служебномъ, не догадываясь, что есть другой міръ посерьезнѣе,—несмотря даже на то, что всѣ событія съ 1789 до 1815 не только прошли возлѣ, но зацѣплялись за него. Графъ Воронцовъ посылалъ его къ лорду Гренвиллю, чтобы узнать о томъ, что предпринимаетъ генералъ Бонапартъ, оставившій египетскую армію. Онъ былъ въ Парижѣ во время коронаціи Наполеона. Въ 1811 году Наполеонъ велѣлъ его остановить и задержать въ Касселѣ, гдѣ онъ былъ посломъ «при царѣ Ерѣмѣ», какъ выражался мой отецъ въ минуты досады. Словомъ, онъ былъ на лицо при всѣхъ огромныхъ происшествіяхъ послѣдняго времени, но какъ-то странно, не такъ какъ слѣдуетъ.

Лейбъ-гвардіи капитаномъ Измайловскаго полка, онъ находился при миссіи въ Лондонѣ; Павелъ, увидя это въ спискахъ, велѣлъ ему немедленно явиться въ Петербургъ. Дипломатъ-воинъ отправился съ первымъ кораблемъ и явился на разводъ.

— Хочешь оставаться въ Лондонѣ? спросилъ сиплымъ голосомъ Павелъ.

— «Если в. в. угодно будетъ мнѣ позволить», отвѣчалъ капитанъ при посольствѣ.

— Ступай назадъ, не теряя времени, отвѣтилъ Павелъ сиплымъ голосомъ, и онъ отправился, не повидавшись даже съ родными, жившими въ Москвѣ.

Пока дипломатическіе вопросы разрѣшались штыками и картечью, онъ былъ посланникомъ и заключилъ свою дипломатическую карьеру во время Вѣнскаго конгресса, этого свѣтлаго праздника всѣхъ дипломатій. Возвратившись въ Россію, онъ былъ про-

изведенъ въ дѣйствительные камергеры въ Москвѣ, гдѣ нѣтъ двора. Не зная законовъ и русскаго судопроизводства, онъ попалъ въ сенатъ, сдѣлался членомъ онекунскаго совѣта, начальникомъ Маринской больницы, начальникомъ Александринскаго института, и все исполнялъ съ рвеніемъ, которое врядъ было ли нужно, со строптивостью, которая вредила, съ честностью, которую никто не замѣчалъ.

Онъ никогда не бывалъ дома. Онъ заѣзжалъ въ день двѣ четверки здоровыхъ лошадей, одну утромъ, одну послѣ обѣда. Сверхъ сената, который онъ никогда не забывалъ, онекунскаго совѣта, въ которомъ бывалъ два раза въ недѣлю, сверхъ больницы и института, онъ не пропускалъ почти ни одинъ французскій спектакль и ѣздилъ раза три въ недѣлю въ англійскій клубъ. Скучать ему было некогда, онъ всегда былъ занятъ, разсѣянъ, онъ все ѣхалъ куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на рессорахъ по міру оборотовъ и переплетовъ.

Зато онъ до семидесяти пяти лѣтъ былъ здоровъ какъ молодой человѣкъ, являлся на всѣхъ большихъ балахъ и обѣдахъ, на всѣхъ торжественныхъ собраніяхъ и годовыхъ актахъ,—все равно какихъ: агрономическихъ или медицинскихъ, страхового отъ огня общества или общества естествоиспытателей;... да сверхъ того, за то же, можетъ, сохранилъ до старости долю человѣческаго сердца и нѣкоторую теплоту.

Нельзя ничего себѣ представить больше противоположнаго вѣчно движущемуся, сангвиническому Сенатору, иногда заѣзжавшему домой, какъ моего отца, почти никогда не выходившаго со двора, ненавидѣвшаго весь офиціальныи міръ, вѣчно капризнаго и недовольнаго. У насъ было тоже восемь лошадей (прескверныхъ), но наша конюшня была въ родѣ богоугоднаго заведенія для клячь; мой отецъ ихъ держалъ отчасти для порядка, и отчасти для того, чтобъ два кучера и два фореитора имѣли какое-нибудь занятіе, сверхъ хожденія за московскими вѣдомостями и пѣтушковыхъ боевъ, которые они завели съ успѣхомъ между каретнымъ сараемъ и соседнимъ дворомъ.

Отецъ мой почти совсѣмъ не служилъ; воспитанный французскимъ гувернеромъ въ домѣ набожной и благочестивой тетки, онъ лѣтъ шестнадцати поступилъ въ Измайловскій полкъ сержантомъ; послужилъ до павловскаго водаренія и вышелъ въ отставку гвардіи капитаномъ; въ 1801 онъ уѣхалъ за границу и прожилъ, скитаясь изъ страны въ страну, до конца 1811 года. Онъ возвратился съ моею матерью за три мѣсяца до моего рожденія и, проживши годъ въ тверскомъ имѣніи послѣ московскаго пожара, перѣхалъ на житіе въ Москву, стараясь какъ можно уединеннѣе и скучнѣе устроить жизнь. Живость брата ему мѣшала.

Послѣ переѣзда Сенатора все въ домѣ стало принимать болѣе и болѣе угрюмый видъ. Стѣны, мебель, слуги, все смотрѣло съ неудовольствіемъ, изъ-подлюбя; само собою разумѣется, всѣхъ недовольныѣе былъ мой отецъ самъ. Искусственная тишина, шопотъ, осторожные шаги прислуги выражали не вниманіе, а подавленность и страхъ. Въ комнатахъ все было неподвижно, пять, шесть лѣтъ одиѣ и тѣ же книги лежали на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ и въ нихъ тѣ же замѣтки. Въ спальнѣ и кабинетѣ моего отца годы цѣлыя не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уѣзкая въ деревню, онъ бралъ ключъ отъ своей комнаты въ карманъ, чтобъ безъ него не вздумали вымыть полъ или почистить стѣны.

---

## ГЛАВА II.

Разговоръ нянюшекъ и бесѣда генераловъ. — Ложное положеніе. — Русскіе энциклопедисты. — Скука. — Дѣвичья и передняя. — Два пѣмца. — Ученые и чтенье. — Катихизисъ и Евангеліе.

Итъ до десяти я не замѣчалъ ничего страннаго, особеннаго въ моемъ положеніи; мнѣ казалось естественно и просто, что я живу въ домѣ моего отца, что у него на половинѣ я держу себя чинно, что у моей матери другая половина, гдѣ я кричу и шалю, сколько душѣ угодно. Сенаторъ баловалъ меня и дарилъ игрушки, Кало посылъ на рукахъ, Вѣра Артамоновна одѣвала меня, клала спать и мыла въ корытѣ, М-те Прово водила гулять и говорила со мной по-пѣмецки; все шло своимъ порядкомъ, а между тѣмъ я началъ призадумываться.

Бѣглыя замѣчанія, неосторожно сказанныя слова стали обращать мое вниманіе. Старушка Прово и вся дворня любили безъ намяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домашнія сцены, возникавшія иногда между ними, служили часто темой разговоръ М-те Прово съ Вѣрой Артамоновной, бравшихъ всегда сторону моей матери.

Моя мать дѣйствительно имѣла много непріятностей. Женщина чрезвычайно добрая, но безъ твердой воли, она была совершенно подавлена своимъ отцомъ и, какъ всегда бываетъ съ слабыми натурами, дѣлала отчаянную оппозицію въ мелочахъ и бездѣлицахъ. Но несчастію именно въ этихъ мелочахъ отецъ мой былъ почти всегда правъ и дѣло оканчивалось его торжествомъ.

— Я право, говаривала напримѣръ М-те Прово, — на мѣстѣ барыни просто взяла бы да и уѣхала въ Штутгартъ; какая отрада — все капризы да непріятности, скука смертная.



— «Разумѣется, добавляла Вѣра Артамоновна, да вотъ что связало по рукамъ и ногамъ, и она указывала спичками чулка на меня.—Взять съ собой—куда? къ чему? покинуть здѣсь одного, съ нашими порядками, это и вчужѣ жал!»

Дѣти вообще проникательнѣе, нежели думаютъ, они быстро разсѣиваются, на время забываютъ, что ихъ поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются съ удивительной настойчивостью и ловкостью до истины.

Однажды настороженный, я въ нѣсколько недѣль узналъ всѣ подробности о встрѣчѣ моего отца съ моей матерью, о томъ, какъ она рѣшилась оставить родительскій домъ, какъ была спрятана въ русскомъ посольствѣ въ Касселѣ у Сенатора, и въ мужскомъ платьѣ перешла границу; все это я узналъ, ни разу не сдѣлавъ никому ни одного вопроса.

Первое слѣдствіе этихъ открытій было отдаленіе отъ моего отца—за сцены, о которыхъ я говорилъ. Я ихъ видѣлъ и прежде, но мнѣ казалось, что это въ совершенномъ порядкѣ, я такъ привыкъ, что все въ домѣ, не исключая Сенатора, боялось моего отца, что онъ всѣмъ дѣлалъ замѣчанія, что не находилъ этого страннымъ. Теперь я сталъ иначе понимать дѣло, и мысль, что доля всего выноситея за меня, заволакивала иной разъ темнымъ и тяжелымъ облакомъ свѣтлую, дѣтскую фантазію.

Вторая мысль, укоренявшаяся во мнѣ съ того времени, состояла въ томъ, что я гораздо меньше завишу отъ моего отца, нежели вообще дѣти. Эта самобытность, которую я самъ себѣ выдумалъ, мнѣ правилась.

Года черезъ два или три, разъ вечеромъ сидѣли у моего отца два товарища по полку, П. К. Эссенъ, оренбургскій ген.-губернаторъ, и А. Н. Бахметевъ, бывшій намѣстникомъ въ Бессарабіи, генералъ, которому подъ Бородинымъ оторвало ногу. Комната моя была возлѣ залы, въ которой они уѣлисъ. Между прочимъ мой отецъ сказалъ имъ, что онъ говорилъ съ княземъ Юсуповымъ насчетъ опредѣленія меня на службу. «Время терять нечего, прибавилъ онъ,—вы знаете, что ему надобно долго служить для того, чтобъ до чего-нибудь дослужиться».

— Что тебѣ, братецъ, за охота, сказалъ добродушно Эссенъ, дѣлать изъ него писаря. Поручи мнѣ это дѣло, я его запишу въ уральскіе казаки, въ офицеры его выведемъ, это главное; потомъ своимъ чередомъ и пойдетъ, какъ мы всѣ.

Мой отецъ не соглашался, говорилъ, что онъ разлюбилъ все военное, что онъ надѣется помѣстить меня современемъ гдѣ-нибудь при миссіи въ тепломъ краѣ, куда и онъ бы поѣхалъ оканчивать жизнь.

Бахметевъ, мало бравшій участія въ разговорѣ, сказалъ, вставая на своихъ костыляхъ: «Мнѣ кажется, что вамъ слѣдовало бы очень подумать о совѣтѣ Петра Кирилловича. Не хотите записывать въ Оренбургъ, можно и здѣсь записать. Мы съ вами старые друзья, и я привыкъ говорить съ вами откровенно,—штатской службой, университетомъ вы ни *вашему молодому человеку* не сдѣлаете добра, ни пользы для общества. Онъ явнымъ образомъ въ *ложномъ положеніи*, одна военная служба можетъ разомъ раскрыть карьеру и поправить его. Прежде чѣмъ онъ дойдетъ до того, что будетъ командовать ротой, всѣ опасныя мысли улягутся. Военная дисциплина—великая школа, дальнѣйшее зависить отъ него. Вы говорите, что онъ имѣетъ способности, да развѣ въ военную службу идутъ одни дураки? А мы-то съ вами, да и весь нашъ кругъ? Одно вы можете возразить, что ему долгие надобно служить до офицерскаго чина, да въ этомъ-то именно мы и поможемъ вамъ».

Разговоръ этотъ стоилъ замѣчаній М-ше Прово и Вѣры Артамоновны. Мнѣ тогда уже было лѣтъ 13; такіе уроки, переворачиваемые на всѣ стороны, разбираемые педѣли, мѣсяцы въ совершенномъ одиночествѣ, приносили свой плодъ. Результатомъ этого разговора было то, что я, мечтавшій прежде, какъ всѣ дѣти, о военной службѣ и мундирѣ, чуть не плакавшій о томъ, что мой отецъ хотѣлъ изъ меня сдѣлать статскаго, вдругъ охладѣлъ къ военной службѣ и хотя не разомъ, но мало-по-малу искоренилъ до глаголю и привязанность къ эполетамъ, аксельбантамъ, лампасамъ. Еще разъ впрочемъ потухающая страсть къ мундиру вспыхнула. Родственниковъ нашихъ, учившійся въ пансіонѣ въ Москвѣ и приходившій иногда по праздникамъ къ намъ, поступилъ въ Ямбургскій уланскій полкъ. Въ 1825 году онъ пріѣзжалъ юнкеромъ въ Москву и остановился у насъ на нѣсколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидѣлъ со всѣми шнурками и шнурочками, съ саблей и въ четырехугольномъ киверѣ, надѣтомъ немного на бокъ и привязанномъ на шнуркѣ. Онъ былъ лѣтъ семнадцать и небольшого роста. Утромъ на другой день я одѣлся въ его мундиръ, надѣлъ саблю и киверъ и посмотрѣлъ въ зеркало. Боже мой, какъ я казался себѣ хороши, въ сплеме кудомъ мундира, съ красными выпушками! А этишкеты, а помпонъ, а ледунка... что съ ними въ сравненіи была камлотовая куртка, которую я носилъ дома, и желтые китайчатые панталоны?

Пріѣздъ родственника потрясъ было дѣйствіе генеральской рѣчи, но вскорѣ обстоятельства снова и окончательно отклонили мой умъ отъ военного мундира.

Внутренній результатъ думъ о «ложномъ положеніи» былъ довольно сходенъ съ тѣмъ, который я вывелъ изъ разговоровъ двухъ нянюшекъ. Я чувствовалъ себя свободнѣе отъ общества,

котораго вовсе не зналъ, чувствовалъ, что въ сущности я оставленъ на собственныя свои силы, п съ нѣскольکو дѣтской заносчивостью думалъ, что покажу себя Алексѣю Николаевичу съ товарищами.

При всемъ этомъ можно себя представить, какъ томно и однообразно шло для меня время въ страшномъ аббатствѣ родительскаго дома. Не было мнѣ ни поощреній, ни разсѣяній, отецъ мой былъ почти всегда мною недоволенъ, онъ баловалъ меня только лѣтъ до десяти; товарищей не было, учителя приходили и уходили, и я украдкой убѣгалъ, провожая ихъ на дворъ, поиграть съ дворовыми мальчками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большимъ почернѣлымъ комнатамъ съ закрытыми окнами днемъ, едва освѣщенными вечеромъ, ничего не дѣлая или читая всякую всячину.

Передняя и дѣвичья составляли единственное живое удовольствіе, которое у меня оставалось. Тутъ мнѣ было совершенное раздолье, я бралъ партію однихъ противъ другихъ, судилъ и рядилъ вмѣстѣ съ моими пріятелями ихъ дѣла, зналъ всѣ ихъ секреты и никогда не проболтался въ гостиной о тайнахъ передней.

На этомъ предметѣ нельзя не остановиться. Я, впрочемъ, вовсе не бѣгу отъ отступленій и эпизодовъ, такъ идетъ всякій разговоръ, такъ идетъ самая жизнь.

Дѣти вообще любятъ слугъ; родители запрещаютъ имъ сблизаться съ ними, особенно въ Россіи; дѣти не слушаютъ ихъ, потому что въ гостиной скучно, а въ дѣвичьей весело. Въ этомъ случаѣ, какъ въ тысячѣ другихъ, родители не знаютъ, что дѣлаютъ. Я никакъ не могу себя представить, чтобъ наша передняя была вреднѣе для дѣтей, чѣмъ наша «чайная» или «диванная». Въ передней дѣти перенимаютъ грубыя выраженія и дурныя манеры, это правда; но въ гостиной они принимаютъ грубыя мысли и дурныя чувства.

Самый приказъ удаляться отъ людей, съ которыми дѣти въ безпрерывномъ сношеніи, безправеденъ.

Много толкуютъ у насъ о глубокомъ развратѣ слугъ, особенно крѣпостныхъ. Они дѣйствительно не отличаются примѣрной строгостью поведенія; нравственное паденіе ихъ видно уже изъ того, что они слишкомъ многое выносятъ, слишкомъ рѣдко возмущаются и даютъ отпоръ. Но не въ этомъ дѣло. Я желалъ бы знать, которое сословіе въ Россіи меньше ихъ развращено? Неужели дворянство, или чиновники? Быть можетъ, духовенство?

Что-же вы смѣтаете?

Развѣ одни крестьяне найдутъ кой-какія права...

Разница между дворянами и дворовыми такъ же мала, какъ между ихъ названіями. Я ненавижу, особенно послѣ бѣды 1848 г., дема-

гогическую лезть толпѣ, но аристократическую клевету на народъ ненавижу еще больше. Представляя слугъ и рабовъ распутными звѣрями, плантаторы отводятъ глаза другимъ и заглушаютъ крики совѣсти въ себѣ. Мы рѣдко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчѣ скрываемъ эгоизмъ и страсти; наши желанія не такъ грубы и не такъ явны, отъ легости удовольствіи, отъ привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытѣ и влѣдствіе этого взыскательнѣе. Когда графъ Альмавива испечлилъ севильскому цирюльнику качества, которыя онъ требуетъ отъ слуги, Фигаро замѣтилъ, вздыхая: «Если слугѣ надобно имѣть все эти достоинства, много ли найдется господъ, годныхъ быть лакеями?»

Развратъ въ Россіи вообще не глубокъ, онъ больше дикъ и сальнъ, шуменъ и грубъ, растрепанъ и безстыденъ, чѣмъ глубокъ. Духовенство, запершись дома, пьянствуетъ и обжирается съ купечествомъ. Дворянство пьянствуетъ на бѣломъ свѣтѣ, играетъ на пропалую въ карты, дерется съ слугами, развратничаетъ съ горничными, ведетъ дурно свои дѣла и еще хуже семейную жизнь. Чиновники дѣлаютъ то же, но грязнѣе, да, сверхъ того, подличаютъ передъ начальниками и воруютъ по мелочи. Дворяне собственно меньше воруютъ, они открыто берутъ чужое, впрочемъ, гдѣ случится, похулы на руку не кладутъ.

Все эти милыя слабости встрѣчаются въ формѣ еще грубѣйшей у чиновниковъ, стоящихъ за 14 классомъ, у дворянъ, принадлежащихъ не царю, а помѣщикамъ. Но чѣмъ они хуже другихъ, какъ есоловіе,—я не знаю.

Перебирая воспоминанія мои не только о дворовыхъ нашего дома и Сенатора, но о слугахъ двухъ, трехъ близкихъ намъ домовъ въ продолженіе двадцати-пяти лѣтъ, я не помню ничего особенно порочнаго въ ихъ поведеніи. Развѣ придется говорить о небольшихъ кражахъ..., но тутъ понятія такъ сбиты положеніемъ, что трудно судить: *человѣкъ-собственность* не церемонится съ своимъ товарищемъ и поступаетъ за панибрата съ барскимъ добромъ. Справедливѣе слѣдуетъ исключить какихъ-нибудь временщиковъ, фаворитовъ и фаворитокъ, барскихъ барынь, наущниковъ; но, во-первыхъ, они составляютъ исключеніе,—это Перекусихины въ затрапезномъ платьѣ, Помпадуръ на босую ногу; сверхъ того, они-то и ведутъ себя всехъ лучше, напиваются только ночью и платья своего не закладываютъ въ шитейный домъ.

Простодушный развратъ прочихъ вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой бесѣды и трубки, самовольныхъ отлучекъ изъ дома, ссоръ, иногда доходящихъ до дракъ, плутней съ господами, требующими отъ нихъ нечеловѣческаго и невозможнаго. Разумѣется, отсутствіе, съ одной стороны, всякаго воспита-



нія, съ другой—крестьянской простоты, при рабствѣ, внесли бездну уродливаго и искаженнаго въ ихъ нравы, но при всемъ этомъ они, какъ негры въ Америкѣ, остались полудѣтьми, бездѣлица ихъ тѣшить, бездѣлица огорчаетъ; желанія ихъ ограничены и скорѣе наивны и человѣчественны, чѣмъ порочны.

Вино и чай, кабакъ и трактиръ, двѣ постоянныя страсти русскаго слуги; для нихъ онъ крадетъ, для нихъ онъ бѣденъ, изъ-за нихъ онъ выноситъ гоненія, наказанія и покидаетъ семью въ нищетѣ. Ничего пѣтъ легче, какъ, съ высоты трезваго опьяненія патера Метью, осуждать пьянство и, сидя за чайнымъ столомъ, удивляться, для чего слуги ходятъ пить чай въ трактиръ, а не пьютъ его дома, несмотря на то, что дома дешевле.

Вино оглушаетъ человѣка, даетъ возможность забыться, искусственно веселить, раздражаетъ; это оглушеніе и раздраженіе тѣмъ больше правится, чѣмъ меньше человѣкъ развитъ и чѣмъ больше сведенъ на узкую, пустую жизнь. Какъ же не пить слугѣ, осужденному на вѣчную переднюю, на всегдашнюю бѣдность, на рабство, на продажу? Онъ пьетъ черезъ край, когда можетъ, потому что не можетъ пить всякій день; это замѣтилъ, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, Сенковскій въ *Библіотекѣ для Чтенія*. Въ Италіи и южной Франціи пѣтъ пьяницъ, оттого что много вина. Дикое пьянство англійскаго работника объясняется точно такъ же. Эти люди сломились въ безвыходной и неровной борьбѣ съ голодомъ и нищетой; какъ они ни бились, они вездѣ встрѣчали свинцовый сводъ и суровый отпоръ, отбрасывавшій ихъ на мрачное дно общественной жизни и осуждавшій на вѣчную работу безъ цѣли, снѣдавшую умъ вмѣстѣ съ тѣломъ. Что же тутъ удивительнаго, что, пробывъ шесть дней рычагомъ, колесомъ, пружиной, винтомъ, человѣкъ дико вырывается въ субботу вечеромъ изъ каторги мануфактурной дѣятельности и въ полчаса напивается пьянъ, тѣмъ больше, что его изнуреніе немного можетъ вынести. Лучше бы и моралисты пили себѣ Irish или Scotch Whiskey, да молчали бы, а то, съ ихъ безчеловѣчной филантропией, они накличутся на страшные отвѣты.

Пить чай въ трактирѣ имѣетъ другое значеніе для слугъ. Дома ему чай не въ чай; дома ему все напоминаетъ, что онъ слуга; дома у него грязная людская, онъ долженъ самъ поставить самоваръ, дома у него чашка съ отбитой ручкой и всякую минуту баринъ можетъ позвонить. Въ трактирѣ онъ вольный человѣкъ, онъ господинъ, для него накрытъ столъ, зажжены лампы, для него несется съ подносомъ половой, чашки блестятъ, чайникъ блеститъ, онъ приказываетъ—его слушаютъ, онъ радуется и весело требуетъ себѣ паюсной икры или растегайчикъ къ чаю.

Во всемъ этомъ больше дѣтскаго простодушія, чѣмъ безнрав-

ственности. Впечатлѣнія ими овладѣваютъ быстро, но не пускаютъ корней; умъ ихъ постоянно занятъ, или, лучше, разсѣянъ случайными предметами, небольшими желаніями, пустыми цѣлями. Ребячья вѣра во все чудесное заставляетъ трусить взрослого мужчину и та же ребячья вѣра утѣшаетъ его въ самыя тяжелыя минуты. Я съ удивленіемъ присутствовалъ при смерти двухъ или трехъ изъ слугъ моего отца: вотъ гдѣ можно было судить о простодушномъ безпечіи, съ которымъ проходила ихъ жизнь, о томъ, что на ихъ совѣсти вовсе не было большихъ грѣховъ; а если кой-что случилось, такъ уже покончено на духу съ «батюшкой».

На этомъ сходствѣ дѣтей съ слугами и основано взаимное пристрастіе ихъ. Дѣти ненавидятъ аристократію взрослыхъ и ихъ благосклонно-снисходительное обращеніе оттого, что они умны и понимаютъ, что для нихъ они дѣти, а для слугъ—лица. Вслѣдствіе этого, они гораздо больше любятъ играть въ карты и лото съ горничными, чѣмъ съ гостями. Гости играютъ для *нихъ* изъ снисхожденія, уступаютъ имъ, дразнятъ ихъ и оставляютъ игру, какъ вздумается; горничныя играютъ обыкновенно столько же для себя, сколько для дѣтей; отъ этого игра получаетъ интересъ.

Прислуга чрезвычайно привязывается къ дѣтямъ и это вовсе не рабская привязанность, это взаимная любовь *слабыхъ и простыхъ*.

Встарь бывала, какъ теперь въ Турціи, патриархальная династическая любовь между помѣщиками и дворовыми. Нынче нѣтъ больше на Руси усердныхъ слугъ, преданныхъ роду и племени своихъ господъ. И это понятно. Помѣщикъ не вѣритъ въ свою власть, не думаетъ, что онъ будетъ отвѣчать за своихъ людей на страшномъ судилищѣ Христовомъ, а пользуется ею изъ выгоды. Слуга не вѣритъ въ свою подчиненность и выноситъ насилие не какъ кару Божію, не какъ пекунство, а просто оттого, что онъ беззащитенъ; сила солону ломить.

Я знавалъ еще въ молодости два, три образчика этихъ фанатиковъ рабства, о которыхъ со вздохомъ говорятъ восьмидесятилѣтніе помѣщики, повѣствуя о ихъ неусыпной службѣ, о ихъ великомъ усердіи, и забывая прибавить, чѣмъ ихъ отцы и они сами платили за такое самоотверженіе.

Въ одной изъ деревень Сенатора проживалъ на покой, т. е. на хлѣбѣ, дряхлый старикъ, Андрей Степановъ.

Онъ былъ камердинеромъ Сенатора и моего отца во время ихъ службы въ гвардіи, добрый, честный и трезвый человекъ, глядѣвшій въ глаза молодымъ господамъ и угадывавшій, по ихъ собственнымъ словамъ, ихъ волю, что, думаю, было не легко. Потомъ онъ управлялъ подмосковной. Отрѣзанный сначала войной 1812 года отъ всякаго сообщенія, потомъ одинъ, безъ денегъ на

пенелницѣ выгорѣлаго села, онъ продалъ какія-то бревна, чтобъ не умереть съ голоду. Сенаторъ, возвратившись въ Россію, принялся приводить въ порядокъ свое имѣніе и, наконецъ, добрался до бревенъ. Въ наказаніе онъ отобралъ его должность и отпраздновалъ его въ опалу. Старикъ, обремененный семьей, понелся на подножный кормъ. Намъ приходилось проѣзжать и останавливаться на день, на два въ деревнѣ, гдѣ жилъ Андрей Степановъ. Дряхлый старецъ, разбитый параличемъ, приходилъ всякій разъ, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить съ нимъ.

Преданность и кротость, съ которой онъ говорилъ, его несчастный видъ, космы желто-сѣдыхъ волосъ по обѣимъ сторонамъ голаго черена, глубоко трогали меня. «Слышалъ я, государь мой», говорилъ онъ однажды, «что братецъ вашъ еще кавалерію изволилъ получить. Старъ, батюшка, становлюсь, скоро Богу душу отдамъ, а, вѣдь, не сподобилъ меня Господь видѣть братца въ кавалеріи, хоть бы разъ передъ кончиной лицезрѣть ихъ въ лейтѣ и во всѣхъ регаліяхъ!»

И смотрѣлъ на старика, его лицо было такъ дѣтски откровенно, сгорбленная фигура его, болѣзненно перекошенное лицо, потухшіе глаза, слабый голосъ — все внушало довѣріе; онъ не лгалъ, онъ не льстилъ, ему дѣйствительно хотѣлось видѣть, прежде смерти, въ «кавалеріи и регаліяхъ» человѣка, который лѣтъ пятинадцать не могъ ему простить какихъ-то бревенъ. Что это святой, или безумный? Да не одинъ ли безумные и достигаютъ святости?

Новое поколѣніе не имѣетъ этого идолопоклонства, и если бываютъ случаи, что люди не хотятъ на волю, то это просто отъ лѣни и изъ матеріальнаго разчета. Это развратѣе, спору нѣтъ, но ближе къ концу; они навѣрно, если что-нибудь и хотятъ видѣть на шеѣ господъ, то не владимірскую ленту.

Скажу здѣсь ксати о положеніи нашей прислуги вообще.

Ни Сенаторъ, ни отецъ мой не тѣснили особенно дворовыхъ, т. е. не тѣснили ихъ физически. Сенаторъ былъ вспыльчивъ, нетерпѣливъ и именно потому часто грубъ и несправедливъ; но онъ такъ мало имѣлъ съ ними соприкосновенія и такъ мало ими занимался, что они почти не знали другъ друга. Отецъ мой доучалъ ихъ капризами, не пропускалъ ни взгляда, ни слова, ни движенія и безпрестанно училъ; для русскаго человѣка это часто хуже побоевъ и брани.

Тѣлесныя наказанія были почти неизвѣстны въ нашемъ домѣ, и два-три случая, въ которые Сенаторъ и мой отецъ прибѣгали къ гнусному средству «частнаго дома», были до того необыкновенны, что объ нихъ вся дворня говорила цѣлые мѣсяцы; сверхъ того, они были вызываемы значительными проступками.

Чаще отдавали дворовыхъ въ солдаты; наказаніе это приводило въ ужасъ всѣхъ молодыхъ людей: безъ роду, безъ племени, они все же лучше хотѣли остаться крѣпостными, нежели двадцать лѣтъ тянуть лямку. На меня сильно дѣйствовали эти страшныя сцены...; явились два полицейскіе солдата по зову помѣщика, они воровски, невзначай, врасплохъ брали назначеннаго чело-вѣка; староста обыкновенно тутъ объявлялъ, что баринъ съ вечера приказалъ представить его въ присутствіе, и человекъ сквозь слезы куражился, женщины плакали, всѣ давали подарки и я отдавалъ все, что могъ, т. е. какой-нибудь двугривенный, шейный платокъ.

Помню я еще, какъ какому-то старостѣ за то, что онъ истра-титъ собранный оброкъ, отецъ мой велѣлъ обрить бороду. Я ни-чего не понималъ въ этомъ наказаніи, но меня поразилъ видъ старика лѣтъ шестидесяти; онъ плакалъ навзрыдъ, кланялся въ землю и просилъ положить на него, сверхъ оброка, сто цѣл-ковыхъ штрафу, но помиловать отъ безчестья.

Когда Сенаторъ жилъ съ нами, общая прислуга состояла изъ тридцати мужчинъ и почти столькожъ [же женщинъ; замужнія, впрочемъ, не несли никакой службы, онѣ занимались своимъ хо-зяйствомъ; на службѣ были пять-шесть горничныхъ и прачки, не ходившія на верхъ. Къ этому слѣдуетъ прибавить *мальчишекъ* и *дѣвчонокъ*, которыхъ приучали къ службѣ, т. е. къ праздности, лѣни, лганью и къ употребленію сивухи.

Для характеристики тогдашней жизни въ Россіи, я не думаю, чтобъ было излишнимъ сказать нѣсколько словъ о содержаніи дворовыхъ. Сначала имъ давались 5 рублей ассигн. въ мѣсяцъ на харчи, потомъ 6. Женщинамъ рублемъ меньше, дѣтямъ лѣтъ съ десяти половина. Люди составляли между собой артели и на недостатокъ не жаловались, что свидѣлствуетъ о чрезвычайной дешевизнѣ съѣстныхъ припасовъ. Наибольшее жалованье состояло изъ 100 руб. асс. въ годъ, другіе получали половину, нѣкоторые 30 руб. въ годъ. Мальчики лѣтъ до восемнадцати не получали жалованья. Сверхъ оклада людямъ давались платья, шинели, ру-банки, простыни, одѣяла, полотенца, матрацы изъ парусины; маль-чикамъ, не получавшимъ жалованья, отпускались деньги на прав-ственную и физическую чистоту, т. е. на баню и *говѣнья*. Взявъ все въ расчетъ, слуга обходился руб. въ 300 асс.; если къ этому прибавить дивидендъ на лекарство, лекаря и на съѣстные припасы, случайно привозимые изъ деревни и которые не знали куда дѣть, то мы и тогда не перейдемъ 350 рублей. Это составляетъ *четвер-тую* часть того, что слуга стоитъ въ Парижѣ или въ Лондонѣ.

Плантаторы обыкновенно вводятъ въ счетъ *страховую* пре-мію рабства, т. е. содержаніе жены, дѣтей помѣщикомъ, и скуд-ный кусокъ хлѣба гдѣ-нибудь въ деревнѣ подъ старость лѣтъ.



Конечно, это надобно взять въ разсчетъ; но страховая премія сильно понижается преміей *страха* тѣлесныхъ наказаній, невозможностью перемѣны состоянія и гораздо худшаго содержанія.

Я довольно наглядѣлся, какъ страшное сознаніе крѣпостного состоянія убиваетъ, отравляетъ существованіе дворовыхъ, какъ оно гнететъ, одуряетъ ихъ душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуютъ личную неволю, они какъ-то умѣютъ не вѣрить своему полному рабству. Но тутъ, сидя на грязномъ залавкѣ передней съ утра до ночи, или стоя съ тарелкой за столомъ,— иѣтъ мѣста сомнѣнію.

Разумѣется, есть люди, которые живутъ въ передней какъ рыба въ водѣ, люди, которыхъ душа никогда не просыпалась, которые взошли во вкусъ и съ своего рода художествомъ исполняютъ свою должность.

Въ этомъ отношеніи было у насъ лицо чрезвычайно интересное, нашъ старый лакей Бакай. Человѣкъ атлетическаго сложения и высокаго роста, съ крупными и важными чертами лица, съ видомъ величайшаго глубокомыслія, онъ дожилъ до преклонныхъ лѣтъ, воображая, что положеніе лакея одно изъ самыхъ значительныхъ.

Почтенный старецъ этотъ постоянно былъ сердитъ или вышивши, или вышивши и сердитъ вмѣстѣ. Должность свою онъ исполнялъ съ какой-то высшей точки зрѣнія и придавалъ ей торжественную важность; онъ умѣлъ съ особеннымъ шумомъ и трескомъ отбросить ступеньки кареты и хлопалъ дверцами сильнѣе ружейнаго выстрѣла. Сумрачно и на вытяжкѣ стоялъ на запяткахъ, и великой разъ, когда его подтряхивало на рытвинѣ, онъ густымъ и недовольнымъ голосомъ кричалъ кучеру: «легче», не смотря на то, что рытвина уже была на пять шаговъ сзади.

Главное занятіе его, сверхъ ѣзды за каретой, занятіе, добровольно возложенное имъ на себя, состояло въ обученіи мальчишекъ аристократическимъ манерамъ передней. Когда онъ былъ трезвъ, дѣло еще шло кой-какъ съ рукъ; но когда у него въ головѣ шумѣло, онъ становился педантомъ и тираномъ до невѣроятной степени. Я иногда вступался за моихъ пріятелей, но мой авторитетъ мало дѣйствовалъ на римскій характеръ Бакай; онъ отворялъ мнѣ дверь въ залу и говорилъ: «Вамъ здѣсь не мѣсто, извольте идти, а не то я на рукахъ спесу». Онъ не пропускалъ ни одного движенія, ни одного слова, чтобъ не разбранить мальчишекъ; къ словамъ нерѣдко прибавлялъ онъ и тумакъ или «ковырялъ масло», т. е. щелкалъ какъ-то хитро и искусно, какъ пружиной, большимъ пальцемъ и мизинцемъ по головѣ.

Когда онъ разгонялъ, наконецъ, мальчишекъ и оставался одинъ, его преслѣдованія обращались на единственнаго друга его Мак-

бета, большую пьюфаундлендскую собаку, которую онъ кормилъ, любилъ, чесалъ и холилъ. Посидѣвъ безъ компаніи минуты двѣ-три, онъ сходилъ на дворъ и приглашалъ Макбета съ собой на залавокъ; тутъ онъ заводилъ съ нимъ разговоръ. «Что же ты, дуракъ, сидишь на дворѣ, на морозѣ, когда есть топленая комната? Экая скотина! Что вытаращилъ глаза—ну? Ничего не отвѣчаешь?» За этимъ слѣдовала обыкновенная пощечина. Макбетъ иногда огрызался на своего благодѣтеля; тогда Бакай его упрекалъ, но безъ ласки и уступокъ. «Впрямь корми собаку, все собака останется, зубы скалится и не подумаетъ, на кого... Блохи бы заѣли безъ меня!» И, обиженный неблагодарностью своего друга, онъ шохалъ съ гнѣвомъ табакъ и бросалъ Макбету въ носъ, что оставалось на пальцахъ, послѣ чего тотъ чихалъ, ужасно пеловко ланой снималъ съ глазъ табакъ, попавшій въ носъ, и, съ полнымъ негодованіемъ оставляя залавокъ, царапалъ дверь; Бакай ему отворялъ ее со словами «мерзавецъ» и давалъ ему ногой толчекъ. Тутъ обыкновенно возвращались мальчики, и онъ принимался «ковырять масло».

Прежде Макбета у насъ была лягавая собака Берта; она сильно занемогла, Бакай ее взялъ на свой матрацъ и двѣ-три недѣли ухаживалъ за ней. Утромъ рано выхожу я разъ въ переднюю. Бакай хотѣлъ мнѣ что-то сказать, но голосъ у него перемѣнился и крупная слеза скатилась по щека, — собака умерла; вотъ еще фактъ для изученія человѣческаго сердца. Я вовсе не думаю, чтобъ онъ и мальчишекъ ненавидѣлъ; это былъ суровый нравъ, подкрѣпляемый снухой и безсознательно втянувшійся въ поэзію передней.

Но рядомъ съ этими дилетантами рабства, какіе мрачные образы мучениковъ, безнадежныхъ страдальцевъ печально проходятъ въ моей памяти.

У Сенатора былъ поваръ, необычайнаго таланта, трудолюбивый, трезвый; онъ шелъ въ гору; самъ Сенаторъ хлопоталъ, чтобъ его приняли въ кухню государя, гдѣ тогда былъ знаменитый поваръ французъ. Поучившись тамъ, онъ опредѣлился въ англійскій клубъ, разбогатѣлъ, женился, жилъ бариномъ; но веревка крѣпостного состоянія не давала ему ни покойно спать, ни наслаждаться своимъ положеніемъ.

Собравшись съ духомъ и отслуживши молебень Иверской, Алексѣй явился къ Сенатору съ просьбой отпустить его за пять тысячъ асс. Сенаторъ гордился *своимъ* поваромъ, точно такъ, какъ гордился *своимъ* живописцемъ, а велѣдствіе того денегъ не взялъ и сказалъ повару, что отпустить его даромъ послѣ своей смерти.

Поваръ былъ пораженъ, какъ громомъ; погрузился, перемѣнился въ лицѣ, сталъ сѣдѣть и... русскій челоѣкъ — принялся

понижать. Дѣла свои повелѣть онъ спустить рукава, англійскій клубъ ему отказалъ. Онъ нанілся у княгини Трубецкой; княгиня преслѣдовала его мелкимъ скряжничествомъ. Обиженный разъ ею черезъ мѣру, Алексѣй, любившій выражаться краснорѣчиво, сказалъ ей съ своимъ важнымъ видомъ своимъ голосомъ въ носъ: «какая непрозрачная душа обитаетъ въ вашемъ свѣтлѣйшемъ тѣлѣ!» Княгиня взбѣсилась, прогнала повара и, какъ слѣдуетъ русской барынѣ, написала жалобу Сенатору. Сенаторъ ничего бы не сдѣлалъ, но, какъ учтивый кавалеръ, призвалъ повара; разругалъ его и велѣлъ ему идти къ княгинѣ просить прощенія.

Поваръ къ княгинѣ не пошелъ, а пошелъ въ кабакъ. Въ годъ времени онъ все спустилъ: отъ капитала, приготовленнаго для взноса, до послѣдняго фартука. Жена побилая, побилая съ нимъ, да и пошла въ пизьки куда-то въ отъѣздъ. Объ немъ долго не было слуха. Потомъ какъ-то полиція привела Алексѣя, обтерханнаго, одичалаго; его подняли на улицѣ, квартиры у него не было, онъ кочевалъ изъ кабака въ кабакъ. Полиція требовала, чтобъ помѣщикъ его прибралъ. Больно было Сенатору, а, можетъ, и совѣстно; онъ его принялъ довольно кротко и далъ комнату. Алексѣй продолжалъ пить, пьяный шумѣлъ и воображалъ, что сочиняетъ стихи; онъ дѣйствительно не былъ лишенъ какой-то безпорядочной фантазій. Мы были тогда въ Васильевскомъ. Сенаторъ, не зная что дѣлать съ поваромъ, прислалъ его туда, воображая, что мой отецъ уговоритъ его. Но человѣкъ былъ слишкомъ сломенъ. И тутъ разглядѣлъ, какая сосредоточенная ненависть и злоба противъ господъ лежатъ на сердцѣ у крѣпостного человѣка: онъ говорилъ со скрипомъ зубовъ и съ мимикой, которая особенно въ поварѣ могла быть опасна. При мнѣ онъ не боялся давать волю языку; онъ меня любилъ, и часто, фамиллярно трепля меня по плечу, говорилъ: «добрая вѣтвь испорченнаго дерева».

Послѣ смерти Сенатора, мой отецъ далъ ему тотчасъ отпустить; это было поздно, и значило сбыть его съ рукъ; онъ такъ и пропалъ.

Рядомъ съ нимъ не могу не вспомнить другой жертвы крѣпостного состоянія. У Сенатора былъ, въ родѣ писмоводителя, дворовый человѣкъ лѣтъ 35. Старшій братъ моего отца, умершій въ 1813 году, имѣя въ виду устроить деревенскую больницу, отдалъ его мальчикомъ какому-то знакомому врачу для обученія фельдшерскому искусству. Докторъ выпросилъ ему позволеніе ходить на лекціи медико-хирургической Академіи; молодой человѣкъ былъ съ способностями, выучился по-латыни, по-нѣмецки и лечилъ кой-какъ. Лѣтъ двадцати-пяти онъ влюбился въ дочь какого-то офицера, скрылъ отъ нея свое состояніе и женился на ней. Долго обманъ не могъ продолжаться, жена съ ужасомъ узнала послѣ

смерти барина, что они крѣпостные. Сенаторъ, новый владѣлецъ его, нѣсколько ихъ не тѣшилъ, онъ даже любилъ молодого Толочанова, но ссора его съ женой продолжалась; она не могла ему простить обмана и бѣжала отъ него съ другимъ. Толочановъ, должно быть, очень любилъ ее, онъ съ этого времени впалъ въ задумчивость, близкую къ помѣшательству, прогуливалъ ночи и, не имѣя своихъ средствъ, тратилъ господскія деньги; когда онъ увидѣлъ, что нельзя свести концовъ, онъ 31 декабря 1821 года отравился.

Сенатора не было дома; Толочановъ взомелъ при мнѣ къ моему отцу и сказалъ ему, что онъ пришелъ съ нимъ проститься, и просить его сказать Сенатору, что деньги, которыхъ не достаетъ, истратилъ онъ.

— «Ты пьянъ, сказалъ ему мой отецъ, поди и выспишься».

— Я скоро пойду спать надолго, сказалъ лекаръ, и прошу только не поминать меня зломъ.

Спокойный видъ Толочанова испугалъ моего отца, и онъ, приставивъ къ нему пистолетъ, спросилъ:

— «Что съ тобою, ты бредишь?»

— Ничего-съ, я только принялъ рюмку мышьяку.

Послали за докторомъ, за полиціей, дали ему рвотное, дали молока... Когда его начало тошнить, онъ удерживался и говорилъ: «Сиди, сиди тамъ, я не съ тѣмъ тебя проглотилъ». Я слышалъ потомъ, когда ядъ сталъ сильнѣе дѣйствовать, его стоны и страдальческій голосъ, повторявшій: «Жжетъ—жжетъ! огонь!» Кто-то посоветовалъ ему послать за священникомъ, онъ не хотѣлъ и говорилъ Кало, что жизни за гробомъ быть не можетъ, что онъ *настолько знаетъ анатомію*. Часу въ двѣнадцатомъ вечера, онъ спросилъ штабъ-лекаря, по-цѣмски, который часть, потомъ сказавши: «Вотъ и новый годъ, поздравляю васъ»,—умеръ.

Утромъ я бросился въ небольшой флигель, служившій баней, туда снесли Толочанова; тѣло лежало на столѣ, въ томъ видѣ, какъ онъ умеръ, во фракѣ безъ галстука, съ раскрытой грудью; черты его были страшно искажены и уже почернѣли. Это было первое мертвое тѣло, которое я видѣлъ; близкій къ обмороку, я вышелъ вонъ. И игрушки, и картинки, подаренныя мнѣ на новый годъ, не тѣшили меня; почернѣлый Толочановъ носился передъ глазами, и я слышалъ его: «жжетъ—огонь!»

Въ заключеніе этого печальнаго предмета, скажу только одно: на меня передняя не сдѣлала никакого дѣйствительно дурного вліянія. Напротивъ, она съ раннихъ лѣтъ развила во мнѣ непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще былъ ребенкомъ, Вѣра Артамоновна, желая меня сильно обидѣть за какую-нибудь шалость, говаривала мнѣ: «Дайте срокъ, вырастете, такой же баринъ будете, какъ



другіе». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка можетъ быть довольнона—*такимъ какъ другіе*, по крайней мѣрѣ, я не сдѣлался.

Сверхъ передней и дѣвичьей, было у меня еще одно разѣяніе, и тутъ, по крайней мѣрѣ, не было мнѣ помѣхи. Я любилъ чтеніе столько же, сколько не любилъ учиться. Страсть къ безсистемному чтенію была вообще однимъ изъ главныхъ препятствій серьезному ученію. Я, напримѣръ, прежде и послѣ терпѣть не могъ теоретическаго изученія языковъ, но очень скоро выучивался кой-какъ понимать и болтать съ грѣхомъ пополамъ, и на этомъ останавливался, потому что этого было достаточно для моего чтенія.

У отца моего вмѣстѣ съ Сенаторомъ была довольно большая библіотека, составленная изъ французскихъ книгъ прошлаго столѣтія. Книги валялись грудами въ сырой, нежплой комнатѣ нижняго этажа въ домѣ Сенатора. Ключъ былъ у Кало, мнѣ было позволено рыться въ этихъ литературныхъ закромахъ, сколько я хотѣлъ, и я читалъ себѣ, да читалъ. Отецъ мой видѣлъ въ этомъ двойную пользу: во-первыхъ, что я скорѣе выучусь по-французски, а сверхъ того, что я занятъ, т. е. сижу смирно и притомъ у себя въ комнатѣ. Къ тому же я не всѣ книги показывалъ или клалъ у себя на столъ, нныя прятался въ шифоньеръ.

Что же я читалъ? Само собою разумѣется, романы и комедіи. Я прочелъ томовъ пятьдесятъ французскаго репертуара и русскаго *театра*; въ каждой части было по три, по четыре пьесы. Сверхъ французскихъ романовъ, у моей матери были романы Лафонтена, комедіи Коцебу, и ихъ читалъ раза по два. Не могу сказать, чтобъ романы имѣли на меня большое вліяніе, я бросался съ жадностью на всѣ двусмысленныя или нѣсколько растрепанныя сцены, какъ всѣ мальчики, но онѣ не занимали меня особенно. Гораздо сильнѣйшее вліяніе имѣла на меня пьеса, которую я любилъ безъ ума, пересчитывалъ двадцать разъ и притомъ въ русскомъ переводѣ *Театра* «Свадьба Фигаро». Я былъ влюбленъ въ Херубима и въ графиню, и, сверхъ того, я самъ былъ Херубимъ; у меня замирало сердце при чтеніи и, не давая себѣ никакаго отчета, я *чувствовалъ* какое-то новое ощущеніе. Какъ упоительна казалась мнѣ сцена, гдѣ пажа одѣваютъ въ женское платье, мнѣ страшно хотѣлось спрятать на груди чью-нибудь ленту и тайкомъ цѣловать ее. На дѣлѣ я былъ далекъ отъ всякаго женскаго общества въ эти лѣта.

Помню только, какъ изрѣдка по воскресеньямъ къ намъ пріѣзжали изъ пансіона двѣ дочери Б. Меньшая лѣтъ шестнадцати была поразительной красоты. Я терялся, когда она входила въ комнату, не смѣлъ никогда обращаться къ ней съ рѣчью, а украдкой смотрѣлъ въ ея прекрасные темные глаза, на ея темные кудри. Никогда никому не заикался я объ этомъ и первое дыханіе любви прошло не свѣданное никѣмъ, ни даже ею.

Годы спустя, когда я встрѣчался съ нею, сильно билось сердце, и я вспоминалъ, какъ я двѣнадцати лѣтъ отроду молился ей красотѣ.

Я забылъ сказать, что «Вертеръ» меня занималъ почти столько же, какъ «Свадьба Фигаро»; половины романа я не понималъ и пропускалъ, торопясь скорѣе дойти до странной развязки, тутъ я плакалъ какъ сумасшедшій. Въ 1839 году «Вертеръ» попался мнѣ случайно подъ руки, это было во Владимірѣ; я рассказалъ моей женѣ, какъ я мальчикомъ плакалъ, и сталъ ей читать послѣднія письма... И когда дошелъ до того же мѣста, слезы полились изъ глазъ и я долженъ былъ остановиться.

Лѣтъ до четырнадцати я не могу сказать, чтобъ мой отецъ особенно тѣшилъ меня, но просто вся атмосфера нашего дома была тяжела для живого мальчика. Строптивая и пенужная заботливость о физическомъ здоровьи, рядомъ съ полнымъ равнодушіемъ къ нравственному, странно надоѣдала. Предостереженія отъ простуды, отъ вредной пици, хлопоты при малѣйшемъ насморкѣ, кашлѣ. Зимой я по недѣлямъ сидѣлъ дома, а когда позволилось проѣхаться, то въ теплыхъ сапогахъ, шарфахъ и пр. Дома былъ постоянно нестерпимый жаръ отъ печей, все это должно было сдѣлать изъ меня хилаго и изнѣженнаго ребенка, если-бы я не наследовалъ отъ моей матери непреодолимаго здоровья. Она, съ своей стороны, вовсе не дѣлила этихъ предразсудковъ и на своей половинѣ позволяла мнѣ все то, что запрещалось на половинѣ моего отца.

Ученье шло плохо, безъ соревнованія, безъ поощреній и одобреній; безъ системы и безъ надзору, я занимался спустя рукава и думалъ памятью и живымъ соображеніемъ замѣнить трудъ. Разумѣется, что и за учителями не было никакого присмотра; однажды условившись въ цѣнѣ—лишь бы они приходили въ свое время и сидѣли своей часъ,—они могли продолжать годы, не отдавая никакого отчета въ томъ, что дѣлали.

Однимъ изъ самыхъ странныхъ эпизодовъ моего тогдашняго ученія было приглашеніе французскаго актера *Далеса* давать мнѣ уроки декламации.

«Нынче на это не обращаютъ вниманія, говорилъ мнѣ мой отецъ, а вотъ братъ Александръ, онъ шесть мѣсяцевъ съ ряду всякой вечеръ читалъ съ Офреномъ *le recit de Thérèse*, и все не могъ дойти до того совершенства, котораго хотѣлъ Офренъ».

Затѣмъ принялся я за декламацию.

«А что, *monsieur Dalès*, спросилъ его разъ мой отецъ, вы можете, я полагаю, давать уроки танцованія».

Далесъ, толстый старикъ за шестьдесятъ лѣтъ, съ чувствомъ глубокаго сознанія своихъ достоинствъ, но и съ неменьше глубокимъ чувствомъ скромности отвѣчалъ, что онъ не можетъ су-

дить о своихъ талантахъ, но что онъ часто *давалъ советы* въ балетныхъ танцахъ au grand Opera!

— «Я такъ и думалъ, замѣтилъ ему мой отецъ, поднося ему свою открытую табакерку, чего съ русскимъ или нѣмецкимъ учителемъ онъ никогда бы не сдѣлалъ. Я очень хотѣлъ бы, если-бъ вы могли le degourdir un peu, послѣ декламациі, немного бы потанцовать».

— Monsieur le comte peut disposer de moi.

И мой отецъ, безмѣрно любившій Парижъ, началъ вспоминать о фойе оперы въ 1810, о молодости Жоржъ, о преклонныхъ лѣтахъ Марсъ, и разспрашивать о кафе и театрахъ.

Теперь вообразите себѣ мою небольшую комнатку, печальный зимній вечеръ, окны замерзли и съ нихъ течетъ вода по веревочкѣ, двѣ сальныя свѣчи на столѣ и нашъ tête à tête. Далесъ на сценѣ еще говорилъ довольно естественно, но за урокомъ считалъ своей обязанностью наиболѣе удаляться отъ натуры въ своей декламациі. Онъ читалъ Расина какъ-то на распѣвъ и дѣлалъ тотъ проборъ, который англичане носятъ на затылкѣ, на цезурѣ каждаго стиха, такъ что онъ выходилъ похожимъ на надломленную трость.

При этомъ онъ дѣлалъ рукой движеніе человѣка, понававшего въ воду и не умѣющаго плавать. Каждый стихъ онъ заставлялъ меня повторять нѣсколько разъ и все качалъ головой: «Не то, советъ не то! Attention: Je crains Dieu, cher Abner, тутъ проборъ,—онъ закрывалъ глаза, слегка качалъ головой и, нѣжно отталкивая рукой волны, прибавлялъ—et n'ai point d'autre crainte».

Затѣмъ старичекъ, «ниче не боявшійся, кромѣ Бога», смотрѣлъ на часы, свертывалъ романы и бралъ стулъ: *это была моя мама*.

Послѣ этого нечему дивиться, что я никогда не танцевалъ.

Уроки эти продолжались недолго, и прекратились очень трагически недѣли черезъ двѣ.

Я былъ съ Сенаторомъ въ французскомъ театрѣ, проиграла увертюра, и разъ и два, занавѣсъ не подымалась; передніе ряды, желая показать, что они знаютъ *свой* Парижъ, начали шумѣть, какъ тамъ шумятъ *задніе*. На аван-сцену вышелъ какой-то режиссеръ, поклонился направо, поклонился налево, поклонился прямо и сказалъ: «Мы просимъ всего снисхожденія публики; насъ постигло странное несчастіе, нашъ товарищъ Далесъ,—и у режиссера дѣйствительно голосъ перервался слезами,—найдень у себя въ комнатѣ мертвымъ отъ угара».

Такимъ-то сильнымъ средствомъ избавилъ меня русскій чадъ отъ декламациі, монологовъ и монотанцевъ съ моею дамой о чetyрехъ точеныхъ ножкахъ изъ красного дерева.

Лѣтъ двѣнадцати я былъ переведенъ съ женскихъ рукъ на мужскія. Около того времени мой отецъ сдѣлалъ два неудачныхъ опыта приставить за мной нѣмца.

*Нѣмецъ при дѣтяхъ*—и не гувернеръ и не дядька, это совѣтъ особенная профессія. Онъ не учитъ дѣтей и не одѣваетъ, а смотритъ, чтобъ они учились и были одѣты, печется о ихъ здоровьи, ходитъ съ ними гулять и говоритъ тотъ вздоръ, который хочетъ, не иначе какъ по-нѣмецки. Если есть въ домѣ гувернеръ, нѣмецъ ему покоряется; если есть дядька, онъ покоряется нѣмцу. Учители, ходящіе по билетамъ, опаздывающіе по непредвидимымъ причинамъ и уходящіе слишкомъ рано, по обстоятельствамъ независящимъ отъ ихъ воли, строятъ нѣмцу куры, и онъ при всей безграмотности начинаетъ себя считать ученымъ. Гувернантки употребляютъ нѣмца на покупки, на всевозможныя комиссіи, но позволяютъ ухаживать за собой только въ случаѣ физическихъ недостатковъ и при совершенномъ отсутствіи другихъ поклонниковъ. Лѣтъ четырнадцати воспитанники ходятъ тайкомъ отъ родителей къ нѣмцу въ комнату курить табакъ; онъ это терпитъ, потому что ему необходимы сильныя вспомогаельныя средства, чтобъ оставаться въ домѣ. Въ самомъ дѣлѣ, большей частью въ это время нѣмца при дѣтяхъ благодарить, дарятъ ему часы и отсылаютъ; если онъ усталъ бродить съ дѣтьми по улицамъ и получать выговоры за наеморъ и нятна на платьяхъ, то нѣмецъ *при дѣтяхъ* становится просто нѣмцемъ, заводитъ небольшую лавочку, продаетъ прежнимъ нитомцамъ мундштуки изъ янтаря, о-де-колонъ, сигарки и дѣлаетъ другого рода *тайныя* услуги имъ <sup>1)</sup>.

Первый нѣмецъ, приставленный за мною, былъ родомъ изъ Шлезіи и назывался Іюкишъ; по моему этой фамиліи было за глаза довольно, чтобъ его не брать. Высокій, плѣшивый мужчина, онъ отличался чрезвычайной нечистоплотностью и хвастался своимъ знаніемъ агрономіи; я думаю, что отецъ мой именно по этому его и взялъ. Я съ отвращеніемъ смотрѣлъ на шленскаго великана и только на томъ мирился съ нимъ, что онъ мнѣ рассказывалъ, гуляя по Дѣвичьему полю и на Ирѣсенскихъ прудахъ, сальныя анекдоты, которые я передавалъ передней. Онъ прожилъ не больше года, напакостилъ что-то въ деревнѣ, садовникъ хотѣлъ его убить косою; отецъ мой велѣлъ ему убираться.

На его мѣсто поступилъ Брауншвейгъ-Вольфенбютельскій солдатъ (вѣроятно, бѣглый) Федоръ Карловичъ, отличавшійся кал-

---

<sup>1)</sup> Органистъ и учитель музыки, о которомъ говорится въ «Запискахъ одного молодого человѣка», II. II. Экъ давалъ только уроки музыки, не имѣвъ никакого вліянія.

лиграфіей и непомѣрнымъ тупоуміемъ. Онъ уже былъ прежде въ двухъ домахъ при дѣтяхъ и имѣлъ нѣкоторый навѣкъ, т. е. придавалъ себѣ видъ гувернера, къ тому же онъ говорилъ по-французски на «ни» съ обратнымъ удареніемъ <sup>1)</sup>).

И не имѣлъ къ нему никакого уваженія и отравлялъ всѣ минуты его жизни, особенно съ тѣхъ поръ, какъ я убѣдился, что, несмотря на всѣ мои усилія, онъ не можетъ понять двухъ вещей: десятичныхъ дробей и тройного правила. Въ душѣ мальчиковъ вообще много безпощаднаго и даже жестокаго; я съ свирѣпостію преслѣдовалъ бѣднаго вольфенбютельскаго егеря пропорціями; меня это до того занимало, что я, мало вступавшій въ подобныя разговоры съ моимъ отцомъ, торжественно сообщилъ ему о глупости Федора Карловича.

Къ тому же Федоръ Карловичъ мнѣ похвастался, что у него есть новый фракъ, синій, съ золотыми пуговицами, и дѣйствительно я его видѣлъ разъ, отправляющагося на какую-то свадьбу во фракъ, который ему былъ широкъ, но съ золотыми пуговицами. Мальчикъ, приставленный за нимъ, донесъ мнѣ, что фракъ этотъ онъ бралъ у своего знакомаго слѣдѣльца въ косметическомъ магазинѣ. Безъ малѣйшаго сожалѣнія присталъ я къ бѣдняку, — гдѣ синій фракъ, да и только?

— У васъ въ домѣ много моли, я его отдалъ къ знакомому портному на сохраненіе.

— «Гдѣ живетъ этотъ портной?»

— Вамъ на что?

— «Отчего-же не сказать?»

— Ненадобно не въ свои дѣла мѣшаться.

— «Ну, пусть такъ, а черезъ недѣлю мои пмепны,—утѣшьте меня, возьмите синій фракъ у портного на этотъ день».

— Нѣтъ, не возьму, вы не заслуживаете, потому что вы «импертинентъ».

И я грозилъ ему пальцемъ.

Надобно же было для послѣдняго удара Федору Карловичу, чтобъ онъ разъ при Бушо, французскомъ учителѣ, похвастался тѣмъ, что онъ былъ рекрутомъ подъ Ватерлоо, и что нѣмцы дали страшную таску французамъ. Бушо только посмотрѣлъ на него и такъ страшно понюхалъ табаку, что побѣдитель Наполеона нѣсколько сконфузился. Бушо ушелъ, сердито опираясь на свою сучковатую палку, и никогда не называлъ его иначе, какъ *le soldat de Villain—ton*. Я тогда еще не зналъ, что каламбуръ этотъ принадлежитъ Беранже, и не могъ нарадоваться на выдумку Бушо.

---

<sup>1)</sup> Англичане говорятъ хуже нѣмцевъ по-французски, но они только коверкаютъ языкъ, нѣмцы о п о д л я ю т ъ его.



Наконецъ, товарищъ Блюхера разсорила съ моимъ отцомъ и оставилъ нанѣ домъ; послѣ этого отецъ мой не тѣшилъ меня больше нѣмцами.

При Брауншвейгъ-Вольфенбютельскомъ воишѣ и иногда похаживать къ какимъ-то мальчикамъ, при которыхъ жилъ его пріятель тоже въ должности «нѣмца» и съ которыми мы дѣлали дальнія прогулки; послѣ него я снова оставался въ совершенномъ одиночествѣ, скучалъ, рвался изъ него и не находилъ выхода. Не имѣя возможности пересилить волю отца, я, можетъ, сломился бы въ этомъ существованіи, если-бъ вскорѣ новая умственная дѣятельность и двѣ встрѣчи, о которыхъ скажу въ слѣдующей главѣ, не спасли меня. Я увѣренъ, что моему отцу ни разу не приходило въ голову, какую жизнь онъ заставляетъ меня вести, иначе онъ не отказывалъ бы мнѣ въ самыхъ невинныхъ желаніяхъ, въ самыхъ естественныхъ просьбахъ.

Изрѣдка отпуская онъ меня съ Сенаторомъ въ французскій театръ, это было для меня высшее наслажденіе; я страстно любилъ представленія, но и это удовольствіе приносило мнѣ столько же горя, сколько радости. Сенаторъ прѣзжалъ со мною въ польніесы и, вѣчно куда-нибудь званный, увозилъ меня прежде конца. Театръ былъ у Арбатскихъ воротъ въ домѣ Апраксина, мы жили въ старой Конопшенной, т. е. очень близко; но отецъ мой строго запретилъ возвращаться безъ Сенатора.

Мнѣ было около пятинадцати лѣтъ, когда мой отецъ пригласилъ священника давать мнѣ уроки богословія, *насколько* это было пужно для вступленія въ университетъ. Катехизисъ попался мнѣ въ руки послѣ Вольтера. Нигдѣ религія не играетъ такой скромной роли въ дѣлѣ воспитанія, какъ въ Россіи, и—это, разумѣется, величайшее счастье. Священнику за уроки закона Божія платятъ всегда поль-цѣны, и даже это такъ, что тотъ же священникъ, если даетъ тоже уроки латинскаго языка, то онъ за нихъ беретъ дороже, чѣмъ за катехизисъ.

Мой отецъ считалъ религію въ числѣ необходимыхъ вещей благовоспитаннаго человѣка; онъ говорилъ, что надобно вѣрить въ Священное Писаніе безъ разсужденій, потому что умомъ тутъ ничего не возьмешь и все мудрованія затемняютъ только предметъ; что надобно исполнять обряды той религіи, въ которой родился, не вдаваясь, впрочемъ, въ излишнюю набожность, которая идетъ старымъ женщинамъ, а мужчинамъ неприлична. Вѣрилъ ли онъ самъ? Я полагаю, что немного вѣрилъ по привычкѣ, изъ приличія и на всякой случай. Впрочемъ, онъ самъ не исполнялъ никакихъ церковныхъ постановленій, защищаясь разстроеннымъ здоровьемъ. Онъ почти никогда не принималъ священника или просилъ его пѣть въ пустой залѣ, куда высылалъ ему синенькую бумажку. Зимою онъ изъ-

винулся тѣмъ, что священникъ и дьяконъ вносятъ такое количество стужи съ собой, что онъ всякой разъ простужается. Въ деревнѣ онъ ходилъ въ церковь и принималъ священника, но это больше изъ свѣтско-правительственныхъ цѣлей, нежели изъ богобоязненныхъ.

Мать моя была лютеранка и, стало-быть, степенью религіознѣе; она всякой мѣсяцъ разъ или два ѣздилъ въ воскресенье въ свою церковь или, какъ Бакай упорно называлъ, «въ свою кирху», и я отъ нечего дѣлать ѣздилъ съ ней. Тамъ я выучился до артистической степени передразнивать нѣмецкихъ пасторовъ, ихъ декламацию и пустословіе, — талантъ, который я сохранилъ до совершеннѣйшаго.

Каждый годъ отецъ мой приказывалъ мнѣ говѣть. Я побаивался неговѣди, и вообще церковная mise en scène поражала меня и пугала; съ истиннымъ страхомъ подходилъ я къ причастію; но религіознымъ чувствомъ я этого не назову; это былъ тотъ страхъ, который наводитъ все непонятное, таинственное, особенно когда ему придаютъ серьезную торжественность. Разговѣвшись послѣ заутрени на святой недѣлѣ и обѣдѣвшись красныхъ яницъ, паехи и кулича, я цѣлый годъ больше не думалъ о религіи.

Но Евангеліе я читалъ много и съ любовью, по-славянски и въ лютеровскомъ переводѣ. Я читалъ безъ всякаго руководства, не все понималъ, но чувствовалъ искреннее и глубокое уваженіе къ читаемому. Въ первой молодости моей я часто увлекался вольтеріанизмомъ, любилъ пропію и насмѣшку, но не помню, чтобы когда-нибудь я взялъ въ руки Евангеліе съ холоднымъ чувствомъ; это меня проводило черезъ всю жизнь; во всѣ возрасты, при разныхъ событіяхъ я возвращался къ чтенію Евангелія, и всякой разъ его содержаніе низводило миръ и кротость на душу.

Когда священникъ началъ мнѣ давать уроки, онъ былъ удивленъ не только общимъ знаніемъ Евангелія, но тѣмъ, что я приводилъ тексты буквально. «Но Господь Богъ, говорилъ онъ, раскрывъ умъ, не раскрылъ еще сердца». И мой теологъ, пожимая плечами, удивлялся моей «двойственности», однако-же былъ доволенъ мною, думая, что у Терновекаго сумѣю держать отвѣтъ.

Вскорѣ религія другого рода овладѣла моей душой.

### ГЛАВА III.

Смерть Александра I и 14 декабря. — Правственное пробужденіе. — Террористъ Бушо. — Корчевская кухня. — II. Огаревъ.

Однимъ зимнимъ утромъ, какъ-то не въ свое время, пріѣхалъ Сенаторъ; озабоченный, онъ скорыми шагами прошелъ въ кабинетъ моего отца и заперъ дверь, показавши мнѣ рукой, чтобъ я остался въ залѣ.

По счастію, мнѣ недолго пришлось ломать голову, догадываясь, въ чемъ дѣло. Дверь изъ передней немного пріотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьимъ мѣхомъ ливрейной шубы, шопотомъ подзывало меня; это былъ лакей Сенатора, я бросился къ двери.

— Вы не слышали? спросилъ онъ.

— «Чего?»

— Государь померъ въ Таганрогѣ.

Новость эта поразила меня; я никогда прежде не думалъ о возможности его смерти; я выросъ въ большомъ уваженіи къ Александру и грустно вспоминалъ, какъ я его видѣлъ незадолго передъ тѣмъ въ Москвѣ. Гуляя, встрѣтили мы его за Тверскою заставой; онъ тихо ѣхалъ верхомъ съ двумя-тремя генералами, возвращаясь съ Ходынки, гдѣ были маневры. Лицо его было привѣтливо, черты мягки и округлы, выраженіе лица усталое и печальное. Когда онъ поровнялся съ нами, я снялъ шляпу и поднимать ее; онъ, улыбаясь, поклонился мнѣ.

... Пока смутныя мысли бродили у меня въ головѣ, и въ лавкахъ продавали портреты императора Константина, пока носились повѣстки о присягѣ и добрые люди торопились поклониться, разнесся слухъ объ отреченіи цесаревича. Велѣдъ за тѣмъ, тотъ же лакей Сенатора, большой охотникъ до политическихъ новостей и которому было гдѣ ихъ собирать по веѣмъ переднимъ сенаторовъ и присутственныхъ мѣстъ, по которымъ онъ ѣздилъ съ утра до ночи, не имѣя выгоды лошадей, которыя мѣнялись послѣ обѣда, сообщилъ мнѣ, что въ Петербургѣ былъ бунтъ и что по Галерной стрѣляли «въ пушки».

На другой день вечеромъ былъ у насъ жандармскій генералъ, графъ Комаровскій; онъ рассказывалъ о каре на Исаакіевской площади, о конно-гвардейской атакѣ, о смерти графа Милорадовича.

А тутъ пошли аресты, «того-то взяли», «того-то схватили», «того-то привезли изъ деревни»; испуганные родители трепетали за дѣтей. Мрачныя тучи заволокли небо.

Въ царствованіе Александра политическія гоненія были рѣдки; онъ сослалъ, правда, Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что

онъ, будучи конференцъ-секретаремъ въ академіи художествъ, предложилъ избрать кучера Илью Байкова въ члены академіи<sup>1)</sup>; но систематическаго преслѣдованія не было. Тайная полиція не разрослась еще въ корпусъ жандармовъ, а состояла изъ канцелярій подъ начальствомъ стараго вольтеріанца, остряка и болтуна и юмориста, въ родѣ Жуи, Де-Санглена. При Николаѣ, Де-Сангленъ поналъ самъ подъ надзоръ полиціи и считался либераломъ, оставаясь тѣмъ же, чѣмъ былъ; по одному этому легко вымѣрять разницу царствованій.

Тонъ общества мѣнялся наглазно; быстрое нравственное паденіе служило печальнымъ доказательствомъ, какъ мало развито было между русскими аристократами чувство личнаго достоинства. Никто (кромѣ женщинъ) не смѣлъ показать участія, произнести теплаго слова о родныхъ, о друзьяхъ, которымъ еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротивъ, являлись дикіе фанатики рабства, одни изъ подлости, а другіе хуже—безкорыстно.

Однѣ женщины не участвовали въ этомъ позорномъ отреченіи отъ близкихъ... и у креста стояли однѣ женщины, и у кровавой гильотины является—то Люсиль Демуленъ, эта Офелія революціи, бродящая возлѣ топора, ожидая свой чередъ, то Ж. Сандъ, подающая на эшафотъ руку участія и дружбы фанатическому юношѣ Алибо.

Жены сосланныхъ въ каторжную работу лишились всѣхъ гражданскихъ правъ, бросали богатство, общественное положеніе и ѣхали на цѣлую жизнь неволи, въ страшный климатъ Восточной Сибири, подъ еще страшнѣйшій гнетъ тамошней полиціи. Сестры, не имѣвшія права ѣхать, удалялись отъ двора, многія оставили Россію; почти всѣ хранили въ душѣ живое чувство любви къ страдальцамъ; но его не было у мужчинъ, страхъ выѣлъ его въ ихъ сердцахъ, никто не смѣлъ заикнуться о *несчастныхъ*.

Коснувшись до этого предмета, я не могу удержаться, чтобъ не сказать нѣсколько словъ объ одной изъ этихъ героическихъ исторій, которая очень мало извѣстна.

Въ старинномъ домѣ Ивашевыхъ жила молодая француженка гувернанткой. Единственный сынъ Ивашева хотѣлъ на ней жениться. Это свело съ ума всю родню его; гвалтъ, слезы, просьбы.

<sup>1)</sup> Президентъ академіи предложилъ въ почетные члены Аракчеева. Лабзинъ спросилъ, въ чемъ состоятъ заслуги графа въ отношеніи къ искусствамъ? Президентъ не нашелся и отвѣчалъ, что Аракчеевъ «самый близкій человѣкъ къ государю». — «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова», замѣтилъ секретарь; «онъ не только близокъ къ государю, но сидитъ передъ нимъ». Лабзинъ былъ мистикъ и издатель «Сіонскаго Вѣстника».

У француженки не было на лицо брата Чернова, убившаго на дуэли Новосильцова и убитаго имъ; ее уговорили уѣхать изъ Петербурга, его—отложить до поры до времени свое намѣреніе. Ивашевъ былъ однимъ изъ энергическихъ заговорщиковъ; его приговорили къ вѣчной каторжной работѣ. Отъ этой *mesalliance* родня не спасла его. Какъ только странная вѣсть дошла до молодой дѣвушки въ Парижѣ, она отправилась въ Петербургъ и попросила дозволенія ѣхать въ Иркутскую губернію къ своему жениху Ивашеву. Бенкендорфъ попытался отклонить ее отъ такого преступнаго намѣренія; ему не удалось и онъ доложилъ Николаю. Николай велѣлъ ей объяснить положеніе женъ, не *измѣнившихъ* мужьямъ, сосланнымъ въ каторжную работу, присовокупляя, что онъ ее не держитъ; но что она должна знать, что если жены, идущія изъ вѣрности съ своими мужьями, заслуживаютъ нѣкотораго снисхожденія, то она не имѣетъ на это ни малѣйшаго права, сознательно вступая въ бракъ съ преступникомъ.

Въ крѣпости ничего не знали о позволеніи, и бѣдная дѣвушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство снисхетъ съ Петербургомъ, въ какомъ-то мѣстечкѣ, населенномъ всякаго рода бывшими преступниками, безъ всякаго средства узнать что-нибудь объ Ивашевѣ и дать ему вѣсть о себѣ.

Мало по малу, она ознакомила съ своими новыми товарищами. Между ними былъ сосланный разбойникъ; онъ работалъ въ крѣпости, она рассказала ему свою исторію. На другой день разбойникъ принесъ ей записочку отъ Ивашева. Черезъ день онъ предложилъ ей носить отъ Ивашева вѣсти и брать ея записки. Съ утра онъ долженъ былъ работать въ крѣпости до вечера; когда наступала ночь, онъ бралъ писемцо Ивашева и отправлялся, несмотря ни на бураны, ни на свою усталъ, и возвращался къ развѣту на свою работу <sup>1)</sup>).

Наконецъ, пришло позволеніе, ихъ обвинчали. Черезъ нѣсколько лѣтъ, каторжная работа замѣнилась поселеніемъ. Положеніе ихъ нѣсколько улучшилось, но силы были потрачены; жена первая пала подъ бременемъ всего испытаннаго. Она увяла, какъ долженъ былъ увянуть цвѣтокъ полуденныхъ странъ на сибирскомъ снѣгу. Ивашевъ же пережилъ ее, онъ умеръ ровно черезъ годъ

<sup>1)</sup> Люди, хорошо знавшіе Ивашевыхъ, говорили мнѣ впоследствии, что они сомнѣваются въ исторіи разбойника и что, говоря о возвращеніи дѣтей и объ участіи брата, нельзя не вспомнить благороднаго поведенія сестеръ Ивашева. Подробности дѣла я слышала отъ Языковой, которая ѣздила къ брату (Ивашеву) въ Сибирь. Но она ли рассказывала о разбойникѣ, я не помню. Не смѣшали ли Ивашеву съ кн. Трубецкой, посылавшей письма и деньги кн. Оболенскому черезъ незнакомаго раскольника? Цѣлы ли письма Ивашева? Намъ кажется, будто мы имѣемъ право на нихъ.



послѣ нея, но и *тогда* онъ уже не былъ здѣсь; его письма (поразившія третье отдѣленіе) носили слѣдъ какого-то безмѣрно-грустнаго, святаго лунатизма, мрачной поэзіи; онъ собственно не жилъ послѣ нея, а тихо, торжественно умиралъ.

Это «житіе» не оканчивается съ ихъ смертью. Отецъ Иванева, послѣ ссылки сына, передалъ свое имѣніе незаконному сыну, прося его не забывать бѣднаго брата и помогать ему. У Иваневыхъ осталось двое дѣтей, двое малютокъ безъ имени, двое будущихъ кантонистовъ, поселъщиковъ въ Сибирь—безъ помощи, безъ правъ, безъ отца и матери. Братъ Иванева попросилъ позволеніе взять дѣтей къ себѣ. Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ рискнулъ другую просьбу, онъ ходатайствовалъ о возвращеніи имъ имени отца; удалось и это.

Разсказы о возмущеніи, о судѣ, ужасѣ въ Москвѣ, сильно поразили меня; мнѣ открывался новый міръ, который становился больше и больше средоточіемъ всего нравственнаго существованія моего; не знаю, какъ это сдѣлалось, но, мало понимая или очень смутно, въ чемъ дѣло, я чувствовалъ, что я не съ той стороны, съ которой картечь и побѣды. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческій сонъ моей души.

Несмотря на то, что политическія мечты занимали меня день и ночь, понятія мои не отличались особенной пропницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображалъ въ самомъ дѣлѣ, что петербургское возмущеніе имѣло, между прочимъ, цѣлью посадить на тронъ цесаревича, ограничивъ его власть.

Само собою разумѣется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежняго, мнѣ хотѣлось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, провѣрить ихъ, слышать имъ подтвержденіе; я слишкомъ гордо сознавалъ себя «злоумышленникомъ», чтобъ молчать объ этомъ или чтобъ говорить безъ разбора.

Первый выборъ палъ на русскаго учителя.

И. Е. Протопоповъ былъ полонъ того благороднаго и неопредѣленнаго либерализма, который часто проходитъ съ первымъ сѣдымъ волосомъ, съ женитьбой и мѣстомъ, но все-таки облагораживаетъ человѣка. Иванъ Евдокимовичъ былъ тронутъ и, уходя, обнялъ меня со словами: «Дай Богъ, чтобъ эти чувства созрѣли въ васъ и укрѣпились». Его сочувствіе было для меня великой отрадой. Онъ послѣ этого сталъ носить мнѣ мелко переписанныя и очень затертыя тетрадки стиховъ Пушкина: *Ода на свободу*, *Кинжалъ*; *Думы Рыльева*; я ихъ переписывалъ тайкомъ... (а теперь печатаю явно!)

Разумѣется, что и чтеніе мое перемѣнилось. Политика впередъ, а главное исторія революціи; я ее зналъ только по разсказамъ М-те Прово. Въ подвальной библіотекѣ открылъ я какую-

то исторію девяностыхъ годовъ, писанную роялистомъ. Она была до того пристрастна, что даже я 14-лѣтъ ей не повѣрилъ. Слышалъ я мелькомъ отъ старика Буно, что онъ во время революціи былъ въ Парижѣ, мнѣ очень хотѣлось разспросить его; но Буно былъ человѣкъ суровый и угрюмый, съ огромнымъ носомъ и очками; онъ никогда не пускался въ излишніе разговоры со мной, спрягалъ глаголы, диктовалъ примѣры, бранилъ меня и уходилъ, опираясь на толстую сучковатую палку.

Старикъ Буно не любилъ меня и считалъ пустымъ шалуномъ за то, что я дурно приготовлялъ уроки, онъ часто говаривалъ: «Изъ васъ ничего не выйдетъ», но когда замѣтилъ мою симпатію къ его идеямъ, онъ смѣшилъ гнѣвъ на милость, прощалъ ошибки и рассказывалъ эпизоды 93 года, и какъ онъ уѣхалъ изъ Франціи, когда «развратные и плуты» взяли верхъ. Онъ съ тою же важною, не улыбаясь, оканчивалъ урокъ, но уже снисходительно говорилъ: «Я право думалъ, что изъ васъ ничего не выйдетъ, но ваши благородныя чувства спасутъ васъ».

Къ этимъ педагогическимъ поощреніямъ и симпатіямъ вскорѣ приевокупилаcь симпатія болѣе теплая и имѣвшая сильное вліяніе на меня.

Въ небольшомъ городкѣ Тверской губерніи жила внучка старшаго брата моего отца. Я ее зналъ съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ, но видался мы рѣдко; она пріѣзжала разъ въ годъ на святки или объ масляницу погостить въ Москву съ своей теткой. Тѣмъ не менѣе мы сблизились. Она была лѣтъ пять старше меня, но такъ мала ростомъ и моложава, что ее можно было еще считать моею ровесницей. Я ее полюбилъ за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человѣчески, т. е. не удивлялась безпрестанно тому, что я выросъ, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочутъ ли въ военную службу и въ какой полкъ, а говорила со мной такъ, какъ люди вообще говорятъ между собой, не оставляя, впрочемъ, докторальный авторитетъ, который дѣвушки любятъ сохранять надъ мальчиками нѣсколько лѣтъ моложе ихъ.

Мы переписывались и очень съ 1824 г., но письма—это опять перо и бумага, опять учебный столъ съ чернильными пятнами и иллюстраціями, вырѣзанными перочнымъ ножомъ; мнѣ хотѣлось ее видѣть, говорить съ ней о новыхъ идеяхъ, — и потому можно себя представить, съ какимъ восторгомъ я услышалъ, что кузина пріѣдетъ въ февралѣ (1826) и будетъ у насъ гостить нѣсколько мѣсяцевъ. Я на своемъ столѣ нацарапалъ числа до ея пріѣзда и смарывалъ прошедшія, иногда намѣренно забывая дни три, чтобъ имѣть удовольствіе разомъ вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго; потомъ и срокъ прошелъ и новый былъ назначенъ, и тотъ прошелъ, какъ всегда бываетъ.

Мы сидѣли разъ вечеромъ съ Иваномъ Евдокимовичемъ въ моей учебной комнатѣ, и Иванъ Евдокимовичъ, по обыкновенію зашивая клеслыми щами всякое предложеніе, толковалъ о «гексаметрѣ», странно рубя на стоны голосомъ и рукой каждый стихъ изъ Гнѣдичевой Илиады; вдругъ на дворѣ снѣгъ завизжалъ какъ-то иначе, чѣмъ отъ городскихъ саней, подвязанный колокольчикъ позванивалъ остаткомъ голоса, говоръ на дворѣ,—я вспыхнулъ въ лицѣ, мнѣ было не до рубленого гнѣва «Ахиллеса, Пелеева сына»; я бросился стремглавъ въ переднюю, а тверская кухня, закутанная въ шубахъ, шаляхъ, шарфахъ, въ канорѣ и въ бѣлыхъ мохнатыхъ сапогахъ, красная отъ морозу, а можетъ и отъ радости, бросилась меня цѣловать.

Люди обыкновенно вспоминаютъ о первой молодости, о тогдашнихъ печаляхъ и радостяхъ немного съ улыбкой спусхожденія, какъ будто они хотятъ, жеманясь какъ Софья Павловна въ «*Горе отъ ума*», сказать: «Ребячество!» Словно они стали лучше послѣ, сильнѣе чувствуютъ или больше. Дѣти года черезъ три стыдятся своихъ игрушекъ,—пусть ихъ, имъ хочется быть большими, они такъ быстро растутъ, мѣняются, они это видятъ по курточкѣ и по страницамъ учебныхъ книгъ; а, кажется, совершеннолѣтнимъ можно бы было понять, что «ребячество» съ двумя-тремя годами юности—самая полная, самая пышная, самая *наша* часть жизни, да и чуть-ли не самая важная, она незамѣтно опредѣляетъ все будущее.

Пока человѣкъ идетъ скромнымъ шагомъ впередъ, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришелъ къ оврагу или не сломалъ себѣ шею, онъ все полагаетъ, что его жизнь впереди, свысока смотритъ на прошедшее и не умѣетъ цѣнить настоящаго. Но когда опытъ прибилъ весенніе цвѣты и остудилъ лѣтній румянецъ, когда онъ догадывается, что жизнь—собственно прошла, а осталось ея продолженіе, тогда онъ иначе возвращается къ свѣтлымъ, къ теплымъ, къ прекраснымъ воспоминаніямъ первой молодости.

Природа съ своими вѣчными уловками и экономическими хитростями *даетъ* юность человѣку, но человѣкъ сложившагося *беретъ* для себя, она его втягиваетъ, впутываетъ въ ткань общественныхъ и семейныхъ отношеній, въ три четверти не зависящихъ отъ него; онъ, разумѣется, даетъ своимъ дѣйствіямъ свой личный характеръ, но онъ гораздо меньше принадлежитъ себѣ, лирическій элементъ личности ослабленъ, а потому и чувства и наслажденіе—все слабѣе, кромѣ ума и воли.

Жизнь кухни шла не по розамъ. Матери она лишилась ребенкомъ. Отецъ былъ отчаянный игрокъ и, какъ все игроки по крови, десять разъ былъ бѣденъ, десять разъ былъ богатъ, и

кончилъ все-таки тѣмъ, что окончательно разорился. Les beaux restes своего достоянiя онъ посвятилъ конскому заводу, на который обратилъ все свои помыслы и страсти. Сынъ его, уланскiй юнкеръ, единственный братъ кузины, очень добрый юноша, шелъ прямымъ путемъ къ гибели; девятнадцати лѣтъ онъ уже былъ болѣе страстный игрокъ, нежели отецъ.

Лѣтъ пятидесяти, безъ всякой нужды, отецъ женился на застарѣлой въ дѣтствѣ воспитанницѣ Смольнаго монастыря. Такого полного, совершеннаго типа петербургской институтки мнѣ не случалось встрѣчать. Она была одна изъ отличнѣйшихъ ученицъ и потому классной дамой въ монастырѣ; худая, бѣлокурая, подслѣпая, она въ самой наружности имѣла что-то дидактическое и назидательное. Вовсе не глухая, она была полна лединой восторженности на словахъ, говорила готовыми фразами о добродѣтели и преданности, знала на память хронологию и географию, до противной степени правильно говорила по-французски и тайла внутри самолюбiе, доходившее до искусственной, iезуитской скромности. Сверхъ этихъ общихъ чертъ «семинаристовъ въ желтой шали», она имѣла чисто нескромныя или смольныя. Она поднимала глаза къ небу, полные слезъ, говорила о посѣщенiяхъ ихъ общей матери (императрицы Марiи Ѳеодоровны), была влюблена въ императора Александра II, помнится, носила медальонъ или перстень съ отрывкомъ изъ письма императрицы Елизаветы—«Il a repris son sourire de bienveillance!»

Можно себя представить стройное trio, составленное изъ отца-игрока, страстнаго охотника до лошадей, цыганъ, шума, пировъ, скачекъ и бѣговъ; дочери, воспитанной въ совершенной независимости, привыкшей дѣлать, что хотѣлось въ домѣ, и ученой дѣвы, вдругъ сдѣлавшейся изъ пожилыхъ наставницъ молодой сиротой. Разумѣется, она не любила падчерицу, разумѣется, что падчерица ее не любила. Вообще между женицнами тридцати-пяти лѣтъ и дѣвушками семнадцати только тогда бываетъ большая дружба, когда первыя самоотверженно рѣшаются не имѣть пола.

Я нисколько не удивляюсь обыкновенной враждѣ между падчерицами и мачихами, она естественна, она нравственна. Новое лицо, вводимое вмѣсто матери, вызываетъ со стороны дѣтей отвращенiе. Второй бракъ—вторые похороны для нихъ. Въ этомъ чувствѣ ярко выражается дѣтская любовь, она шепчетъ широтамъ: «Жена твоего отца вовсе не твоя мать». Христiанство сначала понимало, что съ тѣмъ понятiемъ о бракѣ, которое оно развивало, съ тѣмъ понятiемъ о безсмертiи души, которое оно проповѣдывало, второй бракъ вообще нелѣпость; но дѣлая постоянно уступки міру, церковь перехитрила и встрѣтилась съ неумолимой логикой жизни—съ простымъ дѣтскимъ сердцемъ, практически возстав-

нимъ противъ благочестивой неслѣпости считать подругу отца своей матерью.

Съ своей стороны и женщина, встрѣчающая, выходя изъ-подъ вѣнца, готовую семью, дѣтей, находится въ неловкомъ положеніи; ей печего съ ними дѣлать, она должна птянуть чувства, которыхъ не можетъ имѣть, она должна увѣрить себя и другихъ, что чужія дѣти ей такъ же милы, какъ свои.

Я, стало-быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за ихъ взаимную нелюбовь, но понимаю, какъ молодая дѣвушка, не привыкшувшая къ дисциплинѣ, рвалась куда бы то ни было на волю изъ родительскаго дома. Отецъ, начинавшій стариться, больше и больше покорялся ученой супругѣ своей; улапъ, братья ея, шалили хуже и хуже, словомъ—дома было тяжело, и она, наконецъ, склонила мачиху отпустить ее на нѣсколько мѣсяцевъ, а можетъ и на годъ, къ намъ.

На другой день послѣ пріѣзда, кузина испровергла весь порядокъ моихъ занятій, кромѣ уроковъ; самодержавно назначила часы для общаго чтенія, не совѣтовала читать романы, а рекомендовала Сегорову всеобщую исторію и Анахарсеново путешествіе. Съ стоическаго точки зрѣнія протидѣйствовала она сильнымъ наклонностямъ моимъ курить тайкомъ табакъ, завертывая его въ бумажку (тогда папирсы еще не существовали); вообще она любила мнѣ читать морали,—если я ихъ не исполнялъ, то мирно выслушивалъ. Но счастію, у нея не было выдержки, и, забывая свои распоряженія, она читала со мной повѣсти Цюкоке, вмѣсто археологическаго романа, и посылала тайкомъ мальчика покупать зимой гречневники и гороховой кисель съ постнымъ масломъ, а лѣтомъ крыжовникъ и смородину.

Я думаю, что вліяніе кузины на меня было очень хорошо; теплый элементъ вошелъ съ нею въ мое келейное отрочество, отогрѣлъ, а, можетъ, и сохранилъ едва развертывавшіяся чувства, которыя очень могли быть совсѣмъ подавлены пропіей моего отца. Я научился быть внимательнымъ, огорчаться отъ одного слова, заботиться о другѣ, любить; я научился говорить о чувствахъ. Она поддержала во мнѣ мои политическія стремленія, пророчила мнѣ необыкновенную будущность, славу,—и я съ ребячьимъ самолюбіемъ вѣрилъ ей, что я будущій «Брутъ или Фабрицій».

Мнѣ одному она довѣрила тайну любви къ одному офицеру Александрійскаго гусарскаго полка, въ черномъ ментикѣ и въ черномъ долманѣ; это была дѣйствительная тайна, потому что и самъ гусаръ никогда не подозрѣвалъ, командуя своимъ эскадронъ, какой чистой огонекъ теплился для него въ груди восемнадцатилѣтней дѣвушки. Не знаю, завидовалъ ли я его судьбѣ, вѣроятно немножко, но я былъ гордъ тѣмъ, что она избрала меня



своимъ повѣреннымъ, и воображалъ (по Вертеру), что это одна изъ тѣхъ трагическихъ страстей, которая будетъ имѣть великую развязку, сопровождаемую самоубійствомъ, ядомъ и кинжаломъ; мнѣ даже приходило въ голову идти къ нему и все разсказать.

Кузина привезла изъ Корчевы воланы; въ одинъ изъ волановъ была воткнута булавка, и она никогда не играла другимъ, и всякій разъ, когда онъ попадался мнѣ или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень къ нему привыкла. Демонъ *espègle*, который всегда былъ моимъ злымъ искусителемъ, наустилъ меня перемѣнить булавку, т. е. воткнуть ее въ другой воланъ. Шалость вполнѣ удалась, кузина постоянно брала тотъ, въ которомъ была булавка. Недѣли черезъ двѣ я ей сказала: она перемѣнилась въ лицѣ, залилась слезами и ушла къ себѣ въ комнату. Я былъ испуганъ, несчастенъ и, подождавъ съ полчаса, отправился къ ней; комната была заперта, я просилъ отпереть дверь, кузина не пускала, говорила, что она больна, что я не другъ ей, а бездушный мальчишкѣ. Я написалъ ей записку, умолялъ простить меня; послѣ чая мы помирились, я у ней поцѣловалъ руку, она обняла меня и тутъ объяснила всю важность дѣла. Годъ тому назадъ гусаръ обѣдалъ у нихъ и послѣ обѣда игралъ съ ней въ воланъ, его-то воланъ и былъ отмѣченъ. Меня угрызала совѣсть, я думалъ, что я сдѣлалъ истинное святотатство.

Кузина оставалась до октября мѣсяца. Отецъ звалъ ее назадъ и обѣщалъ черезъ годъ отпустить ее къ намъ въ Васильевское. Мы съ ужасомъ ждали разлуки, и вотъ однимъ осеннимъ днемъ пріѣхала за ней бричка и горничная ея понесла класть кузовки и коробки, наши люди уложили всякихъ дорожныхъ припасовъ на цѣлую недѣлю, толпились у подъѣзда и прощались. Крѣпко обнялись мы, она плакала и я плакалъ, бричка выѣхала на улицу, повернула въ переулокъ возлѣ того самого мѣста, гдѣ продавали гречневники и гороховой кнессель, и исчезла; я походилъ по двору, — такъ что-то холодно и дурно; вошелъ въ свою комнату, — и тамъ будто пусто и холодно, принялся готовить урокъ Ивану Евдокимовичу, а самъ думалъ, гдѣ-то теперь кибитка, проѣхала заставу или нѣтъ?

Одно меня утѣшало: въ будущемъ іюнѣ вмѣстѣ въ Васильевскомъ!

Для меня деревня была временемъ воскресенія, я страстно любилъ деревенскую жизнь. Лѣса, поля и воля вольная, — все это мнѣ было такъ ново, выросшему въ хлопкахъ, за каменными стѣнами, не смѣя выйти ни подъ какимъ предлогомъ за ворота безъ спроса и безъ сопровожденія лакея.

«Вѣдемъ мы нынѣшній годъ въ Васильевское, или нѣтъ?» Вопросъ этотъ сильно занималъ меня съ весны. Отецъ мой всякій разъ говорилъ, что въ этомъ году онъ уѣдетъ рано, что ему хо-

чется видѣть, какъ распускается листь, и никогда не могъ собраться прежде іюля. Иной годъ онъ такъ опаздывалъ, что мы совсѣмъ не ѣздили. Въ деревню писалъ онъ всякую зиму, чтобъ домъ былъ готовъ и протопленъ, но это дѣлалось больше по глубокимъ политическимъ соображеніямъ, нежели серьезно, для того, чтобъ староста и земскій, боясь близкаго пріѣзда, внимательнѣе смотрѣли за хозяйствомъ.

Кажется, что ѣдемъ. Отецъ мой говорилъ Сенатору, что очень хотѣлось бы ему отдохнуть въ деревнѣ и что хозяйство требуетъ его присмотра, но опять проходили недѣли.

Мало по малу дѣло становилось вѣроятнѣе, запасы начинали отпираться, сахаръ, чай, разная крупа, вино,—тутъ снова пауза, и, наконецъ, приказъ старостѣ, чтобъ къ такому-то дню прислалъ столько-то крестьянскихъ лошадей. Итакъ, ѣдемъ, ѣдемъ!

Я не думалъ тогда, какъ была тягостна для крестьянъ въ самую рабочую пору потеря четырехъ или пяти дней, радовался отъ души и торопился укладывать тетради и книги. Лошадей приводили, я съ внутреннимъ удовольствіемъ слушалъ ихъ жеваніе и фырканіе на дворѣ и принималъ большое участіе въ суетѣ кучеровъ, въ спорахъ людей о томъ, гдѣ кто сядетъ, гдѣ кто положить свои пожитки; въ людской огонь горѣлъ до самого утра и всѣ укладывались, таскали съ мѣста на мѣсто мѣшки и мѣшочки и одѣвались по-дорожному (ѣхать всего было около восьмидесяти верстъ). Всего болѣе раздраженъ былъ камердинеръ моего отца; онъ чувствовалъ всю важность укладки, съ ожесточеніемъ выбрасывалъ все положенное другимъ, рвалъ себѣ волосы на головѣ отъ досады и былъ неприступенъ.

Отецъ мой вовсе не раньше вставалъ на другой день, казалось даже позже обыкновеннаго, также продолжительно пилъ кофе и, наконецъ, часовъ въ одиннадцать приказывалъ закладывать лошадей. За четверомѣтной каретой, заложеной шестью господскими лошадьми, ѣхали три, иногда четыре повозки: коляска, бричка, фура или, вмѣсто ея, двѣ телеги; все это было наполнено дворовыми и пожитками, несмотря на обозы, прежде отправленные,—все было биткомъ набито, такъ что никому нельзя было порядочно сидѣть.

На полдорогѣ мы останавливались обѣдать и кормить лошадей въ большомъ селѣ Церхушковѣ, имя котораго попалось въ наполеоновскіе бюллетени. Село это принадлежало сыну «старшаго брата», о которомъ мы говорили при раздѣлѣ. Запущенной барскій домъ стоялъ на большой дорогѣ, окруженной плоскими безотрадными полями; но мнѣ и эта пыльная даль очень нравилась послѣ городской тѣсноты. Въ домѣ покоробленные полы и ступени лѣстницы качались, шаги и звуки раздавались рѣзко, стѣны вторили имъ будто съ удивленіемъ. Старинная мебель изъ кунстъ-

камеры прежняго владѣльца доживала свой вѣкъ въ этой ссылкѣ; я съ любопытствомъ бродилъ изъ комнаты въ комнату, ходилъ вверхъ, ходилъ внизъ, отпраплялся въ кухню. Тамъ нашъ поваръ приготавлилъ наскоро дорожный обѣдъ съ недовольнымъ и пропическимъ видомъ. Въ кухнѣ сидѣлъ обыкновенно бурмистръ, съдой старикъ съ шишкой на головѣ; поваръ, обращаясь къ нему, критиковалъ плиту и очагъ, бурмистръ слушалъ его и по временамъ лапониически отвѣчалъ: «И то—пожалуй, что и такъ» и невесело посматривалъ на всю эту тревогу, думая, когда нелегкая ихъ пронесетъ.

Обѣдъ подавался на особенномъ англійскомъ сервисѣ изъ жести или изъ какой-то композиціи, купленномъ *ad hoc*. Между тѣмъ лошади были заложены; въ передней и въ сѣняхъ собиравлись охотники до придворныхъ встрѣчъ и проводовъ: лакеи, оканчивающіе жизнь на хлѣбѣ и чистомъ воздухѣ, старухи, бывшія смазливymi горничными лѣтъ тридцать тому назадъ, вся эта саранча господскихъ домовъ, поѣдающая крестьянскій трудъ безъ собственной вины, какъ настоящая саранча. Съ ними приходили дѣти съ свѣтлоналевыми волосами; босые и запачканные, они все совались впередъ, старухи все ихъ дергали назадъ; дѣти кричали, старухи кричали на нихъ, ловили меня при всякомъ случаѣ и великій годъ удивлялись, что я такъ выросъ. Отецъ мой говорилъ съ ними нѣсколько словъ; одни подходили къ *ручкѣ*, которую онъ никогда не давалъ, другіе кланялись,—и мы уѣзжали.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Вяземы князя Голицына дождался васильевскій староста, верхомъ, на опушкѣ лѣса и провожалъ проселкомъ. Въ селѣ, у господскаго дома, къ которому вела длинная липовая аллея, встрѣчалъ священникъ, его жена, причетники, дворовые, нѣсколько крестьянъ и дуракъ Пронька, который одинъ чувствовалъ человѣческое достоинство, не снималъ засаленной шляпы, улыбался, стоя нѣсколько поодаль, и давалъ стрѣчка, какъ только кто-нибудь изъ городескихъ хотѣлъ подойти къ нему.

Я мало видалъ мѣстъ изыщитѣ Васильевского. Кто знаетъ Кунцово и Архангельское Юсупова, или имѣніе Лопухина противъ Савина монастыря, тому довольно сказать, что Васильевское лежитъ на продолженіи того же берега, верстъ тридцать отъ Савина монастыря. На отлогой сторонѣ—село, церковь и старый господскій домъ. По другую сторону—гора и небольшая деревенька, тамъ построилъ мой отецъ новый домъ. Видъ изъ него обнималъ версты пятнадцать кругомъ: озера нивъ, колеблясь, стлались безъ конца; разныя усадьбы и села съ бѣлѣющими церквами видны были тамъ-сямъ; лѣса разныхъ цвѣтовъ дѣлали полукруглую раму, и черезъ все—голубая тесьма Москвы-рѣки. Я открывалъ окно рано утромъ въ своей комнатѣ наверху и смотрѣлъ, и слушалъ, и дышалъ.

При всемъ томъ мнѣ было жаль старѣй каменный домъ, можетъ, оттого, что я въ немъ встрѣтился въ первый разъ съ деревней; и такъ любилъ длинную, тѣнистую аллею, которая вела къ нему, и одичалый садъ возлѣ; домъ разваливался, и изъ одной трещины въ сѣняхъ росла тоненькая, стройная береза. Налѣво по рѣкѣ шла пловая аллея, за нею тростникъ и бѣлый песокъ до самой рѣки; на этомъ пескѣ и въ этомъ тростникѣ игрывалъ я, бывало, цѣлое утро—лѣтъ одиннадцати, двѣнадцати. Передъ домомъ сидѣли почти всегда сгорбленный старикъ, садовникъ, тропилъ мятную воду, отваривалъ ягоды и тайкомъ кормилъ меня всякой овощью. Въ саду было множество воронъ; гнѣзда ихъ покрывали макушки деревьевъ, онѣ кружились около нихъ и каркали; иногда особенно къ вечеру, онѣ вспархивали цѣлыми сотнями, шумя и поднимая другихъ; иногда, одна какая-нибудь перелетитъ паскоро съ дерева на дерево, и все затихнетъ... А къ ночи издали гдѣ-то сова то плачетъ, какъ ребенокъ, то заливается хохотомъ... Я боялся этихъ дикихъ, плачевныхъ звуковъ, а все-таки ходилъ ихъ слушать.

Каждый годъ или, по крайней мѣрѣ, черезъ годъ ѣздили мы въ Васильевское. И, уѣзжая, мѣтилъ на стѣнѣ возлѣ балкона мой ростъ, и тотчасъ отпраплялся свидѣтельствовать, сколько меня прибыло. Но я могъ деревней мѣрить не одинъ физическій ростъ: періодическія возвращенія къ тѣмъ-же предметамъ наглядно показывали разницу внутренняго развитія. Другія книги привозились, другіе предметы занимали. Въ 1823 я еще совсѣмъ былъ ребенкомъ, со мной были дѣтскія книги, да и тѣхъ я не читалъ, а занимался всего больше зайцемъ и векшей, которые жили въ чуланѣ возлѣ моей комнаты. Одно изъ главныхъ наслажденій состояло въ разрѣшеніи моего отца каждый вечеръ разъ выстрѣлить изъ фальконета, причемъ, само собою разумѣется, вся дворня была занята, и пятидесятилѣтніе люди съ просѣдью такъ же тѣшились, какъ я. Въ 1827 я привезъ съ собою Плутарха и Шиллера; рано утромъ уходилъ я въ лѣсъ, въ чащу, какъ можно дальше; тамъ ложился подъ дерево и, воображая, что это Богемскіе лѣса, читалъ самъ себѣ велухъ; тѣмъ не меньше, еще плотина, которую я дѣлалъ на небольшомъ ручьѣ съ помощью одного дворянаго мальчика, меня очень занимала, и я въ день десять разъ бѣгалъ ее осматривать и поправлять. Въ 1829—30 годахъ я писалъ *философскую* статью о шиллеровомъ Валленштейнѣ, и изъ прежнихъ игръ удержался въ силѣ одинъ фальконетъ.

Впрочемъ, сверхъ палбы еще другое наслажденіе осталось моей неизмѣнной страстью—сельскіе вечера; они и теперь, какъ тогда, остались для меня минутами благочестія, тишины и поэзіи. Одна изъ послѣднихъ кротко-свѣтлыхъ минутъ въ моей жизни тоже напоминаетъ мнѣ сельскій вечеръ. Солнце опускалось

торжественно, ярко въ океанъ огня, распускалось въ немъ... Вдругъ густой пурпуръ смѣнился синей темнотой; все подернулось дымчатымъ испареніемъ, въ Италіи сумерки начинаются быстро. Мы сѣли на муловъ; по дорогѣ изъ Фраскати въ Римъ надобно было проѣзжать небольшою деревенькой; кой-гдѣ уже горѣли огоньки, все было тихо, копыта муловъ звонко постукивали по камню, свѣжій и нѣсколько сырой вѣтеръ подувалъ съ Апеннинъ. При выѣздѣ изъ деревни въ нишѣ стояла небольшая мадонна, передъ нею горѣлъ фонарь; крестьянскія дѣвушки, шедшія съ работы, покрытыя своимъ бѣлымъ убрусомъ на головѣ, опустили на колѣна и заплѣли молитву, къ нимъ присоединились шедшіе мимо нищіе пиферари; я былъ глубоко потрясенъ, глубоко тронутъ. Мы посмотрѣли другъ на друга... и тихимъ шагомъ поѣхали къ остеріи, гдѣ насъ ждала коляска. Ъхавши домой, я рассказывалъ о вечерахъ въ Васильевскомъ. А что рассказывать?

Дерева сада  
Стояли тихо. По холмамъ  
Тянулась сельская ограда,  
И расходилось по домамъ  
Уныло медленное стадо.

(Юморъ).

... Пастухъ хлопаетъ длиннымъ бичемъ да играетъ на берестовой дудкѣ; мычанье, блеянье, топанье по мосту возвращающагося стада, собака подгоняетъ лаемъ разсѣянную овцу и та бѣжитъ какимъ-то деревяннымъ курць-галопомъ; а тутъ пѣсни крестьянокъ, идущихъ съ поля, все ближе и ближе; но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Изъ домовъ, скрипя воротами, выходятъ дѣти, дѣвочки—встрѣчаютъ своихъ коровъ, барановъ, работа кончилась. Дѣти играютъ на улицѣ, у берега, и ихъ голоса раздаются пронзительно-чисто по рѣкѣ и по вечерней зарѣ; къ воздуху примѣшивается паленый запахъ овиновъ, роса начинается исподволь стлать дымомъ по полю, надъ лѣсомъ вѣтеръ какъ-то ходитъ вслухъ, словно листъ закипаетъ, а тутъ зарница дрожа освѣтитъ замирающей, трепетной лазурью окрестности, и Вѣра Артамоновна, больше ворча, нежели сердясь, говоритъ, найдя меня подъ липой:

— «Что это васъ нигдѣ не сыщешь, и чай давно поданъ и все въ сборѣ, я уже искала, искала васъ, ноги устали, не подь лѣта мнѣ бѣгать; да и что это на сырой травѣ лежать?... Вотъ будетъ завтра насморкъ, непременно будетъ».

— Ну, полноте, полноте, говорилъ я смѣясь старушкѣ, и насморку не будетъ, и чаю я не хочу, а вы мнѣ украдѣте сливокъ получше съ самаго верху.



— «Въ самомъ дѣлѣ, ужъ какой вы, на васъ и сердиться нельзя... Лакомство какое! сливки-то я уже и безъ вашего спроса приготовила. А вотъ зарница... хорошо! это къ хлѣбу зарить».

И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой.

Послѣ 1832 года мы не ѣздили больше въ Васильевское. Въ продолженіе моей ссылки, мой отецъ продалъ его. Въ 1843 году мы жили въ другой подмосковной, въ Звенигородскомъ уѣздѣ, верстѣ двадцать отъ Васильевского. Какъ же было не съѣздить на старое пенеліе. И вотъ, мы опять ѣдемъ тѣмъ же проселкомъ; открывается знакомый боръ и гора, покрытая орѣшникомъ, а тутъ и бродъ черезъ рѣку; этотъ бродъ, приводившій меня двадцать лѣтъ тому назадъ въ восторгъ—вода брызжетъ, мелкіе камни хрустятъ, кучера кричатъ, лошади упряются... Ну вотъ и село, и домъ священника, гдѣ онъ сживалъ на лавочкѣ въ буромъ подрясникѣ, простодушный, добрый, рыжеватый, вѣчно въ поту, всегда что-нибудь прикусывавшій и постоянно одержимый икотой; вотъ и канцелярія, гдѣ земскій Василій Епифановъ, никогда не бывшій трезвымъ, писалъ свои отчеты, скорчившись надъ бумагой, и держа перо у самаго концѣ, круто подогнувши третій палецъ подъ него. Священникъ умеръ, Василій Епифановъ пишетъ отчеты и напивается въ другой деревнѣ. Мы остановились у старостихи, мужъ ея былъ на полѣ.

Что-то чужое прошло тутъ въ эти десять лѣтъ; вмѣсто нашего дома на горѣ стоялъ другой, около него былъ разбитъ новый садъ. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встрѣтили какое-то уродливое существо, танцвишееся почти на четверенькахъ; оно мнѣ показывало что-то, я подошелъ, — это была горбатая и разбитая параличемъ полууродливая старуха, жившая подаяніемъ и работавшая въ огородѣ прежняго священника; ей было тогда уже лѣтъ около семидесяти и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала: «Охъ, уже и ты-то какъ состарился, я по поступи тебя только узнала, а я—ужъ, я-то—о, о, охъ—и не говори!»

Когда мы ѣхали назадъ, я увидѣлъ издали на полѣ старосту, того же, который былъ при насъ; онъ сначала не узналъ меня, но когда мы проѣхали, онъ, какъ бы спохватившись, снялъ шляпу и низко кланялся. Проѣхавъ еще нѣсколько, я обернулся, староста Григорій Горскій все еще стоялъ на томъ же мѣстѣ и смотрѣлъ намъ вслѣдъ; его высокая, бородатая фигура, кланяющаяся середь пивы, знакомо проводила насъ изъ отчуждившагося Васильевского.

## ГЛАВА IV.

### Никъ и Воробьевы горы.

«Напиши тогда, какъ въ этомъ мѣстѣ  
(на Воробьевыхъ горахъ) развилась исто-  
рія нашей жизни, т. е. моей и твоей».

Июль 1833.

Года за три до того времени, о которомъ идетъ рѣчь, мы гуляли по берегу Москвы-рѣки въ Лужникахъ, т. е. по другую сторону Воробьевыхъ горъ. У самой рѣки мы встрѣтили знакомаго намъ француза-губернера въ одной рубашкѣ, онъ былъ перепуганъ и кричалъ: «тонетъ! тонетъ!» Но прежде, нежели нашъ пріятель успѣлъ снять рубашку или надѣть панталоны, уральскій казакъ сбѣжалъ съ Воробьевыхъ горъ, бросился въ воду, печезъ и черезъ минуту явился съ тѣдущимъ человѣкомъ, у котораго голова и руки болтались, какъ платье, вывѣшенное на вѣтеръ; онъ положилъ его на берегъ, говоря: «еще отходитесь, стоитъ покачать».

Люди, бывшіе около, собрали рублей пятьдесятъ и предложили казаку. Казакъ безъ ужимокъ очень простодушно сказалъ: «Грѣшно за эдакое дѣло деньги брать и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочемъ, прибавилъ онъ, мы люди бѣдные, просить не просимъ, ну, а коли даютъ — отчего не взять, покорнѣйше благодаримъ». Потомъ, завязавши деньги въ платокъ, онъ пошелъ пасти лошадей на гору.

Мой отецъ спросилъ его имя и написалъ на другой день о бывшемъ Эсену. Эссенъ произвелъ его въ урядники. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ явился къ намъ казакъ и съ нимъ надушенный, рябой, лысый, въ завитой бѣлокурой надкладкѣ нѣмецъ: онъ пріѣхалъ благодарить за казака, это былъ утопленникъ. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ бывать у насъ.

Карлъ Ивановичъ Зоненбергъ оканчивалъ тогда нѣмецкую часть воспитанія какихъ-то двухъ повѣсь, отъ нихъ онъ перешелъ къ одному симбирскому помѣщику, отъ него къ дальнему родственнику моего отца. Мальчикъ, котораго физическое здоровье и германское произношеніе было ему ввѣрено и котораго Зоненбергъ называлъ Никомъ, мнѣ нравился, въ немъ было что-то доброе, кроткое и задумчивое; онъ вовсе не походилъ на другихъ мальчиковъ, которыхъ мнѣ случалось видѣть, тѣмъ не менѣе сближались мы туго. Онъ былъ молчаливъ, задумчивъ; я рѣзовъ, но боялся его тормошить.

Около того времени, какъ тверская кузина уѣхала въ Корчеву, умерла бабушка Ника, матери онъ лишился въ первомъ дѣтствѣ. Въ ихъ домѣ была суета, и Зоненбергъ, которому нечего было дѣлать, тоже хлопоталъ и представлялъ, что сбить съ ногъ; онъ привелъ Ника съ утра къ намъ и просилъ его на весь день оставить у насъ. Никъ былъ грустенъ, испуганъ; вѣроятно, онъ любилъ бабушку. Онъ такъ поэтически вспомнилъ ее потомъ:

И вотъ теперь въ вечерній часъ  
Заря блеститъ стезею длинной,  
Я вспоминаю, какъ у насъ  
Давно обычаи были старинной,  
Предъ воскресеньемъ каждый разъ  
Ходилъ къ намъ попъ съдой и чинной  
И передъ образомъ святымъ  
Молился съ причетомъ своимъ.

Старушка бабушка моя,  
На креслахъ опершись, стояла,  
Молитву шепотомъ твоя,  
И четки все перебирала;  
Въ дверяхъ знакомая семья  
Дворовыхъ лицъ мольбѣ внимала,  
И въ землю кланялись они,  
Проси у Бога долги дни.

А блескъ вечерній по окнамъ  
Межъ тѣмъ горѣлъ ....  
Но залъ изъ кадила дымъ  
Носился клубомъ голубымъ.

И все такую тишиной  
Кругомъ дышало, только чтенье  
Дьячковъ звучало, и съ душой  
Дружилося тайное стремленье,  
И смутно съ дѣтскою мечтой  
Ужъ грусти тихой ощущенье  
Я безсознательно сближать,  
И все чего-то такъ желать.

*Юморъ.*

..... Посидѣвши немного, я предложилъ читать Шиллера. Меня удивляло сходство нашихъ вкусовъ; онъ зналъ на память гораздо больше, чѣмъ я, и зналъ именно тѣ мѣста, которыя мнѣ такъ нравились; мы сложили книгу и выштыковали, такъ сказать, другъ въ другъ симпатію.

Ненапечатанные стихи Пушкина и Рылѣева были и ему извѣстны; разница съ пустыми мальчиками, которыхъ я изрѣдка встрѣчалъ, была разительна. У него сердце такъ же билось, какъ у меня; онъ также отчалилъ отъ угрюмаго консервативнаго бе-

рега, стоило дружище отпихиваться, и мы, чуть ли не въ первый день, рѣшились дѣйствовать въ пользу цесаревича *Константина*.

Прежде мы имѣли мало долгихъ бесѣдъ. Карлъ Ивановичъ мѣшалъ, какъ осенняя муха, и портилъ всякой разговоръ своимъ присутствіемъ, во все мѣшался, ничего не понимая, дѣлалъ замѣчанія, поправлялъ воротникъ рубашки у Ника, торопился домой, словомъ, былъ очень противенъ. Черезъ мѣсяцъ мы не могли провести двухъ дней, чтобъ не увидѣться, или не написать письма; я съ порывистостью моей натуры привязывался больше и больше къ Нику, онъ тихо и глубоко любилъ меня.

Дружба наша должна была съ самаго начала принять характеръ серьезный. Я не помню, чтобъ шалости занимали насъ на первомъ планѣ, особенно когда мы были одни. Мы, разумѣется, не сидѣли съ нимъ на одномъ мѣстѣ, лѣта брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зоненберга и стрѣляли на нашемъ дворѣ изъ лука; но основа всего была очень далека отъ пустого товарищества; насъ связывала, сверхъ равенства лѣтъ, сверхъ нашего «химическаго» сродства, наша общая религія. Ничего въ свѣтѣ не очищаетъ, не облагораживаетъ такъ отроческій возрастъ, не хранить его, какъ сильно возбужденный общечеловѣческій интересъ. Мы уважали въ себѣ наше будущее, мы смотрѣли другъ на друга, какъ на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили съ Никомъ за городъ; у насъ были любимыя мѣста—Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Онъ приходилъ за мной съ Зоненбергомъ часовъ въ шесть или семь утра и, если я спалъ, бросалъ въ мое окно песокъ и маленькіе камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти къ нему.

Раннія прогулки эти завелъ неутомимый Карлъ Ивановичъ.

Зоненбергъ въ помѣщичьи-патріархальномъ воспитаніи Огарева играетъ роль Бирона. Съ его появленіемъ вліяніе старика дядьки было устранено; скрѣпя сердце, молчала недовольная олигархія передней, понимая, что проклятаго нѣмца, кушающаго за господскимъ столомъ, не пересплишь. Круто измѣнилъ Зоненбергъ прежніе порядки; дядька даже прослезился, узнавъ, что нѣмчура повелѣтъ молодого барина *самого* покупать въ лавки готовые сапоги. Переворотъ Зоненберга такъ же, какъ переворотъ Петра I, отличался военнымъ характеромъ въ дѣлахъ самыхъ мирныхъ. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы худенькія плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погонюмъ или эполетами,—но природа такъ устроила нѣмца, что если онъ не доходитъ до неряшества и *sans gêne* филологіей или теологіей, то какой бы онъ ни былъ статскій, все-таки онъ военный. Въ силу этого и Карлъ Ивановичъ любилъ и узкія платья, застегнутыя и съ перехватомъ, въ силу

этого и онъ былъ строгій блюститель собственныхъ правилъ и, положивши вставать въ шесть часовъ утра, поднималъ Ника въ 59 минутъ шестого и никакъ не позже одной минуты седьмого и отправлялся съ нимъ на чистый воздухъ.

Воробьевы горы, у подножія которыхъ тонулъ Карлъ Ивановичъ, скоро сдѣлались нашими «святыми холмами».

Разъ послѣ обѣда, отецъ мой собрался ѣхать за городъ. Огаревъ былъ у насъ, онъ пригласилъ и его съ Зоненбергомъ. Поѣздки эти были не шуточными дѣлами. Въ четверомѣстной каретѣ «работы Юхима», что не мѣшало ей въ пятнадцатилѣтнюю, хотя и покойную, службу состарѣться до безобразія и быть по-прежнему тяжелой осадной мортиры, до заставы надобно было ѣхать часъ или больше. Четыре лошади разнаго роста и не одного цвѣта, облѣпившіяся въ праздной жизни и наѣвнія себя животы, покрывались черезъ четверть часа потомъ и мыломъ; это было *запрещено* кучеру Авдѣю, и ему оставалось ѣхать шагомъ. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жаръ ни былъ; и ко всему этому рядомъ съ равномерно-гнетущимъ надзоромъ моего отца, безпокойно суетливый, тормошащій надзоръ Карла Ивановича; но мы охотно подвергались всему, чтобъ быть вмѣстѣ.

Въ Лужникахъ мы переѣхали на лодкѣ Москву-рѣку на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ казакъ вытаскилъ изъ воды Карла Ивановича. Отецъ мой, какъ всегда, шелъ угрюмо и сгорбившись; возлѣ него мелкими шажками сѣменилъ Карлъ Ивановичъ, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли отъ нихъ впередъ и, далеко опередивши, взбѣжали на мѣсто закладки Витбергова храма, на Воробьевыхъ горахъ.

Занывавшись и раскраснѣвшись, стояли мы тамъ, обтирая потъ. Садилось солнце, купола блестѣли, городъ стлался на необозримое пространство подъ горой, свѣжій вѣтерокъ подувалъ на насъ; постояли мы, постояли, оперлись другъ на друга и, вдругъ обнявшись, присягнули, въ виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта можетъ показаться очень натянутой, очень театральной, а между тѣмъ, черезъ двадцать шесть лѣтъ, я тронуть до слезъ, вспоминая ее: она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но видно одинакая судьба поражаетъ всѣ обѣты, данные на этомъ мѣстѣ; Александръ былъ тоже искрененъ, положивши первый камень храма, который, какъ Іосифъ II сказалъ, и притомъ ошибочно, при закладкѣ какого-то города въ Новороссіи,—сдѣлался послѣднимъ.

Мы не знали всей силы того, съ чѣмъ вступали въ бой, но бой приняли. Сила сломила въ насъ многое, *но не она* насъ сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на всѣ ея удары. Руб-



цы, полученные отъ нея, почетны, свихнутая нога Иакова была знаменіемъ того, что онъ боролся ночью съ Богомъ.

Съ этого дня Воробьевы горы сдѣлались для насъ мѣстомъ богомолья, и мы въ годъ разъ или два ходили туда, и всегда одни. Тамъ спрашивалъ меня Огаревъ, нить лѣтъ спустя, робко и застѣнчиво, вѣрю ли я въ его поэтический талантъ, и писалъ мнѣ потомъ (1833) изъ своей деревни: «Выѣхалъ я, и мнѣ стало грустно, такъ грустно, какъ никогда не бывало. А все Воробьевы горы. Долго я самъ въ себѣ таилъ восторгъ; застѣнчивость или что-нибудь другое, чего я и самъ не знаю, мѣшало мнѣ высказать ихъ, но на Воробьевыхъ горахъ этотъ восторгъ не былъ отягченъ одиночествомъ, ты раздѣлялъ его со мной, и эти минуты незабвенны, онѣ, какъ воспоминація о быломъ счастьи, преслѣдовали меня дорогой, а вокругъ я только видѣлъ лѣсъ; все было такъ синѣ, синѣ, а на дунѣ темно, темно».

«Наниши, заключалъ онъ, какъ въ этомъ мѣстѣ (на Воробьевыхъ горахъ) развилась исторія нашей жизни, т. е. моей и твоей».

Прошло еще пять лѣтъ, я былъ далеко отъ Воробьевыхъ горъ, но возлѣ меня угрюмо и печально стоялъ ихъ Прометей—А. П. Витбергъ. Въ 1842, возвратившись окончательно въ Москву, я снова посѣтилъ Воробьевы горы, мы опять стояли на мѣстѣ закладки, смотрѣли на тотъ же видъ, и также вдвоемъ,—но не съ Никомъ.

Съ 1827 мы не разлучались. Въ каждомъ воспоминаніи того времени, отдѣльномъ и общемъ, вездѣ на первомъ планѣ онъ съ своими отроческими чертами, съ своей любовью ко мнѣ. Рано виднѣлось въ немъ то помазаніе, которое достается немногимъ, на бѣду ли, на счастье ли, не знаю, но навѣрное на то, чтобы не быть въ толпѣ. Въ домѣ у его отца долго потомъ оставался большой писанный масляными красками портретъ Огарева того времени (1827—28 года). Впослѣдствіи часто останавливался я передъ нимъ и долго смотрѣлъ на него. Онъ представленъ съ раскинутымъ воротникомъ рубашки; живописецъ чудно схватилъ богатые капитановыя волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильныхъ чертъ и нѣсколько смуглый колоритъ; на холстѣ виднѣлась задумчивость, предвѣщая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвѣчивали изъ сѣрыхъ большихъ глазъ, намекая на будущій ростъ великаго духа; такимъ онъ и выросъ. Портретъ этотъ, подаренный мнѣ, взяла чужая женщина; можетъ, ей попадутся эти строки, и она его пришлетъ мнѣ.

Я не знаю, почему даютъ какой-то монополю воспоминаніямъ первой любви надъ воспоминаніями молодой дружбы. Первая любовь потому такъ благоуханна, что она забываетъ различіе по-

ловъ, что она страстная дружба. Съ своей стороны дружба между юнонами имѣетъ всю горячность любви и весь ея характеръ, та же застѣнчивая боязнь касаться словомъ своихъ чувствъ, та же недовѣріе къ себѣ, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желаніе исключительности.

Я давно любилъ и любилъ страстно Нюка, но не рѣшался назвать его «другомъ», и когда онъ жилъ лѣтомъ въ Кунцовѣ, я писалъ ему въ концѣ писъма: «Другъ вашъ или нѣтъ, еще не знаю». Онъ первый сталъ мнѣ писать *ты* и называлъ меня своимъ Агатономъ по Карамзину, а я звалъ его моимъ Рафаиломъ по Шиллеру <sup>1)</sup>.

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, такъ, какъ улыбаются, думая о своемъ пятнадцатомъ годѣ. Или не лучше ли призадуматься надъ своимъ: «Таковъ ли былъ я, расцвѣтая?» и благословить судьбу, если у васъ *была* юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у васъ былъ тогда другъ.

Языкъ того времени намъ сдается натянутымъ, книжнымъ; мы отучились отъ его неустоявшейся восторженности, нестройнаго одушевленія, смѣняющагося вдругъ то томной нѣжностью, то дѣтскимъ смѣхомъ. Онъ былъ бы смѣшонъ въ тридцатилѣтнемъ человѣкѣ, какъ знаменитое *Betina will schlafen*, но въ свое время этотъ отроческій языкъ, этотъ *jargon de la puberté*, эта перемѣна психическаго голоса—очень откровенны, даже книжный отбѣнокъ естественъ возрасту теоретическаго знанія и практическаго невѣжества.

Шиллеръ остался нашимъ любимцемъ <sup>2)</sup>; лица его драмъ были для насъ существующія личности, мы ихъ разбирали, любили и ненавидѣли не какъ поэтическія произведенія, а какъ живыхъ людей. Сверхъ того, мы въ нихъ видѣли самихъ себя. Я писалъ къ Нюку, нѣсколько озабоченный тѣмъ, что онъ слишкомъ любитъ Фіеско, что за «всякимъ» Фіеско стоитъ свой Верина. Мой идеалъ былъ Карлъ Моръ, но я вскорѣ измѣнилъ ему и перешелъ въ маркиза Поу.

Такъ-то, Огаревъ, рука въ руку входили мы съ тобою въ жизнь! Или мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвѣчали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлеченію. Путь,

<sup>1)</sup> Philosophische Briefe.

<sup>2)</sup> Поэзія Шиллера не утратила на меня своего вліянія; нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, я читалъ моему сыну Валленштейна; это—гигантское произведеніе! Тотъ, кто теряетъ вкусъ къ Шиллеру, тотъ или старъ, или педантъ, очерствѣлъ или забылъ себя. Что же сказать о тѣхъ скороспѣлыхъ *altkluge Burschen*, которые такъ хорошо знаютъ недостатки его въ семнадцать лѣтъ?..

нами избранный, быть не легко; мы его не покидали ни разу, раненые, сломанные, мы шли и насъ никто не обгонялъ. Я дошелъ... не до цѣли, а до того мѣста, гдѣ дорога идетъ подъ гору и невольно нищу твоей руки, чтобъ вмѣстѣ выйти, чтобъ пожать се и сказать, грустно улыбаясь: «*вотъ и все!*»

А покамѣстъ въ скучномъ досугѣ, на который меня осудили событія, не находя въ себѣ ни силъ, ни свѣжести на новый трудъ, записываю я *наши* воспоминанія. Много того, что насъ такъ тѣсно соединяло, оцѣло въ этихъ листахъ, я ихъ дарю тебѣ. Для тебя они имѣютъ двойной смыслъ, смыслъ надгробныхъ памятниковъ, на которыхъ мы встрѣчаемъ знакомыя имена <sup>1)</sup>.

...А не странно-ли подумать, что, умѣй Зопенбергъ плавать или утопи онъ тогда въ Москвѣ-рѣкѣ, вытащи его не уральскій казакъ, а какой-нибудь апшеронскій пѣхотинецъ, я бы и не встрѣтился съ Никою, или позже, ипаче, не въ той комнаткѣ нашего стараго дома, гдѣ мы, тайкомъ куря сигарки, заступали такъ далеко другъ другу въ жизнь и черпали другъ въ другъ силу.

Онъ не забылъ его—нашъ «старый домъ»:

Старый домъ, старый другъ! посѣтилъ я,  
Наконецъ, въ запускъныи тебя,  
И бывшее опять воскресилъ я,  
И печально смотрѣлъ на тебя.

Дворъ лежалъ предо мной неметельный,  
Да колодезь валился гнилой,  
И въ саду не шумѣлъ листъ зеленый,  
Желтый тлѣлъ онъ на почвѣ сырой.

Домъ стоялъ обветшалый уныло,  
Штукатурка обилась кругомъ,  
Туча сѣрая сверху ходила  
И все плакала, глядя на домъ.

Я вошелъ. Тѣ же комнаты были,  
Здѣсь ворчалъ недовольный старикъ,  
Мы бесѣды его не любили,  
Насъ страшилъ его черствый языкъ.

Вотъ и комнатка: съ другомъ, бывало,  
Здѣсь мы жили умомъ и душой,  
Много думъ золотыхъ возникало  
Въ этой комнаткѣ прежней порой.

Въ нее звѣздочка тихо свѣтила,  
Въ ней остались слова на стѣнахъ;  
Ихъ въ то время рука начертила,  
Когда юность кипѣла въ душахъ.

Въ этой комнаткѣ счастье бывшее,  
Дружба свѣтлая выросла тамъ;  
А теперь запускъные глухое,  
Паутины висятъ по угламъ.

---

<sup>1)</sup> Писано въ 1853 году.

И мнѣ страшно вдругъ стало. Дрожалъ я,  
На кладбищѣ я будто стоялъ,  
И родныхъ мертвецовъ вызывалъ я,  
Но изъ мертвыхъ никто не возсталъ.

## ГЛАВА V.

Подробности домашняго житія.—Люди XVIII вѣка въ Россіи.—День у насъ въ домѣ.—Гости и *habitués*.—Зоненбергъ.—Камердинеръ и пр.

Невыносимая скука нашего дома росла съ каждымъ годомъ. Если-бъ не близокъ былъ университетскій курсъ, не новая дружба, не политическое увлеченіе и не живость характера, я бѣжалъ бы или погибъ.

Отецъ мой рѣдко бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа, онъ постоянно былъ всеѣмъ недоволенъ. Человѣкъ большого ума, большой наблюдательности, онъ бездну видѣлъ, слышалъ, помнилъ; свѣтскій человѣкъ *assompli*, онъ могъ быть чрезвычайно любезенъ и занимателенъ, но онъ не хотѣлъ этого и все болѣе и болѣе впадалъ въ капризное отчужденіе ото всеѣхъ.

Трудно сказать, что собственно внесло столько горечи и желчи въ его кровь. Эпохи страстей, большихъ несчастій, ошибокъ, потерь, вовсе не было въ его жизни. Я никогда не могъ вполне понять, откуда происходила злая насмѣшка и раздраженіе, наполнившія его душу, его недовѣрчивое удаленіе отъ людей и досада, снѣдавшая его. Развѣ онъ унесъ съ собою въ могилу какое-нибудь воспоминаніе, котораго никому не довѣрилъ, или это было просто вѣдѣдствіе встрѣчи двухъ вещей до того противоположныхъ, какъ восемнадцатый вѣкъ и русская жизнь, при посредствѣ третьей, ужасно способствующей капризному развитію,—номѣщичьей праздности.

Прошлое столѣтіе произвело удивительный кряжъ людей на Западѣ, особенно во Франціи, со всеѣми слабостями регентства, со всеѣми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вмѣстѣ отворили настежъ двери революціи и первые ринулись въ нее, поспѣшно толкая другъ друга, чтобъ выйти въ «окно» гильотины. Нашъ вѣкъ не производитъ болѣе этихъ цѣльныхъ, сильныхъ натуръ; прошлое столѣтіе, напротивъ, вызвало ихъ вездѣ, даже тамъ, гдѣ онѣ не были нужны, гдѣ онѣ не могли иначе развиваться, какъ въ уродство. Въ Россіи люди, подвергнувшіеся вліянію этого мощнаго западнаго вѣянія, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи запад-

ными предразсудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись въ некусовой жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ.

Къ этому кругу принадлежалъ въ Москвѣ на первомъ планѣ блестящій умомъ и богатствомъ русскій вельможа, европейскій grand seigneur и татарскій князь Н. Б. Юсуповъ. Около него была цѣлая плеяда сѣдыхъ волокитъ и esprits forts, всѣхъ этихъ Масальскихъ, Санти и tutti quanti. Всѣ они были люди довольно развитые и образованные; оставленные безъ дѣла, они бросались на наслажденія, холили себя, любили себя, отпускали себя добродушно всѣ прегрѣшенія, возвышали до платонической страсти свою гастрономію и сводили любовь къ женщинамъ на какое-то обжорливое лакомство.

Старый скептикъ и эпикуреецъ Юсуповъ, пріятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касты, былъ одаренъ дѣйствительно артистическимъ вкусомъ. Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно разъ побывать въ Архангельскомъ, поглядѣть на его галлерей, если ихъ еще не продали въ разбивку его наслѣдникъ. Онъ пышно потухалъ восемьдесятъ лѣтъ, окруженный мраморной, рисованой и *живой* красотой. Въ его загородномъ домѣ бесѣдовалъ съ нимъ Пушкинъ, посвятившій ему чудное посланіе, и рисовалъ Гонзага, которому Юсуповъ посвятилъ свой театръ.

Мой отецъ, по воспитанію, по гвардейской службѣ, по жизни и связямъ, принадлежалъ къ этому же кругу; но ему ни его нравъ, ни его здоровье не позволяли вести до семидесяти лѣтъ вѣтреноую жизнь, и онъ перешелъ въ противоположную крайность. Онъ хотѣлъ себя устроить жизнь одинокую, въ ней его ждала смертельная скука, тѣмъ болѣе, что онъ только *для себя* хотѣлъ ее устроить. Твердая воля превращалась въ упрямые капризы, незанятые силы портили нравъ, дѣлая его тяжелымъ.

Когда онъ воспитывался, европейская цивилизація была еще такъ нова въ Россіи, что быть образованнымъ значило быть наименѣе русскимъ. Онъ до конца жизни писалъ свободнѣе и правильнѣе по-французски, нежели по-русски, онъ à la lettre не читалъ ни одной русской книги, ни даже библіи. Впрочемъ библіи онъ и на другихъ языкахъ не читалъ, онъ зналъ по наслыжкѣ и по отрывкамъ, о чемъ идетъ рѣчь вообще въ св. писаніи, и дальше не любопытствовалъ заглянуть. Онъ уважалъ, правда, Державина и Крылова: Державина за то, что написалъ оду на смерть его дяди князя Мещерскаго, Крылова за то, что вмѣстѣ съ нимъ былъ секундантомъ на дуэли Н. Н. Бахметева. Какъ-то мой отецъ принялся за Карамзина *Исторію Государства Россійскаго*, узнавши, что императоръ Александръ ее читалъ, но поло-



жить въ сторону, съ пренебреженіемъ говоря: «все Пизиславичи да Ольговичи, кому это можетъ быть интересно?»

Людей онъ презиралъ откровенно, открыто—всѣхъ. Ни въ какомъ случаѣ онъ не считалъ ни на кого, и я не помню, чтобъ онъ къ кому-нибудь обращался съ значительной просьбой. Онъ и самъ ни для кого ничего не дѣлалъ. Въ сношеніяхъ съ посторонними онъ требовалъ одного—сохраненія приличій; *les apparences, les convenances* составляли его нравственную религію. Онъ много прощалъ или лучше пропускалъ сквозь пальцы, но нарушеніе формъ и приличій выводили его изъ себя, и тутъ онъ становился безъ всякой терпимости, безъ малѣйшаго снисхожденія и состраданія. И такъ долго возмущался противъ этой несправедливости, что, наконецъ, понималъ ее; онъ впередъ былъ увѣренъ, что всякой человѣкъ способенъ на все дурное, и если не дѣлаетъ, то или не имѣетъ нужды, или случай не подходитъ; въ нарушеніи же формъ онъ видѣлъ личную обиду, неуваженіе къ нему или «мѣщанское воспитаніе», которое, по его мнѣнію, отлучало человѣка отъ всякаго людского общества.

«Душа человѣческая, говаривалъ онъ, потемки, и кто знаетъ, что у кого на дунѣ; у меня своихъ дѣлъ слишкомъ много, чтобъ заниматься другими, да еще судить и пересуживать ихъ намѣренія; но съ человѣкомъ дурно воспитаннымъ я въ одной комнатѣ не могу быть, онъ меня оскорбляетъ, *frustrir*; а тамъ онъ можетъ быть добрейшій въ мірѣ человѣкъ, зато ему будетъ мѣсто въ раю, но мнѣ его ненадобно. Въ жизни всего важнѣе *esprit de conduite*, важнѣе превысшнннго ума и всякаго ученія. Вездѣ умѣть пайтись, нигдѣ не соваться впередъ, со всѣми чрезвычайная вѣжливость и ни съ кѣмъ фамильярности».

Отецъ мой не любилъ никакого *abandon*, никакой откровенности, онъ все это называлъ фамильярностью, такъ, какъ всякое чувство—сентиментальностью. Онъ постоянно представлялъ изъ себя человѣка, стоящаго выше всѣхъ этихъ мелочей; для чего, съ какой цѣлью? въ чемъ состоялъ высшій интересъ, которому жертвовалось сердце?—я не знаю. И для кого этотъ гордый старикъ, такъ искренно презиравшій людей, такъ хорошо знавшій ихъ, представлялъ свою роль безстрастнаго судьи? Для женщины, которой волю онъ сломилъ, несмотря на то, что она иногда ему противурѣчила; для больного, постоянно лежавшаго подъ ножомъ оператора; для мальчннка, изъ рѣзвости котораго онъ развилъ непокорность; для дюжныи лакеевъ, которыхъ онъ не считалъ людьми!

И сколько силъ, терпѣнія было употреблено на это, сколько настойчивости и какъ удивительно вѣрно была донграна роль, несмотря ни на лѣта, ни на болѣзни. Дѣйствительно, душа человѣческая потемки!

Впоследствии я видѣлъ, когда меня арестовали, и потомъ, когда отправляли въ ссылку, что сердце старика было больше открыто любви и даже нѣжности, нежели я думалъ. Я никогда не поблагодарилъ его за это, не зная, какъ бы онъ принять мою благодарность.

Разумѣется, онъ не былъ счастливъ; всегда насторожѣ, всеѣмъ недовольный, онъ видѣлъ съ стѣсненнымъ сердцемъ непріязненные чувства, вызванныя имъ у всеѣхъ домашнихъ; онъ видѣлъ, какъ улыбка пропала съ лица, какъ останавливалась рѣчь, когда онъ входилъ; онъ говорилъ объ этомъ съ насмѣшкой, съ досадой, но не дѣлалъ ни одной уступки и шелъ съ величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмѣшка, прони холодная, язвительная и полная презрѣнія—было орудіе, которымъ онъ владѣлъ артистически; онъ его равно употреблялъ противъ насъ и противъ слугъ. Въ первую юность многое можно скорѣе вынести, нежели *шпынянье*, и я, въ самомъ дѣлѣ, до тюрьмы удалился отъ моего отца и велъ противъ него маленькую войну, соединяясь съ слугами и служанками.

Ко всему остальному, онъ увѣрилъ себя, что онъ опасно боленъ и безпрестанно лечился; сверхъ домового лекаря, къ нему ѣздили два или три доктора и онъ дѣлалъ, по крайней мѣрѣ, три консилиума въ годъ. Гости, видя постоянно непріязненный видъ его и слыша одиѣ жалобы на здоровье, которое далеко не было такъ дурно, рѣдѣли. Онъ сердился за это, но ни одного человѣка не упрекнулъ, не пригласилъ. Страшная скука царилъ въ домѣ, особенно въ безконечные зимніе вечера: двѣ лампы освѣщали цѣлую анфиладу комнатъ, сгорбившись и заложивъ руки на спинку, въ суконныхъ или поярковыхъ сапогахъ (въ родѣ валонокъ), въ бархатной шапочкѣ и въ тулупѣ изъ бѣлыхъ мерлушекъ ходилъ старикъ взадъ и впередъ, не говоря ни слова, въ сопровожденіи двухъ-трехъ коричневыхъ собакъ.

Вмѣстѣ съ меланхоліей росла у него бережливость, обращенная на ничтожные предметы. Своимъ имѣньемъ онъ управлялъ дурно для себя и дурно для крестьянъ. Староста и его *missi domini* грабили барина и мужиковъ; зато все находившееся на глазахъ было подвержено двойному контролю; тутъ береглись свѣчи, и тощій *vin de Graves* замѣнялся кислымъ крымскимъ виномъ, въ то самое время какъ въ одной деревнѣ сводили цѣлый лѣсъ, а въ другой ему же продавали его собственный овесъ. У него были привилегированные воры; крестьянинъ, котораго онъ сдѣлалъ сборщикомъ оброка въ Москвѣ и котораго посылалъ всякое лѣто ревизовать старосту, огородъ, лѣсъ и работы, купилъ лѣтъ черезъ десять въ Москвѣ домъ. Я съ дѣтства ненавидѣлъ этого министра безъ портфеля, онъ при мнѣ разъ на дворѣ билъ

какого-то стараго крестьянина, я отъ бѣшенства виѣхалъ ему въ бороду и чуть не упалъ въ обморокъ. Съ тѣхъ поръ я не могъ на него равнодушно смотрѣть до самой его смерти въ 1845 г. Я нѣсколько разъ говорилъ моему отцу, откуда-же Шкунъ возьмётъ деньги на покупку дома?

— Вотъ что значить трезвость, отвѣчалъ мнѣ старикъ, онъ капли вина въ ротъ не беретъ.

Всякой годъ около масляницы пензенскіе крестьяне привозили изъ-подъ Керенска оброкъ *натурой*. Недѣли двѣ тащился бѣдный обозъ, нагруженный свинными тушами, поросятами, гусями, курами, крупами, рожью, яйцами, масломъ и, наконецъ, холстомъ. Приѣздъ керенскихъ мужиковъ былъ праздникомъ для всей дворины, они грабили мужиковъ, обещивали на каждомъ шагу и притомъ безъ малѣйшаго права. Кучера съ нихъ брали *за воду* въ колодезь, не позволяя пойти лошадей безъ платы; бабы *за тепло* въ избѣ; аристократамъ передней они должны были кланяться кому поросенкомъ и полотенцемъ, кому гусемъ и масломъ. Все время ихъ пребыванія на барскомъ дворѣ шелъ пиръ горой у прислуги, дѣлались селинки, жарились поросята и въ передней носился постоянно запахъ лука, подгорѣлаго жира и сивухи, уже вышитої. Бакай послѣдніе два дня не входилъ въ переднюю и не вносилъ одѣвался, а сидѣлъ въ накинутой старой ливрейной шинели, безъ жилета и куртки, въ сѣняхъ кухни. Никита Андреевичъ видимо худѣлъ и становился смуглѣе и старше. Отецъ мой выносилъ все это довольно спокойно, зная, что это необходимо и отвратить этого нельзя.

Послѣ пріема мерзлой *жизности*, отецъ мой — и тутъ самая замѣчательная черта въ томъ, что эта штука повторялась ежегодно — призывалъ повара Спиридона и отправлялъ его въ Охотный рядъ и на Смоленскій рынокъ узнать цѣны. Поваръ возвращался съ баснословными цѣнами, меньше, чѣмъ въ половину. Отецъ мой говорилъ, что онъ дуракъ и посылалъ за Шкуномъ или Слѣпушкинымъ. Слѣпушкинъ торговалъ фруктами у Ильинскихъ воротъ. И тотъ, и другой находили цѣны повара ужасно низкими, справлялись и приносили цѣны повыше. Наконецъ, Слѣпушкинъ предлагалъ взять все огуломъ, и яйца, и поросятъ, и масло, и рожь, «чтобъ вашему-то здоровью, батюшка, никакого безпокойства не было». Цѣну онъ давалъ, само собою разумѣется, нѣсколько выше повареской. Отецъ мой соглашался; Слѣпушкинъ приносилъ ему на сырыски апельсиновъ съ пряниками, а повару двухсотрублевую асенгнацію.

Слѣпушкинъ этотъ былъ въ большой милости у моего отца и часто занималъ у него деньги; онъ и тутъ былъ оригиналенъ, именно потому, что глубоко изучилъ характеръ старика.

Выпросить бывало себѣ руб. 500 мѣсяца на два, и за день до срока является въ переднюю съ какимъ-нибудь куличемъ на блюдѣ и съ 500 рублей на куличѣ. Отецъ мой бралъ деньги; Слѣпушкинъ кланялся въ поясъ и просилъ ручку, которую баринъ не давалъ. Но дня черезъ три, Слѣпушкинъ снова приходилъ просить денегъ въ займы, тысячи полторы. Отецъ ему давалъ, и Слѣпушкинъ снова приносилъ въ срокъ; отецъ мой ставилъ его въ примѣръ; а тотъ черезъ недѣлю увеличивалъ кушъ, и имѣлъ такимъ образомъ для своихъ оборотовъ тысячъ пять въ годъ наличными деньгами, за небольшие проценты двухъ-трехъ куличей, нѣсколько фунтовъ фигъ и грецкихъ орѣховъ, да сотню анелесинъ и крымскихъ яблокъ.

Въ заключеніе упомяну, какъ въ Новосельи пропало нѣсколько сотъ десятинъ строевого лѣса. Въ сороковыхъ годахъ М. Ѳ. Орловъ, которому тогда, помнится, графиня Анна Алексѣевна давала капиталъ для покупки имѣнія его дѣтямъ, сталъ торговать тверское имѣніе, доставшееся моему отцу отъ Сенатора. Сошлись въ цѣнѣ, и дѣло казалось оконченнымъ. Орловъ поѣхалъ осматрѣть и, осмотрѣвши, написалъ моему отцу, что онъ ему показывалъ на планѣ лѣсъ, но что этого лѣса вовсе нѣтъ.

— «Вѣдь, вотъ — умный человѣкъ, говоритъ мой отецъ, и въ конспираціи былъ, книгу писалъ *des finances*, а какъ до дѣла дошло, видно, что пустой человѣкъ... Неккеры! а я вотъ попрошу Григорія Ивановича съѣздить, онъ не конспираторъ, но честный человѣкъ и дѣло знаетъ».

Поѣхалъ и Григорій Ивановичъ въ Новоселье и привезъ вѣсть, что лѣса нѣтъ, а есть только лѣсная декорація, такъ что ни изъ господскаго дома, ни съ большой дороги порубки не бросаются въ глаза. Сенаторъ послѣ раздѣла на худой конецъ былъ пять разъ въ Новосельи, и все оставалось шито и крыто.

Чтобъ дать полное понятіе о нашемъ житьѣ-бытьѣ, опишу цѣлый день съ утра; однообразность была именно одна изъ самыхъ убійственныхъ вещей, жизнь у насъ шла какъ англійскіе часы, у которыхъ убавленъ ходъ,—тихо, правильно и громко напоминая каждую секунду.

Въ десятомъ часу утра камердинеръ, сидѣвшій въ комнатѣ возлѣ спальни, увѣдомлялъ Вѣру Артамоновну, мою экс-нянюшку, что баринъ встаетъ. Она отправлялась готовить кофе, который онъ пилъ одинъ въ своемъ кабинетѣ. Все въ домѣ принимало иной видъ, люди начинали чистить комнаты, по крайней мѣрѣ показывали видъ, что дѣлаютъ что-нибудь. Передняя, до тѣхъ поръ пустая, наполнялась, даже большая ньюфаундлендская собака Макбетъ садилась передъ печью и, не мигая, смотрѣла въ огонь.

За кофеемъ старикъ читалъ «Московскія Вѣдомости» и «Journal de St. Petersburg»; не мѣшаетъ замѣтить, что «Московскія Вѣдомости» было велѣно грѣть, чтобъ не простудить рукъ отъ сырости листовъ, и что политическія новости мой отецъ читалъ во французскомъ текетѣ, находя русскій неслышимъ. Одно время онъ бралъ откуда-то Гамбургскую газету, но не могъ примириться, что нѣмцы печатаютъ нѣмецкими буквами; всякой разъ показывалъ мнѣ разницу между французской печатью и нѣмецкой и говорилъ, что отъ этихъ вычурныхъ готическихъ буквъ съ хвостиками слабѣетъ зрѣніе. Потомъ онъ выписывалъ «Journal de Francfort», а впоследствии ограничивался отечественными газетами.

Окончивъ чтеніе, онъ примѣчалъ, что въ его комнатѣ уже находится Карлъ Ивановичъ Зоненбергъ. Когда Нику было лѣтъ пятнадцать, Карлъ Ивановичъ завелъ было лавку, но, не имѣя ни товара, ни покупателей и растративъ кой-какъ сколоченныя деньги на эту полезную торговлю, онъ ее оставилъ съ почетнымъ титуломъ «ревельскаго негодіанта». Ему было тогда гораздо лѣтъ за сорокъ и онъ въ этотъ пріятный возрастъ повелъ жизнь птички Божіей или четырнадцатилѣтняго мальчика, т. е. не зналъ, гдѣ завтра будетъ спать и на что обѣдать. Онъ пользовался нѣкоторымъ благорасположеніемъ моего отца; мы сейчасъ увидимъ, что это значить.

Въ 1830 году отецъ мой купилъ возлѣ нашего дома другой, больше, лучше и съ садомъ; домъ этотъ принадлежалъ графинѣ Растопчиной, женѣ знаменитаго Федора Васильевича. Мы перешли въ него. Велѣдъ за тѣмъ онъ купилъ третій домъ, уже совершенно ненужный, но смежный. Оба эти дома стояли пустыя, въ наймы они не отдавались, въ предупрежденіе пожара (дома были застрахованы) и безпокойства отъ наемщиковъ; они, сверхъ того, и не поправлялись, такъ что были на самой вѣрной дорогѣ къ разрушенію. Въ одномъ-то изъ нихъ дозволялось жить безпріютному Карлу Ивановичу, съ условіемъ: воротъ послѣ десяти часовъ вечера не отпирать; условіе легкое, потому что они никогда и не запирались; дрова покупать, а не брать изъ домашнего запаса (онъ ихъ дѣйствительно покупалъ у нашего кучера) и состоять при моемъ отцѣ въ должности чиновника особыхъ порученій, т. е. приходить ко утро съ вопросомъ: нѣтъ-ли какихъ приказаній, являться къ обѣду и приходить вечеромъ, когда никого не было, занимать повѣствованіями и новостями.

Какъ ни проста, какется, была должность Карла Ивановича, но отецъ мой умѣлъ ей придать столько горечи, что мой бѣдный ревелецъ, привыкнувшій ко всѣмъ бѣдствіямъ, которыя могутъ обрушиться на голову человѣка безъ денегъ, безъ ума, маленькаго роста, рябого и нѣмца, не могъ постоянно выносить ее. Года



въ два, въ полтора, глубоко оскорбленный Карлъ Ивановичъ объявлялъ, что «это вовсе несносно», укладывался, покупалъ и мѣнялъ разные венчики подозрительной цѣнности и сомнительнаго качества и отправлялся на Кавказъ. Неудачи его обыкновенно преслѣдовали съ ожесточеніемъ. То кляченка его—онъ ѣздилъ на своей лошади въ Тифлисъ и въ Редутъ-Кале—падала не подалеку Земли Донскихъ казаковъ, то у него крали половину груза, то его двухъ-колесая таратайка падала, причемъ французскіе духи лились, никѣмъ не оцѣненные, у подножія Эльборуса на сломанное колесо; то онъ терялъ что-нибудь, и когда нечего было терять, терялъ свой насѣдь. Мѣсяцевъ черезъ десять обыкновенно Карлъ Ивановичъ постарше, поизмятъе, побѣдѣе и еще съ меньшимъ числомъ зубовъ и волосъ, смиренно являлся къ моему отцу съ запасомъ персидскаго порошку отъ блохъ и клоповъ, ливанной тармаламы, ржавыхъ черкесскихъ кинжаловъ, и снова поселялся въ пустомъ домѣ на тѣхъ же условіяхъ исполнять комиссію и печь топить своими дровами.

Примѣтивъ Карла Ивановича, отецъ мой тотчасъ начиналъ небольшія военныя дѣйствія противъ него. Карлъ Ивановичъ освѣдомлялся о здоровьи, старикъ благодарилъ поклономъ и потомъ, подумавши, спрашивалъ напр.:

— «Гдѣ вы покупаете помаду?»

При этомъ необходимо сказать, что Карлъ Ивановичъ, пребезобразнѣйшій изъ смертныхъ, былъ страшный волокита, считалъ себя Повласомъ, одѣвался съ претензіей и носилъ завитую золотисто-бѣлокурую накладку. Все это, разумѣется, давно было взвѣшено и оцѣнено моимъ отцомъ.

— У Буисъ, на Кузнецкой мостъ,—отрывисто отвѣчалъ Карлъ Ивановичъ, нѣсколько шипрованный, и ставилъ одну ногу на другую, какъ человѣкъ готовый постоять за себя.

— «Какъ называется этотъ запахъ?»

— Нахтъ-фіолень, отвѣчалъ Карлъ Ивановичъ.

— «Онъ васъ обманываетъ, violet это запахъ нѣжный, c'est un parfum, а это какой-то крѣпкой, противный, тѣла бальзамируютъ чѣмъ-то такимъ; куда нервы стали у меня слабы, мнѣ даже тошно сдѣлалось, велите-ка мнѣ дать о-де-колонъ».

Карлъ Ивановичъ самъ бросался за стклянкой.

— «Да нѣтъ, вы уже позовите кого-нибудь, а то вы еще ближе подойдете, мнѣ сдѣлается дурно, я упаду». Карлъ Ивановичъ, разсчитывавшій на дѣйствіе своей помады на дѣвичью, глубоко огорчался.

Опрыскавши комнату о-де-колонью, отецъ мой придумывалъ комиссію: купить французскаго табаку, англійской магнезіи, посмотреть продажную по газетамъ карету (онъ ничего не поку-

налъ). Карлъ Ивановичъ, пріятно раскланявшись и душевно довольный, что отдѣлался, уходилъ до обѣда.

Послѣ Карла Ивановича являлся поварь; что-бъ онъ ни купилъ и что-бъ ни написалъ, отецъ мой находилъ чрезмѣрно дорогимъ.

— «У, у какія дороговизна! что это подвозовъ, что-ли, нѣтъ?»

— Точно такъ-съ, отвѣчалъ поварь, дороги очень дурны.

— «Ну, такъ знаешь, пока ихъ починять, мы съ тобой будемъ поменьше покупать».

Послѣ этого онъ садился за свой письменный столъ, писалъ отписки и приказанія въ деревни, сводилъ счеты, между дѣломъ журилъ меня, принималъ доктора, а главное, ссорился съ своимъ камердинеромъ. Это былъ первый паціентъ во всемъ домѣ. Небольшого роста, сангвиникъ, вспыльчивый и сердитый, онъ какъ нарочно былъ созданъ для того, чтобъ дразнить моего отца и вызывать его поученія. Сцены, повторявшіяся между ними всякій день, могли бы наполнить любую комедію, а все это было совершенно серьезно. Отецъ мой очень зналъ, что человѣкъ этотъ ему необходимъ и часто сносилъ крупные отвѣты его, но не переставалъ воспитывать его, несмотря на безуспѣшныя усилія въ продолженіе тридцати пяти лѣтъ. Камердинеръ, съ своей стороны, не вынесъ бы такой жизни, если-бъ не имѣлъ своего развлеченія; онъ, по большей части, къ обѣду былъ нѣсколько навеселѣ. Отецъ мой замѣчалъ это и ограничивался легкими околичнословіями, напр., совѣтомъ закусывать чернымъ хлѣбомъ съ солью, чтобъ не пахло водкой. Никита Андреевичъ имѣлъ обыкновеніе, выпивши, подавая блюда, особенно расшаркиваться. Какъ только мой отецъ замѣчалъ это, онъ выдумывалъ ему порученіе, посылалъ его, напр., спросить у «цирюльника Антона, не перемѣнилъ-ли онъ квартиры», прибавляя мнѣ по-французски: «Я знаю, что онъ не съѣзжалъ; но онъ не трезвъ, уронить суповую чашку, разобьетъ ее, обольетъ скатерть и перепугаетъ меня: пусть онъ провѣтрится, le grand air помогаетъ».

Камердинеръ обыкновенно при такихъ продѣлкахъ что-нибудь отвѣчалъ; но когда не находилъ отвѣта въ глаза, то выходя бормоталъ сквозь зубы. Тогда баринъ, тѣмъ же спокойнымъ голосомъ, звалъ его и спрашивалъ, что онъ ему сказать?

— Я не докладывалъ ни слова.

— «Съ кѣмъ же ты говоришь? Кромѣ меня и тебя никого нѣтъ ни въ этой комнатѣ, ни въ той».

— Самъ съ собой.

— «Это очень опасно, съ этого начинается сумасшествіе».

Камердинеръ съ бѣшенствомъ уходилъ въ свою комнату возлѣ спальной; тамъ онъ читалъ «Московскія Вѣдомости» и треспирывалъ волосы для продажныхъ париковъ. Вѣроятно, чтобъ отве-

сти сердце, онъ свирѣно нюхалъ табакъ; табакъ ли былъ у него силенъ, первы носа, что ли, были слабы, но онъ вслѣдствіе этого почти всегда разъ шесть или семь чихалъ.

Баринъ звонилъ. Камердинеръ бросалъ свою пачку волосъ и входилъ.

— «Это ты чихаешь?»

— Я-съ.

— «Желаю здравствовать». И онъ давалъ рукой знакъ, чтобъ камердинеръ удалился.

Въ послѣдній день масленицы, все люди, по старинному обычаю, приходили вечеромъ просить прощенія къ барину; въ этихъ торжественныхъ случаяхъ мой отецъ выходилъ въ залу, сопровождаемый камердинеромъ. Тутъ онъ дѣлалъ видъ, будто не всехъ узнаетъ.

— «Что это за почтенный старецъ стоитъ тамъ въ углу?» спрашивалъ онъ камердинера.

— Кучеръ Данило, отвѣчалъ отрывисто камердинеръ, зная, что все это одно драматическое представленіе.

— «Скажи, пожалуйста, какъ онъ перемѣнился! Я право думаю, что это все отъ вина люди такъ старѣютъ; чѣмъ онъ занимается?»

— Дрова *таскаетъ* въ печи.

Старикъ дѣлалъ видъ нестерпимой боли. — «Какъ это ты въ тридцать лѣтъ не научился говорить?.. Таскаетъ—какъ это таскать дрова? Дрова носятъ, а не таскаютъ. Ну, Данило, слава Богу, Господь сподобилъ меня еще разъ тебя видѣть. Прощаю тебѣ все грѣхи за сей годъ и овесъ, который ты тратишь безмѣрно, и то, что лошадей не чистишь, и ты меня прости. Пота-скай еще дровецъ, пока силенка есть, ну а теперь настаетъ постъ, такъ вина употребляй поменьше, въ наши лѣта вредно, да и грѣхъ».—Въ этомъ родѣ онъ дѣлалъ общій смотръ.

Обѣдали мы въ четвертомъ часу. Обѣдъ длился долго и былъ очень скученъ. Спиридонъ былъ отличный поваръ; но, съ одной стороны, экономія моего отца, а съ другой, его собственная дѣлали обѣдъ довольно тощимъ, несмотря на то, что блюдъ было много. Возлѣ моего отца стоялъ красный глиняный тазъ, въ который онъ самъ клалъ разные куски для собакъ; сверхъ того, онъ ихъ кормилъ съ своей вилки, что ужасно оскорбляло прислугу и, слѣдовательно, меня. Почему? Трудно сказать...

Гости вообще ѣздили рѣдко; обѣдать—еще рѣже. Помню одного человека изъ всехъ посѣщавшихъ насъ, котораго приѣздъ къ обѣду разглаживалъ иной разъ морщины моего отца—Н. Н. Бахметева. Н. Н. Бахметевъ, братъ хромого генерала и тоже генералъ, но давно въ отставкѣ, былъ друженъ съ нимъ еще во время ихъ службы въ Измайловскомъ полку. Они вмѣстѣ купили съ

нимъ при Екатеринѣ, при Павлѣ оба были подѣ военнымъ судомъ, Бахметевъ за то, что стрѣлялся съ кѣмъ-то, а мой отецъ — за то, что былъ секундантомъ; потомъ одинъ уѣхалъ въ чужіе края — туристомъ, а другой въ Уфу — губернаторомъ. Сходства между ними не было. Бахметевъ, полный, здоровый и красивый старикъ, любилъ и хорошенько поѣсть, и выпить немного, любилъ веселую бесѣду и многое другое. Онъ хвастался, что во время оно съѣдалъ до ста подовыхъ прожжковъ и могъ, лѣтъ около шестидесяти, безнаказанно употребить до дюжины гречневыхъ блиновъ, потонувшихъ въ лужѣ масла; этимъ опытамъ я бывалъ не разъ свидѣтель.

Бахметевъ имѣлъ какую-то тѣнь вліянія или, по крайней мѣрѣ, держалъ моего отца въ уздѣ. Когда Бахметевъ замѣчалъ, что мой отецъ уикъ черезъ край не въ духѣ, онъ надѣвалъ пилану и, шаркая по военному ногами, говорилъ: «до свиданья, — ты сегодня боленъ и глухъ; я хотѣлъ обѣдать, но я за обѣдомъ терпѣть не могу кислыхъ лицъ! Гергесамеръ динеръ!»... А отецъ мой, въ видѣ попененія, говорилъ мнѣ: «Impressario! какой живой еще Н. Н.! Слава Богу, здоровый человѣкъ, ему понять нельзя нашего брата, Іова многострадальнаго; морозъ въ двадцать градусовъ, онъ скачетъ въ санкахъ какъ ничего... съ Покровки..., а я благодарю Создателя каждое утро, что проснулся живой, что еще дышу. О... о... охъ! не даромъ пословица говорить: сытый голоднаго не понимаетъ!» Больше снисходительности нельзя было отъ него ждать.

Изрѣдка давались семейные обѣды, на которыхъ бывалъ Сенаторъ, Голохвастовы и проч., и эти обѣды давались не изъ удовольствія и не сироста, а были основаны на глубокихъ экономико-политическихъ соображеніяхъ. Такъ 20 февраля, въ день Льва Катапскаго, т. е. въ именины Сенатора, обѣдъ былъ у насъ, а 24 іюня, т. е. въ Ивановъ день, у Сенатора, что, сверхъ моральнаго примѣра братской любви, избавляло того и другого отъ гораздо большаго обѣда у себя.

Затѣмъ были разныя habitués; тутъ являлся ex-officio Карлъ Ивановичъ Зоненбергъ, который, хвативши дома, передъ самымъ обѣдомъ, рюмку водки и закусивши ревельской килькой, отказывался отъ крошечной рюмочки какой-то особенно пастоепной водки; иногда пріѣзжалъ послѣдній французскій учитель мой, старикъ скряга, съ дерзкой рожей и сплетникъ. Monsieur Thirié такъ часто ошибался, наливая вино въ стаканъ вмѣсто пива и выпивая его въ извиненіе, что отецъ мой впоследствии говорилъ ему: «съ правой стороны вашей стоитъ vin de Graves, — вы опять не ошибитесь», и Тирье, шпая огромную щепотку табаку въ широкій и вздернутый въ одну сторону носъ, сыпалъ табакъ на тарелку.

Въ числѣ этихъ посѣтителей, одно лицо было въ высшей степени комическое. Небольшой, лысенькой старичекъ, постоянно одѣтый въ узенькой и короткой фракъ и въ жилетъ, оканчивавшійся тамъ, гдѣ нынче жилетъ собственно начинается, съ тоненькой тросточкой, онъ представлялъ всей своей фигурой двадцать лѣтъ назадъ, въ 1830—1810 годъ, а въ 1840—1820 годъ. Дмитрій Ивановичъ Пименовъ—статскій совѣтникъ по чину—былъ одинъ изъ начальниковъ Шереметеваго странно-пріемнаго дома, и притомъ занимался литературой. Скупо надѣленный природой и воспитанный на сентиментальныхъ фразахъ Карамзина, на Мармонтелъ и Мариво, Пименовъ могъ стать среднимъ братомъ между Шаликовымъ и В. Панаевымъ. Вольтеръ этой почтенной фаланги былъ начальникъ тайной полиціи при Александрѣ—Яковъ Ивановичъ Де-Сангленъ; ея молодой человекъ, подававшій надежды—Пименъ Арановъ. Все это примыкало къ общему патриарху Ивану Ивановичу Дмитріеву; у него соперниковъ не было, а былъ Василій Львовичъ Пункинъ. Пименовъ всякій вторникъ являлся къ «ветхому деню» Дмитріеву, въ его домъ на Садовой, разсуждать о красотахъ стиля и о непорочности новаго языка. Дмитрій Ивановичъ самъ пекся на скользкомъ поприщѣ отечественной словесности; сначала онъ издалъ *Мысли герцога Де-ла-Роше-Фуко*, потомъ трактатъ о *женской красотѣ и прелесть*. Въ этомъ трактатѣ, котораго я не бралъ въ руки съ шестнадцати-лѣтняго возраста, я помню только длинныя сравненія въ томъ родѣ, какъ Плутархъ сравниваетъ героевъ-блондинокъ съ черноволосыми. «Хотя блондинка—то, то и то, по черноволосая женщина зато—то, то и то»... Главная особенность Пименова состояла не въ томъ, что онъ издавалъ когда-то книжки, никогда никѣмъ не читанныя, а въ томъ, что если онъ начиналъ хохотать, то онъ не могъ остановиться, и смѣхъ у него вырасталъ въ припадки коклюша со взрывами и глухими раскатами. Онъ зналъ это, и потому, предчувствуя что-нибудь смѣшное, бралъ мало по малу свои мѣры: вынималъ носовой платокъ, смотрѣлъ на часы, застегивалъ фракъ, закрывалъ обѣими руками лицо и, когда наступалъ кризисъ, вставалъ, оборачивался къ стѣнѣ, упирался въ нее и мучился полчаса и больше; потомъ, усталый отъ пароксизма, красный, обтирая потъ съ плѣшиной головы, онъ садился, но еще долго потомъ его схватывало.

Разумѣется, мой отецъ не ставилъ его ни въ грошъ; онъ былъ тихъ, добръ, неловокъ, *литераторъ* и бѣдный человекъ,—стало, по всеѣмъ условіямъ стоялъ за цензоръ; но его судорожную смѣшливость онъ очень хорошо замѣтилъ. Въ силу чего, онъ заставлялъ его смѣяться до того, что все остальные начинали, подъ его вліяніемъ, тоже какъ-то неестественно хохотать. Виновникъ



глумленія, немного улыбаясь, глядѣлъ тогда на насъ, какъ чело-  
вѣкъ смотритъ на возню щенятъ.

Иногда мой отецъ дѣлалъ съ несчастнымъ цѣнителемъ жен-  
ской красоты и прелести ужасныя вещи.

— Инженеръ полковникъ такой-то, докладывалъ чело-  
вѣкъ.

— «Проехъ», говорилъ мой отецъ и, обращаясь къ Пименову,  
прибавлялъ: «Димитрій Ивановичъ, пожалуйста, будьте осторожны  
при немъ, у него несчастный тикъ, когда онъ говоритъ, какъ-то  
странно заикается, точно будто у него хроническая отрыжка». При  
этомъ онъ представлялъ совершенно вѣрно полковника. «Я  
знаю, вы чело-  
вѣкъ смѣшливый, пожалуйста, воздержитесь».

Этого было довольно. По второму слову инженера, Пименовъ  
вынималъ платокъ, дѣлалъ зонтикъ изъ руки и, наконецъ, вска-  
кивалъ.

Инженеръ смотрѣлъ съ изумленіемъ, а отецъ мой говорилъ  
мнѣ преспокойно: «Что это съ Димитріемъ Ивановичемъ? Il est ma-  
lade, это спазмы; вели поскорѣ подать стаканъ холодной воды,  
да принеси о-де-колонъ». Пименовъ хваталъ въ подобныхъ слу-  
чаяхъ шляпу и хохоталъ до Арбатскихъ воротъ, останавливаясь  
на перекресткахъ и опираясь на фонарные столбы.

Онъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ постоянно черезъ  
воскресенье обѣдалъ у насъ, и равно его аккуратность и неакку-  
ратность, если онъ пропускалъ, сердили моего отца, и онъ тѣс-  
нилъ его. А добрый Пименовъ все-таки ходилъ и ходилъ нѣшкомъ  
отъ Красныхъ Воротъ въ Старую Конюшенную, до тѣхъ поръ,  
пока умеръ, и притомъ совсѣмъ не смѣшно. Одинокій, холостой  
старикъ, послѣ долгой хворости, умирающими глазами видѣлъ,  
какъ его экономка забирала его вещи, платья, даже бѣлье съ по-  
стели, оставляя его безъ всякаго ухода.

Но настоящіе *souffre douleur*ы обѣда были разныя старухи,  
убогія и кочующія приживалки княгини М. А. Хованской (сестры  
моего отца). Для перемѣны, а долею для того, чтобъ освѣдомиться,  
какъ все обстоитъ въ домѣ у насъ, не было ли ссоры между  
господами, не дрался-ли поваръ съ своей женой и не узналъ-ли  
баринъ, что Палашка или Уляша съ прибылью,—прихаживали  
онѣ иногда въ праздники на цѣлый день. Надобно замѣтить, что  
эти вдовы еще незамужними, лѣтъ сорокъ, пятьдесятъ тому на-  
задъ, были *прибѣжны* къ дому княгини и княжны Мещерской  
и съ тѣхъ поръ знали моего отца; что въ этотъ промежутокъ ме-  
жду молодымъ шаташемъ и старымъ кочевьемъ, онѣ лѣтъ двад-  
цать бранились съ мужьями, удерживали ихъ отъ пьянства, хо-  
дили за ними въ параличѣ и снесли ихъ на кладбище. Однѣ  
таскались съ какимъ-нибудь гарнизоннымъ офицеромъ и оханкой  
дѣтей въ Бессарабію, другія состояли годы подъ судомъ съ му-

жемъ, и всѣ эти опыты жизненные оставили на нихъ слѣды по-  
вытій и уѣздныхъ городовъ, боязнь спяльныхъ міра сего, духъ  
уничженія и какое-то тупоумное изувѣрство.

Съ ними бывали сцены удивительныя.

— Да ты что это, Анна Якимовна, больна что-ли, ничего не  
кушаешь?—спрашивалъ мой отецъ.

Скорчившаяся, съ поношеннымъ и вылинялымъ лицомъ ста-  
рушонка, вдова какого-то зрителя въ Кременчугѣ, постоянно  
и сильно пахнувшая какимъ-то пластыремъ, отвѣчала унижаясь  
глазами и пальцами: «Простите, батюшка, Иванъ Алексѣевичъ,  
право-съ ужъ мнѣ совѣстно-съ, да такъ-съ, по старинному-съ,  
ха, ха, ха, теперь спажники».

— Ахъ какая скука! Набоженство все! Не то, матушка, сквер-  
нить, что въ уста входить, а что изъ устъ; то-ли ѣсть, другое-  
ли—одинъ неходъ; вотъ что изъ устъ выходить,—надобно на-  
блюдать... пересуды да о ближнемъ. Ну, лучше ты обѣдала бы  
дома въ такіе дни, а то тутъ еще турокъ придетъ—ему нилавъ  
надобно, у меня не гербергъ *à la carte*.

Испуганная старуха, имѣвшая въ виду, сверхъ того, попросить  
кружки да мучки, бросалась на квасъ и салатъ, дѣлая видъ, что  
страшно ѣсть.

Но замѣчательно то, что стоило ей или кому-нибудь изъ  
нихъ начать ѣсть скоромное въ постъ, отецъ мой (никогда не  
употреблявшій постнаго) говорилъ, скорбно качая головой: «Не  
стоило бы, какется, Анна Якимовна, на нѣсколько послѣднихъ  
лѣтъ мѣнять обычай предковъ. Я грѣшу, ѣмъ скоромное, по мно-  
жеству болѣзней; ну, а ты, по твоимъ лѣтамъ, слава Богу, всю  
жизнь соблюдала посты, и вдругъ... что за примѣръ для *нихъ*».  
Онъ указывалъ на прислугу. И бѣдная старуха снова бросалась  
на квасъ да на салатъ.

Сцены эти сильно возмущали меня; иной разъ я дерзалъ всту-  
паться и напоминать противоположное мнѣніе. Тогда отецъ мой  
привставалъ, снималъ съ себя за кисточку бархатную шапочку  
и, держа ее на воздухѣ, благодарилъ меня за уроки и просилъ  
извинить забывчивость, а потомъ говорилъ старухѣ: «Ужасный  
вѣкъ! Мудрено-ли, что ты *кушаешь* скоромное постомъ, когда  
дѣти учатъ родителей! Куда мы идемъ? Подумать страшно! Мы  
съ тобой по счастью не увидимъ».

Послѣ обѣда мой отецъ ложился отдохнуть часа на полтора.  
Дворня тотчасъ разсыпалась по поливнымъ и по трактирамъ.  
Въ семь часовъ приготавлили чай; тутъ иногда кто-нибудь приѣз-  
жалъ, всего чаще Сенаторъ; это было время отдыха для насъ.  
Сенаторъ привозилъ обыкновенно разныя новости и рассказы-  
валъ ихъ съ жаромъ. Отецъ мой показывалъ видъ совершеннаго

невниманія, слушая его: дѣлалъ серьезную мину, когда тотъ былъ увѣренъ, что морить со смѣху, и переспрашивалъ, какъ будто не слыхалъ въ чемъ дѣло, если тотъ разсказывалъ что-нибудь поразительное.

Сенатору доставалось и не такъ, когда онъ противурѣчилъ или былъ не одного мнѣнія съ меньшимъ братомъ, что, впрочемъ, случалось очень рѣдко; а иногда безъ всякихъ противурѣчій, когда мой отецъ былъ особенно не въ духѣ. При этихъ комико-трагическихъ сценахъ, что всего было смѣшнѣе, это—естественная запальчивость Сенатора и натянутое, искусственное хладнокровіе моего отца. «Ну, ты сегодня боленъ», говорилъ петербильно Сенаторъ, хваталъ плечу и бросался вонъ. Разъ въ досадѣ онъ не могъ отворить дверь и толкнулъ ее что есть силъ ногой, говоря: «что за проклятыя двери!» Мой отецъ спокойно подошелъ, отворилъ дверь въ противоположную сторону и совершенно тихимъ голосомъ замѣтилъ: «дверь эта дѣлаетъ свое дѣло, она отворяется туда, а вы хотите ее отворить сюда и сердитесь». При этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что Сенаторъ былъ двумя годами старше моего отца и говорилъ ему *ты*, а тотъ въ качествѣ меньшого брата—*вы*.

Послѣ Сенатора, отецъ мой отправлялся въ свою спальную, всякій разъ освѣдомлялся о томъ, заперты ли ворота, получалъ утвердительный отвѣтъ, изъяснялъ нѣкоторое сомнѣніе и ничего не дѣлалъ, чтобы удостовѣриться. Тутъ начиналась длинная исторія умываній, примочекъ, лекарствъ; камердинеръ приготовлялъ на столѣкѣ возлѣ постели цѣлый арсеналъ разныхъ вещей: етклянокъ, ночниковъ, коробочекъ. Старикъ обыкновенно читалъ съ часъ времени Бурьена, *Memorial de S-te Helène*, и вообще разные записки; за симъ наступала ночь.

Такъ я оставилъ въ 1834 нашъ домъ, такъ засталъ его въ 1840 и такъ все продолжалось до его кончины въ 1846 году.

Лѣтъ тридцати, возвратившись изъ ссылки, я понялъ, что во многомъ мой отецъ былъ правъ, что онъ, по несчастію, оскорбительно хорошо зналъ людей. Но моя ли была вина, что онъ и самую истину проповѣдывалъ такимъ возмутительнымъ образомъ для юнаго сердца. Его умъ, охлажденный длинной жизнью въ кругу людей испорченныхъ, поставилъ его *en garde* противу всѣхъ, а равнодушное сердце не требовало примиренія, онъ такъ и остался въ враждебномъ отношеніи со всѣми на свѣтѣ.

Я его засталъ въ 1839, а еще больше въ 1842 слабымъ и уже дѣйствительно больнымъ. Сенаторъ умеръ, пустота около него была еще больше, даже и камердинеръ былъ другой, но онъ самъ былъ тотъ же, одиѣ физическія силы измѣнились, тотъ же злой умъ, та же память, онъ такъ же всѣхъ тѣнилъ мелочами, и неизмѣн-

ный Зоценбергъ имѣлъ свое прежнее кочевье въ старомъ домѣ и дѣлать комиссіи.

Тогда только оцѣнилъ я все безотрадное этой жизни; съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣлъ я на грустный смыслъ этого одинокаго, оставленнаго существованія, потухавшаго на сухомъ, жесткомъ, каменистомъ пустырѣ, который онъ самъ создать возлѣ себя, но который измѣнить было не въ его волѣ; онъ зналъ это, видѣлъ приближающуюся смерть и, переламывая слабость и дряхлость, ревниво и упорно выдерживалъ себя. Мнѣ бывало ужасно жаль старика, но дѣлать было нечего, онъ былъ неприступенъ.

... Тихо проходилъ я иногда мимо его кабинета, когда онъ, сидя въ глубокихъ креслахъ, жесткихъ и неловкихъ, окруженный своими собаченками, одинъ одинохонокъ игралъ съ моимъ трехлѣтнимъ сыномъ. Казалось сжавшіяся руки и окоченѣвшіе нервы старика распускались при видѣ ребенка, и онъ отдыхалъ отъ безпрерывной тревоги, борьбы и досады, въ которой поддерживалъ себя, дотрогиваясь умирающей рукой до колыбели.

## ГЛАВА VI.

Кремлевская экспедиція. — Московскій Университетъ. — Химикъ. — Мы. — Маловская исторія. — Холера. — Филаретъ. — В. Пассекъ. — Генералъ Лисовскій. — Н. А. Полевой.

О годы вольныхъ, свѣтлыхъ думъ  
И безпредѣльныхъ упований,  
Гдѣ смѣхъ безъ желчи, ширя шумъ?  
Гдѣ трудъ столь полный ожиданій?  
(Юморъ).

Несмотря на зловѣщія пророчества хромого генерала, отецъ мой опредѣлилъ-таки меня на службу къ князю Н. Б. Юсупову въ кремлевскую экспедицію. Я подписалъ бумагу, тѣмъ дѣло и кончилось, больше я о службѣ ничего не слыжалъ, кромѣ того, что года черезъ три Юсуповъ прислалъ дворцоваго архитектора, который всегда кричалъ такимъ голосомъ, какъ будто онъ стоялъ на строищахъ пятого этажа и оттуда что-нибудь приказывалъ работникамъ въ подвалѣ, извѣстить, что я получилъ первый офицерскій чинъ. Всѣ эти чудеса, замѣтимъ мимоходомъ, были ненужны: чины, полученные службой, я разомъ наверсталъ, выдержавши экзаменъ на кандидата; изъ какихъ-нибудь двухъ-трехъ

годовъ старшинства не стоило хлопотать. А между тѣмъ, эта мнимая служба чуть не помѣшала мнѣ вступитъ въ университетъ. Совѣтъ, видя, что я числюсь къ канцеляріи кремлевской экспедиціи, отказаль мнѣ въ правѣ держать экзаменъ.

Для служащихъ были особые курсы послѣ обѣда, чрезвычайно ограниченные и дававшіе право на такъ называемые «комитетскіе экзамены». Всѣ лѣтяи съ деньгами, баричи ничему неучившіеся, все, что не хотѣло служить въ военной службѣ и торопилось получить чинъ асессора, держало комитетскіе экзамены; это было нѣчто въ родѣ *золотыхъ* *пріпековъ*, уступленныхъ старымъ профессорамъ, дававшимъ *privatissima* по двадцати рублей за урокъ.

Начать мою жизнь этими каудинскими фуркулами науки далеко не согласовалось съ моими мыслями. Я сказалъ рѣшительно моему отцу, что если онъ не найдетъ другого средства, я подамъ въ отставку.

Отецъ мой сердился, говорилъ, что я своими капризами мѣшаю ему устроить мою карьеру, бранилъ учителей, которые патолковали мнѣ этотъ вздоръ; но, видя, что все это очень мало меня трогаетъ, рѣшился ѣхать къ Юсупову.

Юсуповъ разеудилъ дѣло въ мнѣ, отчасти по-барски и отчасти по-татарски. Онъ позвалъ секретаря и велѣлъ ему написать отпускъ на три года. Секретарь помялся и доложилъ со страхомъ пополамъ, что отпускъ болѣе, нежели на четыре мѣсяца, нельзя давать безъ высочайшаго разрѣшенія.

— Какой вздоръ, братецъ, сказалъ ему князь, что тутъ затрудняться; ну въ отпускъ нельзя, пиши, что я командирую его для усовершенствованія въ наукахъ—слушать университетскій курсъ.

Секретарь написалъ, и на другой день я уже сидѣлъ въ амфитеатрѣ физико-математической аудиторіи.

Въ исторіи русскаго образованія и въ жизни двухъ послѣднихъ поколѣній московскій университетъ и царскосельскій лицей играютъ значительную роль.

Московскій университетъ выросъ въ своемъ значеніи вмѣстѣ съ Москвою послѣ 1812 года; разжалованная императоромъ Петромъ изъ царскихъ столицъ, Москва была произведена императоромъ Наполеономъ (сколько волею, а вдвое того неволею) въ столицы народа русскаго. Народъ догадался по боли, которую чувствовалъ при вѣсти о ея занятіи непріателемъ, о своей кровной связи съ Москвою. Съ тѣхъ поръ началась для нея новая эпоха. Въ ней университетъ больше и больше становился средоточіемъ русскаго образованія. Всѣ условія для его развитія были соединены—историческое значеніе, географическое положеніе.



Сильно возбужденная дѣятельность ума въ Петербургѣ, послѣ Павла, мрачно замкнулась 14 декабря.

Все пошло назадъ, кровь бросилась къ сердцу, дѣятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московскій университетъ устоялъ и началъ первый вырѣзываться изъ-за всеобщаго тумана.

Голицынъ былъ удивительный человекъ; онъ долго не могъ привыкнуть къ тому безпорядку, что когда профессоръ боленъ, то и лекціи нѣтъ; онъ думалъ, что слѣдующій *по очереди* долженъ быть его замѣнять.

Но, несмотря на это, университетъ росъ вліяніемъ: въ него, какъ въ общій резервуаръ, вливались юныя силы Россіи со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ слоевъ; въ его залахъ опѣ очищались отъ предразсудковъ, захваченныхъ у домашнего очага, приходили къ одному уровню, брательсь между собой и снова разливались во всѣ стороны Россіи, во всѣ слои ея.

До 1848 года устройство нашихъ университетовъ было чисто демократическое. Двери ихъ были открыты всякому, кто могъ выдержать экзаменъ и не былъ ни крѣпостнымъ, ни крестьяниномъ, не уволеннымъ своей общиной. Николай ограничилъ пріемъ студентовъ, увеличилъ плату своекоштныхъ и дозволилъ избавлять отъ нея только бѣдныхъ *дворянъ*. Все это принадлежало къ риду мѣръ, которыя исчезнутъ вмѣстѣ съ закономъ о насакъ, о религіозной нетерпимости и пр.

Истрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, съ юга и съвера, быстро сплавливалась въ компактную массу товарищества. Общественныя различія не имѣли у насъ того оскорбительнаго вліянія, которое мы встрѣчаемъ въ англійскихъ школахъ и казармахъ; объ англійскихъ университетахъ я не говорю: они существуютъ исключительно для аристократіи и для богатыхъ. Студентъ, который бы вздумалъ у насъ хвастаться своей *бѣлой костью* или богатствомъ, былъ бы отлученъ отъ «воды и огня», замученъ товарищами.

Внѣшнія различія, и то не глубокія, дѣлившія студентовъ, или изъ другихъ источниковъ. Такъ, напр., медицинское отдѣленіе, находившееся по другую сторону сада, не было съ нами такъ близко, какъ прочіе факультеты; къ тому же его большинство состояло изъ семинаристовъ и нѣмцевъ. Нѣмцы держали себя нѣсколько въ сторонѣ и были очень пропитаны западно-мѣщанскимъ духомъ. Все воспитаніе несчастныхъ семинаристовъ, всѣ ихъ понятія были совѣмъ иные, чѣмъ у насъ, мы говорили разными языками; они, выросшіе подъ гнетомъ монашескаго дес-

потизма, забытые своей риторикой и теологіей, завидовали нашей независимости; мы—досадовали на ихъ христіанское смиреніе <sup>1)</sup>).

Я вступилъ въ физико-математическое отдѣленіе, несмотря на то, что никогда не имѣлъ ни большой способности, ни большой любви къ математикѣ. Учился ей мы съ Никомъ у одного учителя, котораго мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занимательности, онъ врядъ могъ ли развить особую страсть къ своей наукѣ. Онъ зналъ математику включительно до коническихъ свѣченій, т. е. ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистовъ къ университету; настоящий философъ, онъ никогда не побоялся заглянуть въ «университетскія части» математики. Особенно замѣчательно при этомъ, что онъ только одну книгу и читалъ, и читалъ ее постоянно лѣтъ десять, это Франкеровъ курсъ; но воздержный по характеру и не любившій роскоши, онъ не переходилъ извѣстной страницы.

Я избралъ физико-математическій факультетъ потому, что въ немъ же преподавались естественныя науки, а къ нимъ именно въ это время развилась у меня сильная страсть.

Довольно странная встрѣча навела меня на эти занятія.

Послѣ знаменитаго раздѣла имѣнія въ 1822 году, о которомъ я рассказывалъ, «старшій братецъ» переѣхалъ на житье въ Петербургъ. Долго объ немъ ничего не было слышно, какъ вдругъ разнесся слухъ, что онъ женился. Ему было за шестьдесятъ лѣтъ тогда, и все знали, что, сверхъ совершеннолѣтняго сына, у него были другія дѣти. Онъ именно женился на матери старшаго сына; «молодой» тоже было за пятьдесятъ. Этимъ бракомъ онъ «привѣнчалъ», какъ говорили встарь, своего сына. Отчего же не всехъ дѣтей? Мудрено было бы сказать отчего, если — бѣ главная цѣль, съ которой онъ все это дѣлалъ, была неизвѣстна: онъ хотѣлъ одного—лишить своихъ братьевъ наслѣдства и этого онъ достигалъ вполне «привѣнчиваніемъ» сына. Въ извѣстное наводненіе 1824 года старика залило водой въ каретѣ, онъ простудился, слегъ и въ началѣ 1825 года умеръ.

О сынѣ носились странные слухи, говорили, что онъ былъ неподимъ, ни съ кѣмъ не знался, вѣчно сидѣлъ одинъ, занимаясь химіей, проводилъ жизнь за микроскопомъ, читалъ даже за обѣдомъ и ненавидѣлъ женское общество. Объ немъ сказано въ «Горе отъ ума»:

---

<sup>1)</sup> Въ этомъ отношеніи сдѣланъ огромный успѣхъ; все, что я слышалъ въ послѣднее время о духовныхъ академіяхъ и даже семинаріяхъ, подтверждаетъ это. Само собою разумѣется, что въ этомъ виновато не духовное начальство, а духъ учащихся.

Онъ химикъ, онъ ботаникъ,  
Князь Осдоръ, нашъ племянникъ,  
Отъ женщинъ бѣгаетъ и даже отъ меня.

Дяди, перенесшіе на него зубъ, который имѣли противъ отца, не называли его иначе, какъ «Химикъ», придавая этому слову порицательный смыслъ и подразумѣвая, что химія вовсе не можетъ быть занятіемъ порядочнаго человѣка.

Отецъ передъ смертію страшно тѣснилъ сына, онъ не только оскорблялъ его зрѣлищемъ сѣдого отцовскаго разврата, разврата циническаго, но просто ревновалъ его къ своей сестрѣ. Химикъ разъ хотѣлъ отдѣлаться отъ этой неблагородной жизни лауданумомъ; его спасъ случайно товарищъ, съ которымъ онъ занимался химіей. Отецъ перепугался и передъ смертію сталъ смирѣе съ сыномъ.

Послѣ смерти отца, Химикъ далъ отпущенную несчастнымъ одалескамъ, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ, положенный отцомъ на крестьянъ, простилъ недоимки и даромъ отдалъ рекрутскія квитанціи, которыя продавалъ имъ старикъ, отдавая дворовыхъ въ солдаты.

Года черезъ полтора онъ пріѣхалъ въ Москву; мнѣ хотѣлось его видѣть, и его любилъ за крестьянъ и за несправедливое недоброжелательство къ нему его дядей.

Однимъ утромъ явился къ моему отцу небольшой человѣкъ въ золотыхъ очкахъ, съ большимъ носомъ, съ полупотерянными волосами, съ пальцами, обожженными химическими реакціями. Отецъ мой встрѣтилъ его холодно, колько; племянникъ отвѣчалъ той-же монетой и не хуже чеканенной; помѣрившись, они стали говорить о постороннихъ предметахъ съ наружнымъ равнодушіемъ и разсѣлись учтиво, но съ затаенной злобой другъ противъ друга. Отецъ мой увидѣлъ, что боецъ ему не уступить.

Они никогда не сближались потомъ. Химикъ ѣздилъ очень рѣдко къ дядямъ; въ послѣдній разъ онъ видѣлся съ моимъ отцомъ послѣ смерти Сенатора, онъ пріѣзжалъ просить у него тысячъ тридцать рублей въ займы на покупку земли. Отецъ мой не далъ; Химикъ разсердился и, потирая рукою носъ, съ улыбкой ему замѣтилъ: «Какой же тутъ рискъ, у меня имѣнье *родовое*, я беру деньги для его усовершенствованія, дѣтей у меня нѣтъ и мы другъ послѣ друга наслѣдники». Старикъ 75 лѣтъ никогда не прощалъ племяннику эту выходку.

Я сталъ время отъ времени навѣщать его. Жилъ онъ чрезвычайно своеобразно; въ большомъ домѣ своемъ на Тверскомъ бульварѣ занималъ онъ одну крошечную комнату для себя и одну

для лабораторіи. Старуха мать его жила черезъ коридоръ въ другой комнаткѣ; остальное было запущено и оставалось въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ было при отъѣздѣ его отца въ Петербургъ. Почернѣвшіе канделябры, необыкновенная мебель, всякія рѣдкости, стѣнные часы, *будто бы* купленные Петромъ I въ Амстердамѣ, креслы, будто бы изъ дома Станислава Лещинскаго, рамы безъ картинъ, картины, обороченныя къ стѣнѣ, — все это, поставленное кой-какъ, наполняло три большія залы нетопленныя и неосвѣщенныя. Въ передней люди играли обыкновенно на турбанѣ и курили (въ той самой, въ которой прежде едва смѣли дышать и молиться). Человѣкъ зажигалъ свѣчку и провожалъ этой оружейной палатой, замѣчая всякій разъ, что плаща снимать ненадобно, что въ залахъ очень холодно; густые слои пыли покрывали рогатыя и курьезныя вещи, отражавшіяся и двигавшіяся вмѣстѣ со свѣчей въ вычурныхъ зеркалахъ; солома, остававшаяся отъ укладки, спокойно лежала тамъ-сямъ вмѣстѣ съ стриженной бумагой и бичевками.

Рядомъ этихъ комнатъ достигалась, наконецъ, дверь, завѣшанная ковромъ, которая вела въ странно натопленный кабинетъ. Въ немъ Химикъ, въ замаранномъ халатѣ на бѣличьемъ мѣху, сидѣлъ безвыходно, обложенный книгами, обставленный стеклянками, ретортами, тигелями, снарядами. Въ этомъ кабинетѣ, гдѣ теперь царилъ микроскопъ Шевалье, пахло хлоромъ и гдѣ совершались за нѣсколько лѣтъ страшныя, вопіющія дѣла, — въ этомъ кабинетѣ я *родился*. Отецъ мой, возвратившись изъ чужихъ краевъ, до ссоры съ братомъ, останавливался на нѣсколько мѣсяцевъ въ его домѣ, и въ этомъ-же домѣ родилась моя жена въ 1817 году. Химикъ года черезъ два продалъ свой домъ, и мнѣ опять случилось бывать въ немъ на вечерахъ у Свербѣева, спорить тамъ о панславизмѣ и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не сердился. Комнаты были перестроены, но подъѣздъ, сѣни, лѣстница, передняя — все осталось, также и маленькій кабинетъ остался.

Хозяйство Химика было еще менѣе сложно, особенно когда мать его уѣзжала на лѣто въ подмосковную, а съ нею и поваръ. Камердинеръ его являлся часа въ четыре съ кофейникомъ, выпускалъ въ немъ немного крѣпкаго бульону и, пользуясь химическимъ горномъ, ставилъ его къ огню вмѣстѣ съ всякими ядами. Потомъ онъ приносилъ изъ трактира полрябчика и хлѣбъ, въ этомъ состоялъ весь обѣдъ. По окончаніи его камердинеръ мылъ кофейникъ и онъ входилъ въ свои естественныя права. Вечеромъ снова являлся камердинеръ, снималъ съ дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наслѣдству отъ отца, и груды книгъ, стлалъ простыню, приносилъ подушки и одѣяло, и кабинетъ такъ же легко превращался въ спальню, какъ въ кухню и столовую.

Съ самаго начала нашего знакомства, Химикъ, увидѣлъ, что я серьезно занимаюсь, и сталъ уговаривать, чтобъ я бросилъ «пустыя» занятія литературой и «опасныя безъ всякой пользы» политикой, а принялся бы за естественныя науки. Онъ далъ мнѣ рѣчь Кювье о геологическихъ переворотахъ и Декандолеву растительную орнагографію. Видя, что чтеніе идетъ на пользу, онъ предложилъ свои превосходныя собранія, снаряды, гербаріи и даже свое руководство. Онъ на своей почвѣ былъ очень занимателенъ, чрезвычайно ученъ, остеръ и даже любезенъ; но для этого ненадобно было ходить дальше обезьянъ; отъ камней до орангъ-утанга, его все интересовало, далѣе онъ неохотно пускался, особенно въ философію, которую считалъ болтовней. Онъ не былъ ни консерваторъ, ни отсталой человѣкъ, онъ просто не вѣрилъ въ людей, т. е. вѣрилъ, что эгоизмъ исключительное начало всѣхъ дѣйствій, и находилъ, что его сдерживаетъ только безуміе однихъ и невѣжество другихъ.

Меня возмущалъ его матеріализмъ. Поверхностный и со страхомъ пополамъ вольтеріанизмъ нашихъ отцовъ нѣсколько не былъ похожъ на матеріализмъ Химика. Его взглядъ былъ спокойный, послѣдовательный, оконченный; онъ напоминалъ извѣстный отвѣтъ Лаланда Наполеону: «Кантъ принимаетъ гипотезу Бога», сказалъ ему Бонапартъ.—«Sire, возразилъ астрономъ, мнѣ въ моихъ занятіяхъ никогда не случалось нуждаться въ этой гипотезѣ».

Атеизмъ Химика шелъ далѣе теологическихъ сферъ. Онъ считалъ Жофруа Сентъ-Илера мистикомъ, а Окена просто поврежденнымъ. Онъ съ тѣмъ пренебреженіемъ, съ которымъ мой отецъ сложилъ исторію Карамзина, закрылъ сочиненія натуръ-философовъ. «Сами выдумали, первыя причины, духовныя силы, да и удивляются потомъ, что ихъ ни найти, ни понять нельзя». Это былъ мой отецъ въ другомъ изданіи, въ иномъ вѣкѣ и иначе воспитанный.

Взглядъ его становился еще безотраднѣе во всѣхъ жизненныхъ вопросахъ. Онъ находилъ, что на человѣкѣ такъ же мало лежитъ ответственности за добро и зло, какъ на звѣрѣ; что все дѣло организаціи, обстоятельствъ и вообще устройства нервной системы, отъ которой *больше ждуть, нежели она въ состояніи дать*. Семейную жизнь онъ не любилъ, говорилъ съ ужасомъ о бракѣ и наивно признавался, что онъ пережилъ тридцать лѣтъ, не любя ни одной женщины. Впрочемъ, одна теплая струйка въ этомъ охлажденномъ человѣкѣ еще оставалась, она была видна въ его отношеніяхъ къ старушкѣ матери; они много страдали вмѣстѣ отъ отца, бѣдствія сильно спланили ихъ; онъ трогательно окружалъ одинокую и болѣзненную старость ея, насколько умѣлъ, покоемъ и вниманіемъ.

Теорій своихъ, кромѣ химическихъ, онъ никогда не проповѣдывалъ; онъ высказывался случайно, вызывался мною. Онъ даже нехотѣ отвѣчать на мои романтическія и философскія возраженія; его отвѣты были коротки, онъ ихъ дѣлалъ улыбаясь и съ той деликатностью, съ которой большой, старый мастифъ играетъ съ щенкомъ, позволяя ему себя теревить и только легко отгоняя ланой. Но это-то меня и дразнило всего больше, и я неутомимо возвращался à la charge, не выигрывая, впрочемъ, ни одного пальца почвы. Впослѣдствіи, т. е. лѣтъ черезъ двѣнадцать, я много разъ поминалъ Химика, такъ, какъ поминалъ замѣчанія моего отца; разумеется, онъ былъ правъ въ трехъ-четвертяхъ всего, на что я возражалъ. Но, вѣдь, и я былъ правъ. Есть истины, мы уже говорили объ этомъ, которыя, какъ политическія права, не передаются раньше извѣстнаго возраста.

Вліяніе Химика заставило меня избрать физико-математическое отдѣленіе, можетъ, еще лучше было бы вступить въ медицинское; но бѣды большой въ томъ нѣтъ, что я сперва посредственно выучилъ, потомъ основательно забылъ дифференціальныя и интегральныя исчисленія.

Безъ естественныхъ наукъ нѣтъ спасенія современному человеку, безъ этой здоровой нищизни, безъ этого строгаго воспитанія мысли фактами, безъ этой близости къ окружающей насъ жизни, безъ эмпириі передъ ея независимостью,—гдѣ-нибудь въ душѣ остается монашеская келья и въ ней мистическое зерно, которое можетъ разлиться темной водой по всему разумію.

Передъ окончаніемъ моего курса, Химикъ уѣхалъ въ Петербургъ, и я не видался съ нимъ до возвращенія изъ Вятки. Нѣсколько мѣсяцевъ послѣ моей женитьбы, я ѣздилъ полутайкомъ на нѣсколько дней въ подмосковную, гдѣ тогда жилъ мой отецъ. Цѣль этой поѣздки состояла въ окончательномъ примиреніи съ нимъ, онъ все еще сердился на меня за мой бракъ.

По дорогѣ я остановился въ Перхушковѣ, тамъ, гдѣ мы столько разъ останавливались; Химикъ меня ожидалъ и даже приготовилъ обѣдъ и двѣ бутылки шампанскаго. Онъ черезъ четыре или пять лѣтъ былъ неизмѣнно тотъ же, только немного постарѣлъ. Передъ обѣдомъ онъ спросилъ меня совершенно серьезно: «Скажите, пожалуйста, откровенно, ну, какъ вы находите семейную жизнь, бракъ? Что, хорошо, что ли, или не очень?»—Я смѣялся. —«Какая смѣлость съ вашей стороны, продолжалъ онъ, я удивляюсь вамъ; въ нормальномъ состояніи никогда человекъ не можетъ рѣшиться на такой страшный шагъ. Мнѣ предлагали двѣ, три партіи очень хорошія, но какъ я вздумаю, что у меня въ комнатѣ будетъ распоряжаться женщина, будетъ все приводить по своему въ порядокъ, пожалуй, будетъ мнѣ запрещать курить



мой табакъ (онъ курилъ пѣжинскіе корешки), подниметь шумъ, сумбуръ, тогда на меня находитъ такой страхъ, что я предпочитаю умереть въ одиночествѣ».

— Останется мнѣ у васъ почевать, или ѣхать въ Покровское? спросилъ я его послѣ обѣда.

— «Недостатка въ мѣстѣ у меня нѣтъ, отвѣтилъ онъ,—но для васъ, я думаю, лучше ѣхать, вы пріѣдете часовъ въ десять къ вашему батюшкѣ. Вы, вѣдь, знаете, что онъ еще сердитъ на васъ; ну—вечеромъ, передъ сномъ у старыхъ людей обыкновенно нервы ослаблены и вылы, онъ васъ приметъ, вѣроятно, гораздо лучше нынче, чѣмъ завтра; утромъ вы его найдете совсѣмъ готовымъ для сраженія».

— Ха, ха, ха,—какъ я узнаю моего учителя физиологій и матеріализма, сказалъ я ему, смѣясь отъ души;—ваше замѣчаніе такъ и напомнило мнѣ тѣ блаженныя времена, когда я приходилъ къ вамъ, въ родѣ гётевскаго Вагнера, надобдаты моимъ идеализмомъ и выслушивать не безъ негодованія ваши охлаждающія сентенціи.

— «Вы съ тѣхъ поръ довольно жили, отвѣтилъ онъ, тоже смѣясь, чтобъ знать, что всё дѣла человѣческія зависятъ просто отъ нервовъ и отъ химическаго состава».

Послѣ мы какъ-то разошлись съ нимъ; вѣроятно мы оба были неправы...; тѣмъ не менѣе, въ 1846 г. онъ написалъ мнѣ письмо. Я начиналъ тогда входить въ моду послѣ первой части *Итоги новотъ?* Химикъ писалъ мнѣ, что онъ съ грустью видитъ, что я употребляю на пустыя занятія мой талантъ. «Я съ вами примирился за ваши письма объ изученіи природы; въ нихъ я понимаю (насколько человѣческому уму можно понимать) нѣмецкую философію; зачѣмъ же вмѣсто продолженія серьезнаго труда вы пишете сказки?» Я отвѣчалъ ему нѣсколькими дружескими строками; тѣмъ наши сношенія и кончились.

Если эти строки попадутся на глаза самому Химпу, я попрошу его ихъ прочесть, ложась спать въ постель, когда нервы ослаблены, и увѣренъ, что онъ проститъ мнѣ тогда дружескую болтовню, тѣмъ болѣе, что я храню серьезную и добрую память о немъ.

Итакъ, наконецъ, затворничество родительскаго дома пало. Я былъ au large; вмѣсто одиночества въ нашей небольшой комнатѣ, вмѣсто тихихъ и полускрываемыхъ свиданій съ однимъ Огаревымъ,—шумная семья, въ семьсотъ головъ, окружила меня. Въ ней я больше оклиматился въ двѣ недѣли, чѣмъ въ родительскомъ домѣ съ самаго дня рожденія.

А домъ родительскій меня преслѣдовалъ даже въ университетъ, въ видѣ лакея, которому отецъ мой велѣлъ меня провожать, особенно, когда я ходилъ пѣшкомъ. Цѣлый семестръ я отдѣлы-

вался отъ провожаатаго и насилу офіціально успѣлъ въ этомъ. Я говорю: офіціально,—потому что Петръ Ѳедоровичъ, мой камердинеръ, на котораго была возложена эта должность, очень скоро понялъ, во-первыхъ, что мнѣ непріятно быть провожаемымъ, во-вторыхъ, что самому ему гораздо пріятнѣе въ разныхъ увеселительныхъ мѣстахъ, чѣмъ въ передней физико-математическаго факультета, въ которой всѣ удовольствія ограничивались бесѣдою съ двумя сторожами и взаимнымъ потчиваніемъ другъ друга и самихъ себя табакомъ.

Къ чему посылали за мной провожаатаго? Неужели Петръ, съ молодыхъ лѣтъ зашибавшій по нѣскольку дней сряду, могъ меня остановить въ чемъ-нибудь? Я полагаю, что мой отецъ и не думалъ этого, но для *своего* спокойствія бралъ мѣры недѣйствительныя, но все же мѣры, въ родѣ того, какъ люди, не вѣря, говѣютъ. Черта эта принадлежитъ нашему старинному помѣщицкому воспитанію. До семи лѣтъ было приказано водить меня за руку по внутренней лѣстницѣ, которая была нѣсколько крута; до одиннадцати меня мыла въ корытѣ Вѣра Артамоновна; стало, очень послѣдовательно—за мной, студентомъ, посылали слугу и до 21 года мнѣ не позволялось возвращаться домой послѣ половины одиннадцатаго. Я практически очутился на волѣ и на своихъ ногахъ въ сѣнѣхъ; если-бъ меня не сослали, вѣроятно, тотъ же режимъ продолжался бы до 25 лѣтъ... до 35.

Какъ большая часть живыхъ мальчиковъ, воспитанныхъ въ одиночествѣ, я съ такой некрепенностью и стремительностью бросался каждому на шею, съ такой безумной неосторожностью дѣлалъ пропаганду и такъ откровенно самъ всѣхъ любилъ, что не могъ не вызвать горячій отвѣтъ со стороны аудиторіи, состоявшей изъ юношей почти одного возраста (мнѣ былъ тогда семнадцатый годъ).

Мудрыя правила — со всѣми быть учтивымъ и ни съ кѣмъ близкимъ, никому не довѣряться — столько же способствовали этимъ сближеніямъ, какъ неотлучная мысль, съ которой мы вступили въ университетъ, мысль—что *здѣсь* совершаются наши мечты, что здѣсь мы бросимъ сѣмена, положимъ *основу* союзу.

Молодежь была прекрасная въ нашъ курсъ. Именно въ это время пробуждались у насъ больше и больше теоретическія стремленія. Семинарская выучка и шляхетская лѣнь равно печезали, не замѣняясь еще нѣмецкимъ утилитаризмомъ, удобряющимъ умы наукой, какъ поля навозомъ, для усиленной жатвы. Порядочный кругъ студентовъ не принималъ больше науку за необходимый, но скучный проселокъ, которымъ скорѣе объѣзжаютъ въ коллежскіе ассессоры. Возникавшіе вопросы вовсе не относились до табели о рангахъ.

Съ другой стороны, научный интересъ не успѣлъ еще выродиться въ доктринаризмъ; наука не отвлекала отъ воображительности въ жизнь, страдавшую вокругъ. Это сочувствіе съ нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентовъ. Мы и наши товарищи говорили въ аудиторіи открыто все, что приходило въ голову; тетрадки *запрещенныхъ* стиховъ ходили изъ рукъ въ руки, запрещенныя книги читались съ комментаріями и, при всемъ томъ, я не помню ни одного доноса изъ аудиторіи, ни одного предательства. Были робкіе молодые люди, уклонявшіеся, отстранявшіеся,—но и тѣ молчали.

Одинъ пустой мальчикъ, допрашиваемый своею матерью о Маловской исторіи подъ угрозою прута, рассказаль ей кое-что. Нѣжная мать—*аристократка* и княгиня—бросилась къ ректору и передала доносъ сына, какъ доказательство его раскаянія. Мы узнали это и мучили его до того, что онъ не остался до окончанія курса.

Исторія эта, за которую и я посидѣлъ въ карцерѣ, стоитъ того, чтобъ разеказать ее.

Маловъ былъ глупый, грубый и необразованный профессоръ въ политическомъ отдѣленіи. Студенты презирали его, смѣялись надъ нимъ. «Сколько у васъ профессоровъ въ отдѣленіи?» спросилъ какъ-то понечитель у студента въ политической аудиторіи. «Безъ Малова девять», отвѣчалъ студентъ. Вотъ этотъ-то профессоръ, котораго надобно было *выгнать* для того, чтобъ осталось девять, сталъ больше и больше дѣлать дерзостей студентамъ; студенты рѣшились прогнать его изъ аудиторіи. Сговорившись, они прислали въ наше отдѣленіе двухъ парламентаровъ, приглашая меня придти съ вспомогательнымъ войскомъ. Я тотчасъ объявилъ кличъ идти войной на Малова, нѣсколько человѣкъ пошли со мной. Когда мы пришли въ политическую аудиторію, Маловъ былъ налицо и видѣлъ насъ.

У всѣхъ студентовъ на лицахъ былъ нарисованъ одинъ страхъ: ну, какъ онъ въ этотъ день не сдѣлаетъ никакого грубаго замѣчанія. Страхъ этотъ скоро прошелъ. Черезъ край полная аудиторія была непокойна и издавала глухой, сдвоенный гулъ. Маловъ сдѣлалъ какое-то замѣчаніе, началось шарканье. «Вы выражаете ваши мысли, какъ лошади, ногами», замѣтилъ Маловъ, воображавшій вѣроятно, что лошади думаютъ галопомъ и рысью,—и буря поднялась, свистъ, шиканье, крикъ: «вонъ его, вонъ его, pereat!» Маловъ, блѣдный, какъ полотно, сдѣлалъ отчаянное усиліе овладѣть шумомъ и не могъ; студенты вскочили на лавки. Маловъ тихо сошелъ съ кафедръ и, съѣжившись, сталъ пробираться къ дверямъ; аудиторія за нимъ, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вѣдѣть за нимъ его калоши. Последнее обстоя-

тельство было важно, на улицѣ дѣло получило совсѣмъ иной характеръ; но, будто, есть на свѣтѣ молодые люди 17, 18 лѣтъ, которые думаютъ объ этомъ.

Университетскій совѣтъ перепугался и убѣдилъ попечителя представить дѣло оконченнымъ и для того виновныхъ или такъ кого-нибудь посадить въ карцеръ. Это было не глупо. Легко можетъ быть, что въ противномъ случаѣ государь прислалъ бы флигель-адъютанта, который для полученія креста сдѣлалъ бы изъ этого дѣла заговоръ, возстаніе, бунтъ и предложилъ бы всѣхъ отправить на каторжную работу, а государь помиловалъ бы въ солдаты. Видя, что порокъ наказанъ и правдивость торжествуетъ, государь ограничился тѣмъ, что утвердилъ волю студентовъ и отставилъ профессора. Мы Малова прогнали до университетскихъ воротъ, а онъ его выгналъ за ворота.

Итакъ, дѣло закинуло; на другой день послѣ обѣда прилепелъ ко мнѣ сторожъ изъ правленія, сѣдой старикъ, который добросовѣстно принималъ *à la lettre*, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживалъ себя въ состояніи болѣе близкомъ къ пьяному, чѣмъ къ трезвому. Онъ въ обшлагъ шинели принесъ отъ «лектура» записочку, — мнѣ было велѣно явиться къ нему въ семь часовъ вечера. Велѣдъ за нимъ явился блѣдный и испуганный студентъ изъ остзейскихъ бароновъ, получившій такое же приглашеніе и принадлежавшій къ несчастнымъ жертвамъ, приведеннымъ мною. Онъ началъ съ того, что осыпалъ меня упреками, потомъ спрашивалъ совѣта, что ему говорить.

— «Лгать отчаянно, зашпираться во всемъ, кромѣ того, что шумъ былъ и что вы были въ аудиторіи», отвѣчалъ я ему.

— А ректоръ спроситъ, зачѣмъ я былъ въ политической аудиторіи, а не въ нашей?

— «Какъ зачѣмъ? Да развѣ вы не знаете, что Родіонъ Гейманъ не приходилъ на лекцію, вы, не желая потерять времени по пустому, пошли слушать другую».

— Онъ не повѣритъ.

— «Это ужъ его дѣло».

Когда мы входили на университетскій дворъ, я посмотрѣлъ на моего барона: пухленькія щечки его были очень блѣдны и вообще ему было плохо. «Слушайте, сказалъ я, вы можете быть увѣрены, что ректоръ начнетъ не съ васъ, а съ меня; говорите то же самое съ варіаціями, вы же и въ самомъ дѣлѣ ничего особеннаго не сдѣлали. Не забудьте одно: за то, что вы шумѣли, и за то, что лжете, — много, много васъ посадятъ въ карцеръ; а если вы проболтаетесь да кого-нибудь при мнѣ запутаете, я расскажу въ аудиторіи и мы отравимъ вамъ ваше существованіе». Баронъ обѣщалъ и честно сдержалъ слово.

Ректоромъ былъ тогда Двигубскій, одинъ изъ остатковъ и образцовъ донотонныхъ профессоровъ или, лучше сказать, *до-ножарныхъ*, то есть до 1812 года.

Они вывелись теперь; съ понечительствомъ князя Оболенскаго вообще оканчивается патриархальный періодъ московскаго университета. Въ тѣ времена начальство университетомъ не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притомъ не въ мундирныхъ сюртукахъ *ad instar* конноегерскихъ, а въ разныхъ отчаянныхъ и эксцентрическихъ платьяхъ, въ крошечныхъ фуражкахъ, едва державшихся на дѣвственныхъ волосахъ. Профессора составляли два стана или слоя, мирно ненавидившіе другъ друга, одинъ состоялъ исключительно изъ нѣмцевъ, другой изъ не-нѣмцевъ. Нѣмцы, въ числѣ которыхъ были люди добрые и ученые, какъ Лодеръ, Фишеръ, Гильдебрантъ и самъ Геймъ, вообще отличались незнаніемъ и нежеланіемъ знать русскаго языка, хладнокровіемъ къ студентамъ, духомъ западнаго кліентизма, ремесленничества, неумѣреннымъ куреніемъ сигаръ и огромнымъ количествомъ крестовъ, которыхъ они никогда не снимали. Не-нѣмцы, съ своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кромѣ русскаго, были отечественно раболѣпны, семинареки неуклюжи, держались, за исключеніемъ Мерзлякова, въ черномъ тѣлѣ и, вмѣсто неумѣреннаго употребленія сигаръ, употребляли неумѣренню настойку. Нѣмцы были больше изъ Геттингена, не-нѣмцы изъ поповскихъ дѣтей.

Двигубскій былъ изъ не-нѣмцевъ. Видъ его былъ такъ назидателенъ, что какой-то студентъ изъ семинаристовъ, приходя за табелью, подошелъ къ нему подѣ благословеніе и постоянно называлъ его «отецъ-ректоръ». Притомъ онъ былъ страшно похожъ на сову съ Анной на шеѣ, какъ его рисовалъ другой студентъ, получившій болѣе свѣтское образованіе. Когда онъ, бывало, приходилъ въ нашу аудиторію или съ деканомъ Чумаковымъ, или съ Котельницкимъ, который завѣдывалъ шкапомъ съ надписью «*Materia Medica*», неизвѣстно зачѣмъ проживавшимъ въ математической аудиторіи, или съ Рейсомъ, выписаннымъ изъ Германіи за то, что его дядя хорошо зналъ химію, съ Рейсомъ, который, читая по-французски, называлъ свѣтильню—*baton de coton*, ядь—рыбой: *poisson*, а слово молнія такъ несчастно произносилъ, что многіе думали, что онъ бранится,—мы смотрѣли на нихъ большими глазами, какъ на собраніе ископаемыхъ, какъ на послѣднихъ Абенсераговъ, представителей пного времени, не столько близкаго къ намъ, какъ къ Тредьяковскому и Кострову; времени, въ которомъ читали Хераскова и Княжнина, времени добраго профессора Дилтея, у котораго были двѣ собачки, одна вѣчно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что онъ очень справедливо прозвалъ одну *Баваркой*, а другую *Пруденкой*.

Но Двигубскій былъ вовсе не добрый профессоръ, онъ при-  
нялъ насъ чрезвычайно круто и былъ грубъ; я поролъ страниую  
дичь и былъ неучтивъ, баронъ подогрѣвалъ то же самое. Раздра-  
женный Двигубскій велѣлъ явиться на другое утро въ совѣтъ;  
тамъ въ полчаса времени насъ допросили, осудили, приговорили  
и послали сентенцію на утвержденіе князя Голицына.

Едва я успѣлъ въ аудиторіи пять или шесть разъ въ лицахъ  
представить студентамъ судъ и расправу университетскаго се-  
ната, какъ вдругъ въ началѣ лекціи явился инспекторъ, русской  
службы майоръ и французскій танцмейстеръ, съ унтеръ-офицеромъ  
и съ приказомъ въ рукѣ—меня взять и свести въ карцеръ. Часть  
студентовъ пошла провожать, на дворъ тоже толпилась молодежь;  
видно, меня не первого вели, когда мы проходили, все махали  
фуражками, руками; университетскіе солдаты двигали ихъ назадъ,  
студенты не шли.

Въ грязномъ подвалѣ, служившемъ карцеромъ, я уже нашелъ  
двухъ арестантовъ, Аранетова и Олова; князя Андрея Оболен-  
скаго и Розенгейма посадили въ другую комнату; всего было  
шесть человекъ, наказанныхъ по маловескому дѣлу. Насъ было  
велѣно содержать на хлѣбѣ и водѣ, ректоръ прислалъ какой-то  
сунгъ, мы отказались и хорошо едѣлись; какъ только смерклось  
и университетъ опустѣлъ, товарищи принесли намъ сыру, дичи,  
сигаръ, вина и ликеру. Солдаты сердились, ворчали, брали дву-  
гривенные и носили принасы. Послѣ полуночи, онъ пошелъ да-  
лѣе и пустилъ къ намъ нѣсколько человекъ гостей. Такъ прово-  
дили мы время, пируя ночью и лежа съ спать днемъ.

Разъ какъ-то товарищъ попечителя Панинъ, братъ министра  
юстиціи, вѣрный своимъ конногвардейскимъ привычкамъ, взду-  
малъ обойти ночью рундомъ государственную тюрьму въ универ-  
ситетскомъ подвалѣ. Только что мы загли свѣчу подъ стуломъ,  
чтобы снаружи не было видно, и принялись за нашъ ночной зав-  
тракъ, раздался стукъ въ наружную дверь; не тотъ стукъ, кото-  
рый своей слабостью проситъ солдата отпереть, который больше  
боится, что его услышатъ, нежели то, что не услышатъ; нѣтъ, это  
былъ стукъ съ авторитетомъ, приказывающій. Солдаты оберъ, мы  
спрятали бутылки и студентовъ въ небольшой чуланъ, задули  
свѣчу и бросились на наши койки. Взошелъ Панинъ. «Вы, *кажется*,  
курите?»—сказалъ онъ, едва вырѣзываясь съ инспекторомъ, кото-  
рый несъ фонарь, изъ-за густыхъ облаковъ дыма. «Откуда это  
они берутъ огонь, ты даешь?» Солдаты клялись, что не дасть.  
Мы отвѣчали, что у насъ былъ съ собою трутъ. Инспекторъ обѣ-  
щаль его отнять и обобрать сигары, и Панинъ удалился, не за-  
мѣтивъ, что количество фуражекъ было вдвое больше количества  
головъ.



Въ субботу вечеромъ явился инспекторъ и объявилъ, что я и еще одинъ изъ насъ можетъ идти домой, но что остальные посидятъ до понедѣльника. Это предложеніе показалось мнѣ обиднымъ и я спросилъ инспектора, могу ли остаться; онъ отступилъ на шагъ, посмотрѣлъ на меня съ тѣмъ грозно-граціознымъ видомъ, съ которымъ въ балетахъ цари и героини плыли гнѣвъ, и, сказавши: «сидите, пожалуйста», вышелъ вонъ. За послѣднюю выходку досталось мнѣ дома больше, нежели за всю исторію.

Итакъ, первыя ночи, которыя я не спалъ въ родительскомъ домѣ, были проведены въ карцерѣ. Вскорѣ мнѣ приходилось испытать другую тюрьму и тамъ я просидѣлъ не восемь дней, а девять мѣсяцевъ, послѣ которыхъ поѣхалъ не домой, а въ ссылку. Но до этого далеко.

Съ этого времени я въ аудиторіи пользовался величайшей симпатіей. Сперва я слылъ за хорошаго студента; послѣ маловской исторіи сдѣлался, какъ извѣстная гоголевская дама, хороший студентъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Училисъ ли мы при всемъ этомъ чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподаваніе было скуднѣе, объемъ его меньше, чѣмъ въ сороковыхъ годахъ. Университетъ, впрочемъ, не долженъ оканчивать научное воспитаніе; его дѣло—поставить человѣка а тамъ продолжать на своихъ ногахъ; его дѣло—возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и дѣлали такіе профессора, какъ М. Г. Павловъ, а съ другой стороны, и такіе, какъ Каченовскій. Но больше лекцій и профессоръ развивала студентовъ аудиторія юнымъ столкновеніемъ, обмѣномъ мыслей, чтеній... Московскій университетъ свое дѣло дѣлалъ; профессора, способствовавшіе своими лекціями развитію Лермонтова, Бѣлинскаго, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могутъ спокойно играть въ бостонъ и еще спокойно лежать подъ землей.

А какіе оригиналы были въ ихъ числѣ и какія чудеса: отъ Федора Ивановича Чумакова, *подгонявшаго* формулы къ тѣмъ, которыя были въ курсѣ Пуансо, съ совершеннѣйшей свободой помѣщичьяго права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и  $x$  за извѣстное, до Гаврііла Мягова, читавшаго самую *жесткую* науку въ мірѣ—тактику. Отъ постоянного обращенія съ предметами героическими, самая наружность Мягова приобрѣла строевую выправку: застегнутый до горла, въ неспябающемся галетухѣ, онъ больше командовалъ свои лекціи, чѣмъ говорилъ. «Господа!» кричалъ онъ, «на полѣ—*Объ артиллеріи!*» это не значило на полѣ сраженія фдутъ пушки, а просто, что на маршѣ такое заглавіе.

А Федоръ Федоровичъ Рейсъ, никогда не читавшій химіи даѣе второй химической шостаси, т. е. водорода! Рейсъ, который

дѣйствительно попалъ въ профессора химіи, потому что не онъ, а его дядя занимался когда-то ею. Въ концѣ царствованія Екатерины, старика пригласили въ Россію; ему ѣхать не хотѣлось,—онъ отправилъ вмѣсто себя племянника...

Къ чрезвычайнымъ событіямъ нашего курса, продолжавшагося четыре года (потому что во время холеры университетъ былъ закрытъ цѣлый семестръ), принадлежитъ сама холера, пріѣздъ Гумбольдта и посѣщеніе Уварова.

Гумбольдтъ, возвращаясь съ Урала, былъ встрѣченъ въ Москвѣ въ торжественномъ засѣданіи общества естествоиспытателей при университетѣ, членами котораго были разные сенаторы, губернаторы,—вообще люди, не занимавшіеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайнаго совѣтника его прусскаго величества, которому государь императоръ изволилъ дать Анну и приказать не брать съ него денегъ за матеріалъ и дипломъ, дошла и до нихъ. Они рѣшились не ударить себя лицомъ въ грязь передъ человѣкомъ, который былъ на Чимборазо и жилъ въ Санъ-Сусен.

Мы до сихъ поръ смотримъ на европейцевъ и Европу въ томъ родѣ, какъ провинціалы смотрятъ на столичныхъ жителей, съ подобострастіемъ и чувствомъ собственной вины, принимая каждую разницу за недостатокъ, краснѣя своихъ особенностей, скрывая ихъ, подчиняясь и подражая. Дѣло въ томъ, что мы были застращены и не оправились отъ насмѣшекъ Петра I, отъ оскорбленій Бирона, отъ высокомерія служебныхъ нѣмцевъ и воспитателей французовъ. Западные люди толкуютъ о нашемъ двосудіи и лукавомъ коварствѣ; они принимаютъ за желаніе обмануть—желаніе выказаться и похвастаться. У насъ тотъ же человѣкъ готовъ наивно либеральничать съ либераломъ; прикинуться легитимистомъ, и это безъ всякихъ заднихъ мыслей, просто изъ учтивости и изъ кокетства; бугоръ de l'approbativité сильно развитъ въ нашемъ черепѣ.

«Князь Дмитрій Голицынъ, сказалъ какъ-то лордъ Дюрамъ, настоящій вигъ, вигъ въ душѣ».

Князь Д. В. Голицынъ былъ почтенный русскій баринъ, но почему онъ былъ «вигъ», съ чего онъ былъ «вигъ»,—не понимаю. Будьте увѣрены, князь на старости лѣтъ хотѣлъ поправиться Дюраму и прикинулся вигомъ.

Пріемъ Гумбольдта въ Москвѣ и въ университетѣ было дѣло не шуточное. Генераль-губернаторъ, разные вое- и градо-начальники, сенатъ—все явилось: лента черезъ плечо, въ полномъ мундирѣ, профессора воинственно при шпагахъ и съ трехъ-угольными шляпами подъ рукой. Гумбольдтъ, ничего не подозревая, пріѣхалъ въ синемъ фракѣ съ золотыми пуговицами и, разумѣется, былъ сконфуженъ. Отъ сѣней до залы общества естествоиспытателей,

вездѣ были приготовлены засады: тутъ ректоръ, тамъ деканъ, тутъ начинающій профессоръ, тамъ ветеранъ, оканчивающій свое поприще, и именно потому говорящій очень медленно; каждый привѣтствовалъ его по-латыни, по-нѣмецки, по-французски, и все это въ этихъ страшныхъ каменныхъ трубахъ, называемыхъ коридорами, въ которыхъ нельзя остановиться на минуту, чтобъ не простудиться на мѣсяцъ. Гумбольдтъ все слушалъ безъ пиляны и на все отвѣчалъ; я увѣренъ, что всѣ дикіе, у которыхъ онъ былъ, краснокожіе и мѣднаго цвѣта, сдѣлали ему меньше не-пріятностей, чѣмъ московскій пріемъ.

Когда онъ дошелъ до залы и усѣлся, тогда надобно было встать. Понечитель Писаревъ счелъ нужнымъ въ краткихъ, но сильныхъ словахъ *отдать приказъ*, по-русски, о заслугахъ его превосходительства и знаменитаго путешественника; послѣ чего Сергій Глинка, «офицеръ», голосомъ тысяча восьмисотъ двѣнадцатаго года, густо сильнымъ, прочелъ свое стихотвореніе, начинавшееся такъ:

Humboldt—Prométhée de nos jours!

А Гумбольдту хотѣлось потолковать о наблюденіяхъ надъ магнитной стрѣлкой, сличить свои метеорологическія замѣтки на Уралѣ съ московскими; вмѣсто этого, ректоръ пошелъ ему показывать что-то силетенное изъ волосъ Петра I...; наслу Эренбергъ и Розе нашли случай кой-что разсказать о своихъ открытіяхъ <sup>1)</sup>.

У насъ и въ неофициальномъ мірѣ дѣла идутъ не много лучше: десять лѣтъ спустя, точно такъ же принимали Листа въ московскомъ обществѣ. Глуостей довольно дѣлали для него и въ Германіи, но тутъ совсѣмъ не тотъ характеръ; въ Германіи это все стародѣвическая экзальтація, сентиментальность, все *Blumenstreuen*; у насъ—подчиненіе, признаніе власти, вытяжка, у насъ все «честь имѣю явиться къ вашему превосходительству». Тутъ же, по несчастью, прибавилась слава Листа, какъ извѣстнаго ловлаца; дамы толпились около него такъ, какъ крестьянскіе мальчишки на проселочныхъ дорогахъ толпятся около проѣзжаго,

<sup>1)</sup> Какъ разнo было понято въ Россіи путешествіе Гумбольдта, можно судить изъ повѣствованія уральскаго казака, служившаго при канцеляріи пермскаго губернатора; онъ любилъ разсказывать, какъ онъ провожалъ «сумасшедшаго прусскаго принца Гумплота».—Что же онъ дѣлалъ?—«Такъ, самое, т. е., пустое, травы наберешь, песокъ смотреть; какъ-то въ Солончакахъ говорить мнѣ черезъ толмача: полѣзай въ воду, достань что на днѣ; ну, я досталъ обыкновенно что на днѣ бываетъ, а онъ спрашиваетъ: что, выше очень холодна вода? Думаю, нѣтъ братъ, меня не проведешь, сдѣлашь фрунтъ и отвѣтишь: того, моль, ваша свѣтлость, служба требуетъ—все равно, мы рады стараться».

пока закладываютъ лошадей, любознательно разсматривая его самого, его коляску, шапку... Все слушало одного Листа, все говорило только съ нимъ однимъ, отвѣчало только ему. Я помню, что на одномъ вечерѣ Хомяковъ, краснѣя за почтенную публику, сказалъ мнѣ: «поспоримте, пожалуйста, о чемъ-нибудь, чтобъ Листъ видѣлъ, что есть здѣсь въ комнатѣ люди, не исключительно занятые имъ». Въ утѣшеніе нашимъ дамамъ, я могу только одно сказать, что англичанки точно такъ же метались, толпились, тормонились, не давали проходу другимъ знаменитостямъ: Кошуту, потомъ Гарибальди и пр.; по горѣ тѣмъ, кто хочетъ учиться хорошимъ манерамъ у англичанокъ и ихъ мужей!

Второй «знаменитый» путешественникъ былъ тоже въ нѣкоторомъ смыслѣ «Промноей нашихъ дней», только что онъ свѣтъ кралъ не у Юпитера, а у людей. Этотъ Промноей, воспѣтый не Глинкою, а самимъ Пушкинымъ въ посланіи къ Лукуллу, былъ министръ народнаго просвѣщенія С. С. (еще не графъ) Уваровъ. Онъ удивлялъ насъ своимъ многоязычіемъ и разнообразіемъ всякой всячины, которую зналъ; настоящій сдѣлецъ за прилавкомъ просвѣщенія, онъ берегъ въ памяти образчики всѣхъ наукъ, ихъ казовые концы или лучше начала. При Александрѣ онъ писалъ либеральныя брошюры по-французски, потомъ перенесывался съ Гёте по-нѣмецки о греческихъ предметахъ. Сдѣлавшись министромъ, онъ толковалъ о славянской поэзіи IV столѣтія, на что Коченовскій ему замѣтилъ, что тогда вѣру было съ медвѣдями сражаться нашимъ праотцамъ, а не то, что нѣнонѣтъ о самоогражденіи богачей и самодержавномъ милосердіи. Въ родѣ патента, онъ носилъ въ карманѣ письмо отъ Гёте, въ которомъ Гёте ему сдѣлалъ прекуръезный комплиментъ, говоря: «Напрасно извиняетесь вы въ вашемъ слогѣ: вы достигли до того, до чего я не могъ достигнуть—вы забыли нѣмецкую грамматику».

Вотъ этотъ-то дѣйствительный тайный Пикъ-де-ла-Мирандолъ завелъ новаго рода испытанія. Онъ велѣлъ отобрать лучшихъ студентовъ для того, чтобъ каждый изъ нихъ прочелъ по лекціи изъ своихъ предметовъ вмѣсто профессора. Деканы, разумѣется, выбрали самыхъ бойкихъ.

Лекціи эти продолжались цѣлую недѣлю. Студенты должны были приготовляться на всѣ темы своего курса, деканъ вынималъ билетъ и имя. Уваровъ созвалъ всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генераль-губернаторъ и Ив. Ив. Дмитриевъ—все были налицо.

Мнѣ пришлось читать у Ловецкаго изъ минералогіи—и онъ уже умеръ!

Гдѣ нашъ старецъ Ланжеронъ!

Гдѣ нашъ старецъ Беннгсонъ,

И тебя уже не стало,  
И тебя какъ не бывало!

Алексѣй Леонтьевичъ Ловецкій былъ высокій, тяжело двигавшійся, топорной работы мужчина, съ большимъ ртомъ и большимъ лицомъ, совершенно ничего не выражавшимъ. Снимая въ коридорѣ свою гороховую шинель, украшенную воротниками разнаго роста, какъ носили во время перваго консулата,—онъ, еще не входя въ аудиторію, начиналъ ровнымъ и безстрастнымъ (что очень хорошо шло къ каменному предмету его) голосомъ: «Мы заключили прошедшую лекцію, сказавъ все, что слѣдуетъ о кремнеземѣ», потомъ онъ садился и продолжалъ «о глиноземѣ...». У него были созданы неизмѣнные рубрики для формулярныхъ списковъ каждаго минерала, отъ которыхъ онъ никогда не отступалъ; случалось, что характеристика иныхъ опредѣлялась отрицательно: «кристаллизація—не кристаллизуется, употребленіе—никуда не употребляется, польза—вредъ, приносимый организму...».

Впрочемъ, онъ не бѣжалъ ни поэзіи, ни нравственныхъ отбѣтокъ, и всякій разъ, когда показывалъ поддѣльные камни и разсказывалъ, какъ ихъ дѣлаютъ, онъ прибавлялъ: «господа, это обманъ». Въ сельскомъ хозяйствѣ онъ находилъ *моральными* качествами хорошаго пѣтуха, если онъ «охотникъ пѣть и до куръ», и отличительнымъ свойствомъ аристократическаго барана—«плѣшивыя колѣнки». Онъ умѣлъ тоже трогательно повѣствовать, какъ мушкетеры разсказывали, какъ онѣ въ прекрасный лѣтній день гуляли по дереву и были залиты смолой, едѣлавшейся янтарею, и всякій разъ добавлялъ: «господа, это прозопопея».

Когда деканъ вызвалъ меня, публика была нѣсколько утомлена; двѣ математическія лекціи распространили уныніе и грусть на людей, не понявшихъ ни одного слова. Уваровъ требовалъ что-нибудь поживѣе и студента съ «хорошо-повѣщеннымъ языкомъ». Щенкинъ указалъ на меня.

Я взомель на кафедру. Ловецкій сидѣлъ возлѣ неподвижно, положи руки на ноги, какъ Мемнонъ или Озирисъ, и боялся... Я шепнулъ ему: «экое счастье, что мнѣ пришлось у васъ читать, я васъ не выдамъ».—«Не хвались, идучи на рать...», отпечаталъ, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессоръ. Я чуть не захохоталъ, но когда я взглянулъ передъ собой, у меня зарябило въ глазахъ, я чувствовалъ, что я поблѣднѣлъ и какая-то сухость покрыла языкъ. Я никогда прежде не говорилъ публично, аудиторія была полна студентами,—они надѣялись на меня; подъ кафедрой за столомъ—«сильные міра сего» и всѣ профессора нашего отдѣленія. Я взялъ вопросъ и прочелъ не своимъ голосомъ «о кристаллизаціи, ея условіяхъ, законахъ, формахъ».

Пока я придумывалъ, съ чего начать, мнѣ пришла счастливая мысль въ голову, если я и ошибусь, замѣтить, можетъ, профессора, но ни слова не скажутъ, другіе же сами ничего не смыслятъ, а студенты, лишь бы я не срѣзалеся на полдорогѣ, будутъ довольны, потому что я у нихъ въ фаворѣ. Итакъ, во имя Гайюи, Вернера и Митчерлиха, я прочелъ свою лекцію, заключилъ ее философскими разсужденіями и все время относился и обращался къ студентамъ, а не къ министру. Студенты и профессора жали мнѣ руки и благодарили. Уваровъ водилъ представлять князю Голицыну; онъ сказалъ что-то одними гласными, такъ, что я не понималъ. Уваровъ обѣщалъ мнѣ книгу въ знакъ памяти и никогда не присылалъ.

Второй разъ и третій я совсѣмъ иначе выходилъ на сцену. Въ 1836 году я представлялъ «Угара», а жена жандармскаго полковника «Мароу», при всемъ вѣякомъ бомондѣ и при Тюфяевѣ. Съ мѣсяць времени мы дѣлали ренетинцію, а все-таки сердце сильно билось и руки дрожали, когда мертвая тишина вдругъ замѣнила увертюру и зававѣе стала, какъ-то странно пошевеливаясь, подниматься; мы съ Марфой ожидали за кулисами начала. Ей было меня до того жалъ, или до того она боялась, что я испорчу дѣло, что она мнѣ подала огромный стаканъ шампанскаго, но и съ нимъ я былъ едва живъ.

Съ легкой руки министра народнаго просвѣщенія и жандармскаго полковника, я уже безъ первнхъ явленій и самолюбивой застѣнчивости явился на польскомъ митингѣ въ Лондонѣ, это былъ мой третій публичный дебютъ. Отставной министр Уваровъ былъ замѣненъ отставнымъ министромъ Недрю-Ролленомъ.

Но не довольно-ли студенческихъ воспоминаній? Я боюсь, не старчество ли это останавливаться на нихъ такъ долго; прибавлю только нѣсколько подробностей о холерѣ 1831 года.

Холера—это слово, такъ знакомое теперь въ Европѣ, домашнее въ Россіи, раздалось тогда въ первый разъ на сѣверѣ. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волгѣ къ Москвѣ. Преувеличенные слухи наполняли ужасомъ воображеніе. Болѣзнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдругъ грозная вѣсть: «холера въ Москвѣ!»—разнеслась по городу.

Утромъ одинъ студентъ политическаго отдѣленія почувствовалъ дурноту, на другой день онъ умеръ въ университетской больницѣ. Мы бросились смотрѣть его тѣло. Онъ нехудалъ какъ въ длинную болѣзнь, глаза ввалились, черты были искажены, возлѣ него лежалъ сторожъ, занемогшій въ ночь.

Намъ объявили, что университетъ вѣчно закрытъ. Въ нашемъ отдѣленіи этотъ приказъ былъ прочтенъ профессоромъ техноло-



гн Денисовымъ; онъ былъ грустенъ, можетъ быть, пенуганъ. На другой день къ вечеру умеръ и онъ.

Мы собрались изъ всѣхъ отдѣленій на большой университетскій дворъ; что-то трогательное было въ этой толнящейся молодежи, которой вѣрно было разеяться передъ заразой. Лица были блѣдны, особенно одушевлены, многіе думали о родныхъ, друзьяхъ; мы простились съ казеннокоштными, которыхъ отъ насъ отдѣляли карантинными мѣрами, и разбрелись небольшими кучками по домамъ. А дома всѣхъ встрѣтили вонючей хлористой известью, укусомъ четырехъ разбойниковъ, и такой діэтой, которая одна безъ хлору и холеры могла свести человѣка въ постель.

Странное дѣло, это печальное время осталось какимъ-то торжественнымъ въ моихъ воспоминаніяхъ.

Москва приняла совсѣмъ иной видъ. Публичность, неизвѣстная въ обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачныя толпы народа стояли на перекресткахъ и толковали объ отравителяхъ; кареты, возившія больныхъ, нагомы двигались, сопровождаемыя полицейскими; люди сторонились отъ черныхъ фуръ съ трупами. Бюллетени о болѣзни печатались два раза въ день. Городъ былъ оцѣленъ, какъ въ военное время, и солдаты пристрѣлили какого-то бѣднаго дьячка, пробиравшагося черезъ рѣку. Все это сильно занимало умы, страхъ передъ болѣзнію отнялъ страхъ передъ властями, жители роптали, а тутъ вѣсть за вѣстью, что тотъ-то занемогъ, что такой-то умеръ...

Митрополитъ устроилъ общее молебствіе. Въ одинъ день и въ одно время священники съ хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили изъ домовъ и бросались на колѣни во время шествія, прося со слезами отпущенія грѣховъ; самыя священники были серьезны и тронуты. Доля ихъ шла въ Кремль; тамъ на чистомъ воздухѣ, окруженный высшимъ духовенствомъ, стоялъ колѣно-проклоненный митрополитъ и молился—да мимо идетъ чаша сія.

Филаретъ представлялъ какого-то оппозиціоннаго іерарха; во имя чего онъ дѣлалъ оппозицію, я никогда не могъ понять. Развѣ во имя своей личности. Онъ былъ человѣкъ умный и ученый, владѣлъ мастерски русскимъ языкомъ, удачно вводя въ него церковно-славянскій: все это вмѣстѣ не давало ему никакихъ правъ на оппозицію. Народъ его не любилъ и называлъ массономъ, потому что онъ былъ въ близости съ княземъ А. Н. Голицынымъ и проповѣдывалъ въ Петербургѣ въ самый разгаръ библейскаго общества. Синодъ запретилъ учить по его катехизису. Подчиненное ему духовенство трепетало его.

Филаретъ умѣлъ хитро и ловко унижать временную власть; въ его проповѣдяхъ просвѣчивалъ тотъ христіанскій, неопредѣ-

ленный социализмъ, которымъ блистали Лакордеръ и другіе дальновидные католики. Филаретъ съ высоты своего первосвятительнаго амвона говорилъ о томъ, что человѣкъ никогда не можетъ быть *законно* орудіемъ другого, что между людьми можетъ только быть обмѣна услугъ, и это говорилъ онъ въ государствѣ, гдѣ полъ-населенія рабы.

Онъ говорилъ колодникамъ въ пересыльномъ острогѣ на Воробьевыхъ горахъ: «Гражданскій законъ васъ осудилъ и гонитъ, а церковь гонится за вами, хочетъ сказать еще слово, еще помолиться объ васъ и благословить на путь». Потомъ, утѣшая ихъ, онъ прибавлялъ, «что они, наказанные, покопчили съ своимъ прошедшимъ, что имъ предстоитъ новая жизнь, въ то время какъ между другими (вѣроятно другихъ, *кромя* чиновниковъ, не было налицо) есть еще большіе преступники», и онъ ставилъ въ приѣмъ разбойника вмѣстѣ съ Христомъ.

Проповѣдь Филарета на молебствіи по случаю холеры превзошла всѣ остальные; онъ взялъ текстомъ, какъ ангелъ предложилъ въ наказаніе Давиду избрать войну, голодъ или чуму; Давидъ избралъ чуму. Государь пріѣхалъ въ Москву взбѣшенный, послалъ министра двора князя Волхонскаго намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитомъ въ Грузію. Митрополитъ смиренно покорился и разослалъ новое слово по всѣмъ церквамъ, въ которомъ пояснялъ, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложеніе въ текстѣ первой проповѣди къ благочестивѣйшему императору, что Давидъ это мы сами, погрязнувшіе въ грѣхахъ. Разумѣется, тогда и тѣ поняли первую проповѣдь, которые не добрались до ея смысла сразу.

Такъ игралъ въ оппозицію московскій митрополитъ.

Молебеніе такъ же мало помогло отъ заразы, какъ хлористая известь; болѣзнь увеличивалась.

Я былъ все время жесточайшей холеры 1849 г. въ Парижѣ. Болѣзнь свирѣпствовала страшно. Юньскіе жары ей помогали, бѣдные люди мерли какъ мухи; мѣщане бѣжали изъ Парижа, другіе сидѣли назаперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой противъ революціонеровъ, не думало брать дѣятельныхъ мѣръ. Тщедушные колекты были несоразмѣрны требованіямъ. Бѣдные работники оставались покинутыми на произволъ судьбы, въ больницахъ не было довольно кроватей, у полиціи не было достаточно гробовъ, и въ домахъ, биткомъ набитыхъ разными семьями, тѣла оставались дня по два во внутреннихъ комнатахъ.

Въ Москвѣ было не такъ.

Князь Д. В. Голицынъ, тогдашній генералъ-губернаторъ, человѣкъ слабый, но благородный, образованный и очень уважае-

мый, увлекъ московское общество и какъ-то все уладилось по домашнему, т. е. безъ особеннаго вмѣшательства правительства. Составился комитетъ изъ почетныхъ жителей — богатыхъ помѣщиковъ и купцовъ. Каждый членъ взялъ себѣ одну изъ частей Москвы. Въ нѣсколько дней было открыто двадцать больницъ, онѣ не стоили правительству ни копейки, все было сдѣлано на пожертвованныя деньги. Купцы давали даромъ все, что нужно для больницъ—одѣяла, бѣлье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшимъ. Молодые люди шли даромъ въ смотрители больницъ, для того, чтобъ приношенія не были на половину украдены служащими.

Университетъ не отсталъ. Весь медицинскій факультетъ, студенты и лекаря en masse, привели себя въ распоряженіе холернаго комитета; ихъ разослали по больницамъ и они остались тамъ безвыходно до конца заразы. Три или четыре мѣсяца эта чудная молодежь прожила въ больницахъ ординаторами, фельдшерами, сидѣлками, писмоводителями,—и все это безъ всякаго вознагражденія и притомъ въ то время, когда такъ преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента малороссіянина, кажется Фицхеллаурова, который въ началѣ холеры просился въ отпускъ по важному семейному дѣлу. Отпускъ во время курса даютъ рѣдко, онъ, наконецъ, получилъ его; въ самое то время, какъ онъ собирался ѣхать, студенты отирались по больницамъ. Малороссіянинъ положилъ свой отпускъ въ карманъ и пошелъ съ ними. Когда онъ вышелъ изъ больницы, отпускъ былъ давно просроченъ, и онъ первый отъ души хохоталъ надъ своей поѣздкой.

Москва, повидимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольемъ, свадьбами и ничѣмъ, просыпается всякій разъ, когда надобно, и становится въ уровень съ обстоятельствами, когда надъ Русью гремитъ гроза.

Она въ 1612 году кроваво обвинчалась съ Россіей и сплывалась съ нею огнемъ 1812.

Она склонила голову передъ Петромъ, потому что въ звѣриной лапѣ его была будущность Россіи.

Хмуря брови и надувая губы, ждалъ Наполеонъ ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпѣливо играя мундштукомъ и теребя перчатку. Онъ не привыкъ одинъ входить въ чужіе города.

«Но не пошла Москва моя»,

какъ говоритъ Пушкинъ,—а зажгла самое себя.

Явилась холера, и снова народный городъ показался полнымъ сердца и энергіи!

Въ 1830, въ августѣ, мы поѣхали въ Васильевское, останавливались, по обыкновенію, въ радклифовскомъ замкѣ Перхункова и собиравлись, покормивши себя и лошадей, ѣхать далѣе. Бакай, подносившій полотенцемъ, уже прокричалъ «трогай!», какъ какой-то человѣкъ, скакавшій верхомъ, далъ знакъ, чтобъ мы остановились, и фореиторъ Сенатора въ пыли и поту соскочилъ съ лошади и подалъ моему отцу пакетъ. Въ этомъ пакетѣ была *Іюльская революція!*— Два листа Journal des Debats, которые онъ привезъ съ письмомъ, я перечиталъ сто разъ, я ихъ зналъ наизусть,—и первый разъ скучалъ въ деревнѣ.

Славное было время, событія неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успѣла скрыться за туманами Голируда, Бельгія встала, тронъ короля-гражданина качался, какое-то горячее, революціонное дуновение началось въ преніяхъ, въ литературѣ. Романы, драмы, поэмы, все снова едѣлалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революціонныхъ постановокъ во Франціи намъ была неизвѣстна, и мы все принимали за чистыя деньги.

Кто хочетъ знать, какъ сильно дѣйствовала на молодое поколѣніе вѣсть юльскаго переворота, пусть тотъ прочтетъ описаніе Гейне, услышавшаго на Гельголандѣ, «что великій, языческій Панъ умеръ». Тутъ нѣтъ поддѣльнаго жара; Гейне тридцати лѣтъ былъ такъ же увлеченъ, такъ же одушевленъ до ребячества, какъ мы восемнадцати.

Мы слѣдили шагъ за шагомъ, за каждымъ словомъ, за каждымъ событіемъ, за смѣлыми вопросами и рѣзкими отвѣтами, за генераломъ Лафайетомъ и за генераломъ Ламаркомъ; мы не только подробно знали, но горячо любили всѣхъ тогдашнихъ дѣятелей, разумѣется радикальныхъ, и хранили у себя ихъ портреты отъ Манюеля и Бенжамена Констана, до Дюпонъ-де-Лѣра и Армана Кареля.

Насъ было пятеро сначала, тутъ мы встрѣтились съ Пасекомъ.

Въ Вадимѣ для насъ было много новаго. Мы всѣ, съ небольшими варіаціями, имѣли сходное развитіе, т. е. ничего не знали кромѣ Москвы и деревни, учились по тѣмъ же книгамъ и брали уроки у тѣхъ же учителей, воспитывались дома или въ университетскомъ пансіонѣ. Вадимъ родился въ Сибири, во время ссылки своего отца, въ нуждѣ и лишеніяхъ; его училъ самъ отецъ, онъ выросъ въ многочисленной семьѣ братьевъ и сестеръ, въ гнетущей бѣдности, но на полной волѣ. Сибирь кладетъ свой отпечатокъ, вовсе не похожій на нашъ провинціальныи; онъ далеко не такъ пошлъ и мелокъ, онъ обличаетъ больше здоровья и лучшій

закалъ. Вадимъ былъ дичекъ въ сравненіи съ нами. Его удалъ была другая, не наша, богатырская, иногда запосчивая; аристократизмъ несчастія развилъ въ немъ особое самолюбіе; но онъ много умѣлъ любить и другихъ, и отдавался имъ не скупясь. Онъ былъ отваженъ, даже неостороженъ до излишества: чловѣкъ, родившійся въ Сибири, и притомъ въ семьѣ сосланной, имѣеть уже то преимущество передъ нами, что не боится Сибири.

Вадимъ прижалъ насъ къ своей груди, какъ только встрѣтился. Мы сблизились очень скоро. Впрочемъ, въ то время ни церемоній, ни благоразумной осторожности, ничего подобнаго не было въ нашемъ кругу.

— Хочешь познакомиться съ К., о которомъ ты столько слышала?—говоритъ мнѣ Вадимъ.

— «Непремѣнно хочу».

— Приходи завтра въ семь часовъ вечера, да не опоздай,—онъ будетъ у меня.

Я прихожу—Вадима нѣтъ дома. Высокій мужчина съ выразительнымъ лицомъ и добродушно-грознымъ взглядомъ изъ-подъ очковъ дожидается его. Я беру книгу—онъ беретъ книгу.

— Да вы, говоритъ онъ, раскрывая ее,—вы Герценъ?

— «Да, а вы К.?»

Начинается разговоръ—живѣй, живѣй...

— Позвольте, грубо перебиваетъ меня К.,—позвольте, сдѣлайте одолженіе, говорите мнѣ *ты*.

— «Будемте говорить *ты*».

И съ этой минуты (которая могла быть въ концѣ 1831 г.) мы были неразрывными друзьями; съ этой минуты гнѣвъ и милость, смѣхъ и крикъ К. раздаются во все наши возрасты, во всехъ приключеніяхъ нашей жизни.

Встрѣча съ Вадимомъ ввела новый элементъ въ нашу запорожскую сѣчь.

Собирались мы, по прежнему, всего чаще у Огарева. Больной отецъ его переѣхалъ на житье въ свое пензенское имѣнье. Онъ жилъ одинъ въ нижнемъ этажѣ ихъ дома у Никитскихъ воротъ. Квартира его была недалеко отъ университета и въ нее особенно всехъ тянуло. Въ Огаревѣ было то магнитное притяженіе, которое образуетъ первую стрѣлку кристаллизаціи во всякой массѣ беспорядочно встрѣчающихся атомовъ, если только они имѣютъ между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незамѣтно сердцемъ организма.

Но рядомъ съ его свѣтлой, веселой комнатою, обитою красными обоями съ золотыми полосками, въ которой не проходилъ дымъ сигаръ, запахъ жженки, и другихъ... я хотѣлъ сказать—яствъ и питій, но остановился, потому что изъ сѣстныххъ при-

пасовъ, кромѣ сыру, рѣдко что было—итакъ, рядомъ съ ультра-студенческимъ пріютомъ Огарева, гдѣ мы спорили цѣлыя ночи напролетъ, а иногда цѣлыя ночи кутили, дѣлался у насъ больше и больше любимымъ другой домъ, въ которомъ мы чуть ли не впервые научились уважать семейную жизнь.

Вадимъ часто оставлялъ наши бесѣды и уходилъ домой, ему было скучно, когда онъ не видалъ долго сестеръ и матери. Намъ, жившимъ всею душою въ товариществѣ, было странно, какъ онъ могъ предпочитать свою семью—нашей.

Онъ познакомилъ насъ съ нею. Она вчера пришла изъ Сибири, она была разорена, и вмѣстѣ съ тѣмъ полна того величія, которое кладетъ несчастіе не на *каждаго* страдальца, а на чело тѣхъ, которые *умѣли* вынести.

Ихъ отецъ былъ схваченъ при Павлѣ вслѣдствіе какого-то политическаго доноса, брошенъ въ Шлиссельбургъ и потомъ сосланъ въ Сибирь на поселенье. Александръ возвратилъ тысячи сосланныхъ отцомъ его, но Пассекъ былъ *забытъ*. Онъ былъ племянникъ того Пассека, который потомъ былъ генералъ-губернаторомъ въ польскихъ провинціяхъ, и *могъ требовать* долю наслѣдства, уже перешедшаго въ другія руки.

Содержась въ Шлиссельбургѣ, Пассекъ женился на дочери одного изъ офицеровъ тамошняго гарнизона. Молодая дѣвушка знала, что дѣло кончится дурно, но не остановилась, устранивая ссылкою. Сначала они въ Сибири кой-какъ перебивались, продавая послѣднія вещи, но страшная бѣдность шла неотразимо и тѣмъ скорѣе, что семья росла числомъ. Въ нуждѣ, въ работѣ, лишеныя теплой одежды, а иногда насущнаго хлѣба, они умѣли выходить, вскормить цѣлую семью львенковъ; отецъ передалъ имъ неукротимый и гордый духъ свой, вѣру въ себя, тайну великихъ несчастій, онъ воспиталъ ихъ примѣромъ; мать самоотверженіемъ и горькими слезами. Сестры не уступали братьямъ въ героической твердости. Да, чего бояться словъ, — это была семья героевъ. Что они все вынесли другъ для друга, что они дѣлали для семьи,—невѣроятно, и все съ поднятой головою, насколько не сломившись.

Въ Сибири у трехъ сестеръ была какъ-то одна пара банмаковъ; онѣ ее берегли для прогулки, чтобъ посторонніе не видали крайности.

Въ началѣ 1826 года Пассеку было разрѣшено возвратиться въ Россію. Дѣло было зимой; шутка ли подняться съ такой семьей безъ шубъ, безъ денегъ, изъ Тобольской губерніи, а съ другой стороны сердце рвалось, ссылка всего невыносимѣе послѣ ея окончанія. Поплелись наши страдальцы кой-какъ; кормилица крестьянка, кормившая кого-то изъ дѣтей во время болѣзни ма-



тери, принесла свои деньги, кой-какъ сколоченныя ею, имъ на дорогу, прося только, чтобъ и ее взяли; ящики провезли ихъ до русской границы за безцѣнокъ или даромъ; часть семьи шла, другая ѣхала, молодежь смѣнялась, такъ они перешли дальній зимній путь отъ Уральскаго хребта до Москвы. Москва была мечтою молодежи, ихъ надеждой,—тамъ ихъ ждалъ голодъ.

Правительство, прощая Пассековъ, и не думало имъ возвратить какую-нибудь долю имѣнья. Истощенный успліями и лишениями старикъ слегъ въ постель; не знали, чѣмъ будутъ обѣдать завтра.

Не вынесъ больше отецъ, онъ умеръ. Остались дѣти одни съ матерью, кой-какъ перебываясь съ дня на день. Чѣмъ больше было нужды, тѣмъ больше работали сыновья; трое блестящимъ образомъ окончили курсъ въ университетѣ и вышли кандидатами. Старшіе уѣхали въ Петербургъ, оба отличные математики, они сверхъ службы (одинъ во флотѣ, другой въ инженерахъ) давали уроки и, отказывая себѣ во всемъ, посылали въ семью вырученныя деньги.

Живо помню я старушку мать въ ея темномъ канотѣ и блѣломъ чепцѣ; худое блѣдное лицо ея было покрыто морщинами, она казалась съ виду гораздо старше, чѣмъ была; одни глаза нѣсколько отетали, въ нихъ было видно столько кротости, любви, заботы и столько прошлыхъ слезъ. Она была влюблена въ своихъ дѣтей, она была ими богата, знатна, молода... она читала и перечитывала намъ ихъ письма, она съ такимъ свято глубокимъ чувствомъ говорила о нихъ своимъ слабымъ голосомъ, который иногда измѣнялся и дрожалъ отъ удержанныхъ слезъ.

Когда они все бывали въ сборѣ въ Москвѣ и садилась за свой простой обѣдъ, старушка была внѣ себя отъ радости, ходила около стола, хлопотала и, вдругъ останавливаясь, смотрѣла на свою молодежь съ такою гордостью, съ такимъ счастьемъ и потомъ поднимала на меня глаза, какъ будто спрашивая: «не правда ли, какъ они хороши?»—Какъ въ эти минуты мнѣ хотѣлось броситься ей на шею, поцѣловать ея руку. И къ тому же они дѣйствительно все были даже наружно очень красивы.

Она была счастлива тогда... Зачѣмъ она не умерла за однимъ изъ этихъ обѣдовъ?

Въ два года она лишилась трехъ старшихъ сыновей. Одинъ умеръ блестяще, окруженный признаніемъ враговъ, середъ успѣховъ, славы, хотя и не за свое дѣло сложилъ голову. Это былъ молодой генералъ, убитый черкесами подъ Дарго. Лавры не лежатъ сердце матери... Другимъ даже не удалось хорошо погибнуть; тяжелая русская жизнь давила ихъ, давила, пока продавила грудь.

Бѣдная мать!

Вадимъ умеръ въ февралѣ 1843 г.; я былъ при его кончинѣ и тутъ въ первый разъ видѣлъ смерть близкаго человѣка, и притомъ во всемъ несмѣнномъ ужасѣ ея, во всей безсмысленной случайности, во всей тупой, безнравственной несправедливости.

Десять лѣтъ передъ своею смертію, Вадимъ женился на моей кузинѣ, и я былъ шаферомъ на свадьбѣ. Семейная жизнь и перемѣна быта развели насъ нѣсколько. Онъ былъ счастливъ въ своемъ а partе, но внѣшняя сторона жизни не давалась ему, его предпріятія не шли. Незадолго до нашего ареста онъ поѣхалъ въ Харьковъ, гдѣ ему была обѣщана кафедра въ университетѣ. Его поѣздка хотя и спасла его отъ тюрьмы, но имя его не ускользнуло отъ полицейскихъ ушей. Вадиму отказали въ мѣстѣ. Товарищъ попечителя признался ему, что они получили бумагу, въ силу которой имъ не вѣстно ему давать кафедры за извѣстныя правительству связи его съ *злосмысленными людьми*.

Вадимъ остался безъ мѣста, т. е. безъ хлѣба—вотъ его Вятка.

Насъ сослали. Сношенія съ нами были опасны. Черныя годы нужды наступили для него; въ семилѣтней борьбѣ съ добываніемъ скудныхъ средствъ, въ оскорбительныхъ столкновеніяхъ съ людьми грубыми и черствыми, вдали отъ друзей, безъ возможности перекликнуться съ ними—здоровые мыщцы его износились.

— Разъ,—сказывала мнѣ его жена потомъ,—у насъ вышли всѣ деньги до послѣдней копейки; наканунѣ я старалась достать гдѣ-нибудь рублей десять, нигдѣ не нашла, у кого можно было занять нѣсколько, я уже заняла. Въ лавочкахъ отказались давать принасы иначе, какъ на чистыя деньги; мы думали объ одномъ—что же завтра будутъ ѣсть дѣти? Печально сидѣлъ Вадимъ у окна, потомъ всталъ, взялъ шляпу и сказалъ, что хочетъ пройтись. Я видѣла, что ему очень тяжело, мнѣ было страшно, но все же я радовалась, что онъ нѣсколько разбѣется. Когда онъ ушелъ, я бросилась на постель и горько, горько плакала, потомъ стала думать, что дѣлать: всѣ сколько-нибудь цѣнные вещи—кольцы, ложки давно были заложены; я видѣла одинъ выходъ, приходилось идти къ *нашимъ* и просить ихъ тяжелой, холодной помощи. Между тѣмъ Вадимъ бродилъ безъ опредѣленной цѣли по улицамъ и такъ дошелъ до Петровскаго бульвара. Проходя мимо лавки Ширяева, ему пришло въ голову спросить, не продаетъ ли онъ хоть одинъ экземпляръ его книги; онъ былъ дней пять передъ тѣмъ, но ничего не нашелъ; со страхомъ вошелъ онъ въ его лавку. «Очень радъ васъ видѣть, сказалъ ему Ширяевъ, отъ петербургскаго корреспондента письмо, онъ продалъ на 300 рублей вашихъ книгъ, желаете получить?»—И Ши-

ряевъ отсчиталъ ему пятнадцать золотыхъ. Вадимъ потерялъ голову отъ радости, бросился въ первый трактиръ за съѣстными припасами, купилъ бутылку вина, фруктовъ и торжественно прискакалъ на извозчикѣ домой. И въ это время разбавила водою остатокъ бульона для дѣтей и думала удѣлнить ему немного, удѣливши его, что я уже ѣла, какъ вдругъ онъ входитъ съ кулькомъ и бутылкой, веселый и радостный, какъ бывало.

И она рыдала и не могла выговорить ни слова...

Послѣ ссылки я его мелькомъ встрѣтилъ въ Петербургѣ и нашелъ его очень измѣнившимся. Убѣжденія свои онъ сохранилъ, но онъ ихъ сохранилъ, какъ воинъ не выпускаетъ меча изъ руки, чувствуя, что самъ раненъ на вылетъ. Онъ былъ задумчивъ, изнуренъ и сухо смотрѣлъ впередъ. Такимъ я его засталъ въ Москвѣ въ 1842 году; обстоятельства его нѣсколько поправились, труды его были оцѣнены, но все это пришло поздно,—это эпюлеты Полежаева, это прощеніе Кольрейфа, сдѣланное русской жизнью.

Вадимъ таялъ, туберкулезная чахотка открылась осенью 1842 года,—страшная болѣзнь, которую мнѣ привелось еще разъ видѣть.

За мѣсяць до его смерти я съ ужасомъ сталъ примѣчать, что умственные способности его тухнуть, слабѣють, точно догорающія свѣчи, въ комнатахъ становилось темнѣе, смутнѣе. Онъ векорѣ сталъ съ трудомъ и усиліемъ приекивать слово для нескладной рѣчи, останавливался на вѣшнихъ созвучіяхъ, потомъ онъ почти и не говорилъ, а только заботливо спрашивалъ свои лекарства и не пора ли принять.

Одной февральской ночью, часа въ три, жена Вадима пришла за мной; больному было тяжело, онъ спрашивалъ меня, я подошелъ въ нему и тихо взялъ его за руку; его жена назвала меня, онъ посмотрѣлъ долго, устало, не узналъ и закрылъ глаза. Привели дѣтей, онъ посмотрѣлъ на нихъ, но тоже, кажется, не узналъ. Стоянь его становился тяжелѣе, онъ утихалъ минутами и вдругъ продолжительно вздыхалъ съ крикомъ; тутъ въ ближней церкви ударили въ колоколъ; Вадимъ прислушался и сказать: «Это заутреня». Больше онъ не произнесъ ни одного слова... Жена рыдала на колѣняхъ у кровати возлѣ покойника; добрый, милый молодой человекъ изъ университетскихъ товарищей, ходившій послѣднее время за нимъ, суетился, отодвигалъ столъ съ лекарствами, поднималъ шторы... Я вышелъ вонъ; на дворѣ было морозно и свѣтло, восходящее солнце ярко свѣтило на снѣгъ, точно будто сдѣлалось что-нибудь хорошее; я отправился заказывать гробъ.

Когда я возвратился, въ маленькомъ домѣ царила мертвая тишина; покойникъ по русскому обычаю лежалъ на столѣ въ

залѣ, поодаль сидѣлъ живописецъ Рабусъ, его пріятель, и карандашомъ сквозь слезы снималъ его портретъ; возлѣ покойника, молча, сложа руки, съ выраженіемъ безконечной грусти, стояла высокая женская фигура; ни одинъ артистъ не сумѣлъ бы изваять такую благородную и глубокую «скорбь». Женщина эта была не молода, но слѣды строгой, величавой красоты остались; завернутая въ длинную черную бархатную мантилью на горностаевомъ мѣху, она стояла неподвижно.

И остановился въ дверяхъ.

Прошли двѣ-три минуты, та же тишина, но вдругъ она поклонилась, крѣпко поцѣловала покойника въ лобъ и, сказавъ: «Прощай, прощай, другъ Вадимъ», твердыми шагами пошла во внутреннія комнаты. Рабусъ все рисовалъ, онъ кивнулъ мнѣ головой, говорить намъ не хотѣлось, я молча сѣлъ у окна.

Женщина эта была сестра графа Захара Чернышева, сосланнаго за 14 декабря, Е. Черткова.

Симоновскій архимандритъ Мелхиседекъ самъ предложилъ мѣсто въ своемъ монастырѣ. Мелхиседекъ былъ нѣкогда простой плотникъ и отчаянный раскольникъ, потомъ обратился къ православію, пошелъ въ монахи, сдѣлался игуменомъ и, наконецъ, архимандритомъ. При этомъ онъ остался плотникомъ, т. е. не потерялъ ни сердца, ни широкихъ плечъ, ни краснаго, здороваго лица. Онъ зналъ Вадима и уважалъ его за его историческія изысканія о Москвѣ.

Когда тѣло покойника явилось передъ монастырскими воротами, они отворились и вышелъ Мелхиседекъ со всеми монахами встрѣтить тихимъ, грустнымъ нѣмемъ бѣдный гробъ страдальца и проводить до могилы. Недалеко отъ могилы Вадима покоится другой прахъ, дорогой намъ, прахъ Веневитинова съ надписью: «Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ!» Много зналъ и Вадимъ жизни!

Судьбѣ и этого было мало. Зачѣмъ въ самомъ дѣлѣ такъ долго зажилась старушка мать? Видѣла конецъ ссылки, видѣла своихъ дѣтей во всей красотѣ юности, во всемъ блескѣ таланта, чего было жить еще! Кто дорожитъ счастіемъ, тотъ долженъ искать ранней смерти. Хроническаго счастья такъ же нѣтъ, какъ не тающего льда.

Старшій братъ Вадима умеръ, нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ того, какъ Діомидъ былъ убитъ; онъ простудился, занустилъ болѣзнь, подточенный организмъ не вынесъ. Врядъ было ли ему сорокъ лѣтъ, а онъ былъ старшій.

Эти три гроба трехъ друзей отбрасываютъ назадъ длинные черныя тѣни; послѣдніе мѣсяцы юности виднѣются сквозь погребальный крестъ и дымъ кадиль...

Прошло съ годъ, дѣло взятыхъ товарищей окончилось. Ихъ обвинили (какъ въ послѣдствіи настъ, потомъ Петрашевцевъ) въ *намѣреніи* составить тайное общество, въ преступныхъ разговорахъ; за это ихъ отправляли въ солдаты, въ Оренбургъ.

Чередъ былъ теперь за нами. Имена наши уже были занесены въ списки тайной полиціи. Первая игра голубой кошки съ мышью началась такъ.

Когда приговоренныхъ молодыхъ людей отправляли по этапамъ, пѣшкомъ, безъ достаточно теплой одежды, въ Оренбургъ, Огаревъ въ нашемъ кругу и И. Кирѣевскій въ своемъ сдѣлали подписки. Все приговоренные были безъ денегъ. Кирѣевскій привезъ собранныя деньги коменданту Стаалу, добрѣйшему старикъ, о которомъ намъ придется еще говорить. Стааль обѣщался деньги отдать и спросилъ Кирѣевского:

— «А это что за бумага?»

— Имена подписавшихся, сказалъ Кирѣевскій, и счетъ.

— «Вы вѣрите, что я деньги отдамъ?» спросилъ старикъ.

— Объ этомъ нечего говорить.

— «А я думаю, что тѣ, которые вамъ ихъ вручили, вѣрятъ вамъ. А потому на что жъ *намъ беречь ихъ имена*». Съ этими словами Стааль списокъ бросилъ въ огонь и, само собою разумѣется, поступилъ превосходно.

Огаревъ самъ свезъ деньги въ казармы, и это сошло съ рукъ. Но молодые люди вздумали поблагодарить изъ Оренбурга товарищей и, пользуясь случаемъ, что какой-то чиновникъ ѣхалъ въ Москву, попросили его взять письмо, котораго довѣрить почтѣ боялись. Чиновникъ не преминулъ воспользоваться такимъ рѣдкимъ случаемъ для засвидѣтельствованія своихъ вѣрноподданныхскихъ чувствъ и представилъ письмо жандармскому окружному генералу въ Москвѣ.

Тогда на мѣстѣ А. А. Волкова, сошедшаго съ ума на томъ, что поляки хотятъ ему поднести польскую корону (что за пронія свести съ ума жандармскаго генерала на коронѣ Ягеллоновъ!), былъ Лисовскій. Лисовскій, самъ полякъ, былъ не злой и не дурной человѣкъ: разстроивъ свое имѣнье игрой и какой-то французской актрисой, онъ философски предпочелъ мѣсто жандармскаго генерала въ Москвѣ—мѣсту въ ямѣ того же города.

Лисовскій призвалъ Огарева, К....., С....., Вадица, И. Оболенскаго и пр., и обвинилъ ихъ за сношенія съ государственными преступниками. На замѣчаніе Огарева, что онъ ни къ кому не писалъ, а что если кто къ нему писалъ, то за это онъ отвѣчать не можетъ, къ тому же до него никакаго письма и не доходило, Лисовскій отвѣчалъ:

— Вы дѣлали для нихъ поднеску, это еще хуже. На первый разъ государь такъ милосерденъ, что онъ васъ прощаетъ, только, господа, предупреждаю васъ, за вами будетъ строгій надзоръ, будьте осторожны».

Лисовскій осматрѣлъ всѣхъ значительнымъ взглядомъ и, остановившись на К....., который былъ всѣхъ выше, постарше и такъ грозно поднимать брови, прибавилъ: «Вамъ-то, милостивый государь, въ *вашемъ званіи* какъ не стыдно». Можно было думать, что К..... былъ тогда вице-канцлеромъ россійскихъ орденовъ, а онъ занималъ только должность уѣзднаго лекаря.

И не былъ призванъ, вѣроятно моего имени въ письмѣ не было.

Угроза эта была чиномъ, посвященіемъ, мощными шпорами. Советъ Лисовскаго попалъ масломъ въ огонь, и мы, какъ бы облегчая будущій надзоръ полиціи, надѣли на себя бархатные береты à la Karl Sand и повязали на шею одинакіе *трехцвѣтные шарфы!*

Полковникъ Шубинскій, тихо и мягко, бархатной ступней подбравшись на мѣсто Лисовскаго, цѣпко ухватился за его слабость съ нами; мы должны были послужить одной изъ ступенекъ его повышенія по службѣ—и послужили.

Но прежде прибавлю нѣсколько словъ о судьбѣ Сунгурова и его товарищей.

*Кольрейфъ* возвратился въ Москву и потухъ на старыхъ рукахъ убитаго горемъ отца.

*Костенецкій* отличился рядовымъ на Кавказѣ и былъ произведенъ въ офицеры. *Антоновичъ* тоже.

Судьба несчастнаго Сунгурова несравненно страшнѣе. Пришедши въ первый этапъ на Воробьевыхъ горахъ, Сунгуровъ попросилъ у офицера позволеніе выйти на воздухъ изъ душной избы, биткомъ набитой ссыльными. Офицеръ, молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, вышелъ самъ съ нимъ на дорогу. Сунгуровъ, избравъ удобную минуту, свернулъ съ дороги и исчезъ. Вѣроятно, онъ очень хорошо зналъ мѣстность, ему удалось уйти отъ офицера, но на другой день жандармы попали на его слѣдъ. Когда Сунгуровъ увидѣлъ, что ему нельзя спастись, онъ перерѣзалъ себѣ горло. Жандармы привезли его въ Москву безъ памяти и несодѣящаго кровью.

Несчастный офицеръ былъ разжалованъ въ солдаты.

Сунгуровъ не умеръ. Его снова судили, но уже не какъ политическаго преступника, а какъ бѣлаго поселщика: ему обрили пол-головы. Къ этому вѣшнему сраму сентенція прибавила *одинъ* ударъ плетью въ стѣнахъ острога. Было ли это исполнено, не знаю. Послѣ этого Сунгуровъ былъ отправленъ въ Нерчинскъ въ рудники.



Имя его еще разъ прозвучало для меня, и потомъ совѣтъ исчезло.

Въ Вяткѣ встрѣтилъ я разъ на улицѣ молодого лекаря, товарища по университету, ѣхавшаго куда-то на заводы. Мы разговорились о былыхъ временахъ, объ общихъ знакомыхъ.

— Боже мой, сказалъ лекарь, знаете ли, кого я видѣлъ, ѣхавши сюда? Въ Нижегородской губерніи сижу я на почтовой станціи и жду лошадей. Погода была прескверная. Взошелъ этапный офицеръ, приведшій партію арестантовъ, пообогрѣться. Мы съ нимъ разговорились; услышавъ, что я лекарь, онъ попросилъ меня дойти до этапа, взглянуть на одного больного изъ пересыльныхъ, притворяется что ли онъ, или вправду крѣпко боленъ. Я пошелъ, разумѣется, съ намѣреніемъ во всякомъ случаѣ подтвердить болѣзнь колодника. Въ небольшомъ этапѣ было человѣкъ восемьдесятъ народу въ цѣпяхъ, бритыхъ и небритыхъ, женщинъ, дѣтей; все они разстунились передъ офицеромъ, и мы увидѣли на грязномъ полу, въ углу на соломѣ, какую-то фигуру, завернутую въ кафтанъ ссыльнаго.

— Вотъ больной, сказалъ офицеръ. Угать мнѣ не пришлось: несчастный былъ въ сильнѣйшей горячкѣ; исхудалый и изнеможенный отъ тюрьмы и дороги, полубритый и съ бородой, онъ былъ страшенъ, безмысленно водилъ глазами и безпрестанно просилъ пить.

— Что, братъ, плохо? сказалъ я больному, и прибавилъ офицеру:—идти ему невозможно.

Больной уставилъ на меня глаза и пробормоталъ: «Это вы?» Онъ цазвалъ меня. «Вы меня не узнаете», прибавилъ онъ голосомъ, который можемъ провель по сердцу.

— Извините меня, сказалъ я ему, взявъ его сухую и каленую руку, не могу припомнить.

— «Я Сунгуровъ», отвѣчалъ онъ.—Бѣдный Сунгуровъ! повторилъ лекарь, качая головой.

— Что же, его оставили? спросилъ я.

— Нѣтъ, однако дали телѣгу.

Послѣ того какъ я писалъ это, я узналъ, что Сунгуровъ умеръ въ *Нерчинскѣ*.

---

## ГЛАВА VII.

Конецъ курса.—Шиллеровскій періодъ.—Молодая юность и артистическая жизнь.—С.-симонизмъ и Н. Полевой.

Пока еще не разразилась надъ нами гроза, мой курсъ пришелъ къ концу. Обыкновенныя хлопоты, неспяныя ночи для безполезныхъ мнемоническихъ пытокъ, поверхностное ученіе на скорую руку и мысль объ экзаменѣ, побуждающая научный интересъ, все это какъ всегда. Я писалъ *астрономическую* диссертацию на золотую медаль, и получилъ серебряную. Я увѣренъ, что я теперь не въ состояніи былъ бы понять того, что тогда писалъ, и что стоило вѣсь—*серебра*.

Мнѣ случалось иной разъ видѣть во снѣ, что я студентъ и иду на экзаменъ; я съ ужасомъ думалъ, сколько я забуду, сѣженъ да и только,—и я просыпался, радуясь отъ души, что море и паспорты, годы и вины отдѣляютъ меня отъ университета, никто меня не будетъ испытывать и не осмѣлится поставить отвратительную единицу. А въ самомъ дѣлѣ, профессора удивились бы, что я въ столько лѣтъ такъ много пошелъ назадъ. Разъ это со мной уже и случилось <sup>1)</sup>.

Послѣ окончательнаго экзамена, профессора заперлись для счета балловъ, а мы, волнуемые надеждами и сомнѣніями, бродили маленькими кучками по коридору и по сѣнямъ. Иногда кто-нибудь выходилъ изъ совѣта, мы бросались узнать судьбу, но долго еще не было рѣшено; наконецъ, вышелъ Гейманъ. «Поздравляю васъ, сказалъ онъ мнѣ, вы кандидатъ».—Кто еще, кто еще?—Такой-то и такой-то. Мнѣ разомъ сдѣлалось грустно и весело; выходя изъ-за университетскихъ воротъ, я чувствовалъ, что не такъ выхожу, какъ вчера, какъ всякой день; я отчуждался отъ университета, отъ этого общаго родительскаго дома, въ которомъ провелъ такъ юно-хорошо четыре года; а съ другой сто-

---

<sup>1)</sup> Въ 1844 г. встрѣтился я съ Перовицкимъ у Щепкина и сидѣлъ возлѣ него за обѣдомъ. Подъ конецъ онъ не выдержалъ и сказалъ: «Жаль-съ, очень жаль-съ, что обстоятельства-съ помѣшали-съ заниматься дѣломъ-съ,—у васъ прекрасныя-съ были-съ способности-съ».

— Да, вѣдь, не всѣмъ же, говорилъ я ему, за вами на небо лѣзть. Мы здѣсь займемся, на землѣ, кой-чѣмъ.

— Помилуйте-съ, какъ-же-съ это-съ можно-съ, какое занятіе-съ, Гегелева-съ философія-съ, ваши статьи-съ читать-съ, понимать-съ нельзя-съ, птичій языкъ-съ. Какое-съ это дѣло-съ. Нѣтъ-съ!

Я долго смѣялся надъ этимъ приговоромъ, т. е. долго не понималъ, что языкъ-то у насъ тогда дѣйствительно былъ скверный, и если птичій, то на-вѣрно—птицы, состоящей при Минервѣ.

роны, меня тѣшило чувство признаннаго совершеннѣйшаго и, отчего же не признаться, и названіе кандидата, полученное сразу <sup>1)</sup>).

Alma mater! Я такъ много обязанъ университету и такъ долго послѣ курса жилъ его жизнью, съ нимъ, что не могу вспоминать о немъ безъ любви и уваженія. Въ неблагодарности онъ меня не обвинить, но крайней мѣрѣ въ отношеніи къ университету легка благодарность, она нераздѣльна съ любовью, съ свѣтлымъ воспоминаніемъ молодого развитія... И я благословляю его изъ дальней чужбины!

Годъ, проведенный нами послѣ курса, торжественно заключилъ первую юность. Это былъ продолжающійся ширь дружбы, обмѣна идей, вдохновенья, разгула...

Небольшая кучка университетскихъ друзей, пережившая курсъ, не разошлась и жила еще общими симпатіями и фантазіями, никто не думалъ о матеріальномъ положеніи, объ устройствѣ будущаго. Я не похвалился бы этого въ людяхъ совершеннѣйшихъ, но дорого цѣню въ юношахъ. Юность, гдѣ только она не изыскала отъ нравственнаго растлѣнія мѣщанствомъ, вездѣ непрактична, тѣмъ больше она должна быть такою въ странѣ молодой, имѣющей много стремленій и мало достигнутаго. Сверхъ того, быть непрактическимъ далеко не значитъ быть во лжи; все обращенное къ будущему имѣетъ непремѣнно долю идеализма. Безъ непрактическихъ натуръ все практики остановились бы на скучно повторяющемся одномъ и томъ же.

Иная восторженность лучше всякихъ правоученій хранить отъ истинныхъ паденій. Я помню юношескія оргіи, разгульные минуты, хватавшія иногда черезъ край; я не помню ни одной безнравственной исторіи въ нашемъ кругу, ничего такого, отъ чего человѣкъ серьезно долженъ былъ краснѣть, что старался бы забыть, скрыть. Все дѣлалось открыто, открыто рѣдко дѣлается дурное. Половина, больше половины, сердца была не туда направлена, гдѣ праздная страстность и болѣзненный эгоизмъ сосредоточиваются на нечистыхъ помыслахъ и троютъ пороки.

Я считаю большимъ несчастіемъ положеніе народа, котораго молодое поколѣніе не имѣетъ юности; мы уже замѣтили, что

<sup>1)</sup> Въ бумагахъ, присланныхъ мнѣ изъ Москвы, я нашелъ записку, которой я извѣщалъ к у з и н у, бывшую тогда въ деревнѣ съ княгиней, объ окончаніи курса. «Экзаменъ кончился, и я кандидатъ! Вы не можете себѣ представить сладкое чувство воли послѣ четырехлѣтнихъ занятій. Вспомнили-ли вы обо мнѣ въ четвергъ? День былъ душный и пытка продолжалась отъ 9 утра до 9 вечера» (26 іюня 1833). Мнѣ кажется, часа два прибавлено для эффекта или для скругленія. Но при всемъ удовольствіи самолюбіе было задѣто тѣмъ, что золотая медаль досталась другому, Александру Драшусову. Во второмъ письмѣ отъ 6 іюля сказано: «Сегодня актъ, но я не быть, я не хотѣлъ быть в т о р ы мъ при полученіи медали».

одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый періодъ нѣмецкаго студентства во сто разъ лучше мѣщанскаго совершеннѣйшаго молодости во Франціи и Англіи; для меня американскіе *пожилые* люди лѣтъ въ пятнадцать отроду—просто противны.

Во Франціи нѣкогда была блестящая аристократическая юность, потомъ революціонная. Всѣ эти С. Жюсты и Гоши, Марсо и Демуллены, героическія дѣти, выращенныя на мрачной поэзіи Жанъ-Жака, были настоящіе юноши. Революція была сдѣлана молодыми людьми; ни Дантонъ, ни Робеспьеръ, ни самъ Людовикъ XVI не пережили своихъ тридцати пяти лѣтъ. Съ Наполеономъ изъ юношей дѣлаются ординарцы; съ реставраціей, «съ воскресеніемъ старости»,—юность вовсе несовмѣстна: все становится совершеннѣйшимъ, дѣловымъ, т. е. мѣщанскимъ.

Послѣдніе юноши Франціи были сенъ-симонисты и фаланга. Нѣсколько исключеній не могутъ измѣнить прозаически-плоскій характеръ французской молодежи. Деку и Лебра застрѣлились оттого, что они были юны въ обществѣ стариковъ. Другіе бились какъ рыба, выкинутая изъ воды на грязномъ берегу, пока одни не попались на баррикаду, другіе на іезуитскую уд.

Но такъ какъ возрастъ беретъ свое, то большая часть французской молодежи отбываетъ юность *артистическимъ* періодомъ, т. е. живетъ, если нѣтъ денегъ, въ маленькихъ кафе, съ маленькими гризетками въ quartier Latin, и въ большихъ кафе съ большими лоретками, если есть деньги. Въмѣсто шиллеровскаго періода, это періодъ поль-де-кѣковскій; въ немъ наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергія, все молодое,—и человѣкъ готовъ въ сомнѣніи торговыхъ домовъ. Артистическій періодъ оставляетъ на днѣ души одну страсть—жажду денегъ, и ей жертвуется вся будущая жизнь, другихъ интересовъ нѣтъ; практическіе люди эти смѣются надъ общими вопросами, презираютъ женщинъ (слѣдствіе многочисленныхъ побѣдъ надъ *побѣжденными* по ремеслу). Обыкновенно артистическій періодъ дѣлается подъ руководствомъ какого-нибудь истасканнаго грѣшника изъ увядшихъ знаменитостей, d'un vieux prostitué, живущаго на чужой счетъ, какого-нибудь актера, потерявшаго голосъ, живописца, у котораго трясется руки; ему подражаютъ въ произношеніи, въ питъѣ, а главное, въ гордомъ взглядѣ на людскія дѣла и въ основательномъ знаніи блудъ.

Въ Англіи артистическій періодъ замѣненъ пароксизмомъ мнѣлыхъ оригинальностей и эксцентрическихъ любезностей, т. е. безумныхъ продѣлокъ, нелѣпныхъ тратъ, тяжелыхъ шалостей, увѣсистаго, но тщательно скрытаго разврата, безплодныхъ поѣздокъ въ Калабрію или Квито, на югъ, на сѣверъ; по дорогѣ—лошади, собаки, скачки, глухыя обѣды, а тутъ и жена съ неимовѣрнымъ

количествомъ румяныхъ и дебелыхъ baby, обороты, Times, парламентъ и придавливающей къ землѣ Ольдъ-Портъ.

Дѣлали шалости и мы, пировали и мы, по основной тонъ былъ не тотъ, діаназонъ былъ слишкомъ поднятъ. Шалость, разгулъ не становились дѣлю. Цѣль была вѣра въ призваніе; положимте, что мы ошибались, но, фактически вѣруя, мы уважали въ себѣ и другъ въ другѣ орудія общаго дѣла.

И въ чемъ же состояли наши пиры и оргіи? Вдругъ приходитъ въ голову, что черезъ два дня—6 декабря, Николинъ день. Обиліе Николаевъ странное: Николай Огаревъ, Николай С., Николай К., Николай Сазоновъ... «Господа, кто празднуетъ именины?»—И! И!—А я на другой день.—Это все вздоръ, что такое на другой день. Общій праздникъ, складку! Зато каковъ будетъ и пиръ!

— Да, да, у кого же собираться.

— С. . . . боленъ, ясно что у него.

И вотъ дѣлаются смѣты, проекты, это занимаетъ невѣроятно будущихъ гостей и хозяевъ. Одинъ Николай ѣдетъ къ Яру заказывать ужинъ, другой къ Матерну за сыромъ и салыми. Вино разумеется берется на Петровкѣ у Дебре, на книжкѣ котораго Огаревъ написалъ эпитафію:

De près ou de loin,  
Mais je fournis toujours.

Нашъ неопытный вкусъ еще далѣе шампанскаго не шелъ и былъ до того молодъ, что мы какъ-то измѣнили и шампанскому въ пользу Rivesaltes mousseux. Въ Парижѣ я на картѣ у ресторана увидѣлъ это имя, вспомнилъ 1833 годъ и потребовалъ бутылку. Но увы, даже воспоминанія не помогли мнѣ выпить больше одного бокала.

До праздника вина пробуются, оттого надобно еще посылать парочнаго, потому что пробы явнымъ образомъ правятся.

При этомъ не могу не рассказать, что случилось съ Соколовскимъ. Онъ былъ постоянно безъ денегъ и тотчасъ тратилъ все, что получалъ. За годъ до его ареста онъ пріѣзжалъ въ Москву и остановился у С.... Онъ какъ-то удачно продалъ, помнится, рукопись «Хевеи», и потому рѣшился дать праздникъ не только намъ, но и pour les gros bonnets, т. е. позвалъ Полевого, Максимовича и пр. Наканунъ онъ съ утра поѣхалъ съ Полежаевымъ, который тогда былъ съ своимъ полкомъ въ Москвѣ, дѣлать покупки, закупить чашекъ и даже самоваръ, разныхъ ненужныхъ вещей, и, наконецъ, вина и съѣстныхъ припасовъ, т. е. пастетовъ, фаршированныхъ индѣекъ и пр. Вечеромъ мы пришли къ С.... Соколовскій предложилъ откупорить одну бутылку, затѣмъ

другую, насъ было человѣкъ пять; къ концу вечера, т. е. къ началу утра слѣдующаго дня, оказалось, что ни вина больше нѣтъ, ни денегъ у Соколовскаго. Онъ купилъ на все, что оставалось отъ уплаты маленькихъ долговъ.

Огорчился было Соколовскій, но, скрѣпивъ сердце, подумалъ, подумалъ и написалъ ко всѣмъ gros bonnets, что онъ страшно запомогъ и праздники откладываетъ.

Для шира *четыреехъ именинъ* я писалъ цѣлую программу, которая удостоилась особеннаго вниманія инквизитора Голицына, спрашивавшаго меня въ комиссіи, точно ли программа была исполнена.

— A la lettre, отвѣчалъ я ему. Онъ пожалъ плечами, какъ будто онъ всю жизнь провелъ въ Смольномъ монастырѣ или въ великой пятницѣ.

Послѣ ужина возникалъ обыкновенно *капитальный* вопросъ, вопросъ, возбуждавшій пренія, а именно «какъ варить жженку?» Остальное обыкновенно ѣлось и пилось, какъ вотируютъ по до-вѣрію въ парламентахъ, безъ спору. Но тутъ каждый участвовалъ и притомъ съ высоты ужина. «Зажигать, не зажигать еще? какъ зажигать? тушить шампанскимъ или сотерномъ? класть фрукты и ананасъ, пока еще горитъ, или послѣ?»

— Очевидно, пока горитъ, тогда-то весь аромъ перейдетъ въ пуншъ.

— Помилуй, ананасы плаваютъ, стороны ихъ подожгутся, это просто бѣда.

— Все это вздоръ, кричить К..... всѣхъ громче, а вотъ что не вздоръ, свѣчи надобно потушить.

Свѣчи потушены, лица у всѣхъ посинѣли и черты колеблется съ движеніемъ огня. А между тѣмъ въ небольшой комнатѣ температура отъ горящаго рома становится тропическая. Всѣмъ хочется пить, жженка не готова. Но Joseph, французъ, присланный отъ Яра, готовъ, онъ приготовляетъ какой-то анти-тезисъ жженки, напитокъ со льдомъ изъ разныхъ винъ, à la base de cognac; неподдѣльный сынъ «великаго народа», онъ, наливая французское вино, объясняетъ намъ, что оно потому такъ хорошо, что два раза проѣхало экваторъ.—Oui, oui, messieurs, deux fois l'equateur, messieurs!

Когда замѣчательный своей полярной служей напитокъ оконченъ, и вообще пить больше ненадобно, К..... кричитъ, мѣшая огненное озеро въ суповой чашкѣ, причемъ послѣдніе куски сахара таютъ съ шинѣніемъ и плачемъ: «Пора тушить! пора тушить!»

Огонь краснѣетъ отъ шампанскаго, бѣгаетъ по поверхности пунша съ какой-то тоской и дурнымъ предчувствіемъ.



А тутъ отчаянный голосъ: «Да, помилуй, братецъ, ты съ ума сойдишь, развѣ не видишь, смола топитя прямо въ пуншъ».

— А ты самъ поддержи бутылку въ такомъ жару, чтобъ смола не топилась.

— Ну, такъ ее прежде обить, продолжаетъ огорченный голосъ.

— Чашки, чашки, довольно ли у васъ ихъ, сколько насъ—девять, десять, четырнадцать,—такъ, такъ.

— Гдѣ найти четырнадцать чашекъ?

— Ну, кому чашекъ не достало—въ стаканъ.

— Стаканы лопнуть.

— Никогда, никогда, стоитъ только ложечку положить.

Свѣчи поданы, послѣдній зайчикъ огня выбѣжалъ на середину, сдѣлалъ пируэтъ и пѣтъ его.

— Жженка удалась!

— Удалась, очень удалась!—говорять со всѣхъ сторонъ.

На другой день болить голова, тошно. Это очевидно отъ жженки,—смѣсь! И тутъ некрепнее рѣшеніе впредь жженки никогда не пить, это отрава.

Входитъ Петръ Ѳедоровичъ.—А вы-съ сегодня приняли не въ своей шляпѣ, наша шляпа будетъ лучше.

— Чортъ съ ней совѣтъ.

— Не прикажете ли сбѣгать къ Николай Михайловичу Кузьмѣ?

— Что ты воображаешь, что кто-нибудь пошелъ безъ шляпы?

— Не мѣшаетъ-съ, на всякой случай.

Тутъ я догадываюсь, что дѣло совѣтъ не въ шляпѣ, а въ томъ, что Кузьма звалъ на поле битвы Петра Ѳедоровича.

— Ты къ Кузьмѣ ступай, да только прежде попроси у повара мнѣ кислой капусты.

— Знать, Лександъ Ивановичъ, именинники-то не ударили лицомъ въ грязь?

— Какой въ грязь, этакого пра во весь курсъ не было.

— Въ ниверситетъ-то уже, должно быть, сегодня отложимъ попеченіе?

Меня угрызаютъ совѣтъ и я молчу.

— Папенька-то вашъ меня спрашивалъ: «Какъ это, говорить, еще не вставалъ?» Я знаете не промахъ: голова цзволить болѣть, съ утра-съ жаловался, такъ я такъ и сторы не подымалъ-съ.—«Ну, говорить, и хорошо сдѣлалъ».

— Да, дай ты мнѣ Христа ради уснуть. Хотѣлъ идти къ С..., ну и ступай.

— Сію минуту-съ, только за капустой сбѣгаю-съ.

Тяжелый сонъ снова смыкаетъ глаза, часа черезъ два просыпаешься гораздо свѣжѣе. Что-то они дѣлаютъ тамъ? К.... и

Огаревъ остались ночевать. Досадно, что жженка такъ на голову дѣйствуетъ; надобно признаться, она была очень вкусна. Вольно же пить жженку стаканомъ; я рѣшительно отыниѣ и до вѣка буду пить небольшую чашку.

Между тѣмъ мой отецъ уже окончилъ чтеніе газетъ и пріемъ повара.

— У тебя голова болитъ сегодня?

— «Очень».

— Можетъ, слишкомъ много занимался? И при этомъ вопросѣ видно, что прежде отвѣта онъ усомнился.

— Я и забылъ, вѣдь вчера ты, кажется, былъ у Николаши <sup>1)</sup> и у Огарева?

— «Какъ-же-съ».

— Потчивали, что ли, они тебя . . . . именины? Опять супъ съ мадерой? Охъ, не охотникъ я до всего до этого. Николаша то любить, я знаю, не во время вино, и откуда у него это взялось, не понимаю. Покойный Павелъ Ивановичъ... ну, 29 іюня именины, позоветъ всѣхъ родныхъ, обѣдъ какъ водится, все скромно, прилично. А это, по нынѣшнему, шампанекаго, да сардинки въ маслѣ,—противно смотрѣть. О несчастномъ сынѣ Платона Богдановича я и не говорю,—одинъ, брошенъ! Москва... деньги есть,—кучеръ Еремей, «пошелъ за виномъ». А кучеръ радъ, ему за это въ лавкѣ гривенникъ.

— «Да, я у Николая Павловича завтракалъ. Впрочемъ, я не думаю, чтобъ отъ этого болѣла голова. Я пройдуся немного, это мнѣ всегда помогаетъ».

— Съ Богомъ,—обѣдаешь дома, я надѣюсь.

— «Безъ сомнѣнія, я только такъ».

Для поясненія *супа съ мадерой*, необходимо сказать, что за годъ или больше до знаменитаго пира четырехъ именинниковъ, мы на святой недѣлѣ отправлялись съ Огаревымъ гулять, и, чтобъ отдѣлаться отъ обѣда дома, я сказалъ, что меня пригласилъ обѣдать отецъ Огарева.

Отецъ мой не любилъ вообще моихъ знакомыхъ, называлъ наизнанку ихъ фамиліи, ошибаясь постоянно одинакимъ образомъ; такъ С.... онъ безошибочно называлъ Сакенымъ, а Сазонова — Спазинымъ. Огарева онъ еще меньше другихъ любилъ, и за то, что у него волосы были длинные, и за то, что онъ курилъ безъ его спроса. Но, съ другой стороны, онъ его считалъ вѣнчатымъ племянникомъ и, слѣдственно, редственной фамиліи сказать не могъ. Къ тому же Платонъ Богдановичъ принадлежалъ, и по родству и по богатству, къ малому числу признанныхъ моихъ от-

<sup>1)</sup> Голохвастова.

цомъ личностей, и мое близкое знакомство съ его домомъ ему правилось. Оно правилось бы еще больше, если-бъ у Платона Богдановича не было сына.

Итакъ, отказать ему не считалось приличнымъ.

Вмѣсто почтенной столовой Платона Богдановича, мы отправились сначала подъ Новинское, въ балаганъ Прейса (я потомъ встрѣтилъ съ восторгомъ эту семью акробатовъ въ Женевѣ и Лондонѣ); тамъ была небольшая дѣвочка, которой мы восхищались и которую называли Миньоной.

Посмотрѣвъ Миньону и рѣшившись еще разъ придти-ее посмотреть вечеромъ, мы отправились обѣдать къ Яру. У меня былъ золотой и у Огарева около того же. Мы тогда еще были совершенные повички и потому, долго обдумывая, заказали анка ан champagne, бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, въ силу чего мы встали изъ-за обѣда, ужасно дорогого, совершенно голодные и отправились опять смотреть Миньону.

Отецъ мой, прощаясь со мной, сказалъ мнѣ, что ему кажется, будто бы отъ меня пахнетъ виномъ.

— Это вѣрно оттого, сказалъ я, что сунъ былъ съ мадерой.

— «Au madère,—это зять Платона Богдановича вѣрно такъ завелъ; cela sent les casernes de la garde».

Съ тѣхъ поръ и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпилъ вина, что у меня лицо красно, онъ непременно говорилъ мнѣ: «Ты вѣрно ѣлъ сегодня сунъ съ мадерой!»

Итакъ, я скорымъ шагомъ къ С.

Разумѣется, Огаревъ и К. были на мѣстѣ. К., съ помытымъ лицомъ, былъ недоволенъ нѣкоторыми распоряженіями и строго ихъ критиковалъ. Огаревъ гомеопатически выпилъ клинъ клиномъ, допивая какіе-то остатки не только послѣ праздника, но и послѣ фуражировки Петра Федоровича, который уже съ пѣніемъ, присвистомъ и дробью игралъ на кухнѣ у С.

Въ рождѣ Марьиной гулянье,  
Въ самой тотъ день семника.

... Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной исторіи, которая осталась бы на совѣсти, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится безъ исключенія ко всемъ нашимъ друзьямъ.

Были у насъ платоническіе мечтатели и разочарованные юноши въ семнадцать лѣтъ. Вадимъ даже писалъ драму, въ которой хотѣлъ представить «страшный опытъ своего *изжитого* сердца». Драма эта начиналась такъ: «Садъ—вдали домъ—окна освѣщены—буря—никого нѣтъ—каютка не заперта, она хлопаетъ и скрипитъ».

— Сверхъ калитки и сада, есть дѣйствующія лица? спросилъ я у Вадима.

И Вадимъ, нѣсколько огорченный, сказалъ мнѣ: «ты все дуралшнсь! Это не шутка, а боль моего сердца; если такъ, я и читать не стану»,—и сталъ читать.

Были и вовсе не платоническія шалости, даже такія, которыя оканчивались не драмой, а антекой. Но не было пошлыхъ интригъ, губящихъ женщину и унижающихъ мужчину, не было *содержанокъ* (даже не было и этого подлаго слова). Покойный, безопасный, прозаическій, мѣщанскій развратъ, развратъ по контракту, миновалъ нашъ кругъ.

Стало быть, вы допускаете худшій, продажный развратъ?

— Не я, а вы! То есть не *вы* вы, а вы все. Онъ такъ прочно поконится на общественномъ устройствѣ, что ему не пужно моей инвентитуры.

Общіе вопросы, гражданская экзальтація спасали насъ; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интересъ. Они, какъ зажженная бумага, выжигали сальныя пятна. У меня сохранилось нѣсколько писемъ Огарева того времени; о тогданнемъ грунтоу нашей жизни можно легко по нимъ судить. Въ 1833 году, іюня 7, Огаревъ, напимѣрь, мнѣ пишетъ:

«Мы другъ друга, кажется, знаемъ, кажется, можемъ быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. Итакъ, скажи,—съ нѣкотораго времени я рѣшительно такъ полонъ, можно сказать, давленъ ощущеніями и мыслями, что мнѣ кажется, мало того, кажется, мнѣ врѣзалась мысль, что мое призваніе — быть поэтомъ, стихотворцемъ или музыкантомъ, *alles eins*, но я чувствую необходимость жить въ этой мысли, ибо имѣю какое-то самоощущеніе, что я поэтъ; положимъ, я еще пишу дрянно, но этотъ огонь въ душѣ, эта полнота чувствъ даетъ мнѣ надежду, что я буду и порядочно (извини за такое пошрое выраженіе) писать. Другъ, скажи же—вѣрить ли мнѣ моему призванію? Ты, можетъ, лучше меня знаешь, нежели я самъ, и не ошибешься». (Іюнь 7, 1833).

«Ты пишешь: *Да, ты поэтъ, поэтъ истинный!* Другъ, можешь ли ты постигнуть все то, что производятъ эти слова? И такъ оно не ложно, все, что я чувствую, къ чему стремлюсь, въ чемъ моя жизнь. Оно не ложно! Правду ли говоришь? Это не бредъ горячки,—это я чувствую. Ты меня знаешь болѣе, чѣмъ кто-нибудь, не правда ли, я это дѣйствительно чувствую. Нѣтъ, эта высокая жизнь—не бредъ горячки, не обманъ воображенія, она слишкомъ высока для обмана, она дѣйствительна, я живу ею, я не могу вообразить себя съ иною жизнью. Для чего я не знаю музыки, какая симфонія вылетѣла бы изъ моей души те-

перъ! Вотъ слышишь величественное *adagio*, но нѣтъ силъ выразиться, надобно больше сказать; нежели сказано, *presto, presto*, мнѣ надобно бурное, неукротимое *presto*. *Adagio* и *presto*, двѣ крайности. Прочъ съ этой посредственностью, *andante*, *allegro moderato*, это занки или слабоумные, не могутъ ни сильно говорить, ни сильно чувствовать». (Село Чертково, 18 августа, 1833).

Мы отвыкли отъ того восторженнаго лепета юности, онъ намъ страненъ, но въ этихъ строкахъ молодого человѣка, которому еще не стукнуло 20 лѣтъ, ясно видно, что онъ застрахованъ отъ пошлаго порока и отъ пошлой добродѣтели, что онъ, можетъ, не спасется отъ болѣта, но выйдетъ изъ него не загрязнившись.

Это не неувѣренность въ себѣ, это сомнѣніе вѣры, это страстное желаніе подтвержденія, ненужнаго слова любви, которое такъ дорого намъ. Да, это безпокойство зарождающагося творчества, это тревожное озираніе души *зачавшей*.

«Я не могу еще взять, пишеть онъ въ томъ же письмѣ, тѣ звуки, которые слышатея душѣ моей, неспособность тѣлесная ограничивается фантазію. Но чертъ возьми! Я поэтъ, поэзія мнѣ подсказываетъ истину тамъ, гдѣ бы я ея не понялъ холоднымъ разсужденіемъ. Вотъ философія откровенія».

Такъ оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде нежели мы взойдемъ въ нее, надобно упомянуть, въ какомъ направленіи, съ какими думами она застала насъ.

Время, слѣдовавшее за умирненіемъ польскаго возстанія, быстро воспитывало. Мы начали съ внутреннимъ ужасомъ разглядывать, что и въ Европѣ и особенно во Франціи, откуда ждали пароль политическій и лозунгъ, дѣла идутъ неладно, теоріи наши становились намъ подозрительны.

Дѣтскій либерализмъ 1826 года, сложившійся мало по малу въ то французское воззрѣніе, которое проповѣдывали Лафайеты и Бенжаменъ Констанъ, пѣлъ Беранже,—терялъ для насъ, послѣ гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и въ ея числѣ Вадимъ, бросились на глубокое и серьезное изученіе русской исторіи. Другая — въ изученіе нѣмецкой философіи.

Мы съ Огаревымъ не принадлежали ни къ тѣмъ, ни къ другимъ. Мы слишкомъ сжились съ иными идеями, чтобъ скоро поступить имъ. Вѣра въ беранжеровскую *застольную* революцію была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни въ несторовской лѣтописи, ни въ трансцендентальномъ идеализмѣ Шеллинга.

Середь этого броженія, середь догадокъ, успій понять сомнѣ-

нія, нугавшія насъ, попались въ наши руки сень-симонистскія броніи, ихъ проповѣди, ихъ процессы. Они поразили насъ.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смѣялись надъ отцомъ Анфантемомъ и надъ его апостолами; время иного признанія нѣстуетъ для этихъ предтечъ социализма.

Торжественно и поэтически являлись середѣ мѣщанскаго міра эти восторженные юнны съ своими неразрѣзными жилетами, съ отроченными бородами. Они возвѣстили новую вѣру, имъ было что сказать и было во ими чего позвать передъ свой судъ старый порядокъ вещей, хотѣвшій ихъ судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религіи.

Съ одной стороны, *освобожденіе женщины*, призваніе ее на общій трудъ, отданіе ей судебъ въ ея руки, союзъ съ нею, какъ съ равнымъ.

Съ другой—оправданіе, *искупленіе плоти*, *Réhabilitation de la chair!*

Великія слова, заключающія въ себѣ цѣлый міръ новыхъ отношеній между людьми; міръ здоровья, міръ духа, міръ красоты, міръ естественно-правственный и потому нравственно-чистый. Много издѣвались надъ свободой женщины, надъ признаніемъ правъ плоти, придавая словамъ этимъ смыслъ грязный и пошлый; наше монашески-развратное воображеніе боится плоти, боится женщины. Религія жизни шла на смѣну религіи смерти, религія красоты на смѣну религіи бичеванія и худобы отъ поста и молитвы. Распятое тѣло воскресало въ свою очередь и не стыдилось больше себя; человѣкъ достигалъ созвучнаго единства, догадывался, что онъ существо цѣлое, а не составленъ, какъ маятникъ, изъ двухъ разныхъ металловъ, удерживающихъ другъ друга, что врагъ, спаянный съ нимъ, исчезъ.

Какое мужество надобно было имѣть, чтобъ произнести все-народно во Франціи эти слова освобожденія отъ спиритуализма, который такъ силенъ въ понятіяхъ французовъ и такъ вовсе не существуетъ въ ихъ поведеніи.

Старый міръ, осмѣянный Вольтеромъ, подшипленный революціей, но закрѣпленный, нерешитый и упроченный мѣщанствомъ для своего обихода, этого еще не испыталъ. Онъ хотѣлъ судить отщепенцевъ на основаніи своего тайно соглашеннаго лицемѣрія, а люди эти обличили его. Ихъ обвиняли въ отступничествѣ отъ христіанства, а они указали надъ головой судьи *завѣщанную* икону послѣ революціи 1830 года. Ихъ обвиняли въ оправданіи чувственности, а они спросили у судьи, цѣломудренно ли онъ живетъ?

Новый міръ толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сень-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ.



Удобовпечатлимые, искренно-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тотъ рубежъ, на которомъ останавливаются цѣлые ряды людей, складываютъ руки, идутъ назадъ или ищутъ по сторонамъ броду—черезъ море!

Но не все рискнули съ нами. Соціализмъ и реализмъ остаются до сихъ поръ пробными камнями, брошенными на путяхъ революціи и науки. Группы пловцовъ, прибитыя волнами событій или мышленіемъ къ этимъ скаламъ, немедленно разстаются и составляютъ двѣ вѣчныя партіи, которыя, мѣняя одежды, проходятъ черезъ всю исторію, черезъ все перевороты, черезъ многочисленныя партіи и кружки, состоящіе изъ десяти юношей. Одна представляетъ логику, другая—исторію, одна—діалектику, другая—эмбриогенію. Одна изъ нихъ *правда*, другая—*возможность*.

О выборѣ не можетъ быть и рѣчи; обуздать мысль трудно, чѣмъ всякую страсть,—она влечетъ невольно; кто можетъ ее затормазить чувствомъ, мечтой, страхомъ послѣдствій, тотъ и затормозитъ ее, но не все могутъ. У кого мысль беретъ верхъ, у того вопросъ не о прилагаемости, не о томъ, легче или тяжелее будетъ, тотъ ищетъ истины и неумолимо, пелицепріятно проводить начала, какъ с.-симонисты нѣкогда, какъ Прудонъ до сихъ поръ.

Кругъ нашъ еще тѣснѣ сомкнулся. Уже тогда, въ 1833 году, *либералы* смотрѣли на насъ изъ-подлобы, какъ на сбившихся съ дороги. Передъ самой тюрьмой сенъ-симонизмъ поставилъ рубежъ между мной и Н. А. Полевымъ. Полевой былъ человѣкъ необыкновенно ловкаго ума, дѣятельнаго, легко претворяющаго всякую нищю; онъ родился быть журналистомъ, лѣтчикомъ успѣховъ, открытій, политической и ученой борьбы. Я познакомился съ нимъ въ концѣ курса и бывалъ иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещенію *Телеграфа*.

Этотъ-то человѣкъ, жившій послѣднимъ открытіемъ, вчерашнимъ вопросомъ, новой новостью въ теоріи и въ событіяхъ, мѣнявшійся какъ хамелеонъ, при всей живости ума не могъ понять сенъ-симонизма. Для насъ сенъ-симонизмъ былъ откровеніемъ, для него безуміемъ, пустою утопій, мѣшающей гражданскому развитію. Сколько я ни ораторствовалъ, ни развивалъ, ни доказывалъ, Полевой былъ глухъ, сердился, становился желченъ. Ему была особенно досадна оппозиція, дѣлаемая студентомъ, онъ очень дорожилъ своимъ вліяніемъ на молодежь и въ этомъ преніи видѣлъ, что она ускользаетъ отъ него.

Одинъ разъ, оскорбленный нелѣпностью его возраженій, я ему замѣтилъ, что онъ такой же отсталый консерваторъ, какъ тѣ, противъ которыхъ онъ всю жизнь сражался. Полевой глубоко

обидѣлся моими словами и, качая головой, сказалъ мнѣ: «Придетъ время, и вамъ, въ награду за цѣлую жизнь усилій и трудовъ, какой-нибудь молодой человѣкъ, улыбаясь, скажетъ: ступайте прочь, вы отсталый человѣкъ». Мнѣ было жаль его, мнѣ было стыдно, что я его огорчилъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ я понялъ, что въ его грустныхъ словахъ звучалъ его приговоръ. Въ нихъ слышался уже не сильный боецъ, а отжившій, устарѣлый гладіаторъ. Я понялъ тогда, что впередъ онъ не двинется, а на мѣстѣ устоять не сумѣетъ съ такимъ дѣятельнымъ умомъ и съ такимъ непрочнымъ грунтомъ.

Вы знаете, что съ нимъ было потомъ: онъ принялся за Парашу Сибирячку.

Какое счастье во-время умереть для человѣка, не умѣющаго въ свой часъ ни сойти со сцены, ни идти впередъ. Это я думалъ, глядя на Полевого, глядя на Пія IX и на *многихъ другихъ*!..

## ПРИБАВЛЕНІЕ.

### А. ПОЛЕЖАЕВЪ.

Въ дополненіе къ печальной лѣтописи того времени слѣдуетъ передать нѣсколько подробностей объ А. Полежаевѣ.

Полежаевъ студентомъ въ университетѣ былъ уже извѣстенъ своими превосходными стихотвореніями. Между прочимъ, написалъ онъ юмористическую поэму *Сашка*, пародируя Онѣгина. Въ ней, не стѣняя себя приличіями, шутливымъ тономъ и очень милыми стихами задѣлъ онъ многое.

Осенью 1826 года Николай праздновалъ въ Москвѣ свою коронацію.

Тайная полиція доставила ему поэму Полежаева...

И вотъ въ одну ночь, часа въ три, ректоръ будитъ Полежаева, велитъ одѣться въ мундиръ и сойти въ правленіе. Тамъ его ждетъ попечитель. Осмотрѣвъ, все ли пуговицы на его мундирѣ и нѣтъ ли лишнихъ, онъ безъ всякаго объясненія пригласилъ Полежаева въ свою карету и увезъ.

Привезъ онъ его къ министру народнаго просвѣщенія. Министръ сажаетъ Полежаева въ свою карету и тоже везетъ, — но на этотъ разъ ужъ прямо къ государю.

Князь Ливенъ оставилъ Полежаева въ залѣ, гдѣ дожидались нѣсколько придворныхъ и другихъ высшихъ чиновниковъ, не смотря на то, что былъ шестой часъ утра, и пошелъ во внутрен-

нія комнаты. Придворные вообразили себѣ, что молодой человѣкъ чѣмъ-нибудь отличился и тотчасъ вступили съ нимъ въ разговоръ. Какой-то сенаторъ предложилъ ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали въ кабинетъ. Государь стоялъ, опершись на бюро, и говорилъ съ Ливенемъ. Онъ бросилъ на взошедшаго испытующій взглядъ, въ рукѣ у него была тетрадь.

— «Ты ли, спросилъ онъ, сочинилъ эти стихи?»

— Я, отвѣчалъ Полежаевъ.

— «Вотъ, князь, продолжалъ государь, вотъ я вамъ дамъ образчикъ университетскаго воспитанія, я вамъ покажу, чему учатся тамъ молодые люди. Читай эту тетрадь вслухъ», прибавилъ онъ, обращаясь снова къ Полежаеву.

Волненіе Полежаева было такъ сильно, что онъ не могъ читать.

— Я не могу, сказалъ Полежаевъ.

— «Читай!»

Этотъ крикъ воротилъ силу Полежаеву, онъ развернулъ тетрадь. Никогда, говорилъ онъ, я не видывалъ *Сашку* такъ перенесаннаго и на такой славной бумагѣ.

Сначала ему было трудно читать, потомъ, одушевляясь болѣе и болѣе, онъ громко и живо дочиталъ поэму до конца. Въ мѣстахъ особенно рѣзкихъ государь дѣлалъ знакъ рукой министру. Министръ закрывалъ глаза отъ ужаса.

— «Что скажете?»—спросилъ Николай по окончаніи чтенія. — «Я положу предѣлъ этому разврату, это все еще *слабды, послѣдніе остатки*; я ихъ искореню. Какого онъ поведенія?»

Министръ, разумѣется, не зналъ его поведенія, но въ немъ проснулось что-то человѣческое, и онъ сказалъ: «Превосходнѣйшаго поведенія, в. в.»

— «Этотъ отзывъ тебя спасъ, но наказать тебя надобно для примѣра другимъ. Хочешь въ военную службу?»

Полежаевъ молчалъ.

— «Я тебѣ даю военной службой средство очиститься.—Что же, хочешь?»

— Я долженъ повиноваться, отвѣчалъ Полежаевъ.

Государь подошелъ къ нему, положилъ руку на плечо и, сказавъ: «Отъ тебя зависить твоя судьба; если я забуду, *ты можешь мнѣ писать*», поцѣловалъ его въ лобъ.

Я десять разъ заставлялъ Полежаева повторять рассказъ о поцѣлѣ, такъ онъ мнѣ казался невѣроятнымъ. Полежаевъ клялся, что это правда.

Отъ государя Полежаева свели къ Дибичу, который жилъ тутъ же, во дворцѣ. Дибичъ спалъ, его разбудили, онъ вышелъ зѣвая и, прочитавъ бумагу, спросилъ флигель-адъютанта: «Это онъ?»—«Онъ, в. с.».

— «Что же! доброе дѣло, послужите въ военной, я все въ военной службѣ былъ, видите, дослужился, и вы, можетъ, будете фельдмаршаломъ». Эта неумѣстная, тупая, пѣмецкая шутка была поцѣлуемъ Дибича. Полежаева свезли въ лагерь и отдали въ солдаты.

Прошли года три, Полежаевъ вспомнилъ слова государя и написалъ ему письмо. Отвѣта не было. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, онъ написалъ другое,—тоже пѣтъ отвѣта. Увѣренный, что его письма не доходятъ, онъ бѣжалъ, и бѣжалъ для того, чтобъ лично подать просьбу. Онъ велъ себя неосторожно, видѣлся въ Москвѣ съ товарищами, былъ ими угощаемъ; разумѣется, это не могло остаться въ тайнѣ. Въ Твери его схватили и отправили въ полкъ какъ бѣглаго солдата, въ цѣняхъ, пѣшкомъ. Военный судъ приговорилъ его прогнать сквозъ строй; приговоръ послали къ государю на утверждение.

Полежаевъ хотѣлъ лишить себя жизни передъ наказаніемъ. Долго отыскивая въ тюрьмѣ какое-нибудь острое орудіе, онъ довѣрился старому солдату, который его любилъ. Солдатъ понялъ его и оцѣнилъ его желаніе. Когда старикъ узналъ, что отвѣтъ принесли, онъ принесъ ему штыкъ и, отдавая, сказалъ сквозъ слезы: «Я самъ отточилъ его».

Государь не велѣлъ наказывать Полежаева.

Тогда-то написалъ онъ свое превосходное стихотвореніе:

Безъ утѣшеній  
Я погибалъ,  
Мой злобный геній  
Торжествовать...

Полежаева отправили на Кавказъ; тамъ онъ былъ произведенъ за отличіе въ унтеръ-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положеніе сломило его; сдѣлаться полицейскимъ поэтомъ онъ не могъ, а это былъ единственный путь отдѣлаться отъ ранца.

Былъ, впрочемъ, еще другой, и онъ предпочелъ его: онъ шилъ для того, чтобъ забыться. Есть страшное стихотвореніе его «Къ свухѣ».

Онъ перепросился въ карабинерный полкъ, стоявшій въ Москвѣ. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чахотка разѣдала его грудь. Въ это время я познакомился съ нимъ около 1833 года. Помаялся онъ еще года четыре и умеръ въ солдатской больницѣ.

Когда одинъ изъ друзей его явился просить тѣло для погребенія, никто не зналъ, гдѣ оно; солдатская больница торгуетъ трупами, она ихъ продаетъ въ университетъ, въ медицинскую

академію, вывариваетъ скелеты и пр. Наконецъ, онъ нашелъ въ подвалѣ трупъ бѣднаго Полежаева, онъ валялся подъ другими, крысы объѣли ему одну ногу.

Послѣ его смерти издали его сочиненія и при нихъ хотѣли приложить его портретъ въ солдатской шинели. Цензура нашла это неприличнымъ, и бѣдный страдалецъ представленъ въ офицерскихъ эполетахъ,—онъ былъ произведенъ въ больницѣ.

---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

---

### ТЮРЬМА И ССЫЛКА.

(1834—1838).

---

#### ГЛАВА VIII.

Пророчество. — Арестъ Огарева. — Пожаръ. — Московскій либераль. — М. О. Орловъ. — Кладбище.

... Разъ весною 1834 года пришелъ я утромъ къ Вадиму, ни его не было дома, ни его братьевъ и сестеръ. Я взошелъ наверхъ въ небольшую комнату его и сѣлъ писать.

Дверь тихо отворилась и вошла старушка, мать Вадима; шаги ея были едва слышны, она подошла устало, болѣзненно къ кресламъ и сказала мнѣ, садясь въ нихъ: «Пишите, пишите, — я пришла взглянуть, не воротился ли Вадя; дѣти пошли гулять, внизу такая пустота, мнѣ сдѣлалось грустно и страшно, я посижу здѣсь, я вамъ не мѣшаю, дѣлайте свое дѣло».

Лицо ея было задумчиво, въ немъ яснѣе обыкновеннаго виднѣлся отблескъ вынесеннаго въ прошедшемъ и та подозрительная робость къ будущему, то недовѣріе къ жизни, которое всегда остается послѣ большихъ, долгихъ и многочисленныхъ бѣдствій.

Мы разговорились. Она разсказывала что-то о Сибпри. — «Много, много пришлось мнѣ перестрадать, что-то еще придется увидѣть, прибавила она, качая головой, — хорошаго ничего не чувствуетъ сердце».

Я вспомнилъ, какъ старушка, иной разъ слушая наши смѣлые разсказы и демагогическіе разговоры, становилась блѣднѣе, тихо вздыхала, уходила въ другую комнату и долго не говорила ни слова.



— «Вы, продолжала она, и ваши друзья, вы идете вѣрной дорогой къ гибели. Погубите вы Вадю, себя и всѣхъ; я, вѣдь, и васъ люблю, какъ сына». Слеза катилась по исхудалой щекѣ.

И молчалъ. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила: «Не сердитесь, у меня нервы разстроены; я все понимаю, идите вашей дорогой, для васъ нѣтъ другой, а если-бъ была, вы все были бы не тѣ. Я знаю это, но не могу пересилить страха, я такъ много перенесла несчастій, что на новыя не достаесть силъ. Смотрите, вы ни слова не говорите Вадѣ объ этомъ, онъ огорчится, будетъ меня уговаривать... вотъ онъ», прибавила старушка, поспѣшно утирая слезы и прося еще разъ взглядомъ, чтобъ я молчалъ.

Бѣдная мать! Святая, великая женщина!

Это стоить корнелевскаго «qu'il mourût!»

Пророчество ея скоро сбылось; по счастью, на этотъ разъ гроза пронеслась надъ головой ея семьи, но много набралась бѣдная горя и страху.

— «Какъ взяли?» спрашивалъ я, вскочивъ съ постели и щупая голову, чтобъ знать, сплю я или нѣтъ.

— Полицмейстеръ пріѣзжалъ ночью, съ квартальнымъ и казаками, часа черезъ два послѣ того, какъ вы ушли отъ насъ, забралъ бумаги и увезъ Н. П.

Это былъ камердинеръ Огарева. Я не могъ понять, какой поводъ выдумала полиція, въ послѣднее время все было тихо. Огаревъ только за день пріѣхалъ... И отчего же его взяли, а меня нѣтъ?

Сложивъ руки нельзя было оставаться, я одѣлся и вышелъ изъ дому безъ определенной цѣли. Это было первое несчастіе, падшее на мою голову. Мнѣ было скверно, меня мучило мое безсиліе.

Бродя по улицамъ, мнѣ, наконецъ, пришелъ въ голову одинъ пріятель, котораго общественное положеніе ставило въ возможность узнать, въ чемъ дѣло, а можетъ и помочь. Онъ жилъ страшно далеко, на дачѣ за Воронцовскимъ полемъ; я сѣлъ на перваго извозчика и поскакалъ къ нему. Это былъ часъ седьмой утра.

Года за полтора передъ тѣмъ познакомился мы съ В., это былъ своего рода левъ въ Москвѣ. Онъ воспитывался въ Парижѣ, былъ богатъ, уменъ, образованъ, остеръ, вольнодумъ, сидѣлъ въ Петропавловской крѣпости по дѣлу 14 декабря и былъ въ числѣ выпущенныхъ; ссылки онъ не испыталъ, но слава осталась при немъ. Онъ служилъ и имѣлъ большую силу у генералъ-губернатора. Князь Голицынъ любилъ людей съ свободнымъ образомъ мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. Въ русскомъ языкѣ князь былъ не силенъ.

В. былъ лѣтъ десять старше насъ и удивлялъ насъ своими практическими замѣтками, своимъ знаніемъ политическихъ дѣлъ, своимъ французскимъ краснорѣчіемъ и горячностью своего либерализма. Онъ зналъ такъ много и такъ подробно, рассказывалъ такъ мило и такъ плавно; мнѣнія его были такъ твердо очерчены, на все былъ отвѣтъ, совѣтъ, разрѣшеніе. Читалъ онъ все: новые романы, трактаты, журналы, стихи, и, сверхъ того, сильно занимался зоологіей, писалъ проекты для книжи и составлялъ планы для дѣтскихъ книгъ.

Либерализмъ его былъ чистѣйшій трехъ-цвѣтной воды, лѣваго бока между Могеномъ и генераломъ Ламаркомъ.

Его кабинетъ былъ увѣшанъ портретами всѣхъ революціонныхъ знаменитостей, отъ Гемидена и Балли до Фіески и Арманъ Карели. Цѣлая библіотека запрещенныхъ книгъ находилась подъ этимъ революціоннымъ иконоostasомъ. Скелетъ, нѣсколько набитыхъ птицъ, сушеныхъ амфибій и моченыхъ внутренностей набрасывали серьезный колоритъ думы и созерцанія на слинкомъ горячительный характеръ кабинета.

Мы съ завистью посматривали на его опытность и знаніе людей; его тонкая ироническая манера возражать имѣла на насъ большое вліяніе. Мы на него смотрѣли какъ на *дѣлового* революціонера, какъ на государственнаго человека *in spe*.

Я не засталъ В. дома. Онъ съ вечера уѣхалъ въ городъ для свиданья съ княземъ; его камердинеръ сказалъ, что онъ непременно будетъ часа черезъ полтора домой. Я остался ждать.

Дача, занимаемая В., была превосходна. Кабинетъ, въ которомъ я дожидался, былъ обширенъ, высокъ и au rez-de-chaussée; огромная дверь вела на террасу и въ садъ. День былъ жаркій, изъ сада пахло деревьями и цвѣтами, дѣти играли передъ домомъ, звонко смѣясь. Богатство, довольство, просторъ, солнце и тѣнь, цвѣты и зелень... А въ тюрмѣ-то узко, душно, темно. Не знаю, долго ли я сидѣлъ, погруженный въ горькія мысли, какъ вдругъ камердинеръ съ какимъ-то страннымъ одушевленіемъ позвалъ меня съ террасы.

— Что такое? спросилъ я.

— Да пожалуйста сюда, взгляните».

Я вышелъ, не желая его обидѣть, на террасу—и обомлѣлъ. Цѣлый полукругъ домовъ пылалъ, точно будто всѣ они загорѣлись въ одно время. Пожаръ разрастался съ невѣроятной скоростью.

Я остался на террасѣ. Камердинеръ смотрѣлъ съ какимъ-то нервнымъ удовольствіемъ на пожаръ, приговаривая: «сладко забираетъ, вотъ и этотъ домъ направо загорится, непременно загорится».

Пожаръ имѣеть въ себѣ что-то революціонное: онъ смѣется надъ собственностью, нивелируетъ состоянія. Камердинеръ инстинктомъ понялъ это.

Черезъ полчаса времени, четверть небосклона покрылась дымомъ, краснымъ внизу и сѣрочернымъ сверху. Въ этотъ день выгорѣло Лефортово. Это было начало тѣхъ зажигательствъ, которыя продолжались мѣсяцевъ пять; объ нихъ мы еще будемъ говорить.

Наконецъ, пріѣхалъ и В. Онъ былъ въ ударѣ, милъ, привѣтливъ, разсказалъ мнѣ о пожарѣ, мимо котораго ѣхалъ, объ общемъ говорѣ, что это поджоги, и полушутя прибавилъ:

— «Пугачевщина-съ, вотъ посмотрите, и мы съ вами не уйдемъ, посадятъ насъ на колъ...»

— Прежде нежели посадятъ насъ на колъ, отвѣчалъ я, боюсь, чтобъ не посадили на цѣпь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиція взяла Огарева?

— «Полиція,—что вы говорите?»

— Я за этимъ къ вамъ пріѣхалъ. Надобно что-нибудь сдѣлать, съѣздите къ князю, узнайте, въ чемъ дѣло, попросите мнѣ дозволеніе его увидѣть.

Не получая отвѣта, я взглянулъ на В., но вмѣсто его, казалось, былъ его старшій братъ, съ посоловѣлымъ лицомъ, съ опустившимися чертами,—онъ ахалъ и безпокоился.

— Что съ вами?

— «Вѣдь, вотъ я вамъ говорилъ, всегда говорилъ, до чего это доведеть... Да, да, этого надобно было ждать, прошу покорно,—ни тѣломъ, ни душой не виновать, а и меня, пожалуй, посадятъ; эдакъ шутить нельзя, я знаю, что такое казематы».

— Поѣдете вы къ князю?

— «Помилюйте, зачѣмъ же это? Я вамъ совѣтую дружески, и не говорите объ Огаревѣ, живите какъ можно тише, а то худо будетъ. Вы не знаете, какъ эти дѣла опасны; мой искренній совѣтъ, держите себя въ сторонѣ; тормозитесь, какъ хотите, Огареву не поможете, а сами попадетесь. Вотъ оно самовластье,—какія права, какая защита, есть, что ли, адвокаты, судьи?»

На этотъ разъ я не былъ расположенъ слушать его смѣлыя мнѣнія и рѣзкія сужденія. Я взялъ шляпу и уѣхалъ.

Дома я засталъ все въ волненіи. Уже отецъ мой былъ сердитъ на меня за взятіе Огарева, уже Сенаторъ былъ налицо, рылся въ моихъ книгахъ, отбиралъ, по его мнѣнію, опасныя и былъ недоволенъ.

На столѣ я нашелъ записку отъ М. О. Орлова, онъ звалъ меня обѣдать. Не можетъ ли онъ чего-нибудь сдѣлать? Опытъ хотя меня и проучилъ, но все же—попытка не пытка и спросъ не бѣда.

Михаилъ Федоровичъ Орловъ былъ одинъ изъ основателей знаменитаго Союза Благоденствія, и если онъ не попалъ въ Сибирь, то это не его вина, а его брата, который первый прискакалъ съ своей конной гвардіей на защиту Зимняго дворца, 14 декабря. Орловъ былъ посланъ въ свои деревни, черезъ нѣсколько лѣтъ ему позволено было поселиться въ Москвѣ. Въ продолженіе уединенной жизни своей въ деревнѣ, онъ занимался политической экономіей и химіей. Первый разъ, когда я его встрѣтилъ, онъ толковалъ о новой химической номенклатурѣ. У всѣхъ энергическихъ людей, поздно начинающихъ заниматься какой-нибудь наукой, является попользованіе переставлять мебель и распоряжаться по своему. Номенклатура его была сложнѣе общепринятой французской. Мнѣ хотѣлось обратить его вниманіе, и я въ родѣ *captatio benevolentiae* сталъ доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше.

Орловъ поспорилъ, потомъ согласился.

Мое кокетство удалось, мы съ тѣхъ поръ были съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ. Онъ видѣлъ во мнѣ восходящую возможность, я видѣлъ въ немъ ветерана нашихъ мѣсій, друга нашихъ героевъ, благородное явленіе въ нашей жизни.

Бѣдный Орловъ былъ похожъ на льва въ клеткѣ. Вездѣ стукался онъ въ рѣшетку, нигдѣ не было ему ни простора, ни дѣла, а жажда дѣятельности его снѣдала.

Послѣ паденія Франціи, я не разъ встрѣчалъ людей этого рода, людей, разлагаемыхъ потребностью политической дѣятельности и не имѣющихъ возможности найтись въ четырехъ стѣнахъ кабинета или въ семейной жизни. Они не умѣютъ быть одни; въ одиночествѣ на нихъ нападаетъ хандра, они становятся капризны, ссорятся съ послѣдними друзьями, видятъ вездѣ интриги противъ себя и сами интригуютъ, чтобъ раскрыть всѣ эти несуществующія козни.

Имъ надобна, какъ воздухъ, сцена и зрители; на сценѣ они дѣйствительно герои и вынесутъ невыносимое. Имъ необходимъ шумъ, громъ, трескъ, имъ надобно произносить рѣчи, слышать возраженія враговъ, имъ необходимо раздраженіе борьбы, лихорадка опасности,—безъ этихъ конфертативовъ они тоскуютъ, вянутъ, опускаются, тяжелѣютъ, рвутся вонъ, дѣлаютъ ошибки. Таковъ Ледрю-Ролленъ, который кетати и лицомъ напоминаетъ Орлова, особенно съ тѣхъ поръ, какъ отросилъ усы.

Онъ былъ очень хорошъ собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивыя мужественныя черты, совершенно обнаженный черепъ, и всё это вмѣстѣ стройно соединенное, сообщали его наружности неотразимую привлекательность. Его бюстъ *rep-dant* бюсту А. П. Ермолова, которому его насупленный, четве-

роугольный лобъ, шалашъ сѣдыхъ волосъ и взглядъ, пронизывающій даль, придавали ту красоту вождя, состарѣвшагося въ битвахъ, въ которую влюбилась Марія Кочубей въ Мазепѣ.

Отъ скуки Орловъ не зналъ, что начать. Пробовалъ онъ и хрустальную фабрику заводить, на которой дѣлались средне-вѣковыя стекла съ картинами, обходившіяся ему дороже, чѣмъ онъ ихъ продавалъ, и книгу онъ принимался писать «о кредитѣ», — нѣтъ, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Левъ былъ осужденъ праздно бродить между Арбатомъ и Басманной, не смѣя даже давать волю своему языку.

Смертельно жалъ было видѣть Орлова, усилившагося сдѣлаться ученымъ, теоретикомъ. Онъ имѣлъ умъ ясный и блестящій, но вовсе не спекулятивный, а тутъ онъ путался въ разныхъ новоизобрѣтенныхъ системахъ на давно знакомые предметы, въ родѣ химической номенклатуры. Всѣ отвлеченное ему рѣшительно не удавалось, но онъ съ величайшимъ ожесточеніемъ возился съ метафизикой.

Неосторожный, невоздержный на языкъ, онъ безирестанно дѣлалъ ошибки; увлекаемый первымъ впечатлѣніемъ, которое у него было рыцарски благородно, онъ вдругъ вспоминалъ свое положеніе и сворачивалъ съ полъ-дороги. Эти дипломатическіе контръ-марши ему удавались еще меньше метафизики и номенклатуры; и онъ, заступивъ за одну постромку, заступалъ за двѣ, за три, стараясь выправиться. Его бранили за это; люди такъ поверхностны и невнимательны, что они больше смотрятъ на слова, чѣмъ на дѣйствія, и отдѣльнымъ ошибкамъ даютъ больше вѣса, чѣмъ совокупности всего характера. Что тутъ винить съ натянутой регуловской точки зрѣнія человѣка, — надобно винить грустную среду, въ которой всякое благородное чувство передается какъ контрабанда, подъ полой, да затворивши двери; а сказать слово громко, — такъ день цѣлый и думаешь, скоро ли придетъ полиція...

Обѣдъ былъ большой. Мнѣ пришлось сидѣть возлѣ генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевскій былъ тоже въ опалѣ съ 14 декабря; сынъ знаменитаго Н. Н. Раевского, онъ мальчикомъ четырнадцати лѣтъ находился съ своимъ братомъ подъ Бородинымъ возлѣ отца; впоследствии онъ умеръ отъ ранъ на Кавказѣ. Я разсказалъ ему объ Огаревѣ и спросилъ, можетъ ли и заохотеть ли Орловъ что-нибудь сдѣлать?

Лицо Раевского подернулось облакомъ, но это было не выраженіе плаксиваго самосохраненія, которое я видѣлъ утромъ, а какая-то смѣсь горькихъ воспоминаній и отвращенія.

— Тутъ нѣтъ мѣста хотѣть или не хотѣть, отвѣчалъ онъ, только я сомнѣваюсь, чтобъ Орловъ могъ много сдѣлать; послѣ

обѣда пройдите въ кабинетъ, я его приведу къ вамъ. Такъ вотъ, прибавилъ онъ, помолчавъ, и вашъ чередъ пришелъ, этотъ омутъ всѣхъ утѣнетъ.

Разспросивши меня, Орловъ написалъ письмо къ князю Голицыну, прося его свиданія. «Князь, сказалъ онъ мнѣ, порядочный человѣкъ: если онъ ничего не сдѣлаетъ, то скажетъ, по крайней мѣрѣ, правду».

Я на другой день поѣхалъ за отвѣтомъ. Князь Голицынъ сказалъ, что Огаревъ арестованъ по высочайшему повелѣнію, что назначена слѣдственная комиссія, и что матеріальнымъ поводомъ былъ какой-то пиръ 24 іюня, на которомъ пѣли возмутительныя пѣсни. Я ничего не могъ понять. Въ этотъ день были именины моего отца; я весь день былъ дома и Огаревъ былъ у насъ.

Съ тяжелымъ сердцемъ оставилъ я Орлова; и ему было не холодно; когда я ему подаль руку, онъ всталъ, обнялъ меня, крѣпко прижалъ къ широкой своей груди и поцѣловалъ.

Точно будто онъ чувствовалъ, что мы расстаемся надолго.

И его видѣлъ съ тѣхъ поръ одинъ разъ, ровно черезъ шесть лѣтъ. Онъ угасалъ. Болѣзненное выраженіе, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; онъ былъ печаленъ, чувствовалъ свое разрушеніе, зналъ разстройство дѣлъ — и не видѣлъ выхода. Мѣсяца черезъ два онъ умеръ; кровь свернулась въ его жилахъ.

...Въ Люцернѣ есть удивительный памятникъ; онъ сдѣланъ Торвальдсеномъ въ дикой скалѣ. Въ впадинѣ лежитъ умирающій левъ; онъ раненъ на смерть, кровь струится изъ раны, въ которой торчитъ обломокъ стрѣлы; онъ положилъ молодецкую голову на лапу, онъ стонетъ, его взоръ выражаетъ нестерпимую боль; кругомъ пусто, внизу прудъ, все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожіе идутъ, не догадываясь, что тутъ умираетъ царственный звѣрь.

Разъ какъ-то, долго сидя на скамьѣ противъ каменнаго страдальца, я вдругъ вспомнилъ мое послѣднее посѣщеніе Орлова...

Бѣжавши отъ Орлова домой мимо оберъ-полицейстерскаго дома, мнѣ пришло въ голову попросить у него открыто дозволеніе повидаться съ Огаревымъ.

Я отроду никогда не бывалъ прежде ни у одного полицейскаго лица. Меня заставили долго ждать, наконецъ оберъ-полицейстеръ вышелъ.

Мой вопросъ его удивилъ.

— «Какой поводъ заставляетъ васъ просить дозволеніе?»

— Огаревъ мой родственникъ.

— «Родственникъ?» спросилъ онъ, прямо глядя мнѣ въ глаза.



Я не отвѣчалъ, но такъ же прямо смотрѣлъ въ глаза его превосходительства.

— «Я не могу вамъ дать позволенія, сказалъ онъ, вашъ родственникъ au secret. Очень жаль!»

...Неизвѣстность и бездѣйствіе убивали меня. Почти никого изъ друзей не было въ городѣ, узнать рѣшительно нельзя было ничего. Казалось, полиція забыла или обошла меня. Очень, очень было скучно. Но когда все небо заволокло сѣрыми тучами и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, свѣтлый лучъ сошелъ на меня.

Нѣсколько словъ глубокой симпатіи, сказанныя семнадцатилѣтней дѣвушкой, которую я считалъ ребенкомъ, воскресили меня.

Первый разъ въ моемъ разсказѣ является женскій образъ... и собственно одинъ женскій образъ является во всей моей жизни.

Мимолетныя, юныя, весеннія увлеченія, волновавшія душу, поблѣднѣли, исчезли передъ нимъ, какъ туманныя картины: новыхъ, другихъ не пришло.

Мы встрѣтились на кладбищѣ. Она стояла, опершись на надгробный памятникъ, и говорила объ Огаревѣ, и грусть моя улеглась.

— «До завтра», сказала она, и подала мнѣ руку, улыбаясь сквозь слезы.

— До завтра, отвѣтилъ я... и долго смотрѣлъ вѣдѣ за исчезающимъ образомъ ея.

Это было девятнадцатаго іюля 1834.

---

## ГЛАВА IX.

Арестъ.—Добросовѣстный.—Канцелярія пречистенскаго частнаго дома.—  
Патріархальный судъ.

...«До завтра», повторялъ я, засыпая..., на душѣ было необыкновенно легко и хорошо.

Часу во второмъ ночи меня разбудилъ камердинеръ моего отца; онъ былъ раздѣтъ и испуганъ.

— «Васъ требуетъ какой-то офицеръ».

— Какой офицеръ?

— «Я не знаю».

— Ну, такъ я знаю, сказалъ я ему, и набросилъ на себя халатъ. Въ дверяхъ залы стояла фигура, завернутая въ военную шинель; къ окну виднѣлся бѣлый султанъ, сзади были еще какія-то лица,—я разглядѣлъ казацкую шапку.

Это былъ полицмейстеръ Миллеръ.

Онъ сказалъ мнѣ, что по приказанію военнаго генераль-губернатора, которое было у него въ рукахъ, онъ долженъ осмотрѣть мои бумаги. Принесли свѣчи. Полицмейстеръ взялъ мои ключи; квартальный и его поручикъ стали рыться въ книгахъ, въ бѣльѣ. Полицмейстеръ занялся бумагами; ему все казалось подозрительнымъ, онъ все откладывалъ и вдругъ, обращаясь ко мнѣ, сказалъ:

— «Я васъ попрошу покаместъ одѣться; вы поѣдете со мной».

— Куда? спросилъ я.

— «Въ пречистенскую часть», отвѣтилъ полицмейстеръ успокоивающимъ голосомъ.

— А потомъ?

— «Дальше ничего нѣтъ въ приказаніи генераль-губернатора».

Я сталъ одѣваться.

Между тѣмъ, испуганные слуги разбудили мою мать; она бросилась изъ своей спальни ко мнѣ въ комнату, но въ дверяхъ между гостиной и залой была остановлена казакомъ. Она вскрикнула, я вздрогнулъ и побѣжалъ туда. Полицмейстеръ оставилъ бумаги и вышелъ со мной въ залу. Онъ извинился передъ моею матерью, пропустилъ ее, разругалъ казака, который былъ не виноватъ, и воротился къ бумагамъ.

Потомъ вошелъ мой отецъ. Онъ былъ блѣденъ, но старался выдержать свою безстрастную роль. Сцена становилась тяжела. Мать моя сидѣла въ углу и плакала. Старикъ говорилъ безразличныя вещи съ полицмейстеромъ, но голосъ его дрожалъ. Я боялся, что не выдержу этого *à la longue*, и не хотѣлъ доставить квартальнымъ удовольствіе видѣть меня плачущимъ.

Я дернулъ полицмейстера за рукавъ:—Поѣдемте!

— «Поѣдемте», сказалъ онъ съ радостью. Отецъ мой вышелъ изъ комнаты и черезъ минуту возвратился; онъ принесъ маленькой образъ, надѣлъ мнѣ на шею и сказалъ, что имъ благословилъ его отецъ, умирая. Я былъ тронутъ; этотъ *религіозный* подарокъ показалъ мнѣ мѣру страха и потрясенія въ душѣ старика. Я сталъ на колѣни, когда онъ надѣвалъ его; онъ поднялъ меня, обнялъ и благословилъ.

Образъ представлялъ на флифти отсѣченную голову Іоанна Предтечи на блюдѣ. Что это было—примѣръ, совѣтъ или пророчество?—не знаю, но смыслъ образа поразилъ меня.

Мать моя была почти безъ чувствъ.

Вся дворня провожала меня по лѣстницѣ со слезами, бросаясь цѣловать меня, мои руки,—я живо присутствовалъ при своемъ выносѣ; полицмейстеръ хмурился и торопился.

Когда мы вышли за ворота, онъ собралъ свою команду; съ

нимъ было четыре казака, двое квартальныхъ и двое полицейскихъ.

«Позвольте мнѣ идти домой», спросилъ у полицмейстера человекъ съ бородой, сидѣвшій передъ воротами.

— «Ступай», сказалъ Миллеръ.

— Это что за человекъ? спросилъ я, садясь на дрожки.

— «Добросовѣстный; вы знаете, что безъ добросовѣстнаго полиція не можетъ входить въ домъ».

— За тѣмъ-то вы и оставили его за воротами?

— «Пустая форма! даромъ помѣшали человекъ спать», замѣтилъ Миллеръ.

Мы поѣхали въ сопровожденіи двухъ казаковъ верхомъ.

Въ частномъ домѣ не было для меня особой комнаты. Полицейстеръ велѣлъ до утра посадить меня въ канцелярію. Онъ самъ привелъ меня туда; бросился на кресла и, устало зѣвая, бормоталъ: «Проклятая служба, на скачкѣ былъ съ трехъ часовъ, да вотъ съ вами провозился до утра,— небось ужъ четвертый часъ, а завтра въ девять съ рапортомъ ѣхать».

— «Прощайте», прибавилъ онъ черезъ минуту и вышелъ. Унтеръ заперъ меня на ключъ, замѣтивъ, что если что нужно, то могу постучать въ дверь.

Я отворилъ окно; день ужъ начался, утренній вѣтеръ подымался; я попросилъ у унтера воды и вынулъ цѣлую кружку. О снѣ не было и въ помысленіи. Впрочемъ, и лечь было некуда; кромѣ грязныхъ кожаныхъ стульевъ и одного кресла въ канцеляріи находился только большой столъ, заваленный бумагами, и въ углу маленькой столъ, еще болѣе заваленный бумагами. Скучный починикъ не могъ освѣщать комнату, а дѣлалъ колеблющееся пятно свѣта на потолокъ, блѣднѣвшее больше и больше отъ разсвѣта.

Я сѣлъ на мѣсто частнаго пристава и взялъ первую бумагу, лежавшую на столѣ,—билетъ на похороны двороваго человека князя Гагарина и медицинское свидѣтельство, что онъ умеръ по всѣмъ правиламъ науки. Я взялъ другую,—полицейскій уставъ. Я пробѣжалъ его и нашелъ въ немъ статью, въ которой сказано: «Всякій арестованный имѣетъ право черезъ три дня послѣ ареста узнать причину онаго или быть выпущенъ». Эту статью я себѣ замѣтилъ.

Черезъ часъ времени, я видѣлъ въ окно, какъ пріѣхалъ нашъ дворецкій и привезъ мнѣ подушку, одѣяло и шинель. Онъ спросилъ о чемъ-то унтера, вѣроятно, о позволеніи взойти ко мнѣ; это былъ сѣдой старикъ, у котораго я ребенкомъ перекрестилъ двухъ или трехъ дѣтей. Унтеръ грубо и отрывисто отказывалъ ему; одинъ изъ нашихъ кучеровъ стоялъ возлѣ. Я имъ закричалъ въ

окно. Унтеръ засуетился и велѣлъ имъ убираться. Старикъ кланялся мнѣ въ поясъ и плакалъ; кучеръ, стегнувши лошадь, снялъ шляпу и утеръ глаза,—дрожки застучали и слезы полились у меня градомъ. Душа переполнилась. Это были первыя и послѣднія слезы во все время заключенія.

Къ утру канцелярія начала наполняться; явился писарь, который продолжалъ быть нѣжнымъ съ вчерашняго дня; фигура чухоточная, рыжакъ, въ прыщахъ, съ живоотно развратнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Онъ былъ во фракѣ кирпичнаго цвѣта, прескверно сшитомъ, пачистомъ, лоснящемся. Велѣдъ за нимъ пришелъ другой, въ унтеръ-офицерской шинели, чрезвычайно развязный. Онъ тотчасъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ:

— «Въ театрѣ, что ли-съ, попались?»

— Меня арестовали дома.

— «И самъ Ѳедоръ Ивановичъ?»

— Кто это Ѳедоръ Ивановичъ?

— «Полковникъ Миллеръ-съ».

— Да, онъ.

— «Понимаемъ-съ»,—онъ моргнулъ рыжему, который не показавъ никакого участія. Кантонистъ не продолжалъ разговора; онъ увидѣлъ, что я взялъ ни за буянство, ни за нѣпнство, и потерялъ ко мнѣ весь интересъ, а, можетъ, и боялся вступитъ въ разговоръ съ опаснымъ арестантомъ.

Спустя немного явились разныя квартальные, заспанные и непробудившіеся, наконецъ просители и тяжущіеся.

Содержательница публичнаго дома жаловалась на полпивщика, что онъ въ своей лавкѣ обругалъ ее всенародно и притомъ такими словами, которыя она, будучи женщиной, не можетъ произнести при начальствѣ. Полпивщикъ клялся, что онъ такихъ словъ никогда не произносилъ. Содержательница клялась, что онъ ихъ неоднократно произносилъ и очень громко, причемъ она прибавляла, что онъ замахнулся на нее, и если-бъ она не наклонилась, то онъ раскрылъ бы ей все лицо. Сидѣлецъ говорилъ, что она, во-первыхъ, ему не платитъ долгу, во-вторыхъ, разобидѣла его въ собственной его лавкѣ, и, мало того, обѣщала исколотить его не на живого, а на смерть руками своихъ приверженцевъ.

Содержательница, высокая, неопрятная женщина, съ отеками глазами, кричала пронзительно громкимъ, визжащимъ голосомъ и была чрезвычайно многорѣчива. Сидѣлецъ больше бралъ мимикой и движеніями, чѣмъ словами.

Соломонъ-квартальный, вмѣсто суда, бранилъ ихъ обоихъ на чемъ свѣтъ стоитъ. «Съ жиру собаки бѣсятся, говорилъ онъ, сидѣли-бъ бестѣн покойно у себя, благо, мы молчимъ да мирволимъ. Видишь, важность какая! поругались—да и тотчасъ начальство

безпокоить. И что вы за фря такая? словно вамъ въ первый разъ; да васъ назвать нельзя, не выругавши, такимъ ремесломъ занимаетесь». Полливщикъ тряхнулъ головой и передернулъ плечами въ знакъ глубокаго удовольствія. Квартальный тотчасъ напалъ на него. — «А ты что изъ-за прилавка лаешься, собака? хочешь въ сибирку? Сквернословъ эдакой, да лапу еще подымать, а березовыхъ, горячихъ... хочешь?»

Для меня эта сцена имѣла всю прелесть новости, она у меня осталась въ памяти навсегда; это былъ первый, патріархальный русскій процессъ, который я видѣлъ.

Содержательница и квартальный кричали до тѣхъ поръ, пока взмошелъ частный приставъ. Онъ, не спрашивая, зачѣмъ эти люди тутъ и чего хотятъ, закричалъ еще больше дикимъ голосомъ: «Вонъ отсюда, вонъ, что здѣсь торговая баня или кабаки?» — Прогнавши «сволочь», онъ обратился къ квартальному: «Какъ вамъ это не стыдно допускать такой безпорядокъ? Сколько разъ вамъ говорилъ! Уваженіе къ мѣсту теряется—шваль всякая станетъ послѣ этого Содомъ дѣлать. Вы потакаете слишкомъ этимъ мошенникамъ. Это что за человѣкъ?»—спросилъ онъ обо мнѣ.

— Арестантъ, отвѣчалъ квартальный, котораго привезли Федоръ Ивановичъ; тутъ есть бумажка-съ.

Частный пробѣжалъ бумажку, посмотрѣлъ на меня, съ неудовольствіемъ встрѣтилъ прямой и неподвижный взглядъ, который я на немъ остановилъ, приготовляясь на первое его слово дать сдачи, и сказалъ: «Извините».

Дѣло содержательницы и полливщика снова явилось; она требовала присяги; пришелъ попъ; кажется, они оба присягнули, я конца не видалъ. Меня увезли къ оберъ-полицмейстеру, не знаю зачѣмъ; никто не говорилъ со мною ни слова, потомъ опять привезли въ частный домъ, гдѣ мнѣ была приготовлена комната подъ самой каланчей. Унтеръ-офицеръ замѣтилъ, что если я хочу поѣсть, то надобно послать купить что-нибудь, что казенный паекъ еще не назначенъ и что онъ еще дня два не будетъ назначенъ; сверхъ того, какъ онъ состоитъ изъ 3 или 4 копейкъ серебромъ, то *хорошіе* арестанты предоставляютъ его въ экономію.

Запачканный диванъ стоялъ у стѣны, время было за полдень, я чувствовалъ страшную усталъ, бросился на диванъ и уснулъ мертвымъ сномъ. Когда я проснулся, на душѣ все улеглось и успокоилось. Я былъ измученъ въ послѣднее время неизвѣстностью объ Огаревѣ; теперь чередъ дошелъ и до меня, опасность не виднѣлась издали, а обложила въ округъ, туча была надъ головой. Это первое гоненіе должно было намъ служить рукоположеніемъ.

---

## ГЛАВА X.

Подъ катанчей.—Иссабонскій квартальный.—Зажигатели.

Къ тюрьмѣ человекъ приучается скоро, если онъ имѣетъ сколько-нибудь внутренняго содержанія. Къ тишинѣ и совершенной волѣ въ клѣткѣ привыкаешь быстро,—никакой заботы, никакого разсѣянія.

Сначала не давали книгъ, частный приставъ увѣрялъ, что изъ дому книгъ не дозволяется брать. Я его просилъ купить. «Развѣ что-нибудь учебное, грамматику какую, что ли? пожалуй, можно, а не то, надобно спросить генерала». Предложеніе читать отъ скуки грамматику было неизмѣримо смѣшно, тѣмъ не менѣе я ухватился за него обѣими руками и попросилъ частнаго пристава купить итальянскую грамматику и лексиконъ. Со мной были двѣ красненькія ассигнаціи, я отдалъ одну ему; онъ тутъ же послалъ поручика за книгами и отдалъ ему мое письмо къ оберъ-полицейстеру, въ которомъ я, основываясь на вычитанной мною статьѣ, просилъ объявить мнѣ причину ареста или выпустить меня.

Частный приставъ, въ присутствіи котораго я писалъ письмо, уговаривалъ не посылать его. «Напрасно-съ, ей Богу напрасно-съ утруждаете генерала, скажутъ: беспокойные люди, — вамъ же вредъ, а пользы никакой не будетъ».

Вечеромъ явился квартальный и сказалъ, что оберъ-полицейстеръ велѣлъ мнѣ на словахъ объявить, что въ свое время я узнаю причину ареста. Далѣе онъ вытащилъ изъ кармана засаленную итальянскую грамматику и, улыбаясь, прибавилъ: «такъ хорошо случилось, что тутъ и словарь есть, лексикончика не нужно». Объ сдачѣ и разговора не было. Я хотѣлъ было снова писать къ оберъ-полицейстеру, но роль миниатюрнаго Гемпдена въ пречистенской части показалась мнѣ слишкомъ смѣшной.

Недѣли черезъ полторы послѣ моего взятія, часу въ десятомъ вечера, пришелъ маленькаго роста черненькой и рябенькой квартальный съ приказомъ одѣться и отправляться въ слѣдственную комиссію.

Пока я одѣвался, случилось слѣдующее смѣшно-досадное происшествіе. Обѣдъ мнѣ присылали изъ дома, слуга отдавалъ внизу дежурному унтеръ-офицеру, тотъ присылалъ съ солдатомъ ко мнѣ. Виноградное вино позволялось пропускать отъ полубутылки до цѣлой въ день. Н. Сазоновъ, пользуясь этимъ дозволеніемъ, прислалъ мнѣ бутылку превосходнаго Іоганисберга. Солдатъ и я, мы ухитрились двумя гвоздями откупорить бутылку; букетъ поразилъ издали. Этимъ виномъ я хотѣлъ наслаждаться дни три-четыре.



Надобно быть въ тюрьмѣ, чтобъ знать, сколько ребячества остается въ человѣкѣ и какъ могутъ тѣшить мелочи отъ бутылки вина до шалости надъ сторожемъ.

Рябенъкой квартальной отыскалъ мою бутылку и, обращаясь ко мнѣ, просилъ позволенія немного выпить. Досадно мнѣ было; однако я сказалъ, что очень радъ. Рюмки у меня не было. Извергъ этотъ взялъ стаканъ, налилъ его до невозможной полноты и вылилъ его себѣ внутрь, не переводя дыханія; этотъ образъ вливанія спиртовъ и винъ только существуетъ у русскихъ и у поляковъ; я во всей Европѣ не видалъ людей, которые бы пили *залпомъ* стаканъ или умѣли *хватить* рюмку. Чтобъ потерю этого стакана сдѣлать еще чувствительнѣе, рябенъкой квартальный, обтирая синимъ табачнымъ платкомъ губы, благодарилъ меня, приговаривая: «мадера хоть куда». Я съ ненавистью по-смотрѣлъ на него и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей осы, а природа не обогнала его человеческой.

Этотъ знатокъ винъ привезъ меня въ оберъ-полицмейстерскій домъ на Тверскомъ бульварѣ, ввелъ въ боковую залу и оставилъ одного. Полчаса спустя, изъ внутреннихъ комнатъ вышелъ толстый человѣкъ съ лѣнивымъ и добродушнымъ видомъ; онъ бросилъ портфель съ бумагами на стулъ и пошелъ куда-то жандарма, стоявшаго въ дверяхъ.

— Вы вѣрно, сказалъ онъ мнѣ, по дѣлу Огарева и другихъ молодыхъ людей, недавно взятыхъ?—Я подтвердилъ.

— Слышалъ я, продолжалъ онъ, мелькомъ. Странное дѣло, ничего не понимаю.

— «Я сижу двѣ недѣли въ тюрьмѣ по этому дѣлу, да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего».

— Это-то и прекрасно, сказалъ онъ, пристально посмотрѣвши на меня,—и не знайте ничего. Вы меня простите, а я вамъ дамъ совѣтъ: вы молоды, у васъ еще кровь горяча, хочется поговорить, это бѣда; не забудьте же, что вы ничего не знаете, это единственный путь спасенія.

Я смотрѣлъ на него съ удивленіемъ: лицо его не выражало ничего дурного; онъ догадался и, улыбувшись, сказалъ:

— Я самъ былъ студентъ московскаго университета дѣтъ двѣнадцать тому назадъ.

Взошелъ какой-то чиновникъ; толстякъ обратился къ нему, какъ начальникъ, и, кончивъ свои приказанія, вышелъ вонъ, ласково кивнувъ головой и приложивъ палецъ къ губамъ. Я никогда послѣ не встрѣчалъ этого господина и не знаю, кто онъ; но искренность его совѣта я испыталъ.

Потомъ взошелъ полицмейстеръ, другой, не Федоръ Ивановичъ, и позвалъ меня въ комиссію. Въ большой, довольно красивой залѣ сидѣли за столомъ человѣкъ пять, все въ военныхъ мундирахъ, за исключеніемъ одного чахлаго старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, растегнувши мундиры и развалиясь на креслахъ. Оберъ-полицмейстеръ председательствовалъ.

Когда я вошелъ, онъ обратился къ какой-то фигурѣ, смиренно сидѣвшей въ углу, и сказалъ:—«Батюшка, не угодно ли?» Тутъ только я разглядѣлъ, что въ углу сидѣлъ старый священникъ съ сѣдой бородой и красно-синимъ лицомъ. Священникъ дремалъ, хотѣлъ домой; думалъ о чемъ-то другомъ и зѣвалъ, прикрывая рукою ротъ. Протяжнымъ голосомъ и нѣсколько нараспѣвъ началъ онъ меня *увещевать*; толковалъ о грѣхѣ утаивать истину предъ лицами, назначенными царемъ, и о бесполезности такой неоткровенности, взывъ во вниманіе всеслышающее ухо Божіе; онъ не забылъ даже сослаться на вѣчные тексты, что нѣтъ власти еще не отъ Бога и кесарю кесарево. Въ заключеніе онъ сказалъ, чтобъ я приложился къ святому Евангелію и *честному* кресту въ удостовѣреніе обѣта, котораго я, впрочемъ, не давалъ, да онъ и не требовалъ, искренно и откровенно раскрыть всю истину.

Окончивши, онъ поспѣшно началъ завертывать Евангеліе и крестъ. Цинскій, едва приподнявшись, сказалъ ему, что онъ можетъ идти. Послѣ этого онъ обратился ко мнѣ и перевелъ духовную рѣчь на гражданскій языкъ. «Я прибавлю къ словамъ священника одно—запираться вамъ нельзя, если-бъ вы и хотѣли». Онъ указалъ на кучу бумагъ, писемъ, портретовъ, съ намѣреніемъ разбросанныхъ по столу. «Одно откровенное сознаніе можетъ смягчить вашу участь; быть на волѣ, или въ Бобруйскѣ, на Кавказѣ, это зависитъ отъ васъ».

Вопросы предлагались письменно; наивность нѣкоторыхъ была поразительна. «Не знаете ли вы о существованіи какого-либо тайнаго общества? Не принадлежите ли вы къ какому-нибудь обществу, литературному или *иному*? Кто его члены? гдѣ они собираются?»

На все это было чрезвычайно легко отвѣчать однимъ *нѣтъ*.

— «Вы, я вижу, ничего не знаете, сказалъ, пересчитывая отвѣты, Цинскій. Я васъ предупредилъ, вы усложните ваше положеніе». Тѣмъ и кончился первый допросъ.

... Восемь лѣтъ спустя, въ другой половинѣ дома, гдѣ была слѣдственная комиссія, жила женщина, нѣкогда прекрасная собой, съ дочерью красавицей, сестра новаго оберъ-полицмейстера.

Я бывалъ у нихъ и всякій разъ проходилъ той залой, гдѣ Цинскій съ компаніей судилъ и рядилъ насъ; въ ней впеѣлъ,

тогда и потомъ, портретъ Павла. Я останавливался всякій разъ предъ этимъ портретомъ, тогда арестантомъ, теперь гостемъ. Небольшая гостинная возлѣ, гдѣ все дышало женщиной и красотой, была какъ-то неумѣтна въ домѣ строгости и слѣдствій; мнѣ было не по себѣ тамъ и какъ-то жаль, что прекрасно развернувшійся цвѣтокъ попалъ на кирпичную, печальную стѣну съѣзжей. Наши рѣчи и рѣчи небольшого круга друзей, собиравшихся у нихъ, такъ проницески звучали, такъ удивляли ухо въ этихъ стѣнахъ, привыкнувшихъ слушать допросы, доносы и рапорты о повальныхъ обыскахъ, въ этихъ стѣнахъ, отдѣлявшихъ насъ отъ шопота квартальныхъ, отъ вздоховъ арестантовъ, отъ брячанья жандармскихъ шпоръ и сабли уральскаго казака...

Черезъ недѣлю или двѣ снова пришелъ рабенькой кварталный и снова привезъ меня къ Цинскому. Въ стѣнахъ сидѣли и лежали нѣсколько человѣкъ скованныхъ, окруженные солдатами съ ружьями; въ передней было тоже нѣсколько человѣкъ разныхъ сословій, безъ цѣпей, но строго охраняемыхъ. Квартальный сказалъ мнѣ, что это все зажигатели. Цинскій былъ на пожарѣ, слѣдовало ждать его возвращенія; мы пріѣхали часу въ десятомъ вечера; въ часъ ночи меня еще никто не спрашивалъ и я все еще преспокойно сидѣлъ въ передней съ зажигателями. Изъ нихъ требовали то одного, то другого; полицейскіе бѣгали взадъ и впередъ, цѣпи гремѣли, солдаты отъ скуки брякали ружьями и выкидывали артикулъ. Около часу пріѣхалъ Цинскій, въ сажѣ и копоти, и пробѣжалъ въ кабинетъ, не останавливаясь. Прошло съ полчаса, позвали моего квартального; онъ воротился блѣдный, растерянный и съ судорожнымъ подергиваніемъ въ лицѣ. Вслѣдъ за нимъ Цинскій высунулъ голову въ дверь и сказалъ: «А васъ monsieur Г., вся комиссія ждала цѣлый вечеръ, этотъ *болванъ* привезъ васъ сюда въ то время, какъ васъ требовали къ князю Голицыну. Мнѣ очень жаль, что вы здѣсь прождали такъ долго, но это не моя вина. Что прикажете дѣлать съ такими исполнителями? Я думаю, пятьдесятъ лѣтъ служить, и все чурбанъ. Ну, пошелъ теперь домой!» прибавилъ онъ, измѣнивъ голосъ на гораздо грубѣйшій и обращаясь къ квартальному.

Квартальный повторялъ цѣлую дорогу: «Господи, какая бѣда! Человѣкъ не думаетъ, не гадаетъ, что надъ нимъ сдѣлается; ну, ужъ онъ меня дождетъ теперь. Онъ бы еще ничего, если-бъ васъ тамъ не ждали, а то, вѣдь, ему срамъ. Господи, какое несчастіе!»

Я простилъ ему рейнвейнъ, особенно когда онъ мнѣ сообщилъ, что онъ менѣе былъ испуганъ, когда разъ тонулъ возлѣ Лиссабона, чѣмъ теперь. Последнее обстоятельство было такъ неожиданно для меня, что мною овладѣлъ безумный смѣхъ.—«Какъ же вы это попали въ Лиссабонъ? помилуйте, на что же это похоже?»

спросить я его. Старикъ былъ лѣтъ за двадцать пять морскимъ офицеромъ. Нельзя не согласиться съ министромъ, который увѣрялъ капитана Конейкина, что въ Россіи, нѣкоторымъ образомъ, никакая служба не остается безъ вознагражденія. Его судьба спасла въ Лиссабонѣ, для того чтобъ быть обруганнымъ Цинскимъ, какъ мальчишкѣ, послѣ сорокалѣтней службы.

Онъ же почти не былъ виноватъ.

Слѣдственная коммиссія, составленная генераль-губернаторомъ, не поправила въ государю; онъ назначилъ новую подъ предѣтельствомъ князя Сергѣя Михайловича Голицына. Въ этой коммиссіи членами были: московскій комендантъ Стааль, другой князь Голицынъ, жандармскій полковникъ Шубенскій и прежній аудиторъ Оранскій.

Въ оберъ-полицмейстерскомъ приказѣ не было сказано, что коммиссія переведена; весьма естественно, что лиссабонскій квартирный свезъ меня къ Цинскому.

Въ частномъ домѣ была тоже большая тревога: три пожара случились въ одинъ вечеръ, и потомъ изъ коммиссіи присылали два раза узнать, что со мной сдѣлалось, не бѣжалъ ли я. Чего Цинскій не добралъ, то добавилъ частный приставъ лиссабонцу, что и слѣдовало ожидать, потому что частный приставъ былъ тоже долею виноватъ, не справившись, куда именно требуютъ. Въ канцеляріи, въ углу кто-то лежалъ на стульяхъ и стоналъ; я посмотрѣлъ, — молодой человѣкъ красивой наружности и чисто одѣтый; онъ харкалъ кровью и охалъ, частный лекаръ совѣтовалъ пораньше утромъ отправить его въ больницу.

Когда унтеръ-офицеръ привезъ меня въ мою комнату, я выпыталъ отъ него исторію раненаго. Это былъ отставной гвардейскій офицеръ, онъ имѣлъ интригу съ какой-то горничной и былъ у нея, когда загорѣлся флигель. Это было время наибольшаго страха отъ зажигательства; дѣйствительно, не проходило дня, чтобъ я не слышалъ трехъ-четырехъ разъ сигнальнаго колокольчика; изъ окна я видѣлъ всякую ночь два-три зарева. Полиція и жители съ ожесточеніемъ пекали зажигателей. Офицеръ, чтобъ не компрометировать дѣвушку, какъ только началась тревога, перелѣзъ заборъ и спрятался въ сараѣ сосѣдняго дома, выжидая минуты, чтобъ выйти. Маленькая дѣвчонка, бывшая на дворѣ, увидѣла его и сказала первымъ прискакавшимъ полицейскимъ, что зажигатель спрятался въ сараѣ; они ринулись туда съ толпой народа и съ торжествомъ вытащили офицера. Они его такъ основательно избили, что онъ на другой день къ утру умеръ.

Начался разборъ захваченныхъ людей: половину отпустили, другихъ нашли подозрительными. Полицмейстеръ Брячанinovъ ѣздилъ всякое утро и допрашивалъ часа три или четыре.

Иногда допрашиваемых сѣкли или били; тогда ихъ вопль, крикъ, просьбы, визгъ, женскій стонъ, вмѣстѣ съ рѣзкимъ голосомъ полицмейстера и однообразнымъ чтеніемъ писмоводителя доходили до меня. Это было ужасно, невыносимо. Мнѣ по почамъ грезились эти звуки, и я просыпался въ изступленіи, думая, что страдалцы эти въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня лежатъ на соломѣ, въ цѣпяхъ, съ изодранной, съ избитой спиною, и навѣрное безъ всякой вины.

Чтобъ знать, что такое русская тюрьма, русскій судъ и полиція, для этого надобно быть мужикомъ, дворовымъ, мастеровымъ или мѣщаниномъ. Политическихъ арестантовъ, которые большею частию принадлежатъ къ дворянству, содержатъ строго, наказываютъ свирѣпо, но ихъ судьба не идетъ ни въ какое сравненіе съ судьбою бѣдныхъ бородачей. Съ этими полиція не церемонится. Къ кому мужикъ или мастеровой пойдетъ потомъ жаловаться, гдѣ найдетъ судъ?

Таковъ безпорядокъ, звѣрство, своеволие и развратъ русскаго суда и русской полиціи, что простой человѣкъ, попавшійся подъ судъ, боится не наказанія по суду, а судопроизводства. Онъ ждетъ съ нетерпѣніемъ, когда его пошлютъ въ Сибирь, его мученичество оканчивается съ началомъ наказанія. Теперь вспомнимъ, что три четверти людей, хватаемыхъ полиціею по подозрѣнію, судомъ освобождаются и что они прошли черезъ тѣ же петзанія, какъ и виновные.

Петръ III уничтожилъ застѣнокъ и тайную канцелярію.

Екатерина II уничтожила пытку.

Александръ I *еще разъ* ее уничтожилъ.

Отвѣты, сдѣланные «подъ страхомъ», не считаются по закону. Чиновникъ, пытающій подсудимаго, подвергается самъ суду и строгому наказанію.

И во всей Россіи—отъ Берингова пролива до Таурогена—людей пытаются; тамъ, гдѣ опасно пытать розгами, пытаются нестерпимымъ жаромъ, жаждой, соленой пищей; въ Москвѣ полиція ставила какого-то подсудимаго босого, градусовъ въ десять мороза, на чугунный полъ; онъ занемогъ и умеръ въ больницѣ, бывшей подъ начальствомъ князя Мещерскаго, рассказывавшаго съ негодованіемъ объ этомъ. Начальство знаетъ все это, и всѣ согласны съ Селифаномъ, «что отчего же мужика и не посѣчь, мужика иногда надобно посѣчь!»

Комиссія, назначенная для розыска зажигательствъ, судила, т. е. сѣкла, мѣсяцевъ шесть къ ряду, и ничего не высѣкла. Государь разсердился и велѣлъ дѣло окончить въ три дня. Дѣло и кончилось въ три дня; виновные были найдены и приговорены къ наказанію кнутомъ, клейменію и ссылкѣ въ каторжную ра-

боту. Изъ всѣхъ домовъ собрали дворниковъ смотрѣть страшное наказаніе «зажигателей». Это было уже зимой, и я содержался тогда въ крутицкихъ казармахъ. Жандармскій ротмистръ, бывший при наказаніи, добрый старикъ, сообщилъ мнѣ подробности, которыя я передаю. Первый, осужденный на кнутъ, громкимъ голосомъ сказалъ народу, что онъ клянется въ своей невинности, что онъ самъ не знаетъ, что отвѣчалъ подъ вліяніемъ боли, при этомъ онъ снялъ съ себя рубашку и, повернувшись спиной къ народу, прибавилъ: «посмотрите, православные!»

Стоявъ ужаса пробѣжалъ по толпѣ: его спина была сплошная лосатая рана, и по этой-то ранѣ его слѣдовало бить кнутомъ. Ропотъ и мрачный видъ собраннаго народа заставили полицію торопиться, палачи отпустили законное число ударовъ, другіе заклеямили, третью сковали ноги и дѣло казалось оконченнымъ. Однако сцена эта поразила жителей; во всѣхъ кругахъ Москвы говорили объ ней. Генералъ-губернаторъ донесъ объ этомъ государю. Государь велѣлъ назначить *новый* судъ и особенно разобратъ дѣло зажигателя, протестовавшаго передъ наказаніемъ.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, прочелъ я въ газетахъ, что государь, желая вознаградить двухъ невинно наказанныхъ кнутомъ, приказалъ имъ выдать по 200 руб. за ударъ и снабдить особымъ паспортомъ, свидѣтельствующимъ ихъ невинность, несмотря на клеймо. Это былъ зажигатель, говорившій къ народу, и одинъ изъ его товарищей.

Исторіи о зажигательствахъ въ Москвѣ въ 1834 г., отозвавшаяся лѣтъ черезъ десять въ разныхъ провинціяхъ, остается загадкой. Что поджоги были, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; вообще огонь, «красный шѣтухъ» — очень національное средство мести у насъ. Безпрестанно слышишь о поджогѣ барской усадьбы, овина, амбара. Но что за причина была пожаровъ именно въ 1834 г. въ Москвѣ, этого никто не знаетъ, всего меньше члены комиссіи.

Передъ 22 августа, днемъ коронаціи, какіе-то шалуны подкинули въ разныхъ мѣстахъ письма, въ которыхъ сообщали жителямъ, чтобы они не заботились объ иллюминаціи, что освѣщеніе будетъ.

Переполюшилось трусливое московское начальство. Съ утра частный домъ былъ наполненъ солдатами, эскадронъ улановъ стоялъ на дворѣ. Вечеромъ патрули верхомъ и пѣшіе безпрестанно объѣзжали улицы. Въ экзерциръ-гаузѣ была приготовлена артиллерія. Полицейскіе скакали взадъ и впередъ съ казаками и жандармами, самъ князь Голицынъ съ адъютантами проѣхалъ верхомъ по городу. Этотъ военный видъ скромной Москвы былъ странный и дѣйствовалъ на нервы. Я до поздней ночи лежалъ на окнѣ подъ своей каланчей и смотрѣлъ на дворъ... Спѣ-



шившіеся уланы сидѣли кучками около лошадей, другіе садились на коней; офицеры расхаживали, съ пренебреженіемъ глядя на полицейскихъ; плацъ-адъютанты пріѣзжали съ озабоченнымъ видомъ, съ желтымъ воротникомъ и, ничего не сдѣлавши, уѣзжали.

Пожаровъ не было.

Велѣдъ за тѣмъ явился самъ государь въ Москву. Онъ былъ недоволенъ слѣдствіемъ надъ нами, которое только началось, былъ недоволенъ, что насъ оставили въ рукахъ явной полиціи, былъ недоволенъ, что не нашли зажигателей, словомъ былъ недоволенъ всѣмъ и всѣми.

## ГЛАВА XI.

Крутицкія казармы.—Жандармскія повѣствованія.—Офицеры.

Дня черезъ три послѣ пріѣзда государя, поздно вечеромъ—все эти вещи дѣлаются въ темнотѣ, чтобъ не безпокоить нублику—пришелъ ко мнѣ полицейскій офицеръ съ приказомъ собрать вещи и отправиться съ нимъ.

— Куда? спросилъ я.

— «Вы увидите», отвѣчалъ умно и учтиво полицейскій. Послѣ этого, разумеется, я не продолжалъ разговора, собралъ вещи и пошелъ.

Ѣхали мы, Ѣхали часа полтора, наконецъ, проѣхали Симоновъ монастырь и остановились у тяжелыхъ каменныхъ воротъ, передъ которыми ходили два жандарма съ карабинами. Это былъ Крутицкій монастырь, превращенный въ жандармскія казармы.

Меня привели въ небольшую канцелярію. Писаря, адъютанты, офицеры, все было голубое. Дежурный офицеръ, въ каскѣ и полной формѣ, просилъ меня подождать и даже предложилъ закурить трубку, которую я держалъ въ рукахъ. Послѣ этого онъ принялся писать росписку въ полученіи арестанта; отдавъ ее квартальному, онъ ушелъ и воротился съ другимъ офицеромъ. «Комната ваша готова, сказалъ мнѣ послѣдній, пойдете». Жандармъ свѣтилъ намъ, мы сошли съ лѣстницы, прошли нѣсколько шаговъ дворомъ, вошли небольшою дверью въ длинный коридоръ, освѣщенный однимъ фонаремъ; по обѣимъ сторонамъ были небольшія двери, одну изъ нихъ отворилъ дежурный офицеръ; дверь вела въ крошечную кордегардію, за которой была небольшая комнатка, сырая, холодная и съ запахомъ подвала. Офицеръ съ аксельбантомъ, который привелъ меня, обратился ко мнѣ, на французскомъ языкѣ, говоря, что онъ *désolé d'être dans la nécessité* шарить въ моихъ карманахъ, но что военная служба, обязанность, повинно-

веніе... Послѣ этого краснорѣчиваго вступленія, онъ очень просто обернулся къ жандарму и указалъ на меня глазомъ. Жандармъ въ ту же минуту запустилъ невѣроятно большую и шершавую руку въ мой карманъ. Я замѣтилъ учтивому офицеру, что это вовсе нецѣлѣбно, что я самъ, пожалуй, выворочу все карманы, безъ такихъ насильственныхъ мѣръ. Къ тому же, что могло быть у меня послѣ полутора-мѣсячнаго заключенія?

— «Знаемъ мы, сказали, неподражаемо самодовольно улыбаясь, офицеръ съ аксельбантомъ, знаемъ мы порядки частныхъ домовъ». Дежурный офицеръ тоже колко улыбнулся, однако жандарму сказали, чтобъ онъ только смотрѣлъ; я вынулъ все, что было.

— «Высыпьте на столъ вашъ табакъ», сказалъ офицеръ *désolé*.

У меня въ кيسетѣ были перочинный ножикъ и карандашъ, завернутые въ бумажкѣ; я съ самаго начала думалъ объ нихъ и, говоря съ офицеромъ, игралъ съ кисетомъ до тѣхъ поръ, пока ножикъ мнѣ попалъ въ руку, я держалъ его сквозь матерію и смѣло высыпалъ табакъ на столъ; жандармъ снова его вешиналъ. Ножикъ и карандашъ были спасены: вотъ жандарму съ аксельбантомъ урокъ за его гордое пренебреженіе къ явной полиціи.

Это проишествіе расположило меня чрезвычайно хорошо, и я весело сталъ разсматривать мои новыя владѣнія.

Въ монашескихъ кельяхъ, построенныхъ за триста лѣтъ и ушедшихъ въ землю, устроили нѣсколько свѣтекхъ келій для политическихъ арестантовъ.

Въ моей комнатѣ стояла кровать безъ тюфяка, маленькой столикъ, на немъ кружка съ водой, возлѣ стулъ, въ большомъ мѣдномъ шандалѣ горѣла тонкая сальная свѣча. Сырость и холодъ проникали до костей; офицеръ велѣлъ затопить печь, потомъ все ушли. Солдатъ обѣщалъ принести сѣна; пока, подложивъ шинель подъ голову, я легъ на голую кровать и закурилъ трубку.

Черезъ минуту я замѣтилъ, что потолокъ былъ покрытъ прусскими тараканами. Они давно не видали свѣчи и бѣжали со всехъ сторонъ къ освѣщенному мѣсту, толкались, суетились, падали на столъ и бѣжали потомъ опрометью взадъ и впередъ по краю стола.

Я не любилъ таракановъ, какъ вообще всякихъ незваныхъ гостей; сосѣди мои показались мнѣ страшно гадки, но дѣлать было нечего, не начать же было жаловаться на таракановъ, и нервы покорились. Впрочемъ, дня черезъ три все пруссаки перебрались за загородку къ солдату, у котораго было теплѣе; иногда только забѣжигъ бывало одинъ, другой тараканъ, поводитъ усами и тотчасъ назадъ грѣться.

Сколько я ни просилъ жандарма, онъ печку все-таки закрылъ. Мнѣ становилось не по себѣ, въ головѣ кружилось, я хотѣлъ

ветать и постучать солдату; дѣйствительно всталъ, но этимъ и оканчивается все, что я помню...

... Когда я пришелъ въ себя, я лежалъ на полу, голову ложило страшно. Высокій, съдой жандармъ стоялъ, сложа руки, и смотрѣлъ на меня безсмысленно-внимательно, въ томъ родѣ, какъ въ извѣстныхъ бронзовыхъ статуэткахъ собака смотреть на черенуху.

— «Славно уторѣли, ваше благородіе, сказалъ онъ, видя, что я очнулся. Я вамъ хрѣнку принесъ съ солью и съ квасомъ, я ужъ вамъ давалъ нюхать, теперь выйдите». Я выпилъ, онъ поднялъ меня и положилъ на постель; мнѣ было очень дурно, окно было съ двойной рамой и безъ форточки; солдатъ ходилъ въ канцелярію просить разрѣшенія выйти на дворъ; дежурный офицеръ велѣлъ сказать, что ни полковника, ни адъютанта нѣтъ налицо, а что онъ на свою отвѣтственность взять не можетъ. Пришлось оставаться въ утарной комнатѣ.

Обижаея я и въ крутицкихъ казармахъ, сирягая итальянскіе глаголы и почитывая кой-какія книжонки. Сначала содержаніе было довольно строго; въ девять часовъ вечера при послѣднемъ звукѣ вѣстовой трубы солдатъ входилъ въ комнату, тушилъ свѣчу и запиралъ дверь на замокъ. Съ девяти вечера до восьми слѣдующаго дня приходилось сидѣть въ потемкахъ. Я никогда не спалъ много, въ тюрьмѣ безъ всякаго движенія мнѣ за глаза было достаточно четырехъ часовъ сна, каково же наказаніе не имѣть свѣчи? Къ тому же часовые съ двухъ сторонъ коридора кричали каждые четверть часа протяжно и громко: «Слу—у—у-шай!»

Черезъ нѣсколько недѣль, полковникъ Семеновъ (братъ знаменитой актрисы, впоследствии княгини Гагариной) позволилъ оставлять свѣчу, запретивъ, чтобъ чѣмъ-нибудь завѣшивали окно, которое было ниже двора, такъ что часовой могъ видѣть все, что дѣлается у арестанта, и не велѣлъ въ коридорѣ кричать «слушай».

Потомъ комендантъ разрѣшилъ намъ имѣть чернильницу и гулять по двору. Бумага давалась счетомъ на томъ условіи, чтобъ всѣ листы были цѣлы. Гулять было дозволено разъ въ сутки на дворъ, окруженномъ оградой и цѣпью часовыхъ, въ сопровожденіи солдата и дежурнаго офицера.

Жизнь шла однообразно, тихо; военная аккуратность придавала ей какую-то механическую правильность въ родѣ цезуры въ стихахъ. Утромъ я варилъ съ помощью жандарма въ печкѣ кофей; часовъ въ десять являлся дежурный офицеръ, внося съ собой нѣсколько кубическихъ футовъ мороза, гремя саблей, въ перчаткахъ съ огромными обшлагами, въ каскѣ и шинели; въ часъ жандармъ приносилъ грязную салфетку и чашку супа, ко-

торую онъ держалъ всегда за край, такъ что два большіе пальца были примѣтно чище остальныхъ. Кормили насъ сносно, но при этомъ не слѣдуетъ забывать, что за кормъ брали по два руб. асс. въ день, что въ продолженіе девяти-мѣсячнаго заключенія составило довольно значительную сумму для пеннущихъ. Отецъ одного арестанта просто сказалъ, что у него денегъ нѣтъ; ему хладнокровно отвѣтили, что у него изъ жалованья вычтутъ. Если-бъ онъ не получалъ жалованья, весьма вѣроятно, что его посадили бы въ тюрьму.

Въ дополненіе должно замѣтить, что въ казармы присылалось для нашего прокормленія полковнику Семенову 1 руб. 50 коп. изъ ординарскаго-гауза. Изъ этого было вышелъ шумъ; но пользовавшіеся этимъ плацъ-адъютанты задарили жандармскій дивизионъ ложами на первыя представленія и бенефисы, тѣмъ дѣло и кончилось.

Послѣ вечерней зари наступала совершенная тишина, вовсе не прерываемая шагами солдата, хрустѣвшими по снѣгу передъ самымъ окномъ, ни дальними окликами часовыхъ. Обыкновенно я читалъ до часу и потомъ тушилъ свѣчу. Сонъ переносилъ на волю, иной разъ въ просоньяхъ казалось: фу, какія тяжелыя грѣзы приснились—тюрьма, жандармы, и радуешься, что все это сонъ, а тутъ вдругъ прогремитъ сабли по коридору, или дежурный офицеръ отворить дверь, сопровождаемый солдатомъ съ фонаремъ, или часовой прокричитъ нечеловѣчески «кто идетъ», или труба подъ самымъ окномъ рѣзкой «зарей» раздеретъ утренній воздухъ...

Въ скучныя минуты, когда не хотѣлось читать, я толковалъ съ жандармами, караулившими меня, особенно съ старикомъ, лечившимъ меня отъ угара. Полковникъ въ знакъ милости отряжаетъ старыхъ солдатъ, избавляя ихъ отъ строя, на спокойную должность беречь запертаго челоуѣка; надъ ними назначается ефрейторъ—шпіонъ и плутъ. Пять-шесть жандармовъ дѣлали всю службу.

Старикъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ существо простое, доброе и преданное за всякую ласку, которыхъ, вѣроятно, ему немного доставалось въ жизни. Онъ дѣлалъ кампанію 1812 года, грудь его была покрыта медалями, срокъ свой онъ выслужилъ и остался по доброй волѣ, не зная, куда дѣться. «Я два раза, говорилъ онъ, писалъ на родину въ Могилевскую губернію, да отвѣта не было, видно изъ моихъ никого больше нѣтъ; такъ оно какъ-то и жутко на родину придти, побудешь, побудешь, да, какъ окаанный какой, и пойдешь, куда глаза глядятъ, Христа ради просить». Какое варварское и безжалостное устройство военной службы въ Россіи, съ ея чудовищнымъ срокомъ! Личность челоуѣка у насъ вездѣ принесена на жертву безъ малѣйшей пощады, безъ всякаго вознагражденія.

Старикъ Филимоновъ имѣлъ притязанія на знаніе нѣмецкаго языка, которому обучался на зимнихъ квартирахъ послѣ взятія Парижа. Онъ очень удачно перекладывалъ на русскіе нравы нѣмецкія слова: лошадь онъ называлъ *фертъ*, яйца—*еры*, рыбу—*нишъ*, овесъ—*оберъ*, блины—*панкухи*.

Въ его разсказахъ былъ характеръ наивности, наводившій на меня грусть и раздумье. Въ Молдавіи, во время турецкой кампаніи 1805 г., онъ былъ въ ротѣ капитана, добрейшаго въ мірѣ, который о каждомъ солдатѣ, какъ о сынѣ, некъ и въ дѣлѣ былъ всегда впередъ. «Его приворожила къ себѣ одна молдаванка: мы видимъ, нашъ ротный командиръ въ заботѣ, а онъ, знаете того, подмѣтилъ, что молдаванка къ другому офицеру похаживаетъ. Вотъ разъ позвалъ онъ меня и одного товарища—славнаго солдата, ему потомъ подъ Малымъ-Ярославцемъ обѣ ноги оторвало—и сталъ намъ говорить, какъ его молдаванка обидѣла, и что хотимъ ли мы помочь ему и дать ей науку. Отчего же, говоримъ мы ему, мы вашему высокоблагородію всегда рады стараться. Онъ поблагодарилъ, да и указалъ домъ, въ которомъ жилъ офицеръ, и говоритъ: вы ночью станьте на мосту, она безпремѣнно пойдетъ къ нему, вы ее безъ шума возьмете, да и въ рѣку. Можно, молъ, ваше высокоблагородіе, говоримъ мы ему, да и припасли съ товарищемъ мѣшочекъ; сидимъ-съ, только эдакъ къ полночи бѣжитъ молдаванка; мы, знаете, говоримъ ей: что молъ, сударыня, торопитесь, да и дали ей разъ по головѣ, она, голубушка, не пикнула, мы ее въ мѣшокъ да и въ рѣку. А капитанъ на другой день къ офицеру пришелъ и говоритъ: вы не гнѣвайтесь на молдаванку, мы ее немножко позадержали, она, т. е., теперь въ рѣкѣ, а съ вами дискать прогуляться можно, на саблѣ или на пистоляхъ, какъ угодно. Ну и рубились. Тотъ нашему капитану грудь сильно прохватилъ, почехъ сердечный, иначе мѣсяца черезъ три Богу душу и отдалъ».

— А молдаванка, спросилъ я, такъ и утонула?

— «Утонула-съ», отвѣчалъ солдатъ.

Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на дѣтскую безпечность, съ которой старый жандармъ мнѣ разсказывалъ эту исторію. И онъ, какъ будто догадавшись или подумавъ въ первый разъ о ней, добавилъ, успокоивая меня и примиряясь съ совѣстью:

— «Язычница-съ, все равно что некрещеная, такой народъ».

Жандармамъ даютъ всякій царскій день чарку водки. Вахмистръ позволялъ Филимонову отказываться разъ пять-шесть отъ своей порціи и получать разомъ всѣ пять-шесть; Филимоновъ мѣтилъ на деревянную бирку, сколько стакачиковъ пропущено, и въ самые большіе праздники отправлялся за ними. Водку эту онъ выливалъ въ миску, крошилъ въ нее хлѣбъ и

лѣть ложкой. Послѣ такой закуски, онъ закуривалъ большую трубку на крошечномъ чубучкѣ; табакъ у него былъ крѣпости невѣроятной, онъ его самъ крошилъ и вълѣдствіе этого остроумно называлъ «санкраше». Курия, онъ укладывался на небольшомъ окнѣ, стула въ солдатской комнатѣ не было, согнувшись въ три погибели, и пѣлъ пѣсно:

Вышли дѣвки на лужокъ,  
Гдѣ муравка и цвѣтокъ.

По мѣрѣ того, какъ онъ пьянѣлъ, онъ иначе произносилъ слово цвѣтокъ—твѣтокъ, квѣтокъ, хвѣтокъ; дойдя до хвѣтокъ, онъ засыпалъ. Каково здоровье человѣка, слишкомъ шестидесяти лѣтъ, два раза раненаго и который выносилъ такіе завтраки?

Прежде нежели я оставлю эти казарменно-фламандскія картины à la Вуверманъ-Кало и эти тюремныя сплетни, похожія на воспоминанія всѣхъ въ неволѣ заключенныхъ, скажу еще нѣсколько словъ объ офицерахъ.

Большая часть между ними были довольно добрые люди, вовсе не шпіоны, а люди случайно занесенные въ жандармскій дивизіонъ. Молодые дворяне, мало или ни чему не учившіеся, безъ состоянія, не зная, куда преклонить главы, они были жандармами, потому что не нашли другого дѣла. Должность свою они исполняли со всею военной точностью, но я не замѣчалъ тѣни усердія, исключая, впрочемъ, адъютанта, но зато онъ и былъ адъютантомъ.

Когда офицеры ознакомились со мной, они дѣлали всѣ маленькія льготы и облегченія, которыя отъ нихъ зависѣли; жаловаться на нихъ было бы грѣшно.

Одинъ молодой офицеръ разсказывалъ мнѣ, что въ 1831 году онъ былъ командированъ отыскать и захватить одного польскаго помѣщика, скрывавшагося въ сосѣдствѣ своего имѣнія. Его обвиняли въ сношеніяхъ съ эмиссарами. Офицеръ отправился, по собраннымъ свѣдѣніямъ онъ узналъ мѣсто, гдѣ укрывался помѣщикъ, явился туда съ командой, оцѣпилъ домъ и вошелъ въ него съ двумя жандармами. Домъ былъ пустой; походили они по комнатамъ, пошныряли, нигдѣ никого, а между прочимъ нѣкоторыя бездѣлцы явно показывали, что въ домѣ недавно были жильцы. Оставя жандармовъ внизу, молодой человѣкъ второй разъ пошелъ на чердакъ; осматривая внимательно, онъ увидѣлъ небольшую дверь, которая вела къ чулану или къ какой-нибудь коморкѣ; дверь была заперта изнутри, онъ толкнулъ ее ногой, она отворилась и высокая женщина, красивая собой, стояла передъ ней; она молча указывала ему на мужчину, державшаго въ своихъ рукахъ дѣвочку лѣтъ двѣнадцати, почти безъ памяти. Это былъ



онъ и его семья. Офицеръ смутился. Высокая женщина замѣтила это и спросила его: «И вы будете имѣть жестокость погубить ихъ»? Офицеръ извинялся, говоря обычныя пошлости о безпрекословномъ повиновеніи, о долгѣ, и наконецъ въ отчаяніи, видя, что его слова нисколько не дѣйствуютъ, кончилъ свою рѣчь вопросомъ: «Что же мнѣ дѣлать?» Женщина гордо посмотрѣла на него и сказала, указывая рукой на дверь: «Иди внизъ и сказать, что здѣсь никого нѣтъ». — «Ей Богу, не знаю, говорилъ офицеръ, какъ это случилось и что со мной было, но я сошелъ съ чердака и велѣлъ унтеру собрать команду. Черезъ два часа мы его усердно искали въ другомъ помѣстьи, пока онъ пробирался за границу. Ну, женщина! признаюсь!»

...Ничего въ мірѣ не можетъ быть ограниченнѣе и безчеловѣчнѣе, какъ оптовыя сужденія цѣлыхъ сословій по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха. Названія—страшная вещь. К. П. Рихтеръ говоритъ съ чрезвычайной вѣрностью: если дитя солжетъ, испугайте его дурнымъ дѣйствіемъ, скажите, что онъ солгалъ, но не говорите, что онъ *лгуна*. Вы разрушаете его нравственное довѣріе къ себѣ, опредѣляя его, какъ лгуна. «Это убійца», говорятъ намъ, и намъ тотчасъ кажется спрятанный книжаль, звѣрекое выраженіе, черные замыслы, точно будто убивать постоянное занятіе, ремесло человѣка, которому случилось разъ въ жизни кого-нибудь убить. Нельзя быть шпіономъ, торгашемъ чужого разврата—и честнымъ человѣкомъ, но можно быть жандармскимъ офицеромъ, не утративъ всего чело-вѣческаго достоинства, такъ, какъ сплошь да рядомъ можно найти женственность, нѣжное сердце и даже благородство въ несчастныхъ жертвахъ «общественной невоздержанности».

Я имѣю отвращеніе къ людямъ, которые не умѣютъ, не хотятъ или не даютъ себѣ труда идти далѣе названія, перешагнуть черезъ преступленіе, черезъ запутанное, ложное положеніе, цѣломудренно отворачиваясь или грубо отталкивая. Это дѣлаютъ обыкновенно отвлеченныя, сухія, себялюбивыя, противныя въ своей чистотѣ натуры, или натуры пошлыя, низшія, которымъ еще не удалось или не было нужды заявить себя офиціально; онѣ по сочувствію дома на грязномъ днѣ, на которое другіе упали.

---

## ГЛАВА XII.

Слѣдствіе.—Г. sen.—Г. jun.—Генераль Стааль.—Сентенція.—Соколовскій.

...Но при всемъ этомъ что же *дѣло*, что же слѣдствіе и процессъ?

Въ новой комиссіи дѣло такъ же не шло на ладъ, какъ въ старой. Полиція слѣдила за нами давно, но, потерпѣливая, не могла въ своемъ усердіи дожидаться дѣльнаго повода и сдѣлала вздоръ. Она подослала отставного офицера Скарятку, чтобъ насъ завлечь, обличить; онъ познакомился почти со всемъ нашимъ кругомъ, но мы очень скоро угадали, что онъ такое, и удалили его отъ себя. Другіе молодые люди, болѣею частью студенты, не были такъ осторожны, но эти *другіе* не имѣли съ нами никакой серьезной связи.

Одинъ студентъ, окончившій курсъ, давалъ своимъ пріятелямъ праздникъ 24 іюня 1834 года. Изъ насъ не только не было ни одного на пиру, но никто не *былъ приглашенъ*. Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и, между прочимъ, сѣли хоромъ извѣстную пѣсню Соколовскаго.

Вечеромъ Скарятка *вдругъ* вспомнилъ, что это день его именинъ, разсказалъ исторію, какъ онъ выгодно продалъ лошадь, и пригласилъ студентовъ къ себѣ, обѣщая дюжину шампанскаго. Все поѣхали. Шампанское явилось, и хозяинъ, покачиваясь, предложилъ еще разъ сѣсть пѣсню Соколовскаго. Среди пѣнія отворилась дверь и вошелъ Цинскій съ полиціей. Все это было грубо, глупо, неловко и притомъ неудачно.

Полиція хотѣла захватить насъ, она искала виѣшній поводъ зачунать въ дѣло человѣкъ пять-шесть, до которыхъ добралась, и захватила двадцать человѣкъ невинныхъ.

Но полицію трудно сконфузить. Черезъ двѣ недѣли арестовали насъ, какъ *соприкосновенныхъ* къ дѣлу праздника. У Соколовскаго нашли письма С., у С. письма Огарева, у Огарева мон,—тѣмъ не менѣе ничего не раскрывалось. Первое слѣдствіе не удалось. Для большого успѣха второй комиссіи, государь послалъ изъ Петербурга отборнѣйшаго изъ инквизиторовъ, А. Ѳ. Г.

Порода эта у насъ рѣдка. Къ ней принадлежалъ извѣстный начальникъ третьяго отдѣленія М., виленскій ректоръ П. да нѣсколько служилыхъ остзейцевъ и падшихъ поляковъ <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Къ вновь отличившимся талантамъ принадлежитъ извѣстный Л., подавший проектъ объ учрежденіи академіи шпионства (1858).

Но на бѣду инквизиціи, первымъ членомъ былъ назначенъ московскій комендантъ Стааль. Стааль—прямодушный воинъ, старый, храбрый генералъ, разобралъ дѣло и нашелъ, что оно состоитъ изъ двухъ обстоятельствъ, не имѣющихъ ничего общаго между собой: изъ дѣла о праздникѣ, за который слѣдуетъ полицейски наказать, и изъ ареста людей, захваченныхъ Богъ знаетъ почему, которыхъ вся видимая вина въ какихъ-то полу-высказанныхъ мнѣніяхъ, за которыя судить и трудно и смѣшно.

Мнѣніе Стааля не понравилось Г. младшему. Споръ ихъ принялъ колкій характеръ; старый воинъ вспыхнулъ отъ гнѣва, ударилъ своей саблей по полу и сказалъ: «Вмѣсто того, чтобы губить людей, вы бы лучше сдѣлали представленіе о закрытіи всѣхъ школъ и университетовъ, это предупредить другихъ несчастныхъ, а впрочемъ вы можете дѣлать, что хотите, но дѣлать безъ меня: нога моя не будетъ въ комиссіи». Съ этими словами старикъ поспѣшно оставилъ залу.

Въ тотъ-же день это было донесено государю.

Утромъ, когда комендантъ явился съ рапортомъ, государь спросилъ его, зачѣмъ онъ не хочетъ ѣздить въ комиссію? Стааль рассказалъ зачѣмъ.

— Что за вздоръ? возразилъ императоръ,—ссориться съ Г., какъ не стыдно! Я надѣюсь, что ты по прежнему будешь въ комиссіи.

— «Государь, отвѣтилъ Стааль, пощадите мои сѣдые волосы, я дожилъ до нихъ безъ малѣйшаго пятна. Мое усердіе извѣстно в. в., кровь моя, остатокъ дней принадлежать вамъ. Но тутъ дѣло идетъ о моей чести,—моя совѣсть возстаетъ противъ того, что дѣлается въ комиссіи».

Государь сморщился, Стааль откланялся и въ комиссіи не былъ ни разу съ тѣхъ поръ.

Послѣ него въ комиссіи остались одни враги подсудимыхъ подъ предѣлательствомъ простенькаго старичка, князя С. М. Г., который черезъ девять мѣсяцевъ такъ же мало зналъ дѣло, какъ девять мѣсяцевъ прежде его начала. Онъ хранилъ важно молчаніе, рѣдко вступалъ въ разговоръ и при окончаніи вопроса всякій разъ спрашивалъ: «Его можно отпустить?» — Можно, отвѣчалъ Г. junior, и senior важно говорилъ арестанту: «Ступайте!»

Первый вопросъ мой продолжался четыре часа.

Вопросы были двухъ родовъ. Одни имѣли цѣлью раскрыть образъ мыслей, «несвойственныхъ духу правительства, мнѣнія революціонныя и проникнутыя пагубнымъ ученіемъ Сень-Симона» — такъ выражался Г. junior и аудиторъ Оранскій.

Эти вопросы были легки, но не были вопросы. Въ захваченныхъ бумагахъ и письмахъ мнѣнія были высказаны довольно

просто; вопросы собственно могли относиться къ вещественному факту: писалъ ли человекъ, или нѣтъ такіа строки. Комиссія сочла нужнымъ прибавлять къ каждой выписанной фразѣ: «какъ вы объясняете слѣдующее мѣсто вашего письма?»

Разумѣется, объяснять было нечего, я писалъ уклончивыя и пустыя фразы въ отвѣтъ. Въ одномъ письмѣ аудиторъ открылъ фразу: «все конституціонныя хартіи ни къ чему не ведутъ, это контракты между господиномъ и рабами: задача не въ томъ, чтобъ рабамъ было лучше, но чтобъ не было рабовъ». Когда мнѣ пришлось объяснять эту фразу, я замѣтилъ, что я не вижу никакой обязанности защищать конституціонное правительство и что, если-бъ я его защищалъ, меня въ этомъ обвинили бы.

— «На конституціонную форму можно нападать съ двухъ сторонъ, замѣтилъ своимъ первымъ шипящимъ голосомъ Г. junior, вы не съ монархической точки нападаете, а то вы не говорили бы о *рабахъ*».

Въ этомъ отношеніи я дѣлю ошибку съ императрицей Екатериной II, которая не велѣла своимъ подданнымъ зваться *рабами*.

Г. junior, задыхаясь отъ злобы за этотъ проищескій отвѣтъ, сказалъ мнѣ:

— «Вы, вѣрно, думаете, что мы здѣсь собираемся для того, чтобъ вести схоластическіе споры, что вы въ университетѣ защищаете диссертацию?».

— Зачѣмъ-же вы требуете объясненій?

— «Вы дѣлаете видъ, будто не понимаете, чего отъ васъ хотятъ?»

— Не понимаю.

— «Какая у нихъ, у всехъ упорность», прибавилъ председатель Г. senior пожалъ плечами и взглянулъ на жандармскаго полковника Шубенкаго. Я улыбнулся. «Точно Огаревъ», довершилъ добрый председатель.

Сдѣлалась пауза. Комиссія собралась въ библіотекѣ князя С. М., я обернулся къ шкафамъ и сталъ смотрѣть книги. Между прочимъ, тутъ стояло многотомное изданіе записокъ герцога Сень-Симона.

— Вотъ, сказалъ я, обращаясь къ председателю, какая несправедливость? Я подъ слѣдствіемъ за сень-симонизмъ, а у васъ, князь, томовъ двадцать его сочиненій.

Такъ какъ добрякъ отродясь ничего не читалъ, то онъ и не нашелся, что отвѣчать. Но Г. junior взглянулъ на меня глазами эхидны и спросилъ: «Что вы не видите, что ли, что это записки герцога С. Симона, который былъ при Людовикѣ XIV?».

Председатель улыбнулся, сдѣлавъ мнѣ знакъ головой, выражавшій: что, братъ, обманурился? и сказалъ: «Ступайте».

Когда я былъ въ дверяхъ, председатель спросилъ: «Вѣдь это онъ писалъ о Петрѣ I, вотъ что вы мнѣ показывали?»

— Онъ, отвѣчалъ Шубенскій.

И пріостановился.

— «Il a des moyens», замѣтилъ председатель.

— Тѣмъ хуже. Ядъ въ ловкихъ рукахъ опаснѣе, прибавилъ инквизиторъ; превредный и совершенно несправимый молодой человѣкъ...

Приговоръ мой лежалъ въ этихъ словахъ.

А ргггггг къ Сенъ-Симону. Когда полицмейстеръ бралъ бумаги и книги у Огарева, онъ отложилъ томъ исторіи французской революціи Тьера, потому нашелъ другой... третій... восьмой. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ и сказалъ: «Господи! какое количество революціонныхъ книгъ... И вотъ еще», прибавилъ онъ, отдавая квартальному рѣчь Кювье *Sur les révolutions du globe terrestre*.

Другой порядокъ вопросовъ былъ запутаннѣе. Въ нихъ употреблялись разныя полицейскія уловки и слѣдственные шалости, чтобы сбить, запутать, натянуть противурѣчіе. Тутъ дѣлались намеки на показаніе другихъ и разныя нравственныя пытки. Рассказывать ихъ не стоитъ, довольно сказать, что между нами четырьмя при всѣхъ своихъ уловкахъ они не могли натянуть ни одной очной ставки.

Получивъ послѣдній вопросъ, я сидѣлъ одинъ въ небольшой комнатѣ, гдѣ мы писали. Вдругъ отворилась дверь и взмошелъ Г. jun. съ печальнымъ и озабоченнымъ видомъ.

— «Я, сказалъ онъ, пришелъ поговорить съ вами передъ окончаніемъ вашихъ показаній. Давнишняя связь моего покойнаго отца съ вашимъ заставляеть меня принимать въ васъ особенное участіе. Вы молоды и можете еще сдѣлать карьеру; для этого вамъ надобно выпутаться изъ дѣла..., а это зависить, по счастью, отъ васъ. Вашъ отецъ очень принялъ къ сердцу вашу арестъ и живетъ теперь надеждой, что васъ выпустятъ; мы съ княземъ С. М. сейчасъ говорили объ этомъ и искренно готовы многое сдѣлать; дайте намъ средства помочь».

Я видѣлъ, куда шла его рѣчь; кровь у меня бросилась въ голову, я съ досадой грызъ перо.

Онъ продолжалъ: «Вы идете прямо подъ бѣлый ремень или въ казематы; по дорогѣ вы убьете отца, онъ дня не переживетъ, увидѣвъ васъ въ сѣрой шинели».

Я хотѣлъ что-то сказать, но онъ перервалъ мои слова. «Я знаю, что вы хотите сказать. Потерпите немного. Что у васъ были замыслы противъ правительства, это очевидно. Для того, чтобы обратить на васъ монаршую милость, намъ надобны доказательства вашего раскаянія. Вы запираетесь во всемъ, уклоняе-

тесъ отъ отвѣтовъ и изъ ложнаго чувства чести бережете людей, о которыхъ мы знаемъ больше, чѣмъ вы, и которые не были такъ скромны, какъ вы <sup>1)</sup>; вы имъ не поможете, а они васъ станцятъ съ собою въ пропасть. Нанишите письмо въ комиссію, просто, откровенно, скажите, что вы чувствуете свою вину, что вы были увлечены по молодости лѣтъ, назовите несчастныхъ заблудшихъ людей, которые вовлекли васъ... Хотите ли вы этой легкой цѣной искупить вашу будущность? и жизнь вашего отца?»

— Я ничего не знаю и не прибавлю къ моимъ показаніямъ ни слова, отвѣтилъ я.

Г. всталъ и сказалъ сухимъ голосомъ: «А, такъ вы не хотите, не наша вина!» Этимъ заключились допросы.

Въ январѣ или февралѣ 1835 года я былъ въ послѣдній разъ въ комиссіи. Меня призвали перечитать мои отвѣты, добавить, если хочу, и подписать. Одинъ Шубенскій былъ налицо. Окончивъ чтеніе, я сказалъ ему:

— Хотѣлось бы мнѣ знать, въ чемъ можно обвинить человека по этимъ вопросамъ и по этимъ отвѣтамъ? Подъ какую статью Свода вы подведете меня?

— «Сводъ законовъ назначенъ для преступленій другого рода», замѣтилъ голубой полковникъ.

— Это дѣло иное. Перечитывая всѣ эти литературныя упражненія, я не могу повѣрить, что въ этомъ-то все дѣло, по которому я сижу въ тюрьмѣ седьмой мѣсяцъ.

— «Да вы въ самомъ дѣлѣ воображаете, возразилъ Шубенскій, что мы такъ и повѣрили вамъ, что у васъ не составлялось тайнаго общества?»

— Гдѣ же это общество? спросилъ я.

— «Ваше счастье, что слѣдовъ не нашли, что вы не успѣли ничего надѣлать. Мы во-время васъ остановили, то есть, просто сказать, мы спасли васъ».

Опять исторія слесарши Пошлепкиной и ея мужа въ «Ревизорѣ».

Когда я подписалъ, Шубенскій позвонилъ и велѣлъ позвать священника. Священникъ взошелъ и подписалъ подъ моей подписью, что всѣ показанія мною сдѣланы были добровольно и безъ всякаго насилія. Само собою разумѣется, что онъ не былъ при допросахъ, и что даже не спросилъ меня изъ приличія, какъ и что было (а, это опять мой добросовѣстный за воротами!).

По окончаніи слѣдствія тюремное заключеніе нѣсколько ослабили. Близкіе родные могли доставать въ ордонансъ-гаузѣ дозволеніе видѣться. Такъ прошли еще два мѣсяца.

<sup>1)</sup> Нужно ли говорить, что это была наглая ложь, пошлая полицейская уловка.



Въ половинѣ марта приговоръ нашъ былъ утвержденъ; никто не зналъ его содержанія; одни говорили, что насъ посылаютъ на Кавказъ, другіе—что насъ свезутъ въ Бобруйскъ, третьи надѣялись, что всѣхъ выпустятъ (таково было мнѣніе Стаали, посланное имъ особо государю; онъ предлагалъ вышнить намъ тюремное заключеніе въ наказаніе).

Наконецъ, насъ собрали всѣхъ двадцатаго марта къ князю Г. для слушанія приговора. Это былъ праздникамъ праздникъ. Тутъ мы увидѣлись въ первый разъ послѣ ареста.

Шумно, весело, обнимаясь и пожимая другъ другу руки, стояли мы, окруженные цѣною жандармскихъ и гарнизонныхъ офицеровъ. Свиданіе одушевило всѣхъ; разспросамъ, анекдотамъ не было конца.

Соколовскій былъ палицо, нѣсколько похудѣвшій и блѣдный, но во всемъ блескѣ своего юмора.

Соколовскій, авторъ «Мірозданія», «Хеверы» и другихъ довольно хорошихъ стихотвореній, имѣлъ отъ природы большой поэтической талантъ, но не довольно дико самобытный, чтобъ обойтись безъ развитія, и не довольно образованный, чтобъ развиться. Милой гуляка, поэтъ въ жизни, онъ вовсе не былъ политическимъ человѣкомъ. Онъ былъ очень забавенъ, любезенъ, веселый товарищъ въ веселыя минуты, *bon vivant*, любившій покутить, какъ мы всѣ... можетъ, немного больше <sup>1)</sup>).

Понавишись невзначай съ оргіей въ тюрьму, Соколовскій превосходно себя велъ, онъ выросъ въ острогѣ.

Соколовскаго схватили въ Петербургѣ и, не сказавши, куда его повезутъ, отправили въ Москву. Подобныя шутки полиція у насъ дѣлаетъ часто и совершенно бесполезно. Это ся поэзія. Нѣтъ на свѣтѣ такого прозаическаго, такого отвратительнаго занятія, которое бы не имѣло своей артистической потребности, ненужной роскоши, украшеній. Соколовскаго привезли прямо въ острогъ и посадили въ какой-то темный чуланъ. Почему его посадили въ острогъ, когда насъ содержали по казармамъ?

У него было съ собой двѣ, три рубашки и больше ничего. Въ Англіи всякаго колодника, приводимаго въ тюрьму, тотчасъ по приходѣ сажаютъ въ ванну, у насъ берутъ предварительныя мѣры противъ чистоты.

Если-бъ докторъ Гаазъ не прислалъ Соколовскому связку своего бѣлья, онъ заросъ бы въ грязи.

---

<sup>1)</sup> Въ „Тюрьмѣ и Ссылкѣ“ дальше идетъ: „Ему было за тридцать лѣтъ. Сочиненія его тогда были въ модѣ, ему платили хорошія деньги, но онъ всегда былъ безъ гроша. Въ первыя сутки онъ проживать все полученное“.

Докторъ Гаазъ былъ преоригинальный чудакъ. Память объ этомъ *юродивомъ* и *поврежденномъ* не должна заглухнуть въ лебедѣ официальныхъ некрологовъ, описывающихъ добродѣтели первыхъ двухъ классовъ, обнаруживающіеся не прежде гніенія тѣла.

Старый, худощавый, восковой старичекъ, въ черномъ фракѣ, коротенькихъ панталонахъ, въ черныхъ шелковыхъ чулкахъ и банимакахъ съ пряжками, казался только-что вышедшимъ изъ какой-нибудь драмы XVIII столѣтія. Въ этомъ *grand gala* похоронъ и свадебъ, и въ пріятномъ климатѣ 59° сѣв. шир., Гаазъ ѣздилъ каждую недѣлю въ этапъ на Воробьевы горы, когда отправляли ссыльныхъ. Въ качествѣ доктора тюремныхъ заведеній, онъ имѣлъ доступъ къ нимъ, онъ ѣздилъ ихъ осматривать и всегда привозилъ съ собой корзину всякой величины, съѣстныхъ принасовъ и разныхъ лакомствъ—грецкихъ орѣховъ, пряниковъ, апельсиновъ и яблокъ для женщинъ. Это возбуждало гнѣвъ и негодованіе *благотворительныхъ* дамъ, боящихся благотвореніемъ сдѣлать удовольствіе, боящихся больше благотворить, чѣмъ нужно, чтобъ спасти отъ голодной смерти и трескучихъ морозовъ.

Но Гаазъ былъ неговорчивъ и, кротно выслушивая упрёки за «глупое баловство преступницъ», потиралъ себѣ руки и говорилъ: «Извольте видѣть, милостивой государинь, кусокъ хлѣба, крошъ имъ всякой дастъ, а конфекту или анфельзину долго онѣ не увидятъ, этого имъ никто не дастъ, это я могу консеквировать изъ вашихъ словъ; потому я и дѣлаю имъ это удовольствіе, что оно долго не повторится».

Гаазъ жилъ въ больницѣ. Приходитъ къ нему передъ обѣдомъ какой-то больной посовѣтоваться. Гаазъ осмотрѣлъ его и пошелъ въ кабинетъ что-то прописать. Возвратившись, онъ не нашелъ ни больного, ни серебряныхъ приборовъ, лежавшихъ на столѣ. Гаазъ позвалъ сторожа и спросилъ, не входилъ ли кто, кромѣ больного? Сторожъ смекнулъ дѣло, бросился вонъ и черезъ минуту возвратился съ ложками и націентомъ, котораго онъ оставилъ съ помощью другого больничнаго солдата. Мошенникъ бросился въ ноги доктору и просилъ помилованія. Гаазъ сконфузился.

— Сходи за квартальнымъ, сказалъ онъ одному изъ сторожей.

— А ты позови сейчасъ писаря.

Сторожа, довольные открытіемъ, побѣдой и вообще участіемъ въ дѣлѣ, бросились вонъ, а Гаазъ, пользуясь ихъ отсутствіемъ, сказалъ вору: «Ты фальшивый человѣкъ, ты обманулъ меня и хотѣлъ обокрасть, Богъ тебя разсудитъ..., а теперь бѣги скорѣе въ заднія ворота, пока солдаты не воротились... Да постой, мо-

жесть, у тебя нѣтъ ни гроша, вотъ Полтинникъ; но старайся исправить свою душу: отъ Бога не уйдешь, какъ отъ будочника!»

Тутъ возстали на Гааза и домочадцы. Но несправимый докторъ толковалъ свое: «воровство—большой порокъ; но я знаю полицію, я знаю, какъ они пятаютъ,—будутъ допрашивать, будутъ сѣчь; подвергнуть ближняго розгамъ гораздо большій порокъ; да и почему знать, можетъ, мой поступокъ тронетъ его душу!»

Домочадцы качали головой и говорили: *er hat einen raptus*; благотворительныя дамы говорили: «*c'est un brave homme, mais ce n'est pas tout à fait en règle, là*», и онѣ указывали на лобъ. А Гаазъ потиралъ руки и дѣлалъ свое.

... Едва Соколовскій кончилъ свои анекдоты, какъ нѣсколько другихъ разомъ начали свои; точно всѣ мы возвратились послѣ долгаго путешествія,—распросамъ, шуткамъ, остротамъ не было конца.

Физически С... пострадалъ больше другихъ, онъ былъ худъ и лишился части волосъ. Узнавъ въ Тамбовской губерніи, въ деревнѣ у своей матери, что насъ схватили, онъ самъ поѣхалъ въ Москву, чтобъ пріѣздъ жандармовъ не испугалъ мать, простудился на дорогѣ и пріѣхалъ домой въ горячкѣ. Полиція его застала въ постели, вести въ часть было невозможно. Его арестовали дома, поставили у дверей спальни съ внутренней стороны полицейскаго солдата, и *братомъ милосердія* посадили у постели больного квартальнаго надзирателя; такъ что, приходя въ себя послѣ бреда, онъ встрѣчалъ *слушающій* взглядъ одного, или испитую рожу другого.

Въ началѣ зимы его перевезли въ Лефортовскій госпиталь; оказалось, что въ больницѣ не было ни одной пустой *секретной* арестантской комнаты; за такой бездѣлицей останавливаться не стоило: нашелся какой-то отгороженный уголъ *безъ печи*,—положили больного въ эту южную веранду и поставили къ нему часового. Какова была температура зимой въ каменномъ чуланѣ, можно понять изъ того, что часовою ночью до того изнемогъ отъ стужи, что пошелъ въ коридоръ погрѣться къ печи, прося С... не говорить объ этомъ дежурному.

Тропическое помѣщеніе показалось самымъ властямъ госпиталя, въ такой близости въ полюсу, невозможнымъ; С... перевели въ комнату, возлѣ которой оттирали замерзлыхъ.

Не успѣли мы пересказать и переслушать половину похожденій, какъ вдругъ адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры вытянулись, квартальные оправились; дверь отворилась торжественно—и маленький князь С. М. Г. взошелъ *en grande tenue*, лента черезъ плечо; Цинскій въ свитскомъ мундирѣ, да-

же аудиторъ Оранскій надѣлъ какой-то свѣтло-зеленый статеко военный мундиръ для такой радости. Комендантъ, разумеется, не прѣхалъ.

Двери растворились. Офицеры раздѣлили насъ на три отдѣла въ первомъ были: Соколовскій, живописецъ Уткинъ и офицеръ Ибаевъ; во второмъ были мы; въ третьемъ tutti frutti.

Приговоръ прочли особо первой категоріи; обвиненные въ оскорбленіи величества, они ссылались въ Шлиссельбургъ на *безсрочное время*.

Цинскій, чтобъ показать, что и онъ можетъ быть развязнымъ и любезнымъ человѣкомъ, сказалъ Соколовскому послѣ сентенціи: «А вы прежде въ Шлиссельбургѣ бывали?»—«Въ прошломъ году, отвѣчалъ ему тотчасъ Соколовскій, точно сердце чувствовало, я тамъ выпилъ бутылку мадеры».

Черезъ два года Уткинъ умеръ въ казематѣ. Соколоваго выпустили полумертваго на Кавказъ, онъ умеръ въ Пятигорскѣ. Ибаевъ умеръ по своему, онъ едѣлся мистикомъ.

Уткинъ, «вольный художникъ, содержащійся въ острогѣ», какъ онъ подписывался подъ допросами, былъ человѣкъ лѣтъ сорока; онъ никогда не участвовалъ ни въ какомъ политическомъ дѣлѣ, но, благородный и порывистый, онъ давалъ волю языку въ комиссіи, былъ рѣзокъ и грубъ съ членами. Его за это *уморили* въ сыромъ казематѣ, въ которомъ вода текла со стѣнъ.

Ибаевъ былъ виноватѣе другихъ только эпизодами. Не будь онъ офицеръ, его никогда бы такъ не наказали. Человѣкъ этотъ попалъ на *какую-то* пирунку, вѣроятно пилъ и пѣлъ, какъ все прочіе, но навѣрное не болѣе и не громче другихъ.

Пришелъ нашъ чередъ. Оранскій протеръ очки, откашлянулся и принялся возвѣщать высочайшую волю. Въ ней было *изображено*, что государь, разсмотрѣвъ докладъ комиссіи и взявъ въ особенное вниманіе молодыхъ лѣтъ преступниковъ, *повелѣлъ* подѣлить насъ не отдавать. Въмѣсто чего государь, въ безпредѣльномъ милосердіи своемъ, большую часть виновныхъ прощаетъ, оставляя ихъ на мѣстѣ жительства подѣ надзоромъ полиціи. Болѣе же виноватыхъ повелѣваетъ подвергнуть несправительнымъ мѣрамъ, состоящимъ въ отправленіи ихъ на безсрочное время въ дальнія губерніи на гражданскую службу и подѣ надзоръ мѣстнаго начальства.

Этихъ болѣе виновныхъ нашлось шестеро: Огаревъ, С..., Лахтинъ, Оболенскій, Сорокинъ и я. Я назначался въ Пермь. Въ числѣ осужденныхъ былъ Лахтинъ, который вовсе не былъ арестованъ. Когда его позвали въ комиссію слушать сентенцію, онъ думалъ, что это для страха, для того, чтобъ онъ казнился,

гиди, какъ другихъ наказываютъ. Разсказывали, что кто-то изъ близкихъ князя Г., сердясь на его жену, удружилъ ему этимъ сюрпризомъ. Слабый здоровьемъ, онъ года черезъ три умеръ въ ссылке.

Когда Оранскій окончилъ чтеніе, выступилъ полковникъ Шубенскій. Онъ отборными словами и ломоносовскимъ слогомъ объявилъ намъ, что мы обязаны предстательству того благороднаго вельможи, который председательствовалъ въ комиссіи, что государь былъ такъ милосердъ.

Шубенскій ждалъ, что при этомъ словѣ всѣ примутся благодарить князя; но вышло не такъ.

Нѣсколько изъ прощенныхъ кивнули головой, да и то украдкой глядя на насъ.

Тогда Шубенскій, обращаясь къ Огареву, сказалъ: «Вы ѣдете въ Пензу, неужели вы думаете, что это случайно? Въ Пензѣ лежить въ параличѣ вашъ отецъ; князь просилъ государя вамъ назначить этотъ городъ для того, чтобъ ваше присутствіе сколько-нибудь ему облегчило ударъ вашей ссылки. Неужели и вы не находите причины благодарить князя?»

Огаревъ поклонился. Вотъ изъ чего они бились.

Добренькому старику это понравилось, и онъ, не знаю почему, вслѣдъ затѣмъ позвалъ меня. Я вышелъ впередъ съ святѣйшимъ намѣреніемъ, что бы онъ и Шубенскій ни говорили, не благодарить; къ тому же меня посылали дальше всѣхъ и въ самый скверный городъ.

— «А вы ѣдете въ Пермь», сказалъ князь.

Я молчалъ. Князь сѣзаясь и, чтобъ что-нибудь сказать, прибавилъ:—«У меня тамъ есть имѣніе».

— Вамъ угодно что-нибудь поручить черезъ меня вашему старостѣ? спросилъ я, улыбаясь.

— «Я такимъ людямъ, какъ вы, ничего не поручаю—*карбонарія*мъ», добавилъ находчивый князь.

— Что же вы желаете отъ меня?

— «Ничего».

— Миѣ показалось, что вы меня позвали.

— «Вы можете идти», прервалъ Шубенскій.

— Позвольте, возразилъ я, благо я здѣсь, вамъ напомнить, что вы, полковникъ, миѣ говорили, когда я былъ въ послѣдній разъ въ комиссіи, что меня никто не обвиняетъ въ дѣлѣ праздника, а въ приговорѣ сказано, что я одинъ изъ виновныхъ по этому дѣлу. Тутъ какая-нибудь ошибка.

— «Вы хотите возражать на высочайшее рѣшеніе? замѣтилъ Шубенскій,—смотрите, какъ бы Пермь не перемѣнилась на что-нибудь худшее. Я ваши слова велю записать».

— Я объ этомъ хотѣлъ просить. Въ приговорѣ сказано: по докладу комисіи; я возражаю на вашъ докладъ, а не на высочайшую волю. Я шлюсь на князя, что мнѣ не было даже вопроса ни о праздникѣ, ни о какихъ нѣняхъ.

— «Какъ будто вы не знаете, сказали Шубенскій, начинавшій блѣднѣть отъ злобы, что ваша вина въ десятеро больше тѣхъ, которые были на праздникъ. Вотъ, онъ указалъ пальцемъ на одного изъ прощенныхъ, вотъ онъ подъ пьяную руку спѣлъ мерзость, да послѣ на колѣнкахъ со слезами просилъ прощенія. Ну, вы еще отъ всякаго раскаянія далеки».

— Позвольте, не о томъ рѣчь, продолжалъ я, велика-ли моя вина, или нѣтъ; но если я убійца, я не хочу, чтобъ меня считали воромъ. Я не хочу, чтобъ обо мнѣ, даже оправдывая меня, сказали, что я то-то надѣлалъ «подъ пьяную руку», какъ вы сейчасъ выразились.

— «Если-бъ у меня былъ сынъ, родной сынъ, съ такой законностью, я бы самъ попросилъ государя сослать его въ Сибирь».

Тутъ оберъ-полицмейстеръ вмѣшалъ въ разговоръ какой-то безсвязный вздоръ. Жаль, что не было меньшого Г., вотъ былъ бы случай поораторствовать.

Все это, разумѣется, окончилось ничѣмъ.

... Мы остановились еще разъ на четверть часа въ залѣ, вопреки ревностнымъ увѣщаніямъ жандармскихъ и полицейскихъ офицеровъ, крѣпко обнялись мы другъ съ другомъ и простились надолго. Кромѣ Оболенскаго, я никого не видѣлъ до возвращенія изъ Вятки.

Отъѣздъ былъ передъ нами.

Тюрьма продолжала еще прошлую жизнь; но съ отъѣздомъ въ глушь она обрывалась.

Юношеское существованіе въ нашемъ дружескомъ кружкѣ оканчивалось.

Ссылка продолжится навѣрное нѣсколько лѣтъ. Гдѣ и какъ встрѣтимся мы, и встрѣтимся ли?...

Жаль было прежней жизни, и такъ круто приходилось ее оставить... не простясь. Видѣть Огарева я не имѣлъ надежды. Двое изъ друзей добралось ко мнѣ въ послѣдніе дни, но этого мнѣ было мало.

Еще бы разъ увидѣть мою юную утѣшительницу, пожать ей руку, какъ я пожалъ ей на кладбищѣ... Въ ея лицѣ хотѣлъ я проститься съ былымъ и встрѣтиться съ будущимъ...

Мы увидѣлись на нѣсколько минутъ 9 апрѣля 1835 г., наканунѣ моего отправленія въ ссылку.



Долго святить я этотъ день въ моей памяти, это одно изъ счастливѣйшихъ мгновеній въ моей жизни.

... Зачѣмъ же воспоминаніе объ этомъ днѣ и обо всѣхъ свѣтлыхъ дняхъ моего былого напоминаетъ такъ много страшнаго?.. Могилу, вѣнокъ изъ темнокрасныхъ розъ, двухъ дѣтей, которыхъ я держалъ за руки, факелы, толпы изгнанниковъ, мѣсяцъ, теплое море подъ горой, рѣчь, которую я не понималъ и которая рѣзала мое сердце...

Все прошло!

### ГЛАВА XIII.

Ссылка.—Городничій.—Волга.—Иермь.

Утромъ 10 апрѣля жандармскій офицеръ привезъ меня въ домъ генералъ-губернатора. Тамъ въ секретномъ отдѣленіи капцеляріи позволено было родетвенникамъ проститься со мною.

Разумѣется, все это было неловко и щемило душу; шныряющіе шпионы, писаря; чтеніе инструкціи жандарму, который долженъ былъ меня вести, невозможность сказать что-нибудь безъ свидѣтелей, словомъ, оскорбительныя и печальныя обстановки нельзя было придумать.

Я вздохнулъ, когда коляска покатила, наконецъ, по Владиміркѣ.

Per me si va nella citta dolente,  
Per me si va nel eterno dolore—

На станціи гдѣ-то я написалъ эти два стиха, которые равно хорошо идутъ къ преддверію ада и къ сибирскому тракту.

Въ семи верстахъ отъ Москвы есть трактиръ, называемый «Перовымъ». Тамъ меня обѣщали ждать одинъ изъ близкихъ друзей. Я предложилъ жандарму выпить водки, онъ согласился: отъ городу было далеко. Мы взошли, но пріятеля тамъ не было. Я мѣшкать въ трактирѣ всѣми способами, жандармъ не хотѣлъ больше ждать, ямщикъ трогалъ коней; вдругъ несется тройка и прямо къ трактиру, я бросился къ дверц, — двое незнакомыхъ гуляющихъ купеческихъ сынковъ шумно слѣзали съ телеги. Я посмотрѣлъ въ даль, — ни одной движущейся точки, ни одного человѣка не было видно на дорогѣ къ Москвѣ... Горько было садиться и ѣхать. Я далъ двугривенный ямщику, и мы понеслись, какъ изъ лука стрѣла.

Мы ѣхали, не останавливаясь; жандарму вѣрно было дѣлать не менѣе двухъ-сотъ верстъ въ сутки. Это было бы сносно, но только не въ началѣ апрѣля. Дорога мѣстами была покрыта льдомъ, мѣстами водой и грязью; притомъ, подвигаясь къ Сибири, она становилась хуже и хуже съ каждой станціей.

Первый путевой анекдотъ былъ въ Покровѣ.

Мы потеряли нѣсколько часовъ за льдомъ, который шелъ по рѣкѣ, прерывая всѣ сношенія съ другимъ берегомъ. Жандармъ торопился; вдругъ станціонный смотритель въ Покровѣ объявляетъ, что лошадей нѣтъ. Жандармъ показываетъ, что въ подорожной сказано: давать изъ курьерскихъ, если нѣтъ почтовыхъ. Смотритель отвѣщается, что лошади взяты подъ товарища министра внутреннихъ дѣлъ. Какъ разумѣется, жандармъ сталъ спорить, шумѣть; смотритель побѣждалъ доставать обывательскихъ лошадей. Жандармъ отправился съ ними.

Надоѣло мнѣ дожидаться ихъ въ печистой комнатѣ станціоннаго смотрителя. Я вышелъ за ворота и сталъ ходить передъ домомъ. Это была первая прогулка безъ солдата послѣ девяти-мѣсячнаго заключенія.

Я ходилъ съ полчаса, какъ вдругъ повстрѣчался мнѣ чело-вѣкъ въ мундирномъ сюртукѣ безъ эполетъ и съ голубымъ ро-*u le merite* на шеѣ. Онъ съ чрезвычайной настойчивостью по-смотрѣлъ на меня, прошелъ, тотчасъ возвратился и съ дерзкимъ видомъ спросилъ меня:

— «Васъ везетъ жандармъ въ Пермь?»

— Меня, отвѣчалъ я, не останавливаясь.

— «Позвольте, позвольте, да какъ же онъ смѣетъ...»

— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

— «Я здѣшній городничій, отвѣтилъ незнакомецъ голосомъ, въ которомъ звучало глубокое сознаніе высоты такого общественнаго положенія.—Прощу покорно, я съ часу на часъ жду товарища министра,—а тутъ политическіе арестанты по улицамъ прогуливаются. Да что же это за осель жандармъ!»

— Не угодно ли вамъ адресоваться къ самому жандарму?

— «Не адресоваться, а я его арестую, я ему велю влѣпнуть сто палокъ, а васъ отправлю съ полицейскимъ».

Я кивнулъ ему головой, не дожидаясь окончанія рѣчи, и быстрыми шагами пошелъ въ станціонный домъ. Въ окно мнѣ было слышно, какъ онъ горячился съ жандармомъ, какъ грозилъ ему. Жандармъ извинялся, но, кажется, мало былъ испуганъ. Минуты черезъ три они взошли оба; я сидѣлъ, обернувшись къ окну, и не смотрѣлъ на нихъ.

Изъ вопросовъ городничаго жандарму я тотчасъ увидѣлъ, что онъ снѣдаемъ желаніемъ узнать, за какое дѣло, почему и какъ я

сосланъ. Я упрямно молчалъ. Городничій началъ безличную рѣчь между мною и жандармомъ:

— «Въ наше положеніе никто не хочетъ взойти. Что мнѣ весело, что ли, браниться съ солдатомъ или дѣлать непріятности человѣку, котораго я отродясь не видалъ? Отвѣтственность! Городничій—хозяинъ города. Что бы ни было, отвѣчай; казначейство обокрадутъ—виновать; церковь сгорѣла—виновать; пьяныхъ много на улицѣ—виновать; вина мало пьютъ—тоже виновать (послѣднее замѣчаніе ему очень понравилось, и онъ продолжалъ болѣе веселымъ тономъ); хорошо, вы меня встрѣтили, ну встрѣтили бы министра, да тоже бы эдакъ мимо, а тотъ спросилъ бы: «Какъ, политическій арестантъ гуляетъ?» — городничаго подѣ судъ...»

Мнѣ, наконецъ, надобно его краснорѣчіе, и я, обращаясь къ нему, сказалъ:

— «Дѣлайте все, что вамъ приказываетъ служба, но я васъ прошу избавить меня отъ поученій. Изъ вашихъ словъ я вижу, что вы ждали, чтобы я вамъ поклонился. Я не имѣю привычки кланяться незнакомымъ.

Городничій сконфузился.

У насъ все такъ, говаривалъ А. А.; кто первый дастъ острастку, начнетъ кричать, тотъ и одержитъ верхъ. Если, говоря съ начальникомъ, вы ему позволите поднять голосъ, вы пропали: услышавъ себя кричащимъ, онъ сдѣлается дикій звѣрь. Если же при первомъ грубомъ словѣ вы закричали, онъ непременно испугается и уступить, думая, что вы съ характеромъ и что такихъ людей ненадобно слишкомъ дразнить.

Городничій услалъ жандарма спросить, что лошади, и, обращаясь ко мнѣ, замѣтилъ въ родѣ извиненія:

— «Я это больше для солдата и сдѣлалъ; вы не знаете, что такое нашъ солдатъ—ни малѣйшаго поущенія не слѣдуетъ допускать; но повѣрьте, я умѣю различать людей,—позвольте васъ спросить, какой несчастный случай...»

— По окончаніи дѣла намъ запретили рассказывать.

— «Въ такомъ случаѣ.... конечно.... я не смѣю....» и взглядъ городничаго выразилъ муку любопытства. Онъ помолчалъ.

— «У меня былъ родственникъ дальній, онъ сидѣлъ съ годъ въ Петропавловской крѣпости; знаете тоже, сношенія..., позвольте у меня это на душѣ, вы, кажется, все еще сердитесь? Я человѣкъ военный, строгій, привыкъ; по семнадцатому году поступилъ въ полкъ, у меня нравъ горячій, но черезъ минуту все прошло. Я вашего жандарма оставлю въ покоѣ, чортъ съ нимъ совѣмъ...»

Жандармъ взошелъ съ докладомъ, что ранѣе часа лошадей нельзя пригнать съ выгона.

Городничій объявилъ ему, что онъ прощаетъ его по моему ходатайству; потомъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ:

— «И вы ужъ не откажите въ моей просьбѣ и, въ доказательство, что не сердитесь,—я живу черезъ два дома отсюда,—позвольте васъ просить позавтракать, чѣмъ Богъ послалъ».

Это было такъ смѣшно послѣ нашей встрѣчи, что я пошелъ къ городничему и ѣлъ его балыкъ и его икру, и пилъ его водку и мадеру.

Онъ до того разлюбезничался, что рассказалъ мнѣ все свои семейныя дѣла, даже семейственною болѣзнь жены. Послѣ завтрака онъ съ гордымъ удовольствіемъ взялъ съ вазы, стоявшей на столѣ, письмо и далъ мнѣ прочесть «стихотвореніе» его сына, удостоенное публичнаго чтенія на экзаменѣ въ кадетскомъ корпусѣ. Одолживъ меня такими знаками несомнѣннаго довѣрія, онъ ловко перешелъ къ вопросу, косвенно поставленному, о моемъ дѣлѣ. На этотъ разъ я долею удовлетворилъ городничаго.

Городничій этотъ напомнилъ мнѣ того секретаря уѣзднаго суда, о которомъ рассказывалъ нашъ Щ. «Девять неправиковъ перемѣнились, а секретарь остался безмѣнно и управлять непрежнемую уѣздомъ. Какъ это вы ладите со всеміи? спросилъ Щ. Ничего-съ, съ Божіей помощію обходимся кой-какъ. Иной, точно, сначала такой сердитый, бьетъ передними и задними ногами, кричить, ругается и въ отставку, говоритъ, выгодно, и въ губернію, говоритъ, отпущу,—ну, знаете, наше дѣло подчиненное, смолчишь и думаешь: дай срокъ, надорвется еще! такъ это—еще первая упряжка. И дѣйствительно, глядишь,—куда потомъ въ *уѣздъ городишъ*».

... Когда мы подъѣхали къ Казани, Волга была во всемъ блескѣ весенняго разлива; цѣлую станцію отъ Услона до Казани надобно было плыть на досчаникѣ, рѣка разливалась верстъ на пятнадцать или больше. День былъ ненастный. Перевозъ остановился, множество телѣгъ и всякихъ повозокъ ждали на берегу.

Жандармъ пошелъ къ смотрителю и требовать досчанника. Смотритель давалъ его нехотя, говорилъ, что, впрочемъ, лучше обождать, что неровенъ часъ. Жандармъ торопился, потому что былъ пьянъ, потому что хотѣлъ показать свою власть.

Уставили мою коляску на небольшомъ досчаникѣ и мы поплыли. Погода, казалось, утихла; татаринъ черезъ полчаса поднялъ парусъ, какъ вдругъ утихавшая буря снова усилилась. Насъ понесло съ такой силой, что, нагнавъ какое-то бревно, мы такъ въ него стукнулись, что дрянной паромъ проломился и вода разлилась по палубѣ. Положеніе было неспріятное; впрочемъ, татаринъ сумѣлъ направить досчаникъ на мель.

Кунеческая барка прошла въ виду, мы ей кричали, просили прислать лодку; бурлаки слышали и проплыли, не сдѣлавъ ничего.

Крестьянинъ подѣхалъ на небольшой коягѣ съ женой, спросилъ насъ, въ чемъ дѣло, и, замѣтивъ: «Ну, что же? Ну, заткнуть дыру, да благословясь и въ путь. Что тутъ кленуть? ты, вотъ, для того, что татаринъ, такъ ничего и не умѣешь сдѣлать», взошелъ на досчаникъ.

Татаринъ въ самомъ дѣлѣ былъ очень встревоженъ. Во-первыхъ, когда вода залила спящаго жандарма, тотъ вскочилъ и тотчасъ началъ бить татарина. Во-вторыхъ, досчаникъ былъ казенный, и татаринъ повторялъ: «Ну, вотъ потонетъ, что мнѣ будетъ! что мнѣ будетъ!» — Я его утѣшалъ, говоря, что и онъ тогда съ досчаникомъ потонетъ.

— «Хорошо, бачька, коли потону, а какъ нѣтъ?» отвѣчалъ онъ.

Мужикъ и работники заткнули дыру всякой всячиной; мужикъ постучалъ топоромъ, прибилъ какую-то досчечку; потомъ, по поясъ въ водѣ, помогъ другимъ стащить досчаникъ съ мели, и мы скоро выплыли въ русло Волги. Рѣка несла свирѣю. Вѣтеръ и дождь со снѣгомъ сѣкли лицо, холодъ проникалъ до костей, но вскорѣ сталъ вырѣзываться изъ-за тумана и потоковъ воды памятникъ Іоанна Грознаго. Казалось, опасность прошла, какъ вдругъ татаринъ жалобнымъ голосомъ закричалъ: «Тече, тече!» — и дѣйствительно вода съ силой вливалась въ заткнутую дыру. Мы были на самомъ стержнѣ рѣки, досчаникъ двигался тише и тише, можно было предвидѣть, когда онъ совсѣмъ погрузится. Татаринъ снялъ шапку и молился. Мой камердинеръ, растерянный, плакалъ и говорилъ: «Прощай, моя матушка, не увижусь я съ тобой больше». Жандармъ бранился и общался на берегу всѣхъ исколотить.

Сначала и мнѣ было жутко, къ тому же вѣтеръ съ дождемъ прибавлялъ какой-то безпорядокъ, смятеніе. Но мысль, что это нелѣпо, чтобъ я могъ погибнуть, *ничего не сдѣлавъ*, это юношеское *quid timeas? cesarem vehis!* взяло верхъ, и я спокойно ждалъ конца, увѣренный, что не погибну между Услономъ и Казанью. Жизнь въ послѣдствіи отучаетъ отъ гордой вѣры, наказываетъ за нее; оттого-то юность и отважна и полна героизма, а въ лѣтахъ человекъ остороженъ и рѣдко увлекается.

...Черезъ четверть часа мы были на берегу подлѣ стѣнъ казанскаго Кремля, передрогнувшіе и вымоченные. Я взошелъ въ первый кабакъ, выпилъ стаканъ пѣннаго вина, закусилъ печенымъ яйцомъ и отправился въ почтамтъ.

Въ деревняхъ и маленькихъ городкахъ у станціонныхъ смотрителей есть комната для проезжихъ. Въ большихъ городахъ всѣ останавливаются въ гостиницахъ, и у смотрителей нѣтъ ничего

для проѣзжающихъ. Меня привели въ почтовую канцелярію. Станціонный смотритель показалъ мнѣ свою комнату; въ ней были дѣти и женщины, больной старикъ не сходилъ съ постели, мнѣ рѣшительно не было угла переодѣться. Я написалъ письмо къ жандармскому генералу и просилъ его отвести комнату гдѣ-нибудь, для того, чтобъ обогрѣться и высушить платье.

Черезъ часъ времени жандармъ воротился и сказалъ, что графъ Апраксинъ велѣлъ отвести комнату. Подождаль я часа два, никто не приходилъ, и я опять отправилъ жандарма. Онъ пришелъ съ отвѣтомъ, что полковникъ Поль, которому генералъ приказалъ отвести мнѣ квартиру, въ дворянскомъ клубѣ играетъ въ карты и что квартиры до завтра отвести нельзя.

Это было варварство; и я написалъ второе письмо къ графу Апраксину, прося меня немедленно отправить, говоря, что я на слѣдующей станціи могу найти пріютъ. Графъ изволилъ почивать, и письмо осталось до утра. Нечего было дѣлать; я снялъ мокрое платье и легъ на столѣ почтовой конторы, завернувшись въ шинель «старшаго», вмѣсто подушки я взялъ толстую книгу и положилъ на нее немного бѣлья. Утромъ я послалъ принести себѣ завтракъ. Чиновники уже собирались. Экзекуторъ ставилъ мнѣ на видъ, что въ сущности завтракать въ присутственномъ мѣстѣ нехорошо, что ему лично это все равно, но что почтмейстеру это можетъ не понравиться.

И шутя говорилъ ему, что выгнать можно только того, кто имѣетъ право выйти, а кто не имѣетъ его, тому пошеволь пріходится ѣсть и пить тамъ, гдѣ онъ задержанъ...

На другой день графъ Апраксинъ разрѣшилъ мнѣ остаться до трехъ дней въ Казани и остановиться въ гостиницѣ.

Три дня эти я бродилъ съ жандармомъ по городу. Татарки съ покрытыми лицами, скуластые мужья ихъ, правовѣрные мечети рядомъ съ православными церквами, все это напоминаетъ Азію и Востокъ. Въ Владимірѣ, Нижнемъ—подозрѣвается близость къ Москвѣ; здѣсь даль отъ нея.

..... Въ Перми меня привезли прямо къ губернатору. У него былъ большой съѣздъ, въ этотъ день вѣнчали его дочь съ какимъ-то офицеромъ. Онъ требовалъ, чтобъ я взмошелъ, и я долженъ былъ представиться всему пермскому обществу въ замаранномъ дорожномъ архаукѣ, въ грязи и пыли. Губернаторъ, потолковавъ всякій вздоръ, запретилъ мнѣ знакомиться съ сосланными поляками и велѣлъ на-дняхъ придти къ нему, говоря, что онъ тогда сыщеть мнѣ занятіе въ канцеляріи.

Губернаторъ этотъ былъ изъ малороссіянъ, сосланныхъ не тѣшилъ и вообще былъ человѣкъ смрный. Онъ какъ-то втп-хомолку улучшалъ свое состояніе, какъ кротъ, гдѣ-то подъ зем-



лею, незамѣтно, онъ прибавлялъ зерно къ зерну и отложилъ-таки малую толику на черные дни.

Для какого-то непонятнаго контроля и порядка, онъ приказывалъ всеѣмъ сосланнымъ на житье въ Пермь являться къ себѣ въ десять часовъ утра по субботамъ. Онъ выходилъ съ трубкой и съ листомъ, повѣрялъ, все ли налицо, а если кого не было, посылалъ квартальнаго узнавать о причинѣ,—ничего почти ни съ кѣмъ не говорилъ и отпускалъ. Такимъ образомъ я въ его залѣ перезнакомился со всеѣми поляками, съ которыми онъ предупреждалъ, чтобъ я не былъ знакомъ.

На другой день послѣ моего пріѣзда уѣхалъ жандармъ, и я впервые послѣ ареста очутился на волѣ.

На волѣ... въ маленькомъ городѣ на сибирской границѣ, безъ малѣйшей опытности, не имѣя понятія о средѣ, въ которой мнѣ надобно было жить.

Изъ дѣтской я перешелъ въ аудиторію, изъ аудиторіи въ дружескій кружокъ,—теоріи, мечты, свои люди, никакихъ дѣловыхъ отношеній. Потомъ тюрьма, чтобъ дать всему осязаться. Практическое соприкосновеніе съ жизнью начиналось тутъ—возлѣ Уральскаго хребта.

Она тотчасъ заявила себя; на другой день послѣ пріѣзда я пошелъ съ сторожемъ губернаторской канцеляріи искать квартиру; онъ меня привелъ въ большой одноэтажный домъ. Сколько я ему ни толковалъ, что я ищу домъ очень маленькій и, еще лучше, часть дома, онъ упорно требовалъ, чтобъ я взошелъ.

Хозяйка усадила меня на диванъ; узнавъ, что я изъ Москвы, спросила,—видѣлъ ли я въ Москвѣ г. Кабрита? Я ей сказалъ, что никогда и фамиліи подобной не слыхалъ.

— Что ты это, замѣтила старушка, Кабрить-то, и она назвала его по имени и по отчеству. Помилуй, батюшка, онъ у насъ вѣсть-то губернаторомъ.

— «Да я девять мѣсяцевъ въ тюрьмѣ сидѣлъ, можетъ потому не слыхалъ», сказалъ я, улыбаясь.

— *Пожалуй*, что и такъ. Такъ ты, батюшка, домикъ нанимаешь?

— «Великъ, больно великъ, я служивому-то говорилъ».

— Лишнее добро за плечами не виситъ.

— «Оно такъ, но за лишнее добро вы попросите и денегъ побольше».

— Ахъ, отецъ родной, да кто же это тебѣ о моихъ цѣнахъ говорилъ, я не молвила еще.

— «Да я понимаю, что нельзя дешево взять за такой домъ».

— Дашь-то ты сколько?

Чтобъ отдѣлаться отъ нея, я сказалъ, что больше трехъ сотъ пятидесяти руб. (асс.) не дамъ.

— Ну, и на томъ спасибо; велика, голубчикъ мой, чемоданчики-то перенести, да вышей теперифу рюмочку.

Цѣна ея мнѣ показалась баснословно деневою, я взялъ домъ, и, когда совсѣмъ собрался идти, она меня остановила.

— Забыла тебя спросить, а, что, коровку свою станешь держать?

— «Нѣтъ, помилуйте», отвѣчалъ я, до оскорбленія пораженный ея вопросомъ.

— Ну, такъ я буду тебѣ сливочекъ приносить.

Я пошелъ домой, думая съ ужасомъ, гдѣ я и что я, что меня заподозрили въ возможности держать свою коровку.

Но я еще не успѣлъ оглядѣться, какъ губернаторъ мнѣ объявилъ, что я переведенъ въ Вятку, потому что другой сосланный, назначенный въ Вятку, просилъ его перевести въ Пермь, гдѣ у него были родственники. Губернаторъ хотѣлъ, чтобъ я ѣхалъ на другой же день. Это было невозможно: думая остаться нѣсколько времени въ Перми, я накупилъ всякой всячины, надобно было продать хоть за полцѣны. Послѣ разныхъ уклончивыхъ отвѣтовъ, губернаторъ разрѣшилъ мнѣ остаться двое сутокъ, взявъ слово, что я не буду пекать случая увидѣться съ другимъ сосланнымъ.

Я собирался на другой день продать лошадей и всякую дрянь, какъ вдругъ явился полицмейстеръ съ приказомъ выѣхать въ продолженіе 24 часовъ. Я объявилъ ему, что губернаторъ далъ мнѣ оторочку. Полицмейстеръ показалъ бумагу, въ которой дѣйствительно было ему предписано выпроводить меня въ 24 часа. Бумага была подписана въ самый тотъ день, слѣдовательно, послѣ разговора со мною.

— А, сказалъ полицмейстеръ, понимаю, понимаю,—это нашъ герой-то хочетъ оставить дѣло на моей отвѣтственности.

— «Поѣдьте его уличать».

— Поѣдьте!

Губернаторъ сказалъ, что онъ забылъ разрѣшеніе, данное мнѣ.

Полицмейстеръ лукаво спросилъ, не прикажетъ ли онъ переписать бумагу. «Стоитъ ли труда!» прибавилъ простодушно губернаторъ.

— Поймали, сказалъ мнѣ полицмейстеръ, потирая отъ удовольствія руки... чернильная душа!

Пермскій полицмейстеръ принадлежалъ къ особому типу военно-гражданскихъ чиновниковъ. Это люди, которымъ посчастливилось въ военной службѣ какъ-нибудь наткнуться на штыкъ или подвернуться подъ пулю, за это имъ даются преимущественно мѣста городничихъ, экзекуторовъ.

Въ полку они привыкли къ нѣкоторымъ заманкамъ откровенности, затвердили разныя сентенціи о неприкосновенности чести, о благородствѣ, язвительныя насмѣшки надъ писарями. Младшіе изъ нихъ читали Марлинскаго и Загоскина, знаютъ на память начало «Кавказскаго плѣнника», «Войнаровскаго» и часто повторяютъ затверженные стихи. Напримѣръ, иные говорятъ всякій разъ, заставляя человека курящимъ:

Яитаръ въ устахъ его дымился.

Все они безъ исключенія глубоко и громко сознаютъ, что ихъ положеніе гораздо ниже ихъ достоинства, что одна нужда можетъ ихъ держать въ этомъ «чернильномъ мірѣ», что если-бъ не бѣдность и не раны, то они управляли бы корпусами арміи или были бы генералъ-адъютантами. Каждый прибавляетъ поразительный примѣръ кого-нибудь изъ прежнихъ товарищей, и говоритъ: «Вѣдь вотъ—Крейцъ или Ридигеръ,—въ одномъ приказѣ въ корнеты произведены были. Жили на одной квартирѣ,—Петруша, Алёша—ну, я, видите, не нѣмецъ, да и поддержки не было никакой,—вотъ и сиди будочникомъ. Вы думаете, легко благородному человеку съ нашими понятіями занимать полицейскую должность».

Жены ихъ еще болѣе горюютъ и съ стѣсненнымъ сердцемъ возить въ ломбардъ всякій годъ денежки класть, отправляясь въ Москву подъ предлогомъ, что мать или тетка больна и хочетъ въ послѣдній разъ видѣть.

И такъ они живутъ себѣ лѣтъ пятнадцать. Мужъ, жалуясь на судьбу, сбѣчетъ полицейскихъ, бьетъ мѣщанъ, подличаетъ передъ губернаторомъ, покрываетъ воровъ, крадетъ документы и повторяетъ стихи изъ «Бахчисарайскаго фонтана». Жена, жалуясь на судьбу и на провинціальную жизнь, беретъ все на свѣтъ, грабитъ просителей, лавки и любитъ мѣсячныя ночи, которыя называетъ «луными».

Я потому остановился на этой характеристикѣ, что сначала я былъ обманутъ этими господами, и въ самомъ дѣлѣ считалъ ихъ нѣсколько лучше другихъ,—что вовсе не такъ...

Я увезъ изъ Перми одно личное воспоминаніе, которое дорого мнѣ.

На одномъ изъ губернаторскихъ смотровъ ссыльнымъ меня пригласилъ къ себѣ одинъ ксендзъ. Я засталъ у него нѣсколько поляковъ. Одинъ изъ нихъ сидѣлъ молча, задумчиво куря маленькую трубку; тоска, тоска безвыходная видна была въ каждой чертѣ. Онъ былъ сутуловатъ, даже кривобокъ, лицо его принадлежало къ тому неправильному польско-литовскому типу, ко-

торый удивляетъ сначала и привязываетъ потомъ; такіа черты были у величайшаго изъ поляковъ, у Өаддея Костюшки. Одежда Цихановича свидѣтельствовала о страшной бѣдности.

Спустя нѣсколько дней, я гулялъ по пустынному бульвару, которымъ оканчивается въ одну сторону Пермь; это было во вторую половину мая, молодой листъ развертывался, березы цвѣли (помните, вса аллея была березовая),—и нѣмъ никого. Провинціалы нани не любятъ *платоническихъ* гуляній. Долго бродя, я увидѣлъ, наконецъ, по другую сторону бульвара, т. е. на полѣ, какого-то человѣка, гербаризировавшаго или просто рвавшаго однообразные и скудные цвѣты того края. Когда онъ поднялъ голову, я узналъ Цихановича и подошелъ къ нему.

Цихановичъ сначала былъ сосланъ въ Верхотурье, одинъ изъ дальнѣйшихъ городовъ Пермской губерніи, потерянный въ Уральскихъ горахъ, занесенный снѣгомъ, и такъ стоящій внѣ всякихъ дорогъ, что зимой почти нѣтъ никакого сообщенія. Разумѣется, что жить въ Верхотурьѣ хуже, чѣмъ въ Омскѣ или Красноярскѣ. Совершенно одинокій, Цихановичъ занимался тамъ естественными науками, собиралъ скудную флору Уральскихъ горъ, наконецъ, получилъ дозволеніе перебраться въ Пермь; и это уже для него было улучшение; снова услышалъ онъ звуки своего языка, встрѣтился съ товарищами по несчастію. Жена его, оставшаяся въ Литвѣ, писала къ нему, что она отправится къ нему *позикомъ* изъ *Виленской губерніи*... Онъ ждалъ ее.

Когда меня перевели такъ неожиданно въ Вятку, я пошелъ проститься съ Цихановичемъ. Небольшая комната, въ которой онъ жилъ, была почти совсѣмъ пуста; небольшой старый чемоданчикъ стоялъ возлѣ скудной постели, деревянный столъ и одинъ стулъ составляли всю мебель, — на меня пахнуло моею крутицкой кельей.

Вѣсть о моемъ отъѣздѣ огорчила его, но онъ такъ привыкъ къ лишніямъ, что черезъ минуту, почти свѣтло улыбувшись, сказалъ мнѣ: «Вотъ за то-то я и люблю природу, ее никакъ не отнимешь, гдѣ бы человѣкъ ни былъ».

Мнѣ хотѣлось оставить ему что-нибудь на память, я снялъ небольшую запонку съ рубашки и просилъ его принять ее.

— «Къ моему рубашкѣ она не идетъ, сказалъ онъ мнѣ, но запонку вашу я сохранию до конца жизни, и нарядусь въ нее на своихъ похоронахъ».

Потомъ онъ задумался, и вдругъ быстро началъ рыться въ чемоданѣ. Досталъ небольшой мѣшечекъ, вынулъ изъ него желѣзную цѣпочку, сдѣланную особымъ образомъ, оторвавъ отъ нея нѣсколько звеньевъ, подаль мнѣ со словами:

— «Цѣпочка эта мнѣ очень дорога, съ ней связаны святей-

шія воспоминанія иного времени, все я вамъ не дамъ, а возьмите эти кольца. Не думалъ, что я, изгнанникъ изъ Литвы, подарю ихъ русскому изгнаннику».

И обнялъ его и простился.

— «Когда вы ѣдете?» спросилъ онъ.

— Завтра утромъ, но я васъ не зову, у меня уже на квартирѣ ждетъ безсмынно жандармъ.

— «Итакъ, добрый путь вамъ, будьте счастливы меня».

На другой день съ девяти часовъ утра полицмейстеръ былъ уже налицо въ моей квартирѣ и торопилъ меня. Пермскій жандармъ, гораздо болѣе ручной, чѣмъ крутицкій, не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что онъ будетъ 350 верстъ пьянъ, работалъ около коляски. Все было готово; я печально взглянулъ на улицу, идетъ мимо Цихановичъ, я бросился къ окну.

— «Ну, слава Богу, сказалъ онъ, я вотъ четвертый разъ прохожу, чтобъ проститься съ вами, хоть издали, но вы все не видели».

Глазами полными слезъ поблагодарилъ я его. Это нѣжное, нежное вниманіе глубоко тронуло меня; безъ этой встрѣчи мнѣ нечего было бы и пожалѣть въ Перми!

...На другой день послѣ отъѣзда изъ Перми, съ разсвѣта пошелъ дождь сильный, непрерывный, какъ бываетъ въ лѣсныхъ мѣстахъ, и продолжался весь день; часа въ два мы пріѣхали въ бѣднѣйшую вятскую деревню. Станціоннаго дома не было; вотяки (безграмотные) справляли должность смотрителей, развертывали подорожную, справлялись двѣ ли печати или одна, кричали «айда, айда!» и запрягали лошадей, разумѣется, вдвое скорѣе, чѣмъ бы это сдѣлалось при смотрителѣ. Мнѣ хотѣлось обсушиться, обогрѣться, съѣсть что-нибудь. Пермскій жандармъ согласился на мое предложеніе часа два отдохнуть. Все это было сдѣлано, подѣзжая къ деревнѣ. Когда же я вошелъ въ избу душную, черную и узналъ, что рѣшительно ничего достать нельзя, что даже и кабака нѣту верстъ пять, я было раскаялся и хотѣлъ спросить лошадей.

Пока я думалъ, ѣхать или не ѣхать, вошелъ солдатъ и отпортовалъ мнѣ, что этапный офицеръ прислалъ меня звать на чашку чая.

— Съ большимъ удовольствіемъ, гдѣ твой офицеръ?

— «Возлѣ, въ избѣ, ваше благородіе!» и солдатъ выдѣлалъ извѣстное *на палѣво* кру—омъ.

Я пошелъ вслѣдъ за нимъ.

## ГЛАВА XIV.

Вятка. — Канцелярія и столовая его превосходительства. — К. Я. Тюфяевъ.

Вятскій губернаторъ не принялъ меня, а велѣлъ сказать, чтобъ я явился къ нему на другой день въ десять часовъ.

Въ залѣ утромъ я засталъ исправника, полицмейстера и двухъ чиновниковъ; все стояли, говорили шопотомъ и съ безпокойствомъ поглядывали на дверь. Дверь растворилась и взмошелъ небольшого роста плечистый старикъ съ головой, посаженной на плечи какъ у бульдога, большія челюсти продолжали сходство съ собакой, къ тому же онъ какъ-то плотоядно улыбался; старое и съ тѣмъ вмѣстѣ пріаническое выраженіе лица, небольшіе, быстрые, сѣренькіе глазки и рѣдкіе прямые волосы дѣлали невѣроятно гадкое впечатлѣніе.

Онъ сначала сильно намылилъ голову исправнику за дорогу, по которой вчера ѣхалъ. Исправникъ стоялъ съ нѣсколько опущенной, въ знакъ уваженія и покорности, головою, и ко всему прибавлялъ, какъ это встарь дѣлывали слуги: «Слушаю, ваше превосходительство».

Послѣ исправника онъ обратился ко мнѣ. Дерзко посмотрѣлъ на меня и спросилъ:

— «Вы, вѣдь, кончили курсъ въ московскомъ университетѣ?»

— Я кандидатъ.

— «Потомъ служили?»

— Въ Кремлевской экспедиціи.

— «Ха, ха ха — хорошая служба! вамъ, разумѣется, при такой службѣ былъ досугъ пировать и пѣсни пѣть. Аленицынъ!» закричалъ онъ.

Взошелъ молодой, золотушный человѣкъ.

— «Послушай, братецъ, вотъ кандидатъ московскаго университета, онъ, вѣроятно, все знаетъ, кромѣ службы; его величеству угодно, чтобъ онъ ей у насъ поучился. Займи его у себя въ канцеляріи и докладывай мнѣ особо. Завтра вы явитесь въ канцелярію въ девять утромъ, а теперь можете идти. Да, позвольте, я забылъ спросить, какъ вы пишете?»

Я сразу не понялъ. — «Ну, то есть почеркъ».

— У меня ничего нѣтъ съ собой.

— «Дай бумаги и перо», — и Аленицынъ подалъ мнѣ перо.

— Что же я буду писать?

— Что вамъ угодно, замѣтилъ секретарь, напишите: *А по справкѣ оказалось.*



— «Ну, къ государю переписывать вы не будете», замѣтилъ, проницески улыбаясь, губернаторъ.

И еще въ Перми многое слышалъ о Тюфяевѣ, но онъ далеко превзошелъ все мои ожиданія.

Что и чего не производитъ русская жизнь!

Тюфяевъ родился въ Tobольскѣ. Отецъ его чуть ли не былъ сосланъ и принадлежалъ къ бѣднѣйшимъ мѣщанамъ. Лѣтъ тринадцати молодой Тюфяевъ присталъ къ ватагѣ бродящихъ комедіантовъ, которые слоняются съ ярмарки на ярмарку, плышутъ на канатѣ, кувыркаются колесомъ и пр. Онъ съ ними дошелъ отъ Tobольска до польскихъ губерній, потѣшая православный народъ. Тамъ его, не знаю почему, арестовали и, такъ какъ онъ былъ безъ вида, его, какъ бродягу, отправили пѣшкомъ при партіи арестантовъ въ Tobольскъ. Его мать овдовѣла и жила въ большой крайности; сынъ клалъ самъ печку, когда она развалилась; надобно было принесть какое-нибудь ремесло; мальчику далась грамота и онъ сталъ наниматься писцомъ въ магистратъ. Развивавшійся отъ природы и изощрившій свои способности многостороннимъ воспитаніемъ въ таборѣ акробатовъ и въ пересыльныхъ арестантскихъ партіяхъ, съ которыми прошелъ съ одного конца Россіи до другого, онъ сдѣлался лихимъ дѣльцомъ.

Въ началѣ царствованія Александра, въ Tobольскѣ пріѣзжалъ какой-то ревизоръ. Ему нужны были дѣловые писари, кто-то рекомендовалъ ему Тюфяева. Ревизоръ до того былъ доволенъ имъ, что предложилъ ему ѣхать съ нимъ въ Петербургъ. Тогда Тюфяевъ, у котораго, по собственнымъ словамъ, самолюбіе не шло дальше мѣста секретаря въ уѣздномъ судѣ, иначе оцѣнилъ себя и съ желѣзной волей рѣшился сдѣлать карьеру.

И сдѣлалъ ее. Черезъ десять лѣтъ мы его уже видимъ неутомимымъ секретаремъ Канкрина, который тогда былъ генералъ-интендантомъ. Еще годъ спустя, онъ уже завѣдуетъ одной экспедиціей въ канцеляріи Аракчеева, завѣдывавшей всею Россіей; онъ съ графомъ былъ въ Парижѣ во время занятія его союзными войсками.

Тюфяевъ все время просидѣлъ безвыходно въ походной канцеляріи и à la lettre не видалъ ни одной улицы въ Парижѣ. День и ночь сидѣлъ онъ, составляя и переписывая бумаги, съ достойнымъ товарищемъ своимъ К.

Канцелярія Аракчеева была въ родѣ тѣхъ мѣдныхъ рудниковъ, куда работниковъ посылаютъ только на нѣсколько мѣсяцевъ, потому что если оставить долѣе, то они мрутъ. Усталъ, наконецъ, и Тюфяевъ на этой фабрикѣ приказовъ и указовъ, распоряженій и учрежденій и сталъ проситься на болѣе спокойное мѣсто. Аракчеевъ не могъ не полюбить такого человѣка, какъ

Тюфяевъ, безъ вышнихъ притязаній, безъ развлеченій, безъ мнѣній, человека формально честнаго, снѣдаемаго честолюбіемъ и ставящаго повинненіе въ первую добродѣтель людскую. Аракчеевъ наградилъ Тюфяева мѣстомъ вице-губернатора. Спустя нѣсколько лѣтъ, онъ ему далъ пермское воеводство. Губернія, по которой Тюфяевъ разъ прошелъ по веревкѣ и разъ на веревкѣ, лежала у его ногъ.

Власть губернатора вообще растетъ въ прямомъ отношеніи разстоянія отъ Петербурга, но она растетъ въ геометрической прогрессіи въ губерніяхъ, гдѣ нѣтъ дворянства, какъ въ Пермь, Вяткѣ и Сибири. Такой-то край и былъ нуженъ Тюфяеву.

Тюфяевъ былъ восточный сатрапъ, но только дѣятельный, безпокойный, во все мѣшавшійся, вѣчно занятый. Тюфяевъ былъ бы свирѣпымъ комиссаромъ конвента въ 94 году, какимъ-нибудь Карье.

Развратный по жизни, грубый по натурѣ, нетерпящій никакого возраженія, его вліяніе было чрезвычайно вредно. Онъ не бралъ взятокъ, хотя состояніе себѣ такъ составилъ, какъ оказалось послѣ смерти. Онъ былъ строгъ къ подчиненнымъ; безъ пощады преслѣдовалъ тѣхъ, которые попадались, а чиновники крали больше, чѣмъ когда-нибудь. Онъ злоупотребленіе вліяній довелъ до-нельзя; напр., отиравая чиновника на слѣдствіе, разумѣется, если онъ былъ интересовавъ въ дѣлѣ, говорилъ ему, что, вѣроятно, откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, если-бъ открылось что-нибудь другое.

Въ Пермь все еще было полно славою Тюфяева, у него тамъ была партія приверженцевъ, враждебная новому губернатору, который, какъ разумѣется, окружилъ себя своими клеветами.

Но зато были люди, ненавидѣвшіе его. Одинъ изъ нихъ, довольно оригинальное произведеніе русскаго *надлома*, особенно предупреждалъ меня, что такое Тюфяевъ. Я говорю объ докторѣ на одномъ изъ заводовъ. Человекъ этотъ, умный и очень нервный, векорѣ послѣ курса какъ-то несчастно женился, потомъ былъ занесенъ въ Екатеринбургъ и безъ всякой опытности затеръ въ болото провинціальной жизни. Поставленный довольно независимо въ этой средѣ, онъ все-таки сломился; вся дѣятельность его обратилась на преслѣдованіе чиновниковъ сарказмами. Онъ хохоталъ надъ ними въ глаза, онъ съ гримасами и кривляніемъ говорилъ имъ въ лицо самыя оскорбительныя вещи. Такъ какъ никому не было пощады, то никто особенно не сердился на злой языкъ доктора. Онъ едѣлалъ себѣ общественное положеніе своими нападками и заставилъ безхарактерное общество терпѣть розги, которыми онъ хлесталъ его безъ отдыха.

Меня предупредили, что онъ хорошій докторъ, но поврежденный, и что онъ чрезвычайно дерзокъ.

Его болтовня и шутки не были ни грубы, ни плоски; совсѣмъ напротивъ, онѣ были полны юмора и сосредоточенной желчи, это была его поэзія, его месть, его крикъ досады, а, можетъ, долею и отчаянія. Онъ изучилъ чиновничій кругъ, какъ артистъ и какъ медикъ, онъ зналъ все мелкія и затаенныя страсти ихъ и, ободренный не находчивостью, трусостью своихъ знакомыхъ, позволялъ себѣ все.

Ко всякому слову прибавлялъ онъ: «ни копейки не стоитъ». Я разъ шутя замѣтилъ ему это повтореніе. «Чему же вы удивляетесь, возразилъ докторъ, цѣль всякой рѣчи убѣдить, я и тороплюсь прибавить сильнѣйшее доказательство, какое существуетъ на свѣтѣ. Увѣрьте человѣка, что убить родного отца ни копейки не будетъ стоитъ,—онъ убьетъ его».

Чеботаревъ никогда не отказывалъ давать въ займы небольшія суммы, въ сто, двѣсти рублей асс. Когда кто у него просилъ, онъ вынималъ свою записную книжку и подробно спрашивалъ, когда тотъ ему отдастъ.

— «Теперь, говорилъ онъ, позвольте держать пари на цѣлковый, что вы не отдадите въ срокъ».

— Да помилуйте, возражалъ тотъ, за кого же вы меня принимаете?

— «Вамъ это ни копейки не стоитъ, отвѣчалъ докторъ, за кого я васъ принимаю, а дѣло въ томъ, что я шестой годъ веду книжку, и ни одинъ человѣкъ еще не заплатилъ въ срокъ, да никто почти и послѣ срока не платитъ».

Срокъ проходилъ, и докторъ пресерьезно требовалъ выигрышный цѣлковый.

Пермскій откупщикъ продавалъ дорожную коляску; докторъ явился къ нему и, не прѣрываясь, произнесъ слѣдующую рѣчь: «Вы продаете коляску, мнѣ нужно ее; вы богатый человѣкъ, вы милліонеръ, за это васъ все уважаютъ, и я потому пришелъ свидѣтельствовать вамъ мое почтеніе; какъ богатый человѣкъ, вамъ ни копейки не стоитъ, продадите ли вы коляску или нѣтъ, мнѣ же ее очень нужно, а денегъ у меня мало. Вы захотите меня притѣснить, воспользоваться моею необходимостью и спросите за коляску 1.500, я предложу вамъ рублей семьсотъ, буду ходить всякій день торговаться, черезъ недѣлю вы уступите за 750 или 800, не лучше ли съ этого начать? Я готовъ ихъ дать». — «Гораздо лучше», отвѣчалъ удивленный откупщикъ и отдалъ коляску.

Анекдотамъ и шалостямъ Чеботарева не было конца; прибавлю еще два <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Эти два анекдота не были въ первомъ изданіи, я ихъ вспомнилъ, перечитывая листы для поправки (1858).

— Вѣрите ли вы въ магнитизмъ? спросила его при мнѣ одна дама, довольно умная и образованная. — «Да что вы разумѣете подъ магнитизмомъ?» — Дама ему сказала какой-то общій вздоръ. — «Вамъ ни копейки не стоитъ знать, отвѣчалъ онъ, вѣрю я магнитизму или нѣтъ, а хотите, я вамъ разекажу, что я видѣлъ по этой части». — Пожалуйте. — «Только слушайте внимательно». После этого онъ передалъ очень живо, умно и интересно опыты какого-то харьковского доктора, его знакомаго.

Середь разговора человѣкъ принесъ на подносѣ закуску. Дама сказала ему, когда онъ выходилъ: — Ты забылъ подать горчицы. Чеботаревъ остановился. — Продолжайте, продолжайте, сказала дама, нѣсколько уже испуганная, я слушаю. — «Соль-то принесъ ли онъ?» — Это вы уже и разсердились, прибавила дама, краснѣя. — «Нѣсколько, будьте увѣрены; я знаю, что вы внимательно слушали, да и то знаю, что женщина, какъ бы ни была умна и о чемъ бы ни шла рѣчь, не можетъ никогда стать выше кухни, — за что же я лично на васъ смѣлъ бы сердиться».

На заводахъ графини Полье, гдѣ онъ тоже лечилъ, понравился ему дворовый мальчикъ, онъ его пригласилъ къ себѣ въ услуженіе. Мальчикъ былъ согласенъ, но управляющій сказалъ, что, безъ разрѣшенія графини, онъ его не можетъ уволить. Чеботаревъ написалъ къ графинѣ. Она велѣла управляющему выдать паспортъ, но на томъ условіи, чтобы Чеботаревъ заплатилъ за пять лѣтъ впередъ оброкъ. Получивъ этотъ отвѣтъ, онъ немедленно написалъ къ графинѣ, что согласенъ, но что просить ее предварительно разрѣшить ему слѣдующее сомнѣніе: съ кого ему получить заплаченные деньги въ томъ случаѣ, если Энкіева комета, пересѣкая орбиту земного шара, собьетъ его съ пути, — что можетъ случиться за полтора года до окончанія срока.

Въ день моего отъѣзда въ Вятку, утромъ рано явился докторъ и началъ съ слѣдующей глупости: «Вы, какъ Горацій, разъ *пошли* и до сихъ поръ васъ все *переводятъ*». Потомъ онъ вынулъ бумажникъ и спросилъ, не нужно ли мнѣ денегъ на дорогу. Я поблагодарилъ его и отказался. — «Отчего же вы не берете? вамъ это ни копейки не стоитъ». — У меня есть деньги. — «Плохо, сказалъ онъ, мѣръ кончается», раскрылъ свою записную книжку и вписалъ: «Послѣ пятнадцатилѣтней практики въ первый разъ встрѣтилъ человѣка, который не взялъ денегъ, да еще будучи на отъѣздѣ».

Отдурчившись, онъ сѣлъ ко мнѣ на постель и серьезно сказалъ: «Вы ѣдете къ страшному человѣку. Остерегайтесь его и удаляйтесь, какъ можно болѣе. Если онъ васъ полюбитъ, плохая вамъ рекомендація; если же возненавидитъ, такъ ужъ онъ

васъ доѣдетъ клеветой, ябедой, не знаю чѣмъ, но доѣдетъ, ему это ни копейки не стоитъ».

При этомъ онъ мнѣ разказалъ происшествіе, истинность котораго я имѣлъ случай послѣ повѣрить по документамъ въ канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ.

Тюфяевъ былъ въ открытой связи съ сестрой одного бѣднаго чиновника. Надъ братомъ смѣялись, братъ хотѣлъ разорвать эту связь, грозился доносомъ, хотѣлъ писать въ Петербургъ, словомъ шумѣлъ и безпокоился до того, что его однажды полиція схватила и представила, какъ сумасшедшаго, для освидѣтельствованія въ губернское правленіе.

Губернское правленіе, предсѣдатели палатъ и инспекторъ врачебной управы, старикъ иѣмецъ, пользовавшійся большою любовью народа, и котораго я лично зналъ, все нашли, что Петровскій—сумасшедшій.

Нашъ докторъ зналъ Петровскаго и былъ его врачомъ. Спросили и его для формы. Онъ объявилъ инспектору, что Петровскій вовсе не сумасшедшій, и что онъ предлагаетъ переосвидѣтельствовать, иначе долженъ будетъ дѣло это вести дальше. Губернское правленіе было вовсе не прочь, но, по несчастью, Петровскій умеръ въ сумасшедшемъ домѣ, не дождавшись дня, назначеннаго для вторичнаго свидѣтельства, и несмотря на то, что онъ былъ молодой, здоровый малый.

Дѣло дошло до Петербурга. Петровскую арестовали (почему не Тюфяева?), началось секретное слѣдствіе. Отвѣты диктовалъ Тюфяевъ, онъ превзошелъ себя въ этомъ дѣлѣ. Чтобы разомъ остановить его и отклонить отъ себя опасность вторичнаго, непроизвольнаго путешествія въ Сибирь, Тюфяевъ научилъ Петровскую сказать, что братъ ея съ тѣхъ поръ съ нею въ ссорѣ, какъ она, увлеченная молодостью и неопытностью, лишилась невинности.

«La regina en aveva molto!» говоритъ импровизаторъ въ *Египетскихъ ночахъ* Пушкина...

И вотъ этотъ-то почтенный ученикъ Аракчеева и достойный товарищъ К., акробатъ, бродяга, писарь, секретарь, губернаторъ, иѣжное сердце, безкорыстный человѣкъ, запрашивающій здоровыхъ въ сумасшедшій домъ и уничтожающій ихъ тамъ, брался теперь приучать меня къ службѣ.

Зависимость моя отъ него была велика. Стоило ему написать какой-нибудь вздоръ министру, меня отослали бы куда-нибудь въ Иркутскъ. Да и зачѣмъ писать? Онъ имѣлъ право перевести въ какой-нибудь дикій городъ Кай или Царево-Санчурскъ, безъ всякихъ сообщеній, безъ всякихъ ресурсовъ. Тюфяевъ отправилъ въ Глазовъ одного молодого поляка за то, что дамы предпочитали танцевать съ нимъ мазурку, а не съ его превосходительствомъ.

Такъ, князь Долгоруковъ былъ отправленъ изъ Перми въ Верхотурье. Верхотурье, потерянное въ горахъ и сѣбгахъ, принадлежить еще къ Пермской губерніи, но это мѣсто стоитъ Березова по климату, онъ хуже Березова—но пустотѣ.

Князь Долгоруковъ принадлежалъ къ аристократическимъ повѣсамъ въ дурномъ родѣ, которые ужъ рѣдко встрѣчаются въ наше время. Онъ дѣлалъ всякія проказы въ Петербургѣ, проказы въ Москвѣ, проказы въ Парижѣ.

На это тратилась его жизнь. Это былъ Измайловъ въ маленькомъ размѣрѣ, князь Е. Грузинскій безъ притона бѣглыхъ въ Лысковѣ, т. е. избалованный, дерзкій, отвратительный забавникъ, баринъ и шутъ вмѣстѣ. Когда его продѣлки перешли всѣ границы, ему велѣли отправиться на житье въ Пермь.

Онъ пріѣхалъ въ двухъ каретахъ: въ одной онъ самъ съ собакой, въ другой—его поваръ французъ съ попугаемъ. Въ Перми обрадовались богатому гостю, и векорѣ весь городъ толоченъ въ его столовой. Долгоруковъ завелъ шапини съ пермской барыней; барыня, заподозривъ какія-то невѣрности, явилась невзначай утромъ къ князю и застала его съ горничной. Изъ этого вышла сцена, кончившаяся тѣмъ, что невѣрный любовникъ снялъ со стѣны аранникъ; совѣтница, видя его намѣреніе, пустилась бѣжать; онъ за ней, небрежно одѣтый въ одинъ халатъ; нагнавъ ее на небольшой площади, гдѣ учили обыкновенно батальонъ, онъ вытнулъ раза три ревнивую совѣтницу аранникомъ и спокойно отправился домой, какъ будто сдѣлалъ дѣло.

Подрѣбныя милыя шутки навлекли на него гоненіе пермскихъ друзей, и начальство рѣшилось сорокалѣтняго шалуна отослать въ Верхотурье. Онъ далъ наканунѣ отъѣзда богатый обѣдъ, и чиновники, несмотря на разладъ, все-таки поѣхали; Долгорукій обѣщалъ ихъ накормить какимъ-то неслыханнымъ пирогомъ.

Пирогъ былъ дѣйствительно превосходенъ и исчезалъ съ невѣроятной быстротой. Когда остались однѣ корки, Долгорукій патетически обратился къ гостямъ и сказалъ: «Не будетъ же сказано, что я, разставаясь съ вами, что-нибудь пожалѣлъ. Я велѣлъ вчера убить моего Гарди для пирога».

Чиновники съ ужасомъ взглянули другъ на друга и искали глазами знакомую всѣмъ датекую собаку; ея не было. Князь догадался и велѣлъ слугѣ принести бренныя остатки Гарди, его шкуру; внутренность была въ пермскихъ желудкахъ. Полгорода занемогло отъ ужаса.

Между тѣмъ Долгорукій, довольный тѣмъ, что ловко подшутилъ надъ пріятелями, ѣхалъ торжественно въ Верхотурье. Третья повозка везла цѣлый курятникъ, курятникъ, ѣдущій на почтовыхъ! Но дорогѣ онъ увезъ съ нѣсколькихъ станцій приходныя



книги, переменялъ ихъ, поправлялъ въ нихъ цифры и чуть не свелъ съ ума почтовое вѣдомство, которое и съ книгами не всегда ловко сводило концы съ концами.

Удушливая пустота и нѣмота русской жизни, страннымъ образомъ соединенная съ живостью и даже бурностью характера, особенно развивается въ насъ всякія порождения.

Въ нѣтуншемъ крикѣ Суворова, какъ въ собачьемъ паштетѣ князя Долгорукова, въ дикихъ выходкахъ Измайлова, въ полудобровольномъ безуміи Мамонова и буйныхъ преступленіяхъ Толстого-Американца я слышу родственную ноту, знакомую намъ вѣкъ, но которая у насъ ослаблена образованіемъ или направлена на что-нибудь другое.

Я лично зналъ Толстого и именно въ ту эпоху, когда онъ лишился своей дочери Сарры, необыкновенной дѣвушки, съ высокимъ поэтическимъ даромъ. Одинъ взглядъ на наружность старика, на его лобъ, покрытый сѣдыми кудрями, на его сверкающіе глаза и атлетическое тѣло показывалъ, сколько энергіи и силы было ему дано отъ природы. Онъ развилъ одинъ буйныя страсти, одинъ дурныя наклонности, и это не удивительно: всему порочному позволяють у насъ развиваться долгое время безпринятственно, а за страсти человѣческія посылаютъ въ гарнизонъ или въ Сибирь при первомъ шагѣ... Онъ буйствовалъ, обыгрывалъ, дрался, уродовалъ людей, разорялъ семейства лѣтъ двадцать сряду, пока, наконецъ, былъ сосланъ въ Сибирь, откуда «вернулся алеутомъ», какъ говоритъ Грибоѣдовъ, т. е. пробрался черезъ Камчатку въ Америку и оттуда выпросилъ дозволеніе возвратиться въ Россію. Александръ его простилъ, и онъ на другой день послѣ пріѣзда продолжалъ прежнюю жизнь. Женатый на цыганкѣ, извѣстной своимъ голосомъ и принадлежавшей къ московскому табору, онъ превратилъ свой домъ въ игорный, проводилъ все время въ оргіяхъ, все ночи за картами, и дикія сцены алчности и пьянства совершались возлѣ колыбели маленькой Сарры. Говорятъ, что онъ разъ, въ доказательство мѣткости своего глаза, велѣлъ женѣ стать на столъ и прострѣлилъ ей каблукъ башмака.

Послѣдняя его продѣлка чуть было снова не свела его въ Сибирь. Онъ былъ давно сердитъ на какого-то мѣщанина, поймалъ его какъ-то у себя въ домѣ, связалъ по рукамъ и ногамъ и вырвалъ у него зубъ. Вѣроятно ли, что этотъ случай былъ лѣтъ десять или двѣнадцать тому назадъ? Мѣщанинъ подалъ просьбу. Толстой подарилъ полицейскихъ, подарилъ судъ, и мѣщанина посадили въ острогъ за ложный извѣтъ. Въ это время одинъ извѣстный русскій литераторъ, Н. Ф. Павловъ, служилъ въ тюремномъ комитетѣ. Мѣщанинъ разсказалъ ему дѣло, не-

опытный чиновникъ поднять его. Толстой струхнулъ не на шутку, дѣло клонилось явнымъ образомъ къ его осужденію, но русскій Богъ великъ! Графъ Орловъ написалъ князю Щербатову секретное отношеніе, въ которомъ совѣтовалъ ему дѣло затушить, чтобы не дать такого *прямого торжества низшему сословію надъ высшимъ*. Н. Ф. Павлова графъ Орловъ совѣтовалъ удалить отъ такого мѣста... Это почти невѣроятіе вырваннаго зуба. Я былъ тогда въ Москвѣ и очень хорошо зналъ неосторожнаго чиновника. Но возвратимся въ Вятку.

Канцелярія была безъ всякаго сравненія хуже тюрьмы. Не матеріальная работа была велика, а удручающій, какъ въ собачьемъ гротѣ, воздухъ этой затхлой среды и страшная глупая потеря времени, вотъ что дѣлало канцелярію невыносимой. Аленицынъ меня не тѣнилъ, онъ былъ даже вѣжливѣе, чѣмъ я ожидалъ, онъ учился въ казанской гимназіи и въ силу этого имѣлъ уваженіе къ кандидату московскаго университета.

Въ канцеляріи было человѣкъ двадцать писцовъ. Большей частью люди безъ малѣйшаго образованія и безъ всякаго нравственнаго понятія, дѣти писцовъ и секретарей, съ колыбели привыкшійше считать службу средствомъ пріобрѣтенія, а крестьянъ почвой, приносящей доходъ, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стаканъ вина, унижались, дѣлали всякія подлости. Мой камердинеръ пересталъ ходить въ «бильярдную», говоря, что чиновники плутуютъ хуже всякаго, а проучить ихъ нельзя, потому что они *офицеры*.

Вотъ съ этими-то людьми, которыхъ мой слуга не билъ только за ихъ чинъ, мнѣ приходилось сидѣть ежедневно отъ 9 до 2 утра и отъ 5 до 8 часовъ вечера.

Сверхъ Аленицына, общаго начальника канцеляріи, у меня былъ начальникъ стола, къ которому меня посадили, существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное. За однимъ столомъ со мною сидѣли четыре писца. Съ ними надобно было говорить и быть знакомымъ, да и со всѣми другими тоже. Не говоря уже о томъ, что эти люди «за гордость» рано или поздно подставили бы мнѣ ловушку, просто нѣтъ возможности проводить нѣсколько часовъ дня съ одними и тѣми же людьми, не перезнакомившись съ ними. Сверхъ того, не должно забывать, какъ провинціалы льнутъ къ постороннему, особенно пріѣхавшему изъ столицы, и притомъ еще съ какой-то интересной исторіей за спиной.

Просидѣвши день цѣлый въ этой галерѣ, я приходилъ иной разъ домой въ какомъ-то оупцѣннѣ всѣхъ способностей и бросался на диванъ, изнуренный, униженный и неспособный ни на какую работу, ни на какое занятіе. Я душевно жалѣлъ о моей крутицкой кельѣ съ ея чадомъ и тараканами, съ жандармомъ у

дверей и съ замкомъ на дверяхъ. Тамъ я былъ воленъ, дѣлать, что хотѣлъ, никто мнѣ не мѣшалъ; вмѣсто этихъ пошлыхъ рѣчей, грязныхъ людей, низкихъ понятій, грубыхъ чувствъ, тамъ была мертвая тишина и невозмущаемый досугъ. И когда мнѣ приходило въ голову, что послѣ обѣда опять слѣдуетъ идти и завтра опять, мною тотчасъ овладѣвало бѣшенство и отчаяніе, и я пилъ вино и водку для утѣшенія.

А тутъ еще придется по «дорогѣ» кто-нибудь изъ сослуживцевъ посидѣть отъ скуки, погугорить, пока до узаконеннаго часа идти на службу...

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, впрочемъ, канцелярія сдѣлалась нѣсколько легче.

Долгое, равномѣрное преслѣдованіе не въ русскомъ характерѣ, если не примѣшивается личностей или денежныхъ видовъ; и это отъ русской безнечности, отъ нашего *laissez aller*. Русскія власти все вообще неостесаны, наглы, дерзки, на грубость съ ними накупиться очень легко, но постоянное доколачиваніе людей не въ ихъ правахъ, у нихъ на это не достаесть терпѣнія, можетъ оттого, что оно не приноситъ никакого барыша.

Сначала, сгоряча, чтобъ показать въ одну сторону усердіе, въ другую власть, дѣлаются всякія глупости и ненужности, потомъ мало-по-малу человѣка оставляютъ въ покоѣ.

Такъ случилось и съ канцеляріей. Министерство внутреннихъ дѣлъ было тогда въ принадлежѣ статистики; оно велѣло вездѣ завести комитеты и разослало такія программы, которыя врядъ возможно ли было бы исполнить гдѣ-нибудь въ Бельгій или Швейцаріи; при этомъ всякія вычурныя таблицы съ *maximum* и *minimum*, съ средними числами и разными выводами изъ десятилѣтнихъ сложностей (составленными по свѣдѣніямъ, которыя *за годъ передъ тѣмъ* не собирались!), съ нравственными отмѣтками и метеорологическими замѣчаніями. На комитетъ и на собраніе свѣдѣній денегъ не назначалось ни копейки; все это слѣдовало дѣлать изъ любви къ статистикѣ, черезъ земскую полицію, и приводить въ порядокъ въ губернаторской канцеляріи. Канцелярія, заваленная дѣлами, земская полиція, ненавидящая все *мирныя* и теоретическія занятія, смотрѣли на статистическій комитетъ, какъ на ненужную роскошь, какъ на министерскую шалость; однако, отчеты надобно было представить съ таблицами и выводами.

Это дѣло казалось безмѣрно труднымъ всей канцеляріи; оно было просто невозможно; но на это никто не обратилъ вниманія, хлопотали о томъ, чтобъ не было выговора. Я общалъ Аленцину приготовить введеніе и начало, очерки таблицъ, съ краснорѣчивыми отмѣтками, съ иностранными словами, съ цитатами и поразительными выводами, если онъ разрѣшитъ мнѣ этимъ тяже-

лымъ трудомъ заниматься дома, а не въ канцеляріи. Аленицынъ переговорилъ съ Тюфяевымъ и согласился.

Начало отчета о занятіяхъ комитета, въ которомъ я говорилъ о надеждахъ и проектахъ, потому что въ настоящемъ ничего не было, тронули Аленицына до глубины душевной. Самъ Тюфяевъ нашелъ, что оно мастерски написано. Тѣмъ и окончились труды по части статистики, но комитетъ далъ въ мое завѣдываніе. На барщину переписки бумагъ меня больше не гоняли и мой пьяненькій столоначальникъ сдѣлался почти подчиненное мнѣ лицо. Аленицынъ требовалъ только, изъ какихъ-то соображеній высшаго приличія, чтобъ я на короткое время заходилъ всякій день въ канцелярію.

Для того, чтобъ показать всю мѣру невозможности серьезныхъ таблицъ, я упомяну свѣдѣнія, присланныя изъ заштатнаго города Кая. Тамъ между разными нелѣпостями было: «*Утопикъ—2, причины утопленія неизвѣстны—2*», и въ графѣ суммъ выставлено «*четыре*». Подъ рубрикой чрезвычайныхъ происшествій значился слѣдующій трагическій анекдотъ: «Мѣщанинъ такой-то, разстроивъ горячительными напитками свой умъ, повѣсился». Подъ рубрикой о нравственности городскихъ жителей было написано: «Жидовъ въ городѣ Каѣ не находилось». На вопросъ, не было ли ассигновано суммъ на постройку церкви, биржи, богадѣльни? Отвѣты шли такъ: «На постройку биржи ассигновано было—не было...»

Статистика, спасая меня отъ канцелярской работы, имѣла несчастнымъ послѣдствіемъ личныя сношенія съ Тюфяевымъ.

Было время, когда я этого человѣка ненавидѣлъ; это время давно прошло, да и человѣкъ этотъ прошелъ,—онъ умеръ въ своихъ казанскихъ помѣстьяхъ, около 1845 года. Теперь я вспоминаю о немъ безъ злобы, какъ объ особенномъ звѣрѣ, попавшемся въ лѣсу и дичи, котораго надобно было изучать, но на котораго нельзя было сердиться за то, что онъ звѣрь; тогда я не могъ не вступить съ нимъ въ борьбу, это была необходимость для всякаго порядочнаго человѣка. Случай мнѣ помогъ, иначе онъ сильно повредилъ бы мнѣ; имѣть зубъ за зло, которое онъ мнѣ не сдѣлалъ, было бы смѣшно и жалко.

Тюфяевъ жилъ одинъ. Жена его была съ нимъ въ разводѣ. На задней половинѣ губернаторскаго дома, какъ-то намѣренно неловко, пряталась его фаворитка, жена повара, удаленнаго именно за вину своего брака въ деревню. Она не являлась официально, но чиновники, особенно преданные губернатору, т. е. особенно боявшіеся слѣдствій, составляли придворный штатъ супруги повара «въ случаѣ». Ихъ жены и дочери, не хвастаясь этимъ, потихоньку, вечеромъ дѣлали ей визиты. Госпожа эта отличалась

тѣмъ тактомъ, который имѣлъ одинъ изъ блестящихъ ея предшественниковъ—Потемкинъ: зная нравъ старика и боясь быть смѣненной, она сама прилепывала ему неопасныхъ соперницъ. Благодарный старикъ платилъ привязанностью за такую снисходительную любовь, и они жили ладно.

Тюфиевъ все утро работалъ и былъ въ губернскомъ правленіи. Позвія жизни начиналась съ трехъ часовъ. Обѣдъ для него была вещь не шуточная. Онъ любилъ поѣсть, и поѣсть на людяхъ. У него на кухнѣ готовилось всегда на двѣнадцать человѣкъ; если гостей было меньше половины, онъ огорчался; если не больше двухъ человѣкъ, онъ былъ несчастенъ; если же никого не было, онъ уходилъ обѣдать, близкій къ отчаянію, въ комнаты Дульцинен. Достать людей для того, чтобъ ихъ накормить до тошноты, не трудная задача, но его официальное положеніе и страхъ чиновниковъ передъ нимъ не позволяли ни имъ свободно пользоваться его гостепріимствомъ, ни ему сдѣлать трактиръ изъ своего дома. Надобно было ограничиться совѣтниками, председателями (но съ половиной онъ былъ въ ссорѣ, т. е. не благоволилъ къ нимъ), рѣдкими протѣжками, богатыми кунцами, откупщиками и *странными*, нѣчто въ родѣ *capacités*, которыя хотѣли ввести при Людовикѣ Филиппѣ въ выборы. Разумѣется, я былъ странность первой величины въ Вяткѣ.

Людей, сосланныхъ на житье «за мѣня» въ дальніе города, нѣсколько боялся, но никакъ не смѣшивалъ съ обыкновенными смертными. «Опасные люди» имѣютъ тотъ интересъ для провинціи, который имѣютъ извѣстные ловлазы для женщинъ и куртизаны для мужчинъ. Опасныхъ людей гораздо больше избѣгаютъ петербургскіе чиновники и московскіе тузы, чѣмъ провинціальныя жители, особенно сибиряки.

Сосланные по четырнадцатому декабря пользовались огромнымъ уваженіемъ. Къ вдовѣ Юшневскаго дѣлали чиновники первый визитъ въ новый годъ. Сенаторъ Толстой, ревизовавши Сибирь, руководствовался свѣдѣніями, получаемыми отъ сосланныхъ декабристовъ, для повѣрки тѣхъ, которыя доставляли чиновники.

Минихъ завѣдывалъ изъ своей башни въ Пелымѣ дѣлами Тобольской губерніи. Губернаторы ходили къ нему совѣщаться о важныхъ дѣлахъ.

Простой народъ еще менѣ враждебенъ къ сосланнымъ; онъ вообще со стороны наказанныхъ. Около сибирской границы слово «ссылный» исчезаетъ и замѣняется словомъ «несчастный». Въ глазахъ русскаго народа судебный приговоръ не пятнаетъ чело-вѣка. Въ Пермской губерніи по дорогѣ въ Тобольскъ крестьяне выставляютъ часто квасъ, молоко и хлѣбъ въ маленькомъ окошкѣ

на случай, если «несчастный» будетъ тайкомъ пробираться изъ Сибири.

Кстати, говоря о сосланныхъ, за Нижнимъ начинаютъ встрѣчаться сосланные поляки, съ Казани число ихъ быстро возрастаетъ. Въ Перми было человѣкъ сорокъ, въ Вяткѣ не меньше; сверхъ того, въ каждомъ уѣздномъ городѣ было нѣсколько человѣкъ.

Они жили совершенно отдѣльно отъ русскихъ и удалялись отъ всякаго сообщенія съ жителями; между собою у нихъ было большое единодушіе, и богатые дѣлились братеки съ бѣдными.

Со стороны жителей я не видалъ ни ненависти, ни особеннаго расположенія къ нимъ. Они смотрѣли на нихъ, какъ на постороннихъ, къ тому же почти ни одинъ полякъ не зналъ по-русски.

Одинъ закоснѣлый сармать, старикъ, уланскій офицеръ при Понятовекомъ, дѣлавшій часть наполеоновскихъ походовъ, получилъ въ 1837 году дозволеніе возвратиться въ свои литовскіе помѣстья. Наканунѣ отъѣзда старикъ позвалъ меня и нѣсколько поляковъ отобѣдать. Послѣ обѣда мой кавалеристъ подошелъ ко мнѣ съ бокаломъ, обнялъ меня и съ военнымъ простодушіемъ сказалъ мнѣ на ухо: «*Да зачѣмъ же вы русскій!*» Я не отвѣчалъ ни слова, но замѣчаніе это сильно задало мнѣ въ грудь. Я понялъ, что *этому* поколѣнію нельзя было освободить Польшу.

Съ Конарскаго начиная, поляки совсѣмъ иначе смотрятъ на русскихъ.

Вообще поляковъ, сосланныхъ на житье, не тѣснятъ, но матеріальное положеніе ужасно для тѣхъ, которые не имѣютъ состоянія. Правительство даетъ неимущимъ *по 15 рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ*; изъ этихъ денегъ слѣдуетъ платить за квартиру, одѣваться, ѣсть и отопливаться. Въ довольно большихъ городахъ, въ Казани, Тобольскѣ, можно было что-нибудь выработать уроками, концертами, играя на балахъ, рисуя портреты, заводя танцъ-классы. Въ Перми и Вяткѣ не было и этихъ средствъ. И не смотря на то, у русскихъ они не просили ничего.

... Приглашеніе Тюфяева на его жирные сибирскіе обѣды было для меня истиннымъ наказаніемъ. Столовая его была та же канцелярія, но въ другой формѣ, менѣе грязной, но болѣе пошлой, потому что она имѣла видъ доброй волы, а не насилія.

Тюфяевъ зналъ своихъ гостей насквозь, презиралъ ихъ, показывая имъ иногда когти и вообще обращался съ ними въ томъ родѣ, какъ хозяинъ обращается съ своими собаками, то съ излишней фамиллярностью, то съ грубостью, выходящей изъ всѣхъ предѣловъ,—и все-таки онъ звалъ ихъ на свои обѣды, и они съ



трепетомъ и радостью являлись къ нему, унижаясь, сплетничая, подслуживаясь, угождая, улыбаясь, кланяясь.

Я за нихъ краснѣлъ и стыдился.

Дружба наша недолго продолжалась. Тюфиевъ скоро догадался, что я не гошусь въ «высшее» вятское общество.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ былъ мною недоволенъ, черезъ нѣсколько другихъ онъ меня ненавидѣлъ, и я не только не ходилъ на его обѣды, но вовсе пересталъ къ нему ходить. Прѣздъ наслѣдника спасъ меня отъ его преслѣдованій, какъ мы увидимъ послѣ.

Притомъ необходимо замѣтить, что я рѣшительно ничего не сдѣлалъ, чтобы заслужить сначала его вниманіе и приглашеніе, потомъ гнѣвъ и немилость. Онъ не могъ вынести во мнѣ чловѣка, державинаго себя независимо, но вовсе не дерзко; я былъ съ нимъ всегда en règle, онъ требовалъ подобострастія.

Онъ ревниво любилъ свою власть, она ему досталась трудовой копеейкой, и онъ искалъ не только повиновенія, но *вида* безпрекословной подчиненности. Но несчастію, въ этомъ онъ былъ націоналенъ.

Помѣщикъ говоритъ слугѣ: молчать, я не потерплю, чтобъ ты мнѣ отвѣчалъ.

Начальникъ департамента замѣчаетъ, блѣднѣя, чиновнику, дѣлающему возраженіе: вы забываетесь, знаете ли вы, съ *кѣмъ* вы говорите?

У Тюфиева была живучая, затаенная ненависть ко всему аристократическому, ее онъ сохранилъ отъ горькихъ испытаній. Для Тюфиева каторжная канцелярія Аракчеева была первой гаванью, первымъ освобожденіемъ. Прежде начальники не предлагали ему стула, употребляя его на мелкія комиссіи. Когда онъ служилъ по интендантской части, офицеры по-армейски преслѣдовали его, и одинъ полковникъ вытянулъ его на улицѣ въ Вильнѣ хлыстомъ... Все это возшло и назрѣло въ душѣ писаря; теперь, губернаторомъ, его чередъ тѣснить, не давать стула, говорить *ты*, поднимать голосъ больше, чѣмъ нужно, а иной разъ отдавать подъ судъ столбовыхъ дворянъ.

Изъ Перми Тюфиевъ былъ переведенъ въ Тверь. Дворянство, при всей уступчивости и при всемъ раболѣпін, не могло вынести Тюфиева. Они упростили министра Блудова удалить его. Блудовъ назначилъ его въ Вятку.

Тутъ онъ снова очутился въ своей средѣ. Чиновники и откупщики, заводчики и чиновники—раздолье да и только. Все трепетало его, все вставало передъ нимъ, все поклоу его, все давало ему обѣды, все глядѣло въ глаза: на свадьбахъ и именинахъ первый тостъ предлагали «за здравіе его превосходительства!»

## ГЛАВА XV.

Чиновники.— Сибирскіе генералъ-губернаторы.— Хищный полицмейстеръ. — Ручной судья.— Жареный исправникъ.— Татаринъ.— Мальчикъ женскаго пола.— Картофельный терроръ и проч.

Одинъ изъ самыхъ печальныхъ результатовъ петровскаго переворота,—это развитіе чиновническаго сословія. Классъ искусственный, необразованный, голодный, не умѣющій ничего дѣлать кромѣ «служенія», ничего не знающій кромѣ канцелярскихъ формъ, онъ составляетъ какое-то гражданское духовенство, священнодѣйствующее въ судахъ и полиціяхъ и сосущее кровь народа тысячами ртовъ, жадныхъ и нечистыхъ..

Гоголь приподнялъ одну сторону завѣшен и показалъ намъ русское чиновничество во всемъ безобразіи его; но Гоголь невольно примиряетъ смѣхомъ, его огромный комическій талантъ беретъ верхъ надъ негодованіемъ. Сверхъ того, въ колодкахъ русской цензуры онъ едва могъ касаться печальной стороны этого грязнаго подземелья, въ которомъ куются судьбы бѣднаго русскаго народа.

Тамъ, гдѣ-то въ законныхъ канцеляріяхъ, черезъ которыя мы сѣбѣ имѣемъ пройти, оптерханные люди пишутъ, пишутъ на сѣрой бумагѣ, переписываютъ на гербовую, и лица, семьи, цѣлыя деревни обижены, испуганы, разорены. Отецъ идетъ на поселенье, мать въ тюрьму, сынъ въ солдаты, и все это разразилось какъ громъ, нежданно, большей частью невинно. А изъ-за чего? Изъ-за денегъ. Складчину... или начнется слѣдствіе о мертвомъ тѣлѣ какого-нибудь пьяницы, сгорѣвшаго отъ вина и замерзнуvшаго отъ мороза. И голова собираетъ, староста собираетъ, мужики несутъ послѣднюю копейку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; совѣтнику надобно жить, да и дѣтей воспитать, совѣтникъ примѣрный отецъ...

Чиновничество царитъ въ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ Руси и въ Сибири; тутъ оно раскинулось безпрепятственно, безъ оглядки... дакъ страшная, все участвуютъ въ выгодахъ, кража становится *res publica*. Самая власть царская не можетъ пробить эти поденѣжныя, болотистыя траншеи изъ топки грязи. Все мѣры правительства — ослаблены, все желанія — искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано, и все съ видомъ вѣрноподданническаго раболѣпія и съ соблюденіемъ всехъ канцелярскихъ формъ.

Сперанскій пробовалъ облегчить участь сибирскаго народа. Онъ ввелъ всюду коллегіальное начало; какъ будто дѣло зависѣло отъ того, какъ кто крадетъ—по одиночкѣ или шайками. Онъ

сотнями отрѣзали старыхъ плутовъ и сотнями приняли новыхъ. Сначала онъ нагналъ такой ужасъ на земскую полицію, что мужики *брали* деньги съ чиновниковъ, чтобъ не ходить съ чело-  
бѣемъ. Года черезъ три чиновники наживались по новыхъ фор-  
мамъ не хуже, какъ по старымъ.

Нашелся другой чудакъ, генералъ Вельямшновъ. Года два онъ  
побился въ Тобольскѣ, желая уничтожить злоупотребленія, но,  
видя безуспѣшность, бросилъ все и совсѣмъ пересталъ занимать-  
ся дѣлами.

Другіе, благоразуміе его, не дѣлали опыта, а наживались и  
давали наживаться.

— Я искореню взятки, сказалъ московскій губернаторъ Сения-  
винъ сѣдому крестьянину, подавшему жалобу на какую-то явную  
несправедливость. Старикъ улыбнулся.

— Что же ты смѣешься? спросилъ Сениявинъ.

— «Да, батюшка, отвѣчалъ мужикъ, ты прости; на умъ при-  
шелъ мнѣ одинъ молодецъ нашъ, похвалялся царь-пунку под-  
нять, и точно пробовалъ,—да только пунку-то не поднялъ!»

Сениявинъ, который самъ разсказывалъ этотъ анекдотъ, при-  
надлежалъ къ тому числу непрактическихъ людей въ русской  
службѣ, которые думаютъ, что риторическими выходками о чест-  
ности и дееспотическимъ преслѣдованіемъ двухъ-трехъ плутовъ,  
которые подвернутся, можно помочь такой всеобщей болѣзни, какъ  
русское взяточничество, свободно растущее подъ тѣнью цензур-  
наго дерева.

Противъ него два средства: гласность и совершенно другая  
организация всей машины, введеніе снова народныхъ началъ тре-  
тейскаго суда, изустнаго процесса, цѣловальниковъ, и всего того,  
что такъ ненавидитъ петербургское правительство.

Генералъ-губернаторъ западной Сибири Пестель былъ настоя-  
щій римскій проконсулъ, да еще изъ самыхъ яростныхъ. Онъ  
завелъ открытый, систематическій грабежъ во всемъ краѣ, отрѣ-  
занномъ его лазутчиками отъ Россіи. Ни одно письмо не пере-  
ходило границы не распечатанное, и горе человѣку, который осмѣ-  
лился бы написать что-нибудь о его управленіи. Онъ купцовъ  
первой гильдіи держалъ по году въ тюрьмѣ, въ цѣняхъ, онъ ихъ  
пыталъ. Чиновниковъ посылалъ на границу восточной Сибири и  
оставлялъ тамъ года на два, на три.

Долго терпѣлъ народъ; наконецъ, какой-то тобольскій мѣща-  
нинъ рѣшился довести до свѣдѣнія государя о положеніи дѣлъ.  
Боясь обыкновеннаго пути, онъ отправился въ Кяхту и оттуда  
пробрался съ караваномъ чаевъ черезъ сибирскую границу. Онъ  
нашелъ случай въ Царскомъ-Селѣ подать Александру свою прось-  
бу, умоляя его прочесть ее. Александръ былъ удивленъ, пора-

женъ страшными вѣщами, прочтенными имъ. Онъ позвалъ мѣщанина и, долго говоря съ нимъ, убѣдился въ печальной истинѣ его доноса. Огорченный и нѣсколько смущенный, онъ сказалъ ему:

— Ступай, братецъ, теперь домой, дѣло это будетъ разобрано.

— «Ваше величество, отвѣчалъ мѣщанинъ, я къ себѣ теперь не пойду. Прикажите лучше меня запереть въ острогъ. Разговоръ мой съ вашимъ величествомъ не останется въ тайнѣ, — меня убьютъ».

Александръ содрогнулся и сказалъ, обращаясь къ Милорадовичу, который тогда былъ генералъ-губернаторомъ въ Петербургѣ:

— Ты мнѣ отвѣчаешь за него.

— «Въ такомъ случаѣ, замѣтилъ Милорадовичъ, позвольте мнѣ его взять къ себѣ въ домъ». Тамъ мѣщанинъ дѣйствительно и оставался до окончанія дѣла.

Нестель почти всегда жилъ въ Петербургѣ. Вспомните, что и проконсулы жили обыкновенно въ Римѣ. Онъ своимъ присутствіемъ и связями, а всего болѣе дѣлежомъ добычи, предупреждалъ всякіе непріятные слухи и дразги <sup>1)</sup>. Государственный совѣтъ, пользуясь отсутствіемъ Александра, бывшаго въ Веронѣ или Ахенѣ, умно и справедливо рѣшилъ, что такъ какъ рѣчь въ доносѣ идетъ о Сибири, то дѣло и передать на разборъ Нестелю, благо онъ налицо. Милорадовичъ, Мордвиновъ и еще человѣка два возстали противъ этого предложенія, и дѣло пошло въ сенатъ.

Сенатъ, съ тою несправедливостью, съ которой постоянно судить дѣла высшихъ чиновниковъ, выгородилъ Нестеля, а Трескина, тобольскаго гражданскаго губернатора, лишивъ чиновъ и дворянства, сослалъ куда-то на житье. Нестель былъ только отрѣшенъ отъ службы.

Послѣ Нестеля явился въ Tobольскъ Канцевичъ, изъ школы Аракчеева. Худой, желчевой, тиранъ по натурѣ, безпокойный исполнитель,—онъ приводилъ все во фрунтъ и строй, объявлялъ тахіміи на цѣны, а обыкновенныя дѣла оставлялъ въ рукахъ разбойниковъ. Въ 1824 году государь хотѣлъ посѣтить Tobольскъ. По Пермской губерніи идетъ превосходная широкая дорога, давно наѣзженная и которой вѣроятно способствовала почва. Канцевичъ сдѣлалъ такую же до Tobольска въ нѣсколько мѣсяцевъ. Весной, въ распутицу и стужу, онъ заставилъ тысячи работниковъ дѣ-

<sup>1)</sup> Это дало поводъ графу Растопчину отпустить колкое слово насчетъ Нестеля. Они оба обѣдали у государя. Государь спросилъ, стоя у окна: «Что это тамъ на церкви... на крестѣ, черное?»—Я не могу разглядѣть, замѣтилъ Растопчинъ; это надобно спросить у Бориса Ивановича, у него чудесные глаза, онъ видитъ отсюда, что дѣлается въ Сибири.

латъ дорогу; ихъ сгоняли по раскладкѣ изъ ближнихъ и дальнихъ поселеній; открылись болѣзни, половина рабочихъ перемерла, но «усердіе все превозмогаетъ»—дорога была сдѣлана.

Восточная Сибирь управляется еще больше спустя рукава. Это ужъ такъ далеко, что и вѣсти едва доходятъ до Петербурга. Въ Иркутскѣ генераль-губернаторъ Броневскій любилъ палить въ городъ изъ пушекъ, когда «гулялъ». А другой служилъ пьяный у себя въ домѣ обѣдно въ полномъ облаченіи и въ присутствіи архіерея. Но крайней мѣрѣ шумъ одного и набожность другого не были такъ вредны, какъ осадное положеніе Пестеля и неусыпная дѣятельность Канцевича.

Жаль, что Сибирь такъ скверно управляется. Выборъ генераль-губернаторовъ особенно несчастенъ. Не знаю, каковъ Муравьевъ; онъ извѣстенъ умомъ и способностями; остальные были нигде не годны. Сибирь имѣетъ большую будущность; на нее смотрятъ только какъ на подвалъ, въ которомъ много золота, много мѣху и другого добра, но который холоденъ, занесенъ снѣгомъ, бѣденъ средствами жизни, не изрѣзанъ дорогами, не населенъ. Это невѣрно.

Русское правительство не умѣетъ сообщить тотъ жизненный толчекъ, который увлекъ бы Сибирь съ американской быстротой впередъ. Увидимъ, что будетъ, когда устья Амура откроются для судоходства и Америка встрѣтится съ Сибирью возлѣ Китая.

Я давно говорилъ, что *Тихій океанъ—Средиземное море будущею*<sup>1)</sup>. Въ этомъ будущемъ роль Сибири, страны между океаномъ, южной Азіей и Россіей, чрезвычайно важна. Разумѣется, Сибирь должна спуститься къ китайской границѣ. Не въ самомъ же дѣлѣ мерзнуть и дрожать въ Березовѣ и Якутскѣ, когда есть Красноярскъ, Минусинскъ и пр.

Самое русское народонаселеніе въ Сибири имѣетъ въ характерѣ своемъ начала, намекающія на пное развитіе. Вообще сибирское племя здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дѣти поселъщиковъ, сибиряки, вовсе не знаютъ помѣщичьей власти. Дворянства въ Сибири нѣтъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ нѣтъ и аристократіи въ городахъ; чиновникъ и офицеръ, представители власти, скорѣе похожи на непріятельскій гарнизонъ, поставленный побѣдителемъ, чѣмъ на аристократію. Огромныя разстоянія спасаютъ крестьянъ отъ частаго сношенія съ ними; деньги спасаютъ купцовъ, которые въ Сибири презираютъ чиновниковъ и, наружно уступая имъ, принимаютъ ихъ за то, что они есть,—за своихъ приказчиковъ по гражданскимъ дѣламъ.

---

<sup>1)</sup> Съ большой радостью видѣлъ я, что Нью-Йоркскіе журналы нѣсколько разъ повторили это.

Привычка къ оружію, необходимая для сибиряка, повсемѣстна; привычка къ опасностямъ, къ расторопности, сдѣлали сибирскаго крестьянина болѣе воинственнымъ, находчивымъ, готовымъ на отпоръ, чѣмъ великорусскаго. Даль церквей оставила его умъ свободнѣе, чѣмъ въ Россіи, онъ холоденъ къ религіи, большей частью раскольникъ. Есть дальнія деревеньки, куда пошъ ѣздитъ раза три въ годъ и гуртомъ накрещиваетъ, хоронитъ, женитъ и, исповѣдуетъ за всё время.

По сию сторону Уральскаго хребта дѣла дѣлаются скромнѣе, и несмотря на то, я томы могъ бы наполнить анекдотами о злоупотребленіяхъ и плутовствѣ чиновниковъ, слышанными мною въ продолженіе моей службы въ канцеляріи и столовой губернатора.

— Вотъ былъ профессоръ-съ—мой предшественникъ, говорилъ мнѣ въ минуту задушевнаго разговора вятскій полицмейстеръ, ну, конечно, эдакъ жить можно, только на это надобно родиться-съ; это въ своемъ родѣ, могу сказать, Сеславинъ, Фигнеръ,—и глаза хромого маіора, за рану произведеннаго въ полицмейстеры, блистали при воспоминаніи славнаго предшественника.

— Показалась шайка воровъ, недалеко отъ города; разъ, другой, доходить до начальства: то у купцовъ товаръ ограбленъ, то у управляющаго по откунамъ деньги взяты. Губернаторъ въ хлопотахъ, нишетъ одно предписаніе за другимъ. Ну, знаете, земская полиція трусъ; такъ какого-нибудь воринку связать да предтавить она умѣетъ, а тамъ шайка, да и пожалуй съ ружьями. Земскіе ничего не сдѣлали. Губернаторъ призываетъ полицмейстера и говорить:

— «И, молъ, знаю, что это вовсе не ваша должность, но ваша распорядительность заставляетъ меня обратиться къ вамъ».

Полицмейстеръ прежде ужъ о дѣлѣ былъ наслышанъ.

— Генералъ, отвѣчаетъ онъ, я ѣду черезъ часъ. Воры должны быть тамъ-то и тамъ-то, я беру съ собой команду, найду ихъ тамъ-то и тамъ-то и черезъ два-три дня приведу ихъ въ цѣняхъ въ губернскій острогъ. Вѣдь, это Суворовъ-съ у австрійскаго императора! Дѣйствительно: сказано, сдѣлано,—онъ ихъ такъ и накрылъ съ командой, денегъ не успѣли спрятать, полицмейстеръ все взялъ и представилъ воровъ въ городъ.

Начинается слѣдствіе, полицмейстеръ спрашиваетъ: — Гдѣ дспыги?

— «Да мы ихъ тебѣ, батюшка, сами въ руки отдали», отвѣчаютъ двое воровъ.

— Мнѣ? говоритъ полицмейстеръ, пораженный удивленіемъ.

— «Тебѣ, кричатъ воры, тебѣ».

— Вотъ дерзость-то, говоритъ полицмейстеръ частному представу, блѣдитъ отъ негодованія; да вы, мошенники, пожалуй,



увѣрите, что я вмѣстѣ съ вами грабилъ. Такъ вотъ я вамъ покажу, каково марасть мой мундиръ; я уланскій корнетъ и честь свою не дамъ въ обиду!

Онъ ихъ сѣчь,—признавайся да и только, куда деньги дѣли? Тѣ сначала свое. Только какъ онъ велѣлъ имъ закатить *на двѣ трубки*, такъ главный-то изъ воровъ закричалъ: «Виноваты, деньги прогуляли».

— Давно бы такъ, говоритъ полицмейстеръ, а то несешь вздоръ такой; меня, братъ, нескоро надуешь.

— «Ну, ужъ точно, намъ у вашего благородія надобно учиться, а не вамъ у насъ. Гдѣ намъ!» пробормоталъ старый плутъ, съ удивленіемъ поглядывая на полицмейстера.—А, вѣдь, онъ за это дѣло получилъ Владимира въ петлицу.

— Позвольте, спросилъ я, перебивая похвальное слово великому полицмейстеру,—что же это значить: *на двѣ трубки*?

— Это такъ у насъ, *домашнее* выраженіе. Скучно, знаете, при наказаніи, ну такъ велишь сѣчь да и куришь трубку, обыкновенно къ концу трубки и наказанію конецъ; ну, а въ экстренныхъ случаяхъ велишь иной разъ и на двѣ трубки угостить пріятеля. Полицейскіе привычны, знаютъ примѣрно сколько.

Объ этомъ Фигнеръ и Сеславинъ ходили цѣлыя легенды въ Вяткѣ. Онъ чудеса дѣлалъ. Разъ, не помню по какому поводу, призжалъ ли генераль-адъютантъ какой или министръ, полицмейстеру хотѣлось показать, что онъ не даромъ посылъ уланскій мундиръ и что колышетъ шпорой не хуже другого свою лошадь. Для этого онъ адресовался съ просьбой къ одному изъ Машковцевыхъ, богатыхъ купцовъ того края, чтобъ онъ ему далъ свою сѣрую, дорогую верховую лошадь. Машковцевъ не далъ.

— Хорошо, говоритъ Фигнеръ, вы эдакой бездѣлицы не хотите сдѣлать по доброй волѣ, я и безъ вашего позволенія возьму лошадь.

— «Ну это еще посмотримъ!» сказала *злато*.

— Ну и увидите, сказалъ *булатъ*.

Машковцевъ заперъ лошадь, приставилъ двухъ караульных. На этотъ разъ полицмейстеръ ошибется.

Но въ эту ночь, какъ нарочно, загорѣлись пустые сараи, принадлежавшіе откупщикамъ и находившіеся за самымъ машковцевымъ домомъ. Полицмейстеръ и полицейскіе дѣйствовали отлично; чтобъ спасти домъ Машковцева, они даже разобрали стѣну конюшни и вывели, не опаливши ни гривы, ни хвоста, спорную лошадь. Черезъ два часа полицмейстеръ, парадирюя на бѣломъ жеребцѣ, ѣхалъ получать благодарность особы за примѣрное потушеніе пожара. Послѣ этого никто не сомнѣвался въ томъ, что полицмейстеръ все можетъ сдѣлать.

Губернаторъ Рыхлевскій ѣхалъ изъ собранія; въ то время какъ его карета двинулась, какой-то кучеръ съ небольшими санками, заѣзжавшійся, попалъ между постромокъ двухъ коренныхъ и двухъ переднихъ лошадей. Изъ этого вышла минутная конфузія, не помѣнявшая Рыхлевекому преспокойно пріѣхать домой. На другой день губернаторъ спросилъ полицмейстера, знаетъ ли онъ, чей кучеръ вѣхалъ ему въ постромки, и что его слѣдуетъ постращать.

— Этотъ кучеръ, ваше превосходительство, не будетъ больше въ постромки заѣзжать, я ему влѣпилъ порядочный урокъ, отвѣчалъ, улыбаясь, полицмейстеръ.

— «Да чей онъ?»

— Совѣтника Кулакова-съ, ваше превосходительство.

Въ это время старикъ совѣтникъ, котораго я засталъ и оставилъ тѣмъ же совѣтникомъ губернскаго правленія, взошелъ къ губернатору.

— «Вы насъ простите, сказалъ губернаторъ ему, что мы вашего кучера поучили».

Удивленный совѣтникъ, не понимая ничего, смотрѣлъ вопросительно.

— «Вчера онъ заѣхалъ мнѣ въ постромки. Вы понимаете, если онъ мнѣ заѣхалъ, то...»

— Да, ваше превосходительство, я вчера да и хозяйка моя сидѣли дома, и кучеръ былъ дома.

— «Что это значить?» спросилъ губернаторъ.

— Я, ваше превосходительство вчера былъ такъ занятъ, голова крутомъ шла, виноватъ, совсѣмъ забылъ о кучерѣ и, признаюсь, не посмѣлъ доложить это вашему превосходительству. Я хотѣлъ сейчасъ распорядиться.

— «Ну, вы настоящій полицмейстеръ, нечего сказать!» замѣтилъ Рыхлевскій.

Рядомъ съ этимъ хищнымъ чиновникомъ, я покажу вамъ и другую, противоположную породу—чиновника мягкаго, сострадательнаго, ручнаго.

Между моими знакомыми былъ одинъ почтенный старецъ, исправникъ, отрѣшенный по сенаторской ревизіи отъ дѣлъ. Онъ занимался составленіемъ просьбъ и хожденіемъ по дѣламъ, что именно было ему запрещено. Чѣловѣкъ этотъ, начавшій службу съ незапамятныхъ временъ, воровалъ, подкаблывалъ, наводилъ ложныя справки въ трехъ губерніяхъ, два раза былъ подъ судомъ и пр. Этотъ ветеранъ земской полиціи любилъ рассказывать удивительные анекдоты о самомъ себѣ и своихъ сослуживцахъ, не скрывая своего презрѣнія къ выродившимся чиновникамъ новаго поколѣнія.

— Это такъ, вертопрахи, говорилъ онъ; конечно, они берутъ, безъ этого жить нельзя, но, то-есть, эдакъ ловкости или знанія закона и не спрашивайте. Я расскажу вамъ, для примѣра, объ одномъ пріятелѣ. Судьей былъ лѣтъ двадцать, въ прошедшемъ году помре, вотъ былъ голова! И мужики его лихомъ не поминуютъ, и своимъ хлѣба кусокъ оставилъ. Советѣмъ особенную манеру имѣлъ. Придетъ, бывало, мужикъ съ просьбицей, судья сейчасъ пускаетъ къ себѣ, такой ласковый, веселый.

— Какъ, дидать, дядюшка, твое имя и батюшку твоего какъ звали?

Крестьянинъ кланяется.—«Ермолаемъ, молъ, батюшка, а отца Григорьемъ прозывали».

— Ну, здравствуйте, Ермолай Григорьевичъ, изъ какихъ мѣстъ Господь несетъ?

— «А мы Дубиловскіе».

— Знаю, знаю. Мельницы-то, кажись, ваши вправо отъ дороги— отъ трахта.

— «Точно, батюшка, мельницы общинныя наши».

— Село зажиточное, земляца хорошая, черноземъ».

— «На Бога не жалобимся, нешто, кормилецъ».

— Да, вѣдь, оно и нужно. Не боюсь у тебя, Ермолай Григорьевичъ, семейка не малая?

— «Три сыночка, да дѣвки двѣ, да во дворъ къ старшей принялъ молодца, пятый годокъ пошелъ».

— Чай ужъ и внучата завелись?

— «Есть точно небольшое дѣло, ваша милость».

— И слава Богу! плодитесь и умножайтесь. Ну-тка, Ермолай Григорьевичъ, дорога дальняя, выпьемъ-ка рюмочку березовой.

Мужикъ ломается. Судья наливаетъ ему, приговаривая:

— Полно, полно, братъ, сегодня отъ святыхъ отцевъ нѣтъ запрета на вино иелей.

— «Оно точно, что запрету нѣтъ; но вино-то и доводитъ человека до всѣхъ бѣдъ». Тутъ онъ крестится, кланяется и пьетъ березовку.

— При такой семейкѣ, Григорьичъ, небось накладно жить? Каждого накормить, одѣть—одной кляченкой или коровенкой не оборотишь дѣла, молока не достанетъ.

— «Помилуй, батюшка, куда толкнешься съ одной лошадежкой; есть такъ тройчка, была четвертая саврасая, да пала съ глазу о Петровки; плотникъ у насъ, Дороевъ, не приведи Богъ, ненавидитъ чужое добро и глазъ у него больно дурень».

— Бываетъ-съ, бываетъ-съ. А у васъ, вѣдь, выгоны большіе, небось барашковъ держите!

— «Нешто, есть и барашки».

— Охъ, затолковался я съ тобой. Служба, Ермолай Григорьичъ, царская, пора въ судъ. Что у тебя дѣльцо, что-ли?

— «Точно, ваша милость, есть».

— Ну, что такое? повздорили что-нибудь? поскорѣе, дядя, рассказывай, пора ѣхать.

— «Да что, отецъ родной, бѣда подъ старость лѣтъ пришла... Вотъ въ самое-то Успеніе были мы въ иштейномъ, ну, и крупно поговорили съ сусѣдскимъ крестьяниномъ,—такой безобразный человѣкъ, нантъ лѣсъ крадетъ. Только поговоримъ, онъ размахнулся да меня кулакомъ въ грудь. «Ты, молъ, въ чужой деревни не дерись», говорю я ему, да хотѣлъ, такъ, то-есть, примѣръ сдѣлать, тычка ему дать, да съ пьяну что ли, или нечистая сила, прямо ему въ глазъ; ну, и попортилъ, то-есть, глазъ, а онъ со старостой церковнымъ сейчасъ къ становому,—хочу, дискать, судъ по формѣ».

Во время разсказа, судья—что ваши петербургскіе актеры!—все становился серьезнѣе, глаза эдакіе сдѣластъ страшные и ни слова.

Мужикъ видитъ и блѣднѣетъ, ставитъ шляпу у ногъ и вынимаетъ полотенце, чтобъ обтереть потъ. Судья все молчитъ и въ книжкѣ листочки перевертываетъ.

— «Такъ вотъ я, батюшка, къ тебѣ и пришелъ», говоритъ мужикъ не своимъ голосомъ.

— Чего-жъ я могу сдѣлать тутъ? Экая причина! И зачѣмъ же это прямо въ глазъ?

— «Точно, батюшка, зачѣмъ... врагъ попуталъ».

— Жаль, очень жаль! Изъ чего домъ долженъ погибнуть! Ну, что семья безъ тебя останется? все молодежь; а внучата мелкота, да и старушку-то твою жаль.

У мужика начинаютъ ноги дрожать.—«Да что же, отецъ родной, къ чему же это я себя угодилъ?»

— Вотъ, Ермолай Григорьичъ, читай самъ... или того, грамота-то не далась? Ну, вотъ видишь «о членовредителяхъ» статья... Наказавши плетью, сослать въ Сибирь на поселенье.

— «Не дай разориться человѣку! не погуби христіанина! Развѣ нельзя какъ...?»

— Экой ты какой! Развѣ супротивъ закона можно идти? Конечно, все дѣло рукъ человѣческихъ. Ну, вмѣсто тридцати ударовъ, мы назначимъ эдакъ пяточекъ.

— «Да то-есть въ Сибирь-то?...»

— Не въ нашей, братецъ ты мой, волѣ.

Тащитъ мужикъ изъ-за пазухи кошелекъ, вынимаетъ изъ кошелька бумажку, изъ бумажки два, три золотыхъ и съ низкимъ поклономъ кладетъ ихъ на столъ.

— Это что, Ермолай Григорьевичъ?

— «Спаси, батюшка».

— И полно, полно! что ты это? Я, грѣшный человѣкъ, иной разъ беру благодарность. Жалованье у меня малое, но неволѣ возьмешь; но принять, такъ было бы за что. Какъ я тебѣ помогу? Добро бы ребро или зубъ, а то прямо въ глаза! Возьмите денежки ваши назадъ.

Мужичекъ уничтоженъ.

— Развѣ вотъ что: поговорить мнѣ съ товарищами, да и въ губернію отнестись? Неравно дѣло пойдетъ въ палату, тамъ у меня есть пріятели, все сдѣлаютъ; ну, только это люди другого сорта, тутъ тремя лобанчиками не отдѣлаешься.

Мужикъ начинаетъ приходить въ себя.

— Мнѣ, пожалуй, ничего не давай, мнѣ семью жалъ; ну, а тѣмъ меньше двухъ сѣренскихъ и предлагать нечего.

— «То есть, какъ предъ Богомъ, ума не приложу, гдѣ это достать такую палестину денегъ—четыреста рублей—время же какое?»

— Я такъ и самъ думаю, что оно трудновато. Наказанье мы уменьшимъ, за раскаянье, молъ, и принявъ въ соображеніе нетрезвый видъ... Вѣдь, и въ Сибири люди живутъ. Тебѣ же не Богъ вѣсть какъ далеко идти... Конечно, если продать парочку лошадокъ, да одну изъ коровъ, да баранковъ, оно можетъ и хватить. Да скоро ли потомъ въ крестьянскомъ дѣлѣ сколотини столько денегъ! А, съ другой стороны, подумаешь, лошадки-то останутся, а ты-то пойдешь себѣ, куда Макарь телятъ не гошилъ. Подумай, Григорычъ, время терпѣть, пообождемъ до завтра, а мнѣ пора, прибавляетъ судья и кладетъ въ карманъ лобанчики, отъ которыхъ отказался, говоря: это вовсе лишнее, я беру только, чтобъ васъ не обидѣть.

На другое утро, глядя, старый жидъ тащить разными крестовиками да старинными рублями рублей триста пятьдесятъ ассигнаціями къ судѣ.

Судья обѣщаетъ пещься объ дѣлѣ; мужика судятъ, судятъ, страшатъ, а потомъ и выпускаютъ съ какимъ-нибудь легкимъ наказаніемъ или съ совѣтомъ впредь въ подобныхъ случаяхъ быть осторожнымъ, или съ отмѣткой: «оставить въ подозрѣніи», и мужикъ всю жизнь молить Бога за судью.

Вотъ какъ дѣлали встарь, приговаривалъ отрѣшенный отъ дѣла исправникъ, на чистоту.

... Вятскіе мужики вообще не очень выносливы. Зато ихъ и считаютъ чиновники ябедниками и безпокойными. Настоящій кладъ для земской полиціи, это—вотяки, мордва, чувашин; народъ жалкій, робкій, бездарный. Исправники даютъ двойной окупъ губернаторамъ за назначеніе ихъ въ уѣзды, населенные финнами.

Полиція и чиновники дѣлаютъ невѣроятныя вещи съ этими бѣдняками.

Землемѣръ ли ѣдетъ съ порученіемъ черезъ вотекую деревню, онъ непремѣнно въ ней останавливается, беретъ съ телѣги астролябію, вбиваетъ шестъ, протягиваетъ цѣпь. Черезъ часъ вся деревня въ смитеніи. «Межемѣрія, межемѣрія!» говорятъ мужики съ тѣмъ видомъ, съ которымъ въ 12-мъ году говорили «французъ, французъ!» Является староста поклониться съ міромъ. А тотъ все мѣриетъ и записываетъ. Онъ его проситъ не обмѣрить, не обидѣть. Землемѣръ требуетъ двадцать, тридцать рублей. Вотяки радехоньки, собираютъ деньги—и землемѣръ ѣдетъ до слѣдующей вотекой деревни.

Понадѣтся ли мертвое тѣло исправнику съ становымъ, они его возятъ двѣ недѣли, пользуясь морозомъ, по вятскимъ деревнямъ, и въ каждой говорятъ, что сейчасъ подняли и что слѣдствіе и судъ назначены въ ихъ деревнѣ. Вотяки откупаются.

За нѣсколько лѣтъ до моего пріѣзда, исправникъ, разохотившійся брать выкуны, привезъ мертвое тѣло въ большую русскую деревню и требовалъ, помнится, двѣсти рублей. Староста собралъ міръ; міръ больше ста не давалъ. Исправникъ не уступалъ. Мужики разсердились, заперли его съ двумя писарями въ волостномъ правленіи и, въ свою очередь, грозили ихъ сжечь. Исправникъ не повѣрилъ угрозѣ. Мужики обложили избу соломой и какъ ультиматумъ подали исправнику на шестѣ въ окно сторублевую ассигнацію. Героическій исправникъ требовалъ еще сто. Тогда мужики зажгли съ четырехъ сторонъ солому, и все три Муціи Сцеволы земской полиціи сгорѣли. Дѣло это было потомъ въ сенатѣ.

Вотскія деревни вообще гораздо бѣднѣе русскихъ.

— Плохо, братъ, ты живешь, говорилъ я хозяину вотяку, дожидаясь лошадей въ душной, черной и покосившейся избушкѣ, поставленной окнами назадъ, т. е. на дворъ.

— «Что, бачка, дѣлать? мы бѣдна, деньга бережемъ на черная дня».

— Ну, чернѣе мудрено быть дню, старинушка, сказалъ я ему, наливая рюмку рому, вышей-ка съ горя.

— «Мы не пьемъ», отвѣчалъ вотякъ, страстно глядя на рюмку и подозрительно на меня.

— Полно, нутка бери.

— «Вышей сама прежде».

Я выпилъ и вотякъ выпилъ. «А ты что? спросилъ онъ, съ губернія, по дѣлу?»

— Нѣтъ, отвѣчалъ я, проѣздомъ, ѣду въ Вятку. Это его значительно успокоило, и онъ, осмотрѣвшись на все стороны, прибавилъ въ видѣ поясненія: «Черной дня, когда исправникъ да *поны* пріѣдутъ».

Вотъ о послѣднемъ-то я и хочу рассказать вамъ кое-что.



Финское населеніе долею приняло крещеніе въ донетровскія времена, долею было окрещено въ царствованіе Елизаветы и долею осталось въ язычествѣ. Большая часть крещенныхъ при Елизаветѣ тайно придерживается своей печальной, дикой религіи <sup>1)</sup>.

Года черезъ два, три, исправникъ или становой отправляются съ пономѣмъ по деревнямъ ревизовать, кто изъ вотяковъ говѣть, кто иѣтъ, и почему иѣтъ. Ихъ тѣснятъ, сажаютъ въ тюрьму, съкутъ, заставляютъ платить требы; а главное, пошъ и исправникъ ищутъ какое-нибудь доказательство, что вотяки не оставили своихъ прежнихъ обрядовъ. Тутъ сыщикъ и миссіонеръ поднимаютъ бурю, берутъ огромный окупъ, дѣлаютъ «черная дня», потомъ уѣзжаютъ, оставляя все по старому, чтобъ имѣть случай черезъ годъ, другой снова поѣхать.

Въ 1835 году святѣйшій синодъ счелъ нужнымъ обратить черемисовъ-язычниковъ въ православіе.

Митрополитъ Филаретъ отрядилъ миссіонеромъ бойкаго священника. Его звали Курбановскимъ. Сидѣемый русской болѣзнію, честолюбіемъ, Курбановскій горячо принялся за дѣло. Сначала онъ пробовалъ проповѣдывать, но это ему скоро надоѣло. И въ самомъ дѣлѣ, много ли возмешь этимъ старымъ средствомъ?

Черемисы, смекнувши въ чемъ дѣло, прислали своихъ священниковъ, дикихъ, фанатическихъ и ловкихъ. Они, послѣ долгихъ разговоровъ, сказали Курбановскому: «Въ лѣсу есть бѣлыя березы, высокія сосны и ели, есть тоже и малая можжуха. Богъ всѣхъ ихъ терпитъ и не велитъ можжухѣ быть сосной. Такъ вотъ и мы межъ собой, какъ лѣсъ. Будьте вы бѣлыми березами, мы останемся можжухой, мы вамъ не мѣшаемъ, за царя молимся, подать платимъ и рекрутовъ ставимъ, а святыни своей измѣнить не хотимъ» <sup>2)</sup>.

Курбановскій увидѣлъ, что съ ними не столкнешь и что доля Кирилла и Меѳодія ему не удастся; онъ обратился къ исправ-

<sup>1)</sup> Всѣ молитвы ихъ сводятся на матеріальную просьбу о продолженіи ихъ рода, объ урожаѣ, о сохраненіи стада и больше ничего. «Дай, Юмала, чтобъ отъ одного барана родилось два, отъ одного зерна родилось пять, чтобъ у моихъ дѣтей были дѣти». Въ этой неувѣренности въ земной жизни и хлѣбѣ насущномъ есть что-то отжившее, подавленное, несчастное и печальное. Діаволъ (шайтанъ) почитается наравнѣ съ богомъ. Я видѣлъ сильный пожаръ въ одномъ селѣ, въ которомъ жители были перемѣшаны—русскіе и вотяки. Русскіе таскали вещи, кричали, хлопотали, особенно между ними отличался цѣловальникъ. Пожаръ остановить было невозможно; но спасти кое-что было сначала легко. Вотяки собрались на небольшой холмикъ и плакали навзрыдъ, ничего не дѣлая.

<sup>2)</sup> Подобный отвѣтъ (если Курбановскій его не выдумалъ) былъ иѣкогда сказанъ крестьянами въ Германіи, которыхъ хотѣли обращать въ католицизмъ.

нику. Исправникъ обрадовался до нелзя; ему давно хотѣлось показать свое усердіе къ церкви,—онъ былъ некрещеный татаринъ, т. е. правовѣрный магометанинъ, по названію Девлетъ-Килдѣевъ.

Исправникъ взялъ съ собою команду и поѣхалъ осаждать черемисовъ. Нѣсколько деревень были окрещены. Курбановскій отслужилъ молебствіе и отправился смиренно получать камилавку. Татарину правительство прислало Владимірскій крестъ.

По несчастію, татаринъ-миссіонеръ былъ не въ ладахъ съ муллою въ Малмыжѣ. Мулла совѣмъ не правилось, что правовѣрный сынъ корана такъ усильно проповѣдуетъ Евангеліе. Въ рамазанъ исправникъ, отчаянно привизавши крестъ въ петлицу, явился въ мечети и, разумѣется, сталъ впереди всѣхъ. Мулла только было началъ читать въ носъ Коранъ, какъ вдругъ остановился и сказалъ, что онъ не смѣетъ продолжать въ присутствіи *правовѣрнаго*, пришедшаго въ мечеть съ христіанскимъ знаменіемъ.

Татары заронтали, исправникъ смѣшался и куда-то спрятался или снялъ крестъ.

Я потомъ читалъ въ журналѣ министерства внутреннихъ дѣлъ объ этомъ блестящемъ обращеніи черемисовъ. Въ статьѣ было упомянуто ревностное содѣйствіе Девлетъ-Килдѣева. По несчастію, забыли прибавить, что усердіе къ церкви было тѣмъ болѣе безкорыстно у него, чѣмъ тверже онъ вѣрилъ въ исламизмъ.

Передъ окончаніемъ моей вятской жизни департаментъ государственныхъ имуществъ воровалъ до такой наглости, что надъ нимъ назначили слѣдственную комиссію, которая разослала ревизоровъ по губерніямъ. Съ этого началось введеніе новаго управленія государственными крестьянами.

Губернаторъ Корниловъ долженъ былъ назначить отъ себя двухъ чиновниковъ при ревизіи. Я былъ одинъ изъ назначенныхъ. Чего не пришлось мнѣ тутъ прочесть! и печальнаго, и смѣшнаго, и гадкаго. Самые заголовки дѣлъ поражали меня удивленіемъ.

«Дѣло о потери *неизвѣстно* куда дома волостного правленія и о изгрызеніи плана онаго мышами».

«Дѣло о потери *двадцати двухъ* казенныхъ оброчныхъ статей», т. е. верстъ пятнадцати землѣ.

«Дѣло о перечисленіи крестьянскаго мальчика Василья въ женскій полъ».

Послѣднее было такъ хорошо, что я тотчасъ прочелъ его отъ доски до доски.

Отецъ этого предполагаемаго Василья пишетъ въ своей просьбѣ губернатору, что лѣтъ пятнадцать тому назадъ у него родилась

дочь, которую онъ хотѣлъ назвать Василисой, но что священникъ, бывъ «подъ хмелькомъ», окрестилъ дѣвочку Васильемъ и такъ внесъ въ метрику. Обстоятельство это, повидимому, мало беспокоило мужика, но когда онъ понялъ, что скоро надеть на его домъ рекрутская очередь и подушная, тогда онъ объявилъ о томъ головѣ и станому. Случай этотъ показался полиціи очень му-дрень. Она предварительно отказала мужику, говоря, что онъ про-пустилъ десятилѣтнюю давность. Мужикъ пошелъ къ губернатору. Губернаторъ назначилъ торжественное освидѣтельствованіе этого мальчика женскаго пола медякомъ и повивальной бабкой... Тутъ ужъ какъ-то завелась перениска съ консисторіей, и попъ, наслѣд-никъ того, который подъ хмелькомъ цѣломудренно не разбиралъ плотскихъ различій, выступилъ на сцену, и дѣло длилось годы, и чуть ли дѣвочку не оставили въ подозрѣніи мужескаго пола.

Не думайте, что это пелѣное предположеніе сдѣлано мною для шутки.

При Павлѣ, какой-то гвардейскій полковникъ въ мѣсячномъ рапортѣ показалъ умершимъ офицера, который отходилъ въ боль-ницѣ. Павелъ его исключилъ за смертью изъ списковъ. Но не-счастью, офицеръ не умеръ, а выздоровѣлъ. Полковникъ упро-силъ его на годъ или на два уѣхать въ свои деревни, надѣясь смыкать случай поправить дѣло. Офицеръ согласился, но, на бѣду полковника, наслѣдники, прочитавшіе въ приказахъ о смерти родственника, ни за что не хотѣли его признавать живымъ и, без-утѣшные отъ потери, настойчиво требовали ввода во владѣніе. Когда живой мертвецъ увидѣлъ, что ему приходится въ другой разъ умирать, и не съ приказу, а съ голоду, тогда онъ поѣхалъ въ Петербургъ и подалъ Павлу просьбу.

Это еще лучше моей Василисы-Василья.

Какъ ни грязно и ни тошно въ этомъ болотѣ приказныхъ дѣлъ, но прибавлю еще нѣсколько словъ. Эта гласность—последнее, сла-бое вознагражденіе страдавшимъ, погибнувшимъ безъ вѣсти, безъ утѣшенія.

Правительство даетъ охотно въ награду высшимъ чиновни-камъ пустопорожнія земли. Вреда въ этомъ большого нѣтъ, хотя умнѣе было бы сохранить эти запасы для умножающагося насе-ленія. Правила, по которымъ велѣно отмежевывать земли, до-вольно подробны; нельзя давать береговъ судоходной рѣки, строе-вого лѣса, обоеихъ береговъ рѣки, наконецъ, ни въ какомъ слу-чаѣ не велѣно выдѣлять земель, обработанныхъ крестьянами, хотя бы крестьяне не имѣли никакихъ правъ на эти земли, кро-мѣ давности... <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Въ Вятской губерніи крестьяне особенно любятъ переселяться. Очень часто въ лѣсу открываются вдругъ три-четыре починка. Огромныя земли

Все это, разумѣется, на бумагѣ. На дѣлѣ отмежеваніе земель въ частное владѣніе страшный источникъ грабежа казны и притѣсненія крестьянъ.

Благородные вельможи, получающіе аренды, обыкновенно или продаютъ свои права кунцамъ, или стараются черезъ губернское начальство завладѣть вопреки правиламъ чѣмъ-нибудь особеннымъ. Самъ графъ Орловъ случайно получилъ въ надѣль дорогу и пастбища, на которыхъ останавливаются гурты въ Саратовской губерніи.

Дивиться, стало быть, нечему, что однимъ добрымъ утромъ у крестьянъ Даровской волости, Котельническаго уѣзда, отрѣзали землю вплоть до гуменниковъ и домовъ и отдали въ частное владѣніе кунцамъ, купившимъ аренду у какого-то родственника графа Канкринна. Кунцы положили наемную плату за землю. Изъ этого началось дѣло. Казенная палата, закупленная кунцами и боясь родственника Канкринна, запутала дѣло. Но крестьяне рѣшились его вести настойчиво; они выбрали двухъ толковыхъ мужиковъ и отправили ихъ въ Петербургъ. Дѣло пошло въ сенатъ. Межевой департаментъ догадался, что мужики правы, но не знаютъ, что дѣлать, и спросилъ Канкринна. Канкринъ просто призналъ, что земли неправильно отрѣзана, но считалъ затруднительнымъ возвратить ее, потому что она съ тѣхъ поръ могла быть перепродаваема и что владѣльцы оной могли сдѣлать разныя улучшенія. А потому его снѣтельство положило, пользуясь большимъ количествомъ казенныхъ земель, надѣлить крестьянъ полнымъ количествомъ съ другой стороны. Это поправилось всѣмъ, кромѣ крестьянъ. Во-первыхъ, шуточное ли дѣло вновь разрабатывать поля? Во-вторыхъ, земля съ другой стороны оказалась неудобною, болотистою. Такъ какъ крестьяне Даровской волости больше занимались хлѣбопашествомъ, чѣмъ охотой за дунелями и бекасами, то они снова подали просьбу.

Тогда казенная палата и министерство финансовъ отдѣлили новое дѣло отъ прежняго и, найдя законъ, въ которомъ сказано, что если попадется неудобная земля, идущая въ надѣль, то не вырѣзывать ее, а прибавлять еще половинное количество, велѣли дать даровскимъ крестьянамъ къ болоту еще полболота.

Крестьяне снова подали въ сенатъ, но пока ихъ дѣло дошло до разбора, межевой департаментъ прислалъ имъ планы на новую землю, какъ водится, перенелетенные, раскрашенные, съ изображеніемъ звѣзды вѣтровъ, съ приличными объясненіями ромба R R Z

и лѣса (до половины уже сведенные) увлекаютъ крестьянъ брать эту *res nullius*, бесполезно остающуюся. Министерство финансовъ нѣсколько разъ приуждено было утверждать землю за захватившими.

и ромба Z Z R, а главное съ требованіемъ такой-то подесеятинной платы. Крестьяне, увидѣвъ, что имъ не только не отдають земли, но хотять съ нихъ слупить деньги за болото, начисто отказались платить.

Исправникъ донесъ Тюфяеву. Тюфяевъ послалъ военную экзекуцію подъ начальствомъ вятскаго полицмейстера. Тотъ приѣхалъ, схватилъ нѣсколько человѣкъ, пересѣкъ ихъ, усмирить волость, взялъ деньги, предаль *виновныхъ* уголовному суду и недѣлю говорилъ хриплымъ языкомъ отъ крику. Нѣсколько человѣкъ были наказаны плетью и сосланы на поселеніе.

Черезъ два года наслѣдникъ проѣзжалъ Даровской волостью, крестьяне подали ему просьбу, онъ велѣлъ разобрать дѣло. По этому случаю, я составлялъ изъ него докладную записку. Что вышло путнаго изъ этого пересмотра, я не знаю. Слышалъ я, что сосланныхъ воротили, но воротили ли землю,—не слыхалъ.

Въ заключеніе упомяну о знаменитой исторіи картофельнаго бунта.

Русскіе крестьяне неохотно сажали картофель, какъ нѣкогда крестьяне всей Европы, какъ будто истиникъ говорилъ народу, что это дрянная пища, не дающая ни силъ, ни здоровья. Впрочемъ, у порядочныхъ помѣщиковъ и во многихъ казенныхъ деревняхъ «земляныя яблоки» саживались гораздо прежде картофельнаго террора.

Крестьяне Казанской и долею Вятской губерніи засѣяли картофелемъ поля. Когда картофель былъ собранъ, министерству пришло въ голову завести по волостямъ центральныя ямы. Ямы утверждены, ямы предписаны, ямы копаются, и въ началѣ зимы мужики, скрѣпя сердце, повезли картофель въ центральныя ямы. Но когда слѣдующей весной ихъ хотѣли заставить сажать *мерзлый* картофель, они отказались. Дѣйствительно, не могло быть оскорбленія болѣе дерзкаго труду, какъ приказъ дѣлать явнымъ образомъ нелѣпность. Это возраженіе было представлено, какъ бунтъ. Министръ Киселевъ прислалъ изъ Петербурга чиновника; онъ, человѣкъ умный и практическій, взялъ въ первой волости по рублю съ души и позволилъ не сѣять картофельные выморозки.

Чиновникъ повторилъ это во второй и въ третьей. Но въ четвертой голова сказалъ ему наотрѣзъ, что онъ картофель сажать не будетъ, ни денегъ ему не дастъ. «Ты, говорилъ онъ ему, освободилъ такихъ-то и такихъ-то; ясное дѣло, что и насъ долженъ освободить». Чиновникъ хотѣлъ дѣло кончить угрозами и розгами, но мужики схватились за колья, полицейскую команду прогнали; военный губернаторъ послалъ казаковъ. Сосѣднія волости вступились за своихъ.

Довольно сказать, что дѣло дошло до пушечной картечи и ружейныхъ выстрѣловъ. Мужики оставили дома, разсыпались по лѣсамъ; казаки ихъ выгнали изъ чащи, какъ дикихъ звѣрей; тутъ ихъ хватили, ковали въ цѣпи и отправляли въ военно-судную комиссію въ Космодемьянскъ.

По странной случайности, старый маіоръ внутренней стражи былъ честный, простой человѣкъ; онъ добродушно сказалъ, что всему виною чиновникъ, присланный изъ Петербурга. На него все опрокинулось, его голосъ подавили, заглушили; его запугали и даже застыдили тѣмъ, что онъ хочетъ «погубить невиннаго человѣка».

Ну, и слѣдствіе пошло обычнымъ русскимъ чередомъ: мужиковъ сѣкли при допросахъ, сѣкли въ наказаніе, сѣкли для приклада, сѣкли изъ-за денегъ и цѣлую толпу сослали въ Сибирь.

Замѣчательно, что Киселевъ проѣзжалъ по Космодемьянску во время суда. Можно было бы, кажется, завернуть въ военную комиссію или позвать къ себѣ маіора.

Онъ этого не сдѣлалъ!

...Знаменитый Тюрго, видя ненависть французовъ къ картофелю, разослалъ всѣмъ откупщикамъ, поставщикамъ и другимъ подвластнымъ лицамъ картофель на посѣвъ, строго запретивъ давать крестьянамъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ онъ сообщилъ имъ тайно, чтобъ они не преніятовали крестьянамъ красть на посѣвъ картофель. Въ нѣсколько лѣтъ часть Франціи обезьялась картофелемъ.

Tout bien pris, вѣдь это лучше картечи, Павелъ Дмитриевичъ?

Къ Вяткѣ прикочевалъ въ 1836 г. таборъ цыганъ и расположился на полѣ. Цыгане эти таскались до Tobольска и Ирбита, продолжая съ незапамятныхъ временъ свою вольную бродячую жизнь, съ вѣчнымъ ученымъ медвѣдемъ и ничему не учеными дѣтьми, съ коновалами, гаданьемъ и мелкимъ воровствомъ. Они спокойно пѣли пѣсни и крали куръ, но вдругъ губернаторъ получилъ повелѣніе, буде найдутся цыгане *безпаспортныя* (ни у одного цыгана никогда не бывало паспорта), то дать имъ такой-то срокъ, чтобъ они приписались тамъ, гдѣ ихъ застанетъ указъ, къ сельскимъ обществамъ.

По прошествіи же даннаго срока, предписывалось *всѣмъ* годныхъ къ военной службѣ отдать въ солдаты, *остальныхъ* отправить на поселеніе, *отобравъ дѣтей* мужского пола.

Этотъ указъ сконфузилъ самого Тюфяева. Онъ объявилъ цыганамъ указъ, написалъ въ Петербургъ о невозможности исполненія. Для того, чтобъ приписываться, надобны деньги, надобно согласіе общества, которыя тоже даромъ не захотятъ принять цыганъ, и притомъ слѣдуетъ еще предположить, что сами цы-



гане хотять ли именно тутъ поселиться. Взявъ все во вниманіе, Тюфяевъ, и тутъ нельзя ему не отдать справедливости, представилъ министерству тогъ, чтобъ имъ дать льготы и отсрочки.

Министръ отвѣчалъ предписаніемъ по истеченіи срока привести въ исполненіе распоряженіе. Скрѣпя сердце, послалъ Тюфяевъ команду, которой велѣлъ окружить таборъ; когда это было сдѣлано, явилась полиція съ гарнизоннымъ батальономъ, и, что тутъ, говорятъ, было, это трудно себѣ представить. Женщины съ растрепанными волосами, съ крикомъ и слезами, въ какомъ-то безуміи бѣгали, валялись въ ногахъ у полиціи, сѣдя старухи цѣпились за сыновей. Но порядокъ восторжествовалъ, и Колчевскій полицмейстеръ забралъ дѣтей, забралъ рекрутъ, остальныхъ отправили по этапамъ куда-то на поселеніе.

Но когда отобрали дѣтей, возникъ вопросъ, куда ихъ дѣть? и на какія деньги содержать?

Прежде при приказахъ общественнаго призрѣнія были воспитательные дома, ничего не стоившіе казѣ. Но ихъ уничтожили, какъ вредныя для нравственности. Тюфяевъ далъ впередъ своихъ денегъ и спросилъ министра. Министры велѣли отдать маютокъ, впередъ до распоряженія, на пощеніе стариковъ и старухъ, призраемыхъ въ богадѣльнѣ.

Маленькихъ дѣтей помѣстить съ умирающими стариками и старухами и заставить ихъ дышать воздухомъ смерти, и поручить нищущимъ покоя старикамъ уходъ за дѣтьми даромъ...

Поэты!

Чтобы не прерываться, разскажу я здѣсь исторію, случившуюся года полтора спустя съ владимірскимъ старостою моего отца. Мужикъ онъ былъ умный, бывалый, ходилъ въ извозѣ, самъ держалъ нѣсколько троекъ и лѣтъ двадцать сидѣлъ старостой небольшой оброчной деревеньки.

Въ тотъ годъ, въ который я жилъ въ Владимірѣ, сосѣдніе крестьяне просили его сдать за нихъ рекрута; онъ явился въ городъ съ будущимъ защитникомъ отечества на веревкѣ и съ большою самоувѣренностью, какъ мастеръ своего дѣла.

— «Это, батюшка, говорилъ онъ, расчесывая пальцами свою окладистую бѣлокурую бороду съ просѣдью,—все дѣло рукъ человѣческихъ. Въ прошломъ году нашего малаго ставили, былъ такой плохенькой, ледащій, мужички больно опасались, что не сойдеть. Ну, я и говорю, а что примѣрно, православные, прикладу положите,—не мазано колесо не вертится. Мы такъ потолковали промежь себя, мѣръ-то и опредѣлили двадцать пять золотыхъ. Приѣзжаю я въ губернію и, поговоривши въ казенной палатѣ, иду прямо къ предѣдателю,—человѣкъ, батюшка, былъ онъ умный и меня давненько зналъ. Велѣлъ онъ позвать меня въ ка-

бинеть, а у самого попка болитъ, такъ изволить лежать на софѣ. Я ему все представилъ; а онъ мнѣ въ отвѣтъ со смѣхомъ: «Ладно, ладно, ты толкуй,—сколько *онизъ*-то привезъ; ты, вѣдь, жидоморъ, знаю я тебя». Я положилъ на столъ десять лобанчиковъ и поклошлся въ поясъ; они ихъ такъ въ ручку взяли и поигрываютъ,—«а что, говорить, не мнѣ, вѣдь, одному платить-то надо, что же ты еще привезъ?» Я докладываю, съ десятокъ, молъ, еще наберется. Ну, говорить, куда же ты ихъ дѣнешь, самъ считаи—лекарю два, военному пріемщику два, письмоводителю, ну, тамъ на всякое угощеніе все же больше трехъ не выйдетъ,—такъ ты ужъ остальные мнѣ отдай, а я постараюсь уладить дѣльцо».

— Ну, что же, ты далъ?

— «Вѣстимо, что далъ; ну, и забрили лобъ очень хорошо».

Обученный такому округленію счетовъ, привыкнувшій къ такому рода смѣтамъ, а вѣроятно и къ пяти золотымъ, о судьбѣ которыхъ онъ умолчалъ, староста былъ увѣренъ въ успѣхѣ. Но много несчастій можетъ пройти между взяткой и рукой того, который ее беретъ. Къ рекрутскому набору въ Владиміръ былъ присланъ флигель-адъютантъ графъ Эссенъ. Староста сунулся къ нему съ своими лобанчиками и аранчиками. По несчастію, нашъ графъ, какъ героиня въ Нулинѣ, былъ воспитанъ «не въ отеческомъ законѣ», а въ школѣ балтійской аристократіи, учащей пѣмецкой преданности русскому государю. Эссенъ разсердился, раскричался и, что хуже всего, позвонилъ; вбѣжалъ письмоводитель, явились жандармы. Староста, никогда не мечтавшій о существованіи людей въ мундирѣ, которые бы не брали взятокъ, до того растерялся, что не заперся, не началъ клясться и божиться, что никогда денегъ не давалъ, что если только хотѣлъ этого, такъ чтобъ лопнули его глаза и росинка не попала бы въ ротъ. Онъ, какъ баранъ, позволилъ себя уличить, свести въ полицію, и раскаяваясь вѣроятно въ томъ, что мало генералу предложилъ и тѣмъ его обидѣлъ.

Но Эссенъ, недовольный ни собственной чистой совѣстью, ни страхомъ несчастнаго крестьянина, и желая, вѣроятно, искоренить in Russland взятки, наказать порока и поставить цѣлѣбный примѣръ, написалъ въ полицію, написалъ губернатору, написалъ въ рекрутское приеутствіе о злодѣйскомъ покушеніи старосты. Мужика посадили въ острогъ и отдали подъ судъ. Благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честнымъ человѣкомъ, даетъ деньги чиновнику, и самого чиновника, который беретъ взятку, дѣло было скверно и старосту надобно было спасти, во что-бъ ни стало. Я бросился къ губернатору; онъ отказался вступать въ это дѣло; председатель и совѣтники уголовной палаты, испуганные

вмѣнательствомъ флигель-адъютанта, качали головой. Самъ флигель-адъютантъ первый, смѣнивъ гнѣвъ на милость, говорилъ, «что онъ никакого зла сдѣлать старостѣ не хочетъ, что онъ хотѣлъ его проучить, что *«пусть его посудятъ да и отпустятъ»*. Когда я это разсказывалъ полицмейстеру, тотъ мнѣ замѣтилъ: «То-то и есть, что всѣ эти господа не знаютъ дѣла, прпсала бы его просто ко мнѣ, я бы ему дураку вздулъ бы спинну, не суйся, молъ, въ воду, не спросясь броду, да и отпустилъ бы его во-своица,—всѣ бы и были довольны; а темерь, поди, расчихивайся съ палатой».

Два сужденія эти такъ ловко и ярко выражаютъ русское имперское понятіе о правѣ, что я не могъ ихъ позабыть.

Между этими геркулесовыми столбами отечественной юриспруденціи, староста попалъ въ средній, въ самый глубокой омутъ, т. е. въ уголовную палату. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ заготовили рѣшеніе, въ силу котораго старосту, наказавши плетью, отправляли въ Сибирь на поселеніе. Явился ко мнѣ его сынъ, вся семья, умоляя снасти отца и главу семейства. Жаль мнѣ было смертельно самому крестьянина, совершенно невинно гибнущаго. Поѣхалъ я снова къ председателю и совѣтникамъ, снова сталъ имъ доказывать, что они себѣ причиняютъ вредъ, наказывая такъ строго старосту; что они сами очень хорошо знаютъ, что ни одного дѣла безъ взятокъ не кончишь, что, наконецъ, имъ самимъ нечего будетъ ѣсть, если они, какъ истинные христіане, не будутъ находить, что всякъ даръ совершенъ и всякое даваніе благо. Прося, кланаясь и посылая сына старосты еще ниже кланяться, я достигъ въ половину моей цѣли. Старосту присудили къ наказанію нѣсколькими ударами плетью въ стѣнахъ острога, съ оставленіемъ на мѣстѣ жительства и съ воспрещеніемъ ходатайствовать по дѣламъ за другихъ крестьянъ.

Я веселѣе вздохнулъ, увидя, что губернаторъ и прокуроръ согласились, и отправился въ полицію просить объ облегченіи силы наказанія; полицейскіе, отчасти польщенные тѣмъ, что я самъ пришелъ ихъ просить, отчасти жалѣя мученика, пострадавшаго за такое близкое каждому дѣло, сверхъ того, зная, что онъ мужикъ зажиточный, обѣщали мнѣ сдѣлать одну проформу.

Черезъ нѣсколько дней явился какъ-то утромъ староста, похудѣвшій и еще болѣе сѣдой, нежели былъ. Я замѣтилъ, что, при всей радости, онъ былъ что-то грустенъ и подъ вліяніемъ какой-то тяжелой мысли.

— О чемъ ты кручиннишься? спросилъ я его.

— «Да что ужъ разомъ бы все порѣшили».

— Ничего не понимаю.

— «Да, то есть, когда же наказывать-то будутъ?»

— А тебя не наказывали?

— «Нѣтъ».

— Какъ же тебя выпустили? Ты, вѣдь, идешь домой?

— «Домой-то домой, да вотъ о наказаніи-то думается, секретарь именно читалъ».

Я ничего въ самомъ дѣлѣ не понималъ и, наконецъ, спросилъ его, дали ли ему какой-нибудь видъ? Онъ подалъ мнѣ его. Въ немъ было написано все рѣшеніе и въ концѣ сказано, что, учинивъ по указу уголовной палаты наказаніе плетью въ стѣнахъ тюремнаго замка, «выдать ему оное свидѣтельство и изъ замка освободить».

Я расхохотался.—Да, вѣдь, уже ты наказанъ!

— «Нѣтъ, батюшка, нѣтъ».

— Ну, если недоволенъ, ступай назадъ, проси, чтобъ наказали, можетъ, полиція взойдетъ въ твоё положеніе.

Видя, что я смѣюсь, улыбнулся и старикъ, сомнительно качая головой и приговаривая: «Поди ты вонъ, эки чудеса».

Экой безпорядокъ, скажутъ многіе; но пусть же они вспомнятъ, что только этотъ безпорядокъ и дѣлаетъ возможною жизнь въ Россіи.

## ГЛАВА XVI.

Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ.

Середь этихъ уродливыхъ и сальныхъ, мелкихъ и отвратительныхъ лицъ и сценъ, дѣлъ и заголовковъ, въ этой канцелярской рамѣ и приказной обстановкѣ, вспоминаются мнѣ печальныя, благородныя черты художника.

Два года съ половиной я прожилъ съ великимъ художникомъ и видѣлъ, какъ подъ бременемъ гоненій и несчастій, разлагался этотъ сильный человѣкъ.

Нельзя сказать, чтобъ онъ легко сдался, онъ отчаянно боролся цѣлыхъ десять лѣтъ, онъ пріѣхалъ въ ссылку еще въ надеждѣ одолѣть враговъ, оправдаться, онъ пріѣхалъ, словомъ, еще готовый на борьбу, съ планами и предположеніями. Но тутъ онъ разглядѣлъ, что все кончено.

Можетъ быть, онъ сладилъ бы и съ этимъ открытіемъ, но возлѣ стояла жена, дѣти, а впереди представлялись годы ссылки, нужды, лишеній, и Витбергъ сѣдѣлъ, сѣдѣлъ, старѣлъ, старѣлъ, не по днямъ, а по часамъ. Когда я его оставилъ въ Вяткѣ черезъ два года, онъ былъ десятию годами старше.

Вотъ повѣсть этого длиннаго мученичества.

Императоръ Александръ не вѣрилъ своей побѣдѣ надъ Наполеономъ, ему было тяжело отъ славы и онъ откровенно относилъ ее къ Богу. Всегда наклонный къ мистицизму и сумрачному расположенію духа, онъ особенно предался ему послѣ ряда побѣдъ надъ Наполеономъ.

Когда «послѣдній непріятельскій солдатъ переступилъ границу», Александръ издалъ манифестъ, въ которомъ давалъ обѣтъ воздвигнуть въ Москвѣ огромный храмъ во имя Спасителя.

Требовались отовсюду проекты, назначался большой конкурсъ.

Витбергъ былъ тогда молодымъ художникомъ, окончившимъ курсъ и получившимъ золотую медаль за живопись. Шведъ по происхожденію, онъ родился въ Россіи и сначала воспитывался въ горномъ кадетскомъ корпусѣ. Восторженный, эксцентрическій и преданный мистицизму артистъ; артистъ читаетъ манифестъ, читаетъ вызовы—и бросаетъ всѣ свои занятія. Дни и ночи бродитъ онъ по улицамъ Петербурга, мучимый неотступной мыслью, она сильнѣе его, онъ запирается въ своей комнатѣ, беретъ карандашъ и работаетъ.

Ни одному человѣку не довѣрилъ артистъ своего замысла. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ труда, онъ ѣдетъ въ Москву изучать городъ, окрестности, и снова работаетъ, мѣсяцы цѣлые скрываясь отъ глазъ и скрывая свой проектъ.

Пришло время конкурса. Проектовъ было много, были проекты изъ Италіи и изъ Германіи, наши академики представили свои. И неизвѣстный молодой человѣкъ представилъ свой чертежъ въ числѣ прочихъ. Недѣли прошли, прежде чѣмъ императоръ занялся планами. Это были сорокъ дней въ пустынѣ, дни искуса, сомнѣній и мучительнаго ожиданія.

Колоссальный, неполненный религіозной поэзіи проектъ Витберга поразилъ Александра. Онъ остановился передъ нимъ и объ немъ первомъ спросилъ, кѣмъ онъ представленъ. Распечатали пакетъ и нашли неизвѣстное имя ученика академіи.

Александръ захотѣлъ видѣть Витберга. Долго говорилъ онъ съ художникомъ. Смѣлый и одушевленный языкъ его, дѣйствительное вдохновеніе, которымъ онъ былъ проникнутъ, и мистическій колоритъ его убѣжденій поразилъ императора. «Вы камнями говорите», замѣтилъ онъ, снова разматривая проектъ.

Въ тотъ же день проектъ былъ утвержденъ, и Витбергъ назначенъ строителемъ храма и директоромъ комиссіи о постройкѣ. Александръ не зналъ, что вмѣстѣ съ лавровымъ вѣнкомъ онъ надѣваетъ и терновый на голову артиста.

Нѣтъ ни одного искусства, которое было бы роднѣе мистицизму, какъ зодчество; отвлеченное, геометрическое, нѣмо-музыкальное, безстрастное, оно живетъ символичкой, образомъ, наме-

комъ. Простыя линіи, ихъ гармоническое соѣтаніе, ритмъ, числовыя отношенія представляютъ нѣчто таинственное и съ тѣмъ вмѣстѣ неполное. Зданіе, храмъ не заключаютъ сами въ себѣ своей цѣли, какъ статуя или картина, поэма или симфонія; зданіе ницѣ обитателя, это очерченное, расчищенное мѣсто, это обстановка, броня черепашь, раковина моллюска,—именно въ томъ-то и дѣло, чтобъ содержащее такъ соотвѣтствовало духу, цѣли, жилцу, какъ панцирь черепашь. Въ стѣнахъ храма, въ его сводахъ и колоннахъ, въ его порталѣ и фасадахъ, въ его фундаментѣ и куполѣ должно быть отпечатлѣно божество, обитающее въ немъ, такъ, какъ извины мозга отпечатлѣваются на костяномъ черепѣ.

Египетскіе храмы были ихъ священныя книги. Обелиски—проповѣди на большой дорогѣ.

Соломоновъ храмъ — построенная библия. Такъ, какъ храмъ святаго Петра — построенный выходъ изъ католицизма, начало свѣтскаго міра, начало растриженія рода человѣческаго.

Самое построеніе храмовъ было всегда такъ полно мистическихъ обрядовъ, инсказаній, таинственныхъ посвященій, что средневѣковые строители считали себя чѣмъ-то особеннымъ, какимъ-то духовенствомъ, преемниками строителей Соломонова храма, и составляли между собой тайныя артели каменщиковъ, передавшія вѣсѣдствіи въ масонство.

Собственно мистическій характеръ зодчество теряетъ съ вѣками Возстановленія. Христіанская вѣра борется съ философскимъ сомнѣніемъ, готическая стрѣлка съ греческимъ фронтономъ, духовная святость съ свѣтской красотой. Поэтому-то храмъ св. Петра и имѣетъ такое высокое значеніе, въ его колоссальныхъ размѣрахъ христіанство рвется въ жизнь, церковь становится языческая и Буонаротти рисуетъ на стѣнѣ Сикстинской капеллы Іисуса Христа широкоплечимъ атлетомъ, Геркулесомъ въ цвѣтѣ лѣтъ и силы.

Послѣ храма св. Петра зодчество церковей совсѣмъ пало и свелось, наконецъ, на простое повтореніе въ разныхъ размѣрахъ то древнихъ греческихъ *периптеровъ*, то церкви св. Петра.

Одинъ Пароенонъ назвали церковью св. Магдалины въ Парижѣ. Другой—биржей въ Нью-Йоркѣ.

Безъ вѣры и безъ особыхъ обстоятельствъ трудно было создать что-нибудь живое; все новыя церкви дышали натяжкой, лицемѣріемъ, анахронизмомъ, какъ угловатыя, готическія, оскорбляющія аристократическій глазъ церкви, которыми англичане украшаютъ свои города.

Но именно обстоятельства, при которыхъ Витбергъ сочинилъ свой проектъ, его личность и настроеніе императора выходили изъ ряда вонъ.



Война 1812 года сильно потрясла умы въ Россіи; долго послѣ освобожденія Москвы не могли устояться возмущенныя мысли и первое раздраженіе. Событія внѣ Россіи, взятіе Парижа, исторія ста дней, ожиданія, слухи, Ватерлоу, Наполеонъ, ильвущій за океанъ, трауръ по убитымъ родственнымъ, страхъ за живыхъ, возвращающихся войска, ратники, идущіе домой,—все это сильно дѣйствовало на самыя грубыя натуры. Представьте же себѣ артиста-юношу, мистика, художника, одареннаго творческой силой и при томъ фанатика, подъ вліяніемъ совершающагося, подъ вліяніемъ царскаго вызова и своего собственнаго генія.

Вблизи Москвы, между Можайской и Калужской дорогой небольшая возвышенность царитъ надъ всѣмъ городомъ. Это тѣ Воробьевы горы, о которыхъ и упоминалъ въ первыхъ воспоминаніяхъ юности. Весь городъ стелется у ихъ подошвы, съ ихъ высоты одинъ изъ самыхъ изысканныхъ видовъ на Москву. Здѣсь стоялъ плачущій Іоаннъ Грозный, тогда еще молодой развратникъ, и смотрѣлъ, какъ горѣла его столица; здѣсь явился передъ нимъ іерей Сильвестръ и строгимъ словомъ пересоздалъ на двадцать лѣтъ геніальнаго изверга.

Эту гору обогнулъ Наполеонъ съ своей арміей, тутъ переломилась его сила, отъ подошвы Воробьевыхъ горъ началось отступленіе.

Можно ли было найти лучше мѣсто для храма въ память 1812 г., какъ дальнѣйшую точку, до которой достигнулъ непріятель?

Но это еще мало, надобно было самую гору превратить въ нижнюю часть храма, поле до рѣки обить колоннадой, и на этой базѣ, построенной съ трехъ сторонъ самой природой, поставить второй и третій храмъ, представлявшіе удивительное единство.

Храмъ Витберга, какъ главный догматъ христіанства, тріединенъ и нераздѣленъ.

Нижній храмъ, изсѣченный въ горѣ, имѣлъ форму параллелограмма, гроба, тѣла; его наружность представляла тяжелый порталъ, поддерживаемый почти египетскими колоннами; онъ пропадалъ въ горѣ, въ дикой необработанной природѣ. Храмъ этотъ былъ освѣщенъ лампами въ этрурійскихъ высокихъ канделябрахъ, дневной свѣтъ скудно падалъ въ него изъ второго храма, проходя сквозь прозрачный образъ Рождества. Въ этой криптѣ должны были покоиться всѣ герои, падшіе въ 1812 году, вѣчная панихида должна была служить о убитыхъ на полѣ битвы, по стѣнамъ должны были быть изсѣчены имена всѣхъ ихъ, отъ полководцевъ до рядовыхъ.

На этомъ гробѣ, на этомъ кладбищѣ разбрасывался во всѣ стороны равноконечный греческій крестъ второго храма,—храма распростертыхъ рукъ, жизни, страданій, труда. Колоннада, ведущая къ нему, была украшена статуями ветхозавѣтныхъ лицъ.

При входѣ стояли пророки. Они стояли вѣхъ храма, указывая путь, по которому имъ идти не пришлось. Внутри этого храма были вся евангельская исторія и исторія апостольскихъ дѣяній.

Надъ нимъ, вѣнчая его, оканчивая и заключая, былъ третій храмъ въ видѣ ротонды. Этотъ храмъ, ярко освѣщенный, былъ храмъ духа, невозмущаемаго покоя, вѣчности, выражавшейся кольцеобразнымъ его планомъ. Тутъ не было ни образовъ, ни изваяній, только снаружи онъ былъ окруженъ вѣнкомъ архангеловъ и накрытъ колоссальнымъ куполомъ.

Я теперь передаю на память главную мысль Витберга, она у него была разработана до мелкихъ подробностей и вездѣ совершенно послѣдовательно христіанской теодицеѣ и архитектурному изиществу.

Удивительный человѣкъ, онъ всю жизнь работалъ надъ своимъ проектомъ. Десять лѣтъ подсудимости онъ занимался только имъ; гонимый бѣдностью и нуждой въ ссылкѣ, онъ всякій день посвящалъ нѣсколько часовъ своему храму. Онъ жилъ въ немъ, онъ не вѣрилъ, что его не будутъ строить: воспоминанія, утѣшенія, слава, все было въ этомъ портфельѣ артиста.

Быть можетъ, когда-нибудь другой художникъ, послѣ смерти страдальца, стряхнетъ пыль съ этихъ листовъ и съ благочестіемъ издастъ этотъ архитектурный мартирологъ, за которымъ прошла и изныла сильная жизнь, мгновенно освѣщенная яркимъ свѣтомъ.

Проектъ былъ геніаленъ, страшенъ, безуменъ; оттого-то Александръ его выбралъ, оттого-то его и слѣдовало исполнить. Говорить, что гора не могла вынести этого храма. Я не вѣрю этому. Особенно, если мы вспомнимъ всѣ новыя средства инженеровъ въ Америкѣ и Англии, эти тунели въ восемь минутъ ѣзды, цѣнные мосты и пр.

Милорадовичъ совѣтовалъ Витбергу толстыя колонны нижняго храма сдѣлать монолитныя изъ гранита. На это кто-то замѣтилъ графу, что провозъ изъ Финляндіи будетъ очень дорого стоить. «Именно поэтому-то и надобно ихъ выплесть, отвѣчалъ онъ; если-бъ гранитная каменоломня была въ Москвѣ-рѣкѣ, что за чудо бы ихъ поставить».

Милорадовичъ былъ воинъ-поэтъ и потому понималъ вообще поэзію. Грандіозныя вещи дѣлаются грандіозными средствами.

Одна природа дѣлаетъ великое даромъ.

Главное обвиненіе, падающее на Витберга со стороны даже тѣхъ, которые нѣкогда не сомнѣвались въ его чистотѣ,—зачѣмъ онъ принялъ мѣсто директора, онъ, неопытный артистъ, молодой человѣкъ, ничего не смыслившій въ канцелярскихъ дѣлахъ? Ему слѣдовало ограничиться ролей архитектора. Это правда.

Но такія обвиненія легко поддерживать, сидя у себя въ комнатѣ. Онъ именно потому и принялъ, что былъ молодъ, не опытенъ, артистъ; онъ принялъ — потому, что послѣ принятія его проекта ему казалось все легко; онъ принялъ — потому, что самъ царь предлагалъ ему, ободрялъ его, поддерживалъ. У кого не закружилась бы голова?... Гдѣ эти трезвые люди, умѣренные, воздержные? Да если и есть, то они не дѣлають колоссальныхъ проектовъ и не заставляютъ «говорить каменья!»

Само собою разумѣется, что Витберга окружила толпа плутовъ, людей, принимающихъ Россію—за аферу, службу—за выгодную сдѣлку, мѣсто—за счастливый случай нажитъея. Нетрудно было понять, что они подъ ногами Витберга выкапываютъ яму. Но для того, чтобъ онъ, упавши въ нее, не могъ изъ нея выйти, для этого нужно было еще, чтобъ къ воровству прибавилась зависть однихъ, оскорбленное честолюбіе другихъ.

Товарищами Витберга въ комиссіи были: митрополитъ Филаретъ, московскій генераль-губернаторъ, сенаторъ Кушниковъ; все они впередъ были разоблачены товариществомъ съ молокососомъ, да еще притомъ смѣло говорящимъ свое мнѣніе и возражающимъ, если не согласенъ.

Они помогли запутать его, помогли оклеветать и хладнокровно погубили потомъ.

Этому способствовало сначала паденіе мистическаго министерства князя А. Н. Голицына, потомъ смерть Александра.

Вмѣстѣ съ министерствомъ Голицына пали масонство, библейскія общества, лютеранскій піхтизмъ, которые въ лицѣ Магницкаго въ Казани и Рунича въ Петербургѣ дошли до безграничной уродливости, до дикихъ преслѣдованій, до судорожныхъ плясокъ, до состоянія кликушъ и Богъ знаетъ какихъ чудесъ.

Паденіе князя А. Н. Голицына увлекло Витберга; все опрокидывается на него: комиссія жалуется, митрополитъ огорченъ, генераль-губернаторъ недоволенъ. Его отвѣты «дерзки» (въ его дѣлѣ *дерзость* поставлена въ одно изъ главныхъ обвиненій), его подчиненные *воруютъ*,—какъ будто кто-нибудь находящійся на службѣ въ Россіи не воруетъ. Впрочемъ, вѣроятно, что у Витберга воровали больше, чѣмъ у другихъ: онъ не имѣлъ никакой привычки завѣдывать смиренными домами и классными ворами.

Александръ велѣлъ Аракчееву разобрать дѣло. Ему было жалъ Витберга, онъ передалъ ему черезъ одного изъ своихъ приближенныхъ, что онъ увѣренъ въ его правотѣ.

Но Александръ умеръ и Аракчеевъ палъ. Дѣло Витберга при Николаѣ приняло тотчасъ худшій видъ. Оно тянулось *десять* лѣтъ съ невѣроятными нелѣпостями. Обвинительные пункты, признанные уголовной палатой, отвергаются сенатомъ. Пункты,

въ которыхъ оправдывается палата, ставится въ вину сенатомъ. Комитетъ министровъ принимаетъ все обвиненія. Государь прибавляетъ къ приговору—ссылку на Витку.

Итакъ, Витбергъ отправился въ ссылку, отрѣшенный отъ службы «за злоупотребленіе довѣренностью императора Александра и за ущербы, нанесенные казнѣ»; на него насчитываютъ миліонъ, кажется, рублей, берутъ все имѣніе, продаютъ все съ публичнаго торга и распускаютъ слухъ, что онъ перевелъ видимо-не-видимо денегъ въ Америку.

И жилъ съ Витбергомъ въ одномъ домѣ два года и послѣ остался до самаго отъѣзда постоянно въ сношеніяхъ съ нимъ. Онъ не спасъ насущнаго куска хлѣба; семья его жила въ самой странной бѣдности.

Для характеристики этого дѣла и всѣхъ подобныхъ въ Россіи я приведу двѣ небольшія подробности, которыя у меня особенно остались въ памяти.

Витбергъ купилъ для работъ рощу у купца Лобанова; прежде чѣмъ началась рубка, Витбергъ увидѣлъ другую рощу, тоже Лобанова, ближе къ рѣкѣ и предложилъ ему промѣнять проданную для храма на эту. Купецъ согласился. Роща была вырублена, лѣсъ сплавленъ. Впоследствии понадобилась другая роща, и Витбергъ снова купилъ первую. Вотъ знаменитое обвиненіе въ двойной покупке одной и той же рощи. Бѣдный Лобановъ былъ посаженъ въ острогъ за это дѣло и умеръ тамъ.

Второе дѣло было передъ моими глазами. Витбергъ скупалъ имѣнія для храма. Его мысль состояла въ томъ, чтобъ помѣщичьи крестьяне, купленные съ землею для храма, обывались выставить известное число работниковъ; этимъ способомъ они приобрѣтали полную волю себѣ и деревнѣ. Забавно, что наши сенаторы-помѣщики находили въ этой мѣрѣ какое-то невольничество!

Между прочимъ, Витбергъ хотѣлъ купить имѣнье моего отца въ Рузскомъ уѣздѣ, на берегу Москвы-рѣки. Въ деревнѣ былъ найденъ мраморъ, и Витбергъ просилъ дозволеніе сдѣлать геологическое изслѣдованіе, чтобъ опредѣлить количество его. Отецъ мой позволилъ. Витбергъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Мѣсяца черезъ три, отецъ мой узналъ, что ломка камня производится въ огромномъ размѣрѣ, что озимыя поля крестьянъ завалены мраморомъ; онъ протестуетъ, его не слушаютъ. Начинается упорный процессъ. Сначала хотѣли все свалить на Витберга, но по несчастію оказалось, что онъ не давалъ никакого приказа и что все это было сдѣлано комиссіей во время его отсутствія.

Дѣло пошло въ сенатъ. Сенатъ рѣшилъ къ общему удивленію довольно близко къ здравому смыслу. Наломанный камень оста-

вить помѣщику, считая ему его въ вознагражденіе за помятыя поля. Деньги, потраченные казной на ломку и работу до ста тысячъ ассигнаціями, взыскать съ подписавшихъ контрактъ о работахъ. Подписавшіеся были: князь Голицынъ, Филаретъ и Куниниковъ. Разумѣется, крикъ, шумъ. Дѣло довели до государя.

Онъ велѣлъ освободить виновныхъ отъ платежа, потому, написалъ онъ собственноручно, какъ и напечатано въ сенатской запискѣ, «что члены комиссіи не знали, что подписывали». Положимъ, что митрополитъ по ремеслу долженъ оказывать смиреніе, а каковы другіе-то вельможи, которые приняли подарокъ, такъ мотивированный!

Но откуда же было взять сто тысячъ? Казенное добро, говорить, ни на огнѣ не горитъ, ни въ водѣ не тонетъ,—оно только крадется, могли бы мы прибавить. Чего тутъ задумываться, сейчасъ генералъ-адъютанта на почтовыхъ въ Москву разбирать дѣло.

Стрекаловъ все разобралъ, привелъ въ порядокъ, уладилъ и кончилъ въ нѣсколько дней: камень у помѣщика взять за сумму, заплаченную за ломку, впрочемъ, если помѣщикъ хочетъ оставить, взыскать съ него сто тысячъ. Особого вознагражденія помѣщику потому не слѣдуетъ, что цѣнность его имѣнія возвысилась открытіемъ новой отрасли богатства (вѣдь, это *chef d'oeuvre!*), а впрочемъ, за помятыя крестьянскія поля *выдать* по закону о затопленныхъ лугахъ и потравленныхъ сѣнокосахъ, утвержденному Петромъ I, столько-то конеекъ съ десятины.

Собственно наказанный въ этомъ дѣлѣ былъ мой отецъ. Не нужно добавлять, что ломка этого камня въ процессѣ все-таки поставлена на счетъ Витберга.

...Года черезъ два послѣ ссылки Витберга, вятское купечество вознамѣрилось построить новую церковь.

Проектъ вятскаго купечества удивилъ Николая, онъ утвердилъ его и велѣлъ предписать губернскому начальству, чтобъ при исполненіи не искажали мысли архитектора.

— Кто дѣлалъ этотъ проектъ? спросилъ онъ статсъ-секретаря.

— «Витбергъ, в. в.».

— Какъ, тотъ Витбергъ?

— «Тотъ самый, в. в.».

И вотъ Витбергу, какъ снѣгъ на голову, разрѣшеніе возвратиться въ Москву или Петербургъ. Человѣкъ просилъ позволеніе оправдаться,—ему отказали; онъ сдѣлалъ удачный проектъ,—государь велѣлъ его воротить, какъ будто кто-нибудь сомнѣвался въ его художественной способности...

Въ Петербургѣ, погибая отъ бѣдности, онъ сдѣлалъ послѣдній опытъ защитить свою честь. Онъ вовсе не удался. Витбергъ

просилъ объ этомъ князя А. Н. Голицына, но князь не считалъ возможнымъ поднимать снова дѣло и совѣтовалъ Витбергу написать пожалобитѣ письмо къ наслѣднику, съ просьбой о денежномъ вспоможеніи. Онъ обѣщался съ Жуковскимъ хлопотать и сулить рублей тысячу серебромъ.

Витбергъ отказался.

Въ 1846, въ началѣ зимы, я былъ въ послѣдній разъ въ Петербургѣ и видѣлъ Витберга. Онъ совершенно гибнулъ; даже его прежній гнѣвъ противъ его враговъ, который я такъ любилъ, сталъ потухать; надеждъ у него не было больше, онъ ничего не дѣлалъ, чтобъ выйти изъ своего положенія, ровное отчаяніе докончило его, существованіе сломилось на всѣхъ составяхъ. Онъ ждалъ смерти.

Живъ ли страдалецъ? Не знаю, но сомнѣваюсь.

— Если-бъ не семья, не дѣти, говорилъ онъ мнѣ, прощаясь, я вырвался бы изъ Россіи и пошелъ бы по міру; съ моимъ владимірекимъ крестомъ на шеѣ, спокойно протягивалъ бы я прохожимъ руку, которую жалъ императоръ Александръ, разсказывая имъ мой проектъ и судьбу художника въ Россіи!

Судьбу твою, мученикъ, думалъ я, узнають въ Европѣ: я *тебѣ* *за это* *отвѣчаю*.

Близость съ Витбергомъ была мнѣ большимъ облегченіемъ въ Вяткѣ. Серьезная ясность и нѣкоторая торжественность въ манерахъ придавали ему что-то духовное. Онъ былъ очень чистыхъ нравовъ и вообще скорѣе склонялся къ аскетизму, чѣмъ къ наслажденіямъ; но его строгость ничего не отнимала отъ роскоши и богатства его артистической натуры. Онъ умѣлъ своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изящный колоритъ, что возраженіе замирало на губахъ, жалъ было анализировать, разлагать мерцающіе образы и туманныя картины его фантазій.

Мистицизмъ Витберга лежалъ долею въ его скандинавской крови; это—та самая холодно обдуманная мечтательность, которую мы видимъ въ Сведенборгѣ, похожая въ свою очередь на огненное отраженіе солнечныхъ лучей, падающихъ на ледяныя горы и снѣга Норвегіи.

Вліяніе Витберга поколебало меня. Но реальная натура моя взяла все-таки верхъ. Мнѣ не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно земнымъ человекомъ. Отъ моихъ рукъ не вертятся столы и отъ моего взгляда не качаются кольца. Дневной свѣтъ мысли мнѣ родитѣ луннаго освѣщенія фантазій.

Но именно въ ту эпоху, когда я жилъ съ Витбергомъ, я болѣе, чѣмъ когда-нибудь, былъ расположенъ къ мистицизму.



Разлука, ссылка, религиозная экзальтація писемъ, получаемыхъ мною, любовь, сильнѣе и сильнѣе обнимавшая всю душу, и вмѣстѣ гнетущее чувство раскаянія, все это помогало Витбергу.

И еще года два послѣ я былъ подъ вліяніемъ идей мистически-соціальныхъ, взятыхъ изъ Евангелія и Жанъ-Жака, на манеръ французскихъ мыслителей, въ родѣ Пьера-Леру.

Огаревъ еще прежде меня окунулся въ мистическія волны. Въ 1833 онъ начиналъ писать текстъ для Гебелевой <sup>1)</sup> ораторіи «Потерянный рай». «Въ идеѣ «Потеряннаго рая», писалъ мнѣ Огаревъ, заключается вся исторія человѣчества!» Стало быть, въ то время и онъ *отыскиваемый рай* идеала принималъ за утраченный.

Я въ 1838 году написалъ въ соціально-религіозномъ духѣ историческія сцены, которыя тогда принималъ за драмы. Въ однихъ я представлялъ борьбу древняго міра съ христіанствомъ; тутъ Павелъ, входитъ въ Римъ, воскрешалъ мертвого юношу къ новой жизни. Въ другихъ—борьбу официальной церкви съ квакерами, и отъѣздъ Уильяма-Пена въ Америку, въ Новый свѣтъ <sup>2)</sup>.

Мистицизмъ науки вскорѣ замѣнилъ во мнѣ евангельскій мистицизмъ; по счастью, отдѣлался я и отъ второго.

Но возвратимся въ нашъ скромный Хлыновъ городокъ, переименованный, не знаю зачѣмъ, развѣ изъ финскаго патриотизма, Екатериной II въ Вятку.

Въ этомъ захолустѣ вятской ссылки, въ этой грязной средѣ чиновниковъ, въ этой печальной дали, разлученной со всѣмъ дорогимъ, безъ защиты отданный во власть губернатора, я провелъ много чудныхъ, святыхъ минутъ, встрѣтилъ много горячихъ сердецъ и дружескихъ рукъ.

Гдѣ вы? Что съ вами, поденѣжные друзья мои? Двадцать лѣтъ мы не видались. Чай, состарѣлись вы, какъ я; дочерей выдаете

<sup>1)</sup> Гебель, извѣстный композиторъ того времени.

<sup>2)</sup> Я эти сцены, не понимая почему, вздумалъ написать стихами. Вѣроятно, я думалъ, что всякій можетъ писать пятистопнымъ ямбомъ безъ приѣма, если самъ Погодинъ писалъ имъ. Въ 1839 или 40 году я далъ обѣ тетрадки Бѣлинскому и спокойно ждалъ похвалъ. Но Бѣлинскій на другой день прислалъ мнѣ ихъ съ запиской, въ которой писалъ: «вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмѣчая стиховъ, я тогда съ охотой прочту, а теперь мнѣ все мѣшается мысль, что это стихи».

Убилъ Бѣлинскій обѣ попытки драматическихъ сценъ. Долгъ красенъ платежами. Въ 1841 Бѣлинскій помѣстилъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» длинный разговоръ о литературѣ: «Какъ тебѣ нравится моя послѣдняя статья?» спросилъ онъ меня, обѣдая en petit comité у Дюсо. «Очень, отвѣчалъ я, все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, какъ же ты могъ биться два часа говорить съ этимъ человѣкомъ, не догадавшись съ перваго слова, что онъ дуракъ?»—«И въ самомъ дѣлѣ такъ—сказать, помня со смѣху, Бѣлинскій—ну, братъ, зарѣзать! Вѣдь, совершенный дуракъ!»

замужъ, не пьете больше бутылками шампанское и стаканчикомъ на пожкъ наливку. Кто изъ васъ разбогатѣлъ, кто разорился, кто въ чинахъ, кто въ параличѣ? А главное, жива ли у васъ память объ нашихъ смѣлыхъ бесѣдахъ, живы ли тѣ струны, которыя такъ сильно сотрясались любовью и *негодованиемъ*.

Я остался тотъ же, вы это знаете; чай, долстають до васъ вѣсти съ береговъ Темзы. Иногда вспоминаю васъ, всегда съ любовью; у меня есть нѣсколько писемъ того времени, нѣкоторыя изъ нихъ мнѣ ужасно дороги и я люблю ихъ перечитывать.

«Я не стыжусь тебѣ признаться, писалъ мнѣ 26 января 1838 одинъ юноша, что мнѣ очень горько теперь. Помогли мнѣ ради той жизни, къ которой призывалъ меня, помоги мнѣ своимъ советомъ. *Я хочу учиться*, назначь мнѣ книги, назначь, что хочешь, и употреблю все силы, дай мнѣ ходъ,—на тебѣ будетъ грѣхъ, если ты оттолкнешь меня».

«Я тебя благословляю, пишетъ мнѣ другой, вѣдѣ за моимъ отъѣздомъ, какъ земледѣлецъ благословляетъ дождь, оживотворившій его неудобренную почву».

Не изъ суетнаго чувства выписалъ я эти строки, а потому, что онѣ мнѣ очень дороги. За эти юношескіе призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную въ нихъ *тоску*, можно было примириться съ девятимѣсячной тюрьмой и трехлѣтней жизнью въ Вяткѣ.

А тутъ два раза въ недѣлю приходила въ Вятку московская почта; съ какимъ волненіемъ дожидался я возлѣ почтовой конторы, пока разберутъ письма, съ какимъ трепетомъ ломалъ я печать и искалъ въ письмѣ изъ дома, нѣтъ ли маленькой записочки, на тонкой бумагѣ, писанной удивительно мелкимъ и изящнымъ шрифтомъ.

И я не читалъ ее въ почтовой конторѣ, а тихо шелъ домой, отдавая минуту чтенія, наслаждаясь одной мыслью, что письмо *есть*.

Эти письма все сохранились. Я ихъ оставилъ въ Москвѣ. • Ужасно хотѣлось бы перечитать ихъ и страшно коснуться...

Письма больше, чѣмъ воспоминанья, на нихъ запеклась кровь событій, это само прошедшее, какъ оно было, задержанное и нелѣпное.

...Нужно ли еще разъ знать, видѣть, касаться сморщившимся отъ старости руками до своего вѣнчальнаго убора?..

## ГЛАВА XVII.

Наслѣдникъ въ Вяткѣ. — Паденіе Тюфяева. — Переводъ во Владиміръ. —  
Исправникъ на слѣдствіи.

Наслѣдникъ будетъ въ Вяткѣ! Наслѣдникъ ѣдетъ по Россіи, чтобъ себя ей показать и ее посмотрѣть! Новость эта занимала всѣхъ, но всѣхъ болѣе, разумѣется, губернатора. Онъ затормошился и надѣлалъ рядъ невѣроятныхъ глупостей, велѣлъ мужикамъ по дорогѣ быть одѣтыми въ праздничные кафтаны, велѣлъ въ городахъ перекрасить заборы и перечинить тротуары. Въ Орловѣ бѣдная вдова, владѣлица небольшого дома, объявила городничему, что у нея нѣтъ денегъ на поправку тротуара; городничій донесъ губернатору. Губернаторъ велѣлъ у нея разобрать полы (тротуары тамъ деревянные), а, буде не достанетъ, сдѣлать поправку на казенный счетъ, и взыскать потомъ съ нея деньги, хотя бы для этого слѣдовало продать домъ съ публичнаго торга. До продажи не дошло, а полы у вдовы сломали.

Верстахъ въ пятидесяти отъ Вятки находится мѣсто, на которомъ явилась новгородцамъ чудотворная икона Николая Хлыновскаго. Когда новгородцы поселились въ Хлыновѣ (Вяткѣ), они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой рѣкѣ въ 50 верстахъ отъ Вятки. Новгородцы опять перенесли ее, но съ тѣмъ вмѣстѣ дали обѣтъ, если икона останется, ежегодно носить ее торжественнымъ ходомъ на Великую рѣку, какется 23 мая. Это главный лѣтній праздникъ въ Вятской губерніи. За сутки отправляется икона на богатомъ досчаникѣ по рѣкѣ, съ нею архіерей и все духовенство въ полномъ облаченіи. Сотни всякаго рода лодокъ, досчаниковъ, комятъ, наполненныхъ крестьянами и крестьянками, вотяками, мѣщанами, нестро двигаются за илывущимъ образомъ. И впереди всѣхъ губернаторская расшива, покрытая краснымъ сукномъ. Зрѣлище это очень педурно. Десятки тысячъ народа изъ близкихъ и дальнихъ уѣздовъ ждутъ образа на Великой рѣкѣ. Все это кочуетъ шумными толпами около небольшой деревни, и, что всего страннѣе, толпы некрещеныхъ вотяковъ и черемисъ, даже татаръ приходятъ молиться иконѣ. Зато и праздникъ имѣетъ чисто-языческій видъ. За монастырской стѣной вотяки, русскіе приносятъ на жертву барановъ и телятъ, ихъ тутъ же бьютъ, іеромонахъ читаетъ молитвы, благословляетъ и святить мясо, которое подаютъ въ особое окно съ внутренней стороны ограды. Мясо это раздаютъ по кускамъ народу. Встарь давали его даромъ, теперь монахи берутъ нѣсколько копеекъ за каждый кусокъ. Такъ что мужикъ, подарившій цѣлаго теленка, долженъ истратить грошъ-другой,

чтобъ получить кусокъ себѣ на снѣдъ. На монастырскомъ дворѣ сидятъ цѣлыя толпы нищихъ, калѣкъ, слѣпыхъ, всякихъ уродовъ, которые хоромъ поютъ «Иазаря». Молодые поповичи и мѣщанскіе мальчики сидятъ на надгробныхъ намитникахъ около церкви съ чернильницей и кричатъ: «Кому памяты писать, кому памяты!» Бабы и дѣвки окружаютъ ихъ, сказывая имена; мальчишки, ухорекли скрини перомъ, повторяютъ: «Марью, Марью, Акулину, Степаниду, Отца Іоанна, Матрену, — путка, тетушка, твоихъ, твоихъ-то, вишь отколола грошъ, меньше пятака взять пельзя, родни-то, родни—Іоанна, Василису, Іону, Марью, Евпраксию, младенца Катерину»...

Въ церкви толкотня и странныя предпочтенія, одна баба передаетъ сосѣду свѣчку съ точнымъ порученіемъ поставить «гостю»; другая «хозяину». Вятскіе монахи и дьяконы постоянно пьяны во все время этой процессіи. Они по дорогѣ останавливаются въ большихъ деревняхъ, и мужики ихъ подчуютъ на убой.

Вотъ этотъ-то народный праздникъ, къ которому крестьяне привыкли вѣками, переставлять, было, губернаторъ, желая имъ потѣшить наслѣдника, который долженъ былъ пріѣхать 19 мая; что за бѣда, кажется, если Николай *гость* тремя днями раньше придетъ къ *хозяину*. На это надобно было согласіе архіерея; по счастью, архіерей былъ человѣкъ сговорчивый и не нашелъ ничего возразить противъ губернаторскаго намѣренія отпраздновать 23 мая 19-го.

Между разными распоряженіями изъ Петербурга велѣно было въ каждомъ губернскомъ городѣ приготовить выставку всякаго рода произведеній и издѣлій края и расположить ее по тремъ царствамъ природы. Это раздѣленіе по царствамъ очень затруднило канцелярію и даже отчасти Тюфяева. Чтобъ не ошибиться, онъ рѣшился, несмотря на свое неблагорасположеніе, позвать меня на совѣтъ. «Ну, папримѣръ, медъ, говорилъ онъ, — куда принадлежитъ медъ? Или золоченая рама, какъ опредѣлить, куда она относится?» Увидя изъ моихъ отвѣтовъ, что я имѣю удивительно точныя свѣдѣнія о трехъ царствахъ природы, онъ предложилъ мнѣ заняться расположеніемъ выставки.

Пока я занимался размѣщеніемъ деревянной посуды и вотскихъ нарядовъ, меда и чугунныхъ рѣшетокъ, громовая вѣсть объ арестѣ орловскаго городничаго разнеслась по городу. Тюфяевъ пожелѣлъ и какъ-то невѣрно началъ ступать ногами.

Дней за пять до пріѣзда наслѣдника въ Орловъ, городничій писалъ Тюфяеву, что вдова, у которой полъ сломали, шумитъ, и что купецъ такой-то, богатый и знаемый въ городѣ человѣкъ, похваляется, что все наслѣднику скажетъ. Тюфяевъ насчетъ его распорядился очень умно: онъ велѣлъ городничему заподозрить

его сумасшедшимъ (примѣръ Петровскаго ему понравился) и представить для свидѣтельства въ Вятку; пока бы дѣло длилось, наслѣдникъ уѣхалъ бы изъ Вятской губерніи, тѣмъ дѣло и кончилось бы. Городничій все не исполнилъ; купецъ былъ въ вятской больницѣ.

Наконецъ, наслѣдникъ пріѣхалъ. Сухо поклонился Тюфяеву, не пригласилъ его и тотчасъ послалъ доктора Енохина свидѣтельствовать арестованнаго купца. Все ему было извѣстно. Орловская вдова свою просьбу подала, другіе купцы и мѣщане рассказали все, что дѣлалось. Тюфяевъ еще на два градуса перекоксился. Дѣло было не хорошо. Городничій прямо сказалъ, что онъ на все имѣлъ письменныя приказанія отъ губернатора.

Докторъ Енохинъ увѣрялъ, что купецъ совершенно здоровъ. Тюфяевъ былъ потерянъ.

Въ восьмомъ часу вечера, наслѣдникъ съ свитой явился на выставку; Тюфяевъ повелъ его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о какомъ-то царѣ Тохтамышѣ. Жуковскій и Арсеньевъ, видя, что дѣло не идетъ на ладъ, обратились ко мнѣ съ просьбой показать имъ выставку. Я повелъ ихъ.

Видъ наслѣдника не выражалъ той строгости, какъ видъ его отца; черты его скорѣе показывали добродушіе и вялость. Ему было около двадцати лѣтъ, но онъ уже начиналъ толстѣть.

Нѣсколько словъ, которыя онъ сказалъ мнѣ, были ласковы, безъ хриплаго, отрывистаго тона Константина Павловича.

Когда онъ уѣхалъ, Жуковскій и Арсеньевъ стали меня спрашивать, какъ я попалъ въ Вятку; ихъ удивилъ языкъ порядочнаго человѣка въ вятскомъ губернскомъ чиновникѣ. Они тотчасъ предложили мнѣ сказать наслѣднику о моемъ положеніи, и дѣйствительно они сдѣлали все, что могли. Наслѣдникъ представилъ государю о разрѣшеніи мнѣ ѣхать въ Петербургъ. Государь отвѣчалъ, что это было бы несправедливо относительно другихъ сосланныхъ, но, взявъ во вниманіе представленіе наслѣдника, велѣлъ меня перевести во Владиміръ; это было географическое улучшеніе: 700 верстъ меньше. Но объ этомъ послѣ.

Вечеромъ былъ балъ въ благородномъ собраніи. Музыканты, нарочно выписанные съ одного изъ заводовъ, пріѣхали мертвецкипьяные; губернаторъ распорядился, чтобъ ихъ заперли за сутки до бала и прямо изъ полиціи конвоировали на хоры, откуда не выпускали никого до окончанія бала.

Балъ былъ глупъ, неловокъ, слишкомъ бѣденъ и слишкомъ пестръ, какъ всегда бываетъ въ маленькихъ городкахъ при чрезвычайныхъ случаяхъ. Полицейскіе суетились, чиновники въ мундирахъ жалась къ стѣнѣ, дамы толпились около наслѣдника въ томъ родѣ, какъ дикіе окружаютъ путешественниковъ... Кстати объ дамахъ. Въ одномъ городкѣ былъ приготовленъ послѣ вы-

ставки «гуте». Наслѣдникъ ничего не бралъ, кромѣ одного переноска, котораго кость онъ бросилъ на окно. Вдругъ изъ толпы чиновниковъ отдѣляется высокая фигура, налитая спиртомъ, земскаго засѣдателя, извѣстнаго забулдыги, который мѣрными шагами отиравается къ окну, беретъ кость и кладетъ ее въ карманъ.

Послѣ бала или *gute*, засѣдатель подходитъ къ одной изъ значительныхъ дамъ и предлагаетъ косточку, дама въ восторгѣ. Потомъ онъ отирается къ другой, потомъ къ третьей, — все въ восторгѣ.

Засѣдатель купилъ пять переносковъ, вырѣзалъ косточки и осчастливилъ шесть дамъ. У кого настоящая? Все подозрѣваютъ истинность своей косточки...

Тюфиевъ, послѣ отъѣзда наслѣдника, приготовлялся съ стѣсненнымъ сердцемъ промѣнить пашалыкъ на сенаторскія кресла, но вышло хуже.

Недѣли черезъ три почта привезла изъ Петербурга бумаги на имя «управляющаго губерніей». Въ канцеляріи все переполошилось. Регистраторъ губернскаго правленія приближалъ сказать, что у нихъ полученъ указъ. Правитель дѣлъ бросился къ Тюфиеву; Тюфиевъ оказался больнымъ и не поѣхалъ въ присутствіе.

Черезъ часъ мы узнали, онъ былъ отставленъ—*sans phrase*.

Весь городъ былъ радъ наденію губернатора; управленіе его имѣло въ себѣ что-то удушливое, нечистое, затхло-приказное, и, несмотря на то, все-таки гадко было смотрѣть на ликованіе чиновниковъ.

Да, не одинъ оселъ ударилъ копытомъ этого раненаго венгря. Людекая подлость и тутъ показалаея не меньше, какъ при наденіи Наполеона, несмотря на разницу діаметровъ. Все послѣднее время я былъ съ нимъ въ открытой ссорѣ, и онъ непременно услалъ бы меня въ какой-нибудь заштатный городъ Кай, если-бъ его не прогнали самого. Я удалялся отъ него и мнѣ нечего было мѣнять въ моемъ поведеніи относительно его. Но другіе, вчера снимавшіе шляпу, завидя его карету, глядѣвшіе ему въ глаза, улыбавшіеся его шпигу, подчивавшіе табаккомъ его камердинера, — теперь едва кланялись съ нимъ и кричали во весь голосъ противъ безпорядковъ, которые онъ дѣлалъ *mit uns*. Все это старо и до того постоянно повторяется изъ вѣка въ вѣкъ и вездѣ, что намъ слѣдуетъ эту низость принять за обще-человѣческую черту и, по крайней мѣрѣ, не удивляться ей.

Явился новый губернаторъ. Это былъ человѣкъ совершенно въ другомъ родѣ. Высокій, толстый и рыхло-лимфатическій мужчина, лѣтъ около пятидесяти, съ пріятно улыбающимся лицомъ и съ образованными манерами. Онъ выражался съ необычайной



грамматической правильностью, пространно, подробно, съ ясностью, которая въ состояніи была своею излишностью затемнить простѣйшій предметъ. Онъ былъ ученикъ лица, товарищъ Пушкина, служить въ гвардіи, покупалъ новыя французскія книги, любилъ бесѣдовать о предметахъ важныхъ и далъ мнѣ книгу Токвиля о демократіи въ Америкѣ, на другой день нослъ приѣзда.

Переѣздна была очень рѣзка. Тѣ же комнаты, та же мебель, а на мѣстѣ татарскаго баскака, съ тунгусской наружностью и сибирскими привычками,—доктринеръ, нѣсколько педантъ, но все же порядочный человекъ. Новый губернаторъ былъ уменъ, но умъ его какъ-то свѣтилъ, а не грѣлъ, въ родѣ яснаго зимняго дня—пріятнаго, но отъ котораго плодовъ не дождешься. Къ тому же онъ былъ страшный формалистъ,—формалистъ не приказный, а какъ бы это выразить?.. Его формализмъ былъ второй степени; но столько же скучный, какъ и всѣ прочіе.

Такъ какъ новый губернаторъ былъ въ самомъ дѣлѣ женатъ, губернаторскій домъ утратилъ свой ультра-холостой и полигамическій характеръ. Разумѣется, это обратило всѣхъ совѣтниковъ къ совѣтницамъ; извѣстные старики не хвастались побѣдами «на счетъ клубники», а, напротивъ, нѣжно отзывались о завялыхъ, жестко и угловато костлявыхъ или заплывшихъ жиромъ до невозможности пускать кровь, супругахъ своихъ.

Корниловъ былъ назначенъ за нѣсколько лѣтъ передъ приѣздомъ въ Вятку, прямо изъ семеновскихъ или измайловскихъ полковниковъ, куда-то гражданскимъ губернаторомъ. Онъ приѣхалъ на воеводство, вовсе не зная дѣла. Сначала, какъ всѣ новички, онъ принялся все читать; вдругъ ему попалась бумага изъ другой губерніи, которую онъ, прочитавши два раза, три раза, не понялъ.

Онъ позвалъ секретаря и далъ ему прочесть. Секретарь тоже не могъ ясно изложить дѣла.

— Что же вы сдѣлаете съ этой бумагой, спросилъ его Корниловъ, если я ее передамъ въ канцелярію?

— «Отправляю въ третій столъ, это по третьему столу».

— Стало быть, столоначальникъ третьяго стола знаетъ, что дѣлать?

— «Какъ же, в. п., ему не знать? онъ седьмой годъ править столомъ».

— Позовите его ко мнѣ.

Пришелъ столоначальникъ. Корниловъ, отдавая ему бумагу, спросилъ, что надобно сдѣлать. Столоначальникъ пробѣжалъ наскоро дѣло и доложилъ, что-де въ казенную палату слѣдуетъ сдѣлать запросъ и исправнику предписать.

— Да что предписать?

Столоначальникъ затруднился и, наконецъ, признался, что это трудно такъ разсказать, а что написать легко.

— Вотъ стулъ, прошу васъ написать отвѣтъ.

Столоначальникъ принялся за перо и, не останавливаясь, бойко настрочилъ двѣ бумаги.

Губернаторъ взялъ ихъ, прочелъ, прочелъ разъ и два, ничего понять нельзя. «Я увидѣлъ, разсказывалъ онъ, улыбаясь, что это дѣйствительно былъ отвѣтъ на ту бумагу и, благословясь, поднису. Никогда болѣе не было помину объ этомъ дѣлѣ, — бумага была вполнѣ удовлетворительна».

Вѣсть о моемъ переводѣ во Владиміръ пришла передъ Рождествомъ; я скоро собрался и пустился въ путь.

Съ вятскимъ обществомъ я расстался тепло. Въ этомъ дальнемъ городѣ я нашелъ двухъ-трехъ искреннихъ пріятелей между молодыми кучами.

Все хотѣли на перерывъ показать изгнаннику участіе и дружбу. Нѣсколько саней провожали меня до первой станціи, и, сколько я ни защищался, въ мою повозку наставили цѣлый грузъ всякихъ припасовъ и винъ. На другой день я пріѣхалъ въ Иранскъ.

Отъ Иранска дорога идетъ безконечными сосновыми лѣсами. Ночи были лунныя и очень морозныя; небольшія пошеви пелись по узенькой дорогѣ. Такихъ лѣсовъ я послѣ никогда не видалъ, они идутъ такимъ образомъ, не прерываясь, до Архангельска, изрѣдка по нимъ забѣгаютъ олени въ Вятскую губернію. Лѣсъ большей частью строевой. Сосны чрезвычайной прямизны шли мимо саней, какъ солдаты, высокія и покрытыя снѣгомъ, изъ-подъ котораго торчали ихъ черныя хвоя, какъ щетина. И заснешь, и опять проснешься, а полки сосенъ все идутъ быстрыми шагами, стряхивая иной разъ снѣгъ. Лошадей мѣняють въ маленькихъ расчищенныхъ мѣстахъ, домишко потерянный за деревьями, лошади привязаны къ столбу, бубенчики позваниваютъ, два-три черемисскихъ мальчика въ шитыхъ рубашкахъ выбѣгутъ заспанные, ямщикъ-вотакъ какимъ-то сильнымъ альтиомъ поругается съ товарищемъ, покричитъ «айда», запоетъ пѣсню въ двѣ ноты... и опять сосны, снѣгъ—снѣгъ, сосны...

При самомъ выѣздѣ изъ Вятской губерніи мнѣ еще пришлось проститься съ чиновническимъ міромъ, и онъ pour la cloture явился во всемъ блескѣ.

Мы остановились у станціи, ямщикъ сталъ откладывать, высокій мужикъ показался въ сѣняхъ и спросилъ: «кто проѣзжаетъ?»

— А тебѣ что за дѣло?

— «А то дѣло, что исправникъ велѣлъ узнать, а я разсылъ-ный при земскомъ судѣ».

— Ну, такъ ступай же въ станціонную избу, тамъ моя подорожная.

Мужикъ ушелъ и черезъ минуту воротился, говоря ямщику: не давать ему лошадей.

Это было черезъ край. Я соскочилъ съ саней и пошелъ въ избу. Полушьяный исправникъ сидѣлъ на лавкѣ и диктовалъ полушьяному писарю. На другой лавкѣ въ углу сидѣлъ или лучше лежалъ человекъ съ скованными ногами и руками. Нѣсколько бутылокъ, стаканы, табачная зола и кинны бумагъ были разбросаны.

— Гдѣ исправникъ? сказалъ я громко, входя.

— «Исправникъ здѣсь», отвѣчалъ мнѣ полушьяный Лазаревъ, котораго я видѣлъ въ Вяткѣ. При этомъ онъ дерзко и грубо усталъ на меня глаза, ... и вдругъ бросился ко мнѣ съ распростертыми объятіями.

Надобно при этомъ вспомнить, что послѣ смѣны Тюфяева чиновники, видя мои довольно хорошія отношенія съ новымъ губернаторомъ, начинали меня побаиваться.

Я остановилъ его рукою и спросилъ очень серьезно: — Какъ вы могли велѣть, чтобъ мнѣ не давали лошадей? Что это за вздоръ на большой дорогѣ останавливать проезжихъ?

— «Да я пошутилъ, помилуйте, какъ вамъ не стыдно сердиться! Лошадей, вели лошадей, что ты тутъ стоишь, разбойникъ!» закричалъ онъ разсылному.

— «Сдѣлайте одолженіе, выкушайте чашку чаю съ ромомъ».

— Покорно благодарю.

— «Да нѣтъ ли у насъ шампанскаго...» Онъ бросился къ бутылкамъ, всѣ были пусты.

— Что вы тутъ дѣлаете?

— «Слѣдствіе-съ; вотъ молодчикъ-то топоромъ убилъ отца и сестру родную, изъ-за ссоры, да по ревности».

— Такъ это вы вмѣстѣ и пируете?

Исправникъ замаялся. Я взглянулъ на черемиса: онъ былъ лѣтъ двадцати, ничего свирѣпаго не было въ его лицѣ, совершенно восточномъ, съ узенькими, сверкающими глазами, съ черными волосами.

Все это вмѣстѣ такъ было гадко, что я вышелъ опять на дворъ. Исправникъ выбѣжалъ вслѣдъ за мной, онъ держалъ въ одной рукѣ рюмку, въ другой бутылку рома и приставалъ ко мнѣ, чтобъ я выпилъ.

Чтобы отвязаться отъ него, я выпилъ. Онъ схватилъ меня за руку и сказалъ:

— «Виновать, ну, виновать, что дѣлать! но я надѣюсь, вы не скажете объ этомъ его превосходительству, не погубите благороднаго человѣка». При этомъ неправникъ *схватилъ мою руку и поцѣловалъ* ее, повторяя десять разъ: «ей Богу, не погубите благороднаго человѣка». И съ отвращеніемъ отдернулъ руку и сказалъ ему:

— Да ступайте вы къ себѣ, нужно мнѣ очень рассказывать.

— «Да чѣмъ же бы мнѣ услужить вамъ?»

— Посмотрите, чтобъ поскорѣ закладывали лошадей.

— «Живѣй, закричалъ онъ, айда, айда!» и самъ сталъ подергивать какія-то веревки и ремешки у упряжи.

Случай этотъ сильно вѣззался въ мою память. Въ 1846 г., когда я былъ въ послѣдній разъ въ Петербургѣ, нужно мнѣ было сходить въ канцелярію министра внутреннихъ дѣлъ, гдѣ я хлопоталъ о пассѣ. Пока я толковалъ съ столоначальникомъ, прошелъ какой-то господинъ..., дружески пожимая руку магнатамъ канцеляріи, снисходительно кланяясь столоначальникамъ. Фу, чортъ возьми, подумалъ я, да неужели это онъ!—Кто это?

— «Назаревъ, чиновникъ особыхъ порученій при министрѣ и въ большой силѣ».

— Былъ онъ въ Вятской губерніи неправникомъ?

— «Былъ».

— Поздравляю васъ, господа: дѣвять лѣтъ тому назадъ онъ цѣловалъ мнѣ руку.

Перовскій мастеръ выбирать людей!

## ГЛАВА XVIII.

Начало Владимірской жизни.

...Когда я вышелъ садиться въ повозку въ Космодемьянскѣ, сани были заложены по-русски, тройка въ рядъ, одна въ корню, двѣ на пристяжкѣ, коренная въ дугѣ весело звонила колокольчикомъ.

Въ Пермь и Вяткѣ закладываютъ лошадей гуськомъ, одну передъ другой или двѣ въ рядъ, а третью впереди.

Такъ сердце и стукнуло отъ радости, когда я увидѣлъ нашу упряжь.

— Нутка, нутка, покажи намъ свою прыть, сказалъ я молодому парню, лихо сидѣвшему на облучкѣ въ нагольномъ тулупѣ и несгибаемыхъ рукавицахъ, которые едва ему позволяли настолько сблизить пальцы, чтобъ взять пяти-алтынный пзъ моихъ рукъ.

— «Уважимъ-съ, уважимъ-съ. Эй вы, голубчики!—ну, баринъ, сказалъ онъ, обращаясь вдругъ ко мнѣ, ты только держись, тутъ гора, такъ я коней-то пушу». Это былъ крутой съѣздъ къ Волгѣ, по которой шелъ зимній трактъ.

Дѣйствительно, коней онъ пустилъ. Сани не ѣхали, а какъ-то цѣликомъ прыгали справа налево и слѣва направо, лошади мчали подъ гору, ямщикъ былъ смертельно доволенъ, да, грѣшныи чловѣкъ, и я самъ,—русская натура.

Такъ въѣзжалъ я на почтовыхъ въ 1838 годъ—въ лучший, въ самый свѣтлый годъ моей жизни. Расскажу вамъ нашу первую встрѣчу съ нимъ.

Верстахъ въ 80 отъ Нижняго, взошли мы, т. е. я и мой камердинеръ Матвѣй, обогрѣться къ станціонному смотрителю. На дворѣ было очень морозно и къ тому же вѣтрено. Смотритель, худой, болѣзненный и жалкой наружности чловѣкъ, записывалъ подорожную, самъ себѣ диктуя каждую букву и все-таки ошибаясь. Я снялъ шубу и ходилъ по комнатамъ въ огромныхъ мѣховыхъ сапогахъ, Матвѣй грѣлся у каменной печи, смотритель бормоталъ, деревянные часы постукивали разбитымъ и слабымъ звукомъ...

— «Посмотрите, сказалъ мнѣ Матвѣй, скоро двѣнадцать часовъ, вѣдь, новый годъ-съ. Я принесу, прибавилъ онъ, полувопросительно глядя на меня, что-нибудь изъ запаса, который намъ въ Вяткѣ поставили», и, не дожидаясь отвѣта, бросился доставать бутылки и какой-то кулечекъ.

Матвѣй, о которомъ я еще буду говорить впоследствии, былъ больше нежели слуга; онъ былъ моимъ пріятелемъ, меньшимъ братомъ. Московскій мѣщанинъ, отданный Зоненбергу, съ которымъ мы тоже познакомимся, на изученіе переплетнаго искусства, въ которомъ, впрочемъ, Зоненбергъ не былъ особенно свѣдущъ, онъ перешелъ ко мнѣ.

Я зналъ, что мой отказъ огорчилъ бы Матвѣя, да и самъ въ сущности ничего не имѣлъ противъ почтоваго празднества... Новый годъ своего рода станція.

Матвѣй принесъ ветчину и шампанское.

Шампанское оказалось замерзнувшимъ вгустую; ветчину можно было рубить топоромъ, она вся блистала отъ льдинокъ; но *à la guerre comme à la guerre*.

«Съ новымъ годомъ! Съ новымъ счастьемъ!»—въ самомъ дѣлѣ, съ новымъ счастьемъ. Развѣ я не былъ на возвратномъ пути? Всякій часъ приближалъ меня къ Москвѣ,—сердце было полно надеждъ.

Мороженое шампанское не то, чтобъ слишкомъ нравилось

смотрительно, я прибавилъ ему въ вино полетакана рома. Это новое half and half имѣло большой успѣхъ.

Ямщикъ, котораго я тоже приглашалъ, былъ еще радикальнѣе; онъ насыпалъ перцу въ стаканъ пѣннаго вина, размѣшалъ ложкой, вынулъ разомъ, болезненно вздохнулъ и нѣсколько со стономъ прибавилъ: «славно огорчило!»

Смотритель самъ усадилъ меня въ сани и такъ усердно хлопоталъ, что уронилъ въ сѣно зажженную свѣчу и не могъ ее потомъ найти. Онъ былъ очень въ духѣ и повторялъ: «Вотъ и меня вы сдѣлали съ новымъ годомъ—вотъ и съ новымъ годомъ!»

Огорченный ямщикъ тронулъ лошадей...

На другой день, часовъ въ восемь вечера, пріѣхалъ я во Владиміръ и остановился въ гостиницѣ, чрезвычайно вѣрно описанной въ «Гарантасѣ», съ своей курицей «съ рысью», хлѣбнымъ натише и съ укеусомъ вмѣсто бордо.

— Васъ спрашивалъ какой-то человѣкъ сегодня утромъ, онъ никакъ дожидается въ поливниой, сказалъ мнѣ, прочитавъ въ подорожной мое имя, половой съ тѣмъ ухарскимъ пробормомъ и отчаяннымъ вискомъ, которымъ отличались прежде одни русскіе половые, а теперь половые и Людовикъ Нанолеоны.

Я не могъ понять, кто бы это могъ быть.

— Да вотъ и они-съ, прибавилъ половой, сторонясь. Но явился сначала не человѣкъ, а страшной величины подносъ, на которомъ было много всякаго добра: куличъ и барашки, апельсинны и яблоки, яйца, миндаль, изюмъ... а за подносомъ видѣлась сѣдая борода и голубые глаза старосты изъ владимірекой деревни моего отца.

— Гаврило Семенычъ!—воскликнулъ я и бросился его обнимать. Это былъ *первый* человѣкъ изъ *нашихъ*, изъ прежней жизни, котораго я встрѣтилъ послѣ *тюрьмы и ссылки*. Я не могъ насмотрѣться на умнаго старика и наговориться съ нимъ. Онъ былъ для меня представителемъ близости къ Москвѣ, къ дому, къ друзьямъ, онъ три дня тому назадъ всѣхъ видѣлъ, отъ всѣхъ привезъ поклонны... Стало, не такъ-то далеко <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Послѣ этого въ «Тюрьмѣ и Ссылкѣ» идетъ:

... Новый отдѣлъ жизни начался для меня съ Владиміра... отдѣлъ чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнической и проникнутый любовью.

«Но онъ принадлежитъ къ другой части, къ той, за которую я боюсь приняться, которую описывать у меня врядъ достанетъ ли силъ.

«Страшныя событія, жгучее горе — все же легче кладутся на бумагу, нежели воспоминанія совершенно свѣтлыя, безоблачныя. Будто можно рассказывать счастье?

«Не ждите отъ меня длинныхъ повѣствованій о внутренней жизни того времени. Есть предметы, о которыхъ я никому не говорилъ, никогда не говорилъ не потому, что они тайны, а по какой-то застѣчивости сердца,



Губернаторъ Курута <sup>1)</sup>, умный грекъ, хорошо зналъ людей и давно успѣлъ охладѣть къ добру и злу. Мое положеніе онъ понималъ тотчасъ и не дѣлалъ ни малѣйшаго опыта меня притѣснять. О канцеляріи не было и помину, онъ поручилъ мнѣ съ однимъ учителемъ гимназіи завѣдывать *Губернскими Вѣдомостями*, въ этомъ состояла вся служба.

Дѣло это было мнѣ знакомое, я уже въ Вяткѣ поставилъ на ноги неофициальную часть вѣдомостей и помѣстилъ въ нее разъ статейку, за которую чуть не попалъ въ бѣду мой преемникъ. Описывая празднество на «Великой рѣкѣ», я сказалъ, что баранину, приносимую на жертву Николаю Хлыновекому, въ старыя годы раздавали бѣднымъ, а нынче продаютъ. Архіерей разгнѣвался, и губернаторъ насилу уговорилъ его оставить дѣло.

Губернскія вѣдомости были введены въ 1837 году. Оригинальная мысль приучать къ гласности въ странѣ молчанія и немоты пришла въ голову министру внутреннихъ дѣлъ Блудову. Блудовъ, извѣстный какъ продолжатель исторіи Карамзина, не написавшій ни строки далѣе, и какъ сочинитель доклада слѣдственной комиссіи послѣ 14 декабря, котораго было бы лучше совсѣмъ не писать, принадлежалъ къ числу государственныхъ доктринеровъ, явившихся въ концѣ александровскаго царствованія. Это были люди умные, образованные, честные, состарившіеся и выслужившіеся «арзамаскіе гуси»; они умѣли писать по-русски, были на-

---

по ихъ слишкомъ глубокой и тѣсной связи со всѣмъ бытіемъ, по ихъ нѣжному волосенному развѣтвленію по всему существу.

«Дополните сами, чего не достаетъ, — догадайтесь, а я буду говорить о наружной сторонѣ, объ обстановкѣ, рѣдко, рѣдко касаясь намекомъ или словомъ заповѣдныхъ тайнъ своихъ».

<sup>1)</sup> Орывокъ изъ этой главы, начиная отсюда и до конца (за исключеніемъ послѣднихъ четырехъ строчекъ), былъ напечатанъ въ «Полярной Звѣздѣ», какъ отдѣльная IV глава съ заголовкомъ: «Владимір» и со слѣдующимъ началомъ:

«Ну, прощай,—пишетъ я къ Natalie, — прощай городъ, въ которомъ прошли почти три года моей жизни, прощай Вятка, благословеніе изгнанника на тебѣ за твой привѣтъ, за дружбу, которой я былъ окруженъ. Во Владимірѣ вся жизнь моя будетъ посвящена тебѣ, тамъ буду я очипать душу и издали молиться тебѣ. Такъ пилигримъ останавливается, не доходя до Іерусалима, гдѣ-нибудь въ Емаусѣ, просить прощенія за прошедшее и приготавливается. Это будутъ мои сорокъ дней въ пустынѣ».

Я сдержалъ слово: съ самаго приѣзда моего во Владиміръ, жизнь сложилась иначе, нежели въ Вяткѣ. Моя небольшая квартира близъ Золотыхъ Воротъ скорѣе походила на келью монаха, нежели на берлогу провинціального льва. Да я и не былъ львомъ во Владимірѣ. Никакое прошлое разсѣяніе не шло въ голову, рука, поддерживавшая меня, служившая мнѣ нравственной опорой, была ближе. Письма приходили на другой день, казалось, бумага еще была тепла, пульсъ руки чувствовался на ней, слѣдъ взгляда, обращеннаго на строчки, казалось, не успѣлъ пройти...

тріоты и такъ усердно занимались отечественной исторіей, что не имѣли досуга заняться современностью. Всѣ они чтли незабвенную память Н. М. Карамзина, любили Жуковского, знали на память Крылова и ѣздили въ Москву бесѣдовать къ И. П. Дмитріеву, въ его домъ на Садовой, куда и я ѣзживалъ къ нему студентомъ, вооруженный романтическими предразсудками, личнымъ знакомствомъ съ Н. Полевымъ и затаеннымъ чувствомъ неудовольствія, что Дмитріевъ, будучи поэтомъ, былъ министромъ юстиціи. Отъ нихъ много надѣялись, они ничего не сдѣлали, какъ вообще доктринеры всѣхъ странъ. Можетъ быть, имъ и удалось бы оставить слѣдъ болѣе прочный при Александрѣ; но Александръ умеръ, и они остались при своемъ *желаніи* дѣлать что-нибудь путное.

Въ Монако на надгробномъ памятникѣ одного изъ владѣтельныхъ князей написано: «Здѣсь покоится Флорестанъ такой-то— онъ *хотѣлъ* дѣлать добро своимъ подданнымъ!» <sup>1)</sup> Наши доктринеры тоже желали дѣлать добро, но счетъ былъ составленъ безъ хозяина. Не знаю, кто помѣшалъ Флорестану, но имъ помѣшалъ нашъ Флорестанъ. Имъ пришлось быть соприкосновенными во всѣхъ ухудшеніяхъ Россіи и ограничиваться ненужными нововведеніями, переменами формъ, названій. Всякій начальникъ у насъ считаетъ высшей обязанностью нѣтъ-нѣтъ да и представить какой-нибудь проектъ, измѣненіе, обыкновенно къ худшему, но иногда просто безразличное. Секретаря въ канцеляріи губернатора, напр., сочли нужнымъ назвать правителемъ дѣлъ, а секретаря губернскаго правленія оставили безъ перевода на русскій языкъ. Я помню, что министръ юстиціи подавалъ проектъ о необходимыхъ измѣненіяхъ мундировъ гражданскихъ чиновниковъ. Проектъ этотъ начинался какъ-то величаво и торжественно: «Обративъ въ особенности вниманіе на недостатокъ единства въ шитьѣ и покроѣ нѣкоторыхъ мундировъ гражданского вѣдомства и взявъ въ основаніе» и т. д.

Одержимый тою же болѣзнью проектовъ, министръ внутреннихъ дѣлъ *замѣнилъ* земскихъ засѣдателей становыми приставами. Засѣдатели жили по городамъ и наѣзжали въ деревни. Становые иногда съѣзжаются въ городъ, но постоянно живутъ въ деревнѣ. Всѣ крестьяне такимъ образомъ были отданы подъ надзоръ полиціи. Блудовъ ввелъ полицейскаго въ тайны крестьянскаго промысла и богатства, въ семейную жизнь, въ мірскія дѣла и черезъ это коснулся послѣдняго убѣжища народной жизни. По счастью, деревень у насъ очень много, а становыхъ бываетъ два на уѣздъ.

<sup>1)</sup> Il a voulu le bien de ses sujets.

Почти въ то же время, тотъ же Блудовъ выдумалъ *Губернскія Вѣдомости*. У насъ правительство, презирая всякую грамотность, имѣетъ большія притязанія на литературу, и въ то время, какъ въ Англіи, напр., совсѣмъ нѣтъ казенныхъ журналовъ, у насъ каждое министерство издаетъ свой, академія и университеты свой. У насъ есть журналы горные и соляные, французскіе и нѣмецкіе, морскіе и сухопутные. Все это издается на казенный счетъ, подряды статей дѣлаются въ министерствахъ такъ, какъ подряды на дрова и свѣчи, только безъ переторжки; недостатка въ общихъ отчетахъ, выдуманныхъ цифрахъ и фантастическихъ выводахъ не бываетъ. Взявши все монополи, правительство взяло и монополи болтовни, оно велѣло всемъ молчать и стало говорить безъ умолку. Продолжая эту систему, Блудовъ велѣлъ, чтобъ каждое губернское правленіе издавало свои вѣдомости и чтобъ каждая вѣдомость имѣла свою неофициальную часть для статей историческихъ, литературныхъ и пр.

Сказано—сдѣлано, и вотъ пятьдесятъ губернскихъ правленій рвутъ себѣ волосы надъ неофициальной частью. Священники изъ семинаристовъ, доктора медицины, учителя гимназій, все люди, состоящіе въ подозрѣніи образованія и умѣстнаго употребленія буквы «ѣ», берутся въ реквизицію. Они думаютъ, пересчитываютъ «Библіотеку для чтенія» и «Отечественныя Записки», боятся, посягаютъ и, наконецъ, пишутъ статьи.

Видѣть себя въ печати—одна изъ самыхъ сплнныхъ искусственныхъ страстей чловѣка, испорченнаго книжнымъ вѣкомъ. Но, тѣмъ не меньше, рѣшиться на публичную выставку своихъ произведеній нелегко, безъ особаго случая. Люди, которые не смѣли бы думать о печатаніи своихъ статей въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, въ петербургскихъ журналахъ, стали печататься у себя дома. А между тѣмъ *пагубная* привычка имѣть органъ, привычка къ гласности, укоренилась. Да и совсѣмъ готовое орудіе имѣть не дурно. Типографскій станокъ *можетъ* безъ костей.

Товарищъ мой по редакціи былъ кандидатъ нашего университета и одного со мною отдѣленія. Я не имѣю духу говорить о немъ съ улыбкой, такъ горестно онъ кончилъ свою жизнь, а все-таки до самой смерти онъ былъ очень смѣшонъ. Далеко не глупый, онъ былъ необыкновенно неуклюжъ и неловокъ. Не только полнѣйшаго безобразія трудно было встрѣтить, но и такого большого, т. е. такого растянутаго. Лицо его было вполтора больше обыкновеннаго, и какъ-то шероховато, огромный рыбій ротъ раскрывался до ушей, свѣтло-сѣрые глаза были не отгѣнены, а скорѣе освѣщены бѣлокурыми рѣсницами, жесткіе волосы скудно покрывали его черепъ и притомъ онъ былъ головою выше меня, сутуловатъ и очень неопрятенъ.

Онъ даже назывался такъ, что часовой во Владимірѣ посадилъ его въ караульню за его фамилію. Поздно вечеромъ шелъ онъ, завернутый въ шинель, мимо губернаторскаго дома, въ рукѣ у него былъ ручной телескопъ, онъ остановился и прицѣлился въ какую-то планету; это озадачило солдата, вѣроятно считавшаго звѣзды казенной собственностью. «Кто идетъ?» закричалъ онъ неподвижно стоявшему наблюдателю.—«Небаба», отвѣчалъ мой пріятель густымъ голосомъ, не двигаясь съ мѣста.

«Вы не дурачьтесь, отвѣтилъ оскорбленный часовой, я въ должности».

— «Да говорю же, что я Небаба!»

Солдатъ не вытерпѣлъ и дернулъ звонокъ, явился унтеръ-офицеръ, часовой отдалъ ему астронома, чтобъ свести на гаунтвахту: тамъ, молъ, тебя разберутъ, баба ты или нѣтъ. Онъ непремѣнно просидѣлъ бы до утра, если-бъ дежурный офицеръ не узналъ его.

Разъ Небаба зашелъ ко мнѣ по утру, чтобъ сказать, что ѣдетъ на нѣсколько дней въ Москву, при этомъ онъ какъ-то умильно лукаво улыбулся. «И, сказалъ онъ, замѣняясь, я возвращусь не одинъ!» — Какъ, вы—то-есть? — «Да-съ, вступаю въ законный бракъ», отвѣтилъ онъ застѣнчиво. Я удивился героической отвагѣ женщины, рѣшающейся идти за этого добраго, но ужъ черзчуръ некрасиваго человѣка. Но когда, черезъ двѣ-три недѣли, я увидѣлъ у него въ домѣ дѣвочку лѣтъ восемнадцати, не то чтобъ красивую, но смазливенькую и съ живыми глазами, тогда я сталъ смотрѣть на него, какъ на героя.

Мѣсяца черезъ полтора я замѣтилъ, что жизнь моего Квазимодо шла плохо: онъ былъ подавленъ горемъ, дурно правилъ корректуру, не оканчивалъ своей статьи «о перелетныхъ птицахъ» и былъ мрачно разсѣянъ; иногда мнѣ казались его глаза заплаканными. Это продолжалось недолго. Разъ, возвращаясь домой черезъ Золотыя Ворота, я увидѣлъ мальчиковъ и лавочниковъ, бѣгущихъ на погостъ церкви: полицейскіе суетились. Пошелъ и я.

Трупъ Небабы лежалъ у церковной стѣны, а возлѣ ружье. Онъ застрѣлился супротивъ оконъ своего дома; на ногѣ оставалась веревочка, которой онъ спустилъ курокъ. Инспекторъ врачебной управы плавно повѣствовалъ окружающимъ, что покойникъ нисколько не мучился; полицейскіе приготавлились нести его въ часть.

... Куда природа свирѣпа къ лицамъ. Чтò и чтò прочувствовалось въ этой груди страдальца, прежде чѣмъ онъ рѣшился своей веревочкой остановить маятникъ, мѣрившій ему дни оскорбленія, дни несчастія. И за что? За то, что отецъ былъ золоту-

шенъ или мать лимфатична? Все это такъ. Но по какому праву мы требуемъ справедливости, отчета, причинъ—у кого? У крутящагося урагана жизни?..

Въ то же время для меня начался новый отдѣлъ жизни... отдѣлъ чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельническій и проникнутый любовью...

Онъ принадлежитъ къ другой части.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

### ВЛАДИМИРЪ НА КЛАЗЬМЪ.

(1838—1839).

Не ждите отъ меня длинныхъ повѣствованій о внутренней жизни того времени... Страшныя событія, всякое горе, все же легче кладутся на бумагу, чѣмъ воспоминанія совершенно свѣтлыя и безоблачныя... Будто можно рассказывать счастье?

Дополните сами, чего не достаетъ, догадайтесь сердцемъ,—а я буду говорить о наружной сторонѣ, объ обстановкѣ, рѣдко, рѣдко касаясь намекомъ или словомъ запоедныхъ тайнъ своихъ («Было и Думы»).

## ГЛАВА XIX <sup>1)</sup>.

Княгиня и княжна.

Когда мнѣ было лѣтъ пять, шесть и я очень шалилъ, Вѣра Артамоновна говаривала: «Хорошо, хорошо, дайте срокъ, погодите, я все расскажу княгинѣ, какъ только она пріѣдетъ». Я тотчасъ умирался послѣ этой угрозы и умолялъ ее не жаловаться.

<sup>1)</sup> Семь главъ III части были напечатаны въ «Полярной Звѣздѣ» при слѣдующемъ примѣчаніи:

«Отрывокъ, печатаемый теперь, слѣдуетъ прямо за той частью, которая была особо издана подъ заглавіемъ «Тюрьма и ссылка»; она была написана тогда же (1853), но я многое прибавилъ и дополнилъ.

Странная судьба моихъ «Записокъ»: я хотѣлъ напечатать одну часть ихъ, вмѣсто того напечатать три и теперь еще печатаю *четвертую*.

Одинъ парижскій рецензентъ, разбирая, впрочемъ, очень благосклонно (La Presse, 13 окт. 1856) третій томикъ нѣмецкаго перевода моихъ «Записокъ», изданныхъ Гофманомъ и Кампе въ Гамбургѣ, въ которомъ я рассказываю о моемъ дѣтствѣ, прибавляетъ шутя, что я повѣствую свою жизнь



Княгиня Марья Алексѣевна Хованская, родная сестра моего отца, была строгая, угрюмая старуха, толстая, важная, съ пынгомъ на щекѣ, съ поддѣльными нуклями подъ чепцомъ; она говорила, прищуривая глаза, и до конца жизни, т. е. до восьмидесяти лѣтъ, употребляла немного румянъ и немного бѣлилъ. Всякой разъ, когда я ей попадался на глаза, она притѣсняла меня; ся проповѣдямъ, ворчанью не было конца, она меня жургла за все: за измятый воротничекъ, за пятно на курточкѣ, за то, что я не такъ подошелъ къ рукѣ, заставляла подойти другой разъ. Окончивши проповѣдь, она иногда говаривала моему отцу, бравши кончиками пальцевъ табакъ изъ крошечной золотой табакерки: «Ты бы мнѣ, голубчикъ, отдалъ баловни-то твоего на выправку: онъ у меня въ мѣсяцъ сдѣлался бы шелковый». Я зналъ, что меня не отдадутъ, а все-таки у меня дѣлался знобъ отъ этихъ словъ.

Съ лѣтами страхъ прошелъ, но дома княгини я не любилъ,— я въ немъ не могъ дышать вольно, мнѣ было у нея не по себѣ и я, какъ пойманный заяцъ, безпокойно смотрѣлъ то въ ту, то въ другую сторону, чтобъ дать стрѣчка.

Княгининъ домъ вовсе не походилъ на домъ моего отца или Сенатора. Это былъ старинный, православный русскій домъ. Домъ, въ которомъ соблюдались посты, ходили къ заутрени, ставили на канунѣ крещенья крестъ на дверяхъ, дѣлали удивительные блины на маслянницѣ, ѣли буженину съ хрѣномъ, обѣдали ровно въ два и ужинали въ девятомъ часу. Западная зараза, коснувшаяся брать-

какъ эпическую поэму: началъ *in medias res* и потомъ возвратился къ дѣйствию.

Это эпическое кокетство совершенная случайность, и если кто-нибудь виновать въ немъ, то совсѣмъ не я, а скорѣе мои рецензенты, и въ томъ числѣ самъ критикъ «Прессы». Если-бъ они отрывки изъ моихъ записокъ приняли строже, холоднѣе и, что еще хуже, пропустили бы ихъ безъ всякаго вниманія, я долго не рѣшился бы печатать еще и долго обдумывалъ бы, въ какомъ порядкѣ печатать.

Пріемъ, сдѣланный имъ, увлекъ меня, и мнѣ стало труднѣе не печатать, нежели печатать.

Я знаю, что большая часть успѣха ихъ принадлежитъ не мнѣ, а предмету. Западные люди были рады еще разъ заглянуть за кулисы русской жизни. Но, можетъ, въ сочувствіи къ моему разсказу доля принадлежитъ *простой правдѣ* его. Эта награда была бы мнѣ очень дорога, ее только я и желать.

Часть, печатаемая теперь, интимнѣе прежнихъ; именно потому она имѣетъ меньше интереса, меньше фактовъ; но мнѣ было гораздо труднѣе писать ее.. Къ ней я приступилъ съ особеннымъ страхомъ былого и печатаю ее съ внутреннимъ трепетомъ, не давая себѣ отчета, зачѣмъ...

...Можетъ быть, кому-нибудь изъ тѣхъ, которымъ была занимательна виѣшняя сторона моей жизни, будетъ занимательна и внутренняя. Вѣдь, мы уже теперь старые знакомые!

Лондонъ, 21 ноября, 1856 г.

II—рѣ.

есть и сбившая ихъ нѣсколько съ родной колеи, не коснулась житыхъ книжицъ, она, напротивъ, съ неудовольствіемъ посматривала, какъ «Ванюша» и «Левушка» испортились въ *этой* Франціи.

Книжицы жила во флигелѣ дома, занимаемаго ея теткой, княжной Мещерской, дѣвицей лѣтъ восьмидесяти.

Княжна была живою и чуть ли не единственною связью множества родственниковъ во всѣхъ семи восходящихъ и нисходящихъ колѣнахъ. Около нея собирались въ большіе праздники всѣ ближніе; она мирила ссорившихся, сближала отдалявшихся, ее всѣ уважали и она заслуживала это. Съ ея смертию родственныя связи распались, потеряли свое средоточіе, забыли другъ друга.

Она окончила воспитаніе моего отца и его братьевъ; послѣ смерти ихъ родителей, она завѣдывала ихъ имѣніемъ до совершеннолѣтія; она отпирала ихъ въ гвардію на службу, она выдала замужъ ихъ сестеръ. Не знаю, насколько она была довольна плодомъ своего воспитанія, образовавши, съ помощью французскаго инженера, Вольтерова родственника, помощниковъ *ésprits forts*, но уваженіе къ себѣ вселить она умѣла, и племянники, не очень расположенные къ чувствамъ покорности и уваженія, почитали старушку и часто слушались ее до конца ея жизни.

Домъ княжны Анны Борисовны, уцѣлѣвшій какимъ-то чудомъ во время пожара 1812, не былъ поправленъ лѣтъ пятьдесятъ; штофные обои, вылинялые и почернѣвшіе, покрывали стѣны; хрустальныя люстры, какъ-то загорѣлыя и сдѣлавшіяся дымчатыми топазами отъ времени, дрожали и позванивали, мерцая и тускло блестя, когда кто-нибудь шелъ по комнатѣ; тяжелая, изъ цѣльнаго краснаго дерева, мебель, съ вычурными украшеніями, потерявшими позолоту, печально стояла около стѣнъ; комоды съ китайскими инкрустаціями, столы съ мѣдными рѣшеточками, фарфоровыя куклы рококо—все напоминало о другомъ вѣкѣ, объ иныхъ нравахъ.

Въ передней сидѣли сѣдые лакеи, важно и тихо занимаясь разными мелкими работами, а иногда читая въ полслуха молитвенникъ или псалтырь, котораго листы были темнѣе переплета. У дверей стояли мальчики, но и они были скорѣе похожи на старыхъ карликовъ, нежели на дѣтей, никогда не смѣялись и не подымали голоса.

Во внутреннихъ комнатахъ царилъ мертвая тишина; только по временамъ раздавался печальный крикъ какаду, несчастный опытъ его, картавя, повторить человѣческое слово, костяной звукъ его клюва объ жердочку, покрытую жестью, да противное хныканье небольшой обезьяны, старой, осунувшейся, чахоточной, жившей въ залѣ на небольшомъ выступѣ изразцовой печи. Обезьяна эта, одѣтая дебардеромъ, въ широкихъ красныхъ шароварахъ,

сообщала всей комнатѣ особый запахъ, чрезвычайно непріятный. Въ другой залѣ висѣло множество фамильныхъ портретовъ всѣхъ величинъ, формъ, временъ, возрастовъ и костюмовъ. Портреты эти имѣли для меня особый интересъ, именно по противоположности оригиналовъ съ изображеніями. Молодой человекъ, лѣтъ двадцати, въ свѣтлозеленомъ шитомъ кафтанѣ, съ пудреной головой, вѣжливо улыбавшійся съ холста,—это былъ мой отецъ. Дѣвочка съ растрепанными кудрями, съ букетомъ розъ, украшенная мушкой, неумолимо затянутая въ какой-то граненый бокалъ, воткнутый въ непомѣрные фижмы, была грозная княгиня...

Чинность и тишина росли по мѣрѣ приближенія къ кабинету. Старыя горничныя, въ бѣлыхъ чепцахъ съ широкой оборкой, ходили взадъ и впередъ съ какими-то чайничками, такъ тихо, что ихъ шаговъ не было слышно; иногда появлялся въ дверяхъ какой-нибудь сѣдой слуга въ длинномъ сюртукѣ изъ толстаго синяго сукна, но и его шаговъ также не было слышно, даже свой докладъ старшей горничной онъ дѣлалъ, шевеля губами безъ всякаго звука.

Небольшая ростомъ, высохнувшая, сморщившаяся, но вовсе не безобразная старушка обыкновенно сидѣла или, лучше, лежала на большомъ неуклюжемъ диванѣ, обladenная подушками. Ее едва можно было разглядѣть; все было бѣлое: капоть, чепецъ, подушки, чехлы на диванѣ. Блѣдно-восковое и кружевно-пѣжное лицо ея вмѣстѣ съ слабымъ голосомъ и бѣлой одеждой придавали ей что-то отошедшее, еле-еле дышащее.

Большіе англійскіе столовые часы, своимъ мѣрнымъ, громкимъ спондеемъ—тикъ-такъ—тикъ-такъ—тикъ-такъ..., казалось, отмѣривали ей послѣдніе четверть часа жизни.

Часу въ перьомъ являлась княгиня и важно усаживалась въ глубокія кресла; ей было скучно въ пустомъ флигелѣ своемъ. Она была вдова, и я еще помню ея мужа; онъ былъ небольшого роста, сѣденькой старичекъ, нившій тайкомъ отъ княгини настойки и наливки, ничѣмъ не занимавшійся путнымъ въ домѣ и привыкшій къ безусловной покорности женѣ, противъ которой иногда возмущался на словахъ, особенно послѣ наливки, но никогда не дѣлалъ. Княгиня удивлялась потомъ, какъ сильно дѣйствуетъ на князя Федора Сергѣевича крошечная рюмка водки, которую онъ пилъ официально передъ обѣдомъ, и оставляла его покойно играть цѣлое утро съ дроздами, соловьями и канарейками, кричавшими наперерывъ во все птичье горло; онъ обучалъ однихъ органчикомъ, другихъ собственнымъ свистомъ; онъ самъ ѣздилъ ране хонько въ Охотный рядъ мѣнять птицъ, продавать, прикупать; онъ былъ артистически доволенъ, когда случалось (да и то по его мнѣнію), что онъ надулъ купца... И такъ продолжалъ свою полез-

ную жизнь до тѣхъ поръ, пока разъ по утру, посвиставши своимъ канарейкамъ, онъ упалъ навзничъ и черезъ два часа умеръ.

Княгиня осталась одна. У нея были двѣ дочери; она обѣихъ выдала замужъ, обѣ вышли не по любви, а только чтобъ освободиться отъ родительскаго гнета матери. Обѣ умерли послѣ первыхъ родовъ. Княгиня была дѣйствительно несчастная женщина, но несчастія скорѣе неказили ея нравъ, нежели смягчили его. Она отъ ударовъ судьбы стала не кротче, не добрѣе, а жеще и угрюмѣе.

Теперь у нея оставались только братья и, главное, княжна. Княжна, съ которой она почти не разставалась во всю жизнь, еще больше приблизила ее къ себѣ послѣ смерти мужа. Она не расприжалась ничѣмъ въ домѣ. Княгиня самодержавно управляла всѣмъ и притѣняла старушку, подъ предлогомъ заботъ и вниманія.

Около стѣнъ, по разнымъ угламъ, постоянно сиживали всякія старухи, приживавшія у княжны, или временно кочевавшія въ ея домѣ. Полусвятыя и полубродяги, нѣсколько поврежденные и очень набожныя, больныя и чрезвычайно печистыя, эти старухи таскались изъ одного стариннаго дома въ другой; въ одномъ домѣ покормить, въ другомъ подарить старую шаль, отсюда пришить крупокъ и дровецъ, отсюда холста и капуста, — концы-то кой-какъ и сойдутся. Имъ вездѣ тяготились, вездѣ ихъ обходили, вездѣ сажали на послѣднее мѣсто и вездѣ принимали отъ скуки пустоты, а цуще всего отъ любви къ сплетнямъ. При постороннихъ печальныя фигуры эти обыкновенно молчали, съ завистливой ненавистью поглядывали другъ на друга, ... вздыхая, качали головой, крестились и бормотали себѣ подъ носъ счетъ петель, молитвы, а можетъ, и брань. Зато оставшись наединѣ съ *благодѣтельницами* и *покровительницами*, онѣ вознаграждали себя за молчаніе самой предательской болтовней обо всѣхъ другихъ *благодѣтельницахъ*, къ которымъ ихъ нѣскали, гдѣ ихъ кормили и дарили.

Онѣ безпрестанно просили что-нибудь у княжны, и за ея подарки, дѣлаемые часто тайкомъ отъ княгини, которая не любила ихъ баловать, приносили ей окаменѣлыя просвиры и собственнаго издѣлія шерстяныя и вязаныя пенужности, которые княжна потомъ продавала въ ихъ же пользу, причемъ воля покушника вовсе не бралась въ соображеніе.

Сверхъ дня рожденія, именинъ и другихъ праздниковъ, самый торжественный сборъ родственниковъ и близкихъ въ домѣ княжны былъ наканунѣ новаго года. Княжна въ этотъ день *поднимала* Иверскую Божію мать. Съ пѣніемъ посли монахи и священники образъ по всѣмъ компатамъ. Княжна первая, крестясь, проходила подъ него, за ней всѣ гости, слуги, служанки,

старики, дѣти. Послѣ этого всеъ поздравляли ее съ наступающимъ новымъ годомъ и дарили ей всякія бездѣлицы, какъ дарятъ дѣтими. Она ими играла нѣсколько дней, потомъ сама раздаривала.

Отецъ мой возилъ меня всякой годъ на эту церемонію; все повторялось въ томъ же порядкѣ, только иныхъ стариковъ и иныхъ старушекъ не доставало, объ нихъ намѣренно умалчивали, одна княжна говорила: «А нашего-то Ильи Васильевича и нѣтъ, дай ему Богъ царство небесное!.. Кого-то въ будущій годъ Господь еще позоветъ?»—И сомнительно качала головой.

А спондей англійскихъ часовъ продолжалъ отмѣривать дни, часы, минуты... и, наконецъ, домѣрилъ до роковой секунды; старушка разъ, вставши, какъ-то дурно себя чувствовала; прошла по комнатамъ,—все не хорошо; кровь пошла у нея носомъ и очень обильно; она была слаба, устала, прилегла совсѣмъ одѣтая на своемъ диванѣ, спокойно заснула... и не просыпалась. Ей было тогда за девяносто лѣтъ.

Домъ и большую часть имѣнья оставила она княгинѣ, но внутренній смыслъ своей жизни не передала ей. Княгиня не умѣла продолжать изящную въ своемъ родѣ роль прародительницы, патриархальной связи многихъ нитей. Съ кончиной княжны все приняло разомъ, какъ въ гористыхъ мѣстахъ при заходѣнн солнца, мрачный видъ, длинныя черныя тѣни легли на все. Она заперла наглухо домъ тетки и осталась жить во флигелѣ; домъ поросъ травой; стѣны и рамы все больше и больше чернѣли; сѣни, на которыхъ вѣчно спали какія-то желтоватыя, неуклюжія собаки, покривились.

Знакомые и родные рѣдѣли, домъ ея пустѣлъ, она огорчалась этимъ, но поправить не умѣла.

Уцѣлѣвъ одна изъ всей семьи, она стала бояться за свою непужную жизнь и безжалобно отталкивала все, что могло физически или морально разстроить равновѣсіе, обезпокоить, огорчить. Боясь прошедшаго и воспоминаній, она *удаляла* все вещи, принадлежавшія дочерямъ, даже ихъ портреты. То же было послѣ княжны,—какаду и обезьяна были сосланы въ людскую, потомъ высланы изъ дома. Обезьяна доживала свой вѣкъ въ кучерской у Сенатора, задыхаясь отъ нѣжныхъ корешковъ и потѣшая фрейторовъ.

Эгоизмъ самохраненія страшно черствитъ старое сердце. Когда болѣзнь послѣдней дочери ея приняла совершенно отчаянный характеръ, мать уговорили ѣхать домой, *и она поехала*. Дома она тотчасъ велѣла приготовить разные спирты и капустные листы (она ихъ привязывала къ головѣ) для того, чтобъ имѣть подъ рукой все, что надобно, когда придетъ *страшная вѣсть*. Она не простилась ни съ тѣломъ мужа, ни съ тѣломъ дочери, она ихъ

не видала послѣ смерти и не была на похоронахъ. Когда впоследствии умеръ Сенаторъ, ея любимый братъ, она догадалась по нѣсколькимъ словамъ племянника о томъ, что случилось, и *просила его* не объявлять ей печальной новости, ни подробности кончины. Какъ же не жить съ этими мѣрами противъ собственного сердца—и такого сговорчиваго сердца—до восьмого, девятого десятка въ полномъ здоровіи и съ несокрушимымъ пиццева-реніемъ.

Впрочемъ, напому въ защиту княгини, что это уродливое отдаленіе всего печальнаго было гораздо больше въ ходу у аристократическихъ баловней прошлаго вѣка, чѣмъ теперь. Знаменитый Кауницъ строго запретилъ подъ старость, чтобъ при немъ говорили о чьей-нибудь смерти и объ оспѣ, которой онъ очень боялся. Когда умеръ Іосифъ II, секретарь, не зная, какъ доложить Кауницу, рѣшился сказать: «Нынѣ царствующій императоръ Леопольдъ». Кауницъ понялъ и, блѣдный, опустился на кресла, не спросивъ ничего. Садовникъ его въ разговорахъ мпновалъ слово «прививка», чтобъ не напомнить оспы. Наконецъ, о смерти собственного сына онъ узналъ случайно отъ испанскаго посланника. А надъ страусами, которые прячутъ голову подъ крыло отъ опасности, люди смѣются!

Для храненія полнаго покоя своего княгиня учредила особую полицію, и начальство надъ нею ввѣрила искуснымъ рукамъ.

Сверхъ кочующихъ старухъ, унаслѣдованныхъ отъ княжны, у княгини жила постоянная «компаньонка». Эту почетную должность занимала здоровая, краснощекая вдова какого-то звенигородскаго чиновника, надменная своимъ «благородствомъ» и ассесорскимъ чиномъ покойника, сварливая и неугомонная женщина, которая никогда не могла простить Наполеону преждевременную смерть ея звенигородской коровы, погибшей въ отечественную войну 1812 года. Я помню, какъ она серьезно заботилась послѣ смерти Александра I, какой ширины плерезы ей слѣдуетъ носить по *рангу*.

Женщина эта играла очень неважную роль, пока княжна была жива, но потомъ такъ ловко умѣла приладиться къ капризамъ княгини и къ ея тревожному безпокойству о себѣ, что вскорѣ заняла при ней точно то мѣсто, которое сама княгиня имѣла при теткѣ.

Обиштая своими чиновными плерезами, Марья Степановна каталась какъ шаръ по дому съ утра до ночи, кричала, шумѣла, не давала покоя людямъ, жаловалась на нихъ, дѣлала слѣдствія надъ горничными, давала тузы и драла за уши мальчишекъ, сводила счеты, бѣгала на кухню, бѣгала на конюшню, обмахивала мухъ, терла ноги, заставляла принимать лекарство. Домашніе не



имѣли больше доступу къ барынѣ, — это былъ Аракчеевъ, Вронъ, словомъ, первый министръ. Княгиня — чопорная и, хотя по старинному, но все же воспитанная, часто, особенно сначала, тяготилась звенигородской вдовой, ея крикливымъ голосомъ, ея рыночными манерами, но вѣрялась ей больше и больше и съ восхищеніемъ видѣла, что Марья Степановна значительно уменьшила и безъ того не очень важные расходы по дому. Кому княгиня берегла деньги, трудно сказать: у нея не было никого близкаго, кромѣ братьевъ, которые были вдвое богаче ея.

Со веѣмъ тѣмъ княгиня въ сущности послѣ смерти мужа и дочерей скучала и бывала рада, когда старая французенка, бывшая гувернанткой при ея дочеряхъ, пріѣзжала къ ней погостить недѣли на двѣ, или когда ея племянница изъ Корчевы навѣщала ее. Но все это было мимоходомъ, изрѣдка, а скучное съ глазу на глазъ съ компаньонкой не наполняло промежутковъ.

Занятіе, игрушка и разсѣяніе нашлись очень естественно незадолго передъ смертью княжны.

## ГЛАВА XX.

### Сирота.

Въ половинѣ 1825 года, «Химикъ», принявшій дѣла отца въ большомъ безпорядкѣ, отправилъ изъ Петербурга въ Шацкое имѣніе своихъ братьевъ и сестеръ; онъ давалъ имъ господскій домъ и содержаніе, предоставляя впоследствии заняться ихъ воспитаніемъ и устроить ихъ судьбу. Княгиня поѣхала на нихъ взглянуть. Ребенокъ восьми лѣтъ поразилъ ее своимъ грустно-задумчивымъ видомъ; княгиня посадила его въ карету, привезла домой и оставила у себя.

Мать была рада и отправилась съ другими дѣтьми въ Тамбовъ. Химикъ согласился, — ему было все равно.

«Помни всю жизнь — говорила маленькой дѣвочкѣ, когда онѣ пріѣхали домой, компаньонка — помни, что княгиня *твоя благодѣтельница*, и молись о продолженіи ея дней. Что была бы ты безъ нея?»

И вотъ, въ этомъ отжившемъ домѣ, надъ которымъ угрюмо тяготѣли двѣ неугомонныя старухи, — одна, полная причудъ и капризовъ, другая, ея безпокойная лазутчица, лишенная всякой деликатности, всякаго такта, — явилось дитя, оторванное отъ всего близкаго ему, чужое всему окружающему и взятое отъ скуки, какъ берутъ собаченка, или какъ князь Федоръ Сергѣевичъ держалъ канареекъ.

Въ длинномъ, траурномъ шерстяномъ платьѣ, блѣдная до спиватаго отлива, дѣвочка сидѣла у окна, когда меня привезъ черезъ нѣсколько дней отецъ мой къ княгинѣ. Она сидѣла молча, удивленная, испуганная, и глядѣла въ окно, болѣе смотрѣть на что-нибудь другое.

Княгиня подозвала ее и представила моему отцу. Всегда холодный и непривѣтливый, онъ равнодушно потрелъ ее по плечу, замѣтилъ, что покойный братъ самъ не зналъ, что дѣлалъ, пообращилъ Химика и сталъ говорить о другомъ.

У дѣвочки были слезы на глазахъ; она опять сѣла къ окну и опять стала смотрѣть въ него.

Тяжелая жизнь начиналась для нея. Ни одного теплаго слова, ни одного нѣжнаго взгляда, ни одной ласки; возлѣ, около—посторонніе, морщины, пожелтѣлыя щеки, существа потухающія, хилыя. Княгиня была постоянно строга, взыскательна, нетерпѣлива и держала себя слишкомъ далеко отъ спроты, чтобъ ей въ голову пришло пріотиться къ ней, отогрѣться, утѣшиться въ ея близости или поплакать. Гости не обращали на нее никакого вниманія. Компаньонка сносила ее какъ капризъ княгини, какъ вещь лишнюю, но которая ей вредить не можетъ; она, особенно при постороннихъ, даже показывала, что покровительствуетъ ребенку и ходатайствуетъ передъ княгиней о ней.

Ребенокъ не привыкалъ, и черезъ годъ былъ столько же чуждъ, какъ въ первый день, и еще печальнѣе. Сама княгиня удивлялась его «серьезности», и иной разъ, видя, какъ она часы цѣлые уныло сидитъ за маленькими пальцами, говорила ей: «Что ты не порѣзвишься, не пробѣжишь?»—Дѣвочка улыбалась, краснѣла, благодарила, но оставалась на своемъ мѣстѣ.

И княгиня оставляла ее въ покоѣ, нисколько не заботясь въ сущности о грусти ребенка и не дѣлая ничего для его развлечения. Приходили праздники, другимъ дѣтямъ дарили игрушки, другія дѣти разсказывали о гуляньяхъ, объ обновкахъ. Спротѣ ничего не дарили. Княгиня думала, что довольно дѣлаетъ для нея, давая ей кровъ; благо есть башмаки, на что еще куклы! Ихъ въ самомъ дѣлѣ было ненужно,—она не умѣла играть, да и не съ кѣмъ было.

Одно существо поняло положеніе спроты; за ней была при- ставлена старушка няня, она одна просто и наивно любила ребенка. Часто вечеромъ, раздѣвая ее, она спрашивала: «Да что же это вы, моя барышня, такія печальныя?» Дѣвочка бросалась къ ней на шею и горько плакала, и старушка, заливаясь слезами и качая головой, уходила съ подсвѣчникомъ въ рукѣ.

Такъ шли годы. Она не жаловалась, она не роптала, она только лѣтъ двѣнадцати хотѣла умереть. «Мнѣ все казалось, писала она,

что я понала ошибкой въ эту жизнь и что скоро ворочусь домой,—но гдѣ же былъ мой домъ?.. Уѣзжая изъ Петербурга, я видѣла большой сугробъ снѣга на могилѣ моего отца; моя мать, оставивъ меня въ Москвѣ, скрылась на широкой, безконечной дорогѣ... Я горячо плакала и молила Бога взять меня скорѣй домой».

... «Мое ребячество было самое печальное, горькое; сколько слезъ пролито, невидимыхъ нѣмъ, сколько разъ, бывало, ночью, не понимая еще, что такое молитва, я вставала украдкой (не смѣя и молиться не въ назначенное время) и просила Бога, чтобъ меня кто-нибудь любилъ, ласкалъ. У меня не было той забавы или игрушки, которая бы заняла меня и утѣшила, потому что, ежели и давали что-нибудь, то съ упрекомъ и съ непремѣннымъ прибавленіемъ: «ты этого не стоишь». Каждый лоскутъ, получаемый отъ нихъ, былъ мною оплаканъ; потомъ я становилась выше этого; стремленіе къ наукѣ душило меня, я ничему больше не завидовала въ другихъ дѣтяхъ, какъ ученью. Многие меня хвалили, находили во мнѣ способности и съ состраданіемъ говорили: «Если-бъ приложить руки къ этому ребенку!»—Онъ дивилъ бы свѣтъ, договаривала и мысленно, и щеки мои горѣли, я снѣнила идти куда-то, мнѣ видѣлись мои картины, мои ученики, а мнѣ не давали клочка бумаги, карандаша... Стремленіе выйти въ другой міръ становилось все сильнѣе и сильнѣе, и съ тѣмъ вмѣстѣ росло презрѣніе къ моей темницѣ и къ ея жестокимъ часовамъ. Я повторяла безпрерывно стихи чернеца:

Вотъ тайна: дней моихъ всеною  
Ужъ я все горе жизни знать.

«Помнишь ли ты, мы какъ-то были у васъ, давно, еще въ томъ домѣ, ты меня спросилъ, читала ли я Козлова, и сказалъ изъ него именно то же самое мѣсто. Трепетъ пробѣжалъ по мнѣ, я улыбнулась, насилу удерживая слезы».

Глубоко грустная нота постоянно звучала въ ея груди; вполнѣ она никогда не исключалась, а только иногда умолкала,—поглощенная свѣтлой минутой жизни.

Мѣсяца за два до своей кончины, возвращаясь еще разъ къ своему дѣтству, она писала <sup>1)</sup>:

«Кругомъ было старое, дурное, холодное, мертвое, ложное, мое воспитаніе началось съ упрековъ и оскорбленій, вслѣдствіе этого—отчужденіе отъ всѣхъ людей, недовѣрчивость къ ихъ ласкамъ, отвращеніе отъ ихъ участія, углубленіе въ самое себя...»

Но для такого углубленія въ самага себя надобно было имѣть не только страшную глубь души, въ которой привольно нырять,

<sup>1)</sup> Къ своей Консусло (Пол. Зв. т. III, ст. 95).

но страшную силу независимости и самобытности. Жить своею жизнью въ средѣ непріязненной и пошлой, гнетущей и безвыходной, могутъ очень немногіе. Иной разъ духъ не вынесетъ, иной разъ тѣло сломится.

Сиротство и грубыя прикосновенія въ самый нѣжный возрастъ оставили черную полосу на душѣ, рану, которая никогда не срослась вполнѣ.

«Я не помню, пишеть она въ 1837, когда бы я свободно и отъ души произнесла слово «маменька», къ кому бы, безпечно забывая все, склонилась на грудь. Съ восьми лѣтъ *чужая* всѣмъ, я люблю мою мать..., но мы не знаемъ другъ друга».

Глядя на блѣдный цвѣтъ лица, на большіе глаза, окаймленные темной полоской, двѣнадцатилѣтней дѣвочки, на ся томную усталъ и вѣчную грусть, многимъ казалось, что это одна изъ предназначенныхъ, раннихъ жертвъ чахотки, жертвъ, съ дѣтства отмѣченныхъ перстомъ смерти, особымъ знаменіемъ красоты и преждевременной думы. «Можетъ, говоритъ она, я и не вынесла бы этой борьбы, если-бъ я не была спасена нашей встрѣчей».

И я такъ поздно ее понималъ и разгадалъ!

До 1834 я все еще не умѣлъ оцѣнить это богатое существованіе, развертывавшееся возлѣ меня, несмотря на то, что девять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ княгиня представляла ее моему отцу, въ длинномъ шерстяномъ платьѣ. Объяснить это нетрудно. Она была дика, я разсѣянъ; мнѣ было жаль дитя, которое все такъ печально и одиноко сидѣло у окна, но мы видались очень не часто. Рѣдко, и всякій разъ по неволѣ, ѣздилъ я къ княгинѣ; еще рѣже привозила ее княгиня къ намъ. Визиты княгини производили къ тому же почти всегда непріятныя впечатлѣнія, она обыкновенно ссорилась изъ-за пустяковъ съ моимъ отцомъ, и, не видавшіеся мѣсяца два, они говорили другъ другу колкости, прикрывая ихъ нѣжными оборотами, въ томъ родѣ, какъ леденцомъ покрываютъ противныя лекарства. «Голубчикъ мой», говорила княгиня.—«Голубушка моя», отвѣчалъ мой отецъ, и ссора шла своимъ порядкомъ. Мы всегда радовались, когда княгиня ѣздила. Сверхъ того, ненадобно забывать, что я тогда былъ совершенно увлеченъ политическими мечтами, науками, жилъ университетомъ и товариществомъ.

Но *чѣмъ жила она*, сверхъ своей грусти, въ продолженіе этихъ темныхъ, длинныхъ *девяти годовъ*, окруженная глупыми ханжами, надменными родственниками, скучными іеромонахами, толстыми попадьями, лицемерно покровительствуемая компаньонкой и не вышускаемая изъ дома далѣе печальнаго двора, поросшаго травою, и маленькаго напосадника за домомъ?

Изъ приведенныхъ строкъ уже видно, что княгиня не осо-

бенно изубытчивалась на воспитаніе ребенка, взятаго ею. Нравственною занималась она сама; это преподаваніе состояло изъ наружной выправки и изъ привитія цѣлой системы лицемѣрія. Ребенокъ долженъ былъ быть съ утра зашнурованъ, причесанъ, на вытяжкѣ; это можно бы было допустить въ ту мѣру, въ которую оно не вредно здоровью; но княгиня шнуровала вмѣстѣ съ таліей и душу, подавляя всякое откровенное, чистосердечное чувство, она требовала улыбку и веселый видъ, когда ребенку было грустно, ласковое слово, когда ему хотѣлось плакать, видъ участія къ предметамъ безразличнымъ, словомъ—постоянной лжи.

Сначала бѣдную дѣвочку ничему не учили, подъ предлогомъ, что раннее ученіе бесполезно; потомъ, т. е. года черезъ *три* или *четыре*, наскучивъ замѣчаніями Сенатора и даже постороннихъ, княгиня рѣшилась устроить ученіе, имѣя въ виду наименьшую трату денегъ.

Для этого она воспользовалась старушкой гувернанткой, которая считала себя обязанной княгинѣ и иногда пуждалась въ ней; такимъ образомъ французскій языкъ доведенъ былъ до послѣдней дешевизны, зато и преподавался à bâtons rompus.

Но и русскій языкъ былъ доведенъ до того же; для него и для *всего прочаго* былъ приглашенъ сынъ какой-то вдовы понады, благодѣтельствованной княгиней, разумѣется, безъ особыхъ тратъ: черезъ ея ходатайство у митрополита, двое сыновей понады были сдѣланы соборными священниками. Учитель былъ ихъ старшій братъ, діаконъ бѣднаго прихода обремененный большою семьей; онъ гибнулъ отъ нищеты, былъ доволенъ всякой платой и не смѣлъ дѣлать условій съ благодѣтельницей братьевъ.

Что можетъ быть жалче, недостаточнѣе такого воспитанія, а между тѣмъ, все пошло на дѣло, все принесло удивительные плоды: такъ мало нужно для развитія, если только есть чему развиваться.

Бѣдный, худой, высокій и плѣшивый діаконъ былъ одинъ изъ тѣхъ восторженныхъ мечтателей, которыхъ не лечатъ ни лѣта, ни бѣдствія, напротивъ, бѣдствія ихъ поддерживаютъ въ мистическомъ созерцаніи. Его вѣра, доходившая до фанатизма, была искренна и не лишена поэтическаго оттѣнка. Между имъ, отцомъ голодной семьи, и сиротой, кормимой чужимъ хлѣбомъ, тотчасъ образовалось взаимное пониманье.

Въ домѣ княгини дьякона принимали такъ, какъ слѣдуетъ принимать беззащитнаго и къ тому же кроткаго бѣдняка, едва кивая ему головой, едва удостоивая его словомъ. Даже компаньонка считала необходимымъ обращаться съ нимъ свысока; а онъ едва замѣчалъ и ихъ самихъ и ихъ пріемъ, съ любовью давалъ свои уроки, былъ тронутъ понятливостью ученицы и умѣлъ трогать

ее самое до слезъ. Этого княгиня не могла понять, журила ребенка за плаксивость и была очень недовольна, что діаконъ разстроиваетъ первы: «Ужъ это слишкомъ какъ-то эдакъ, советѣмъ не по дѣтски!»

А между тѣмъ, слова старика открывали передъ молодымъ существомъ иной міръ, иначе симпатичный, нежели тотъ, въ которомъ сама религія дѣлалась чѣмъ-то кухоннымъ, сводилась на соблюденіе постовъ да на хожденіе ночью въ церковь, гдѣ все было ограничено, поддѣльно, условно и жало душу своей узкостью. Діаконъ далъ ученицѣ въ руки Евангеліе,—и она долго не выпускала его изъ рукъ. Евангеліе была первая книга, которую она читала и перечитывала съ своей единственной подружкой Сашей, племянницей няни, молодой горничной княгини.

И Сашу потомъ зналъ очень хорошо. Гдѣ и какъ умѣла она развиваться, родившись между кучерской и кухней, не выходя изъ дѣвичей, я никогда не могъ понять, но развита была она необыкновенно. Это была одна изъ тѣхъ невинныхъ жертвъ, которыя гибнутъ незамѣтно и чаще, чѣмъ мы думаемъ, въ людскихъ, раздавленныхъ крѣпостнымъ состояніемъ. Онѣ гибнутъ не только безъ всякаго вознагражденія, состраданія, безъ свѣтлаго дня, безъ радостнаго воспоминанія, но не зная, не подозрѣвая сами, что въ нихъ гибнетъ и сколько въ нихъ умираетъ.

Барыня съ досадой скажетъ: «Только начала было дѣвчонка приучаться къ службѣ, какъ вдругъ слегла и умерла...» Ключница семидесяти лѣтъ проворчитъ: «Какія нынче слуги, хуже всякой барышни», и отправится на кутью и поминки. Мать поплачетъ, поплачетъ, и начнетъ поивать, тѣмъ дѣло и кончено.

И мы идемъ возлѣ, торопясь и не видя этихъ страшныхъ по вѣстей, совершающихся подъ нашими ногами, отдѣливаясь важнымъ недосугомъ, нѣсколькими рублями и ласковымъ словомъ. А тутъ вдругъ, изумленные, слышимъ страшный стонъ, которымъ дастъ о себѣ вѣсть на вѣки вѣковъ сломившаяся душа, и какъ спросонья спрашиваемъ, откуда взялась эта душа, эта сила?

Княгиня убила свою горничную, разумѣется, нехотя и безсознательно,—она ее замучила по мелочи, сломила ее, гнувши цѣлую жизнь, она истомила ее униженіями, шероховатымъ, грубымъ прикосновеніемъ. Она нѣсколько лѣтъ не позволяла ей идти замужъ и разрѣшила только тогда, когда разглядѣла чахотку на ея страдальческомъ лицѣ.

Бѣдная Саша, бѣдная жертва гнусной, проклятой русской жизни, запятнанной крѣпостнымъ состояніемъ: смертью ты вышла на волю! И ты еще была несравненно счастливѣе другихъ: въ суровомъ плѣну княгининаго дома, ты встрѣтила друга, и дружба той, которую ты такъ безмѣрно любила, проводила тебя заочно



до могилы. Много слезъ стояла ты ей; не задолго до своей кончины, она еще поминала тебя и благословляла память твою, какъ единственный свѣтлый образъ, явившійся въ ея дѣтствѣ!

...Двѣ молодыя дѣвушки (Саша была постарше) вставали рано по утрамъ, когда все въ домѣ еще спало, читали Евангеліе и молились, выходя на дворъ, подъ чистымъ небомъ. Онѣ молились о княгинѣ, о компаньонкѣ, просили Бога раскрыть ихъ души; выдумывали себѣ испытанія, не ѣли цѣлыя недѣли мяса, мечтали о монастырѣ и о жизни за гробомъ.

Такой мистицизмъ идетъ къ отроческимъ чертамъ, къ тому возрасту, гдѣ все еще тайна, все религіозная мистерія, пробуждающаяся мысль еще не ясно свѣтитъ изъ-за утренняго тумана, а туманъ еще не разсѣянъ ни опытомъ, ни страстью.

Въ тихія и кроткія минуты, я любилъ слушать потомъ рассказы объ этой дѣтской молитвѣ, которою начиналась одна широкая жизнь и оканчивалось одно несчастное существованіе. Образъ *сироты*, оскорбленной грубымъ благодѣяніемъ, и *рабы*, оскорбленной безвыходностью своего положенія, молящихся, на одичаломъ дворѣ, о своихъ притѣснителяхъ, наполнялъ сердце какимъ-то умиленіемъ и рѣдкій покой сходилъ на душу.

Это чистое и граціозное явленіе, нигдѣ не оцѣненное изъ близкихъ въ безмысленномъ домѣ княгини, нашло, сверхъ діакона и Саши, отзывъ и горячее поклоненіе всей дворни. Простые люди эти видѣли въ ней больше, чѣмъ добрую, ласковую барышню, они въ ней угадали что-то высшее, передъ чѣмъ они склонялись, они вѣровали въ нее. Невѣсты изъ княгининнаго дома просили ее приколоть своими руками какую-нибудь ленту, когда шли къ вѣнцу. Одна молодая горничная — помнится, ее звали Еленой—вдругъ занемогла колотьемъ; открылась сплывшая плѣреза, надежды спасти ее не было, послали за попомъ. Дѣвушка испуганная, спрашивала мать, все ли кончено; мать, рыдая, сказала ей, что Богъ ее скоро позоветъ. Тогда больная, припавъ къ матери, съ горькими слезами просила сходить за барышней, чтобъ она пришла сама благословить ее образомъ на тотъ свѣтъ. Когда она пришла къ ней, больная взяла ея руку, приложила къ своему лбу и повторяла: «Молитесь обо мнѣ, молитесь!» Молодая дѣвушка, сама вся въ слезахъ, начала въ подслуха молитву,—больная отошла въ продолженіе этого времени. Всѣ въ комнатѣ стояли кругомъ на колѣняхъ и крестились; она закрыла ей глаза, поцѣловала холодѣющій лобъ и вышла <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Въ бумагахъ моихъ сохранились нѣсколько писемъ Саши, писанныхъ между 35 и 36 годами. Саша оставалась въ Москвѣ, а подруга ея была въ деревнѣ съ княгиней; я не могу читать этого простого и восторженнаго лепета сердца безъ глубокаго чувства. «Неужели это правда, пишетъ она,

Однѣ сухія и недаровитыя натуры не знаютъ этого романтическаго періода; ихъ столько же жаль, какъ тѣ слабыя и хилыя существа, у которыхъ мистицизмъ переживаетъ молодость и остается навсегда. Въ *нашъ вѣкъ* съ реальными натурами этого и не бываетъ; но откуда могло проникнуть въ домъ княгини *святское* вліяніе девятнадцатаго столѣтія, онъ былъ такъ хорошо законопаченъ?

Щель нашлась таки.

Корчевская кузина иногда гостила у княгини, она любила «маленькую кухню», какъ любить дѣтей, особенно несчастныхъ, но не знала ея. Съ изумленіемъ, почти съ испугомъ, разглядѣла она въслѣдствіи эту необыкновенную натуру и, порывистая во всемъ, тотчасъ рѣшилась поправить свое невниманіе. Она просила у меня Гюго, Бальзака или вообще что-нибудь новое. «Маленькая кухня», говорила она мнѣ, гениальное существо, намъ слѣдуетъ ее вести впередъ!»

«Большая кухня», и при этомъ названіи я не могу безъ улыбки вспомнить, что она была прекрошечная ростомъ, сообщила разомъ своей ставленницѣ все бродившее въ ея собственной душѣ, шиллеровскія идеи и идеи Руссо, революціонныя мысли, взятые у меня, и мечты влюбленной дѣвушки, взятые у самой себя. Потому она ей тайкомъ давала французскихъ романовъ, стиховъ, поэмъ. Это были большей частью книги, вышедшія послѣ 1830 г. Онѣ, при всѣхъ недостаткахъ, сильно будили мысль и крестили огнемъ и духомъ юныя сердца. Въ романахъ и повѣстяхъ, въ поэмахъ и пѣсняхъ того времени, съ вѣдома писателя или нѣтъ, вездѣ сильно билась социальная артерія, вездѣ обличались общественныя раны, вездѣ слышался стонъ сгнетенныхъ голодомъ, невинныхъ каторжниковъ работы; тогда еще этого ропота и этого стога не боялись, какъ преступленія.

Само собою разумѣется, что «кузина» давала книгъ безъ всякаго разбора, безъ всякихъ объясненій, и я думаю, что въ этомъ не было вреда; есть организаціи, которымъ никогда не нужна чужая помощь, опора, указка, которыя всего лучше идутъ тамъ, гдѣ нѣтъ рѣшетки.

что вы пріѣдете? Ахъ, если-бъ вы въ самомъ дѣлѣ пріѣхали, я не знаю, что со мною бы было. Вѣдь, вы не повѣрите, чтобъ я такъ часто объ васъ думала, почти всѣ мои желанія, всѣ мои мысли, все, все, все въ васъ... Ахъ, Наталья Александровна, вѣдь, какъ вы прекрасны, какъ милы, какъ высоки, какъ—но не могу ужъ выразить. Право, это не выученныя слова, прямо изъ сердца...»

Въ другомъ письмѣ она благодаритъ за то, что «барышня» часто пишетъ ей. «Это ужъ слишкомъ», говоритъ она, впрочемъ, вѣдь это вы, вы», и заключаетъ письмо словами: «все мѣшаютъ, обнимаю васъ, мой ангелъ, со всею истинной, безмѣрной любовью. Благословите меня!»

Вскорѣ прибавилось другое лицо, продолжавшее свѣтское вліяніе корчевской кузины. Княгиня, наконецъ, рѣшилась взять гувернантку и, чтобъ не дорого платить, пригласила молодую *русскую дѣвушку*, только что вынужденную изъ института.

Русскія гувернантки у насъ ни по чемъ, по крайней мѣрѣ, такъ еще было въ тридцатыхъ годахъ, а между тѣмъ, при всѣхъ недостаткахъ, онѣ все же лучше большинства французенокъ изъ Швейцаріи, безсрочно отпускныхъ лоретокъ и отставныхъ актрисъ, которыя съ отчаянья бросаются на воспитаніе, какъ на послѣднее средство доставать насущный хлѣбъ, средство, для котораго неужно ни таланта, ни молодости, ничего,—кромѣ произношенія «грра» и манеръ *d'une dame de comptoir*, которыя часто у насъ по провинціямъ принимаются за «хорошія» манеры. Русскія гувернантки выпускаются изъ институтовъ или изъ воспитательныхъ домовъ, стало быть, все же имѣютъ какое-нибудь правильное воспитаніе и не имѣютъ того мѣщанскаго *pli*, которое вывозятъ иностранки.

Нынѣшнихъ французскихъ воспитательницъ ненадобно смѣшивать съ тѣми, которыя пріѣзжали въ Россію до 1812 г. Тогда и Франція была меньше мѣщанской, и пріѣзжавшія женщины принадлежали совсѣмъ другому слою. Долею это были дочери эмигрантовъ, разорившихся дворянъ, вдовы офицеровъ, часто ихъ покинутыя жены. Наполеонъ женилъ своихъ воиновъ въ томъ родѣ, какъ наши помѣщики женятъ дворовыхъ людей, не очень заботясь о любви и наклонностяхъ. Онъ хотѣлъ браками сблизить дворянство порока съ старымъ дворянствомъ; онъ хотѣлъ оболванить своихъ Скалозубовъ женами. Привычные къ слѣпому повиновенію, они вѣщались безпрекословно, но вскорѣ бросали своихъ женъ, находя ихъ слишкомъ чопорными для казарменныхъ и бивачныхъ вечеринокъ. Вѣдныя женщины плелись въ Англію, въ Австрію, въ Россію. Къ числу прежнихъ гувернантокъ принадлежала французенка, гащивавшая у княгини. Она говорила съ улыбкой, отборнымъ слогомъ и никогда не употребляла ни одного сильнаго выраженія. Она вся состояла изъ хорошихъ манеръ и никогда ни на минуту не забывалась. Я увѣренъ, что она ночью въ постелѣ больше преподавала, какъ слѣдуетъ спать, нежели спала.

Молодая институтка была дѣвушка умная, бойкая, энергическая, съ прибавкой пансіонской восторженности и врожденнаго чувства благородства. Дѣятельная и пылкая, она внесла въ существованіе ученицы-подружки больше жизни и движенія.

Унылая, грустная дружба къ увядающей Сашѣ имѣла печальный, траурный отблескъ. Она вмѣстѣ съ словами діакона и съ отсутствіемъ всякаго развлечения удаляла молодую дѣвушку отъ

міра, отъ людей. Третье лицо, живое, веселое, молодое и съ тѣмъ вмѣстѣ сочувствовавшее всему мечтательному и романтическому, было очень на мѣстѣ; оно стягивало на землю, на дѣйствительную, истинную почву.

Сначала ученица приняла нѣсколько паружныхъ формъ Эмиліи; улыбка чаще стала показываться, разговоръ становился живѣе, но черезъ годъ времени натуры двухъ дѣвушекъ заняли мѣста по удѣльному вѣсу. Разсѣянная, милая Эмилія склонилась передъ сильнымъ существомъ и совершенно подчинилась ученицѣ, видѣла ее глазами, думала ее мыслями, жила ее улыбкой, ее дружбой.

Передъ окончаніемъ курса я сталъ чаще ходить въ домъ княгини. Молодая дѣвушка, казалось, радовалась, когда я приходилъ, иногда вспыхивалъ огонь на щекахъ, рѣчь оживлялась, но тотчасъ потомъ она входила въ свой обыкновенный, задумчивый покой, напоминая холодную красоту изваянья, или «дѣву чужбины» Шиллера, останавливавшую всякую близость.

Это не было ни отчужденіе, ни холодность, а внутренняя работа: чужая другимъ, она еще себѣ была *чужою*, и больше предчувствовала, нежели знала, что въ ней. Въ ее прекрасныхъ чертахъ было что-то недоконченное, невысказавшееся, имъ не доставало одной пскры, одного удара рѣзцомъ, который долженъ былъ рѣшить, назначено ли ей истомиться, завянуть на песчаной почвѣ, не зная ни себя, ни жизни, или отразить зарево страсти, обняться ею и жить, можетъ, страдать, даже навѣрное страдать, *но много жить*.

Печать жизни, выступившей на полудѣтскомъ лицѣ ея, я первый увидѣлъ, накануне долгой разлуки.

Памятенъ мнѣ этотъ взглядъ, иначе освѣщенный, и все черты, вдругъ измѣнившія значеніе, будто проникнуты мною мыслию, инымъ огнемъ..., будто тайна разгадана и внутренній туманъ разсѣянъ. Это было въ тюрьмѣ. Десять разъ прощались мы и все еще не хотѣлось разстаться; наконецъ, моя мать, пріѣзжавшая съ Natalie <sup>3)</sup> въ Крутицы, рѣшительно встала, чтобъ ѣхать. Мо-

<sup>3)</sup> Я очень хорошо знаю, сколько аффектаціи въ французскомъ переводѣ имени, но какъ быть,—имя дѣло традиціонное, какъ же его мѣнять? Къ тому же все не славянскія имена у насъ какъ-то усѣчены и менѣе звучны,—мы, воспитанные отчасти «не въ отеческомъ законѣ», въ нашу молодость «романизировали» имена, предержавшія власти «славянизируютъ» ихъ. Съ производствомъ въ чины и съ пріобрѣтеніемъ силы при дворѣ, мѣняются буквы въ имени; такъ, напримѣръ, графъ Строгоновъ остался до конца дней *Сергій Григорьевичемъ*, но князь Голицынъ всегда назывался *Сергій Михайловичъ*. Послѣдній примѣръ производства по этой части мы замѣтили *въ извѣстномъ* по 14-му декабря генералѣ Ростовцовѣ; во все царствованіе Николая Павловича, онъ былъ Яковъ, такъ, какъ Яковъ Долгорукій, но, съ воцаренія Александра II, онъ сдѣлался Іаковъ, такъ, какъ братъ Божій.

лодая дѣвушка вздрогнула, поблѣднѣла, крѣпко, не по своимъ силамъ, сжала мнѣ руку и повторила, отворачиваясь, чтобы скрыть слезы: «Александръ, не забывай же сестры».

Жандармъ проводилъ ихъ и принялся ходить взадъ и впередъ. Я бросился на постель и долго смотрѣлъ на дверь, за которой исчезло это свѣтлое явленіе. «Нѣтъ, братъ твой не забудетъ тебя»—думалъ я.

На другой день меня везли въ Пермь, но прежде нежели я буду говорить о разлукѣ, разскажу, что еще мнѣ мѣшало передъ тюрьмой лучше понять Natalie, больше сблизиться съ нею. Я былъ влюбленъ!

Да, я былъ влюбленъ, и память объ этой юношеской чистой любви мнѣ мила, какъ память весенней прогулки на берегу моря, среди цвѣтовъ и пѣсень. Это было сновидѣніе, навѣявшее много прекраснаго и исчезнувшее, какъ обыкновенно сновидѣнья исчезаютъ!

Я говорилъ уже прежде, что мало женщинъ было во всемъ нашемъ кругу, особенно такихъ, съ которыми бы я былъ близокъ; моя дружба, сначала пламенная, къ корчевской кузинѣ приняла мало-по-малу ровный характеръ, послѣ ея замужества мы видались рѣже, потому она уѣхала. Потребность чувства больше теплаго, больше нѣжнаго, чѣмъ наша мужская дружба, неопредѣленно бродила въ сердцахъ. Все было готово, недоставало только «ея». Въ одномъ изъ знакомыхъ намъ домовъ была молодая дѣвушка, съ которой я скоро подружился: странный случай сблизилъ насъ. Она была помолвлена, вдругъ вышла какая-то ссора, женихъ оставилъ ее и уѣхалъ куда-то на другой край Россіи. Она была въ отчаяніи, огорчена, оскорблена; съ искреннимъ и глубокимъ участіемъ смотрѣлъ я, какъ горе раздѣдало ее; не смѣя заикнуться о причинѣ, я старался разсѣять ее, утѣшить, носить романы, самъ ихъ читалъ вслухъ, разсказывалъ цѣлыя повѣсти и иногда не приготавлился вовсе къ университетскимъ лекціямъ, чтобъ подольше посидѣть съ огорченной дѣвушкой.

Мало-по-малу слезы ея становились рѣже, улыбка свѣтилась по временамъ изъ-за нихъ; отчаянье ея превращалось въ томную грусть; скоро ей сдѣлалось страшно за прошедшее, она боролась съ собой и отстаивала его противъ настоящаго изъ сердечнаго *point d'honneur'a*, какъ воинъ отстаиваетъ знамя, понимая, что сраженіе потеряно. Я видѣлъ эти послѣднія облака, едва задержанные у небосклона, и, самъ увлеченный и съ бьющимся сердцемъ, тихо, тихо вынималъ изъ ея рукъ знамя, а когда она перестала его удерживать,—я былъ влюбленъ. Мы вѣрили въ нашу любовь. Она мнѣ писала стихи, я писалъ ей въ прозѣ цѣлыя диссертациі, а потомъ мы вмѣстѣ мечтали о будущемъ, о ссмыслѣ,

о казематахъ, она была на все готова. Вѣшняя сторона жизни никогда не рисовалась свѣтлой въ нашихъ фантазіяхъ; обреченные на бой съ чудовищною силою, уснѣхъ намъ казался почти невозможнымъ. «Будь моею Гастаной», говорилъ я ей, читая «Изувѣченнаго» Сантина, и воображалъ, какъ она проводитъ меня въ сибирскіе рудники.

«Изувѣченный», это тотъ поэтъ, который написалъ пасквиль на Сикста V и выдалъ себя, когда папа далъ слово не казнить вишюнаго смертью. Сикстъ V велѣлъ ему отрубить руки и языкъ. Образъ несчастнаго страдальца, задыхающагося отъ собственной полноты мыслей, которыя тѣнятся въ его головѣ, не находя выхода, не могъ не нравиться намъ тогда. Грустный и истомленный взглядъ страдальца успокоивался только и останавливался съ благодарностью и остаткомъ веселья на дѣвушкѣ, которая любила его прежде и не-измѣнила ему въ несчастіи: ее-то звали Гастаной.

Этотъ первый опытъ любви прошелъ скоро, но онъ былъ совершенно искрененъ. Можетъ даже, эта любовь должна была пройти, иначе она лишила бы своего лучшаго, самаго благоуханнаго достоинства, своего девятнадцатилѣтняго возраста, своей непорочной свѣжести. Когда же ландыши зимуютъ?

И неужели ты, моя Гастана, не съ той же ясной улыбкой вспоминаешь о нашей встрѣчѣ, неужели что-нибудь горькое при-мѣшивается къ памяти обо мнѣ черезъ двадцать два года? Мнѣ было бы это очень больно. И гдѣ ты? И какъ прожила жизнь?

Я свою дожилъ и плетусь теперь подъ гору, сломленный и нравственно «изувѣченный», не ищу никакой Гастаны, перебираю старое и память о тебѣ встрѣтила радостно... Помнишь угольное окно противъ небольшого переулка, въ который мнѣ надобно было заворачивать; ты всегда подходила къ нему, провожая меня, и какъ бы я огорчился, если-бъ ты не подошла или ушла бы прежде, нежели мнѣ приходилось повернуть.

А встрѣтить тебя въ самомъ дѣлѣ я не хотѣлъ бы. Ты въ моемъ воображеніи осталась съ твоимъ юнымъ лицомъ, съ твоими кудрями *blond-cendré*; останься такою: вѣдь, и ты, если вспоминаешь обо мнѣ, то помнишь стройнаго юношу, съ искрящимся взглядомъ, съ огненной рѣчью; такъ и помни и не знай, что взгляды потухъ, что я отяжелѣлъ, что морщины прошли по лбу, что давно нѣтъ прежняго свѣтлаго и оживленнаго выраженія въ лицѣ, которое Огаревъ называлъ «выраженіемъ надежды», да нѣтъ и надеждъ.

Другъ для друга мы должны быть такими, какими были тогда... ни Ахиллъ, ни Діана не старѣются... Не хочу встрѣтиться съ тобою, какъ Ларинъ съ княжной Аллюй:



Кузина, поминишь Грандисона?—  
Какъ Грандисонъ? А, Грандисонъ!  
Въ Москвѣ живеть у Симеона,  
Меня въ сочельникъ навѣститъ,  
Недавно сына онъ женилъ.

...Послѣднее пламя потухающей любви освѣтило на минуту тюремный сводъ, согрѣло грудь прежними мечтами, и каждый пошелъ своимъ путемъ. Она уѣхала въ Украину, я собирался въ ссылку. Съ тѣхъ поръ не было вѣсти объ ней.

## ГЛАВА XXI.

### Разлука.

„Ахъ, люди, люди злые,  
Вы ихъ разрознили!“

Такъ оканчивалось мое первое письмо къ Natalie, и замѣчательно, что испуганный словомъ «сердца», я его не написалъ, а написалъ въ концѣ письма «Твой братъ».

Какъ дорога мнѣ была уже тогда моя *сестра* и какъ непрерывно въ моемъ умѣ, видно изъ того, что я писалъ къ ней изъ Нижняго, изъ Казани и на другой день послѣ пріѣзда въ Пермь. Слово *сестра* выражало все сознание въ нашей симпатіи; оно мнѣ бесконечно нравилось и теперь нравится, употребляемое не какъ *предѣлъ*, а напротивъ, какъ сдѣшеніе ихъ; въ немъ соединены дружба, любовь, кровная связь, общее преданіе, родная обстановка, привычная неразрывность. Я никого не называлъ прежде этимъ именемъ, и оно было мнѣ такъ дорого, что я впоследствии часто называлъ Natalie такъ.

Прежде нежели я вполне понялъ наше отношеніе, и можетъ именно оттого, что не понималъ его вполне, меня ожидалъ иной искусъ, который мнѣ не прошелъ такой свѣтлой полоской, какъ встрѣча съ Гаетаной,—искусъ, смилившій меня и стоявшій мнѣ много печали и внутренней тревоги.

Очень мало опытный въ жизни и брошенный въ міръ, совершенно мнѣ чуждый, послѣ девятимѣсячной тюрьмы, я жилъ сначала разсѣянно, безъ оглядки: новый край, новая обстановка рябили передъ глазами. Мое общественное положеніе измѣнилось. Въ Пермь, въ Вяткѣ на меня смотрѣли совсѣмъ иначе, чѣмъ въ Москвѣ; тамъ я былъ молодымъ человѣкомъ, жившимъ въ родительскомъ домѣ; здѣсь, въ этомъ болотѣ, я сталъ на свои ноги, былъ принимаемъ за чиновника, хотя и не былъ вовсе имъ. Не

трудно было мнѣ догадаться, что безъ большого труда я могъ играть роль свѣтскаго чловѣка въ заволжскихъ и закамскихъ гостинныхъ и быть львомъ въ вятскомъ обществѣ.

Въ Перми я не успѣлъ оглядѣться; тамъ только хозяйка дома, къ которой я пришелъ нанимать квартиру, спрашивала меня, нуженъ ли мнѣ огородъ и держу ли я корову! Вопросъ, по которому я съ ужасомъ вымѣрилъ мое паденіе съ академическихъ высотъ студентской жизни. Но въ Вяткѣ я перезнакомился со всѣмъ свѣтомъ, особенно съ молодымъ кунечествомъ, которое тамъ гораздо образованнѣе кунечества внутреннихъ губерній, хотя кутить любить не меньше. Сбитый канцеляріей съ моихъ занятій, я велъ безпokoйно праздную жизнь; при особенной удобовпечатлимости, или, лучше сказать, удободвижимости характера и отсутствіи опытности, можно было ждать рядъ всякаго рода столкновеній.

Въ силу кокетливой страсти de l'approbativité, я старался нравиться направо и налѣво, безъ разбора кому, натягивалъ симпатіи, дружилъ по десяти словамъ, сближался болѣе, чѣмъ нужно, сознавалъ свою ошибку черезъ мѣсяцъ или два, молчалъ изъ деликатности и таскалъ скучную цѣпь неистинныхъ отношеній до тѣхъ поръ, пока она не обрывалась нелѣпой ссорой, въ которой меня же обвиняли въ капризной нетерпимости, въ неблагодарности, въ непостоянствѣ.

И сначала жилъ въ Вяткѣ не одинъ. Странное и комическое лицо, которое время отъ времени является на всѣхъ перенутьяхъ моей жизни, при всѣхъ важныхъ событіяхъ ея, лицо, которое тонетъ для того, чтобы меня познакомить съ Огаревымъ, и машетъ фуляромъ съ русской земли, когда я переѣзжаю таурогенскую границу, словомъ, К. И. Зоненбергъ жилъ со мною въ Вяткѣ; я забылъ объ этомъ, разсказывая мою ссылку.

Случилось это такъ. Въ то время, какъ меня отправляли въ Пермь, Зоненбергъ собирался на прѣитскую ярмарку. Отецъ мой, любившій всегда усложнять простые дѣла, предложилъ Зоненбергу заѣхать въ Пермь и тамъ *монтировать мой домъ*, за это онъ бралъ на себя путевыя издержки.

Въ Перми Зоненбергъ ревностно принялся за дѣло, т. е. за покупку ненужныхъ вещей, всякой посуды, костюль, чашекъ, хрустали, запасовъ; онъ самъ ѣздилъ на Обву, чтобы приобрести ex ipsa fonte вятскую лошадь. Когда все было готово, меня перевели въ Вятку. Мы распродали за полцѣны купленное добро и оставили Пермь. Зоненбергъ, добросовѣстно исполняя волю моего отца, счелъ необходимымъ ѣхать также и въ Вятку «монтировать» мой домъ. Отецъ мой такъ былъ доволенъ его преданностью и самоотверженіемъ, что положилъ ему сто рублей жалю-

ванья въ мѣсяцъ, пока онъ будетъ у меня. Это было выгодноѣ и вѣриѣ Ирбита,—и онъ не торопился меня оставить.

Въ Вяткѣ онъ уже купилъ не одну, а трехъ лошадей, изъ которыхъ одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли насъ чрезвычайно въ глазахъ витекаго общества. Карлъ Ивановичъ, мы уже говорили это, несмотря на свой пятидесятилѣтній возрастъ и на значительные недостатки въ лицѣ, былъ большой волокита и былъ пріятно увѣренъ, что всякая женщина и дѣвушка, подходящая къ нему, подвергается опасности мотылька, летающаго возлѣ зажженной свѣчн. Дѣйствіе, произведенное лошадьми, Карлъ Ивановичъ утратить не хотѣлъ и старался вывести изъ него пользу по эротической части. Къ тому же всѣ обстоятельства ему способствовали: у насъ былъ балконъ, выходящій на дворъ, за которымъ начинался садъ. Съ десяти часовъ утра Зоненбергъ въ казанскихъ *шчагахъ*, въ шитой золотомъ *тибисейкѣ* и въ кавказскомъ бенметѣ, съ огромнымъ янтарнымъ мундштукомъ во рту, сидѣлъ на вахтѣ, дѣлая видъ, будто читаетъ. Тибитейка и янтарь, все это было направлено на трехъ барышень, жившихъ въ сосѣднемъ домѣ. Барышни, съ своей стороны, занимались пріѣзжими и съ любопытствомъ разсматривали восточную куклу, курившую на балконѣ. Карлъ Ивановичъ зналъ, когда и какъ тайкомъ онъ подымали штору, находилъ, что дѣла его идутъ усѣбно, и нѣжно выпускалъ дымъ легкой струйкой по завѣтному направленію.

Вскорѣ садъ представилъ намъ возможность познакомиться съ сосѣдками. У нашего хозяина было три дома, садъ былъ общій. Два дома были заняты, въ одномъ жили мы и самъ хозяинъ съ своей мачихой, толсто-мягкой вдовой, которая такъ мастерски и съ такой ревностью за нимъ присматривала, что онъ только украдкой отъ нея разговаривалъ съ садовыми дамами. Въ другомъ жили барышни съ своими родителями, третій стоялъ пустой. Карлъ Ивановичъ черезъ недѣлю былъ свой человекъ въ дамскомъ обществѣ нашего сада, онъ постоянно по нѣскольку часовъ въ день качалъ барышень на качеляхъ, бѣгалъ за мантильями и зонтиками, словомъ, былъ aux petits soins. Барышни съ нимъ дурачились больше, чѣмъ съ другими, именно потому, что его еще меньше можно было подозрѣвать, чѣмъ жену Цезаря; при взглядѣ на него, останавливалось всякое, самое отважное злорѣчіе.

По вечерамъ ходилъ и я въ садъ по тому табунному чувству, по которому люди безъ всякаго желанія дѣлаютъ то же, что другіе. Туда, сверхъ жильцовъ, приходили ихъ знакомые, главный предметъ занятій и разговоровъ было волокитство и подматрип-

ваніе другъ за другомъ. Карлъ Ивановичъ съ неусыпною Видука предался сентиментальному шпіонству, зналъ, кто съ кѣмъ чаще гуляетъ, кто на кого не просто смотритъ. Я былъ страшнымъ камнемъ преткновенія для всей тайной полиціи нашего сада, дамы и мужчины удивлялись моей скрытности и при всѣхъ стараніяхъ не могли открыть, за кѣмъ я ухаживаю, кто мнѣ особенно правится, что дѣйствительно было не легко: я рѣшительно ни за кѣмъ не ухаживалъ и всѣ барышни мнѣ не особенно нравились. Это, наконецъ, имъ надоѣло и оскорбило ихъ, меня стали считать гордымъ, насмѣшникомъ, и дружба барышень замѣтно стыла, хотя, въ одиночку, каждая пробовала на мнѣ самые опасные взгляды свои.

Среди всѣхъ этихъ обстоятельствъ, однимъ утромъ Карлъ Ивановичъ сообщилъ мнѣ, что хозяйская кухарка съ утра открыла ставни третьяго дома и моетъ окна. Домъ былъ занятъ какимъ-то пріѣзжимъ семействомъ.

Садъ занялся исключительно подробностями о новопріѣзжихъ. Незнакомая дама, усталая съ дороги, или еще не успѣвшая разобратъся, какъ на зло, не являлась къ намъ въ воксалъ. Ее старались увидѣть въ окно или въ сѣняхъ, инымъ удавалось, другіе тщетно караулили цѣлые дни; видѣвшіе находили ее блѣдною, томною, словомъ — интересной и недурной. Барышни говорили, что она печальна и болѣзненна; молодой губернаторскій чиновникъ, шалунъ и очень неглухой малый, одинъ зналъ пріѣзжихъ. Онъ служилъ прежде въ одной губерніи съ ними, всѣ пристали къ нему съ распросами.

Разбитой чиновникъ, довольный, что знаетъ, чего другіе не знаютъ, толковалъ безъ конца о достоинствахъ новопріѣзжей; онъ ее превозносилъ, называлъ ее столичной дамой. «Она умна, повторять онъ, мила, образованна, на нашего брата и не посмотреть. Ахъ, Боже мой, прибавилъ онъ, вдругъ обращаясь ко мнѣ, вотъ чудесная мысль: поддержите честь вятскаго общества, поволочитесь за ней... Ну, знаете, вы изъ Москвы, въ ссылкѣ, вѣрно пишете стихи,—это вамъ съ неба подарокъ».

— Какой вы вздоръ порите, сказала я ему смѣясь, однако вслыхнулъ въ лицѣ: мнѣ захотѣлось ее видѣть.

Черезъ нѣсколько дней я встрѣтился съ ней въ саду, она въ самомъ дѣлѣ была очень интересная блондинка; тотъ же господинъ, который говорилъ объ ней, представилъ меня ей, я былъ взволнованъ и такъ же мало умѣлъ это скрыть, какъ мой патронъ улыбку.

Самолюбивая застѣнчивость прошла, я познакомился съ ней; она была очень несчастна и, обманывая себя мнимымъ спокойствіемъ, томилась и пеклась въ какой-то праздности сердца.

Р. была одна изъ тѣхъ скрытно-страстныхъ женскихъ натуръ, которыя встрѣчаются только между блондинами, у нихъ пламенное сердце маскировано кроткими и тихими чертами; онѣ блѣднѣютъ отъ волненія и глаза ихъ не искрятся, а скорѣе тухнутъ, когда чувства выступаютъ изъ береговъ. Утомленный взоръ ея выбивался изъ силъ, стремясь къ чему-то, несытая грудь неровно подымалась. Во всемъ существѣ ея было что-то неспокойное, электрическое. Часто гуляя по саду, она вдругъ блѣднѣла и, смущенная или встревоженная изнутри, отвѣчала разсѣянно и торопилась домой; я именно въ эти минуты любилъ смотрѣть на нее.

Внутреннюю жизнь ея я вскорѣ разглядѣлъ. Она не любила мужа и не могла его любить: ей было лѣтъ двадцать пять, ему за пятьдесятъ,—съ этимъ, можетъ, она бы сладила, но различіе образованія, интересовъ, характеровъ было слишкомъ рѣзко.

Мужъ почти не выходилъ изъ комнаты; это былъ сухой, черствый старикъ, чиновникъ съ притязаніемъ на помѣщичество, раздражительный, какъ все большые и какъ почти все люди, потерявшіе состояніе. Ей было шестнадцать лѣтъ, когда ее отдали замужъ, онъ имѣлъ достатокъ, но впоследствии все проигралъ въ карты и принужденъ былъ жить службой. Годы за два до перевода въ Вятку, онъ началъ хирѣть, какая-то рана на ногѣ развилась въ кость; старикъ сдѣлался угрюмъ и тяжелъ, боялся своей болѣзни и смотрѣлъ взглядомъ тревожной и безпомощной подозрительности на свою жену. Она грустно и самоотверженно ходила за нимъ, но это было исполненіе долга. Дѣти не могли удовлетворить всему,—чего-то просило незанятое сердце.

Разъ вечеромъ, говоря о томъ, о семъ, я сказалъ, что мнѣ бы очень хотѣлось послать моей кузинѣ портретъ, но что я не могъ найти въ Вяткѣ человѣка, который бы умѣлъ взять карандашъ въ руки.

— «Дайте я попробую, сказала сосѣдка, я когда-то довольно удачно дѣлала портреты чернымъ карандашомъ».

— Очень радъ. Когда же?

— «Завтра передъ обѣдомъ, если хотите».

— Разумѣется. Я приду въ часъ.

Все это было при мужѣ; онъ не сказалъ ни слова.

На другой день утромъ я получилъ отъ сосѣдки записку, это была первая записка отъ нея. Она очень вѣжливо и осторожно увѣдомляла меня, что мужъ ея недоволенъ тѣмъ, что она мнѣ предложила сдѣлать портретъ, просила снисхожденія къ капризамъ больного, говорила, что его надобно щадить, и, въ заключеніе, предлагала сдѣлать портретъ въ другой день, не говоря объ этомъ мужу, чтобъ его не беспокоить.

И горячо, можетъ черезъ край горячо, благодарилъ ее, тайное дѣланіе портрета не принялъ, но, тѣмъ не меньше, эти двѣ записки сблизили насъ много. Отношенія ея къ мужу, до которыхъ я никогда бы не коснулся, были высказаны. Между мною и ею невольно составлялось тайное соглашеніе, лига противъ него.

Вечеромъ я пришелъ къ нимъ,—ни слова о портретѣ. Если-бъ мужъ былъ умнѣе, онъ долженъ бы былъ догадаться о томъ, что было; но онъ не былъ умнѣе. И взглядомъ поблагодарилъ ее, она улыбкой отвѣчала мнѣ.

Вскорѣ они переѣхали въ другую часть города. Первый разъ, когда я пришелъ къ нимъ, я засталъ сосѣдку одну: въ едва меблированной залѣ, она сидѣла за фортепіано; глаза у нея были сильно заплаканы. Я просилъ ее продолжать; но музыка не шла, она ошибалась, руки дрожали, цвѣтъ лица мѣнялся. «Какъ здѣсь душно!» сказала она, быстро вставая изъ-за фортепіано.

Я молча взялъ ея руку, слабую, горячую руку; голова ея, какъ отяжелѣвшій вѣщикъ, страдательно повинуюсь какой-то силѣ, склонилась на мою грудь, она прижала свой лобъ и мгновенно исчезла.

На другой день я получилъ отъ нея записку, нѣсколько испуганную, старавшуюся бросить какую-то дымку на вчерашнее; она писала о страшномъ нервномъ состояніи, въ которомъ она была, когда я возшелъ, о томъ, что она едва помнить, что было, извинялась, но легкій вуаль этихъ словъ не могъ ужъ скрыть страсть, ярко просвѣчивавшуюся между строкъ.

Я отправился къ нимъ. Въ этотъ день мужу было легче, хотя на новой квартирѣ онъ уже не вставалъ съ постели; я былъ монтированъ, дурачился, сыпалъ остротами, разеказывалъ всякій вздоръ, морилъ больного со смѣху и, разумѣется, все это для того, чтобъ заглушить ея и мое смущеніе. Сверхъ того, я чувствовалъ, что смѣхъ этотъ увлекаетъ и пьянитъ ее.

Съ мѣсяцъ продолжался этотъ запой любви; потомъ будто сердце устало, истощилось, — на меня стали находить минуты тоски, я ихъ тщательно скрывалъ, старался имъ не вѣрить, удивлялся тому, что происходило во мнѣ, а любовь стыла себѣ, да стыла.

Меня стало тѣснить прісутствіе старика, мнѣ было съ нимъ неловко, противно. Не то, чтобъ я чувствовалъ себя неправымъ передъ граждански-церковнымъ собственникомъ женщины, которая его не могла любить и которую онъ любить былъ не въ силахъ, но моя двойная роль казалась мнѣ унижительной, лицомѣ-



ріе и двоєдушіе—два преступленія, наиболѣе чуждыя мнѣ. Пока распахнувшаяся страсть брала верхъ, я не думалъ ни о чемъ; но когда она стала нѣсколько холоднѣе, явилось раздумье.

Однимъ утромъ Матвѣй взошелъ ко мнѣ въ спальню съ вѣстью, что старикъ Р. «приказалъ долго жить». Мною овладѣло какое-то странное чувство при этой вѣсти; я повернулся на другой бокъ и не торопился одѣваться: мнѣ не хотѣлось видѣть мертвеца. Возошелъ Витбергъ, совѣмъ готовый. «Какъ, говорилъ онъ, вы еще въ постелѣ! Развѣ вы не слышали, что случилось? Чай, бѣдная Р. одна, пойдемте провѣдать, одѣвайтесь скорѣе». Я одѣлся, мы пошли.

Мы застали Р. въ обморокѣ или въ какомъ-то первомъ летаргическомъ снѣ. Это не было притворствомъ; смерть мужа напомнила ей ея безпомощное положеніе; она оставалась одна съ дѣтьми въ чужомъ городѣ, безъ денегъ, безъ близкихъ людей. Сверхъ того, у ней бывали и прежде при сильныхъ потрясеніяхъ эти нервныя ошеломленія, продолжавшіяся по нѣскольку часовъ. Бѣдная, какъ смерть, съ холоднымъ лицомъ и съ закрытыми глазами, лежала она въ этихъ случаяхъ, изрѣдка захлебываясь воздухомъ и безъ дыханья въ промежуткахъ.

Ни одна женщина не пріѣхала помочь ей, показать участіе, посмотреть за дѣтьми, за домомъ. Витбергъ остался съ нею; пророкъ-чиновникъ и я взялись за хлопоты.

Старикъ, исхудалый и почернѣлый, лежалъ въ мундирѣ на столѣ, насунивъ брови, будто сердился на меня; мы положили его въ гробъ, а черезъ два дня опустили въ могилу. Съ похорономъ мы воротились въ домъ покойника; дѣти въ черныхъ платьяхъ, обшитыхъ плерезами, жалась въ углу, больше удивленные и испуганные, чѣмъ огорченные; они шептались между собой и ходили на цыпочкахъ. Не говоря ни одного слова, сидѣла Р., положивъ голову на руку, какъ будто что-то обдумывая.

Въ этой гостиной, на этомъ диванѣ, я ждалъ ее, прислушиваясь къ стону больного и къ брани пьянаго слуги. Теперь все было такъ черно... Мрачно и смутно воспоминались мнѣ, въ похоронной обстановкѣ, въ запахахъ ладана, слова, минуты, на которыхъ я все же не могъ не останавливаться безъ нѣжности.

Печаль ея улеглась мало-по-малу, она тверже смотрѣла на свое положеніе; потомъ мало-по-малу и другія мысли прояснили ея озабоченное и унылое лицо. Ея взоръ останавливался съ какой-то взволнованной пытливостью на мнѣ, будто она ждала чего-то — вопроса... отвѣта...

Я молчалъ—и она, испуганная, встревоженная, стала сомнѣваться.

Тутъ я понялъ, что мужъ въ сущности былъ для меня извиненіемъ въ своихъ глазахъ,—любовь откинула во мнѣ. Я не былъ равнодушенъ къ ней, далеко нѣтъ, но это было не то, чего ей надобно было. Меня занималъ теперь иной порядокъ мыслей, и этотъ страстный порывъ словно для того обнялъ меня, чтобъ уяснить мнѣ самому иное чувство. Одно могу сказать я въ свое оправданіе,—я былъ искрененъ въ моемъ увлеченіи.

Въ то время, какъ я терялъ голову и не зналъ, что дѣлать, пока я ждалъ съ малодушной слабостью случайной перемѣны отъ времени, отъ обстоятельствъ,—время и обстоятельства еще больше усложнили положеніе.

Тюфяевъ, видя безпомощное состояніе вдовы, молодой, красивой собой и брошенной безъ всякой опоры въ дальнемъ, ей чуждомъ городѣ, какъ настоящій «отецъ губерніи», обратилъ на нее самую нѣжную заботливость. Сначала мы все думали, что дѣйствительно онъ принимаетъ въ ней участіе. Но вскорѣ Р. съ ужасомъ замѣтила, что его вниманіе совсѣмъ не просто. Два, три развратныхъ губернатора воспитали вятскихъ дамъ, и Тюфяевъ, привыкнувшій къ нимъ, не откладывая въ долгій ящикъ, прямо сталъ говорить ей о своей любви. Р., разумеется, отвѣчала ему холоднымъ презрѣніемъ и насмѣшкой на его старческія любезности. Тюфяевъ не считалъ себя побитымъ и продолжалъ наглое ухаживанье. Видя впрочемъ, что дѣло мало подвигается, онъ далъ ей почувствовать, что судьба ея дѣтей въ его рукахъ и что безъ него она ихъ не помѣститъ на казенный счетъ, а что онъ, съ своей стороны, хлопотать не будетъ, если она не перемѣнитъ съ нимъ своего холоднаго обращенія. Оскорбленная женщина вкочила уязвленнымъ звѣремъ. «Извольте вонъ идти, и чтобъ нога ваша не смѣла переступить моего порога», сказала она ему, указывая дверь. «Фу, какія вы сердитыя!» сказалъ Тюфяевъ, обращая дѣло въ шутку. «Петръ, Петръ», закричала она въ переднюю, и испуганный Тюфяевъ, боясь огласки, задыхаясь отъ бѣшенства, пристыженный и униженный, бросился въ свою карету.

Вечеромъ Р. рассказала все случившееся Витбергу и мнѣ. Витбергъ тотчасъ понялъ, что обратившійся въ бѣгство и оскорбленный волокита не оставитъ въ покоѣ бѣдную женщину,—характеръ Тюфяева былъ довольно извѣстенъ всѣмъ намъ. Витбергъ рѣшился во что бы ни стало спасти ее.

Гоненія начались скоро. Представленіе о дѣтяхъ было написано такъ, что отказъ былъ неминуемъ. Хозяинъ дома, лавочники требовали съ особенной настойчивостью уплаты. Богъ знаетъ, что можно было еще ожидать; шутить съ человѣкомъ, уморившимъ Петровскаго въ сумасшедшемъ домѣ, не слѣдовало.

Витбергъ, обремененный огромной семьей, задавленный бѣдъ-

постью, не задумавшись ни на минуту и предложивъ Р. переѣхать съ дѣтьми къ нему, на другой или третій день послѣ пріѣзда въ Вятку его жены. У него Р. была спасена; такова была нравственная сила этого сосланнаго. Его непреклонной воли, его благороднаго вида, его смѣлой рѣчи, его презрительной улыбки боялся самъ вятскій Шемяка.

Я жилъ въ особомъ отдѣленіи того же дома и имѣлъ общій столъ съ Витбергомъ; и вотъ, мы очутились подъ одной крышей, именно тогда, когда должны были бы быть раздѣлены морями.

Въ этой близости она поняла, что былого не воротить.

Зачѣмъ она встрѣтилась именно со мной, неустоявшимся тогда? Она могла быть счастливой, она была достойна счастья. Печальное прошедшее ушло, новая жизнь любви, гармоніи была такъ возможна для нея! Бѣдная, бѣдная Р.! Виноватъ ли я, что это облако любви, такъ непреодолимо набѣжавшее на меня, дохнуло такъ горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потомъ?

...Сбитый съ толку, предчувствуя несчастія, недовольный собою, я жилъ въ какомъ-то тревожномъ состояніи; снова кутилъ, печаль разбѣянія въ шумѣ, досадовалъ за то, что находилъ его, досадовалъ за то, что не находилъ, и ждалъ, какъ чистую струю воздуха середь пыльнаго жара, нѣсколько строкъ изъ Москвы отъ Natalie. Надо всемъ этимъ броженіемъ страстей всходилъ свѣтъ и свѣтлѣе кроткій образъ ребенка-женщины. Порывъ любви къ Р. уяснилъ мнѣ мое собственное сердце, раскрылъ его тайну.

Увлекаясь больше и больше моею симпатіей къ отсутствующей кузинѣ, я не давалъ себѣ именно отчета въ чувствѣ, связывавшемъ меня съ ней. Я къ нему привыкъ и не слѣдилъ за тѣмъ, измѣнилось оно или нѣтъ.

Мои письма становились все тревожнѣе; съ одной стороны, я глубоко чувствовалъ не только свою вину передъ Р., но новую вину лжи, которую бралъ на себя молчаніемъ. Мнѣ казалось, что я палъ, недостойнъ иной любви..., а любовь росла и росла.

Имя сестры начинало тѣснить меня, теперь мнѣ недостаточно было дружбы, это тихое чувство казалось холоднымъ. Любовь ея видна изъ каждой строки ея писемъ, но мнѣ ужъ и этого мало, мнѣ нужно не только любовь, но и самое слово, и вотъ я пишу: «Я сдѣлаю тебѣ странный вопросъ, вѣришь ли ты, что чувство, которое ты имѣешь ко мнѣ,—одна дружба? Вѣришь ли ты, что чувство, которое я имѣю къ тебѣ,—одна дружба?—*Я не вѣрю*».

— «Ты что-то смущенъ, отвѣчаетъ она, я знала, что твое письмо испугало тебя больше, чѣмъ меня. Успокойся, другъ мой, оно не переизмѣнило во мнѣ рѣшительно ничего, оно уже не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше».

Но слово было произнесено, «туманъ исчезъ, пишеть она, онять свѣтло и ясно».

Она радостно, безоблачно отдавалась названному чувству, писема ея—одна отроческая пѣснь любви, подымающаяся отъ дѣтскаго лентата до могучаго лиризма.

— «Можетъ, ты сидишь теперь, пишеть она, въ кабинетѣ, не пишешь, не читаешь, а задумчиво куришь сигару, и взоръ углубленъ въ неопредѣленную даль, и пѣтъ отвѣта на привѣтствіе возшедшаго. Гдѣ же твои думы? Куда стремится взоръ? Не дай отвѣта,—пусть придутъ ко мнѣ.

... «Будемъ дѣтьми, назначимъ часъ, въ который намъ обоимъ непремѣнно быть на воздухѣ, часъ, въ который мы будемъ увѣрены, что насъ ничто не дѣлитъ, кромѣ одной дали. Въ восемь часовъ вечера и тебѣ вѣрно свободно? А то я давеча вышла было на крыльцо,—да тотчасъ возвратилась, думая, что ты былъ въ комнатѣ.

... «Глядя на твои писема, на портретъ, думая о моихъ писмахъ, о браслетѣ, мнѣ захотѣлось перешагнуть лѣтъ за сто и посмотрѣть, какая будетъ ихъ участь. Венци, которыя были для насъ святыней, которыя лечили наше тѣло и душу, съ которыми мы бесѣдовали, которыя намъ замѣняли нѣсколько другъ друга въ разлукѣ; все эти орудія, которыми мы оборонялись отъ людей, отъ ударовъ рока, отъ самихъ себя,—что будутъ они послѣ насъ? Останется ли въ нихъ сила ихъ, ихъ душа? разбудятъ ли, согрѣютъ ли они чье сердце, расскажутъ ли нашу повѣсть, наши страданія, нашу любовь, будетъ ли имъ въ награду хоть одна слеза? Какъ грустно становится, когда воображу, что портретъ твой, наконецъ, будетъ висѣть безвѣстнымъ въ чьемъ-нибудь кабинетѣ, или, можетъ, какой-нибудь ребенокъ, играя имъ, разобьетъ стекло и сотретъ черты».

Не таковы мои писема <sup>1)</sup>: середь полной, восторженной любви пробиваются горькіе звуки досады на себя, раскаянія, нѣмой

---

<sup>1)</sup> Разница между слогомъ писемъ Natalie и моимъ очень велика, особенно въ началѣ переписки; потомъ онъ уравнивается и въ послѣдствіи дѣлается сходенъ. Въ моихъ писмахъ рядомъ съ истиннымъ чувствомъ—ломанныя выраженія, изысканныя, эффектные слова, явное вліяніе школы Гюго и новыхъ французскихъ романистовъ. Ничего подобнаго въ ея писмахъ, языкъ ея простъ, поэтиченъ, истиненъ, на немъ замѣтно одно вліяніе, вліяніе Евангелія. Тогда я все еще старался писать свысока и писалъ дурно, потому что это не былъ мой языкъ. Жизнь въ непрактическихъ сферахъ и излишнее чтеніе долго не позволяютъ юношѣ естественно и просто говорить и писать; умственное совершеннѣіе начинается для челоуѣка только тогда, когда его слогъ устанавливается и принимаетъ свой послѣдній складъ.

укоръ Р. гложетъ сердце, мутитъ свѣтлое чувство; я казался себѣ лгуномъ, а, вѣдь, я не лгалъ <sup>1)</sup>.

Какъ же мнѣ было признаться, какъ сказать Р. въ январѣ, что я ошибся въ августѣ, говоря ей о своей любви. Какъ она могла повѣрить въ истину моего разказа,—новая любовь была бы понятнѣе, измѣна проще. Какъ могъ дальнѣй образъ отсутствующей вступить въ борьбу съ настоящимъ, какъ могла струя другой любви пройти черезъ этотъ горнъ и выйти болѣе сознательной и сильной,—все это я самъ не понималъ, а чувствовалъ, что все это правда.

Наконецъ, сама Р., съ неуловимой ловкостью ящерицы, ускользала отъ серьезныхъ объясненій: она чужала опасность, искала отгадки и въ то-жъ время отдаляла правду. Точно она предвидѣла, что мои слова раскроютъ страшныя истины, послѣ которыхъ все будетъ кончено, и она обрывала рѣчь тамъ, гдѣ она становилась опасною.

Сначала она осмотрѣлась кругомъ, нѣсколько дней она находила себѣ соперницу въ молодой, милой, живой нѣмкѣ, которую я любилъ, какъ дитя, съ которой мнѣ было легко именно потому, что ни ей не приходило въ голову кокетничать со мной, ни мнѣ съ ней. Черезъ недѣлю она увидѣла, что Паулина вовсе не опасна. Но я не могу идти дальше, не сказавъ нѣсколько словъ о ней.

Въ вятской аптекѣ приказа общественнаго призрѣнія былъ аптекаръ нѣмецъ, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, но удивительно было то, что его *гезель* былъ русскій, а назывался Болманъ. Вотъ съ нимъ-то я и познакомился; онъ былъ женатъ на дочери какого-то вятскаго чиновника, у которой была самая длинная, густая и красивая коса изъ всѣхъ видѣнныхъ мною. Самого аптекаря Фердинанда Рулковиуса не было налицо, и мы съ Болманомъ шли разныя «шпички» и художественныя «желудочныя» настойки фармацевта. Аптекарь былъ въ Ревелѣ; тамъ онъ познакомился съ какой-то молодой дѣвушкой и предложилъ ей руку; дѣвушка, едва знавшая его, шла за него, очертя голову, какъ слѣдуетъ дѣвушкѣ вообще и нѣмкѣ въ особенности: она даже не имѣла понятія, въ какую дичь онъ ее везетъ. Но когда послѣ свадьбы пришлось собираться, страхъ и отчаяніе овладѣли ею. Чтобы утѣшить новобрачную, аптекаръ пригласилъ ѣхать съ ними въ Вятку молодую дѣвушку лѣтъ семнадцати, дальнюю родственницу его жены; она еще болѣе очертя голову и уже совѣмъ не зная, что такое «Вятка», согласилась. Объ нѣмки не говорили ни слова по-русски, въ Вяткѣ не было четырехъ че-

<sup>1)</sup> Прибавлено въ «Полярн. Звѣздѣ» (т. III, стр. 115): «Я такъ же откровенно увлекся Р., какъ откровенно отдался теперь непонятой мною любви».

ловѣкъ, говорившихъ по-нѣмецки. Даже учитель нѣмецкаго языка въ гимназій не зналъ его; это меня до того удивило, что я рѣшился его спросить, какъ же онъ преподастъ. «По грамматикѣ, отвѣчалъ онъ, и по діалогамъ». Онъ объяснялъ при этомъ, что онъ собственно учитель математики, но покаместъ, за недостаткомъ вакансій, преподастъ нѣмецкій языкъ и что, впрочемъ, онъ получаетъ половинный окладъ <sup>1)</sup>. Нѣмки пропадали со скуки и, увидѣвши человѣка, который если не хорошо, то понятно могъ объясняться по-нѣмецки, пришли въ совершенный восторгъ, записали меня кофеемъ и еще какой-то «калте-шале», рассказали мнѣ всѣ свои тайны, желанія и надежды, и черезъ два дня называли меня другомъ и еще больше подчивали сладкими мучнистыми яствами съ корицей. Обѣ были довольно образованы, т. е. знали на память Шиллера, поигрывали на фортепіано и нѣли нѣмецкіе романы. Этимъ сходство, впрочемъ, между ними и оканчивается. Аптекариша была бѣлокурая, лимфатическая, высокая, очень недурная собой, но вялая и сонная женщина, она была чрезвычайно добра, да и трудно было при такой комплекціи быть злою. Убѣдившись однажды, что ея мужъ — мужъ ея, она тихонько и ровненько любила его, занималась кухней и бѣльемъ, читала въ свободныя минуты романы и въ свое время благополучно родила аптекарю дочь, бѣлобрысую и золотуншую.

Подруга ея, небольшого роста, смуглая брюнетка, крѣпкая здоровьемъ, съ большими черными глазами и съ самобытнымъ видомъ, была коренастая, народная красота; въ ея движеніяхъ и словахъ видна была большая энергія, и когда, бывало, аптекарь, существо скучное и скупое, дѣлалъ не очень вѣжливыя замѣчанія своей женѣ, и та ихъ слушала съ улыбкой на губахъ и слезой на рѣсницѣ, Паулина краснѣла въ лицѣ и такъ взглядывала на расходившагося фармацевта, что тотъ мгновенно умирался, дѣлалъ видъ, что очень занятъ, и уходилъ въ лабораторію мѣшать и толочь всякую дрянъ для возстановленія здоровья вятскихъ чиновниковъ.

Мнѣ нравилась наивная дѣвушка, которая за себя постоять умѣла, и, не знаю, какъ это случилось, но ей первой рассказалъ я о моей любви, ей переводилъ письма. Тотъ только знаетъ цѣну этой сердечной болтовни, кто живалъ долго, годы цѣлые съ людьми совершенно посторонними. Я рѣдко говорю о чувствахъ, но бываютъ минуты, въ которыя потребность высказаться становится невыносимою, даже *теперь*. А тогда мнѣ было двадцать четыре

<sup>1)</sup> За то «просвѣщенное» начальство опредѣлило въ той же вятской гимназій извѣстнаго оріенталиста, товарища Ковалевскаго и Мишкевича. Верниковскаго, сосланнаго по дѣлу филаретовъ, учителемъ французскаго языка.



года, и я только что понимал мою любовь. Я могъ переносить разлуку, перенесъ бы и молчаніе, но, встрѣтившись съ другимъ ребенкомъ женщиной, въ которомъ все было такъ непритворно просто, и не могъ удержаться, чтобъ не разболтать ей мою тайну. Да и какъ же она была мнѣ благодарна за то, и сколько добра сдѣлала она мнѣ!

Всегда серьезная бесѣда Витберга иной разъ утомляла меня: мучимый моимъ тяжелымъ отношеніемъ къ Р., я не могъ быть при ней свободенъ. Часто вечеромъ уходилъ я къ Паулинѣ, читалъ ей пустыя повѣсти, слушалъ ея звонкій смѣхъ, слушалъ, какъ она нарочно для меня пѣла *das Medchän aus Fremde*, подъ которой я и она понимали другую *дѣву чужбины*, и облака разсѣвались, на душѣ мнѣ становилось искренно-весело, безмятежно-спокойно, и я съ миромъ уходилъ домой, когда аптекарь, окончивъ послѣднюю микстуру и намазавъ послѣдній пластырь, приходилъ надобѣдать мнѣ вздорными политическими распросами,—не прежде, впрочемъ, какъ выпивши его «лекарственной» и закусивши герингъ-салатомъ, приготовленнымъ бѣленькими ручками *der Frau Apotekerin*.

... Р. страдала; я, съ жалкой слабостью, ждалъ отъ времени случайныхъ разрѣшеній и длилъ полуложь. Тысячу разъ хотѣлъ я идти къ Р., броситься къ ея ногамъ, рассказать все, вынести ея гнѣвъ, ея презрѣніе..., но я боялся не негодованія—я бы ему быть радъ—боялся слезъ. Много дурного надобно испытать, чтобъ умѣть вынести женскія слезы, чтобъ умѣть сомнѣваться, пока онѣ, еще теплыя, текутъ по воспаленной щекѣ. Къ тому ея слезы были бы некрещенія.

Такъ прошло много времени. Начали носиться слухи о близкомъ окончаніи ссылки, не такъ уже казался далекимъ день, въ который я брошусь въ повозку и полечу въ Москву, знакомыя лица мерещились и между ними, передъ ними, завитыя черты; но едва я отдавался этимъ мечтамъ, какъ мнѣ представлялась, съ другой стороны повозки, блѣдная, печальная фигура Р., съ заплаканными глазами, съ взглядомъ, выражающимъ боль и упрекъ, и радость моя мутилась, мнѣ становилось жаль, смертельно жаль ее.

Долѣ оставаться въ ложномъ положеніи я не могъ и рѣшился, собравъ всѣ силы, вынырнуть изъ него. Я написалъ ей полную исповѣдь. Горячо, откровенно рассказалъ ей всю правду. На другой день она не выходила и сказалась больной. Все, что можетъ вынести преступникъ, боящійся, что его уличатъ, все вынесъ я въ этотъ день; ея нервное оцѣпенѣніе возвратилось,—я не смѣлъ ее навѣстить.

Мнѣ надобно было большее покаяніе; я занересъ съ Витбергомъ въ кабинетъ и разсказалъ ему весь романъ мой. Сначала онъ удивился, потомъ выслушалъ меня, не какъ судья, а какъ другъ, не мучилъ распросами, не читалъ заднимъ числомъ морали, а принялся со мной искать средствъ смягчить ударъ; онъ одинъ и могъ это сдѣлать. Онъ горячо любилъ тѣхъ, кого любилъ. Я боялся его ригоризма, но дружба ко мнѣ и къ Р. рѣшительно взяла верхъ. Да, на его руки я могъ оставить несчастную женщину, которой безотрадное существованіе я доломалъ; въ немъ она находила сильную нравственную опору и авторитетъ. Р. уважала его, какъ отца.

Утромъ Матвѣй подаль мнѣ записку. Я почти не спалъ всю ночь, съ волненіемъ распечаталъ я ее дрожащей рукой. Она писала кротко, благородно и глубоко печально; цвѣты моего краснорѣчія не скрыли асника, въ ея примирительныхъ словахъ слышался затаенный стонъ слабой груди, крикъ боли, подавленный чрезвычайнымъ успіемъ. Она благословляла меня на новую жизнь, желала намъ счастья, называла Natalie сестрой и протягивала намъ руку на забвеніе прошедшаго и на будущую дружбу,—какъ будто она была виновата!

Рыдая, перечитывалъ я ея письмо. Qual cuor tradisti!

Я встрѣтился въслѣдствіи съ нею; дружески подала она мнѣ руку, но намъ было неловко; каждый чего-то не договаривалъ, каждый старался кой-чего не касаться.

Годъ тому назадъ я услышалъ о ея кончинѣ.

Уѣхавъ изъ Вятки, меня долго мучило воспоминаніе объ Р. Мираясь съ собой, я принялся писать повѣсть, героиней которой была Р. Я представилъ барича екатерининскихъ временъ, покинушаго женщину, любившую его, и женившагося на другой. Она чахнетъ и умираетъ. Вѣсть о ея смерти тяжело падаетъ на него, онъ сдѣлался мраченъ, задумчивъ и, наконецъ, сошелъ съ ума. Его жена, идеаль кротости и самоотверженія, испытавъ все, везетъ его, въ одну изъ тихихъ минутъ, въ *Дѣвичій монастырь* и бросается съ нимъ на колѣни передъ могилой несчастной женщины, прося прощенія и заступничества. Изъ оконъ монастыря достигаютъ слова молитвы, тихіе женскіе голоса поютъ объ отпущеніи,—баричъ выздоравливаетъ. Повѣсть вышла плоха. Когда я писалъ ее, Р. не собиралась въ Москву, и одинъ человѣкъ, догадывавшійся о томъ, что что-то было между мной и Р., былъ «вѣчный нѣмецъ», К. П. Зоненбергъ. Послѣ кончины моей матери въ 1851, отъ него не было ни одной вѣсти. Въ 1860, одинъ туристъ, рассказывая мнѣ о своемъ знакомствѣ съ восьмидесятилѣтнимъ Карломъ Ивановичемъ, показалъ его письмо. Въ P.S.

онъ извѣщалъ его о кончинѣ Р. и о томъ, что *мой братъ* ее похоронилъ въ *Ново-девичьемъ монастырѣ!*

Само собой разумѣется, что повѣсть имъ обоимъ была неизвѣстна.

## ГЛАВА XXII.

Въ Москвѣ безъ меня.

Мирная жизнь моя во Владимірѣ скоро была возмущена вѣстями изъ Москвы, которыя теперь приходили со всѣхъ сторонъ. Онѣ сильно огорчали меня. Для того, чтобъ сдѣлать ихъ понятными, надобно воротиться къ 1834 году.

На другой день послѣ моего взятія въ 1834 году, были именины княгини; потому-то Natalie, разставаясь со мной на кладбищѣ, сказала мнѣ: «до завтра». Она ждала меня; съѣхалось нѣсколько человѣкъ родныхъ, вдругъ является мой двоюродный братъ и рассказываетъ со всѣми подробностями исторію моего ареста. Новость эта, совершенно неожиданная, поразила ее, она встала, чтобъ выйти въ другую комнату, и, сдѣлавъ два шага, упала безъ чувствъ на полъ. Княгиня все видѣла и все поняла; она рѣшилась противудѣйствовать всѣмъ средствами возникающей любви.

Для чего?

Не знаю. Въ послѣднее время, т. е. послѣ окончанія моего курса, она была очень хорошо расположена ко мнѣ; но мой арестъ, слухи о нашемъ *вольномъ* образѣ мыслей, объ измѣнѣ православной церкви при вступленіи въ сень-симонскую «секту», разгнѣвали ее; она съ тѣхъ поръ меня иначе не называла какъ «государственнымъ преступникомъ», или «несчастливымъ сыномъ брата Ивана». Весь авторитетъ Сенатора былъ нуженъ, чтобъ она рѣшилась отпустить Natalie въ Крутицы проститься со мной.

По счастью, меня ссылали, времени передъ княгиней было много. «Да и гдѣ это Пермь, Вятка, — вѣрно, онъ тамъ себѣ свернетъ шею, или ему свернуть ее, а главное тамъ онъ ее забудетъ».

Но какъ на зло княгинѣ у меня память была хороша. Переписка со мной, долго скрываемая отъ княгини, была, наконецъ, открыта, и она строжайше запретила людямъ и горничнымъ доставлять письма молодой дѣвушкѣ или отпирать ея письма на почту. Года черезъ два стали поговаривать о моемъ возвращеніи. «Эдакъ, пожалуй, какимъ-нибудь добрымъ утромъ несчастный сынъ брата отворитъ дверь и взойдетъ; чего тутъ долго думать,

да откладывать,—мы ее выдадимъ замужъ и спасемъ отъ государственнаго преступника, человека безъ религіи и правилъ».

Прежде княгиня, вздыхая, говорила о бѣдной сиротѣ, о томъ, что у нея почти ничего нѣтъ, что ей нельзя долго разбирать, что ей бы хотѣлось *какъ-нибудь* пристроить ее при себѣ. Она, дѣйствительно, съ своими приживалками устроила *кой-какъ* судьбу одной дальней родственницы безъ состоянія, отдавъ ее замужъ за какого-то подъячаго. Добрая, милая дѣвушка, очень развитая, пошла замужъ, желая успокоить свою мать; года черезъ два она умерла, но подъячій остался живъ и изъ благодарности продолжалъ заниматься хожденіемъ по дѣламъ ея сѣятельства. Теперь, совсѣмъ напротивъ, сирота вовсе не бѣдная невѣста, княгиня собирается ее выдать, какъ родную дочь, даетъ одѣмъ деньгами сто тысячъ рублей и оставляетъ, сверхъ того, какое-то наслѣдство. На такихъ условіяхъ можно всегда найти жениховъ не только въ Москвѣ, но гдѣ угодно, особенно имѣя компаньонку, княжескій титулъ и кочующихъ старухъ.

Шопотъ, переговоры, слухи,—и горничныя довели до несчастной жертвы такой попечительности намѣренія княгини. Она сказала компаньонкѣ, что рѣшительно не приметъ ничего предложенія. Тогда началось непрерывное, оскорбительное, лишенное пощады и всякой деликатности гоненіе; гоненіе ежеминутное, мелкое, цѣпляющееся за каждый шагъ, за каждое слово.

... «Представь себѣ дурную погоду, страшную стужу, вѣтеръ, дождь, пасмурное, какое-то безъ выраженія небо, прегадкую маленькую комнату, изъ которой, кажется, сейчасъ вынесли покойника, а тутъ эти *дѣти* безъ цѣли, даже безъ удовольствія, шумятъ, кричатъ, ломаютъ и мараютъ все близкое; да хорошо бы еще, если-бъ только можно было глядѣть на этихъ дѣтей, а когда заставляютъ быть въ ихъ средѣ»,—пишетъ она въ одномъ письмѣ изъ деревни, куда княгиня уѣзжала лѣтомъ, и продолжаетъ: «У насъ сидятъ три старухи и всѣ три разсказываютъ, какъ ихъ покойники были въ параличѣ, какъ онѣ за ними ходили, — а и безъ того холодно».

Теперь къ этой средѣ прибавилось систематическое преслѣдованіе, и уже не отъ одной княгини, но и отъ жалкихъ старухъ, мучившихъ непрерывно Natalie, уговаривая ее идти замужъ и браня меня; большей частью она умалчивала въ письмахъ о рядѣ непріятностей, выносимыхъ ею, но иной разъ горечь, униженіе и скука брали верхъ. «Не знаю, пишетъ она, можно ли выдумать еще что-нибудь къ моему угнетенію, неужели у нихъ станетъ настолько ума? Знаешь ли ты, что даже выходъ въ другую комнату мнѣ запрещенъ, даже перемена мѣста въ той же комнатѣ. Я давно не играла на фортепіано, подали огонь, иду въ залу,

авось либо смирится; итъ, воротили, заставили визать; пожалуй, только сяду у другого стола, — подлѣ нихъ мнѣ невыносимо—можно ли хоть это? Итъ, непременно сидѣть тутъ, рядомъ съ понадѣй, слушай, смотри, говори, а онѣ только и говорятъ о Филаретѣ, да пересуживаютъ тебя. На минуту мнѣ стало досадно, я покраснѣла и вдругъ тяжелое чувство грусти сдавило грудь, но не оттого, что я должна быть ихъ рабою, итъ..., мнѣ смертельно стало жаль ихъ».

Начинается формальное сватовство.

«У насъ была одна дама, которая любитъ меня и которую я за это не люблю...; хлопочетъ, что есть мочи, пристроить меня и до того разсердила меня, что я пропѣла ей въ слѣдъ:

Гробовой скорѣе покроюсь чуждой,  
Чѣмъ безъ милаго узорчатой фатой.

Черезъ нѣсколько дней, 26 октября 1837 г., она пишетъ: «Что я вытерпѣла сегодня, другъ мой, ты не можешь себѣ представить. Меня нарядили и повезли къ С., которая съ дѣтства была ко мнѣ *милостива* черезъ мѣру; къ нимъ каждый вторникъ ѣздитъ полковникъ З. играть въ карты. Вообрази мое положеніе, съ одной стороны, старухи за карточнымъ столомъ, съ другой, разныя безобразныя фигуры и онъ. Разговоръ, лица, все это такъ чуждо, странно, противно, такъ безжизненно, пошло, я сама была больше похожа на изваяніе, чѣмъ на живое существо; все пропеходящее казалось мнѣ тяжкимъ удушливымъ сномъ; и какъ ребенокъ непрерывно просила ѣхать домой, меня не слушали. Вниманіе хозяина и *гостя* задавили меня, онъ даже напечалъ мѣломъ до половины мой вензель; Боже мой, моихъ силъ не достаетъ, ни на кого не могу опереться изъ тѣхъ, которые могли быть опорой; одна, на краю пропасти, и цѣлая толпа употребляетъ все усилія, чтобъ столкнуть меня; иногда я устаю, силы слабѣютъ, и итъ тебя вблизи и вдали тебя не видно; но одно воспоминаніе—и душа встрепенулась, готова снова на бой въ доспѣхахъ любви».

Между тѣмъ полковникъ поправился всемъ; Сенаторъ его ласкалъ, отецъ мой находилъ, что «лучше жениха нельзя ждать и желать не должно». «Даже, пишетъ Natalie, его превосходительство Д. П. (Голохвастовъ) доволенъ имъ». Княгиня не говорила прямо Natalie, но прибавляла притѣненія и торопила дѣло. Natalie пробовала прикидываться при немъ совершенной «дурочкой», думая, что отстраняетъ его. Несколько, онъ продолжаетъ ѣздить чаще и чаще.

«Вчера, пишетъ она, была у меня Эмилія, вотъ что она сказала: Если-бъ я слышала, что ты умерла, я бы съ радостью перекрестилась и поблагодарила бы Бога. Она права во многомъ,

но не совѣтъ; душа ея, живущая однимъ горемъ, поняла вполнѣ страданія моей души, но блаженство, которымъ наполняетъ ее любовь, сдвигали ей доступно».

Но и княгиня не унывала. «Желая очистить свою совѣсть, княгиня призвала какого-то священника, знакомаго съ З., и спрашивала его, не грѣхъ ли будетъ отдать меня насильно? Священникъ сказалъ, что это будетъ даже богоугодно пристроить сироту. Я пошла за своимъ духовникомъ—прибавляетъ Natalie—и открою ему все».

30 октября. «Вотъ платье, вотъ нарядъ къ завтраму, а тамъ образъ, кольца, хлопоты, приготовленія и ни слова мнѣ. Приглашены Насакины и другіе. Они готовятъ мнѣ сюрпризъ,—и я готовлю имъ сюрпризъ».

Вечеръ. «Теперь происходитъ совѣщаніе. Левъ Алексѣевичъ (Сенаторъ) здѣсь. Ты уговариваешь меня,—ненужно, другъ мой, я умѣю отворачиваться отъ этихъ ужасныхъ, гнусныхъ сценъ, куда меня тинуть на цѣпи. Твой образъ сіяетъ надо мной, за меня нечего бояться, и самая грусть и самое горе такъ святы и такъ сильно и крѣпко обняли душу, что, отрывая ихъ, сдѣлаешь еще больнѣе, раны откроются».

Однако, какъ ни скрывали и ни маскировали дѣла, полковникъ не могъ не увидѣть рѣшительнаго отвращенія невѣсты; онъ сталъ рѣже ѣздить, казался больнымъ, занкнулся даже о прибавкѣ приданаго; это очень разсердило, но княгиня прошла и черезъ это униженіе, она давала еще свою подмосковную. Этой уступки, кажется, и онъ не ждалъ, потому что послѣ нея онъ совѣтъ скрылся.

Мѣсяца два прошли тихо. Вдругъ разнеслась вѣсть о моемъ переводѣ во Владиміръ. Тогда княгиня сдѣлала послѣдній отчаянный опытъ сватовства. У одной изъ ея знакомыхъ былъ сынъ офицеръ, только-что возвратившійся съ Кавказа; онъ былъ молодъ, образованъ и весьма порядочный человекъ. Княгиня, откупивъ спѣсь, сама предложила его сестрѣ «позондировать» брата, не хочетъ ли онъ посвататься. Онъ поддался на внушенія сестры. Молодой дѣвушка не хотѣлось еще разъ играть ту же отвратительную и скучную роль; она, видя, что дѣло принимаетъ серьезный оборотъ, написала ему письмо, прямо, открыто и просто говорила ему, что любитъ другого, довѣрялась его чести и просила не прибавлять ей новыхъ страданій.

Офицеръ очень деликатно устранился. Княгиня была поражена, оскорблена и рѣшилась узнать, въ чемъ дѣло. Сестра офицера, съ которой говорила сама Natalie и которая дала слово брату ничего не передавать княгинѣ, рассказала все компаньонкѣ. Разумѣется, та тотчасъ же донесла.



Княгиня чуть не задохнулась отъ негодованія. Не зная, что дѣлать, она приказала молодой дѣвушкѣ идти къ себѣ наверхъ и не казаться ей на глаза; недовольная этимъ, она велѣла запереть ея дверь и посадила двухъ горничныхъ для караула. Потомъ она написала къ своимъ братьямъ и одному изъ племянниковъ записки и просила ихъ собраться для совѣта, говоря, что она такъ разстроена и огорчена, что не можетъ ума приложить къ несчастному дѣлу, ее постигшему. Отецъ мой отказался, говоря, что у него своихъ заботъ много, что вовсе неуживо придавать случившемуся такой важности, и что онъ плохой судья въ дѣлахъ сердечныхъ. Сенаторъ и Д. П. Голохвастовъ явились на другой день вечеромъ, по зову.

Долго толковали они, ни въ чемъ не согласившись и, наконецъ, потребовали арестанта. Молодая дѣвушка взопла; но это была не та молчаливая, застѣнчивая сирота, которую они знали. Непокорливая твердость и безвозвратное рѣшеніе были видны въ спокойномъ и гордомъ выраженіи лица: это было не дитя, а женщина, которая шла защищать свою любовь—мою любовь.

Видъ «подеудимой» смѣнялъ арестантъ. Имъ было неловко; наконецъ Дмитрій Павловичъ, l'orateur de la famille, изложилъ пространно причину ихъ сѣзда, горестъ княгини, ея сердечное желаніе устроить судьбу своей воспитанницы и странное противудѣйствіе со стороны той, въ пользу которой все дѣлается. Сенаторъ подтверждалъ головой и указательнымъ пальцемъ слова племянника. Княгиня молчала, сидѣла отвернувшись и нюхала соль.

«Подеудимая» все выслушала и простодушно спросила, чего отъ нея требуютъ?

— Мы весьма далеки отъ того, чтобъ что-нибудь требовать, замѣтилъ племянникъ, мы здѣсь по волѣ тетюшки для того, чтобъ дать вамъ искренній совѣтъ. Вамъ представляется партія, пре-восходная во всѣхъ отношеніяхъ.

— «Я не могу ее принять».

— Какая же причина на это?

— «Вы ее знаете».

Ораторъ семейства немного покраснѣлъ, попохалъ табаку и, щуря глаза, продолжалъ:

— Тутъ есть очень многое, противъ чего можно бы возражать, я обращаю ваше вниманіе на шаткость вашихъ надеждъ. Вы такъ давно не видались съ нашимъ несчастнымъ Alexandr'омъ, онъ такъ молодъ, горячъ,—увѣрены ли вы?

— «Увѣрена. Да и какія бы намѣренія его ни были, я не могу переимѣнить своихъ».

Племянникъ исчерпалъ свою латынь; онъ всталъ, говоря:

— Дай Богъ, дай Богъ, чтобъ вы не раскаялись! Я очень боюсь за ваше будущее.

Сенаторъ морщился; къ нему-то и обратилась теперь несчастная дѣвушка.

— «Вы, сказала она ему, показывали мнѣ всегда участіе, васъ я умоляю, спасите меня, сдѣлайте, что хотите, но избавьте меня отъ этой жизни. Я ничего никому не сдѣлала, ничего не прошу, ничего не предпринимаю, я только отказываюсь обмануть человѣка и погубить себя, выходя за него замужъ. Что я за это терплю, нельзя себѣ представить; мнѣ больно, что я должна это высказать въ присутствіи княгини, но выносить оскорбленія, обидныя слова, намеки ея пріятельницы выше моихъ силъ. Я не могу, я не должна позволить, чтобъ во мнѣ были оскорбленъ...» Нервы взяли свое и слезы градомъ полились изъ ея глазъ; Сенаторъ вскочилъ и взволнованный ходилъ по комнатѣ.

Въ это время компаньонка, кипѣвшая отъ злобы, не выдержала и сказала, обращаясь къ княгинѣ:

«Какова наша скромница, вотъ вамъ и благодарность».

— О комъ она говоритъ? закричалъ Сенаторъ.—А? Какъ это вы, сестрица, позволите, чтобъ эта, чортъ знаетъ кто такая, при васъ такъ говорила о дочери вашего брата? Да и вообще зачѣмъ эта иваль здѣсь? Вы ее тоже позвали на совѣтъ? Что она вамъ родственница, что ли?

— Голубчикъ мой, отвѣчала испуганная княгиня, ты знаешь, что она мнѣ и какъ она за мной ходитъ.

— Да, да, это прекрасно, ну, и пусть подаетъ лекарство и что нужно; не о томъ рѣчь,—я васъ, ма сœur, спрашиваю, зачѣмъ она здѣсь, когда говорить о семейномъ дѣлѣ, да еще голосъ подымаетъ? Можно думать послѣ этого, что она дѣлаетъ одна, а потомъ жалуетесь... Эй, карету.

Компаньонка, расплаканная и раскрасѣвшаяся, выбѣжала вонъ.

— Зачѣмъ вы такъ балуете ее? продолжалъ расходившійся Сенаторъ. Она все воображаетъ, что въ шинкѣ въ Звенигородѣ сидитъ; какъ вамъ это не гадко?

— Перестань, мой другъ, пожалуйста, у меня нервы такъ разстроены—охъ!—Ты можешь идти наверхъ и тамъ остаться, прибавила она, обращаясь къ племянницѣ.

— Пора и бастиллы всѣ эти уничтожить. Все это вздоръ и ни къ чему не ведетъ, замѣтилъ Сенаторъ и схватилъ шляпу.

Уѣзжая, онъ взошелъ наверхъ; взволнованная всѣмъ происшедшимъ, Natalie сидѣла на креслахъ, закрывши лицо, и горько плакала. Старикъ потрепалъ ее по плечу и сказалъ:

— Успокойся, успокойся, все перемелется. Ты постарайся, чтобъ сестра перестала сердиться на тебя: она женщина больная, надобно ей уступить, она, вѣдь, все-жъ добра тебѣ желаетъ; ну, а насильно тебя замужъ не отдадутъ, за это я тебѣ отвѣчаю.

— «Лучше въ монастырь, въ пансіонъ, въ Тамбовъ, къ брату въ Петербургъ, чѣмъ долгие выносить эту жизнь», отвѣчала она.

— Ну, полно, полно! старайся успокоить сестру, а дуру эту я отучу отъ грубостей.

Сенаторъ, проходя по залѣ, встрѣтилъ компаньонку.

— Прошу не забываться!—закричалъ онъ на нее, грозя пальцемъ. Она, рыдая, пошла въ спальню, гдѣ княгиня уже лежала въ постели и четыре горничныя терли ей руки и ноги, мочили виски укусомъ и капали гофманскія капли на сахаръ.

Тѣмъ семейный совѣтъ и кончился.

Ясное дѣло, что положеніе молодой дѣвушки не могло переѣмниться къ лучшему. Компаньонка стала осторожнѣе, но, питая теперь личную ненависть и желая на ней вымѣстить обиду и униженіе, она отравляла ей жизнь мелкими, косвенными средствами; само собою разумѣется, что княгиня участвовала въ этомъ неблагопріятномъ преслѣдованіи беззащитной дѣвушки.

Надобно было положить этому конецъ. Я рѣшился выступить прямо на сцену и написать моему отцу длинное, спокойное, искреннее письмо. Я говорилъ ему о моей любви и, предвидя его отвѣтъ, прибавлялъ, что я вовсе его не тороплю, что я даю ему время взглядѣться, — мимолетное это чувство или нѣтъ, и прошу его объ одномъ, чтобъ онъ и Сенаторъ взошли въ положеніе несчастной дѣвушки, чтобъ они вспомнили, что они имѣютъ на нее столько же права, сколько и сама княгиня.

Отецъ мой на это отвѣчалъ, что онъ въ *чужіа дѣла* терпѣть не можетъ мѣшаться, что до него не касается, что княгиня дѣлаетъ у себя въ домѣ; онъ мнѣ совѣтовалъ оставить пустыя мысли, «порожденные праздною и скукой ссылкой», и лучше приготовляться къ путешествію въ чужіе края. Мы часто говорили съ нимъ въ былые годы о поѣздкѣ за границу, онъ зналъ, какъ страстно я желалъ, но находилъ бездну препятствій и всегда оканчивалъ однимъ: «Ты прежде закрой мнѣ глаза, потому дорога открыта на всѣ четыре стороны». Въ ссылкѣ я потерялъ всякую надежду на скорое путешествіе, зналъ, какъ трудно будетъ получить дозволеніе, и, сверхъ того, мнѣ казалось не деликатно, послѣ насильственной разлуки, настаивать на добровольную. Я помнилъ слезу, дрожавшую на старыхъ вѣкахъ, когда я отправлялся въ Пермь... И вдругъ мой отецъ беретъ инициативу и предлагаетъ мнѣ ѣхать!

И былъ откровененъ, писалъ, щадя старика, просилъ такъ мало,—онъ мнѣ отвѣчалъ пропѣй и уловкой. «Онъ ничего не хочетъ сдѣлать для меня, говорилъ я самъ себѣ, онъ, какъ Гизо, проповѣдуетъ la non-intervention; хорошо, такъ я сдѣлаю самъ, и теперь аминь уступкамъ». И ни разу прежде не думалъ объ устройствѣ будущаго; я вѣрилъ, зналъ, что оно мое, что оно наше, и предоставлялъ подробности случаю; намъ было довольно сознанія любви, желанія не шли дальше минутнаго свиданія. Письмо моего отца заставило меня схватить будущее въ мои руки. Ждать было нечего—*cosa fatta capo ha!* Отецъ мой не очень сентименталенъ, а книжки—

Пускай себѣ поплачетъ,  
Ей ничего не значить!

Въ это время гостили во Владимірѣ мой братъ и К. Мы съ К. проводили цѣлыя ночи напролетъ, говоря, вспоминая, смѣясь сквозь слезы и до слезъ. Онъ былъ первый изъ нашихъ, котораго я увидѣлъ послѣ отъѣзда изъ Москвы. Отъ него я узналъ хронику нашего круга, въ чемъ перемѣны и какіе вопросы занимають, какія лица прибыли, гдѣ тѣ, которые оставили Москву, и пр. Переговоривши все, я разсказалъ о моихъ намѣреніяхъ. Разсуждая, что и какъ слѣдуетъ сдѣлать, К. заключилъ предложеніемъ, нелѣпность котораго я оцѣнилъ потомъ. Желая псечернать всѣ мирныя пути, онъ хотѣлъ съѣздить къ моему отцу, котораго едва зналъ, и *серьезно* съ нимъ поговорить. Я согласился.

К., конечно, былъ способенъ на все хорошее и на все худое, чѣмъ на дипломатическіе переговоры, особенно съ моимъ отцомъ. Онъ имѣлъ въ высшей степени все то, что должно было окончательно испортить дѣло. Онъ однимъ появленіемъ своимъ наводилъ уныніе и тревогу на всякаго консерватора. Высокій ростомъ, съ волосами странно разбросанными, безъ всякаго единства прически, съ рѣзкимъ лицомъ, напоминающимъ рядъ членовъ конвента 93 года, а всего болѣе Мара, съ тѣмъ же большимъ ртомъ, съ тою же рѣзкой чертой пренебреженія на губахъ и съ тѣмъ же грустно и озлобленно печальнымъ выраженіемъ; къ этому слѣдуетъ прибавить очки, шляпу съ широкими полями, чрезвычайную раздражительность, громкій голосъ, непривычку себя сдерживать и способность, по мѣрѣ негодованія, поднимать брови все выше и выше. К. былъ похожъ на Ларавинье въ превосходномъ романѣ Ж. Зандъ «Орасъ», съ примѣсью чего-то патфайндерскаго, робинзоновскаго и еще чего-то чисто московскаго. Открытая, благородная натура съ дѣтства поставила его въ прямую ссору съ окружающимъ міромъ; онъ не скрывалъ это враждебное отношеніе и привыкъ къ нему. Нѣсколькими годами стар-

ше насъ, онъ безпрерывно бранился съ нами и былъ всеѣмъ недоволенъ, дѣлалъ выговоры, ссорился, и покрывалъ все это добродушіемъ ребенка. Слова его были грубы, но чувства нѣжны, и мы бездну прощали ему.

Представьте же именно его, этого послѣдняго Могикана, съ лицомъ Мара, «друга народа», отправляющагося увѣщевать моего отца. Много разъ потомъ я заставлялъ К. пересказывать ихъ свиданіе: моего воображенія не доставало, чтобъ представить все оригинальное этого дипломатическаго вмѣшательства. Оно пришлось такъ невзначай, что старикъ не нашелся сначала, сталъ объяснять все глубокія соображенія, почему онъ противъ моего брака, и потомъ уже, спохватившись, перемѣнилъ тонъ и спросилъ К., съ какой онъ стати пришелъ къ нему говорить о дѣлѣ, до него вовсе не касающемся. Разговоръ принялъ характеръ желчевой. Дипломатъ, видя, что дѣло становится хуже, попробовалъ пугнуть старика моимъ здоровьемъ; но это уже было поздно, и свиданіе окончилось, какъ слѣдовало ожидать, рядомъ язвительныхъ колкостей со стороны моего отца и грубыхъ выраженій со стороны К.

К. писалъ мнѣ: «Отъ старика ничего не жди». Этого-то и надо было. Но что было дѣлать, какъ начать? Пока я обдумывалъ по десяти разныхъ проектовъ въ день и не рѣшался, который предпочесть, братъ мой собрался ѣхать въ Москву.

Это было 1 марта 1838 года.

## ГЛАВА XXIII <sup>1)</sup>.

Третье марта и девятое мая 1838 года.

Утромъ я писалъ пѣсню; когда я кончилъ, мы сѣли обѣдать. Я не ѣлъ, мы молчали, мнѣ было невыносимо тяжело,—это было

<sup>1)</sup> Отрывокъ изъ этой главы былъ напечатанъ въ «Полярной Звѣздѣ», т. I, стр. 79, при слѣдующемъ примѣчаніи:

— Кто имѣетъ право писать свои воспоминанія?

— Всякій.

Потому, что никто ихъ не обязанъ читать.

Для того, чтобъ писать свои воспоминанія, вовсе не надобно быть ни великимъ мужемъ, ни знаменитымъ злодѣемъ, ни извѣстнымъ артистомъ, ни государственнымъ человекомъ,—для этого достаточно быть просто человекомъ, имѣть что-нибудь для разсказа и не только хотѣть, но и сколько-нибудь умѣть разсказать.

Всякая жизнь интересна; не личность—такъ среда, страна занимаютъ, жизнь занимаетъ. Человѣкъ любитъ заступать въ другое существованіе, любитъ касаться тончайшихъ волоконъ чужого сердца и прислушиваться къ

часу въ яитомъ, въ семь должны были придти лошади. Завтра послѣ обѣда онъ будетъ въ Москвѣ, а я... и съ каждой минутой нульсь у меня бился сильнѣе.

— Послушайте, сказалъ я, наконецъ, брату, глядя въ тарелку, доведите меня до Москвы? — Братъ мой опустилъ вилку и смотрѣлъ на меня неувѣренный, слышалось ему или нѣтъ.

— Провезите меня черезъ заставу, какъ вашего слугу, больше мнѣ ничего неужно, согласны?

— «Да я пожалуй, только знаешь, чтобъ тебѣ потомъ...»

Это ужъ было поздно, его «пожалуй» было у меня въ крови, въ мозгу. Мысль, едва мелькнувшая за минуту, была теперь нестергаема.

— Что тутъ толковать, мало ли что можетъ случиться, — и такъ, вы берете меня?

---

сго бѣнію..., онъ сравниваетъ, онъ свѣряетъ, онъ ищетъ себѣ подтвержденій, сочувствій, оправданій...

Но могутъ же записки быть скучны, описанная жизнь безцвѣтна, пошла?

— Такъ не будемъ ихъ читать, хуже наказанія для книги нѣтъ.

Сверхъ того, этому горю не пособить никакое право на писаніе мемуаровъ. Записки Бенвенуто Челлини совсѣмъ не потому занимательны, что онъ былъ отличный золотыхъ дѣлъ мастеръ, а потому, что онъ самъ по себѣ занимательнѣе любой повѣсти.

Дѣло въ томъ, что слово «имѣть право» на такую или другую рѣчь принадлежитъ не нашему времени, а времени умственнаго несовершенствія, поэтовъ, лауретовъ, докторскихъ шапокъ, цеховыхъ ученыхъ, патентованныхъ философовъ, метафизиковъ по диплому и другихъ фарисеевъ христіанскаго міра. Тогда актъ писанія считался какимъ-то священнодѣіемъ; писавшій для публики говорилъ свысока, неестественно, отборными словами, онъ «проповѣдывалъ» или «пѣлъ».

А мы просто говоримъ. Для насъ писать такое же свѣтское занятіе, такая же работа или разсѣяніе, какъ и всѣ остальные. Въ этомъ отношеніи трудно оспаривать «право на работу». Найдеть ли трудъ признаніе, одобреніе, — это совсѣмъ иное дѣло.

Годъ тому назадъ, я напечатать по-русски одну часть моихъ записокъ подъ заглавіемъ «Тюрьма и Ссылка», напечатать я ее въ Лондонѣ во время начавшейся войны, я не считалъ ни на читателей, ни на вниманіе виѣ Россіи. Успѣхъ этой книги превзошелъ всѣ ожиданія; *Revue des Deux-Mondes*, этотъ цѣломудренѣйшій и чопорнѣйшій журналъ, помѣстилъ полъ-книги въ французскомъ переводѣ. Умный ученый the *Athenaeum* далъ отрывки по-англійски; на нѣмецкомъ вышла вся книга, на англійскомъ она издается.

Вотъ почему я рѣшился печатать отрывки изъ другихъ частей.

Въ другомъ мѣстѣ скажу я, какое огромное значеніе для меня лично имѣютъ мои записки и съ какою цѣлью я ихъ началъ писать. Я ограничусь теперь однимъ общимъ замѣчаніемъ, что у насъ особенно полезно печатаніе современныхъ записокъ. Благодаря цензурѣ, мы не привыкли къ публичности, всякая гласность насъ пугаетъ, останавливаетъ, удивляетъ. Въ Англіи каждый человѣкъ, появляющійся на какой-нибудь общественной сценѣ, разписничкомъ писемъ или хранителемъ печати, подлежитъ тому же разбору,



— «Отчего же, я право готовъ, только...»

И вскочилъ изъ-за стола.

— Вы идете? спросилъ Матвѣй, желая что-то сказать.

— Иду, отвѣчалъ я такъ, что онъ ничего не прибавилъ. И послѣ завтра возвращусь; коли кто придетъ, скажи, что у меня болитъ голова и что я сплю, вечеромъ зажги свѣчи, и за нимъ дай мнѣ бѣлья и сагъ.

Бубенчики позванивали на дворѣ.—Вы готовы?—Готовъ. И такъ, въ добрый часъ.

На другой день, въ обѣденную пору, бубенчики перестали позванивать, мы были у подъѣзда К. Я велѣлъ его вызвать. Недѣлю тому назадъ, когда онъ меня оставилъ во Владимірѣ, о моемъ прѣздѣ не было даже предположенія, а потому онъ такъ удивился,

тѣмъ же свисткамъ и рукоплесканіямъ, какъ актеръ послѣдняго театра гдѣ-нибудь въ Песингтонѣ или Паддингтонѣ. Ни королева, ни ся мужъ не исключены. Это великая узда!

Пусть же и наши актеры тайной и явной полиціи, такъ хорошо защищенные отъ гласности цензурой и отеческими наказаніями, знаютъ, что рано или поздно дѣла ихъ выйдутъ на бѣлый свѣтъ.

Помѣщаемъ тутъ же примѣчаніе, сопровождавшее отрывокъ изъ первой части, напечатанное въ «Полярной Звѣздѣ», т. II, стр. 45.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года Герстъ и Блякетъ издали англійскій переводъ моихъ записокъ. Успѣхъ былъ полнѣйшій: не только всѣ свободныо мыслящіе журналы и ревью помѣстили большіе отрывки съ самыми лестными отзывами (съ особенной благодарностью вспоминаю я о статьяхъ The Athenaeum, The Critic и Weekly Times), но даже тайно-брачный органъ нальмерстоновскаго и бонапартовскаго союза, Morning Post, разбранилъ меня и совѣтовалъ закрыть русскую типографію, если я хочу пользоваться уваженіемъ (кого?—ихъ,—нѣсколько не хочу).

Этотъ успѣхъ, вмѣстѣ съ разборомъ нѣмецкаго перевода въ нью-йоркскихъ и нѣмецкихъ журналахъ, рѣшилъ мое сомнѣніе, печатать или нѣтъ часть, предшествовающую «Тюрмѣ и Ссылкѣ». Въ этой части мнѣ приходилось больше говорить о себѣ, нежели въ напечатанныхъ, и не только о себѣ, но и о семейныхъ дѣлахъ. Это вещь трудная, не сама по себѣ, а потому что по дорогѣ невольно наталкиваешься на предрасудки, окружающіе заборомъ семейный очагъ. Я не коснулся грубо ни одного воспоминанія, не оскорбилъ ни одного истиннаго чувства, но я не хотѣлъ пожертвовать интересомъ, который имѣетъ жизнь искренно разсказанная, цѣломудренной лжи и коварному умалчиванію.

Не знаю, стоитъ ли говорить о гнусныхъ нападкахъ, которыми меня подвергла неосторожная продѣлка издателей, но чтобъ не подумали, что я умоляю о нихъ, скажу нѣсколько словъ. Издатели переводовъ, не имѣвшіе никакого сношенія со мной, смѣло поставили слово «Сибирь» въ заглавіи. Я протестовалъ. Это не помѣшало одному журналу напасть на меня. Я отвѣчалъ, разсказавъ дѣло. Онъ продолжать клевету,—я не могъ нагнуться до отвѣта. Но счастію я знаю, что въ Россіи не только между нашими друзьями, но между нашими врагами не найдется ни одинъ человекъ, который бы заподозрилъ меня въ намеренномъ обманѣ à la Barnum или подумать бы, что ссылка на чернильную работу была для меня добровольной службой.

увиди меня, что сначала не сказалъ ни слова, а потомъ покати́лся со смѣху, но вскорѣ принялъ озабоченный видъ и повелъ меня къ себѣ. Когда мы были въ его комнатѣ, онъ, тщательно запирая дверь на ключъ, спросилъ меня:—«Что случилось?»

— Ничего.

— «Да ты зачѣмъ?»

— Я не могъ остаться во Владиміръ, я хочу видѣть Natalie; вотъ и все, а ты долженъ это устроить, и сію же минуту, потому что завтра я долженъ быть дома.

К. смотрѣлъ мнѣ въ глаза и сильно поднялъ брови.

— «Какая глупость, это чортъ знаетъ что такое, безъ нужды, ничего не приготовивши, ѣхать. Что ты писалъ, назначилъ время?»

— Ничего не писалъ.

— «Помилуй, братецъ, да что же мы съ тобой сдѣлаемъ? Это изъ рукъ вонъ, это бѣлая горячка!»

— Въ томъ-то все дѣло, что, не теряя ни минуты, надобно придумать, какъ и что.

— «Ты глупъ, сказалъ положительно К., запирая еще выше бровями, я былъ бы очень радъ, чрезвычайно радъ, если-бъ ничего не удалось, былъ бы урокъ тебѣ».

— И довольно продолжительный, если попадусь. Слушай, когда будетъ темно, мы поѣдемъ къ дому княгини, ты вызовешь кого-нибудь на улицу изъ людей, я тебѣ скажу кого,—ну, потомъ увидимъ, что дѣлать. Ладно, что ли?

— «Ну, дѣлать нечего, поѣдемъ, а ужъ какъ бы мнѣ хотѣлось, чтобъ не удалось! Что же вчера не написалъ?»—и К., важно нахлобучивъ на себя свою шляпу съ длинными полями, набросилъ черный плащъ на красной подкладкѣ.

— Ахъ ты, проклятый ворчунъ! сказалъ я ему выходя, и К., отъ души смѣясь, повторялъ:

— «Да развѣ это не курамъ насмѣхъ, не написалъ и пріѣхалъ,—это изъ рукъ вонъ».

У К. нельзя было оставаться, онъ жилъ ужасно далеко и въ этотъ день у его матери были гости. Онъ отправился со мной къ одному гусарскому офицеру. К. его зналъ за благороднаго человѣка, онъ не былъ замѣшанъ въ политическія дѣла и, слѣдственно, внѣ полицейскаго надзора. Офицеръ съ длинными усами сидѣлъ за обѣдомъ, когда мы пришли; К. разсказалъ ему, въ чемъ дѣло, офицеръ въ отвѣтъ налилъ мнѣ стаканъ краснаго вина и поблагодарилъ за довѣріе, потомъ отправился со мной въ свою спальню, украшенную сѣдлами и чепраками, такъ что можно было думать, что онъ спитъ верхомъ.

— Вотъ вамъ комната, сказалъ онъ, васъ никто здѣсь не беспокоитъ. Потомъ онъ позвалъ деньщика, гусара же, и велѣлъ

ему ни подѣ какимъ предлогомъ никого не пускать въ эту комнату. Я снова очутился подѣ охраной солдата, съ той разницей, что въ Крутицахъ жандармъ меня караулилъ отъ всего міра, а тутъ гусаръ караулилъ весь міръ отъ меня.

Когда совѣтъ смерклося, мы отправились съ К. Сильно билось сердце, когда я снова увидѣлъ знакомыя родныя улицы, мѣста, дома, которыхъ я не видалъ около четырехъ лѣтъ... Кузнецкій мостъ, Тверской бульваръ..., вотъ и домъ Огарева, ему нахлобучили какой-то огромный гербъ, онъ чужой ужъ; въ шкапѣ этажѣ, гдѣ мы такъ юно жили, жилъ портной..., вотъ Поварская,—духъ занимается, въ мезонинѣ, въ угловомъ окнѣ, горитъ свѣча, это ея комната, она пишеть ко мнѣ, она думаетъ обо мнѣ, свѣча такъ весело горитъ, такъ *мнѣ* горитъ.

Пока мы придумывали, какъ лучше вызвать кого-нибудь, намъ навстрѣчу бѣжитъ одинъ изъ молодыхъ офиціантовъ княгини.

— «Аркадій», сказалъ я, поровнявшись. Онъ меня не узналъ. «Что съ тобой, сказалъ я, своихъ не узнаешь?»

— Да это вы-съ? вскрикнулъ онъ. Я приложилъ палецъ къ губамъ и сказалъ:

— «Хочешь ли ты мнѣ сослужить дружескую службу, доставь немедленно, черезъ Сану или Костиньку, какъ можно скорѣй, вотъ эту записочку, понимаешь? Мы будемъ ждать отвѣтъ въ переулкѣ за угломъ, и ни полслова никому о томъ, что ты меня видѣлъ въ Москвѣ».

— Будьте покойны, все обдѣлаемъ въ мигъ, отвѣчалъ Аркадій и пустился рысью домой.

Около получаса ходили мы взадъ и впередъ по переулку, прежде чѣмъ вышла, тороясь и оглядываясь, небольшая, худенькая старушка, та самая бойкая горничная, которая въ 1812 году у французскихъ солдатъ просила для меня «манже»; съ дѣтства мы звали ее Костинькой. Старушка взяла меня обѣими руками за лицо и расцѣловала.

— Такъ-то ты и прилетѣлъ, говорила она, ахъ ты, буйная голова, и когда ты это уймешься, безпутный ты мой, и барышню такъ испугалъ, что чуть въ обморокъ не упала.

— «Что же, записочка есть у васъ?»

— Есть, есть, ишь какой нетерпѣливый, и она мнѣ подала лоскутокъ бумаги.

Дрожащей рукой, карандашомъ, были написаны нѣсколько словъ: «Боже мой, неужели это правда,—ты здѣсь... Завтра, въ шестомъ часу утра, я буду тебя ждать, не вѣрю, не вѣрю! Неужели это не сонъ?»

Гусаръ снова отдалъ меня на сохраненіе деньщику. Въ пять часовъ съ половиной я стоялъ, прислонившись къ фонарному

столбу, и ждалъ К., взшедшаго въ калитку книжкинаго дома. Я и не пробую передать того, что происходило во мнѣ, пока я ждалъ у столба; такія мгновенія остаются потому личной тайной, что они нѣмы.

К. махалъ мнѣ рукой. Я взшелъ въ калитку; мальчикъ, который успѣлъ вырасти, провожалъ меня, знакомо улыбаясь. И вотъ я въ передней, въ которую нѣкогда входилъ зѣвая, а теперь готовъ былъ пасть на колѣна и цѣловать каждую доску пола. Аркадій привелъ меня въ гостиную и вышелъ. Я утомленный бросился на диванъ, сердце билось такъ сильно, что мнѣ было больно, и, сверхъ того, мнѣ было страшно. Я растягиваю разсказъ, чтобъ дольше остаться съ этими воспоминаніями, хотя и вижу, что слово ихъ плохо беретъ.

Она взошла, вся въ бѣломъ, ослѣпительно прекрасна; три года разлуки и вынесенная борьба окончили черты и выраженіе. «Это ты», сказала она своимъ тихимъ, кроткимъ голосомъ.

Мы сѣли на диванъ и молчали.

Выраженіе счастья въ ея глазахъ доходило до страданія. Должно быть, чувство радости, доведенное до высшей степени, смѣшивается съ выраженіемъ боли, потому что и она мнѣ сказала: «Какой у тебя измученный видъ!»

Я держалъ ея руку, на другую она облокотилась, и намъ нечего было другъ другу сказать..., короткія фразы, два-три воспоминанія, слова изъ нисемъ, пустыя замѣчанія объ Аркадіи, о гусарѣ, о Костинькѣ.

Потомъ взошла нянюшка, говоря, что пора, и я всталъ, не возражая, и она меня не останавливала..., такая полнота была въ душѣ. Больше, меньше, короче, дольше, еще,—все это исчезло передъ полнотой настоящаго...

Когда мы были за заставой, К. спросилъ:

— «Что же у васъ, рѣшено что-нибудь?»

— Ничего.

— «Да ты говорилъ съ ней?»

— Объ этомъ ни слова.

— «Она согласна?»

— Я не спрашивалъ,—разумѣется, согласна.

— «Ты, ей Богу, поступаешь какъ дитя или какъ сумасшедшій», замѣтилъ К., повышая брови и пожимая съ негодованіемъ плечами.

— Я ей напишу, потомъ тебѣ, а теперь прощай! Нутка по всѣмъ по тремъ.

На дворѣ была оттепель, рыхлой снѣгъ мѣстами чернѣлъ, безконечная бѣлая поляна лежала съ обѣихъ сторонъ, деревеньки мелькали съ своимъ дымомъ, потомъ взшелъ мѣсяцъ и иначе освѣтилъ все; я былъ одинъ съ ямщикомъ и все смотрѣлъ и все

былъ тамъ съ нею, и дорога, и мѣсяцъ, и поляны какъ-то смѣшивались съ княгининой гостиниой. И странно, я помнилъ какое слово нянюшки, Аркадыя, даже горничной, проводившей меня до воротъ, но что я говорилъ съ нею, что она мнѣ говорила, не помнилъ!

Два мѣсяца прошли въ непрерывныхъ хлопотахъ, надобно было занять денегъ, достать метрическое свидѣтельство; оказалось, что княгиня его взяла. Одинъ изъ друзей досталъ всеѣмъ неправдами другое изъ консисторіи, платя, кланяясь, потчуя квартальныхъ и писарей.

Когда все было готово, мы поѣхали, т. е. я и Матвѣй.

На развѣтъ 8 мая, мы были на послѣдней ямской станціи передъ Москвой. Ямщики пошли за лошадьми. Погода была душная, дождь капалъ, казалось, будетъ гроза, я не вышелъ изъ кибитки и торопился ямщика. Кто-то страннымъ голосомъ, тонкимъ, плаксивымъ, протяжнымъ, говорилъ возлѣ. Я обернулся и увидѣлъ дѣвочку лѣтъ шестнадцати, блѣдную, худую, въ лохмотьяхъ и съ распущенными волосами; она просила милостыню. Я далъ ей мелкую серебряную монету; она захохотала, увиди ее, по вмѣсто того, чтобъ идти прочь, влѣзла на облучекъ кибитки, повернулась ко мнѣ и стала бормотать полусвязныя рѣчи, глядя мнѣ прямо въ лицо; ей взгляды были мутны, жалокъ, пряди волосъ падали на лицо. Болѣзненное лицо ея, непонятная болтовня вмѣстѣ съ утреннимъ освѣщеніемъ наводили на меня какую-то первую робость.

— Это у насъ такъ, юродивая, т. е. дуручка, замѣтилъ ямщикъ. И куда ты лѣзешь, вотъ стягну, такъ узнаешь! Ей Богу, стигну, озарница эдакая!

— «Что ты бронишься, что я тѣ сдѣлла, — вотъ баринъ-то серебряной пятачекъ далъ, а что я тебѣ сдѣлла?»

— Ну, далъ, такъ и убирайся къ своимъ чертямъ въ лѣсъ.

— «Возьми меня съ собой, прибавила дѣвочка, жалобно глядя на меня, ну, право, возьми...»

— Въ Москвѣ показывать за деньги, чудо, молъ, юдо, ракъ морской, замѣтилъ ямщикъ,—ну, слѣзай, что ли, трогаемъ.

Дѣвочка не думала идти, а все жалобно смотрѣла, я просилъ ямщика не обижать ее, онъ взялъ ее тихо въ охапку и поставилъ на землю. Она расплакалась, и я готовъ былъ плакать съ нею.

Зачѣмъ это существо попало мнѣ именно въ этотъ день, именно при вѣздѣ въ Москву? Я вспомнилъ «Безумную» Козлова, и ее онъ встрѣтилъ подъ Москвой.

Мы поѣхали, воздухъ былъ полонъ электричества, непріятно тяжелъ и тепелъ. Синяя туча, опускавшаяся сѣрыми ключьями до земли, медленно тащилась ими по полямъ, — и вдругъ зиг-

загъ молніи прорѣзалъ ее своими уступами вкось, ударилъ громъ и дождь полился ливнемъ. Мы были верстахъ въ десяти отъ Рогожской заставы, да еще Москвой приходилось съ часъ ѣхать до Дѣвичьяго поля. Мы пріѣхали къ А., гдѣ меня долженъ былъ ожидать К., рѣшительно безъ сухой нитки на тѣлѣ.

К. не было налицо. Онъ былъ у изголовья умирающей женщины, Е. Д. Леваневой. Женщина эта принадлежала къ тѣмъ удивительнымъ явленіямъ русской жизни, которыя мирять съ нею, которыхъ все существованіе подвигъ, никому не вѣдомый, кромѣ небольшого круга друзей. Сколько слезъ утерла она, сколько внесла утѣшеній не въ одну разбитую душу, сколько юныхъ существованій поддержала она и сколько сама страдала! «Она изжила любовью», сказалъ мнѣ Чаадаевъ, одинъ изъ ближайшихъ друзей ея, посвятившій ей свое знаменитое письмо о Россіи.

К. не могъ ее оставить и писалъ, что около девяти часовъ пріѣдетъ. Меня встревожила эта вѣсть. Человѣкъ, объятый сильной страстью, страшный эгоистъ; я въ отсутствіи К. видѣлъ одну задержку...; когда же пробило девять часовъ, раздался благовѣстъ къ поздней обѣднѣ и прошло еще четверть часа, мною овладѣло лихорадочное безпокойство и малодушное отчаяніе... Половина десятаго—нѣтъ, онъ не будетъ, больной вѣрно хуже, что мнѣ дѣлать? Остаться въ Москвѣ не могу, одно неосторожное слово горничной, нянюшки въ домѣ княгини, откроетъ все. Ѣхать назадъ было возможно; но я чувствовалъ, что у меня не было силы ѣхать назадъ.

Въ три четверти десятаго явился К. въ соломенной шляпѣ, съ измятымъ лицомъ человѣка, не спавшаго цѣлую ночь. Я бросился къ нему и, обнимая его, осыпалъ упреками. К., нахмурившись, посмотрѣлъ на меня и спросилъ: «Развѣ получаса не достаточно, чтобъ дойти отъ А. до Поварской? Мы бы тутъ болтали съ тобой цѣлый часъ, ну, оно какъ ни пріятно, а я изъ-за этого не рѣшился прежде, чѣмъ было нужно, оставить умирающую женщину. Левашева, прибавилъ онъ, посылаетъ вамъ свое привѣтствіе, она благословила меня на успѣхъ своей умирающей рукой и дала мнѣ на случай нужды теплую шаль». Привѣтъ умирающей былъ для меня необыкновенно дорогъ. Теплая шаль была очень нужна ночью, и я не успѣлъ ее поблагодарить, ни пожать ей руки..., она вскорѣ скончалась.

К. и А. отправились. К. долженъ былъ ѣхать за заставу съ Natalie, А. воротиться, чтобы сказать мнѣ, все ли успѣшно, и что дѣлать. Я остался ждать съ его милой, прекрасной женой; она сама недавно вышла замужъ; страстная, огненная натура, она принимала самое горячее участіе въ нашемъ дѣлѣ; она старалась съ притворной веселостью увѣрить меня, что все пойдетъ пре-



восходно, а сама была до того снѣдаема безнокойствомъ, что безпрестанно мѣнялась въ лицѣ. Мы съ ней сѣли у окна, разговоръ не шелъ; мы были похожи на дѣтей, посаженныхъ за вину въ пустую комнату. Такъ прошли часа два.

Въ мірѣ нѣтъ ничего разрушительнѣе, невыносимѣе, какъ бездѣйствіе и ожиданіе въ такія минуты. Друзья дѣлають большую ошибку, снимая съ плечъ главнаго *пациента* всю ношу. Выдумать надобно занятія для него, если ихъ нѣтъ, задавить физической работой, разсѣять недосугомъ, хлопотами.

Наконецъ, взомель А., мы бросились къ нему. «Все идетъ чудесно, они при мнѣ усаkali, кричалъ онъ намъ со двора. Ступай сейчасъ за Рогожскую заставу, тамъ у мостика увидишь лошадей недалеко Перова трактира. Съ Богомъ. Да перемѣни на пол-дорогѣ извозчика, чтобъ послѣдній не зналъ, откуда ты».

Я пустился какъ изъ лука стрѣла... Вотъ и мостикъ недалеко отъ Перова; никого нѣтъ, да и по другую сторону мостикъ, и тоже никого нѣтъ. Я доѣхалъ до измайловскаго звѣринца, никого; я отпустилъ извозчика и пошелъ нѣшкомъ. Ходи взадъ и впередъ, я, наконецъ, увидѣлъ на другой дорогѣ какой-то экипажъ; молодой, красивый кучеръ стоялъ возлѣ.

— «Не проѣзжалъ ли здѣсь, спросилъ я его, баринъ высокій въ соломенной шляпѣ и не одинъ—съ барышней?»

— И никого не видалъ, отвѣчалъ нехотя кучеръ.

— «Да ты съ кѣмъ здѣсь?»

— Съ господами.

— «Какъ ихъ зовутъ?»

— А вамъ на что?

— «Экой ты, братецъ, какой, не было бы дѣла, такъ и не спрашивалъ бы».

Кучеръ посмотрѣлъ на меня испытующимъ взглядомъ и улыбнулся, видъ мой, казалось, его лучше расположилъ въ мою пользу.

— Коли дѣло есть, такъ нмѣ сами должны знать, кого вамъ надо?

— «Экой ты кремень какой, ну, надобно мнѣ барина, котораго К. зовутъ».

Кучеръ еще улыбнулся и, указывая пальцемъ на кладбище, сказалъ:

— Вотъ вдали-то, видите, чернѣетъ, это самый онъ и есть, и барышня съ нимъ, шляпки-то не взяли, такъ уже г. К. свою дали, благо соломенная.— И въ этотъ разъ мы встрѣчались на *кладбищѣ*!

... Она съ легкимъ крикомъ бросилась мнѣ на шею. «И навсегда!» сказала она; «навсегда», повторилъ я. К. былъ тронутъ, слезы дрожали на его глазахъ, онъ взялъ наши руки и дрожа-

щимъ голосомъ сказалъ: «Друзья, будьте счастливы!» Мы обняли его. Это было наше *действительное* бракосочетаніе!

Мы были больше часу въ особой комнатѣ Перова трактира, а коляска съ Матвѣемъ еще не пріѣзжала! К. хмурился. Намъ и въ голову не шла возможность несчастья, намъ такъ хорошо было тутъ втроемъ и такъ дома, какъ будто мы и все вмѣстѣ были. Передъ окнами была роща, снизу слышалась музыка и раздавался цыганскій хоръ; день послѣ грозы былъ прекрасный.

Полицейской погони со стороны княгини я не боялся, какъ К.; я зналъ, что она изъ сѣбен не замѣшаетъ квартальнаго въ семейное дѣло. Сверхъ того, она ничего не предпринимала безъ Сенатора, ни Сенаторъ безъ моего отца, отецъ мой никогда не согласился бы на то, чтобъ полиція остановила меня въ Москвѣ или подъ Москвой, т. е. чтобъ меня отправили въ Бобруйскъ или въ Сибирь за нарушение высочайшей воли. Опасность могла только быть со стороны тайной полиціи, но все было сдѣлано такъ быстро, что ей трудно было знать; да если она что-нибудь и провѣдала, то кому же придется въ голову, чтобъ человѣкъ, тайно возвратившійся изъ ссылки, который увозитъ свою невѣсту, спокойно сидѣлъ въ Перовомъ трактирѣ, гдѣ народъ толчется съ утра до ночи.

Явился, наконецъ, и Матвѣй съ коляской. «Еще бокалъ!» командовалъ К., и въ путь. И вотъ мы одни, т. е. вдвоемъ идемъ по владимірской дорогѣ.

Въ Буньковѣ, пока мѣняли лошадей, мы взошли на постоянный дворъ. Старушка хозяйка пришла спросить, не надо ли чего подать, и, добродушно глядя на насъ, сказала: «Какая хозяйонка-то у тебя молоденькая, да пригожая, и оба-то вы, Господь съ вами, парочка». Мы покраснѣли до ушей, не смѣли взглянуть другъ на друга и спросили чаю, чтобъ скрыть смущеніе. На другой день часу въ шестомъ мы пріѣхали во Владиміръ. Время терять было нечего; я бросился, оставивъ у одного стараго семейнаго чиновника невѣсту, узнать, все ли готово. Но кому же было готовить во Владимірѣ?

Вездѣ не безъ добрыхъ людей. Во Владимірѣ стоялъ тогда Сибирскій уланскій полкъ; я мало былъ знакомъ съ офицерами, но, встрѣчаясь довольно часто съ однимъ изъ нихъ въ публичной библіотекѣ, я сталъ съ нимъ кланяться; онъ былъ очень учтивъ и милъ. Съ мѣсяцъ спустя онъ признался мнѣ, что зналъ меня и мою исторію 1834 года, разсказалъ, что онъ самъ изъ студентовъ московскаго университета. Уѣзжая изъ Владиміра и отыскивая, кому поручить разные хлопоты, я подумалъ объ офицерѣ, поѣхалъ къ нему и прямо разсказалъ, въ чемъ дѣло. Онъ,

искренно тронутый моей доверенностью, пожалъ мнѣ руку, все общалъ и все исполнилъ.

Офицеръ ожидалъ меня во всей формѣ, съ бѣлыми отворотами, съ киверомъ безъ чехла, съ ледункой черезъ плечо, со всякими шнурками. Онъ сообщилъ мнѣ, что архіерей разрѣшилъ священнику вѣнчать, но велѣлъ предварительно показать метрическое свидѣтельство. Я отдалъ офицеру свидѣтельство, а самъ отправился къ другому молодому человѣку, тоже изъ московскаго университета. Онъ служилъ свои *два губернскихъ* года, по новому положенію, въ канцеляріи губернатора и пронадалъ отъ скуки.— «Хотите быть шаферомъ?»—У кого?—«У меня».—Какъ у васъ?—«Да, да, у меня».—Очень радъ! Когда?—«Сейчасъ».—Онъ думалъ, что я шучу, но когда я ему наскоро сказалъ, въ чемъ дѣло, онъ вспрыгнулъ отъ радости. Быть шаферомъ на тайной свадьбѣ, хлопотать, можетъ, понасть подъ слѣдствіе, и все это въ маленькомъ городѣ безъ всякихъ разсѣяній... Онъ тотчасъ общалъ достать для меня карету, четверку лошадей и бросился къ комоде смотреть, есть ли чистый бѣлый жилетъ.

Въхавши отъ него, я встрѣтилъ моего улана, онъ везъ на колыскахъ священника. Представьте себѣ нестраго, разнаряженнаго офицера на маленькихъ дрожкахъ съ дорожнымъ пономѣмъ, украшеннымъ большою, расчесанною бородой, въ шелковой рясѣ, которая цѣплялась за все пенужности уланской сбруи. Одна эта сцена могла бы обратить на себя вниманіе не только улицы, идущей отъ владимірекихъ Золотыхъ Воротъ, но и парижскихъ бульваровъ или самой Режентъ-стритъ. А уланъ и не подумалъ объ этомъ, да и я подумалъ уже постѣ. Священникъ ходилъ по домамъ съ молебномъ, это былъ Николинъ день, и мой кавалеристъ на силу гдѣ-то его поймалъ и взялъ въ реквизицію. Мы поѣхали къ архіерею.

Для того, чтобъ понять, въ чемъ дѣло, надобно рассказать, какъ вообще архіерей могъ быть замѣшанъ въ него. За день до моего отъѣзда священникъ, согласившійся вѣнчать, вдругъ объявилъ, что безъ разрѣшенія архіерея онъ вѣнчать не станетъ, что онъ что-то слышалъ, что онъ боится. Сколько мы ни ораторствовали съ уланомъ, священникъ уперся и стоялъ на своемъ. Уланъ предложилъ попробовать ихъ полкового попа. Священникъ этотъ, бритый, стриженный, въ длинномъ, долгополомъ сюртукѣ, въ сапогахъ сверхъ штановъ, смиренно курившій изъ солдатской трубочки, хотя и былъ тронутъ нѣкоторыми подробностями нашего предложенія, но вѣнчать отказался, говоря, и притомъ на какомъ-то польско-бѣлорусскомъ нарѣчій, что имъ строго заказано вѣнчать «*цивильныхъ*».—А намъ еще строже запрещено быть свидѣтелями и шаферами безъ позволенія, замѣтилъ ему офицеръ, а, вѣдь, вотъ я иду же.

— «Иное дѣло, предъ Іезусомъ иное дѣло».

— Смѣлымъ владѣть Богъ, сказалъ я улану, и ѣду сейчасъ къ архіерею. Да кстати, зачѣмъ же вы не спросите позволенія?

— Ненужно. Полковникъ скажетъ женѣ, а та разболтастъ. Да еще, пожалуй, онъ не позволитъ.

Владимірекій архіерей Пароеній былъ умный, суровый и грубый старикъ; распорядительный и своеобразный, онъ равно могъ быть губернаторомъ или генераломъ, да еще я думаю генераломъ онъ былъ бы больше на мѣстѣ, чѣмъ монахомъ; но случилось иначе, и онъ управлялъ своей епархіей, какъ управлялъ бы дивизіей на Кавказѣ. Я въ немъ вообще замѣчалъ гораздо больше свойствъ администратора, чѣмъ живого мертвеца. Онъ, впрочемъ, былъ больше человекъ крутой, чѣмъ злой; какъ все дѣловые люди, онъ понималъ вопросы быстро, рѣзко, и бѣнелся, когда ему толковали вздоръ или не понимали его. Съ такими людьми вообще гораздо легче объясниться, чѣмъ съ людьми мягкими, но слабыми и нерѣшительными. По обыкновенію всѣхъ губернскихъ городовъ, я послѣ пріѣзда во Владиміръ зашелъ разъ послѣ обѣдин къ архіерею. Онъ радушно меня принялъ, благословилъ и потчивалъ сегой; потомъ пригласилъ когда-нибудь пріѣхать посидѣть вечеромъ, потолковать, говоря, что у него слабеютъ глаза и онъ читать по вечерамъ не можетъ. Я былъ раза два-три; онъ говорилъ о литературѣ, зналъ все новыя русскія книги, читалъ журналы; итакъ, мы съ нимъ были какъ нельзя лучше. Тѣмъ не менѣе не безъ страха постучался я въ его архинастырскую дверь.

День былъ жаркій. Преосвященный Пароеній принялъ меня въ саду. Онъ сидѣлъ подъ большой тѣнистой липой, снявъ клобукъ и распутивъ свои сѣдые волосы. Передъ нимъ стоялъ безъ шляпы, на самомъ солнцѣ, статный, плѣшивый протопопъ и читалъ велухъ какую-то бумагу; лицо его было багрово и крупныя капли пота выступали на лбу, онъ щурился отъ ослѣпительной бѣлизны бумаги, освѣщенной солнцемъ,—и ни онъ не смѣлъ пошевелиться, ни архіерей ему не говорилъ, чтобъ онъ отошелъ.

— Садитесь, сказалъ онъ мнѣ, благословляя, мы сейчасъ кончимъ, это наши конспсторскія дѣлишки. Читай, прибавилъ онъ протопопу, и тотъ, обтершись синимъ платкомъ и откашлянувшись сторону, снова принялся за чтеніе.

— Что скажете новаго? спросилъ меня Пароеній, отдавая перо протопопу, который воспользовался сей вѣрной оказіей, чтобъ поцѣловать руку.

Я разсказалъ ему объ отказѣ священника.

— У васъ есть свидѣтельства?

Я показалъ губернаторское разрѣшеніе.

— Только-то?

— «Только». Паросній улыбнулся.

— А со стороны невѣсты?

— «Есть метрическое свидѣтельство, его привезутъ въ день свадьбы».

— Когда свадьба?

— «Черезъ два дня».

— Что же вы нашли домъ?

— «Нѣтъ еще».

— Ну, вотъ видите, сказалъ мнѣ Паросній, кладя палецъ за губу и растягивая себѣ ротъ, зацѣпивши имъ за щеку, одна изъ его любимыхъ игрушекъ. Вы человѣкъ умный и начитанный, ну, а стараго воробья на мякинѣ вамъ не провести. У васъ тутъ что-то неладно; такъ вы, коли уже пожаловали ко мнѣ, лучше разскажите мнѣ ваше дѣло по совѣти, какъ на духу. Ну, я тогда прямо вамъ и скажу, что можно и чего нельзя, во всякомъ случаѣ совѣтъ дамъ не къ худу.

Мнѣ казалось мое дѣло такъ чисто и право, что я разсказалъ ему все, разумѣется, не вступая въ ненужныя подробности. Старикъ слушалъ внимательно и часто смотрѣлъ мнѣ въ глаза. Оказалось, что онъ давнишній знакомый съ княгиней и долею могъ, стало быть, самъ провѣрить истину моего разсказа.

— Понимаю, понимаю, сказалъ онъ, когда я кончилъ. Ну, дайте-ка, я напишу отъ себя письмо къ княгинѣ.

— «Будьте увѣрены, что все мирныя средства ни къ чему не поведутъ: капризы, ожесточеніе, все это зашло слишкомъ далеко. Я вашему преосвященству все разсказалъ такъ, какъ вы желали; теперь я прибавлю: если вы мнѣ откажете въ помощи, я буду принужденъ тайкомъ, воровски, за деньги сдѣлать то, что дѣлаю теперь безъ шума, но прямо и открыто. Могу увѣрить васъ въ одномъ: ни тюрьма, ни новая ссылка меня не остановятъ».

— Видишь, сказалъ Паросній, вставая и потягиваясь, приткой какой, тебѣ все еще мало Пермь-то, не укатили крутыя горы. Что, я развѣ говорю, что запрещаю? Вѣнчайся себѣ, пожалуй, противузаконнаго ничего нѣтъ; но лучше бы было семейно, да кротко. Пришлите-ка ко мнѣ вашего попа, уломаю его какъ-нибудь; ну, только одно помните, безъ документовъ со стороны невѣсты и не пробуйте. Такъ «ни тюрьма, ни ссылка»—ишь какіе нынче, подумаешь, люди стали! Ну, Господь съ вами, въ добрый часъ, а съ княгиней-то вы меня поессорите.

Итакъ, въ нашъ заговоръ, сверхъ улана, вступилъ высокопреосвященный Паросній, архіепископъ владимірскій и суздальскій.

Когда я предварительно просилъ у губернатора дозволеніе, я вовсе не представлялъ моего брака тайнымъ, это было вѣрнѣй-

шее средство, чтобъ никто не говорилъ, и чего же было естественнѣе прїѣзда моей невѣсты во Владиміръ, когда я былъ лишенъ права изъ него выѣхать. Тоже естественно было и то, что въ такомъ случаѣ мы желали вѣнчаться, какъ можно скромнѣе.

Когда мы съ священникомъ прїѣхали 9-мая къ архіерею, намъ послушникъ его объявилъ, что онъ съ утра уѣхалъ въ свой загородный домъ и до ночи не будетъ. Былъ уже восьмой часъ вечера, послѣ десяти вѣнчаться нельзя, слѣдующій день была суббота. Что дѣлать? Священникъ трусилъ. Мы вошли къ іеромонаху, духовнику архіерея; монахъ пилъ чай съ ромомъ и былъ въ самомъ благодушномъ настроеніи. Я разсказалъ ему дѣло, онъ мнѣ палилъ чашку чая и настоятельно требовалъ, чтобъ я прибавилъ рому; потомъ онъ вынулъ огромныя серебряныя очки, прочиталъ свидѣтельство, повернулъ его, посмотрѣлъ съ той стороны, гдѣ ничего не было написано, сложилъ и, отдавая священнику, сказалъ: «Въ несовершеннѣйшемъ порядкѣ». Священникъ все еще мялся. Я говорилъ отцу іеромонаху, что если я сегодня не обвѣнчаюсь, мнѣ будетъ страшное разстройство. «Что откладывать, сказалъ іеромонахъ, я доложу преосвященнѣйшему; повѣнчайте, отецъ Іоаннъ, повѣнчайте—во имя Отца и Сына и Святого Духа—аминь!» Мнѣ нечего было говорить, онъ поѣхалъ писать обыскъ, я поспекалъ за Natalie.

... Когда мы выѣзжали изъ Золотыхъ Воротъ вдвоемъ, безъ чужихъ, солнце, до тѣхъ поръ закрытое облаками, ослѣпительно освѣтило насъ послѣдними, ярко-красными лучами, да такъ торжественно и радостно, что мы сказали въ одно слово: вотъ наши провожатые! Я помню ея улыбку при этихъ словахъ и пожатіе руки.

Маленькая ямская церковь, верстахъ въ трехъ отъ города, была пуста, не было ни пѣвчихъ, ни зажженныхъ паникадилъ. Человѣкъ пять простыхъ улановъ вошли мимоходомъ и вышли. Старый дьячекъ пѣлъ тихимъ и слабымъ голосомъ, Матвѣй со слезами радости смотрѣлъ на насъ, молодые шафера стояли за нами съ тяжелыми вѣнцами, которыми перевѣнчали всѣхъ владимірекихъ ямщиковъ. Дьячокъ подавалъ дрожащей рукой серебряный ковчегъ единенія..., въ церкви становилось темно, только нѣсколько мѣстныхъ свѣчъ горѣло. Все это было или казалось намъ необыкновенно изящно, именно своей простотой. Архіерей проѣхалъ мимо и, увидя отворенныя двери въ церкви, остановился и послалъ спросить, что дѣлается; священникъ, нѣсколько поблѣднѣвшій, самъ вышелъ къ нему и черезъ минуту возвратился съ веселымъ видомъ и сказалъ намъ: «Высокопреосвященнѣйшій посылаетъ вамъ свое архиепископское благословеніе и велѣлъ сказать, что онъ молится о васъ».



Когда мы ѣхали домой, вѣсть о таинственномъ бракѣ разнеслась по городу, дамы ждали на балконахъ, окна были открыты; и опустили стекла въ каретѣ и нѣсколько досадовали, что сумерки мѣшали мнѣ показать «молодую».

Дома мы вышли съ шаферами и Матвѣемъ двѣ бутылки вина, шаферы поѣхали минутъ двадцать и мы остались одни, и намъ опять, какъ въ Перовѣ, это казалось такъ естественно, такъ просто, само собою понятно, что мы совсѣмъ не удивлялись, а потомъ мѣсяцы цѣлые не могли надивиться тому же.

У насъ было три комнаты, мы сѣли въ гостиной за небольшимъ столомъ и, забывая усталъ послѣднихъ дней, проговорили часть ночи...

Толпа чужихъ на брачномъ ширѣ мнѣ всегда казалась чѣмъ-то грубымъ, неприличнымъ, почти циническимъ; къ чему это преждевременное снятіе покрывала съ любви, это посвященіе людей постороннихъ, хладнокровныхъ въ семейную тайну. Какъ должны оскорблять бѣдную дѣвушку, выставленную всенародно въ качествѣ *невесты*, все эти битыя привѣтствія, тортъ, пошлости, тѣны намеки...; ни одно деликатное чувство не пощажено, роскошь брачнаго ложа, прелесть ночной одежды выставлены не только на удивленіе гостямъ, но всемъ празднующимся. А потомъ, первые дни начинающейся новой жизни, въ которыхъ дорога каждая минута, въ которые слѣдовало бы бѣжать куда-нибудь въ даль, въ уединеніе, проводится за безконечными объѣдами, за утомительными балами, въ толпѣ, точно на смѣхъ.

На другой день утромъ мы нашли въ залѣ два куста розъ и огромный букетъ. Милая, добрая Юлія Федоровна (жена губернатора), принимавшая горячее участіе въ нашемъ романѣ, прислала ихъ. Я обнялъ и расцѣловалъ губернаторскаго лакея и потомъ мы поѣхали къ ней самой. Такъ какъ приданое «молодой» состояло изъ двухъ платьевъ, одного дорожнаго и другого вѣнчальнаго, то она и отправилась въ вѣнчальномъ.

Отъ Юліи Федоровны мы заѣхали къ архіерею; старикъ самъ повелъ насъ въ садъ, самъ нарѣзалъ букетъ цвѣтовъ, разсказалъ Natalie, какъ я его страдалъ своей собственной гибелью, и въ заключеніе совѣтовалъ заниматься хозяйствомъ. «Умѣете ли вы солить огурцы?» спросилъ онъ Natalie. «Умѣю», отвѣчала она, смѣясь.—«Охъ, плохо вѣрится. А, вѣдь, это необходимо».

Вечеромъ я написалъ письмо къ моему отцу. Я просилъ его не сердиться на конченное дѣло и, «такъ какъ Богъ соединилъ насъ», простить меня и присовокупить свое благословеніе. Отецъ мой обыкновенно писалъ мнѣ нѣсколько строкъ разъ въ недѣлю, онъ не ускорилъ ни однимъ днемъ отвѣта и не отдалилъ его, даже начало письма было какъ всегда: «Письмо твое, отъ 10 мая,

и третьего дня въ пять часовъ съ половиною получилъ и изъ него не безъ огорченія узнать, что Богъ тебя соединилъ съ Натаней. Я волѣ Божіей ни въ чемъ не перечу и слѣпо покоряюсь искушеніямъ, которыя онъ ниспосылаетъ на меня. Но такъ какъ деньги мои, а ты не считаешь нужнымъ сообразоваться съ моею волей, то и объявляю тебѣ, что я къ твоему прежнему окладу, тысячь рублей серебромъ въ годъ, не прибавлю ни копейки».

Какъ мы смѣялись отъ чистаго сердца этому раздѣлу духовной и свѣтской власти!

А куда какъ надобно было прибавить! Деньги, которыя я за пять, выходили. У насъ не было ничего, да, вѣдь, рѣшительно ничего, ни одежды, ни бѣлья, ни посуды. Мы сидѣли подъ арестомъ въ маленькой квартирѣ, потому что не въ чемъ было выйти. Матвѣй, изъ экономическихъ видовъ, сдѣлалъ отчаянный опытъ превратиться въ повара, но кромѣ бифштекса и котлетъ онъ не умѣлъ ничего дѣлать и потому держался больше вещей по натурѣ готовыхъ: ветчины, соленой рыбы, молока, яицъ, сыру и какихъ-то пряниковъ съ мятой, необычайно твердыхъ и не первой молодости. Обѣдъ былъ для насъ безконечнымъ источникомъ смѣха: иногда молоко подавалось сначала, это значило супъ; иногда послѣ всего, вмѣсто десерта. За этими спартацкими трапезами мы веноминали, улыбаясь, длинную процессію священнодѣйствій обѣденнаго стола у княгини и у моего отца, гдѣ полдюжина официантовъ бѣгали изъ угла въ уголъ съ чашками и блюдами, прикрывая торжественной *mise en scène* въ сущности очень незатѣйливый обѣдъ.

Такъ бѣдствовали мы и пробивались съ годъ времени. Хипмикъ прислалъ десять тысячъ асс., изъ нихъ больше шести надобно было отдать долгу, остальные сдѣлали большую помощь. Наконецъ, и отцу моему надоѣло брать насъ, какъ крѣпость, голодомъ, онъ, не прибавляя къ окладу, сталъ присылать денежные подарки, несмотря на то, что я ни разу не запнулся о деньгахъ послѣ его знаменитаго *distinguo*!

Я принялся искать другую квартиру. За Лыбедью отдавался въ наймы запущенный, большой барскій домъ съ садомъ. Онъ принадлежалъ вдовѣ какого-то князя, проигравшагося въ карты, и отдавался особенно дешево оттого, что былъ далекъ, неудобенъ, а главное оттого, что княгиня выговаривала небольшую часть его, ничѣмъ неотдѣленную, для своего сына, баловня лѣтъ тридцати, и для его прислуги. Никто не соглашался на это черезполосное владѣніе; я тотчасъ согласился, меня прельстила вышина комнатъ, размѣръ оконъ и большой тѣнистый садъ. Но именно эта вышина и эти размѣры пресмѣшно противорѣчили совершенному отсутствію всякой движимой собственности, всѣхъ

вещей первой необходимости. Ключница княгини, добрая старушка, очень равнодушная къ Матвѣю, снабжала насъ на свой страхъ то скатертью, то чашками, то простынями, то вилками и ножами.

Какіе свѣтлые и безмятежные дни проводили мы въ маленькой квартирѣ въ три комнаты у Золотыхъ Воротъ и въ огромномъ домѣ княгини!.. Въ немъ была большая зала, едва меблированная; иногда насъ брало такое ребячество, что мы бѣгали по ней, прыгали по стульямъ, зажигали свѣчи во всѣхъ канделябрахъ, прибитыхъ къ стѣнѣ и, освѣтивъ залу а *giorno*, читали стихи. Матвѣй и горничная, молодая гречанка, участвовали во всемъ и дурачились не меньше насъ. Порядокъ «не торжествовалъ» въ нашемъ домѣ.

И со всѣмъ этимъ ребячествомъ, жизнь наша была полна глубокой серьезности. Заброшенные въ маленькомъ городкѣ, тихомъ и мирномъ, мы вполне были отданы другъ другу. Изрѣдка приходила вѣсть о комъ-нибудь изъ друзей, нѣсколько словъ горячей симипатіи, и потомъ опять одни, совершенно одни. Но въ этомъ одиночествѣ грудь наша не была замкнута счастьемъ, а, напротивъ, была больше чѣмъ когда-либо раскрыта всѣмъ интересамъ; мы много жили тогда и во всѣ стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы свѣряли наши думы и мечты и съ удивленіемъ видѣли, какъ безконечно шло наше сочувствіе, какъ во всѣхъ тончайшихъ, пропадающихъ изгибахъ и развѣтвленіяхъ чувствъ и мыслей, вкусовъ и антипатій, все было родное, созвучное. Только въ томъ и была разница, что Natalie вносила въ нашъ союзъ элементъ тихій, кроткій, граціозный, элементъ молодой дѣвушки со всей поэзіей любящей женщины, а я — живую дѣятельность, мое *sempre in motu*, безпредѣльную любовь, да сверхъ того путаницу серьезныхъ идей, смѣха, *опасныхъ* мыслей и кучу несбыточныхъ проектовъ.

... «Мои желанія остановились. Мнѣ было довольно, я жилъ въ настоящемъ, ничего не ждалъ отъ завтрашняго дня, беззаботно вѣрилъ, что онъ и не возьметъ ничего. Личная жизнь не могла больше дать, это былъ предѣлъ; всякое измѣненіе должно было съ какой-нибудь стороны уменьшить его <sup>1)</sup>».

«Весною пріѣхалъ Огаревъ изъ своей ссылки на нѣсколько дней. Онъ былъ тогда во всей силѣ своего развитія; вскорѣ приходилось и ему пройти скорбнымъ испытаніемъ; минутами онъ

---

<sup>1)</sup> Здѣсь пропущены слѣдующія строки, напечатанныя въ «Пол. Зв.», Т. I, стр. 79: Но судьба не знаетъ ни въ чемъ мѣры: «Несчастія, говоритъ Гамлетъ, не ходятъ одни, а толпою», и счастье точно такъ же.

будто чувствовалъ, что бѣда возлѣ, но еще могъ отворачиваться и принимать за мечту занесенную руку судьбы. Я и самъ думалъ тогда, что эти тучи разнесутся; беззаботность свойственна всему молодому и не лишенному силъ, въ ней выражается довѣріе къ жизни, къ себѣ. Чувство полного обладанія своей судьбой усиливаетъ насъ..., а темныя силы, а черныя люди влекутъ, не говоря ни слова, на край пропасти.

«И хорошо, что человекъ или не подозреваетъ, или умѣетъ не видать, забыть. Полнаго счастья нѣтъ съ тревогой; полное счастье покойно, какъ море во время лѣтней тишины. Тревога даетъ свое болѣзненное, лихорадочное упоеніе, которое правится, какъ ожиданіе карты, но это далеко отъ чувства гармоническаго безконечнаго мира. А потому, сонъ или нѣтъ, но я ужасно высоко цѣню это довѣріе къ жизни, пока жизнь не возразила на него, не разбудила... Мрутъ же китайцы изъ-за грубаго упоенія опіумомъ...» <sup>1)</sup>.

Такъ оканчивалъ я эту главу въ 1853 году, такъ окончу ее и теперь.

## ГЛАВА XXIV.

13 іюня 1839 года.

Разъ длиннымъ, зимнимъ вечеромъ въ концѣ 1838 сидѣли мы, какъ всегда, одни, читали и не читали, говорили и молчали и молча продолжали говорить. На дворѣ сильно морозило и въ комнатѣ было совѣтъ не тепло. Наташа чувствовала себя нездоровой и лежала на диванѣ, покрывшись мантилей, я сидѣлъ возлѣ на полу; чтеніе не налаживалось, она была разсѣянна, думала о другомъ, ее что-то занимало, она мѣнялась въ лицѣ. «Александръ, сказала она, у меня есть тайна, поди сюда поближе, я тебѣ скажу на ухо, или нѣтъ, отгадай». Я отгадалъ, но потребовалъ, чтобъ она сказала ее, мнѣ хотѣлось слышать отъ нея эту

---

<sup>1)</sup> Здѣсь пропущены слѣдующія строки, напечатанныя въ «Пол. Звѣздѣ»: Тріо наше представляло удивительное созвучіе. Тутъ нигдѣ не было границъ, предѣловъ, тѣхъ незамѣтныхъ противорѣчій, которыя въ сущности указываютъ на рубежъ и говорятъ «не далѣе». Мы были вполне соединены и вполне свободны . . . . .

Тутъ оканчивается лирическій отдѣлъ нашей жизни. Далѣе трудъ, успѣхи, встрѣчи, дѣятельность, широкій кругъ, далекій путь, инныя мѣста, переломы, исторія... Далѣе дѣти, заботы, борьба... еще далѣе все гибнетъ... Съ одной стороны, могила, съ другой, одиночество и чужбина!

новость; она *сказали* *миѣ*, и мы взглянули другъ на друга въ какомъ-то волненіи и со слезами на глазахъ.

...Какъ человѣческая грудь богата на ощущеніе счастья, на радость, лишь бы люди умѣли имъ отдаваться, не развлекаясь пустяками. Настоящему мѣшается обыкновенно виѣшняя тревога, пустыя заботы, раздражительная строптивость, весь этотъ соръ, который къ полудню жизни наноситъ суета суетствъ и глупое устройство нашего обихода. Мы тратимъ, пропускаемъ сквозь пальцы лучшія минуты, какъ будто ихъ и не вѣсть сколько въ запасѣ. Мы обыкновенно думаемъ о завтрашнемъ дѣѣ, о будущемъ годѣ, въ то время, какъ надобно обѣими руками уцѣпиться за чашу, налитую черезъ край, которую протягиваетъ сама жизнь, не прошенная, съ обычной щедростью своей, и пить, и пить, пока чаша не перешла въ другія руки. Природа долго потчевать и предлагать не любитъ.

Что, кажется, можно было бы прибавить къ нашему счастью, а между тѣмъ вѣсть о будущемъ младенцѣ раскрыла новыя, совѣмъ невѣданныя нами области сердца, упоеній, тревогъ и надеждъ.

Нѣсколько испуганная и встревоженная любовь становится пѣжнѣе, заботливѣе ухаживаетъ, изъ эгоизма двухъ, она дѣлается не только эгоизмомъ трехъ, но самоотверженіемъ двухъ для третьяго; семья начинается съ дѣтей. Новый элементъ вступаетъ въ жизнь, какое-то таинственное лицо стучится въ нее, гость, который есть и котораго нѣтъ, но который уже необходимъ, котораго страстно ждутъ. Кто онъ? Никто не знаетъ, но кто бы онъ ни былъ, онъ счастливый незнакомецъ, съ какой любовью его встрѣчаютъ у порога жизни!

А тутъ мучительное безпокойство: родится ли онъ живымъ, или нѣтъ? Столько несчастныхъ случаевъ. Докторъ улыбается на вопросы: «онъ ничего не смыслитъ или не хочетъ говорить»; отъ постороннихъ все еще скрыто; не у кого спросить, да и совѣстно.

Но вотъ младенецъ подаетъ знаки жизни, я не знаю выше и религіознѣе чувства, какъ то, которое наполняетъ душу при осознаніи первыхъ движеній будущей жизни, рвущейся наружу, направляющей свои не готовые мышцы; это первое рукоположеніе, которымъ отецъ благословляетъ на бытіе грядущаго пришельца и уступаетъ ему долю своей жизни.

«Моя жена, сказалъ миѣ разъ одинъ французскій буржуа, моя жена—онъ осмотрѣлся, и видя, что ни дамъ, ни дѣтей нѣтъ, прибавилъ въ полслуха—беременна».

Дѣйствительно, путаница всѣхъ нравственныхъ понятій такова, что беременность считается чѣмъ-то неприличнымъ; требуя

отъ человѣка безусловнаго уваженія къ матери, какова бы она ни была, завѣшиваютъ тайну рожденія не изъ чувства уваженія, внутренней скромности, а изъ приличія. Все это идеальное распутство, монашескій развратъ, проклятое закланіе плоти; все это несчастный дуализмъ, въ которомъ насъ тянутъ, какъ магдебургскія полушарія, въ двѣ разныя стороны. Жанъ Деруанъ, несмотря на свой социализмъ, намекаетъ въ *Almanach des femmes*, что со временемъ дѣти будутъ родиться иначе. Какъ иначе?—Такъ, какъ ангелы родятся.—Ну, оно и ясно.

Честь и слава нашему учителю, старому реалисту Гёте, онъ осмѣлился рядомъ съ непорочными дѣвами романтизма поставить беременную женщину и не побоялся своими могучими стихами изваять измѣнившуюся форму *будущей* матери, сравнивая ее съ гибкими членами будущей женщины.

Дѣйствительно, женщина, несущая вмѣстѣ съ памятью былого уношенія весь крестъ любви, все бремя ея, жертвующая красотой, временемъ, страданіемъ, питающая своею грудью, — одинъ изъ самыхъ изящныхъ и трогательныхъ образовъ.

Въ римскихъ элегіяхъ, въ Ткачихѣ, въ Гретхенъ и ея отчаянной молитвѣ, Гёте выразилъ все торжественное, чѣмъ природа окружаетъ созрѣвающий плодъ, и все терпѣніе, которыми вѣнчается общество этотъ сосудъ будущаго.

Бѣдныя матери, скрывающія, какъ позоръ, слѣды любви, какъ грубо и безжалостно гонятъ ихъ міръ, и гонятъ въ то время, когда женщины такъ нужны покой и привѣтъ, дико отравляя ей тѣ незамѣнимыя минуты полноты, въ которыя жизнь, слабѣя, склоняется подлѣ избыткомъ счастья...

...Съ ужасомъ открывается мало-по-малу тайна, несчастная мать сперва старается убѣдиться, что ей только показалось, но вскорѣ сомнѣніе невозможно; отчаяніемъ и слезами сопровождаетъ она всякое движеніе младенца, она хотѣла бы остановить тайную работу жизни, вести ее назадъ, она ждетъ несчастья, какъ милосердія, какъ прощенія,—а неотвратимая природа идетъ своимъ путемъ; она здорова, молода!

Заставить, чтобъ мать *желала* смерти своего ребенка, а иногда и больше, сдѣлать изъ нея его палача, а потомъ ее казнить нашимъ палачемъ, или покрыть ее позоромъ, если сердце женщины возьметъ верхъ,—какое умное и нравственное устройство!

И кто взвѣсилъ, кто подумалъ о томъ, что и что было въ этомъ сердцѣ, пока мать переходила страшную тропу отъ любви до страха, отъ страха до отчаянія, отъ отчаянія до преступленія, до безумія, потому что дѣтоубійство есть физиологическая нелѣпость. Вѣдь, были же и у нея минуты забвенія, въ которыя она страстно любила своего будущаго малютку, и тѣмъ больше, что



его существованіе была тайна между ними двумя; было же время, въ которое она мечтала объ его маленькой пожкѣ, объ его молочной улыбкѣ, цѣловала его во снѣ, находила въ немъ сходство съ кѣмъ-то, который былъ ей такъ дорогъ...

«Да чувствуютъ ли онѣ это? Конечно, есть несчастныя жертвы... но... но другія, но вообще?»

Мудрено, кажется, пасть далѣе этихъ летучихъ мышей, шныряющихъ въ ночное время, середѣ тумана и слякоти, по лондонскимъ улицамъ, этихъ жертвъ неразвитія, бѣдности и голода, которыми общество обороняетъ честныхъ женщинъ отъ излишней страстности ихъ поклонниковъ... Конечно, въ нихъ всего труднѣе предположить слѣдъ материнскихъ чувствъ. Не правда ли?

Позвольте же мнѣ разсказать вамъ небольшое происшествіе, случившееся со мною. Года три тому назадъ я встрѣтился съ одной красной и молодой дѣвушкой. Она принадлежала къ почетному гражданству разврата, т. е. не «дѣлала» демократически «тротуаръ», а буржуазно жила на содержаніи у какого-то купца. Это было на публичномъ балѣ; пріятель, бывший со мною, зналъ ее и пригласилъ выйти съ нами на хорахъ бутылку вина, она, разумѣется, приняла приглашеніе. Это было существо веселое, беззаботное и навѣрное, какъ Лаура въ «Каменномъ гостѣ» Пушкина, никогда не заботившаяся о томъ, что тамъ, гдѣ-то далеко, въ Парижѣ, холодно, слушая, какъ сторожъ въ Мадридѣ кричитъ «ясно»... Допивши послѣдній бокалъ, она снова бросилась въ тяжелый вихрь англійскихъ танцевъ, и я потерялъ ее изъ виду.

Нынѣшней зимой, въ ненастный вечеръ, я пробирался черезъ улицу подъ аркаду въ Цель-Мель, спасаясь отъ усилившагося дождя; подъ фонаремъ за аркой стояла, вѣроятно ожидая добычи и дрожа отъ холода, бѣдно одѣтая женщина. Черты ея показались мнѣ знакомыми, она взглянула на меня, отвернулась и хотѣла спрятаться, но я успѣлъ узнать ее.—«Что съ вами сдѣлалось?» спросилъ я ее съ участіемъ. Яркій пурпуръ покрывалъ ее нехудалыя щеки, стыдъ ли это былъ, или чахотка, не знаю, только казалось не румяны; она въ два года съ половиной состарѣлась на десять.

— Я была долго больна и очень несчастна; она съ видомъ спѣшной горести указала мнѣ взглядомъ на свое изношенное платье.

— «Да гдѣ же вашъ другъ?»

— Убитъ въ Крыму.

— «Да, вѣдь, онъ былъ какой-то купецъ?»

Она смѣшалась и вмѣсто отвѣта сказала: — Я и теперь еще очень больна, да къ тому же работы совѣтъ нѣтъ. А что? я очень перемѣнилась? спросила она, вдругъ съ смущеніемъ глядя на меня.

— «Очень; тогда вы были похожи на дѣвочку, а теперь я готовъ держать пари, что у васъ есть свои дѣти».

Она побагровѣла, и съ какимъ-то ужасомъ спросила:—Отчего же вы это узнали?

— «Да, видите, узналъ. Теперь расскажите-ка мнѣ, что съ вами въ самомъ дѣлѣ было?»

— Ничего, ну, только вы правы, у меня есть маленькой.. Если-бъ вы знали—и при этихъ словахъ лицо ея оживилось—какой славный, какъ онъ хорошъ, даже сосѣди, все удивляются ему. А тотъ-то женился на богатой и уѣхалъ на материкъ. Малютка родилась послѣ. Опъ-то и причина моему положенію. Сначала были деньги, я всего накупила ему въ самыхъ большихъ магазинахъ, а тутъ пошло хуже да хуже, я все снесла «на крючекъ»; мнѣ совѣтовали отдать малютку въ деревню, оно точно было бы лучше,—да не могу; я посмотрю на него, посмотрю,—вѣтъ, лучше вмѣстѣ умирать; хотѣла мѣста искать, съ ребенкомъ не берутъ. И воротилась къ матери, она ничего, добрая, простила меня, любить маленькаго, ласкаетъ его, да вотъ пятый мѣсяцъ, какъ отнялись ноги; что доктору переплатили и въ аптеку, а тутъ, сами знаете, нынѣшній годъ уголь, хлѣбъ, все дорого; приходится умирать съ голоду. Вотъ я—она приостановилась,—вѣдь, конечно, лучше-бъ броситься въ Темзу, чѣмъ... да малютку-то жаль, на кого же я его оставляю, вѣдь, ужъ онъ очень, очень милъ!

И далъ ей что-то и, сверхъ того, вынулъ шиллингъ и сказалъ:

— «А на это купите что-нибудь вашему малюткѣ». Она съ радостью взяла монету, подержала ее въ рукѣ и вдругъ, отдавая мнѣ ее назадъ, прибавила съ печальной улыбкой:

— Ужъ если вы такъ добры, купите ему тутъ гдѣ-нибудь въ лавкѣ сами что-нибудь, игрушку какую-нибудь; вѣдь, этому бѣдному малюткѣ, съ тѣхъ поръ какъ онъ родился, никто еще не подарилъ ничего.

И съ умиленіемъ взглянулъ на эту *потерянную* женщину и дружески пожалъ ей руку.

Охотники до реабилитаціи всѣхъ этихъ дамъ съ камеліями и съ жемчугами лучше бы сдѣлали, если-бъ оставили въ покоѣ бархатныя мебели и будуары рококо и взглянули бы поближе на несчастный, зябнуцій, голодный развратъ, развратъ роковой, который насильно влечетъ свою жертву по пути гибели и не дастъ ни опомниться, ни раскаяться. Ветошники чаще въ уличныхъ канавахъ находятъ драгоценные камни, чѣмъ подбирая блестящіе мишурнаго платья.

Это мнѣ напомнило бѣднаго, умнаго переводчика Фауста, Жераръ-де-Нерваля, который застрѣлился въ прошломъ году. Онъ въ послѣднее время, дней по пяти, по шести не бывалъ дома.

Открыли, наконецъ, что онъ проводитъ время въ самыхъ черныхъ харчевняхъ возлѣ заставъ, въ родѣ Поль Нике, что онъ тамъ перезнакомился съ ворами и со всякой сволочью, поитъ ихъ, играетъ съ ними въ карты и иногда спитъ подъ ихъ защитой. Его прежніе пріятели стали его уговаривать, стыдить. Нерваль добродушно защищаясь, разъ сказалъ имъ: «Послушайте, друзья мои, у васъ страшные предрасудки; увѣрю васъ, что общество этихъ людей вовсе не хуже всѣхъ остальныхъ, въ которыхъ я бывалъ». Его подозрѣвали въ сумасшествіи; послѣ этого, я думаю, подозрѣніе перешло въ достовѣрность!

...Роковой день приближался, все становилось страшнѣе и страшнѣе. Я смотрѣлъ на доктора и на таинственное лицо бабушки съ подобострастіемъ. Ни Наташа, ни я, ни наша молодая горничная не смыслили ничего; по счастью, къ намъ изъ Москвы пріѣхала, по просьбѣ моего отца, на это время одна пожилая дама, умная, практическая и распорядительная. Прасковья Андреевна, видя нашу безпомощность, взяла самодержавно бразды правленія; я повиновался, какъ негръ.

Разъ ночью слышу, чья-то рука коснулась меня, открываю глаза, Прасковья Андреевна стоитъ передо мной, въ ночномъ чепцѣ и кофтѣ, со свѣчей въ рукахъ, она велитъ послать за докторомъ и за бабушкой. Я обмеръ, точно будто эта новость была для меня совсѣмъ неожиданна. Такъ бы, кажется, вышилъ опиума, повернулся бы на другой бокъ и просналъ бы опасность..., но дѣлать было нечего, я одѣлся дрожащими руками и бросился будить Матвѣя.

Десять разъ выбѣгалъ я въ сѣни изъ спальни, чтобъ прислушаться, не ѣдетъ ли издали экипажъ: все было тихо, едва-едва утренній вѣтеръ шелестилъ въ саду, въ тепломъ июньскомъ воздухѣ; птицы начинали пѣть, алая заря слегка подкрашивала листья, и я снова торопился въ спальню, теребилъ добрую Прасковью Андреевну глупыми вопросами, судорожно жаль руки Наташѣ, не зная, что дѣлать, дрожалъ и былъ въ жару..., но вотъ дрожки простучали по мосту черезъ Лыбедь, — слава Богу во время!

Въ одиннадцать часовъ утра я вздрогнулъ какъ отъ сильнаго электрическаго удара, громкій крикъ новорожденного коснулся моего уха. «Мальчикъ!» кричала мнѣ Прасковья Андреевна, идучи къ корыту; я хотѣлъ было взять младенца съ подушки, но не могъ, такъ дрожали у меня руки. Мысль объ опасности (которая часто тутъ только начинается), сжимавшая грудь, разомъ исчезла, буйная радость овладѣла сердцемъ, будто въ немъ звонъ всего колокола, праздниковъ праздникъ! Наташа улыбалась мнѣ, улыбалась малюткѣ, плакала, смѣялась, и только перерывающееся,

спазмотическое дыханье, слабые глаза и смертная блѣдность напоминали о недавнемъ мученіи, о вынесенной борьбѣ.

Потомъ я оставилъ комнату, я не могъ больше вынести, взошелъ къ себѣ и бросился на диванъ, совершенно обезсиленный, и съ полчаса пролежалъ безъ опредѣленной мысли, безъ опредѣленного чувства, въ какой-то боли счастья.

Это измученно-восторженное лицо, эту радость, летающую вмѣстѣ съ началомъ смерти около юнаго чела родильницы, я узналъ потомъ въ Ванъ-Дейковой мадоннѣ въ Римской галлерей Коренни. Младенецъ только-что родился, его подносятъ къ матери: изнеможенная, безъ кровинки въ лицѣ, слабая и томная, она улыбулась и остановила на малюткѣ взглядъ усталый и исполненный безконечной любви.

Когда я писалъ эту часть *Былого и Думъ*, у меня не было нашей прежней перенески. Я ее получилъ въ 1856 году. Мнѣ пришлось, перечитывая ее, поправить два, три мѣста—не больше. Память тутъ мнѣ не измѣнила. Хотѣлось бы мнѣ приложить нѣсколько писемъ Natalie, и съ тѣмъ вмѣстѣ какой-то страхъ останавливаетъ меня и я не рѣшилъ вопросъ, слѣдуетъ ли еще дальше разоблачать жизнь и не встрѣтитъ ли строки, дорогія мнѣ, холодную улыбку?

Въ бумагахъ Natalie я нашелъ свои записки, писанныя долею до тюрьмы, долею изъ Крутицъ. Нѣсколько изъ нихъ я прилагаю къ этой части. Можетъ, онѣ не покажутся лишними для людей, любящихъ слѣдить за вехами личныхъ судебъ, можетъ, они прочтутъ ихъ съ тѣмъ первымъ любопытствомъ, съ которымъ мы смотримъ въ микроскопъ на живое развитіе организма.

1 <sup>1</sup>).

15 августа, 1832.

Любезная Наталья Александровна!

Сегодня день вашего рожденія, съ величайшимъ желаніемъ хотѣлось бы мнѣ поздравить васъ лично, но ей-Богу, нѣтъ никакой возможности. Я виноватъ, что давно не былъ, но обстоятельства совершенно не позволили мнѣ по желанію расположить временемъ. Надѣюсь, что вы простите мнѣ и желаю вамъ полного развитія всѣхъ вашихъ талантовъ и всего запаса счастья, которымъ надѣляется судьба души чистой.

Преданный вамъ А. Г.

<sup>1</sup>) Записочки эти сохранились у Natalie, на многихъ написано ею нѣсколько словъ карандашемъ. Ни одного письма изъ писанныхъ ею въ тюрьму не могло у меня уцѣлѣть. Я ихъ долженъ былъ тотчасъ уничтожать.

2.

5 или 6 июля, 1833.

Напрасно, Наталья Александровна, напрасно вы думаете, что я ограничусь однимъ письмомъ, — вотъ вамъ и другое. Чрезвычайно пріятно писать къ особамъ, съ которыми есть сочувствіе, ихъ такъ мало, такъ мало, что и дести бумаги не изведешь въ годъ.

Я кандидатъ; это правда, но золотую медаль дали не мнѣ. Мнѣ серебряная медаль—*одна изъ трехъ!*

А. Г.

Р. S. Сегодня актъ, но я не былъ, ибо не хочу быть вторымъ при полученіи награды.

3.

(Въ началѣ 1834).

Natalie! Мы ждемъ васъ съ нетерпѣніемъ къ намъ. М. надеется, что, несмотря на вчерашнія угрозы Е. И., и Эмилиа Михайловна навѣрное будетъ къ намъ. Итакъ, до свиданья.

Весь вашъ А. Г.

4.

10 декабря, 1834, Крутицкія казармы.

Сейчасъ написалъ я къ полковнику письмо, въ которомъ просилъ о пропускѣ *тебѣ*, отвѣта еще нѣтъ. У васъ это труднѣе будетъ обдѣлать, я полагаюсь на маменьку. Тебѣ счастье насчетъ меня, ты была послѣдній изъ моихъ друзей, котораго я видѣлъ передъ взятіемъ (мы разстались съ твердой надеждой увидѣться скоро, въ десятомъ часу, а въ два я уже сидѣлъ въ части) и ты первая опять меня увидишь. Зная тебя, я знаю, что это доставитъ тебѣ удовольствіе, будь увѣрена, что и мнѣ также. Ты для меня родная сестра.

О себѣ много мнѣ нечего говорить, я обжился, привыкъ быть колодникомъ; самое грозное для меня это разлука съ Огаревымъ, онъ мнѣ необходимъ. Я его ни разу не видалъ — то есть порядочно; но однажды я сидѣлъ одинъ въ горницѣ (въ комисіи), допросъ кончился, изъ моего окна видны были освѣщенные сѣни; подали дрожки, я бросился инстинктивно къ окну, отворилъ форточку и видѣлъ, какъ сѣли плацъ-адъютантъ и съ нимъ Огаревъ, дрожки укатились и ему нельзя было меня замѣтить. Неужели намъ суждена гибель, нѣмая, глухая, о которой никто не узнаетъ? Зачѣмъ же природа дала намъ души, стремящіяся къ дѣятельности, къ славѣ? Неужели это насмѣшка? Но нѣтъ, здѣсь,

въ душѣ горитъ вѣра—сплыная, живая. Есть Провидѣніе! Я читаю съ восторгомъ Четь-Миней,—вотъ примѣры самоотверженія, вотъ были люди!

Отвѣтъ получить, онъ не веселъ: позволеніе пропустить не даютъ.

Прощай, помни и люби твоего брата.

5.

31 декабря, 1834.

Никогда не возьму я на себя той отвѣтственности, которую ты мнѣ дашь, никогда! У тебя есть много *своего*, зачѣмъ же ты такъ отдаешься въ волю мою? Я хочу, чтобъ ты сдѣлала *изъ себя то, что можешь изъ себя сдѣлать*, съ своей стороны, я берусь способствовать этому развитію, отнимать преграды.

Что касается до твоего положенія, оно не такъ дурно для твоего развитія, какъ ты воображаешь. Ты имѣешь большой шагъ надъ многими; ты, когда начала понимать себя, очутилась одна, одна во всемъ свѣтѣ. Другіе знали любовь отца и нѣжность матери,—у тебя ихъ не было. Никто не хотѣлъ тобою заняться, ты была оставлена себѣ. Что же можетъ быть лучше для развитія? Благодарю судьбу, что тобою никто не занимался, они тебѣ навѣили бы чужаго, они согнули бы ребяческую душу,—теперь это поздно.

6.

8 февраля, 1835, Крутицкія казармы.

У тебя, говорятъ, мысль идти въ монастырь; не жди отъ меня улыбки при этой мысли, я понимаю ее, но ее надобно взвѣсить очень и очень. Неужели мысль любви не волновала твою грудь! Монастырь—отчаяніе, теперь нѣтъ монастырей для молитвы. Развѣ ты сомнѣваешься, что встрѣтишь человѣка, который тебя будетъ любить, котораго ты будешь любить? Я съ радостью сожму его руку и твою. Онъ будетъ счастливъ. Ежели же этотъ *онъ* не явится,—иди въ монастырь, это въ миллионъ разъ лучше пошлаго замужества.

Я понимаю *le ton d'exaltation* твоихъ записокъ, — *ты влюблена!* Если ты мнѣ напишешь, что любишь серьезно, я умолкну,—тутъ оканчивается власть брата. Но слова эти мнѣ надобно, чтобъ ты сказала. Знаешь ли ты, что такое обыкновенные люди? Они, правда, могутъ составить счастье,—но твое ли счастье, Наташа? Ты слишкомъ мало цѣнишь себя! Лучше въ монастырь, чѣмъ въ толпу. Помни одно, что я говорю это, потому что я твой братъ, *потому что я гордъ за тебя и тобою!*



Отъ Огарева получилъ еще письмо, вотъ выписка:

«L'autre jour donc je repassais dans ma mémoire toute ma vie. Un bonheur, qui ne m'a jamais trahi, c'est ton amitié. De toutes mes passions une seule, qui est restée intacte, c'est mon amitié pour toi, car mon amitié est une passion».

... Въ заключеніе еще слово. Если онъ тебя любитъ, что же тутъ мудренаго? Что же бы онъ былъ, если-бъ не любилъ, видя тѣнь вниманія? Но я умоляю тебя, не говори ему о своей любви—долго, долго.

Прощай, твой братъ,  
Александръ.

7.

Какихъ чудесъ на свѣтѣ не видится, Natalie! Я прежде, чѣмъ получилъ послѣднюю твою записку, отвѣчалъ тебѣ на всѣ вопросы. Я слышалъ, ты больна, грустна. Береги себя, пей съ твердостью не столько горькую, сколько отвратительную чашу, которую наполняютъ тебѣ *благодѣтельные* люди.

И вслѣдъ затѣмъ на другомъ листочкѣ:

Наташа, другъ мой, сестра, ради Бога не унывай, презирай этихъ гнусныхъ эгоистовъ, ты слишкомъ снисходительна къ нимъ, презирай ихъ всѣхъ,—они мерзавцы! Ужасная была для меня минута, когда я читалъ твою записку къ Emilie. Боже, въ какомъ я положеніи,—ну, что я могу сдѣлать для тебя? Клянусь, что ни одинъ братъ не любитъ болѣе сестру, какъ я тебя, — но что я могу сдѣлать?

Я получилъ твою записку и доволенъ тобою. Забудь его, коли такъ, это былъ опытъ, а ежели-бъ любовь въ самомъ дѣлѣ, то она не такъ бы выразилась.

8.

2 апрѣля, Крутицкія казармы.

По клочкамъ изодрано мое сердце, во все время тюрьмы я не былъ до того давленъ, стѣсненъ, какъ теперь. Не ссылка этому причиною. Что мнѣ Пермь или Москва, и Москва—Пермь! Слушай все до конца.

31 марта потребовали насъ слушать сентенцію. Торжественный день. Тамъ соединили 20 человѣкъ, которые должны прямо оттуда быть разбросаны одни по казематамъ крѣпостей, другіе по дальнимъ городамъ, — всѣ они провели девять мѣсяцевъ въ неволѣ. Шумно, весело сидѣли эти люди въ большой залѣ. Когда я пришелъ, Соколовскій, съ усами и бороною, бросился мнѣ на

шею, а тутъ С.; уже долго послѣ меня привезли Огарева, все высыпало встрѣтить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы. Все воскресло въ моей душѣ, я жилъ, я *былъ юноша*, я жалъ всѣмъ руку,—словомъ, это одна изъ счастливѣйшихъ минутъ жизни, ни одной мрачной мысли. Наконецъ, намъ прочли приговоръ <sup>1)</sup>).

... Все было хорошо, но вчерашній день,—да будетъ онъ проклятъ!—сломилъ меня до послѣдней жилы. Со мною содержится Оболенскій. Когда намъ прочли сентенцію, я спросилъ дозволенія у Цинскаго намъ видѣться,—мнѣ позволили. Возвратившись, я отправился къ нему, между тѣмъ объ этомъ дозволеніи забыли сказать полковнику. На другой день мерзавецъ офицеръ С. донесъ полковнику, и я такимъ образомъ замѣшалъ трехъ лучшихъ офицеровъ, которые мнѣ дѣлали Богъ знаетъ сколько одолженій; всѣ они имѣли выговоръ и всѣ наказаны, и теперь должны, не смѣняясь, дежурить три недѣли (а тутъ святая). Я грызъ себѣ пальцы, плакалъ, бѣсился, и первая мысль, пришедшая мнѣ въ голову, было мщеніе. Я разсказалъ про офицера вещи, которыя могутъ погубить его (онъ заѣзжалъ куда-то съ арестантомъ), и вспомнилъ, что онъ бѣдный человѣкъ и отецъ семи дѣтей; но должно-ль щадить фискала, развѣ онъ щадилъ другихъ?

9.

10 апрѣля, 1835, 9 часовъ.

За нѣсколько часовъ до отъѣзда я еще пишу и пишу къ тебѣ,—къ тебѣ будетъ послѣдній звукъ отъѣзжающаго. Тяжело чувство разлуки и разлуки невольной, но такова судьба, которой я отдался, она влечетъ меня и я покоряюсь. Когда жъ мы увидимся? Гдѣ? Все это темно, но ярко воспоминаніе твоей дружбы, изгнанникъ никогда не забудетъ свою прелестную сестру.

*Можетъ быть...* но окончить нельзя, за мной пришли. Итакъ, прощай надолго, но, ей-Богу, не навсегда, я не могу думать сего. Все это писано при жандармахъ.

На этой запискѣ видны слѣды слезъ и слово «можетъ быть» подчеркнуто два раза ею. Natalie эту записку носила съ собой нѣсколько мѣсяцевъ.

---

<sup>1)</sup> Пропускаю его.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

### МОСКВА, ПЕТЕРБУРГЪ И НОВГОРОДЪ.

(1840—1847).

#### ГЛАВА XXV.

Диссонансъ.—Новый кругъ.—Отчаянный гегелизмъ.—В. Бѣлинскій, М. Бакунинъ и пр.—Ссора съ Бѣлинскимъ и миръ.—Новгородскіе споры съ дамой.—Кругъ Станкевича.

Въ началѣ 1840 <sup>1)</sup> года разстались мы съ Владиміромъ, съ бѣдной узенькой Клязьмой. Я покидалъ нашъ вѣнчальный городокъ съ щемлящемъ сердцемъ и страхомъ; я предвидѣлъ, что той простой, глубокой, внутренней жизни не будетъ больше и что придется подвязать много парусовъ.

Не повторяется больше наши долгія, одинокія прогулки за городомъ, гдѣ, потерянные между луговъ, мы такъ ясно чувствовали и весну природы, и нашу весну...

Не повторяется зимніе вечера, въ которые, сидя близко другъ къ другу, мы закрывали книгу и слушали скрытъ пошевней и звонъ бубенчиковъ, напоминавшій намъ то 3 марта 1838, то нашу поѣздку 9 мая...

Не повторяется!

...Насколько ладовъ и какъ давно люди знаютъ и твердятъ, что «жизни май цвѣтеть одинъ разъ и не больше», а все же іюнь совершеннолѣтія, съ своей страдной работой, съ своимъ щебнемъ на дорогѣ, беретъ человека врасплохъ. Юность невнимательно несется къ какой-то алгебрѣ идей, чувствъ и стремленій, частное мало занимаетъ, мало бьетъ, а тутъ любовь, найдено неизвѣстное, все свелось на одно лицо, прошло черезъ него, имъ ста-

<sup>1)</sup> Въ «Пол. Зв.». Т. I, стр. 82, напечатано 1839 г.

новится всеобщее дорого, имъ изищное красиво, постороннее и тутъ не бьетъ, они *даны* другъ другу, кругомъ хоть трава не расти!

А она растеть себѣ съ крапивою и ренейникомъ, и рано или поздно начинаетъ жечь и цѣпляться.

Мы знали, что Владиміра съ собой не увеземъ, а все же думали, что май еще не прошелъ. Мнѣ казалось даже, что, возвращаясь въ Москву, я снова возвращаюсь въ университетскій періодъ. Вся обстановка поддерживала меня въ этомъ. Тотъ же домъ, та же мебель,—вотъ комната, гдѣ, запершись съ Огаревымъ, мы конспирировали въ двухъ шагахъ отъ Сенатора и моего отца, да вотъ и онъ самъ, мой отецъ, состарѣвшійся и сгорбившійся, но такъ же готовый меня журить за то, что поздно воротился домой. «Кто-то завтра читаетъ лекціи? когда репетиція? Изъ университета зайду къ Огареву»... Это 1833 годъ!

Огаревъ въ самомъ дѣлѣ былъ налицо.

Ему былъ разрѣшенъ вѣздъ въ Москву за нѣсколько мѣсяцевъ прежде меня. Домъ его снова сдѣлался средоточіемъ, въ которомъ встрѣчались старые и новые друзья. И, несмотря на то, что прежняго единства не было, все симпатично окружало его.

Огаревъ, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, былъ одаренъ особой магнитностью, женственной способностью притяженія. Безъ всякой видимой причины, къ такимъ людямъ льнуть, пристають другіе; они согрѣваютъ, связуютъ, успокоиваютъ ихъ, они *открываютъ столъ*, за который садится каждый, возобновляютъ силы, отдыхаетъ, становится бодрѣе, покойнѣе, и идетъ прочь — другомъ.

Знакомые поглощали у него много времени, онъ страдалъ отъ этого иногда, но дверей своихъ не запиралъ, а встрѣчалъ каждого кроткой улыбкой. Многие находили въ этомъ большую слабость; да, время уходило, терялось, но пріобрѣталась любовь не только близкихъ людей, но постороннихъ, слабыхъ; вѣдь, и это стоитъ чтенія и другихъ занятій!

Я никогда толкомъ не могъ понять, какъ это обвиняютъ людей, въ родѣ Огарева, въ праздности. Точка зрѣнія фабрикъ и рабочихъ домовъ врядъ ли идетъ сюда. Помню я, что еще во времена студентскія, мы разъ сидѣли съ Вадимомъ за рейнвейномъ, онъ становился мрачнѣе и мрачнѣе, и вдругъ, со слезами на глазахъ, повторилъ слова Донъ-Карлоса, повторившаго въ свою очередь слова Юлія Цезаря: «Двадцать три года, и ничего не сдѣлано для безсмертія!» Его это такъ огорчило, что онъ пзо всей силы ударилъ ладонью по зеленой рюмкѣ и глубоко разрѣзалъ себѣ руку. Все это такъ, но ни Цезарь, ни Донъ-Карлосъ съ Позой, ни мы съ Вадимомъ не объяснили, для чего же нужно что-нибудь дѣлать для *безсмертія*? Есть дѣло, надобно его и сдѣлать,

а какъ же это дѣлать для дѣла или въ знакъ памяти роду человѣческому?

Все это что-то смутно; да и что такое дѣло?

Дѣло, business... Чиновники знаютъ только гражданскія и уголовныя дѣла, купецъ считаетъ дѣломъ одну торговлю, военные называютъ дѣломъ шагать по журавлиному и вооружаться съ ногъ до головы въ мирное время. По моему, служить связью, центромъ цѣлаго круга людей—огромное дѣло, особенно въ обществѣ разобщенномъ и скованномъ. Меня никто не упрекалъ въ праздности, кое-что изъ сдѣланнаго мною правилось многимъ; а знаютъ ли, сколько во всемъ, сдѣланномъ мною, отразились наши бесѣды, наши споры, ночи, которыя мы праздно бродили по улицамъ и полямъ, или еще болѣе *праздно* проводили за бокаломъ вина.

... Но вскорѣ потянуль и въ этой средѣ воздухъ, напомнившій, что весна прошла. Когда улеглась радость свиданій и миновались пиры, когда главное было пересказано и приходилось продолжать путь, мы увидѣли, что той беззаботной, свѣтлой жизни, которую мы искали во воспоминаніяхъ, нѣтъ больше въ нашемъ кругѣ и особенно въ домѣ Огарева. Шумѣли друзья, кипѣли споры, лилось иногда вино,—но не весело, не такъ весело, какъ прежде. У всѣхъ была задняя мысль, недомолвка; чувствовалась какая-то натяжка; печально смотрѣлъ Огаревъ, и К. злобѣе поднималъ брови. Посторонняя нота звучала въ нашемъ аккордѣ воиющимъ диссонансомъ; всей теплоты, всей дружбы Огарева не доставало, чтобъ заглушить ее.

То, чего я опасался за годъ передъ тѣмъ, то случилось, и хуже, чѣмъ я думалъ.

Отецъ Огарева умеръ въ 1838; незадолго до его смерти онъ женился. Вѣсть о его женитьбѣ испугала меня; все это случилось какъ-то скоро и неожиданно. Слухи объ его женѣ, доходившіе до меня, не совѣтъ были въ ея пользу; онъ писалъ съ восторгомъ и былъ счастливъ,—ему я больше вѣрилъ, но все же боялся.

Въ началѣ 1839 года, они пріѣхали на нѣсколько дней во Владимірѣ. Мы тутъ увидѣлись въ первый разъ послѣ того, какъ аудиторъ Оранскій намъ читалъ приговоръ. Тутъ было не до разбора, помню только, что въ первыя минуты ея голосъ прозвучалъ нехорошо по моему сердцу; но и это минутное впечатлѣніе печезло въ яркомъ свѣтѣ радости. Да, это были тѣ дни полноты и личнаго счастья, въ которые человѣкъ, не подозревая, касается высшаго предѣла, послѣдняго края личнаго счастья. Ни тѣни чернаго воспоминанія, ни малѣйшаго темнаго предчувствія, молодость, дружба, любовь, избытокъ силъ, энергіи, здоровья и без-

конечная дорога вперед. Самое мистическое настроеніе, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, какъ колокольный звонъ, пѣвчіе и зажженные паникадила.

У меня въ комнатѣ, на одномъ столѣ, стояло небольшое чугунное распятіе. «На колѣни! сказалъ Огаревъ, и поблагодаримъ за то, что мы все четверо вмѣстѣ». Мы стали на колѣни возлѣ него и, обтирая слезы, обнялись.

Но одному изъ четырехъ врядъ нужно ли было ихъ обтирать. Жена Огарева съ нѣкоторымъ удивленіемъ смотрѣла на происходившее; я думалъ тогда, что это retenue, но она сама сказала мнѣ впоследствии, что сцена эта показалась ей натянутой, дѣтской. Оно, пожалуй, и могло показаться такъ со стороны; но зачѣмъ же она смотрѣла со стороны, зачѣмъ она была такъ трезва въ этомъ упоеніи, такъ совершеннолѣтна въ этой молодости?

Огаревъ возвратился въ свое имѣніе, она поѣхала въ Петербургъ хлопотать о его возвращеніи въ Москву.

Черезъ мѣсяць она опять проѣзжала Владиміромъ—одна. Петербургъ и двѣ, три аристократическія гостинныя окружили ей голову. Ей хотѣлось вѣшняго блеска, ее тѣшило богатство. Какъ-то сладить она съ этимъ? думалъ я. Много бѣдъ могло развиваться изъ такой противоположности вкусовъ. Но ей было ново и богатство, и Петербургъ, и салоны,—можетъ, это было минутное увлеченіе; она была умна, она любила Огарева, и я надѣялся.

Въ Москвѣ опасались, что это не такъ легко переработается въ ней. Артистическій и литературный крутъ довольно льстили ей самолюбію, но главное было направлено не туда. Она согласилась бы имѣть при аристократическомъ салонѣ придѣлъ для художниковъ и ученыхъ и насильно увлекала Огарева въ пустой міръ, въ которомъ онъ задыхался отъ скуки. Ближайшіе друзья стали замѣчать это и К., давно уже хмурившійся, грозно заявилъ свое veto. Вспыльчивая, самолюбивая и непривыкнущая себя обуздывать, она оскорбляла самолюбія, столько же раздражительныя, какъ ея. Угловатыя, нѣсколько сухія манеры ея и насмѣшки, высказываемыя тѣмъ голосомъ, который при первой встрѣчѣ такъ странно повелъ мнѣ по сердцу, вызвали рѣзкій отпоръ. Побранившись мѣсяца два съ К., который, будучи правъ въ фондѣ, былъ постоянно не правъ въ формѣ, и возстановивъ противъ себя нѣсколько человѣкъ, можетъ слишкомъ обидчивыхъ по матеріальному положенію, она, наконецъ, очутилась лицомъ къ лицу со мной.

Меня она боялась. Во мнѣ она хотѣла помѣриться и окончательно узнать, что возьметъ верхъ, *дружба или любовь*, какъ будто имъ нужно было брать этотъ верхъ. Тутъ больше замѣшалось,



чѣмъ желаніе поставить на своемъ въ капризномъ спорѣ, тутъ было сознаніе, что я всего сплывѣ противудѣйствиую ея видамъ, тутъ была завистливая ревность и женское властолюбіе. Съ К. она спорила до слезъ и перебранивалась, какъ злая дѣти бранятся, всякій день, но безъ ожесточенія; на меня она смотрѣла, блѣднѣя и дрожа отъ ненависти. Она упрекала меня въ разрушеніи ея счастья изъ самолюбиваго притязанія на исключительную дружбу Огарева, въ отталкивающей гордости. Я чувствовалъ, что это несправедливо и, въ свою очередь, сдѣлался жестокъ и безпощаденъ. Она сама признавалась мнѣ, пять лѣтъ спустя, что ей приходила въ голову мысль меня отравить,—вотъ до чего доходила ея ненависть. Она съ Natalie раззнакомилась за ея любовь ко мнѣ, за дружбу къ ней всѣхъ нашихъ.

Огаревъ страдалъ. Его никто не пощадилъ, ни она, ни я, ни другіе. Мы выбрали грудь его (какъ онъ самъ выразился въ одномъ письмѣ) «полемъ сраженія» и не думали, что тотъ ли, другой ли одолеваетъ, ему равно было больно. Онъ заклиналъ насъ мириться, онъ старался смягчить угловатости,—и мы мирились; но дико кричало оскорбленное самолюбіе и наболѣвшая обидчивость веныхивала войной отъ одного слова. Съ ужасомъ видѣлъ Огаревъ, что все дорогое ему рушится, что женщины, которую онъ любилъ, не свята его свѣтыня, что она чужая,—но не могъ ее разлюбить. Мы были свои, но онъ съ печалью видѣлъ, что и мы ни одной капли горечи не убавили въ чаши, которую судьба поднесла ему. Онъ не могъ грубо порвать узы Naturgewalt'a, связывавшаго его съ нею, ни крѣпкія узы симпатій, связывавшія съ нами; онъ во всякомъ случаѣ долженъ былъ пойти кровью, и чувствуя это, онъ старался сохранить ее и насъ,—судорожно не выпускалъ ни ея, ни нашихъ рукъ, а мы свирѣпо расходились, четвертуя его, какъ палачи!

Жестокъ человѣкъ и одыи долгиа испытанія укрощаютъ его; жестокъ, въ своемъ невѣдѣніи, ребенокъ, жестокъ юноша, гордый своей чистотой, жестокъ попъ, гордый своей святостью, и доктринеръ, гордый своей наукой,—все мы безпощадны и всего безпощаднѣе, когда мы правы. Сердце обыкновенно растворяется и становится мягкимъ влѣдъ за глубокими рубцами, за обожженными крыльями, за сознанными паденіями, влѣдъ за испугомъ, который обдастъ человѣка холодомъ, когда онъ одинъ, безъ свидѣтелей, начинаетъ догадываться,—какой онъ слабый и дрянной человѣкъ. Сердце становится кротче; обтирая потъ ужаса, стыда, боясь свидѣтеля, оно ищетъ *себѣ* оправданій—и находитъ ихъ *другому*. Роль судьи, палача, съ той минуты поселяетъ въ немъ отвращеніе.

Тогда я былъ далекъ отъ этого!

Перемежаясь продолжалась вражда. Озлобленная женщина, преследуемая нашей нетерпимостью, заступала дальше и дальше въ какія-то пути, не могла въ нихъ идти, рвалась, падала—и не мѣнялась. Чувствуя свое безсиліе побѣдить, она сгорала отъ досады и *dépit*, отъ ревности безъ любви. Ея растрепанныя мысли, безсвязно взятые изъ романовъ Ж. Зандъ, изъ нашихъ разговоровъ, никогда ни въ чемъ не дошедшія до ясности, вели ее отъ одной нелѣпости къ другой, къ эксцентричностямъ, которыя она принимала за оригинальную самобытность, къ тому женскому освобожденію, въ силу котораго онѣ отрицаютъ изъ существующаго и принятаго, *на выборъ*, что имъ не нравится, сохраняя упорно все остальное.

Разрывъ становился неминуемъ, но Огаревъ еще долго жалѣлъ ее, еще долго хотѣлъ спасти ее, надѣялся. И когда на минуту въ ней пробуждалось нѣжное чувство или поэтическая струйка, онъ былъ готовъ забыть на вѣки вѣковъ прошедшее и начать новую жизнь гармоніи, покоя, любви; но она не могла удержаться, теряла равновѣсіе и всякій разъ падала глубже. Нить за нитью болѣзненно рвалась ихъ союзъ до тѣхъ поръ, пока беззвучно перетерлась послѣдняя нитка,—и они разстались навсегда.

Во всемъ этомъ является одинъ вопросъ не совсѣмъ понятный. Какимъ образомъ то сильное симпатическое вліяніе, которое Огаревъ имѣлъ на все окружающее, которое увлекало постороннихъ въ высшія сферы, въ общіе интересы, скользнуло по сердцу этой женщины, не оставивъ на немъ никакого благотворнаго слѣда? А между тѣмъ, онъ любилъ ее страстно и положилъ больше силы и души, чтобъ ее спасти, чѣмъ на все остальное; и она сама сначала любила его, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

Много я думалъ объ этомъ. Сперва, разумѣется, винилъ одну сторону, потомъ сталъ понимать, что и этотъ странный, уродливый фактъ имѣетъ объясненіе и что въ немъ собственно нѣтъ противурѣчія. Имѣть вліяніе на симпатическій кругъ гораздо легче, чѣмъ имѣть вліяніе на *одну* женщину. Проповѣдывать съ амвона, увлекать съ трибуны, учить съ кафедры гораздо легче, чѣмъ воспитывать *одного* ребенка. Въ аудиторіи, въ церкви, въ клубѣ, одинаковость стремленій, интересовъ идетъ впередъ, во имя ихъ люди встрѣчаются тамъ, стоитъ продолжать развитіе. Огарева кружокъ состоялъ изъ прежнихъ университетскихъ товарищей, молодыхъ ученыхъ, художниковъ и литераторовъ; ихъ связывала общая религія, общій языкъ и еще больше общая ненависть. Тѣ, для которыхъ эта религія не составляла въ самомъ дѣлѣ жизненнаго вопроса, мало по малу отдалялись, на ихъ мѣсто являлись *другіе*, а мысль и кругъ крѣпли при этой свободной игрѣ избирательнаго сродства и общаго, связующаго убѣжденія.

Сближеніе съ женщиной—дѣло чисто личное, основанное на иномъ, тайно физиологическомъ сродствѣ, безотчетномъ, страстномъ. Мы прежде близки, потомъ знакомимся. У людей, у которыхъ жизнь не подтасована, не приведена къ одной мысли, уровень устанавливается легко, у нихъ все случайно, вполнину уступаетъ онъ, вполнину она; да если и не уступаютъ—бѣды нѣтъ. Съ ужасомъ открываетъ, напротивъ, человекъ, преданный своей идеѣ, что она чужда существу, такъ близко поставленному. Онъ принимается поторопить женщину, но большей частью только пугаетъ или путаетъ ее. Оторванная отъ преданій, отъ которыхъ она не освободилась, и переброшенная черезъ какой-то оврагъ, ничѣмъ не наполненный, она вѣрится въ свое освобожденіе—запоспивно, самолюбиво, черезъ пень-колоду отвергаетъ старое, безъ разбора принимаетъ новое. Въ головѣ, въ сердцѣ безпорядокъ, хаосъ... вожжи брошены, эгоизмъ разнузданъ... А мы думаемъ, что сдѣлали дѣло, и проповѣдуемъ ей, какъ въ аудиторіи!

Талантъ воспитанія, талантъ терпѣливой любви, полной преданности, преданности хронической, рѣже встрѣчается, чѣмъ всѣ другіе. Его не можетъ замѣнить ни одна страстная любовь матери, ни одна сильная доводами діалектика.

Ужъ не оттого ли люди истязаютъ дѣтей, а иногда и большихъ, что ихъ такъ трудно воспитывать, — а сѣчь такъ легко? Не метимъ ли мы наказаніемъ за нашу неспособность?

Огаревъ это понималъ еще тогда; потому-то его всѣ (и я въ томъ числѣ) упрекали въ излишней кротости.

...Кругъ молодыхъ людей, составившійся около Огарева, не былъ нашъ прежній кругъ. Только двое изъ старыхъ друзей, кромѣ насъ, были налицо. Тонъ, интересы, занятія, все измѣнилось. Друзья Станкевича были на первомъ планѣ; Бакунинъ и Бѣлинскій стояли въ ихъ главѣ, каждый съ томомъ гегелевской философіи въ рукахъ и съ юношеской нетерпимостью, безъ которой нѣтъ кровныхъ, страстныхъ убѣжденій.

Германская философія была привита московскому университету М. Г. Павловымъ. Кафедра философіи была закрыта съ 1826 года. Павловъ преподавалъ введеніе къ философіи вмѣсто физики и сельскаго хозяйства. Физики было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго отдѣленія и останавливалъ студента вопросомъ: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?»

Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая въ университетъ, совершенно лишена философскаго приготовленія, одни семинаристы имѣютъ понятіе объ философіи, за то совершенно превратное.

Отвѣтомъ на эти вопросы Павловъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окена съ такой пластической ясностью, которую никогда не имѣлъ ни одинъ натуръ-философъ. Если онъ не во всемъ достигнуть прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова ученія. Скорѣе Павлова можно обвинить за то, что онъ остановился на этой Магабаратъ философіи и не прошелъ суровымъ искусомъ Гегелевой логики. Но онъ даже и въ своей наукѣ дальше введенія и общаго понятія не шелъ или, по крайней мѣрѣ, не велъ другихъ. Эта остановка при началѣ, это незавершеніе своего дѣла, эти дома безъ крыши, фундаменты безъ домовъ и пыльные сѣни, ведущія въ скромное жилье, совершенно въ русскомъ народномъ духѣ. Не оттого ли мы довольствуемся сѣнями, что исторія наша еще стучится въ ворота?

Чего не сдѣлалъ Павловъ, сдѣлалъ одинъ изъ его учениковъ—Станкевичъ.

Станкевичъ, тоже одинъ изъ *праздныхъ* людей, *ничего* не совершившихъ, былъ первый послѣдователь Гегеля въ кругу московской молодежи. Онъ изучилъ нѣмецкую философію глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, онъ увлекъ большой кругъ друзей въ свое любимое занятіе. Кругъ этотъ чрезвычайно замѣчателенъ, изъ него вышла цѣлая фаланга ученыхъ, литераторовъ и профессоровъ, въ числѣ которыхъ были Бѣлинскій, Бакунинъ, Грановскій.

До ссылки между нашимъ кругомъ и кругомъ Станкевича не было большой симпатіи. Имъ не нравилось наше почти исключительно политическое направленіе, намъ не нравилось ихъ почти исключительно умозрительное. Они насъ считали фрондѣрами и французами, мы ихъ сентименталистами и нѣмцами. Первый человекъ, признанный нами и ими, который дружески подаль обоимъ руки и снялъ своей теплой любовью къ обоимъ, своей примиряющей натурой, послѣдніе слѣды взаимнаго непониманья, былъ Грановскій; но когда я пріѣхалъ въ Москву, онъ еще былъ въ Берлинѣ, а блѣдный Станкевичъ потухалъ на берегахъ Lago di Como лѣтъ двадцати семи.

Болѣзненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель, Станкевичъ естественно долженъ былъ больше любить созерцаніе и отвлеченное мышленіе, чѣмъ вопросы жизненные и чисто практическіе; его артистическій идеализмъ ему шелъ, это былъ «по-блѣдный вѣнокъ», выступавшій на его блѣдномъ, предсмертномъ челѣ юноши. Другіе были слишкомъ здоровы и слишкомъ мало поэты, чтобъ надолго остаться въ спекулятивномъ мышленіи безъ перехода въ жизнь. Исключительно умозрительное направленіе совершенно противоположно русскому характеру и мы скоро увидимъ, какъ *русскій духъ* переработалъ Гегелево ученіе и какъ

наша живая натура, несмотря на всё постриженіе въ философскіе монахи, беретъ свое. Но въ началѣ 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать противъ текета за духъ, противъ отвлеченій за жизнь.

Новые знакомые приняли меня такъ, какъ принимаютъ эмигрантовъ и старыхъ бойцевъ, людей, выходящихъ изъ тюремъ, возвращающихся изъ плѣна или ссылки, съ почетнымъ свихожденіемъ, съ готовностью принять въ свой союзъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ не уступая ничего, а намекая на то, что они—*сегодня, а мы—уже вчера*, и требуя безусловнаго принятія феноменологій и логики Гегеля и притомъ по ихъ толкованію.

Толковали же они объ нихъ безпрестанно, пѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетикѣ, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ почей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности и о ея *по-себѣ бытіи*». Всѣ ничтожійшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философій, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней. Такъ, какъ Франкертъ въ Парижѣ плакалъ отъ умиленія, услышавъ, что въ Россіи его принимаютъ за великаго математика и что все юное поколѣніе разрѣшаетъ у насъ уравненія разныхъ степеней, употребляя тѣ же буквы, какъ онъ,—такъ заплакали бы всѣ эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шаллеры, Розенкранцы и самъ Арнольдъ Руге, котораго Гейне такъ удивительно хорошо называлъ «привратникомъ гегелевой философій», если-бъ они знали, какія побоища и ратованія возбудили они въ Москвѣ между Моросейкой и Моховой, какъ ихъ читали и какъ ихъ *покупали*.

Главное достоинство Павлова состояло въ необычайной ясности изложенія, ясности, нисколько не терявшей всей глубины нѣмецкаго мышленія; молодые философы приняли, напротивъ, какой-то условный языкъ, они не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова *in crudo*, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ надежей.

Я имѣю право это сказать, потому что, увлеченный тогдашнимъ потокомъ, я самъ писалъ точно также, да еще удивлялся, что извѣстный астрономъ Перевощиковъ называлъ это «птичьимъ языкомъ». Никто въ тѣ времена не отрекся бы отъ подобной фразы: «Конкресцированіе абстрактныхъ идей въ сферѣ пластики представляетъ ту фазу самоищущаго духа, въ которой онъ, опре-

дѣляясь для себя, потенцируется изъ естественной имманентности въ гармоническую сферу образнаго сознанія въ красотѣ». Замѣчательно, что тутъ русскія слова, какъ на извѣстномъ обѣдѣ генераловъ, о которомъ говорилъ Ермоловъ, звучатъ иностраннѣ латинскихъ.

Нѣмецкая наука, и это ея главный недостатокъ, приучилась къ искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему, именно потому, что она жила въ академіяхъ, т. е. въ монастыряхъ идеализма. Это языкъ поповъ науки, языкъ для *върныкъ* и никто изъ оглашенныхъ его не понималъ; къ нему надобно было имѣть ключъ, какъ къ шифрованнымъ письмамъ. Ключъ этотъ теперь не тайна; понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дѣльные вещи и очень простыя на своемъ мудреномъ нарѣчій. Фейербахъ сталъ первый говорить человѣчественнѣе.

Механическая слѣпка нѣмецкаго *церковно*-ученаго діалекта была тѣмъ непростительнѣе, что главный характеръ нашего языка состоитъ въ чрезвычайной легости, съ которой все выражается на немъ — отвлеченныя мысли, внутреннія лирическія чувствованія, «жизни мыши бѣготня», крикъ негодованія, нескрывающаяся шалость и потрясающая страсть.

Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка болѣе глубокая. Молодые философы наши испортили себѣ не одиѣ фразы, но и пониманье; отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности, сдѣлалось школьное, книжное, это было то ученое пониманье простыхъ вещей, надъ которыми такъ гениально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля съ студентомъ. Все въ *самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебранческой тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «темюту» или къ «трагическому въ сердцѣ»...

То же въ искусствѣ. Знаніе Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли что она хуже первой, или оттого, что труднѣе ея), было столько же обязательно, какъ имѣть платье. Философія музыки была на первомъ планѣ. Разумѣется, объ Россини и не



говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дѣтскимъ и бѣднымъ, зато производили философскія слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напѣвы, сколько за то, что онъ бралъ философскія темы для нихъ, какъ «Всемогущество Божіе», «Атласъ». Наравнѣ съ итальянской музыкой дѣлила опалу французская литература и вообще все французское, а по дорогѣ и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на которомъ мы должны были непременно встрѣтиться и сразиться. Пока пренія шли о томъ, что Гёте объективенъ, но что его объективность субъективна, тогда какъ Шиллеръ поэтъ субъективный, но его субъективность объективна и *vice versa*, все шло мирно. Вопросы болѣе страстные не замедлили явиться.

Гегель во время своего профессората въ Берлинѣ, долею отъ старости, а вдвое отъ довольства мѣстомъ и почетомъ, намѣренно взвинтилъ свою философію надъ земнымъ уровнемъ и держался въ средѣ, гдѣ всѣ современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, какъ зданія и села съ воздушнаго шара; онъ не любилъ зацѣпляться за эти проклятые практическіе вопросы, съ которыми трудно ладить, и на которые надобно было отвѣчать положительно. Насколько этотъ насильственный и не-откровенный дуализмъ былъ вопиющъ въ наукѣ, которая отирается отъ снѣгія дуализма, легко понятно. Настоящій Гегель былъ тотъ скромный профессоръ въ Іенѣ, другъ Гелдерлина, который спасъ подъ полой свою феноменологію, когда Наполеонъ входилъ въ городъ; тогда его философія не вела ни къ индѣйскому квіетизму, ни къ оправданію существующихъ гражданскихъ формъ, ни къ прусскому христіанству; тогда онъ не читалъ своихъ лекцій о философіи религіи, а писалъ геніальныя вещи въ родѣ статьи о «палачѣ и о смертной казни», напечатанной въ Розенкранцевой біографіи.

Гегель держался въ кругу отвлеченій, для того, чтобъ не быть въ необходимости касаться эмпирическихъ выводовъ и практическихъ приложеній, для нихъ онъ избралъ очень ловко тихое и безбурное море эстетики; рѣдко выходилъ онъ на воздухъ, и то на минуту, закутавшись какъ больной, но и тогда оставлялъ въ діалектической запутанности именно тѣ вопросы, которые всего болѣе занимали современнаго человѣка. Чрезвычайно слабые умы (одинъ Гансъ дѣлаетъ исключеніе), окружавшіе его, принимали букву за самое дѣло, имъ нравилась пустая игра діалектики. Вѣроятно, старику иной разъ бывало тяжело и совѣстно смотрѣть на недалекость, черезъ край удовлетворенныхъ, учениковъ своихъ. Діалектическая метода, если она не есть развитіе самой



сущности, воспитаніе ея такъ сказать въ мысль, становится чисто внѣшнимъ средствомъ гонять сквозь строй категорій всякую величину, уиравненіемъ въ логической гимнастикѣ, тѣмъ, чѣмъ она была у греческихъ софистовъ и у средневѣковыхъ схоластиковъ послѣ Абеляра.

Философская фраза, надѣлавшая всего больше вреда, и на которой нѣмецкіе консерваторы стремились помирить философію съ политическимъ бытомъ Германіи: «все дѣйствительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соотвѣстности логики и фактовъ. Дурно понятая фраза Гегеля едѣлась въ философіи тѣмъ, что нѣкогда были слова Павла: «Нѣтъ власти какъ отъ Бога». Но если существующій общественный порядокъ оправдывается разумомъ, то и борьба противъ него, если только существуетъ, оправдана. Формально приняты эти двѣ сентенціи—чистая тавтологія; но тавтологія или нѣтъ, она прямо вела къ признанію преобладающихъ властей, къ тому, чтобъ человѣкъ сложилъ руки,—этого-то и хотѣли берлинскіе буддисты. Какъ такое возрѣніе ни было противоположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московскіе гегельяницы.

Бѣлинскій, самая дѣятельная, порывистая, діалектически-страстная натура бойца, проповѣдывалъ тогда пидѣйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы. Онъ вѣровалъ въ это возрѣніе и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытные; въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и некротенъ; его совѣтъ была чиста.

— Знаете ли, что съ вашей точки зрѣнія, сказать я ему, думая поразить его моимъ революціоннымъ ультиматумомъ, вы можете доказать, что самодержавіе, подъ которымъ мы живемъ, разумно.

— Безъ всякаго сомнѣнія, отвѣчалъ Бѣлинскій, и прочелъ мнѣ *Бородинскую годовщину* Пушкина.

Этого я не могъ вынести и отчаянный бой закипѣлъ между нами. Размолвка наша дѣйствовала на другихъ, кругъ распался на два стана. Бакунинъ хотѣлъ примирить, объяснить, *заговорить*, но настоящаго мира не было. Бѣлинскій, раздраженный и недовольный, уѣхалъ въ Петербургъ, и оттуда далъ по насъ послѣдній яростный залпъ въ статьѣ, которую назвалъ «Бородинской годовщиной».

Я прервалъ съ нимъ тогда все сношенія. Бакунинъ, хотя и спорилъ горячо, но сталъ призадумываться, его революціонный тактъ толкалъ его въ другую сторону. Бѣлинскій упрекалъ его

въ слабости, въ уступкахъ и доходилъ до такихъ преувеличенныхъ крайностей, что пугалъ своихъ собственныхъ пріятелей и почитателей. Хоръ былъ за Вѣлинскаго и смотрѣлъ на насъ свысока, гордо пожимая плечами и находя насъ людьми отсталыми.

Середь этой междоусобицы я увидѣлъ необходимость *ex ipsa fonte bibere* и серьезно занялся Гегелемъ. Я думаю даже, что человѣкъ, не *пережившій* феноменологіи Гегеля и противурѣчій общественной экономіи Прудона, не перешедшій черезъ этотъ горнъ и этотъ закалъ,—не полонъ, не современенъ.

Когда я привыкъ къ языку Гегеля и овладѣлъ его методой, я сталъ разглядывать, что Гегель гораздо ближе къ нашему возрѣнію, чѣмъ къ возрѣнію своихъ послѣдователей; таковъ онъ въ первыхъ сочиненіяхъ, таковъ вездѣ, гдѣ его гений закусывалъ удила и несся впередъ, забывая «бранденбургскія ворота». Философія Гегеля—алгебра революціи, она необыкновенно освобождаетъ человѣка и не оставляетъ камня на камнѣ отъ міра христіанскаго, отъ міра преданій, пережившихъ себя. Но она, можетъ, съ намѣреніемъ, дурно формулирована.

Такъ, какъ въ математикѣ—только тамъ съ большимъ правомъ—не возвращаются къ опредѣленію пространства, движенія, силы, а продолжаютъ діалектическое развитіе ихъ свойствъ и законовъ; такъ и въ формальномъ пониманіи философіи,—привыкнувъ однажды къ началамъ, продолжаютъ одни выводы. Новый человѣкъ, не забившій себя методой, обращающейся въ привычку, именно за эти-то преданія, за эти догматы, принимаемые за мысли, и цѣпляется. Людямъ, давно занимающимся и, слѣдственно, не безпристрастнымъ, кажется удивительнымъ, какъ другіе не понимаютъ вещей «совершенно ясныхъ».

Какъ не понять *такую* простую мысль, какъ напр., «что душа безсмертна, а что умираетъ одна личность», мысль такъ успѣшно развитая берлинскимъ Михелетомъ въ его книгѣ. Или еще болѣе простую истину, что безусловный духъ есть личность, сознающая себя черезъ міръ, а между тѣмъ имѣющая и свое собственное самопознаніе.

Всѣ эти вещи казались до того легки нашимъ друзьямъ, они такъ улыбались «французскимъ» возраженіямъ, что я былъ на нѣкоторое время подавленъ ими и работалъ, и работалъ, чтобы до отчетливаго пониманія ихъ философскаго *jargon*.

По счастью, схоластика такъ же мало свойственна мнѣ, какъ мистицизмъ; я до того натянулъ ея лукъ, что тетива порвалась и повязка упала. Странное дѣло, споръ съ дамой привелъ меня къ этому.

Въ Новгородѣ, годъ спустя, познакомился я съ однимъ генераломъ. Познакомился я съ нимъ, потому что онъ всего меньше былъ похожъ на генерала.

Въ его домѣ было тяжело, въ воздухѣ были слезы, тутъ очевидно прошла смерть. Сѣдые волосы рано покрыли его голову и добродушно-грустная улыбка больше выражала страданій, нежели морщины. Ему было лѣтъ пятьдесятъ. Слѣдъ судьбы, обрубившей живыя вѣтви, еще явнѣе видѣлся на блѣдномъ, худомъ лицѣ его жены. У нихъ было слишкомъ тихо. Генералъ занимался механикой, его жена по утрамъ давала французскіе уроки какимъ-то бѣднымъ дѣвочкамъ; когда онъ уходилъ, она принималась читать, и одни цвѣты, которыхъ было много, напоминали иную, благоуханную, свѣтлую жизнь; да еще игрушки въ шкапѣ,—только ими никто не игралъ.

У нихъ было трое дѣтей; два года передъ тѣмъ умеръ девятилѣтній мальчикъ, необыкновенно даровитый; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ умеръ другой ребенокъ отъ скарлатины; мать бросилась въ деревню спасать послѣднее дитя перемѣной воздуха, и черезъ нѣсколько дней воротилась: съ ней въ каретѣ былъ гробикъ.

Жизнь ихъ потеряла смыслъ, кончилась и продолжалась безъ нужды, безъ цѣли. Ихъ существованіе удержалось сожалѣніемъ другъ о другѣ; одно утѣшеніе, доступное имъ, состояло въ глубокомъ убѣжденіи необходимости одного для другого, для того, чтобъ какъ-нибудь нести крестъ. Я мало видѣлъ больше гармоническихъ браковъ, но уже это и не былъ бракъ, ихъ связывала не любовь, а какое-то глубокое братство въ несчастіи, ихъ судьба тѣсно затягивалась и держалась вмѣстѣ тремя маленькими, холодными рученками и безнадежной пустотою около и впереди.

Оспротѣвшая мать совершенно предалась мистицизму; она нашла спасеніе отъ тоски въ мірѣ таинственныхъ примиреній. Для нея мистицизмъ былъ не шутка, не мечтательность, а опять-таки дѣти, и она защищала ихъ, защищая свою религію. Но какъ умъ чрезвычайно дѣятельный, она вызывала на споръ и знала свою силу. Я послѣ и прежде встрѣчалъ въ жизни много мистиковъ въ разныхъ родахъ, отъ Витберга и послѣдователей Товянскаго, принимавшихъ Наполеона за военное воплощеніе Бога и снимавшихъ шапку, проходя мимо Вандомской колонны, до забытаго теперь «Ма-Па», который самъ мнѣ рассказывалъ свое свиданіе съ Богомъ, случившееся на шоссе между Монморанси и Парижемъ. Всѣ они, большею частью люди первые, дѣйствовали на нервы, поражали фантазію или сердце, мѣшали философскія понятія съ произвольной символичкой и не любили выходить на чистое поле логики.

На немъ-то и стояла твердо и безбоизисенно Л. Д. Гдѣ и какъ она успѣла пріобрѣсти такую артистическую ловкость діалектики, я не знаю. Вообще, женское развитіе—тайна; все ничего, наряды да танцы, шаловливое злословіе и чтеніе романовъ, глазки и слезы,—и вдругъ является гигантская воля, зрѣлая мысль, колоссальный умъ. Дѣвочка, увлеченная страстями, исчезла и передъ вами Тироанъ де-Меркуръ, красавица-трибунъ, потрясающая народныя массы, княгиня Данкова восемнадцати лѣтъ, верхомъ, съ саблей въ рукахъ, среди крамольной толпы солдатъ.

У Л. Д. все было кончено, тутъ не было сомнѣній, шаткости, теоретической слабости; врядъ были ли іезуиты или кальвинисты такъ стройно послѣдовательны своему ученію, какъ она.

Вмѣсто того, чтобъ ненавидѣть смерть, она, лишившись своихъ малютокъ, возненавидѣла жизнь. Итакъ—гоненіе на все жизненное, реалистическое, на наслажденіе, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существованія. И Л. Д. дошла до того, что не любила ни Гёте, ни Пушкина.

Нанадки ся на мою философію были оригинальны. Она пропически увѣряла, что всѣ діалектическія подмостки и тонкости—барабанный бой, шумъ, которымъ трусы заглушаютъ страхъ своей совѣсти.

— Вы никогда не дойдете, говорила она, ни до личнаго Бога, ни до безсмертія души, никакой философіей, а храбрости быть атеистомъ и отвергнуть жизнь за гробомъ у васъ у всѣхъ нѣтъ. Вы слишкомъ люди, чтобъ не ужаснуться этихъ послѣдствій, внутреннее отвращеніе отталкиваетъ ихъ; вотъ вы и выдумываете ваши логическія чудеса, чтобъ отвести глаза, чтобъ дойти до того, что просто и дѣтски дано религіей.

Я возражалъ, я спорилъ, но внутри чувствовалъ, что полныхъ доказательствъ у меня нѣтъ, и что она тверже стоитъ на своей почвѣ, чѣмъ я на своей.

Надобно было, чтобъ для довершенія бѣды подвернулся тутъ инспекторъ врачебной управы, добрый человѣкъ, но одинъ изъ самыхъ смѣшныхъ нѣмцевъ, которыхъ я когда-либо встрѣчалъ; отчаянный поклонникъ Окена, Каруса, онъ разсуждалъ цитатами, имѣлъ на все готовый отвѣтъ, никогда ни въ чемъ не сомнѣвался, и воображалъ, что совершенно согласенъ со мной.

Докторъ выходилъ изъ себя, бѣсился, тѣмъ больше, что другими средствами не могъ взять, находилъ воззрѣнія Л. Д. женскими капризами, ссылаясь на Шеллинговы чтенія объ академическомъ ученіи и читалъ отрывки изъ Бурдаховой фізіологіи для доказательства, что въ человѣкѣ есть начало вѣчное и духовное, а внутри природы спрятанъ какой-то личный Geist.

Л. Д., давно прошедшая этими «задами» пантеизма, сбивала его и, улыбаясь, показывала мнѣ на него глазами. Она, разумеется, была правѣ его и я добросовѣстно ломалъ себѣ голову и досадовалъ, когда мой докторъ торжественно смѣялся. Споры эти занимали меня до того, что я съ новымъ ожесточеніемъ принялся за Гегели. Мученье моей неувѣренности недолго продолжалось, истина мелькнула передъ глазами и стала становиться яснѣе и яснѣе; я склонился на сторону моей противницы, но не такъ, какъ она хотѣла.

— Вы совершенно правы, сказалъ я ей, и мнѣ совѣстно, что я съ вами спорилъ; разумеется, что нѣтъ ни личнаго духа, ни безсмертія души, оттого-то и было такъ трудно доказать, что она есть. Посмотрите, какъ все становится просто, естественно—безъ этихъ впередъ идущихъ предположеній.

Ее смутили мои слова, но она скоро оправилась и сказала:

— Жаль мнѣ васъ, а, можетъ, оно и къ лучшему, вы въ этомъ направленіи долго не останетесь, въ немъ слишкомъ пусто и тяжело. А вотъ, прибавила она, улыбаясь, нашъ докторъ, тотъ неизлечимъ, ему не странно, онъ въ такомъ туманѣ, что не видитъ ни на шагъ впередъ.

Однако, лицо ея было блѣднѣе обыкновеннаго.

Мѣсяца два-три спустя, проѣзжалъ по Новгороду Огаревъ; онъ привезъ мнѣ «Wesen des Christenthums» Фейербаха. Прочитавъ первыя страницы, я вспрыгнулъ отъ радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и пносказанія, мы свободные люди, а не рабы Кеанфа, ненужно намъ облекать истину въ мнѡы!

Въ разгарѣ моей философской страсти я началъ тогда рядъ моихъ статей о «дилетантизмѣ въ наукѣ», въ которыхъ между прочимъ отометилъ и доктору.

Теперь возвратимся къ Бѣлинскому.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его отъѣзда въ Петербургъ въ 1840 году, пріѣхали и мы туда. Я не шелъ къ нему. Огареву моя ссора съ Бѣлинскимъ была очень прискорбна, онъ понималъ, что нелѣпое воззрѣніе у Бѣлинскаго была переходная болѣзнь, да и я понималъ; но Огаревъ былъ добрѣе. Наконецъ, онъ натянулъ своимъ письмами свиданіе. Наша встрѣча сначала была холодна, непріятна, натянута, но ни Бѣлинскій, ни я, мы не были большіе дипломаты, въ продолженіи ничтожнаго разговора я помянулъ статью о бородинской годовщинѣ. Бѣлинскій вскочилъ съ своего мѣста и, вспыхнувъ въ лицѣ, пренаивно сказалъ мнѣ: «Ну, слава Богу, договорились же, а то я съ моимъ глупымъ правомъ не зналъ какъ начать... Ваша взяла: три-четыре мѣсяца въ Петербургѣ меня лучше убѣдили, чѣмъ все до-

воды. Забудете этот вздоръ. Довольно вамъ сказать, что на дняхъ я обѣдалъ у одного знакомаго, тамъ былъ инженерный офицеръ; хозяйникъ спросилъ его, хочетъ ли онъ со мной познакомиться?—Это авторъ статьи о бородинской годовщинѣ? спросилъ его на духо офицеръ.—Да.—Нѣтъ, покорно благодарю, сухо отвѣтилъ онъ.—Я слышалъ все и не могъ вытерпѣть, я горячо пожалъ руку офицеру, и сказалъ ему: вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю... Чего же вамъ больше?»

Съ этой минуты и до кончины Бѣлинскаго, мы шли съ нимъ рука въ руку.

Бѣлинскій, какъ слѣдовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей рѣчи, со всей непостоянной энергіей на свое прежнее воззрѣніе. Положеніе многихъ изъ его пріятелей было не очень завидное, *plus royalistes que le roi*—они съ мужествомъ несчастія старались отстаивать свои теоріи, не отказываясь, впрочемъ, отъ почетнаго перемирія.

Всѣ люди дѣльные и живые перешли на сторону Бѣлинскаго, только упорные формалисты и педанты отделились; одни изъ нихъ дошли до того нѣмецкаго самоубійства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякій жизненный интересъ и сами потерялись безъ вѣсти. Другіе сдѣлались православными славянофилами. Какъ сочетаніе Гегеля съ Стефаномъ Яворскимъ ни кажется странно, но оно возможно, чѣмъ думаютъ; византійское богословіе точно такъ же виѣшняя казунетика, игра логическими формулами, какъ формально принимаемая діалектика Гегеля. «Москвитининъ» въ нѣкоторыхъ статьяхъ далъ торжественное доказательство, до чего можетъ дойти при талантѣ содомизмъ философіи.

Бѣлинскій вовсе не оставилъ вмѣстѣ съ одностороннимъ пониманіемъ Гегеля его философію. Совсѣмъ напротивъ, отсюда то и начинается его живое, мѣткое, оригинальное сочетаніе идей философскихъ съ революціонными. Я считаю Бѣлинскаго однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ лицъ николаевскаго періода. Послѣ либерализма, кой-какъ пережившаго 1825 г. въ Полевомъ, послѣ мрачной статьи Чаадаева, является выстрадавшее, желчное отрицаніе и страстное вмѣшательство во всѣ вопросы Бѣлинскаго. Въ рядѣ критическихъ статей онъ кстати и не кстати касается всего, вездѣ вѣрный своей ненависти къ авторитетамъ, часто подымаясь до поэтическаго одушевленія. Разбираемая книга служила ему по большей части матеріальной точкой отправленія, на полдорогѣ онъ бросалъ ее и вливался въ какой-нибудь вопросъ. Ему достаточно стихъ: «Родные люди вотъ какіе» въ Онѣгинѣ, чтобъ вызвать къ суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношенія родства. Кто не помнитъ его статьи о «Та-

ранташъ», о «Парашъ» Тургенева, о Державинѣ, о Мочаловѣ и Гамлетѣ? Какая вѣрность своимъ началамъ, какая неустрашимая послѣдовательность, ловкость въ плаваніи между цензурными отмелями и какаѣ смѣлость въ нападкахъ на литературную аристократію, на писателей первыхъ трехъ классовъ, на статсъ-секретарей литературы, готовыхъ всегда взять противника не мытьемъ, такъ катаньемъ, не анти-критикой, такъ доносомъ. Бѣлинскій стегалъ ихъ безощадно, терзая мелкое самолюбіе чопорныхъ, ограниченныхъ творцовъ эклогъ, любителей образованія, благотворительности и пѣвности; онъ отдавалъ на посмѣянія ихъ дорогія *задушевыя* мысли, ихъ поэтическія мечтанія, цвѣтущія подъ сѣдинами, ихъ наивность, прикрытую аннинской лентой.

Какъ же они за то его и ненавидѣли!

Славянофилы, съ своей стороны, начали официально существовать съ войны противъ Бѣлинскаго; онъ ихъ подразнилъ до мурмолокъ и зипуновъ. Стоитъ вспомнить, что Бѣлинскій прежде писалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, а Кирѣевскій началъ издавать свой превосходный журналъ подъ заглавіемъ «*Европеецъ*»; эти названія всего лучше доказываютъ, что въ началѣ были только отгѣнки, а не мнѣнія, не партіи.

Статьи Бѣлинскаго судорожно ожидалась молодежью въ Москвѣ и Петербургѣ, съ 25 числа каждаго мѣсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейныя спрашивать, получены ли *Отечественныя Записки*; тяжелый померъ рвали изъ рукъ въ руки: «Есть Бѣлинскаго статья?»—«Есть», и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ вѣрованій, *уважений* какъ не бывало.

Не даромъ Скобелевъ, комендантъ Петропавловской крѣпости, говорилъ шутя Бѣлинскому, встрѣчаясь на Невскомъ проспектѣ: «Когда же къ намъ, у меня совсѣмъ готовъ тепленькій казематъ, такъ для васъ его и берегу».

Я въ другой книгѣ говорилъ о развитіи Бѣлинскаго и объ его литературной дѣятельности, здѣсь скажу нѣсколько словъ о немъ самомъ.

Бѣлинскій былъ очень застѣнчивъ и вообще терялся въ незнакомомъ обществѣ или въ очень многочисленномъ; онъ зналъ это и, желая скрыть, дѣлалъ пресмѣшныя вещи. К. уговорилъ его ѣхать къ одной дамѣ; по мѣрѣ приближенія къ ея дому, Бѣлинскій все становился мрачнѣе, спрашивалъ, нельзя ли ѣхать въ другой день, говорилъ о головной боли. К., зная его, не принималъ никакихъ отговорокъ. Когда они пріѣхали, Бѣлинскій, сходя съ саней, пустился было бѣжать, но К. поймалъ его за шинель и повелъ представлять дамѣ.



Онъ являлся иногда на литературно-дипломатическіе вечера князя Одоевскаго. Тамъ толпились люди, ничего не имѣвшіе общаго, кромѣ нѣкотораго страха и отвращенія другъ отъ друга; тамъ бывали посольскіе чиновники и археологъ Сахаровъ, жп-воинцы и А. Мейендорфъ, статскіе совѣтники изъ образованныхъ, Іоакимъ Вичуринъ изъ Пекина, полужандармы и полулитераторы, совѣтъ жандармы и вовсе не литераторы. А. К. домолчался тамъ до того, что генералы принимали его за авторитетъ. Хозяйка дома съ внутренней горестью смотрѣла на подлые вкусы своего мужа и уступала имъ, такъ, какъ Людовикъ Филиппъ въ началѣ своего царствованія, снисходя къ своимъ избирателямъ, приглашалъ на балы въ Тюльери цѣлые *rez des chaussées* подтяжныхъ мастеровъ, москательныхъ лавочниковъ, баншачниковъ и другихъ почтенныхъ гражданъ.

Бѣлинскій былъ совершенно потерявъ на этихъ вечерахъ, между какимъ-нибудь саксонскимъ посланникомъ, не понимавшимъ ни слова по русски и какимъ-нибудь чиновникомъ III отдѣленія, понимавшимъ даже тѣ слова, которыя умалчивались. Онъ обыкновенно занемогалъ потомъ на два, на три дня и проклиналъ того, кто уговорилъ его ѣхать.

Разъ въ субботу, наканунѣ новаго года, хозяйинъ вздумалъ варить жженку *en petit comité*, когда главные гости разъѣхались. Бѣлинскій непременно бы ушелъ, но баррикада мебели мѣшала ему, онъ какъ-то забился въ уголъ и передъ нимъ поставили небольшой столикъ съ виномъ и стаканами. Жуковскій въ бѣлыхъ форменныхъ штанахъ съ золотымъ «позументомъ» сѣлъ наискось противъ него. Долго терпѣлъ Бѣлинскій, но не видя улучшенія своей судьбы, онъ сталъ нѣсколько подвигать столъ; столъ сначала уступалъ, потомъ покачнулся и грохнулъ наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковскаго. Онъ вскочилъ, красное вино струилось по его панталонамъ; сдѣлался гвалтъ, слуга бросился съ салфеткой домарать виномъ остальные части панталонъ, другой подбиралъ разбитыя рюмки... Во время этой суматохи, Бѣлинскій исчезъ и, близкій къ кончинѣ, пѣшкомъ прибѣжалъ домой.

Милый Бѣлинскій! какъ его долго сердили и разстроивали подобныя происшествія, какъ онъ объ нихъ вспоминалъ съ ужасомъ, не улыбаясь, а похаживая по комнатѣ и покачивая головой.

Но въ этомъ застѣнчивомъ человѣкѣ, въ этомъ хиломъ тѣлѣ обитала мощная, гладиаторская натура! Да, это былъ сильный боецъ: онъ не умѣлъ проповѣдывать, поучать, ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздраженія, онъ не хорошо говорилъ, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались до его дорогихъ убѣжденій, когда у него начинали дрожать

мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ надобно было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ и по дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развивалъ свою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась изъ горла. Блѣдный, задыхающійся, съ глазами, остановленными на томъ, съ кѣмъ говорилъ, онъ дрожащей рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ жалѣлъ я его въ эти минуты!

Притѣняемый денежно литературными подрядчиками, притѣняемый нравственно цензурой, окруженный въ Петербургѣ людьми мало симпатичными, снѣдаемый болѣзнію, для которой балтійскій климатъ былъ убійствененъ, Бѣлинскій становился раздражительнѣе и раздражительнѣе. Онъ чуждался постороннихъ, былъ до дикости застѣнчивъ и иногда недѣли цѣлыя проводилъ въ мрачномъ бездѣйствіи. Тутъ редація посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литераторъ со скрежетомъ зубовъ брался за перо и писалъ тѣ ядовитыя статьи, трепещущія отъ негодованія, тѣ обвинительные акты, которые такъ поражали читателей.

Часто, выбившись изъ силъ, приходилъ онъ отдыхать къ намъ; лежа на полу съ двухлѣтнимъ ребенкомъ, онъ игралъ съ нимъ цѣлые часы. Пока мы были втроемъ, дѣло шло какъ нельзя лучше, но при звукѣ колокольчика, судорожная гримаса пробѣгала по лицу его и онъ безпокойно оглядывался и искалъ шляпу; потомъ оставался, по славянской слабости. Тутъ одно слово, замѣчаніе, сказанное не по немъ, приводило къ самымъ оригинальнымъ сценамъ и спорамъ...

Разъ приходитъ онъ обѣдать къ одному литератору на страстной недѣлѣ, подають постныя блюда. Давно ли, спрашиваетъ онъ, вы сдѣлались такъ богомольны?—Мы ѣдимъ, отвѣчаетъ литераторъ, постное просто на просто для людей.—*Для людей?*—спросилъ Бѣлинскій и поблѣднѣлъ—для людей? повторилъ онъ и бросилъ свое мѣсто. Гдѣ ваши люди? я имъ скажу, что они обмануты, всякій открытый порокъ лучше и человѣчественнѣе этого презрѣнія къ слабому и необразованному, этого лицемерія, поддерживающаго невѣжество. И вы думаете, что вы свободные люди? Прощайте, я не ѣмъ постнаго для поученія, у меня нѣтъ людей!

Въ числѣ закоснѣлѣйшихъ нѣмцевъ изъ русскихъ, былъ одинъ магистръ нашего университета, недавно пріѣхавшій изъ Берлина; добрый человекъ въ синихъ очкахъ, чопорный и приличный, онъ остановился навсегда, разстроивъ, ослабивъ свои

способности философией и филологией. Доктринеръ и нѣсколько педантъ, онъ любилъ поучительно наставлять. Разъ на литературной вечеринкѣ у романиста, наблюдавшаго для своихъ людей посты, магистръ проповѣдывалъ какую-то чушь *honnête et modérée*. Бѣлинскій лежалъ въ углу на кушеткѣ и когда я проходилъ мимо, онъ меня взялъ за руку и сказалъ:

«Слышалъ ли ты, что этотъ извергъ вретъ? у меня давно языкъ чешется, да что-то грудь болитъ и народу много, будь отцомъ роднымъ, одурачь какъ-нибудь, приклонни его, убей какой-нибудь наемъшкой, ты это лучше умѣешь—ну, утѣшь».

Я расхохотался и отвѣтилъ Бѣлинскому, что онъ меня травливаетъ какъ бульдога на крысѣ. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышалъ, что онъ говоритъ.

Къ концу вечера магистръ въ синихъ очкахъ, побранивши Кольцова за то, что онъ оставилъ народный костюмъ, вдругъ сталъ говорить о знаменитомъ писемѣ Чаадаева и заключилъ пошлую рѣчь, сказанную тѣмъ докторальнымъ тономъ, который самъ по себѣ вызываетъ на наемъшку, слѣдующими словами: «Какъ бы то ни было, я считаю его поступокъ презрительнымъ, гнуснымъ, я не уважаю такого человѣка».

Въ комнатѣ былъ одинъ человѣкъ близкій съ Чаадаевымъ, это я. О Чаадаевѣ я буду еще много говорить, я его всегда любилъ и уважалъ, и былъ любимъ имъ; мнѣ казалось неприличнымъ пропустить дикое замѣчаніе. Я сухо спросилъ его, полагаетъ ли онъ, что Чаадаевъ писалъ свою статью изъ видовъ или неоткровенно?

— Советамъ нѣтъ,—отвѣчалъ магистръ.

На этомъ завязался непріятный разговоръ, я ему доказывалъ, что эпитеты гнусный, презрительный — *гнусны и презрительны*, относясь къ человѣку, смѣло высказавшему свое мнѣніе и пострадавшему за него. Онъ мнѣ толковалъ о цѣлости народа, о единствѣ отечества, о преступленіи разрушать это единство, о святыняхъ, до которыхъ нельзя касаться.

Вдругъ мою рѣчь подкосилъ Бѣлинскій. Онъ вскочилъ съ своего дивана, подошелъ ко мнѣ уже блѣдный какъ полотно и, ударивъ меня по плечу, сказалъ:—«Вотъ они высказались—инквизиторы, цензоры—на веревочкѣ мысль водить»... и пошелъ, и пошелъ. Съ грознымъ вдохновеніемъ говорилъ онъ, приправляя серьезные слова убійственными колкостями. «Что за обидчивость такая, палками бьютъ, не обижаемся, въ Сибирь посылаютъ, не обижаемся, а тутъ Чаадаевъ, видите, зацѣпилъ народную честь, не смѣй говорить; рѣчь—дерзость, лакей никогда не долженъ говорить! Отчего же въ странахъ больше образованныхъ, гдѣ ка-

жется чувствительность тоже должна быть развитѣе, чѣмъ въ Костромѣ да Калугѣ, не обижаются словами?»

— Въ образованныхъ странахъ, сказалъ съ неподражаемымъ самодовольствомъ магистръ, есть тюрьмы, въ которыя запирають безумныхъ, оскорбляющихъ то, что цѣлый народъ чтить... и прекрасно дѣлають.

Бѣлинскій выросъ, онъ былъ страшенъ, великъ въ эту минуту, скрестивъ на больной груди руки и, глядя прямо на магистра, онъ отвѣтилъ глухимъ голосомъ:

— «А въ еще болѣе образованныхъ странахъ бываетъ гильотина, которой казнятъ тѣхъ, которые находятъ это прекраснымъ».

Сказавши это, онъ бросился на кресло, изнеможенный, и замолчалъ. При словѣ гильотина хозяинъ поблѣднѣлъ, гости обезпокоились, сдѣлалась пауза. Магистръ былъ уничтоженъ, но именно въ эти минуты самолюбіе людское и закусываетъ удила. И. Тургеневъ совѣтуетъ человѣку, когда онъ такъ затѣнется въ спорѣ, что самому сдѣлается страшно, провести разъ десять языкомъ внутри рта, прежде чѣмъ вымолвить слово.

Магистръ, не зная этого домашняго средства, продолжалъ по-роть вялые пустяки, обращаясь больше къ другимъ, чѣмъ къ Бѣлинскому.

— Несмотря на вашу нетерпимость, сказалъ онъ наконецъ, я увѣренъ, что вы согласитесь съ однимъ... — «Нѣтъ, отвѣчалъ Бѣлинскій, что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни съ чѣмъ!»

Все раземѣялись и пошли ужинать. Магистръ схватилъ шляпу и уѣхалъ.

...Лишенія и страданія скоро совѣмъ подточили болѣзненный организмъ Бѣлинскаго. Лицо его, особенно мышцы около губъ, печально остановившійся взоръ равно говорили о сильной работѣ духа и о быстромъ разложеніи тѣла.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ его въ Парижѣ осенью 1847 г., онъ былъ очень плохъ, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергія и ярко свѣтилась своимъ догорающимъ огнемъ. Въ такую минуту написалъ онъ свое письмо къ Гоголю.

Вѣсть о февральской революціи еще застала его въ живыхъ, онъ умеръ, принимая зарево ея за занимающееся утро!

---

Такъ оканчивалась эта глава въ 1854 г.; съ тѣхъ поръ многое перемѣнилось. Я сталъ гораздо ближе къ тому времени, ближе увеличивающейся далью отъ здѣшнихъ людей, пріѣздомъ Огарева и двумя книгами: Анненковской біографіей Станкевича и первыми частями сочиненій Бѣлинскаго. Изъ вдругъ раскрывшагося окна

въ больничной палатѣ дунуло свѣжимъ воздухомъ полей, молодымъ воздухомъ весны.

Перениска Станкевича прошла незамѣтно. Она появилась не кетати. Въ концѣ 1857 Россія ждала и надѣялась; это худшее настроеніе для воспоминаній... Но книга эта не пропадетъ. Она останется, на убогомъ кладбищѣ, однимъ изъ рѣдкихъ памятникъ своего времени, по которымъ грамотный можетъ прочесть, что тогда хоронилось безгласно. Полоса, идущая отъ 1825 до 1855 года, скоро совѣмъ задвинется; человѣческіе слѣды пропадутъ и будущія поколѣнія не разъ остановятся съ недоумѣніемъ передъ гладко убитымъ пустыремъ, отыскивая пропавшіе пути мысли, которая въ сущности не перерывалась. Повидимому, потокъ былъ остановленъ, но кровь переливалась проселочными тропинками. Вотъ эти-то волосяные сосуды и оставили свой слѣдъ въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго, въ перенискѣ Станкевича.

Тридцать лѣтъ тому назадъ, Россія *будущаго* существовала исключительно между нѣсколькими мальчиками, только что вышедшими изъ дѣтства, а въ нихъ было наслѣдіе общечеловѣческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, какъ трава, пытающаяся расти на губахъ непростыиваго кратера.

Въ самой пастѣ чудовища выдѣляются дѣти, не похожія на другихъ дѣтей; они растутъ, развиваются и начинаютъ жить совѣмъ другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничѣмъ не поддержанные, напротивъ, веѣмъ гонимые, они легко могутъ погибнуть безъ малѣйшаго слѣда, *но остаются*, и если умираютъ на полдорогѣ, то не все умираетъ съ ними. Это начальныя ячейки, зародыши исторіи, едва замѣтные, едва существующіе, какъ всѣ зародыши вообще.

Мало по малу изъ нихъ составляются группы. Болѣе родное собирается около своихъ средоточій; группы потомъ отталкиваютъ другъ друга. Это расчлененіе даетъ имъ ширь и многосторонность для развитія; развиваясь до конца, т. е. до крайности, вѣтви опять соединяются, какъ бы онѣ ни назывались—кругомъ Станкевича, славянофилами или нашимъ кружкомъ.

Главная черта веѣхъ ихъ—глубокое чувство отчужденія отъ официальной Россіи, отъ среды ихъ окружавшей, и съ тѣмъ вмѣстѣ, стремленіе выйти изъ нея,—а у нѣкоторыхъ порывистое желаніе вывести и ее самое.

Возраженіе, что эти кружки, незамѣтные ни сверху, ни снизу, представляютъ явленіе исключительное, постороннее, безсвязное, что воспитаніе большей части этой молодежи было экзотическое, чужое, и что они скорѣе выражаютъ переводъ на русское французскихъ и нѣмецкихъ идей, чѣмъ что-нибудь свое,—намъ кажется очень неосновательнымъ.

Можетъ, въ концѣ прошлаго и началѣ нашего вѣка, была въ аристократіи закрапка русскихъ иностранцевъ, обрвавшихъ всѣ связи съ народной жизнью; но у нихъ не было ни живыхъ интересовъ, ни круговъ, основанныхъ на убѣжденіяхъ, ни своей литературы. Они вымерли безплодно. Жертвы петровскаго разрыва съ народомъ, они остались чужаками и капризниками; это были люди не только не нужные, но и не жалкіе. Война 1812 года положила имъ предѣлъ,—старые доживали свой вѣкъ, новыхъ не развивалось въ томъ направленіи. Ставить въ ихъ число людей въ родѣ П. Я. Чаадаева было бы страшнѣйшей ошибкой.

Протестанціи, отрицаніе, ненависть къ роднѣ, если хотите, имѣють совсѣмъ иной смыслъ, чѣмъ равнодушная чуждость. Байронъ, бичуя англійскую жизнь, бѣгая отъ Англіи, какъ отъ чумы, оставался типическимъ англичаниномъ. Гейне, старавшійся изъ озлобленія, за гнусное политическое состояніе Германіи, офранцузиться, оставался истымъ нѣмцемъ. Высшій протестъ противъ юдаизма, христіанство исполнено юдаическаго характера. Разрывъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ съ Англіей могъ развить войну и ненависть, но не могъ сдѣлать изъ сѣверо-американцевъ не-англичанъ.

Люди вообще отрѣшаются отъ своихъ фізіологическихъ воспоминаній и отъ своего наследственнаго склада очень трудно; для этого надобно или особенную безстрастную стертость, или отвлеченныя занятія. Безличность математики, внѣ-человѣческая объективность природы не вызываютъ этихъ сторонъ духа, не будятъ ихъ; но какъ только мы касаемся вопросовъ жизненныхъ, художественныхъ, нравственныхъ, гдѣ человѣкъ не только наблюдатель и слѣдователь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и участникъ, тамъ мы находимъ фізіологическій предѣлъ, который очень трудно перейти съ прежней кровью и прежнимъ мозгомъ, не исключивъ изъ нихъ слѣды колыбельныхъ пѣсенъ, родныхъ полей и горъ, обычаевъ и всего окружавшаго строя.

Поэтъ и художникъ въ истинныхъ своихъ произведеніяхъ всегда народенъ. Чтобъ онъ ни дѣлалъ, какую бы онъ не имѣлъ цѣль и мысль въ своемъ творествѣ, онъ выражаетъ волею или неволею какія-нибудь стихіи народнаго характера и выражаетъ ихъ глубже и яснѣе, чѣмъ сама исторія народа. Даже отрѣшаясь отъ всего народнаго, художникъ не утрачиваетъ главныхъ чертъ, по которымъ можно узнать *чьихъ онъ*. Гёте нѣмецъ и въ греческой Пифгеніи и въ восточномъ Диванѣ. Поэты въ самомъ дѣлѣ, по римскому выраженію, «пророки»; только они высказываютъ не то, чего нѣтъ и что будетъ случайно, а то, *что неизвѣстно*, что есть въ тускломъ сознаніи массъ, что еще дремлетъ въ немъ.

Все, что искони существовало въ душѣ народовъ англо-саксонскихъ, перехвачено какъ кольцомъ одной личностью,—и каждое волокно, каждый намекъ, каждое посягательство, бродившее изъ поколѣнья въ поколѣнье, не отдавая себѣ *отчета*, получило форму и языкъ.

Вѣроятно никто не думаетъ, чтобы Англія временъ Елизаветы, особенно большинство народа, понимало отчетливо Шекспира; оно и теперь не понимаетъ отчетливо—да, вѣдь, они и себя не понимаютъ отчетливо. Но что англичанинъ, ходящій въ театръ, инстинктивно, по сочувствію понимаетъ Шекспира, въ этомъ я не сомнѣваюсь. Ему на ту минуту, когда онъ слушаетъ, становится что-то знакомѣе, яснѣе. Казалось бы народъ, такой способный на быстрое соображеніе, какъ французы, могъ бы тоже понять Шекспира. Характеръ Гамлета, напр., до такой степени обще-человѣческій, особенно въ эпоху сомнѣній и раздумья, въ эпоху сознанія какихъ-то черныхъ дѣлъ, совершившихся возлѣ нихъ, какихъ-то измѣнъ великому въ пользу ничтожнаго и пошлаго, что трудно себѣ представить, чтобы его не поняли. Но не смотря на все усилія и опыты, Гамлетъ чужой для француза.

Если аристократы прошлаго вѣка, систематически пренебрегавшіе всею русею, оставались въ самомъ дѣлѣ невѣроятно большіе русскими, чѣмъ дворовые оставались мужиками, то тѣмъ большіе русскаго характера не могло утратиться у молодыхъ людей отъ того, что они занимались науками по французскимъ и нѣмецкимъ книгамъ. Часть московскихъ славянъ съ Гегелемъ въ рукахъ вошли въ ультра-славянизмъ.

Самое появленіе кружковъ, о которыхъ идетъ рѣчь, было естественнымъ отвѣтомъ на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.

Объ застоѣ послѣ перелома въ 1825 году мы говорили много разъ. Нравственный уровень общества палъ, развитіе было прервано, все передовое, энергическое, вычеркнуто изъ жизни. Остальные—испуганные, слабые, потерянные—были мелки, пусты; дрянъ александровскаго поколѣнья заняла первое мѣсто; они, мало по малу, превратились въ подобострастныхъ дѣльцевъ, утратили дикую поэзію кутежей и барства и всякую тѣнь самобытнаго достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время ихъ прошло.

Подъ этимъ большимъ *свѣтомъ* безучастно молчалъ большой *міръ* народа; для него ничего не перемѣнилось,—ему было скверно, но не сквернѣе прежняго, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время *не пришло*. Между этой крышей и этой основой, дѣти первые приподняли голову, можетъ оттого, что они



не подозрѣвали, какъ это опасно; но какъ бы то ни было, этими дѣтymi ошеломленная Россія начала приходить въ себя.

Ихъ остановило совершеннѣйшее противурѣчiе словъ ученiя съ *быльями* жизни вокругъ. Учители, книги, университетъ говорили одно, и это одно было понятно уму и сердцу. Отецъ съ матерью, родные и вся среда говорили другое, съ чѣмъ ни умъ, ни сердце не согласны, но съ чѣмъ согласны предрѣжачiя власти и денежныя выгоды. Противурѣчiе это между воспитанiемъ и правами нигдѣ не доходило до такихъ размѣровъ, какъ въ дворянской Руси. Шершавый нѣмецкiй студентъ, въ круглой фуражкѣ на седьмой части головы, съ міросокрушительными выходками, гораздо ближе, чѣмъ думаютъ, къ нѣмецкому шпелебургеру; а пехудалый отъ соревнованiя и честолюбія *collégien* французскiй уже en herbe l'homme raisonnable, qui exploite sa position.

Число воспитывающихся у насъ всегда было чрезвычайно мало; но тѣ, которые воспитывались, получали не то чтобъ обшiеминое воспитанiе, но довольно обшiе и гуманное; оно *очеловѣчивало* учениковъ всякiй разъ, когда принималось. Но *человѣка* то именно и неужно было ни для іерархической пирамиды, ни для преусиженiя помѣщичьего быта. Приходилось или снова расчеловѣчиться—такъ толпа и дѣлала—или пріостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли дѣйствительно быть помѣщикомъ?» За симъ, для однихъ, болѣе слабыхъ и нетерпѣливыхъ, начиналось праздное существованiе корнета въ отставкѣ, деревенской лѣни, халата, странностей, картъ, вина; для другихъ—время искуса и внутренней работы. Жить въ полномъ нравственномъ разладѣ они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательнымъ устраненiемъ себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрѣшенiе вопросовъ, одинаково мучившихъ молодое поколѣніе, обусловило распаденье на разныя круги.

Такъ сложился, напимѣръ, нашъ кружокъ и встрѣтилъ въ университетѣ, уже готовымъ, кружокъ Сунгуровскiй. Направленiе его было, какъ и наше, больше политическое, чѣмъ научное. Кругъ Станкевича, образовавшійся въ то же время, былъ равно близокъ и равно далекъ съ обоими. Онъ шелъ другимъ путемъ, его интересы были чисто теоретическіе.

Въ тридцатыхъ годахъ убѣжденiя наши были слишкомъ юны, слишкомъ страстны и горячи, чтобъ не быть исключительными. Мы могли холодно уважать кругъ Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философскія системы, занимались анализомъ себя и услаивались въ роскошномъ пантензмѣ, изъ котораго не исключалось христіанство. Мы мечтали о томъ, какъ начать въ Россіи новый союзъ по образцу декабристовъ и самую науку

считали средствомъ. Правительство постаралось закрѣпить насъ въ тенденціяхъ нашихъ.

Въ 1834 году былъ сосланъ весь кружокъ Сунгурова — и исчезъ.

Въ 1835 году сослали насъ; черезъ пять лѣтъ, мы возвратились, закаленные испытаннымъ. Юношескія мечты сдѣлались невозвратнымъ рѣшеніемъ совершеннолѣтнихъ. Это было самое блестящее время Станкевича круга. Его самого я ужъ не засталъ, онъ былъ въ Германіи; но именно тогда статьи Бѣлинскаго начинали обращать на себя вниманіе всѣхъ.

Возвратившись, мы помѣрились. Бой былъ неровенъ съ обѣихъ сторонъ; почва, оружіе и языкъ — все было разное. Послѣ безплодныхъ преній, мы увидѣли, что пришелъ нашъ чередъ серьезно заняться наукой и сами принялись за Гегеля и нѣмецкую философію. Когда мы довольно усвоили се себѣ, оказалось, что между нами и кругомъ Станкевича спору нѣтъ.

Кругъ Станкевича долженъ былъ неминуемо распухнуться. Онъ свое сдѣлалъ, и сдѣлалъ самымъ блестящимъ образомъ; влияние его на всю литературу и на академическое преподаваніе было огромно, — стоитъ назвать Бѣлинскаго и Грановскаго; въ немъ сложился Кольцовъ, къ нему принадлежали Воткинъ, Катковъ и пр. Но замкнутымъ кругомъ онъ оставаться не могъ, не перейдя въ нѣмецкій доктринаризмъ, — живые люди изъ русскихъ къ нему не способны.

Возлѣ Станкевича круга, сверхъ насъ, былъ еще другой кругъ, сложившійся во время нашей ссылки, и былъ съ ними въ такой же чрезполосицѣ, какъ и мы; его-то въ послѣдствіи называли славянофилами. *Славяне* приближались съ противоположной стороны къ тѣмъ же жизненнымъ вопросамъ, которые занимали насъ, были гораздо больше ихъ ринуты въ живое дѣло и въ настоящую борьбу.

Между ними и нами естественно должно было раздѣлиться общество Станкевича. Аксаковы, Самаринъ примкнули къ славянамъ, т. е. къ Хомякову и Кирѣевскимъ. Бѣлинскій, Бакунинъ — къ намъ. Ближайшій другъ Станкевича, наиболѣе родной ему всѣмъ существомъ своимъ, Грановскій, былъ нашимъ съ самаго пріѣзда изъ Германіи.

Если-бъ Станкевичъ остался живъ, кружокъ его все же бы не устоялъ. Онъ самъ перешелъ бы къ Хомякову или къ намъ.

Въ 1842 сортпровка по сродству давно была сдѣлана, и нашъ станъ сталъ въ боевой порядокъ лицомъ къ лицу съ славянами. Объ этой борьбѣ мы будемъ говорить въ другомъ мѣстѣ.

Въ заключеніе прибавлю нѣсколько словъ объ элементахъ, изъ которыхъ составилъ кругъ Станкевича; это бросаетъ своего

рода лучъ на странные подземные потоки, въ тѣни подмывающіе плотную кору русско-нѣмецкаго устройства.

Станкевичъ былъ сынъ богатаго воронежскаго помѣщика, сначала воспитывался на всей барской волѣ, въ деревнѣ, потомъ его посылали въ острожское училище (я это чрезвычайно оригинально). Для хорошихъ натуръ богатое и даже аристократическое воспитаніе очень хорошо. Довольство даетъ развязную волю и ширь всякому развитію и всякому росту, не стигиваетъ молодой умъ преждевременной заботой, боязнью передъ будущимъ, наконецъ, оставляетъ полную волю заниматься тѣми предметами, къ которымъ влечетъ.

Станкевичъ развивался стройно и широко; его художественная, музыкальная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сильно рефлектирующая и созерцающая натура заявила себя съ самаго начала университетскаго курса. Способность Станкевича не только глубоко и сердечно понимать, но и примирять, или, какъ нѣмцы говорятъ, *снимать* противорѣчія, была основана на его художественной натурѣ. Потребность гармоніи, стройности, наслажденія дѣлаетъ ихъ снисходительными къ средствамъ; чтобъ не видать колодца, они покрываютъ его холстомъ. Холстъ не выдержитъ напора, но зіяющая пропасть не мѣшаетъ глазу. Этимъ путемъ нѣмцы доходили до пантеистическаго квіетизма и опочили на немъ; но такой даровитый русскій, какъ Станкевичъ, не остался бы надолго «мирнымъ».

Это видно изъ перваго вопроса, который невольно тревожитъ Станкевича тотчасъ послѣ курса.

Срочныя занятія окончены, онъ предоставленъ себѣ, его не ведутъ, но *онъ не знаетъ, что ему дѣлать*. Продолжать нечего было, кругомъ никто и ничто не звало живого человѣка. Юноша, пришедшій въ себя и успѣвшій оглядѣться послѣ школы, находился въ тогдашней Россіи въ положеніи путника, просыпающагося въ степи: ступай, куда хочешь,—есть слѣды, есть кости погубившихъ, есть дикіе звѣри и пустота во все стороны, грозящая тупой опасностью, въ которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и съ любовью—это *ученье*.

И вотъ Станкевичъ натягиваетъ ученыя занятія, онъ думаетъ, что его призваніе быть историкомъ, и онъ начинаетъ заниматься Геродотомъ; изъ этого занятія, можно было предвидѣть, ничего не выйдетъ.

Хотѣлось бы ему и въ Петербургъ, гдѣ такъ кипитъ *какая-то* дѣятельность и куда его манитъ театр и близость къ Европѣ, хотѣлось бы ему побывать почетнымъ зрителемъ училища въ Острожскѣ; онъ рѣшается быть полезнымъ «на этомъ

скромномъ поприщѣ»,—это еще меньше Геродота удастся. Его въ сущности тянетъ въ Москву, въ Германію, въ родной университетскій кругъ, къ роднымъ интересамъ. Безъ близкихъ людей онъ жить не могъ (новое доказательство, что около не было близкихъ интересовъ). Потребность сочувствія такъ сильна у Станкевича, что онъ иногда выдумывалъ сочувствіе и таланты, видѣлъ въ людяхъ такіа качества, которыхъ не было въ нихъ вовсе, и удивлялся имъ <sup>1)</sup>).

Но—и въ этомъ его личная мощь—ему вообще не часто нужно было прибѣгать къ такимъ фнкціямъ, онъ на каждомъ шагѣ встрѣчалъ удивительныхъ людей, *умѣлъ ихъ* встрѣчать, и каждый, подѣлившійся его душою, оставался на всю жизнь страстнымъ другомъ его и каждому своимъ вліяніемъ онъ сдѣлалъ или огромную пользу, или облегчилъ ношу.

Въ Воронежѣ Станкевичъ захаживалъ иногда въ единственную тамошнюю бібліотеку за книгами. Тамъ онъ встрѣчалъ бѣднаго молодого человѣка простого званія, скромнаго, печальнаго. Оказалось, что это сынъ прасола, имѣвшаго дѣла съ отцомъ Станкевича по поставкамъ. Онъ приглубилъ молодого человѣка; сынъ прасола былъ большою начетчикъ и любилъ поговорить о книгахъ. Станкевичъ сблизился съ нимъ. Застѣчиво и боязливо признался юноша, что онъ и самъ пробовалъ писать стихи и, краснѣя, рѣшился ихъ показать. Станкевичъ обомлѣлъ передъ громаднымъ талантомъ, не сознающимъ себя, не увѣреннымъ въ себя. Съ этой минуты онъ его не выпускалъ изъ рукъ до тѣхъ поръ, пока вся Россія съ восторгомъ перечитывала пѣсни Кольцова. Весьма можетъ быть, что бѣдный прасоль, тѣснымъ родными, неотобрѣтый никакимъ участіемъ, ничьимъ признаіемъ, познелъ бы своими пѣснями въ пустыхъ степяхъ заволжескихъ, черезъ которыя онъ гонялъ свои гурты, и Россія не услышала бы этихъ чудныхъ кровно-родныхъ пѣсень, если-бъ на его пути не стоялъ Станкевичъ.

Бакунинъ, кончивъ курсъ въ артиллерійскомъ корпусѣ, былъ выпущенъ въ гвардію офицеромъ. Его отецъ, говорятъ, сердясь на него, самъ просилъ, чтобы его перевели въ армію; брошенный въ какой-то потерянной бѣлорусской деревнѣ, съ своимъ паркомъ, Бакунинъ одичалъ, сдѣлался негодимомъ, не исполнялъ службы и дни цѣлые лежалъ въ тулупѣ на своей постели. Начальникъ парка жалѣлъ его, но дѣлать было нечего, онъ ему напомнилъ, что надобно или служить, или идти въ отставку. Ба-

<sup>1)</sup> Ключниковъ пластически выразилъ это слѣдующимъ замѣчаніемъ: „Станкевичъ — серебряный рубль, завидующій величинѣ мѣднаго пятака“ (Аннен. біограф. Станкевича, стр. 133).

кунинъ не подзрѣвалъ, что онъ имѣеть на это право, и тотчасъ попросилъ его уволить. Получивъ отставку, Бакунинъ пріѣхалъ въ Москву; съ этого времени (около 1836) началась для Бакунина серьезная жизнь. Онъ прежде ничѣмъ не занимался, ничего не читалъ и едва зналъ по-нѣмецки. Съ большими діалектическими способностями, съ упорнымъ, настойчивымъ даромъ мышления, онъ блуждалъ, безъ плана и компаса, въ фантастическихъ построеніяхъ и ауто-дидактическихъ попыткахъ. Станкевичъ понималъ его таланты и засадилъ его за философію. Бакунинъ, по Канту и Фихте, выучился по-нѣмецки и потомъ принялся за Гегеля, котораго методу и логику онъ усвоилъ въ совершенствѣ, и кому не проповѣдывалъ ее потомъ? Намъ и Вѣлинскому, дамамъ и Прудону.

Но Вѣлинскій черпалъ столько же изъ самаго источника; взгляды Станкевича на художество, на поэзію и ея отношеніе къ жизни, выросъ въ статьяхъ Вѣлинскаго въ ту новую мощную критику, въ то новое воззрѣніе на міръ, на жизнь, которое поразило все мыслящее въ Россіи и заставило съ ужасомъ отпрянуть отъ Вѣлинскаго всѣхъ педантовъ и доктринеровъ. Вѣлинскаго Станкевичу приходилось заарканивать; увлекающійся за всѣ предѣлы талантъ его, страстный, безпощадный, злой отъ петеримости, оскорблялъ эстетически уравновѣшенную натуру Станкевича.

И въ то же время ему приходилось служить опорой, быть старшимъ братомъ, ободрять Грановскаго, тихаго, любящаго, задумчиваго и расхандривавшагося тогда. Письма Станкевича къ Грановскому изящны, прелестны,—и какъ же его любилъ Грановскій!

«Я еще не опомился отъ перваго удара, писалъ Грановскій, вскорѣ послѣ кончины Станкевича, настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не вѣрю въ возможность потери, только иногда сжимается сердце. Онъ унесъ съ собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свѣтѣ не былъ я такъ много обязанъ. Его вліяніе на насъ было безконечно и благотворно».

... И сколько человѣкъ могли сказать это! Можетъ, сказали!...

Въ Станкевичевскомъ кругу только онъ и Боткинъ были достаточные и совершенно обезпеченные люди. Другіе представляли самый разнообразный пролетаріатъ. Бакунину родные не давали ничего; Вѣлинскій — сынъ мелкаго чиновника въ Чембарахъ, исключенный изъ московскаго университета «за слабыя способности», жилъ скудной платой за статьи. Красовъ, окончивъ курсъ, какъ-то поѣхалъ въ какую-то губернію къ помѣщику на *кондицію*; но жизнь съ патріархальнымъ плантаторомъ такъ его испугала,

что онъ пришелъ пѣшкомъ назадъ въ Москву, съ котомкой за спиной, зимою, въ обозѣ чьихъ-то крестьянъ. Вѣроятно, каждому изъ нихъ отецъ съ матерью, благословляя на жизнь, говорили (и кто осмѣлится упрекнуть ихъ за это?): «Ну, смотри же, учись хорошенько; а выучишься, прокладывай себѣ дорогу, тебѣ не откуда ждать наслѣдства, намъ тебѣ тоже нечего дать, устройвай самъ свою судьбу, да и объ насъ подумай». Съ другой стороны, вѣроятно Станкевичу говорили о томъ, что онъ по всему можетъ занять въ обществѣ почетное мѣсто, что онъ призванъ, по богатству и рожденію, играть роль, такъ, какъ Боткину все въ домѣ, начиная отъ старика отца до приказчиковъ, толковало словомъ и примѣромъ о томъ, что надобно ковать деньги, наживаться и наживаться.

Что же коснулось этихъ людей, чье дыханіе пересоздало ихъ? Ни мысли, ни заботы о своемъ общественномъ положеніи, о своей личной выгодѣ, объ обезпеченіи; вся жизнь, все усиліи устремлены къ общему безъ всякихъ личныхъ выгодъ; одни забываютъ свое богатство, другіе свою бѣдность—и идутъ, не останавливаясь, къ разрѣшенію теоретическихъ вопросовъ. Интересъ истины, интересъ науки, интересъ искусства, *humanitas*—поглощаютъ все.

И замѣтите, что это отрѣшеніе отъ міра сего вовсе не ограничивалось университетскимъ курсомъ и двумя, тремя годами юности. Лучшие люди круга Станкевича умерли; другіе остались, какими были, до цѣлѣннаго дня. Бойцомъ и нищимъ палъ, изнуренный трудомъ и страданіями, Бѣлинскій. Проповѣдую науку и гуманность, умеръ, идучи на свою кафедру, Грановскій. Боткинъ не сдѣлался въ самомъ дѣлѣ кунцомъ... Никто изъ нихъ не отличался по службѣ.

То же самое въ двухъ смежныхъ кругахъ, въ славянскомъ и въ нашемъ. Гдѣ, въ какомъ углу современнаго Запада, найдете вы такіе группы отшельниковъ мысли, схимниковъ науки, фанатиковъ убѣжденій, у которыхъ сѣдѣютъ волосы, а стремленья вѣчно юны?

Гдѣ? Укажите,—я бросаю смѣло перчатку, исключая только на время одну страну, Италію, и отмѣрю шаги поля битвы, т. е. не выпущу противника изъ статистики въ исторію.

Что такое былъ теоретическій интересъ и страсть истины и религій во времена такихъ мучениковъ разума и науки, какъ Бруно, Галилей и пр., мы знаемъ. Знаемъ и то, что была Франція энциклопедистовъ во второй половинѣ XVIII вѣка, а далѣе? А далѣе—*sta viator!*

Въ современной Европѣ нѣтъ юности и нѣтъ юношей. Мнѣ на это уже возражалъ самый блестящій представитель Франціи послѣднихъ годовъ реставраціи и іюльской династіи, Викторъ



Гюго. Онъ собственно говорилъ о молодой Франціи двадцатыхъ годовъ, и я готовъ согласиться, что я слишкомъ обще выразился <sup>1)</sup>; но далѣе я и ему ни шагу не уступлю. Есть собственные признанія. Возьмите «Les mémoires d'un enfant du siècle» и стихотворенія Альфреда де Мюссе, возстановите ту Францію, которая просвѣчивается въ запискахъ Ж. Занда, въ современной драмѣ и повѣсти, въ процессахъ.

Но что же доказываетъ все это? Многое; но на первый случай то, что нѣмецкой работы китайскіе башмаки, въ которыхъ Россію водятъ полтора ста лѣтъ, натерли много мозолей, но видно костей не повредили, если всякой разъ, когда удастся расправить члены, являются такіа свѣжія и молодыя силы. Это нисколько не обезпечиваетъ будущаго, но дѣлаетъ его крайне *возможнымъ*.

## ГЛАВА XXV.

Предостереженія.—Герольдія.—Канцелярія министра.—III Отдѣленіе.—Исторія будочника.—Генералъ Дуббельтъ.—Графъ Бенкендорфъ.—Ольга Александровна Жеребцова.—Вторая ссылка.

Какъ ни привольно было намъ въ Москвѣ, но приходилось перебираться въ Петербургъ. Отецъ мой требовалъ этого; графъ Строгановъ—министръ внутреннихъ дѣлъ—велѣлъ меня зачислить по канцеляріи министерства, и мы отправились туда въ концѣ лѣта 1840 года.

Впрочемъ, я былъ въ Петербургѣ двѣ-три недѣли въ декабрѣ 1839.

Случилось это такъ. Когда съ меня сняли надзоръ и я получилъ право выѣзжать «въ резиденцію и въ столицу», какъ выражался К. Аксаковъ, отецъ мой рѣшительно предпочелъ древней столицѣ невеликую резиденцію. Графъ Строгановъ, попечитель, писалъ брату, и мнѣ слѣдовало явиться къ нему. Но это не все. Я былъ представленъ владимірекимъ губернаторомъ къ чину коллежскаго асессора: отцу моему хотѣлось, чтобъ я этотъ чинъ получилъ какъ можно скорѣе. Въ герольдіи есть чередъ для губерній; чередъ этотъ идетъ черепашинымъ шагомъ, если нѣтъ особенныхъ ходатайствъ. Они почти всегда есть. Цѣна имъ дорога, потому что все представленіе можно пустить внѣ очередного порядка, но одного чиновника нельзя вырвать изъ списка.

<sup>1)</sup> В. Гюго, прочитавъ «Былое и Думы» въ переводѣ Де-Лаво, писалъ мнѣ письмо въ защиту французскихъ юношей временъ реставраціи.



Поэтому надо платить за всѣхъ, «а то—за что же остальные даромъ обойдутъ чередъ?» Обыкновенно чиновники дѣлаютъ складку и посылаютъ депутата отъ себя. На этотъ разъ издержки бралъ на себя мой отецъ и такимъ образомъ нѣсколько владимірейскихъ титулярныхъ совѣтниковъ обязаны ему, что они мѣсяцевъ восемь прежде стали ассессорами.

Отправляя меня въ Петербургъ хлопотать по этому дѣлу, мой отецъ, простившись со мною, еще разъ повторилъ: «Бога ради, будь остороженъ, бойся всѣхъ, отъ кондуктора въ diligencе до моихъ знакомыхъ, къ которымъ я даю тебѣ письма, не довѣрайся никому. Петербургъ теперь не то, что былъ въ наше время, тамъ во всякомъ обществѣ навѣрное есть муха или двѣ. *Tiens toi pour averti*».

Съ этимъ эниграфомъ къ петербургской жизни сѣлъ я въ diligencе первоначальнаго заведенія, т. е., имѣющаго всѣ недостатки, послѣдовательно устраненные другими, и поѣхалъ.

Пріѣхавъ часовъ въ девять вечеромъ въ Петербургъ, я взялъ извозчика и отправился на Исакиевскую площадь,—съ нея хотѣлъ я начать знакомство съ Петербургомъ. Все было покрыто глубокимъ снѣгомъ, только Петръ I на конѣ мрачно и грозно вырѣзывался среди ночной темноты на сѣромъ фонѣ:

Чертя сквозь ночной туманъ,  
Съ поднятой гордо головою,  
Надменно выпрямивъ свой станъ,  
Куда-то кажетъ вдаль рукою  
Съ коня могучій великанъ;  
А конь, притянутый уздою,  
Поднялся вверхъ съ переднихъ ногъ,  
Чтобъ всадникъ дальше видѣть могъ.

(Юморъ).

Возвратившись въ гостиницу, я нашелъ у себя одного родственника; поговоривши съ нимъ о томъ, о семъ, я, не думая, коснулся до Исакиевской площади и до 14 декабря.

— Что дядюшка? — спросилъ меня родственникъ,—какъ вы оставили его?

— Слава Богу, какъ всегда, онъ вамъ кланяется...

Родственникъ, не мѣняя нисколько лица, однимъ зрачкомъ телеграфировалъ мнѣ упрекъ, совѣтъ, предостереженіе; зрачки его, косясь, заставили меня обернуться,—истопникъ клалъ дрова въ печь; когда онъ затопилъ ее, причемъ самъ отправлялъ должность раздувательныхъ мѣховъ и сдѣлалъ на полу лужу снѣгомъ, оттаявшимъ съ его сапогъ, онъ взялъ кочергу длиною съ казакскую палку и вышелъ.

Родственникъ мой принялся тогда меня упрекать, что я при истонникѣ коснулся такого скабрязнаго предмета, да еще по-русски. Уходя, онъ сказалъ мнѣ въ полголоса:

— Кстати, чтобъ не забыть, тутъ ходитъ цирюльникъ въ отель, онъ продастъ всякую дрянъ, гребенки, порченную помаду; пожалуйста, будьте съ нимъ осторожны, я увѣренъ, что онъ въ связяхъ съ полиціей,—болтаетъ всякій вздоръ. Когда я здѣсь стоялъ, я покупалъ у него пустяки, чтобъ скорѣе отдѣлаться.

— Для поощренія. Ну, а прачка тоже числится по корпусу жандармовъ?

— Смѣйтесь, смѣйтесь, вы скорѣе другого попадетесь; только что воротились изъ ссылки, за вами десять нѣнь приставятъ.

— Въ то время, какъ и семерыхъ довольно, чтобъ быть безъ глазу.

На другой день поѣхалъ я къ чиновнику, занимавшемуся прежде дѣлами моего отца; онъ былъ изъ малороссіянъ, говорилъ съ воиномъ акцентомъ по-русски, вовсе не слушая о чемъ рѣчь, всему удивлялся, закрывая глаза и какъ-то по мышинному приподнимая пухленькія ланки... Не вытерпѣлъ и онъ и, видя, что я взялъ шляпу, отвелъ меня къ окошку, осмотрѣлся и сказалъ мнѣ: «Ужъ это вы не погибайте, такъ по стародавнему знакомству съ семействомъ вашего батюшки и ихъ покойныхъ братцевъ, вы, т. е., насчетъ гисторіи, бывшей съ вами, не очень поговаривайте. Ну, помилуйте, сами обсудите, къ чему это нужно, теперь все прошло какъ димъ; вы что-то молвили при моей кухаркѣ,—чузна, кто ее знаетъ, я даже такъ немножко—очень испугався».

Пріятный городъ, подумалъ я, оставляя испуганнаго чиновника... Рыхлой снѣгъ валилъ хлопьями, мокро-холодный вѣтеръ принималъ до костей, рвалъ шляпу и шинель. Кучеръ, едва видя на шагъ передъ собой, щурясь отъ снѣгу и наклоня голову, кричалъ «гисъ, гисъ». Я вспомнилъ совѣтъ моего отца, вспомнилъ родственника, чиновника и того воробья путешественника въ сказкѣ Ж. Зандъ, который спрашивалъ полузамерзнувшего волка въ Липтвѣ, зачѣмъ онъ живетъ въ такомъ скверномъ климатѣ? «Свобода, отвѣчалъ волкъ, заставляетъ забыть климатъ».

Кучеръ правъ — «берегись, берегись!» И какъ мнѣ хотѣлось поскорѣй уѣхать.

Я и то недолго остался въ мой первый пріѣздъ. Въ три недѣли я все покончилъ и къ новому году прискакалъ назадъ во Владиміръ.

Опытность, пріобрѣтенная мною въ Вяткѣ, послужила мнѣ чрезвычайно въ герольдіи. Я зналъ уже, что герольдія нѣчто въ родѣ прежняго Сень-Джайля въ Лондонѣ. Сень-Джайль для очистки взяли приступомъ, скупая дома и приравнивая ихъ землѣ; тоже

слѣдуетъ сдѣлать съ герольдіей. Къ тому же она совершенно не нужна, какое-то паразитное мѣсто,—служба служебнаго повышенія, министерство табели о рангахъ, археологическое общество изысканія дворянскихъ грамотъ, канцелярія въ канцеляріи. Само собою разумѣется, что и злоупотребленія тамъ должны были быть *второго порядка*.

Повѣренный моего отца привелъ ко мнѣ длиннаго старика въ мундирномъ фракѣ, котораго каждая пуговица висѣла на ниткахъ, нечистаго и уже закусившаго, несмотря на ранній часъ. Это былъ корректоръ изъ сенатской типографіи; поправляя грамматическія ошибки, онъ за кулисами помогалъ инымъ ошибкамъ разныхъ оберъ-секретарей. Я въ полчаса стоворился съ нимъ, поторговавшись точно такъ, какъ бы рѣчь шла о покупкѣ лошади или мебели. Впрочемъ, онъ самъ положительно отвѣчать не могъ, бѣгалъ въ сенатъ за инструкціями и, наконецъ, получивши ихъ, просилъ «задаточку».

— Да сдержатъ ли они обѣщаніе?

— Нѣтъ, ужъ это позвольте, это не такіе люди, этого никогда не бываетъ, чтобъ, получивши благодарность, не исполнить долгъ чести, отвѣтилъ корректоръ до того обиженнымъ тономъ, что я счелъ нужнымъ его смягчить легкой прибавочкой благодарности.

— Въ герольдіи-съ, замѣтилъ онъ, обезоруженный мной,—былъ прежде секретарь, удивительный человекъ, вы, можетъ, слышали о немъ, бралъ на пропалую и все съ рукъ сходило. Разъ какой-то провинціальный чиновникъ пришелъ въ канцелярію потолковать о своемъ дѣлѣ, да, прощайся, потихоньку изъ-подъ шляпы ему и подастъ сѣренькую бумажку. «Да что у васъ за секреты, говоритъ ему секретарь, помилуйте, точно любовную записку подаете,—ну, сѣренькая, тѣмъ лучше, пусть другіе просители видятъ, это ихъ поощритъ, когда они узнаютъ, что двѣсти рублей я взялъ, да зато дѣло обдѣлалъ». И растянувъ ассигнацію, онъ ее сложилъ и сунулъ въ жилетный карманъ.

Корректоръ былъ правъ. Секретарь исполнилъ долгъ чести.

Я оставилъ Петербургъ съ чувствомъ очень близкимъ къ ненависти. А между тѣмъ дѣлать было нечего, надобно было перебраться въ непріязненный городъ <sup>1)</sup>.

Я недолго служилъ, всячески лынялъ отъ дѣла, и потому многого о службѣ мнѣ рассказывать нечего. Канцелярія министра внутреннихъ дѣлъ относилась къ канцеляріи вятскаго губернатора, какъ сапоги вычищенные относятся къ невычищеннымъ; та

<sup>1)</sup> Послѣ этого въ «Полярной Звѣздѣ» (кн. I. стр. 108.) напечатано: въ началѣ 1840 г. пришла бумага во Владимиръ о моемъ переводѣ на службу къ графу А. Строгонову.

же кожа, тѣ же подошвы, но одни въ грязи, а другіе подѣ лакомъ. Я не видалъ здѣсь пьяныхъ чиновниковъ, не видалъ, какъ берутъ двугривенники за справку, а что-то мнѣ казалось, что подѣ этими плотно пригнанными фраками и тщательно вычесанными волосами живетъ такая дрянная, черная, мелкая, завистливая и трусливая душенка, что мой столоначальникъ въ Вяткѣ казался мнѣ больше человѣкомъ, чѣмъ они. Я веноминалъ, глядя на новыхъ товарищей, какъ онѣ разѣ, на пирушкѣ у губернскаго землемѣра, выпивши, играли на гитарѣ плясовую и, наконецъ, не вытерпѣвъ, вскочили съ гитарой и пустились въ присядку; ну, эти ничѣмъ не увлекутся, въ нихъ не кипитъ кровь, вино не вскружитъ имъ голову. Въ танцъ-классѣ гдѣ-нибудь съ нѣмочками они умѣютъ пройти французскую кадрили, представить изъ себя разочарованныхъ, сказать стихъ Тимофеева или Кукольника... дипломаты, аристократы и Манфреды. Жаль только, что министръ Дашковъ не могъ этихъ Чайльдъ-Гарольдовъ отучить въ театрѣ, въ церкви, вездѣ дѣлать фрунтъ и кланяться.

Петербуржцы смѣются надъ костюмами въ Москвѣ, ихъ оскорбляютъ венгерки и картузы, длинные волосы, гражданскіе усы. Москва дѣйствительно городъ штатскій, нѣсколько распущенный, непривыкшій къ дисциплинѣ, но достоинство это или недостатокъ,—это нерѣшенное дѣло. Стройность одинаковости, отсутствіе разнообразія, личнаго, капризнаго, своеобразнаго, обязательная форма, вышній порядокъ, все это въ высшей степени развито въ казармахъ. Моды нигдѣ не соблюдаются съ такимъ уваженіемъ, какъ въ Петербургѣ, это доказываетъ незрѣлость нашего образованія; наши платья чужія. Въ Европѣ люди одѣваются, а мы рядимся и поэтому боимся, если рукавъ широкъ или воротникъ узокъ. Въ Парижѣ только боятся быть одѣтымъ безъ вкуса, въ Лондонѣ боятся только простуды, въ Италіи всякій одѣвается, какъ хочетъ. Если-бъ показать эти батальоны одинаковыхъ сюртуковъ, плотно застегнутыхъ, щеголей на Невскомъ проспектѣ, англичанинъ припалъ бы ихъ за отрядъ полпременовъ.

Всякій разѣ дѣлалъ я надъ собою успіе, входя въ министерство. Начальникъ канцеляріи К. К. фонъ-Поль, гернгутеръ, добродѣтельный и лимфатическій уроженецъ съ острова Даго, навелъ какую-то благочестивую скуку на все его окружавшее. Начальники отдѣленій озабоченно бѣгали съ портфелями, были недовольны столоначальниками, столоначальники писали, писали, дѣйствительно были завалены работой и имѣли перспективу умереть за тѣми же столами, но крайней мѣрѣ просидѣть, безъ особенно счастливыхъ обстоятельствъ, лѣтъ двадцать. Въ регистратурѣ былъ чиновникъ, тридцать третій годъ записывавшій пешеходящія бумаги и печатавшій пакеты.

Мое «упражненіе въ стилѣ» и здѣсь доставило мнѣ нѣкоторую льготу; испытать мою неспособность ко всему другому, начальникъ отдѣленія поручилъ мнѣ составленіе общаго отчета по министерству изъ частныхъ губернскихъ. Предусмотрительность начальства нашла нужнымъ впередъ объяснить нѣкоторые будущіе выводы, не оставляя ихъ на произволъ цифръ и фактовъ. Такъ, напр., въ слегка набросанномъ планѣ отчета было сказано: «Изъ разематриванія числа и характера преступленій (ни число, ни характеръ еще не были извѣстны) в. в. изволите усмотрѣть успѣхи народной нравственности и усиленное дѣйствіе начальства съ цѣлью оную улучшить».

Судьба и графъ Бенкендорфъ спасли меня отъ участія въ подложномъ отчетѣ. Это случилось такъ.

Въ первыхъ числахъ декабря, часовъ въ девять утромъ, Матвѣй сказалъ мнѣ, что квартальный надзиратель желаетъ меня видѣть. Я не могъ догадаться, что его привело ко мнѣ, и велѣлъ просить. Квартальный показалъ мнѣ клочекъ бумаги, на которомъ было написано, чтобъ онъ «пригласилъ» меня въ 10 часовъ утра въ III отдѣленіе собств. е. в. канцеляріи.

— Очень хорошо, отвѣчалъ я, это у Цѣннаго моста?

— Не безпокойтесь, у меня внизу сани, я съ вами поѣду.

Дѣло скверное, подумалъ я, и сердце сильно сжалось. Я взомель въ спальню. Жена моя сидѣла съ малюткою, который только-что сталъправляться послѣ долгой болѣзни. «Что онъ хочетъ?» спросила она.—Не знаю, какой-нибудь вздоръ, мнѣ надобно съѣздить съ нимъ... Ты не безпокойся. Жена моя посмотрѣла на меня, ничего не отвѣчала, только поблѣднѣла, какъ будто туча набѣжала на ея лицо, и подала мнѣ малютку проститься.

Я испыталъ въ эту минуту, насколько тягостны всякій ударъ семейному человѣку, ударъ бьетъ не его одного, и онъ страдаетъ за всѣхъ и невольно винить себя за ихъ страданія.

Переломить, подавить, скрыть это чувство можно; но надобно знать, чего это стоить; я вышелъ изъ дома съ черной тоской. Не таковъ былъ я, отправляясь шесть лѣтъ передъ тѣмъ съ полицмейстеромъ Миллеромъ въ Пречистенскую часть.

Проѣхали мы Цѣнной мостъ, Лѣтній садъ и завернули въ бывшій домъ Кочубея. Шли мы всякими дворами и двориками, и дошли, наконецъ, до канцеляріи. Несмотря на присутствіе комиссара, жандармъ насъ не пустилъ, а вызвалъ чиновника, который, прочитавъ бумагу, оставилъ квартальнаго въ коридорѣ, а меня просилъ идти за нимъ. Онъ меня привелъ въ директорскую комнату. За большимъ столомъ, возлѣ котораго стояло нѣсколько креселъ, сидѣлъ одинъ одиноконекъ старикъ худой, сѣдой, съ зловѣщимъ лицомъ. Онъ для важности дочиталъ какую-то бумагу,

потомъ всталъ и подошелъ ко мнѣ. На груди его была звѣзда, изъ этого я заключилъ, что это какой-нибудь корпусный командиръ.

— Видѣли вы генерала Дуббельта?

— Нѣтъ.

Онъ помолчалъ, потомъ, несмотря мнѣ въ глаза, морщась и сводя бровями, спросилъ какимъ-то стертымъ голосомъ (голосъ этотъ мнѣ ужасно напомнилъ нервно шипящіе звуки Г. junior-а московской слѣдственной комиссіи).

— Вы, кажется, не очень давно получили разрѣшеніе прѣзжать въ столицы?

— Въ прошедшемъ году.

Старикъ покачалъ головой.

— Плохо вы воспользовались милостью государя. Вамъ, кажется, придется опять ѣхать въ Вятку.

Я смотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Да-съ, продолжалъ онъ,—хорошо показываете вы признательность правительству, возвратившему васъ.

— Я совершенно ничего не понимаю, сказалъ я, теряясь въ догадкахъ.

— Не понимаете? ... Это-то и плохо! Что за связи, что за занятія? вмѣсто того, чтобъ первое время показать усердіе, смыть пятна, оставшіяся отъ юношескихъ заблужденій, обратить свои способности на пользу,—нѣтъ! куда! Все политика, да пересуды, и все во вредъ правительству. Вотъ и договорились. Какъ васъ опытъ не научилъ? Почему вы знаете, что въ числѣ тѣхъ, которые съ вами толкуютъ, нѣтъ всякій разъ какого-нибудь *мерзавца* <sup>1)</sup>, который лучше не просить, какъ черезъ минуту придти сюда съ доносомъ.

— Если вы можете мнѣ объяснить, что все это значитъ, вы меня очень обяжете. Я ломаю себѣ голову и никакъ не понимаю, куда ведутъ ваши слова или на что намекаютъ.

— Куда ведутъ?... Хм... Ну, а скажите, слышали вы, что у Спняго моста будочникъ убилъ и ограбилъ ночью человѣка?

— Слышалъ, отвѣчалъ я пренаивно.

— И, можетъ, повторяли?

— Кажется, что повторялъ.

— Съ разсужденіями, я чай?

— Вѣроятно.

— Съ какими же разсужденіями?—Вотъ оно наклонность къ порицанію правительства. Скажу вамъ откровенно, одно дѣлаетъ

---

<sup>1)</sup> Я честнымъ словомъ увѣряю, что слово «мерзавецъ» было употреблено почтеннымъ старцемъ.

вамъ честь, это ваше искреннее сознаніе, и оно будетъ навѣрно принято графомъ въ соображеніе.

— Помилуйте, сказали я, какое тутъ сознаніе, объ этой исторіи говорилъ весь городъ, говорили въ канцеляріи министра в. д., въ лавкахъ. Что же тутъ удивительнаго, что и я говорилъ объ этомъ проишествіи?

— Разглашеніе ложныхъ и вредныхъ слуховъ есть преступленіе, наказуемое законами.

— Вы меня обвиняете, мнѣ кажется, въ томъ, что я выдумалъ это дѣло?

— Въ докладной запискѣ государю сказано только, что вы способствовали къ распространенію такого вреднаго слуха. На что послѣдовала высочайшая резолюція объ возвращеніи васъ въ Вятку.

— Вы меня просто стращаете, отвѣчалъ я.—Какъ же это возможно за такое ничтожное дѣло сослать семейнаго человѣка за тысячу верстъ, да и притомъ приговорить, осудить его, даже не спросивъ,—правда, или нѣтъ?

— Вы сами признались.

— Да какъ же, записка была представлена и дѣло кончено прежде, чѣмъ вы со мной говорили.

— Прочтите сами.

Старикъ подошелъ къ столу, порылся въ небольшой пакѣ бумагъ, хладнокровно вытащилъ одну и подаль. Я читалъ и не вѣрилъ своимъ глазамъ.

Я молчалъ. Мнѣ показалось, что самъ старикъ почувствовалъ, что дѣло очень нелѣпо и чрезвычайно глупо, такъ что онъ не нашелъ болѣе нужнымъ защищать его и, тоже помолчавъ, спросилъ:

— Вы, кажется, сказали, что вы женаты?

— Женатъ,—отвѣчалъ я.

— Жаль, что это прежде мы не знали, впрочемъ, если что можно сдѣлать, графъ сдѣлаетъ, я ему передамъ нашъ разговоръ. Изъ Петербурга во всякомъ случаѣ васъ вышлютъ.

Онъ посмотрѣлъ на меня. Я молчалъ, но чувствовалъ, что лицо горѣло, все, что я не могъ высказать, все, задержанное внутри, можно было видѣть въ лицѣ.

Старикъ опустилъ глаза, подумалъ и вдругъ апатическимъ голосомъ, съ притязаніемъ на тонкую учтивость, сказалъ мнѣ:

— Я не смѣю дольше задерживать васъ; желаю душевно,—впрочемъ, дальнѣйшее вы узнаете.

Я бросился домой. Развѣдающая злоба кипѣла въ моемъ сердцѣ: это чувство безправія, беспомощности, это положеніе пойманнаго звѣря, надъ которымъ презрительный уличный мальчишка пздѣвается,



понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтобъ сломить рѣшетку.

Жену я засталъ въ лихорадкѣ, она съ этого дня занемогла и, испуганная еще вечеромъ, черезъ нѣсколько дней имѣла преждевременные роды. Ребенокъ умеръ черезъ день. Едва черезъ три или черезъ четыре года оправилась она.

И что это у нихъ за страсть — поднимать сумбуръ, скакать во весь опоръ, хлопотать, все дѣлать опрометью, точно пожаръ, и все это безъ всякой нужды!

... Грустно сидѣли мы вечеромъ того дня, въ который я былъ въ III отдѣленіи, за небольшимъ столомъ; малютка игралъ на немъ своими игрушками, мы говорили мало; вдругъ кто-то такъ рвануль звонокъ, что мы поневолѣ вздрогнули. Матвѣй бросился отворять дверь и черезъ секунду влетѣлъ въ комнату жандармскій офицеръ, гремя саблей, гремя шпорами, и началъ отборными словами извиняться передъ моею женой: «онъ не могъ думать, не подозрѣвать, не предполагалъ, что дама, что дѣти, чрезвычайно неприятно...»

Жандармы — цвѣтъ учтивости. Я это знаю съ Крутицкихъ казармъ.

— Васъ проситъ къ себѣ генералъ Дуббельтъ.

— Когда?

— Помилуйте, теперь, сейчасъ, сію минуту.

— Матвѣй, дай шинель.

Я пожалъ руку женѣ, — на лицѣ у нея были пятна, рука горѣла. Что за спѣхъ, въ десять часовъ вечера, заговоръ открыть, побѣгъ.

Дуббельтъ прислалъ за мной, чтобъ *мнѣ сказать*, что графъ Бенкендорфъ требуетъ меня завтра въ восемь часовъ утра къ себѣ для объявленія мнѣ высочайшей воли!

Дуббельтъ, — лицо оригинальное, онъ навѣрно умнѣе всего третьяго и всѣхъ трехъ отдѣленій собственной канцеляріи. Пехудалое лицо его, отгнѣненное длинными свѣтлыми усами, усталый взглядъ, особенно рытвины на щекахъ и на лбу — ясно свидѣтельствовали, что много страстей боролось въ этой груди, прежде чѣмъ голубой мундиръ побѣдилъ или лучше накрылъ все, что тамъ было. Черты его имѣли что-то волчье и даже лисье, т. е., выражали тонкую смышленность хищныхъ звѣрей; вмѣстѣ уклончивость и заносчивость. Онъ былъ всегда учтивъ.

Когда я взошелъ въ его кабинетъ, онъ сидѣлъ въ мундирномъ сюртукѣ безъ эполетъ и, куря трубку, писалъ. Онъ въ ту же минуту всталъ и, прося меня сѣсть противъ него, началъ слѣдующей удивительной фразой:

— Графъ Александръ Христофоровичъ доставилъ мнѣ случай

познакомиться съ вами. Вы, кажется, видѣли Сахтынскаго сего-дня утромъ?

— Видѣлъ.

— Мнѣ очень жаль, что поводъ, который заставилъ меня васъ просить ко мнѣ, несовсѣмъ пріятный для васъ. Неосторожность ваша навлекла снова гнѣвъ его величества на васъ.

— Я вамъ, генералъ, скажу то, что сказалъ г. Сахтынскому: я не могу себѣ представить, чтобы меня выслали только за то, что я повторилъ уличный слухъ, который, конечно, вы слышали прежде меня, а, можетъ, точно такъ же рассказывали, какъ я.

— Да, я слышалъ и говорилъ объ этомъ и тутъ мы равны; но вотъ гдѣ начинается разница: я, повторяя эту нелѣпость, клялся, что этого никогда не было, а вы изъ этого слуха сдѣлали поводъ обвиненія всей полиціи. Это все несчастная страсть *de dénigrer le gouvernement*, страсть развитая въ васъ во всѣхъ, господа, пагубнымъ примѣромъ Запада. У насъ не то, что во Франціи, гдѣ правительство на пожахъ съ партіями, гдѣ его таскаютъ въ грязи; у насъ управленіе отеческое, все дѣлается какъ можно келейнѣе... Мы выбиваемся изъ силъ, чтобы все шло какъ можно тише и глаже, а тутъ люди, остающіеся въ какой-то безплодной оппозиціи, несмотря на тяжелыя испытанія, стараются общественное мнѣніе, рассказывая и сообщая письменно, что полицейскіе солдаты рѣжутъ людей на улицахъ. Не правда ли? вѣдь, вы писали объ этомъ?

— И такъ мало придаю важности дѣлу, что совсѣмъ не считаю нужнымъ скрывать, что я писалъ объ этомъ, и прибавлю къ кому, къ моему отцу.

Разумѣется, дѣло неважное; но вотъ оно до чего васъ довело. Государь тотчасъ вспомнилъ вашу фамилію и что вы были въ Вяткѣ и велѣлъ васъ отправить назадъ. А потому графъ и поручилъ мнѣ увѣдомить васъ, чтобы вы завтра въ восемь часовъ утра пріѣхали къ нему, онъ вамъ объявитъ высочайшую волю.

— Итакъ, на томъ и останется, что я долженъ ѣхать въ Вятку, съ больной женой, съ больнымъ ребенкомъ, по дѣлу, о которомъ вы говорите, что оно неважно?...

— Да вы служите? — спросилъ меня Дуббельтъ, пристально взглядываясь въ пуговицы моего вицъ-мундирнаго фрака.

— Въ канцеляріи министра в. д.

— Давно ли?

— Мѣсяцевъ шесть.

— И все время въ Петербургѣ.

— Все время.

— Я понятія не имѣлъ.

— Видите, сказалъ я улыбаясь, какъ я себя скромно велъ.

Сахтыньскій не зналъ, что я женатъ, Дуббельтъ не зналъ, что я на службѣ, а оба знали, что я говорилъ въ своей комнатѣ, какъ думалъ и что писалъ отцу... Дѣло было въ томъ, что я тогда только-что началъ сближаться съ петербургскими литераторами, печатать статьи, а главное, я былъ переведенъ изъ Владиміра въ Петербургъ графомъ Строгоновымъ безъ всякаго участія тайной полиціи, и, пріѣхавши въ Петербургъ, не пошелъ *являться* ни къ Дуббельту, ни въ III отдѣленіе, на что мнѣ намекали добрые люди.

— Помилуйте, перебилъ меня Дуббельтъ,—вѣсь свѣдѣнія, собранныя о васъ, совершенно въ вашу пользу, я еще вчера говорилъ съ Жуковскимъ, дай Богъ, чтобъ объ моихъ сыновьяхъ такъ отзывались, какъ онъ отзывался.

— А все-таки въ Вятку...

— Вотъ видите, ваше *несчастіе*, что докладная записка *была подана*, и что многихъ обстоятельствъ не было на виду. Ъхать вамъ надобно, этого поправить нельзя, но я полагаю, что Вятку можно замѣнить другимъ городомъ. Я переговорю съ графомъ, онъ еще сегодня ѣдетъ во дворецъ. Все, что возможно сдѣлать для облегченія, мы постараемся сдѣлать; графъ человекъ ангельской доброты.

Я всталъ. Дуббельтъ проводилъ меня до дверей кабинета. Тутъ я не вытерпѣлъ и, пріостановившись, сказалъ ему:

— Я имѣю къ вамъ, генералъ, небольшую просьбу. Если вамъ меня нужно, не посылайте, пожалуйста, ни квартальныхъ, ни жандармовъ, они пугаютъ, шумятъ, особенно вечеромъ. За что же больная жена моя будетъ больше всѣхъ наказана въ дѣлѣ бу-дочника?

— Ахъ, Боже мой, какъ это непріятно, возразилъ Дуббельтъ. Какіе они всѣ неловкіе. Будьте увѣрены, что я не пошлю больше полицейскаго. Итакъ, до завтра; не забудьте,—въ восемь часовъ у графа; мы тамъ увидимся.

Точно будто мы сговаривались вмѣстѣ ѣхать къ Смурову ѣсть устрицы.

На другой день, въ восемь часовъ, я былъ въ пріемной залѣ Бенкендорфа. Я засталъ тамъ человекъ пять-шесть просителей; мрачно и озабоченно стояли они у стѣны, вздрагивали при каждомъ шумѣ, жались еще больше и кланялись всѣмъ проходящимъ адъютантамъ. Въ числѣ ихъ была женщина вся въ траурѣ, съ заплаканными глазами, она сидѣла съ бумагой свернутой въ трубочку въ рукахъ, бумага дрожала какъ осиновый листъ. Шага три отъ нея стоялъ высокій, нѣсколько согнувшійся старикъ, лѣтъ семидесяти, плѣшивой и пожелтѣвшій, въ темнозеленой во-

еинной шинели, съ рядомъ медалей и крестовъ на груди. Онъ время отъ времени вздыхалъ, качалъ головой и шепталъ что-то себѣ подъ носъ.

У окна сидѣлъ, развалился, какой-то «другъ дома», лакей или дежурный чиновникъ. Онъ всталъ, когда я взошелъ; взглядываясь въ его лицо, я узналъ его: мнѣ эту противную фигуру показывали въ театрѣ, это былъ одинъ изъ главныхъ уличныхъ шпіоновъ, помнится, по фамиліи Фабръ. Онъ спросилъ меня:

— Вы съ просьбой къ графу?

— По его требованію.

— Ваша фамилія?—Я назвалъ себя.—Ахъ, сказалъ онъ, мѣняя тонъ, какъ будто встрѣтилъ стараго знакомаго. Сдѣлайте одолженіе, не угодно ли сѣсть? Графъ черезъ четверть часа выйдетъ.

Какъ-то было страшно тихо и unheimlich въ залѣ, день плохо пробивался сквозь туманъ и замерзнувшія стекла, никто ничего не говорилъ. Адьютанты быстро пробѣгали назадъ и впередъ, да жандармъ, стоявшій за дверями, гремѣлъ иногда своей сбруей, переступая съ ноги на ногу. Подошло еще человѣка два просителей. Чиновникъ бѣгалъ каждаго спрашивать за чѣмъ. Одинъ изъ адъютантовъ подошелъ къ нему и началъ что-то разсказывать полупропотомъ, при чемъ онъ придавалъ себѣ видъ отчаяннаго повѣсы; вѣроятно, онъ разсказывалъ какія-нибудь мерзости, потому что они часто перерывали разговоръ лакейскимъ смѣхомъ безъ звука, при чемъ почтенный чиновникъ, показывая видъ, что ему мочи нѣтъ, что онъ готовъ надорваться, повторялъ: «перестаньте, ради Бога, перестаньте, не могу больше».

Минутъ черезъ пять явился Дуббельтъ, разстегнутый, по-домашнему, бросилъ взглядъ на просителей, при чемъ они поклонились, и издали увидя меня, сказалъ: «*Bonjour, M. H., Votre affaire va parfaitement bien, на хорошей дорогѣ...*»

Оставляютъ меня, что ли! Я хотѣлъ было спросить, но прежде, чѣмъ успѣлъ вымолвить слово, Дуббельтъ уже скрылся. Велѣдъ за нимъ взошелъ какой-то генералъ, вычищенный, убранный, затянутый, вытянутый, въ бѣлыхъ штанахъ, въ шарфѣ, я не видывалъ лучшаго генерала. Если когда-нибудь въ Лондонѣ будетъ выставка генераловъ, такъ, какъ въ Цинцинати теперь Baby-Exhibition, то я совѣтую послать именно его изъ Петербурга. Генералъ подошелъ къ той двери, изъ которой долженъ былъ выйти Бенкендорфъ, и замеръ въ неподвижной вытяжкѣ; я съ большимъ любопытствомъ разсматривалъ этотъ идеалъ унтеръ-офицера... Ну, должно быть солдатъ посѣкъ онъ на своемъ вѣку за шагпетику; откуда берутся эти люди? Онъ родился для выкидыванія артикула и для строя! Съ нимъ пришелъ, вѣроятно, его

адъютантъ, тончайшій корнетъ въ мѣрѣ, съ неслыханно длинными ногами, бѣлокурый, съ крошечнымъ бѣличьимъ лицомъ и съ тѣмъ добродушнымъ выраженіемъ, которое часто остается у матушкпныхъ сынковъ, никогда ничему неучившихся, или, по крайней мѣрѣ, невыучившихся. Эта жимолость въ мундирѣ стояла въ почетельномъ отдаленіи отъ образцоваго генерала.

Снова влѣтъль Дуббельтъ, этотъ разъ пріосанившись и застегнувшись. Онъ тотчасъ обратился къ генералу и спросилъ, что ему нужно? Генераль правильно, какъ ординарцы говорятъ, когда являются къ начальникамъ, отпортовалъ: «Вчерашній день отъ князь Александра Ивановича получилъ высочайшее повелѣніе отправиться въ дѣйствующую армію на Кавказъ, счесть обязанностью явиться передъ отбытіемъ къ его сіятельству».

Дуббельтъ выслушалъ съ вниманіемъ эту рѣчь и, наклоняясь пѣсколько въ знакъ уваженія, вышелъ и черезъ минуту возвратился.

— Графъ, сказалъ онъ генералу, искренно жалѣеть, что не имѣеть времени принять в. пр. Онъ васъ благодаритъ и поручилъ мнѣ пожелать вамъ счастливаго пути. При этомъ Дуббельтъ распростеръ руки, обнялъ и два раза коснулся щеки генерала своими усами.

Генераль отступилъ торжественнымъ маршемъ, юноша съ бѣличьимъ лицомъ и съ ногами журавля отправился за нимъ. Сцена эта некупила мнѣ много горечи того дня. Генеральскій фронтъ, прощаніе по довѣренности и, наконецъ, лукавая морда Рейнеке-Фукса, цѣлующаго голову его превосходительства, все это было до того смѣшно, что я чуть-чуть удержался. Мнѣ кажется, что Дуббельтъ замѣтилъ это и съ тѣхъ поръ началъ уважать меня.

Наконецъ, двери отворились *à deux battans* и вошелъ Бенкендорфъ. Наружность шефа жандармовъ не имѣла въ себѣ ничего дурного; видъ его былъ довольно общій остзейскимъ дворянамъ и вообще пѣмецкой аристократіи. Лицо его было измято, устало, онъ имѣлъ обманчиво добрый взглядъ, который часто принадлежитъ людямъ уклончивымъ и апатическимъ.

Можетъ, Бенкендорфъ и не сдѣлалъ всего зла, которое могъ сдѣлать, будучи начальникомъ полиціи, имѣвшей право мѣшаться во все,—я готовъ этому вѣрить, особенно вспоминая прѣсное выраженіе его лица, но и добра онъ не сдѣлалъ, на это у него не доставало энергіи, воли, сердца. Робость сказать слово въ защиту гонимыхъ стоитъ всякаго преступленія.

Сколько невинныхъ жертвъ прошли его руками, сколько погбли отъ невниманія, отъ разсѣянія, отъ того, что онъ занятъ былъ волокитствомъ,—и сколько, можетъ, мрачныхъ образовъ и тяжелыхъ воспоминаній бродили въ его головѣ и мучили его на

томъ пароходѣ, гдѣ, преждевременно опустившійся и одряхлѣвшій, онъ искалъ заступничество католической церкви, съ ея всепрощающими индульгенціями...

— До свѣдѣнія государя императора, сказалъ онъ мнѣ, дошло, что вы участвуете въ распространеніи вредныхъ слуховъ для правительства. Его величество, види, какъ вы мало неправились, изволилъ приказать васъ отправить обратно въ Вятку; но я, по просьбѣ генерала Дуббельта и основываясь на свѣдѣніяхъ, собранныхъ объ васъ, докладывалъ с. в. о болѣзни вашей супруги и государю угодно было измѣнить свое рѣшеніе. К. в. воспрещаетъ вамъ вѣздъ въ столицы, вы снова отправитесь подъ надзоръ полиціи, но мѣсто вашего жительства предоставлено назначить министру внутреннихъ дѣлъ.

— Позвольте мнѣ откровенно сказать, что даже *въ сію* минуту я не могу вѣрить, чтобъ не было другой причины моей ссылки. Въ 1835 г. я былъ сосланъ по дѣлу праздника, на которомъ вообще не былъ! Теперь я наказываюсь за слухъ, о которомъ говорить весь городъ. Странная судьба!

Бенкендорфъ поднялъ плечи и, разводя руками, какъ человѣкъ, печернавшій все свои доводы, перебилъ мою рѣчь:

— Я вамъ объявляю монаршую волю, а вы мнѣ отвѣчаете разсужденіями. Что за польза будетъ изъ всего, что вы мнѣ скажете и что я вамъ скажу,—это потерянные слова. Перемѣните теперь ничего нельзя, что будетъ потомъ, долею зависѣть отъ васъ. А такъ какъ вы напомнили объ вашей первой исторіи, то я особенно рекомендую вамъ, чтобъ не было третьей,—*такъ легко* въ третій разъ вы навѣрно не отдѣляетесь.

Бенкендорфъ благосклонно улыбнулся и отправился къ просителямъ. Онъ очень мало говорилъ съ ними, бралъ просьбу, бросалъ въ нее взглядъ, потомъ отдавалъ Дуббельту, перерывая замѣчанія просителей той же граціозно-снисходительной улыбкой. Мѣсяцы цѣлые эти люди обдумывали и приготавлились къ этому свиданію, отъ котораго зависить—честь, состояніе, семья; сколько труда, усилій было употреблено ими прежде, чѣмъ ихъ приняли, сколько разъ стучались они въ запертую дверь, отгоняемые жандармомъ или швейцаромъ. И какъ должно быть щемящи, велики нужды, которыя привели ихъ къ начальнику тайной полиціи; вѣроятно, предварительно были исчерпаны все законные пути, а человѣкъ этотъ отдѣливается общими мѣстами и, по всей вѣроятности, какой-нибудь столоначальникъ положитъ *какое-нибудь* рѣшеніе, чтобъ сдать дѣло въ *какую-нибудь* другую канцелярію. И чѣмъ онъ такъ озабоченъ, куда торопится?

Когда Бенкендорфъ подошелъ къ старику съ медалями, тотъ сталъ на колѣни и вымолвилъ:

— Ваше сіятельство, взойдите въ мое положеніе.

— Что за мерзость, закричалъ графъ, вы позорите ваши медали, и полный благороднаго негодованія, онъ прошелъ мимо, не взявъ его просьбы. Старикъ тихо поднялся, его стеклянныи взглядъ выражалъ ужасъ и помѣшательство, нижняя губа дрожала, онъ что-то лепеталъ.

Какъ эти люди безчеловѣчны, когда на нихъ приходится капризъ быть человѣчным!

Дуббельтъ подошелъ къ старику, взялъ просьбу и сказалъ:

— Зачѣмъ это вы въ самомъ дѣлѣ?—ну давайте вашу просьбу, я пересмотрю.

Бенкендорфъ уѣхалъ къ государю.

— Что же мнѣ дѣлать? спросилъ я Дуббельта.

— Выберите себѣ, какой хотите, городъ съ миннстромъ в. д., мы мѣнять не будемъ. Мы завтра все дѣло перешлемъ туда; я поздравляю васъ, что такъ уладилось.

— Покорнѣйше васъ благодарю!

Отъ Бенкендорфа я поѣхалъ въ миннстерство. Директоръ нашъ, какъ я сказалъ, принадлежалъ къ тому типу нѣмцевъ, которые имѣютъ въ себѣ что-то лемуновское, долговязое, перасторонное, тянущееся. У нихъ мозгъ дѣйствуетъ медленно, не съ разу схватываетъ и долго работаетъ, чтобы дойти до какого-нибудь заключенія. Разсказъ мой, по несчастію, предупредилъ сообщеніе изъ III отдѣленія, онъ вовсе не ждалъ его, и потому совершенно растерялся, говорилъ какія-то безсвязныя вещи, самъ замѣтилъ это и, чтобы поправиться, сказалъ мнѣ: «Erlauben sie mir deutsch zu sprechen». Можетъ, грамматически рѣчь его и вышла правильнѣе на нѣмецкомъ языкѣ, но яснѣе и опредѣленнѣе она не стала. Я замѣтилъ очень хорошо, что въ немъ боролись два чувства: онъ понималъ всю несправедливость дѣла, но считалъ обязанностью директора оправдать дѣйствіе правительства; при этомъ онъ не хотѣлъ передо мной показать себя варваромъ, да и не забывалъ вражду, которая постоянно царствовала между миннстерствомъ и тайной полиціей. Стало быть, задача сама-по-себѣ выразить весь этотъ сѣмбуръ была не легка. Онъ кончилъ признаніемъ, что ничего не можетъ сказать безъ миннистра, къ которому и отправился.

Графъ Строгоновъ позвалъ меня, разспросилъ дѣло, выслушалъ все внимательно и сказалъ мнѣ въ заключеніе:

— «Это чисто полицейская уловка,—ну да, хорошо, и я съ своей стороны пмъ отвѣчу». Я право думалъ, что онъ сейчасъ отправится къ государю и объяснитъ ему дѣло; но такъ далеко миннстры не ходятъ. «Я получилъ, продолжалъ онъ, высочайшее



повелѣніе объ васъ, вотъ оно; вы видите, что мнѣ предоставлено избрать мѣсто и употребить васъ на службу. Куда вы хотите?»

— Въ Тверь или въ Новгородъ, отвѣчалъ я.

— «Разумѣется... ну, а такъ какъ мѣсто зависѣтъ отъ меня и вамъ, вѣроятно, все равно, въ который изъ этихъ городовъ я васъ назначу, то я вамъ дамъ первую вакансію совѣтника губернскаго правленія, т. е., высшее мѣсто, которое вы по чину можете имѣть. Шейте себѣ мундиръ съ шитымъ воротникомъ», добавилъ онъ шути.

Вотъ и отыгрался, только не въ мою масть.

Черезъ недѣлю Строгоновъ представилъ въ сенатъ о назначеніи меня совѣтникомъ въ Новгородъ.

А, вѣдь, пресмѣшно, сколько секретарей, ассесоровъ, уѣздныхъ и губернскихъ чиновниковъ домогались, долго, страстно, упорно домогались, чтобъ получить это мѣсто; взятки были даны, свѣдѣнія обѣщанія получены,—и вдругъ министръ, исполняя высочайшую волю и въ то же время дѣлая отместку тайной полиціи, *наказывалъ* меня этимъ повышеніемъ, бросалъ человѣку подъ ноги, для позолоты нилюли, это мѣсто, предметъ пламенныхъ желаній и самолюбивыхъ грезъ — человѣку, который его бралъ съ твердымъ намѣреніемъ бросить при первой возможности.

Отъ Строгонова я поѣхалъ къ одной дамѣ; объ этомъ знакомствѣ слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ.

Между рекомендательными письмами, которыя мнѣ далъ мой отецъ, когда я ѣхалъ въ Петербургъ, было одно, которое я десять разъ бралъ въ руки, перевортывалъ и пряталъ опять въ столикъ, откладывая визитъ свой до другого дня. Письмо это было къ семидесятилѣтней, знатной, богатой дамѣ; дружба ея съ моимъ отцомъ шла съ незанятныхъ временъ; онъ познакомился съ ней, когда она была при дворѣ Екатерины II, потомъ они встрѣтились въ Парижѣ, вмѣстѣ ѣздили туда и сюда, наконецъ, оба пріѣхали домой на отдыхъ, лѣтъ тридцать тому назадъ.

Я вообще не любилъ важныхъ людей, особенно женщинъ, да еще къ тому же семидесяти-лѣтнихъ; но отецъ мой спрашивалъ второй разъ, былъ ли я у Ольги Александровны Жеребцовой? И я, наконецъ, рѣшился проглотить эту пилюлю. Офиціантъ привелъ меня въ довольно сумрачную гостиную; плохо убранную, какъ-то почернѣвшую, полпыавшую; мебель, обивка, все сдало цвѣтъ, все стояло, видно, давно на этихъ мѣстахъ. На меня пахло домомъ княжны Мецкерской; старость не меньше юности проташтываетъ свои слѣды на всемъ окружающемъ. Самоотверженно ждалъ я появленія хозяйки, приготовляясь къ скучнымъ вопросамъ, къ глухотѣ, къ кашлю, къ обвиненіямъ новаго поколѣнія, а, можетъ, и къ моральнымъ поученіямъ.

Минуть черезъ пять взонла твердымъ шагомъ высокая старуха, съ строгимъ лицомъ, носившимъ слѣды большой красоты: въ ея осанкѣ, поступи и жестахъ выражались упрямая воля, рѣзкій характеръ и рѣзкій умъ. Она проникательно осмотрѣла меня съ головы до ногъ, подошла къ дивану, отодвинула однимъ движеніемъ руки столъ и сказала мнѣ:

— Садитесь сюда на кресла, поближе ко мнѣ, я, вѣдь, короткая пріятельница съ вашимъ отцомъ и люблю его... Она развернула письмо и подала мнѣ, говоря:—Пожалуйста прочтите мнѣ, у меня болятъ глаза. Письмо было писано по-французски, съ разными комплиментами, съ воспоминаніями и намеками. Она слушала, улыбаясь, и, когда я кончилъ, сказала:

— Умъ-то у него не старѣеть, все тотъ же, онъ очень былъ любезенъ и очень костикъ. А, что, теперь все сидитъ въ комнатѣ, въ халатѣ, представляетъ больного? Я два года тому назадъ проѣзжала Москвой, была тогда у вашего батюшки; насилу, говорить, могу принять, разрушаюсь, а потомъ разговорился и забылъ свои болѣзни. Все баловство; онъ немного старше меня, года два-три, да и то есть ли, а вотъ я и женщина, а все еще на ногахъ. Да, да, много воды утекло съ тѣхъ временъ, о которыхъ вашъ отецъ поминаетъ. Ну, подумайте, мы съ нимъ были изъ первыхъ танцоровъ. Англезы тогда были въ модѣ; вотъ я съ Иваномъ Алексѣичемъ бывало и танцуюмъ у покойной императрицы; можете вы себѣ представить вашего батюшку въ свѣтлоголубомъ французскомъ кафтанѣ, въ пудрѣ и меня съ фижмами и *décolleté*. Съ нимъ было очень пріятно танцовать, *il était bel homme*, онъ былъ лучше васъ, дайте-ка хорошенько на васъ посмотреть, — да, точно онъ былъ получше... Вы не сердитесь, въ мои лѣта можно говорить правду. Да, вѣдь, вамъ и не до того, я думаю, вѣдь, вы литераторъ, ученый. Ахъ, Боже мой, кстати, скажите мнѣ, пожалуйста, что это съ вами за исторія была? Батюшка вашъ писалъ ко мнѣ, когда васъ послали въ Вятку; я пробовала говорить съ Блудовымъ, ничего не сдѣлалъ. За что это васъ услали, они, вѣдь, не говорятъ, все у нихъ *sécret d'état*.

Въ ея манерѣ было столько простоты и искренности, что, вопреки ожиданію, мнѣ было легко и свободно. Я отвѣчалъ полуслушливо и полусерьезно и разсказалъ ей наше дѣло.

— Воюетъ съ студентами, замѣтила она, все въ головѣ одно—конспираціи; ну, а тѣ и рады подслуживаться; все пустяками занимаются. Людишки такіе дрянные около него,—откуда это онъ ихъ набралъ? Безъ роду и племени. Такъ видите, *mon cher conspirateur*, что же вамъ было тогда, лѣтъ шестнадцать?

— Ровно двадцать одинъ годъ, отвѣчалъ я, смѣясь отъ души, съ полнѣйшему презрѣнію къ нашей политической дѣятельности.

— Четыре-пять студентов испугали, видите, tout le gouvernement,—срамъ какой.

Потолковавши въ этомъ родѣ съ полчаса, я всталъ, чтобъ ѣхать.

— Пойдите-ка, пойдите-ка, сказала мнѣ Ольга Александровна еще болѣе дружескимъ тономъ,—я не кончила мою исповѣдь; а какъ это вы увезли свою невѣсту?

— Почему вы знаете?

— Э, батюшка, слухомъ свѣтъ полнится, — молодость, des passions, я говорила тогда съ вашимъ отцомъ, онъ еще сердился на васъ; ну, да вѣдь умный человѣкъ, понялъ... благо вы счастливо живете—чего еще? Какъ же, говорить, пріѣзжалъ въ Москву противъ приказа, попался бы, ну, послали бы въ крѣпость. И ему на это и молвила—ну, да вѣдь не попался, какъ это надобно радоваться вамъ, а что пустяки городить, да придумывать, что могло бы быть.—Ну, вы всегда, говорить онъ мнѣ, были отважны и жили очертя голову. — А что же, батюшка, оканчиваю не хуже другихъ вѣкъ, отвѣтила я ему. А это что ужъ такое, безъ денегъ оставить молодыхъ, на что это похоже! — Ну, говорить, пошло, пошло, не сердитесь.—Познакомьте меня съ вашей супругой-то—а?

Я поблагодарилъ ее и сказалъ, что я пріѣхалъ покамѣть одинъ.

— Гдѣ же вы остановились?

— У Демута.

— И тамъ обѣдаете?

— Иногда тамъ, иногда у Дюме.

— На что же это по трактирамъ-то, дорого стоитъ, да и такъ нехорошо женатому человѣку. Если нескучно вамъ со старухой обѣдать, приходите-ка; а я, право, очень рада, что познакомилась съ вами, спасибо вашему отцу, что прислалъ васъ ко мнѣ, вы очень интересный молодой человѣкъ, хорошо понимаете вещи, даромъ что молоды, — вотъ мы съ вами и потолкуемъ о томъ, о семъ; а то знаете, съ этими куртизанами скучно,—все одно, обѣ дворѣ, да кому орденъ дали, все пустое.

Въ одномъ томѣ исторіи Консулата <sup>1)</sup> два раза упомянута одна женщина, сестра послѣдняго фаворита Екатерины, графа Зубова. Красавица собой, молодая вдова генерала, кажется, убитаго во время войны, страстная и дѣятельная натура, избалованная положеніемъ, одаренная необыкновеннымъ умомъ и мужескимъ характеромъ, она сдѣлалась средоточіемъ недовольныхъ во время царствованія Павла. Полиція заподозрила ее наконецъ, и она, во время извѣщенная, успѣла уѣхать за границу.

<sup>1)</sup> Тьера.

Она поѣхала въ Англію. Блестящая, избалованная придворной жизнью и снѣдаемая жаждой большого поприща, она является львицей первой величины въ Лондонѣ и играетъ значительную роль въ замкнутомъ и недоступномъ обществѣ англійской аристократіи. Принцъ Валлійскій, т. е. будущій король Георгъ IV, у нея ногъ, векорѣ болѣе... Пышно и шумно шли годы ея заграничнаго житія, но шли и срывали цвѣтокъ за цвѣткомъ.

Вмѣстѣ съ старостью началась для нея пустыня, удары судьбы, одиночество и грустная жизнь воспоминаній. Ея сынъ былъ убитъ подъ Бородинымъ, ея дочь умерла и оставила ей внуку, графиню Орлову. Старушка всякій годъ ѣздила въ августѣ мѣсяцѣ изъ Петербурга въ Можайскъ посѣтить могилу сына. Одиночество и несчастье не сломили ея сильного характера, а сдѣлали его только угрюмѣе и угловатѣе. Точно дерево середь зимы, она сохранила линейный очеркъ своихъ вѣтвей, листья облетѣли, костливо зябли голыя сучья, но тѣмъ яснѣе виднѣлся величавый ростъ, смѣлые размѣры и стержень, посѣдѣлый отъ инея, гордо и сумрачно выдерживавъ себя и не гнулся отъ великаго вѣтра и отъ всякой непогоды.

Ея длинная, полная движенія жизнь, страшное богатство встрѣчъ, столкновеній, образовали въ ней ея высокомерный, но далеко не лишенный печальной вѣрности взглядъ. У нея была своя философія, основанная на глубокомъ презрѣніи къ людямъ, которыхъ она оставить все же не могла, по дѣятельному характеру.

— Вы ихъ еще не знаете, говорила она мнѣ, провожая киваньемъ головы разныхъ толстыхъ и худыхъ сенаторовъ и генераловъ,—а ужъ я довольно на нихъ насмотрѣлась, меня не такъ легко провести, какъ они думаютъ; мнѣ двадцати лѣтъ не было, когда братъ былъ въ цущемъ фаворѣ, императрица меня очень ласкала и очень любила. Такъ, повѣрите ли, старики, покрытые кавалеріями, едва таскавшіе ноги, наперерывъ бросались въ переднюю подать мнѣ салонъ или теплые башмаки. Государыня скончалась, и на другой день домъ мой опустѣлъ, меня бѣгали какъ заразы, и тѣ же самые персоны. Я шла своей дорогой, не нуждалась ни въ комъ и уѣхала за море. Послѣ моего возвращенія Богъ посѣтилъ меня большими несчастьями, только я ни отъ кого участія не видала, были два-три старыхъ пріятели, тѣ точно и остались. Ну, пришло новое царствованіе, Орловъ, видите, въ силѣ, т. е., я не знаю, насколько это правда... такъ думаютъ, по крайней мѣрѣ; знаютъ, что онъ наслѣдникъ и внука-то меня любитъ, ну, вотъ и пошла такая дружба, опять готовы подавать шубу и галоши! Охъ! знаю я ихъ, да скучно

иной разъ одной сидѣть, глаза болятъ, читать трудно, да и не всегда хочется, и ихъ и пускаю, болтаютъ всякій вздоръ, развлечение, часъ, другой и пройдетъ...

Странная, оригинальная развалина другого вѣка, окруженная выродившимся поколѣніемъ на почвѣ петербургской придворной жизни. Она чувствовала себя выше его и была права.

Ея ошибка состояла не въ презрѣніи ничтожныхъ людей, а въ томъ, что она принимала за все наше поколѣніе. При Екатерининѣ дворъ и гвардія въ самомъ дѣлѣ обнимали все образованное въ Россіи; больше или меньше это продолжалось до 1812 г. Съ тѣхъ поръ русское общество сдѣлало страшные успѣхи.

Александръ продолжалъ образованныя традиціи Екатерины; при Николаѣ свѣтски-аристократическій тонъ замѣняется сухимъ, формальнымъ, съ одной стороны, и безпрекословно покорнымъ—съ другой, смѣсь наполеоновской отрывистой и грубой манеры съ чиновничьимъ бездушіемъ. Новое общество, средоточіе котораго въ Москвѣ, быстро развилось.

Есть удивительная книга, которая поневолѣ приходитъ въ голову, когда говоришь объ Ольгѣ Александровнѣ. Это записки книжныи Даниковой, напечатанныя лѣтъ двадцать тому назадъ въ Лондонѣ. Къ этой книгѣ приложены записки двухъ сестеръ Вильмотъ, жившихъ у Даниковой между 1805 и 1810 годами. Обѣ преладки, очень образованныя и одаренныя большимъ талантомъ наблюденія. Мнѣ чрезвычайно хотѣлось бы, чтобъ ихъ письма и записки были извѣстны у насъ.

Сравнивая московское общество передъ 1812 г. съ тѣмъ, которое я оставилъ въ 1847 году, сердце бьется отъ радости. Мы сдѣлали страшный шагъ впередъ. Тогда было общество недовольныхъ, т. е. отставныхъ, удаленныхъ, отправленныхъ на покой; теперь есть общество *независимыхъ*. Тогдашніе львы были капризные олигархи, графъ А. Г. Орловъ, Остерманъ, «общество тѣней», какъ говоритъ miss Willmot, общество государственныхъ людей, умершихъ въ Петербургѣ лѣтъ пятнадцать тому назадъ и продолжавшихъ пудриться, покрывать себя лентами и являться на обѣды и пиры въ Москвѣ, будируя, важничая и не имѣя ни силы, ни смысла. Московскіе львы съ 1825 года были: Пушкинъ, М. Орловъ, Чаадаевъ, Ермоловъ. Тогда общество съ подобострастіемъ толпилось въ домѣ графа Орлова, дамы «въ чужихъ брильянтахъ» <sup>1)</sup>, кавалеры, *не смѣя садиться* безъ разрѣшенія; передъ ними графская дворня танцевала въ маскарадныхъ платьяхъ. Сорокъ лѣтъ спустя, я видѣлъ то же общество, толпившееся около кафедры одной изъ аудиторій московскаго университета;

<sup>1)</sup> Миссъ Вильмотъ.

дочери дамъ въ чужихъ каменьяхъ, сыновья людей, не смѣвшихъ сѣсть, съ страстнымъ сочувствіемъ слѣдили за энергической, глубокою рѣчью Грановскаго, отвѣчая взрывами рукоплесканій на каждое слово, глубоко потрясавшее сердца смѣлостью и благородствомъ.

Вотъ этого-то общества, которое съѣзжалось со всѣхъ сторонъ Москвы и тѣснилось около трибуны, на которой молодой воинъ науки велъ серьезную рѣчь и пророчилъ былымъ, этого общества не подозрѣвала Жеребцова. Ольга Александровна была особенно добра и внимательна ко мнѣ, потому что я былъ первый образчикъ міра, неизвѣстнаго ей; ее *удивилъ* мой языкъ и мои понятія. Она во мнѣ оцѣнила возникающіе входы другой Россіи. Спасибо ей и за то!

Я могъ бы написать цѣлый томъ анекдотовъ, слышанныхъ мною отъ Ольги Александровны; съ кѣмъ и кѣмъ она не была въ сношеніяхъ. Отъ графа д'Артуа и Сегюра до лорда Гренвиля и Канинга, и притомъ она смотрѣла на всѣхъ независимо, по своему и очень оригинально. Ограничусь однимъ небольшимъ случаемъ, который постараюсь передать ей собственными словами.

Она жила на Морской. Разъ какъ-то шелъ полкъ съ музыкой по улицѣ, Ольга Александровна подошла къ окну и, глядя на солдатъ, сказала мнѣ:

— «У меня дача есть недалеко отъ Гатчины, лѣтомъ иногда я ѣзжу туда отдохнуть. Передъ домомъ я велѣла сдѣлать большой скверъ, знаете, эдакъ на англійскій манеръ, покрытый дерномъ. Въ прошлый годъ пріѣзжаю я туда; представьте себѣ: часовъ въ шесть утромъ, слышу я страшный трескъ барабановъ, лежу ни живая, ни мертвая въ постели; все ближе да ближе; звоню, прибѣжала моя калмычка:—Что, мать моя, это случилось, спрашиваю я, шумъ какой? — Да это, говоритъ, Михайль Павловичъ извоить солдатъ учить. — Гдѣ это? — На нашемъ дворѣ. Понравился скверъ, гладко и зелено. Представьте себѣ, дама живетъ, старуха, больная, а онъ въ шесть часовъ въ барабанъ. Ну, думаю, это пустяки, позови дворецкаго. Пришелъ дворецкій, я ему говорю: ты сейчасъ вели заложить телѣжку, да поѣзжай въ Петербургъ и найми, сколько найдешь, бѣлорусовъ, да чтобъ завтра и начали конать прудъ; ну, думаю, авось *навальнаго* ученія не дадутъ подѣ моими окнами».

... Естественно, что я прямо отъ графа Строгонова поѣхалъ къ Ольгѣ Александровнѣ и разсказалъ ей все случившееся.

— Господи, отъ часу не легче, замѣтила она, выслушавши меня. Какъ это можно съ фамліей тащиться въ ссылку изъ такихъ пустяковъ. Дайте, я переговорю съ Орловымъ, я рѣдко его о чемъ-нибудь прошу, они все не любятъ этого; ну, да иной разъ

можетъ же сдѣлать что-нибудь. Побывайте-ка у меня денъка черезъ два, я вамъ отвѣтъ сообщу.

Черезъ день утромъ она приехала за мной. Я засталъ у нея нѣсколько человѣкъ гостей. Она была повязана бѣлымъ батистовымъ платкомъ вмѣсто чепчика, это обыкновенно было признакомъ, что она не въ духѣ, щурила глаза и не обращала почти никакого вниманія на тайныхъ совѣтниковъ и явныхъ генераловъ, приходившихъ свидѣтельствовать свое почтеніе.

Одинъ изъ гостей съ предовольнымъ видомъ вынулъ изъ кармана какую-то бумажку и, подавая ее Ольгѣ Александровнѣ, сказалъ:

— Я вамъ привезъ вчерашній рескриптъ князю Петру Михайловичу, можетъ, вы не позволили еще читать?

Слышала ли она, или нѣтъ, я не знаю, но только она взяла бумагу, развернула ее, надѣла очки и, морщась, съ страшными усиліями, прочла: «Кня—зь, Пе—тръ Ми—хайло—впчъ!» Что вы это мнѣ даете?... А?... это не ко мнѣ?

— Я вамъ докладывалъ-съ, это рескриптъ...

— Боже мой, у меня глаза болятъ, я не всегда могу читать письма, адресованныя ко мнѣ, а вы заставляете чужія письма читать.

— Позвольте, я прочту... я, право, не подумалъ.

— И, полноте, что трудиться по напрасну, какое мнѣ дѣло до ихъ перенески; доживаю кое-какъ послѣдніе дни, совѣмъ не тѣмъ голова занята.

Господинъ улыбнулся, какъ улыбаются люди, попавшіе впро�акъ, и положилъ рескриптъ въ карманъ.

Видя, что Ольга Александровна въ дурномъ расположеніи духа и въ очень воинственномъ, гости одинъ за другимъ откланились. Когда мы остались одни, она сказала мнѣ:

— Я просила васъ сюда зайти, чтобъ сказать вамъ, что я на старости лѣтъ душой сдѣлалась, наобѣщала вамъ, да ничего и не сдѣлала; не спросясь броду-то и ненадобно соваться въ воду, знаете, по мужицкой пословицѣ. Говорила вчера съ Орловымъ объ вашемъ дѣлѣ, и не ждите ничего...

Въ это время официантъ доложилъ, что графиня Орлова пріѣхала.

— Ну, это ничего, свои люди, сейчасъ доскажу.

Графиня, красивая женщина и еще въ цвѣтѣ лѣтъ, подошла къ рукѣ и освѣдомилась о здоровьѣ, на что Ольга Александровна отвѣчала, что чувствуетъ себя очень дурно; потомъ, назвавши меня, прибавила ей:—Ну, сядь, сядь, другъ мой. Что дѣтки, здоровы?

— Здоровы.



— Ну, слава Богу, извини меня, я, вотъ, разсказываю о вчерашнемъ. Такъ вотъ, видите, я говорю ей мужу-то: чтобы тебѣ сказать государю, ну, какъ это пустяки такіе дѣлаютъ? Куда ты! руками и ногами уперся; это, говорить, по части Бенкендорфа; съ нимъ, пожалуй, я переговорю, а докладывать государю не могу, онъ не любитъ, да у насъ это и не заведено.—Что же это за чудо, говорю я ему, поговорить съ Бенкендорфомъ? Я это и сама умѣю. Да и онъ-то что ужъ изъ ума выжилъ, самъ не знаетъ, что дѣлаетъ, все актриски на умѣ, кажется, ужъ и не подъ лѣта волочиться; а тутъ какой-нибудь секретаринка у него дѣлаетъ доносы всякіе, а онъ и подаетъ. Что же онъ сдѣлаетъ? Нѣтъ, ужъ ты лучше, говорю, не срами себя, что же тебѣ просить Бенкендорфа, онъ же все и напакостилъ. — У насъ, говоритъ, ужъ такъ заведено, и пошелъ мнѣ тутъ разсказывать... Ну, вижу, что онъ просто боится идти къ государю... Посмотрите, прибавила она, указывая мнѣ на портретъ Орлова, экой бравой представленъ какой, а боится слово сказать!

Вмѣсто портрета, я не могъ удержаться, чтобъ не посмотрѣть на графиню Орлову; положеніе ея было не изъ самыхъ пріятныхъ. Она сидѣла улыбаясь и иногда взглядывала на меня, какъ бы говори: лѣта имѣютъ свои права, старушка раздражена; но встрѣчая мой взглядъ, не подтверждавшій того, она дѣлала видъ, будто не замѣчаетъ меня. Въ рѣчь она не вступала, и это было очень умно. Ольгу Александровну унять было бы трудно, у старухи разгорѣлись щеки, она дала бы тяжелую сдачу. Надобно было прилечь и ждать, чтобъ вихрь пронесся черезъ голову.

— Вѣдь это, чай, у васъ тамъ, гдѣ вы это были, въ этой въ Вологдѣ, писаря думаютъ—графъ Орловъ случайный человѣкъ, въ силѣ... Все это вздоръ, это подчиненные его, небось, распускаютъ слухъ. Всѣ они не имѣютъ никакого вліянія, они не такъ себя держатъ и не на такой ногѣ, чтобъ имѣть вліяніе... Вы уже меня простите, взялась не за свое дѣло; знаете, что я вамъ посоветую? Что вамъ въ Новгородъ ѣздить! Поѣзжайте лучше въ Одессу, подальше отъ нихъ, и городъ почти иностранный, да и Воронцовъ, если не испортился, человѣкъ другого «режиму».

Довѣріе къ Воронцову, который тогда былъ въ Петербургѣ и всякій день ѣздилъ къ Ольгѣ Александровнѣ, не вполне оправдалось; онъ хотѣлъ меня взять съ собой въ Одессу, *если* Бенкендорфъ изъявитъ согласіе.

... Между тѣмъ прошли мѣсяцы, прошла и зима, никто мнѣ не напоминалъ объ отъѣздѣ, меня забыли и я ужъ пересталъ быть *sur le qui vive*, особенно послѣ слѣдующей встрѣчи. Вологодскій военный губернаторъ Болговскій былъ тогда въ Петербургѣ; очень короткій знакомый моего отца, онъ довольно любилъ

меня и я бывалъ у него иногда. Онъ былъ замѣшанъ въ непонятное и необъясненное дѣло Сперанскаго въ 1812 году. Онъ былъ тогда полковникомъ въ дѣйствующей арміи, его вдругъ арестовали, свезли въ Петербургъ, потомъ сослали въ Сибирь. Онъ не успѣлъ доѣхать до мѣста, какъ Александръ простилъ его, и онъ возвратился въ свой полкъ. Разъ весною прихожу я къ нему; спиною къ дверямъ въ большихъ креслахъ сидѣлъ какой-то генералъ, мнѣ не было видно его лица, а только одинъ серебряный эполетъ.

— Позвольте мнѣ представить, сказалъ Болговскій и тутъ я разглядѣлъ Дуббельта.

— Я давно имѣю удовольствіе пользоваться вниманіемъ Леонтя Васильевича, сказалъ я улыбаясь.

— Вы скоро ѣдете въ Новгородъ? спросилъ онъ меня.

— Я полагаю, что мнѣ надобно у васъ спросить объ этомъ.

— Ахъ, помилуйте, я совѣмъ не думалъ напоминать вамъ, я васъ просто такъ спросилъ. Мы васъ передали съ рукъ на руки графу Строганову, и не очень торопимъ, какъ видите, сверхъ того, такая законная причина, какъ болѣзнь вашей супруги... (Учтивѣйшій въ мірѣ человекъ!).

Наконецъ, въ началѣ іюня, я получилъ сенатскій указъ объ утвержденіи меня совѣтникомъ новгородскаго губернскаго правленія. Графъ Строгановъ думалъ, что пора отправляться, и я явился около 1 іюля въ Богомъ и св. Софіей хранимый градъ Новгородъ и поселился на берегу Волхова, противъ самого того кургана, откуда волтеріанцы XII столѣтія бросили въ рѣку статую Перуна.

---

## ГЛАВА XXVII.

Губернское правленіе.—Я у себя подъ надзоромъ.—Отеческая власть помѣщиковъ и помѣщницъ.—Канибальское слѣдствіе.—Отставка.

Передъ моимъ отъѣздомъ графъ Строгановъ сказалъ мнѣ, что новгородскій военный губернаторъ, *Элпидифоръ Антиоховичъ Зуровъ* въ Петербургѣ, что онъ говорилъ ему о моемъ назначеніи и совѣтовалъ съѣздить къ нему. Я нашелъ въ немъ довольно простого и добродушнаго генерала очень армейской наружности, небольшого роста и среднихъ лѣтъ. Мы поговорили съ нимъ съ полчаса, онъ привѣтливо проводилъ меня до дверей и тамъ мы расстались.

Приѣхавши въ Новгородъ, я отправился къ нему,—перемѣна декорацій была удивительна. Въ Петербургѣ губернаторъ былъ

въ гостяхъ, здѣсь—дома; онъ даже ростомъ, казалось мнѣ, былъ побольше въ Повгородѣ. Не вызванный ничѣмъ съ моей стороны, онъ считъ нужнымъ сказать, что онъ не терпѣтъ, чтобъ совѣтники подавали голосъ и оставались бы письменно при своемъ мнѣніи, что это задерживаетъ дѣла, что если что не такъ, то можно переговорить, а какъ на *мнѣнія* пойдетъ, то тотъ или другой долженъ выйти въ отставку. И, улыбаясь, замѣтилъ ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка единственная цѣль моей службы, и прибавилъ, что пока горькая необходимость заставляетъ меня служить въ Повгородѣ, я, вѣроятно, не буду имѣть случая подавать своихъ мнѣній.

Разговора этого было совершенно достаточно для обоихъ. Выходя отъ него, я рѣшился не сближаться съ нимъ. Сколько я могъ замѣтить, впечатлѣніе, произведенное мною на губернатора, было въ томъ же родѣ, какъ то, которое онъ произвелъ на меня, т. е. мы настолько терпѣть не могли другъ друга, насколько это возможно было при такомъ недавнемъ и поверхностномъ знакомствѣ.

Когда я приемотрѣлся къ дѣламъ губернскаго правленія, я увидѣлъ, что мое положеніе не только очень непріятно, но чрезвычайно опасно. Каждый совѣтникъ отвѣчалъ за свое отдѣленіе и дѣлилъ отвѣтственность за все остальные. Читать бумаги по всемъ отдѣленіямъ было рѣшительно невозможно, надобно было подписывать на вѣру. Губернаторъ, послѣдовательный своему мнѣнію, что совѣтникъ никогда не долженъ совѣтовать, подписывалъ, противно смыслу и закону, первый послѣ совѣтника того отдѣленія, по которому было дѣло. Лично для меня это было превосходно, въ его подписи я находилъ нѣкоторую гарантію, потому что онъ дѣлилъ отвѣтственность и потому еще, что онъ часто, съ особеннымъ выраженіемъ, говорилъ о своей высокой честности и робеспьеровской неподкупности. Что касается до подписей другихъ совѣтниковъ, онѣ мало успокоивали. Люди эти были закаленные, старые писцы, дослужившіеся десятками лѣтъ до совѣтничества, жили они одной службой, т. е., однимъ взятками. Пенять на это нечего; совѣтникъ, помнится, получалъ 1,200 руб. асс. въ годъ; семейному человѣку продовольствоваться этимъ невозможно. Когда они поняли, что я не буду участвовать ни въ дѣлахъ общихъ добычъ, ни самъ грабить, они стали на меня смотрѣть, какъ на непрощеннаго гостя и опаснаго свидѣтеля. Они не очень сближались со мной, особенно когда разглядѣли, что между мной и губернаторомъ дружба была очень умѣренная. Другъ друга они берегли и предостерегали, до меня имъ дѣла не было.

Къ тому же мои почтенные сослуживцы не боялись большихъ

денежныхъ взысканій и начетовъ, потому что у нихъ ничего не было. Они могли рисковать, и тѣмъ больше, чѣмъ важнѣе было дѣло; будетъ ли начеть въ 500 рублей или въ 500.000, для нихъ было все равно. Доля жалованья шла въ случаѣ начета на уплату казны и могла длиться двѣсти, триста лѣтъ, если-бъ чиновникъ длился такъ долго. Обыкновенно или чиновникъ умираетъ или государь, и тогда наслѣдникъ прощаетъ долги. Такіе манифесты являются часто и при жизни того же государя, по поводу рожденія, совершеннолѣтія; они на нихъ считали. У меня же, напротивъ, захватили бы ту часть имѣнья и тотъ капиталъ, который отецъ мой отдѣлилъ мнѣ.

Если-бъ я могъ положиться на своихъ столоначальниковъ, дѣло было бы легче. Я сдѣлалъ многое для того, чтобъ привязать ихъ, обращаясь учтиво, помогая имъ денежно и доведя только до того, что они перестали меня слушаться; они только боялись совѣтниковъ, которые обращались съ ними, какъ съ мальчишками, и стали въ полнѣюно приходить на службу. Это были бѣднѣйшіе люди, безъ всякаго образованія, безъ всякихъ надеждъ; вся поэтическая сторона ихъ существованія ограничивалась маленькими трактирами и пастойкой. По своему отдѣленію, стало быть, приходилось тоже быть на сторожѣ.

Сначала губернаторъ мнѣ далъ IV отдѣленіе, тутъ откупныя дѣла и всякія денежные. Я просилъ его переимѣнить, онъ не хотѣлъ, говорилъ, что не имѣетъ права переимѣнить безъ воли другого совѣтника. Я въ присутствіи губернатора спросилъ совѣтника II отдѣленія, онъ согласился и мы помѣнялись. Новое отдѣленіе было меньше заманчиво; тамъ были паспорта, всякіе циркуляры, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей власти, о раскольникахъ, фальшивыхъ монетчикахъ и людяхъ, находящихся подъ полицейскимъ надзоромъ.

Нелѣпнѣе, глупѣе ничего нельзя себѣ представить; я увѣренъ, что три четверти людей, которые прочтутъ это, не повѣрятъ <sup>1)</sup>, а между тѣмъ это сущая правда, что я, какъ совѣтникъ губернскаго правленія, управляющій вторымъ отдѣленіемъ, свидѣтельствовалъ каждые три мѣсяца рапортъ полицмейстера *о самомъ себѣ*, какъ о человѣкѣ, находившемся подъ полицейскимъ надзоромъ. Полицмейстеръ, изъ учтивости, въ графѣ поведенія ничего не писалъ, а въ графѣ занятій ставилъ: «Занимается государственной службой». Вотъ до какихъ геркулесовскихъ столбовъ безумія можно доправиться, имѣя двѣ-три полиціи враждебныя

<sup>1)</sup> Это до такой степени справедливо, что какой-то пѣмецъ, разъ десять ругавшій меня въ «Morning Advertiser», приводилъ въ доказательство того что я не былъ въ ссылкѣ то, что я занимать должность совѣтника губернскаго правленія.

другъ другу, канцелярскія формы вмѣсто законовъ и фельдфебельскія понятія вмѣсто правительственнаго ума.

Нелѣпность эта напоминаетъ мнѣ случай, бывшій въ Тобольскѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Гражданскій губернаторъ былъ въ ссорѣ съ вице-губернаторомъ, ссора шла на бумагѣ, они другъ другу писали всякія приказныя колкости и остроты. Вице-губернаторъ былъ тяжелый недантъ, формалистъ, добрякъ изъ семинаристовъ, онъ самъ составлялъ съ большимъ трудомъ свои *язвительные* отвѣты и, разумѣется, цѣлью своей жизни дѣлалъ эту ссору. Случилось, что губернаторъ уѣхалъ на время въ Пестербургъ. Вице-губернаторъ занялъ его должность и въ качествѣ губернатора получилъ отъ себя дерзкую бумагу, посланную накануне; онъ, не задумавшись, велѣлъ секретарю отвѣчать на нее, подписать отвѣтъ и, получивъ его какъ вице-губернаторъ, снова принялся съ успіями и напряженіями строчить самому себѣ оскорбительное письмо. Онъ считалъ это высокой честностью.

Съ полгода вытянулъ я лямку въ губернскомъ правленіи, тяжело было и крайне скучно. Всякій день въ 11 часовъ утра надѣвалъ я мундиръ, прицѣплялъ статскую шинелю и являлся въ присутствіе. Въ 12 приходилъ военный губернаторъ; не обращая никакого вниманія на совѣтниковъ, онъ шелъ прямо въ уголъ и тамъ ставилъ свою саблю, потомъ, посмотрѣвши въ окно и поправивъ волосы, онъ подходилъ къ своимъ кресламъ и кланялся присутствующимъ. Едва вахмистръ съ страшными сѣдыми усами, стоявшими перпендикулярно къ губамъ, торжественно отворилъ дверь и брячанье сабли становилось слышно въ канцеляріи, совѣтники вставали и оставались стоя въ согбенномъ положеніи до тѣхъ поръ, пока губернаторъ кланялся. Одно изъ первыхъ дѣйствій оппозиціи съ моей стороны состояло въ томъ, что я не принималъ участія въ этомъ соборномъ возстаніи и благочестивомъ ожиданіи, а спокойно сидѣлъ и кланялся ему тогда, когда онъ кланялся намъ.

Большихъ преній, горячихъ разсужденій не было; рѣдко случалось, чтобъ совѣтникъ спрашивалъ предварительно мнѣнія губернатора, еще рѣже обращался губернаторъ къ совѣтникамъ съ дѣловымъ вопросомъ. Передъ каждымъ лежалъ ворохъ бумагъ и каждый писалъ свое имя,—это была фабрика подписей.

Помня знаменитое изрѣченіе Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердіемъ и занимался дѣлами насколько было нужно, чтобъ не получить замѣчанія или не попасть въ бѣду. Но въ моемъ отдѣленіи было два рода дѣлъ, на которыя я не считалъ себя въ правѣ смотрѣть такъ поверхностно, это были дѣла о раскольникахъ и о злоупотребленіи помѣщичьей властію.

У насъ раскольниковъ не постоянно гонятъ, такъ вдругъ

найдеть что-то на сподѣ или на министерство вн. д., они и сдѣлають набѣгъ на какой-нибудь скитъ, на какую-нибудь общину и опять затихнуть. Раскольники обыкновенно имѣютьмышленныхъ агентовъ въ Петербургѣ, они предупреждаютъ оттуда объ опасности, остальные тотчасъ собирають деньги, прячуть книги и образа, поятъ православнаго пона, поятъ православнаго исправника, дають выкупъ; тѣмъ дѣло и кончается лѣтъ на десять.

Дѣла о раскольникахъ были такого рода, что всего лучше было ихъ совѣсть не подымать вновь, я ихъ просмотрѣлъ и оставилъ въ покоѣ. Напротивъ, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей власти слѣдовало сильно перетряхнуть; я сдѣлалъ все, что могъ, и одержалъ нѣсколько побѣдъ на этомъ вязкомъ поприщѣ, освободилъ отъ преслѣдованія одну молодую дѣвушку и отдалъ подѣ опеку одного морского офицера. Это, кажется, единственная заслуга моя по служебной части.

Какая-то барыня держала у себя горничную, не имѣя на нее никакихъ документовъ. Горничная просила разобрать ея права на вольность. Мой предшественникъ благоразумно придумалъ до рѣшенія дѣла оставить ее у помѣщицы въ полномъ повиновеніи. Мнѣ слѣдовало подписать; я обратился къ губернатору и замѣтилъ ему, что незавидна будетъ судьба дѣвушки у ея барыни послѣ того, какъ она подавала на нее просьбу.

— Что-же съ ней дѣлать?

— Содержать въ части.

— На чей счетъ?

— На счетъ помѣщицы, если дѣло кончится противъ нея.

— А если нѣтъ?

По счастью, въ это время взошелъ губернскойій прокуроръ. Прокуроръ по общественному положенію, по служебнымъ отношеніямъ, по пуговицамъ на мундирѣ, долженъ быть врагомъ губернатора, по крайней мѣрѣ, во всемъ перечить ему. Я нарочно при немъ продолжалъ разговоръ; губернаторъ началъ сердиться, говорилъ, что все дѣло не стоитъ трехъ словъ. Прокурору было совершенно все равно, что будетъ и какъ-будетъ съ просительницей, но онъ тотчасъ взялъ мою сторону и привелъ десять разныхъ пунктовъ изъ свода законовъ. Губернаторъ, которому въ сущности еще больше было все равно, сказалъ мнѣ, насмѣшливо улыбаясь:

— Тутъ выходъ одинъ или къ барынѣ, или въ острогъ.

— Разумѣется, лучше въ острогъ, замѣтилъ я.

— Будетъ сообразіе съ смысломъ, изображеннымъ въ сводѣ законовъ, замѣтилъ прокуроръ.

— Пусть будетъ по вашему, сказалъ еще болѣе смѣясь гу-



бернаторъ:—услужили вы вашей *протезе*; какъ поспидить въ тюрьмѣ нѣсколько мѣсяцевъ, поблагодарить васъ.

Я не продолжалъ пренія, цѣль моя была снасти дѣвушку отъ домашнихъ преслѣдованій; помнится, мѣсяца черезъ два ее выпустили совѣтъ на волю.

Между перѣшенными дѣлами моего отдѣленія была сложная и длившаяся нѣсколько лѣтъ перениска о буйствѣ и всякихъ злодѣйствахъ въ своемъ имѣніи отставнаго морского офицера Струговицкова. Дѣло началось по просьбѣ его матери, потомъ крестьяне жаловались. Съ матерью онъ какъ-то поладилъ, а крестьянъ самъ обвинилъ въ намѣреніи его убить, не приводя, впрочемъ, никакихъ серьезныхъ доказательствъ. Между тѣмъ изъ показаній его матери и дворовыхъ людей видно было, что чловѣкъ этотъ дѣлалъ всевозможныя непростовства. Большие года дѣло это спало сномъ праведныхъ; справками и ненужными перенисками можно всегда затянуть дѣло и потомъ, *почисливъ* рѣшеннымъ, сдать въ архивъ. Надобно было сдѣлать представленіе въ сенатъ, чтобъ его отдали подъ опеку, но для этого необходимъ отзывъ дворянскаго предводителя. Предводители обыкновенно отбѣчаютъ уклончиво, не желая потерять избирательный голосъ. Пустить дѣло въ ходъ совершенно зависѣло отъ моей воли, но надобно было *сюр де грассе* предводителя.

Новгородскій предводитель, милиціонный дворянинъ, съ владимірской медалью, встрѣчаясь со мной, чтобъ заявить начитанность, говорилъ книжнымъ языкомъ до карамзинскаго періода; указывая разъ на памятникъ, который новгородское дворянство воздвигнуло *самому себѣ*, въ награду за патриотизмъ въ 1812 г., онъ какъ-то съ чувствомъ отзывался о такъ сказать трудной, священной и тѣмъ не менѣе лестной обязанности предводителя.

Все это было въ мою пользу.

Предводитель пріѣхалъ въ губернское правленіе для свидѣтельства въ сумасшествіи какого-то церковника; послѣ того, какъ всѣ предѣдатели всѣхъ палатъ истощили весь запасъ глупыхъ вопросовъ, по которымъ сумасшедшій могъ заключить объ нихъ, что и они не совѣтъ въ своемъ умѣ, и церковника возвели окончательно въ должность безумнаго, я отвелъ предводителя въ сторону и рассказалъ ему дѣло. Предводитель жалъ плечамъ, показывалъ видъ негодованія, ужаса и кончилъ тѣмъ, что отозвался объ морскомъ офицерѣ, какъ объ отъявленномъ негодяѣ, «кладущемъ тѣнь на благородное общество новгородскаго дворянства».

— Вѣроятно, сказалъ я,—вы такъ и отвѣтите письменно, если вы васъ спросимъ?

Предводитель, взятый врасплохъ, обѣщалъ отвѣчать по со-



вѣсти, прибавивъ, «что честь и правдивость безпримѣнные атрибуты росейскаго дворянства».

Сомнѣваясь немного въ безпримѣнности этихъ атрибутовъ, я такъ пустилъ дѣло въ ходъ, предводитель сдержалъ слово. Дѣло пошло въ сенатъ и я помню очень хорошо ту сладкую минуту, когда въ мое отдѣленіе былъ переданъ сенатскій указъ, назначившій опеку надъ имѣніемъ моряка и отдававшій его подъ надзоръ полиціи. Морякъ былъ увѣренъ, что дѣло кончено, и какъ громомъ пораженный явился послѣ указа въ Новгородъ. Ему тотчасъ сказали, какъ что было; яростный офицеръ собирался напасть на меня изъ-за угла, подкупить бурлаковъ и сдѣлать засаду, но, непревышій къ сухопутнымъ компаніямъ, мирно скрылся въ какой-то уѣздный городъ.

По несчастію, «атрибутъ» звѣрства, разврата и неистовства съ дворовыми и крестьянами является «безпримѣннѣе» правдивости и чести у нашего дворянства. Конечно, небольшая кучка образованныхъ помѣщиковъ не дерутся съ утра до ночи съ своими людьми, не сбѣгутъ всякій день, да и то между ними бывають «Пѣночкины», остальные не далеко ушли еще отъ Салтычихи и американскихъ плантаторовъ.

Роясь въ дѣлахъ, я нашелъ переписку исковаго губернскаго правленія о какой-то помѣщицѣ Ярыжкиной. Она засѣкла двухъ горничныхъ до смерти, поналась подъ судъ за третью и была почти совѣмъ оправдана уголовной палатой, основавшей, между прочимъ, свое рѣшеніе на томъ, что третья горничная не умерла. Женщина эта выдумывала удивительнѣйшія наказанія: била утюгомъ, сучковатыми палками, валькомъ.

Не знаю, что сдѣлала горничная, о которой идетъ рѣчь, но барыня превзошла себя. Она поставила ее на колѣни на дрань или на тесницы, въ *которыхъ были набиты гвозди*. Въ этомъ положеніи она била ее по спинѣ и по головѣ валькомъ и, когда выбилась изъ силъ, позвала кучера на смѣху; по счастію, его не было въ людской, барыня вышла, а дѣвушка, полубезумная отъ боли, окровавленная, въ одной рубашкѣ, бросилась на улицу и въ частной домъ. Приставъ принялъ показанія, и дѣло пошло своимъ порядкомъ; полиція возилась, уголовная палата возилась съ годъ времени, наконецъ, судъ, явнымъ образомъ закупленный, рѣшилъ премудро позвать мужа Ярыжкиной и внушить ему, чтобъ онъ удерживалъ жену отъ такихъ наказаній, а ее самое, оставя въ подозрѣніи, что она способствовала смерти двухъ горничныхъ, обязать подпиской, — ихъ впредь не наказывать. На этомъ основаніи барыни отдавали несчастную дѣвушку, которая въ продолженіи дѣла содержалась гдѣ-то.

Дѣвушка, перепуганная будущностью, стала писать просьбу

за просьбой; дѣло дошло до государя, онъ велѣлъ переслѣдовать его и прислалъ изъ Петербурга чиновника. Вѣроятно, средства Ярыжкиной не шли до подкупа столичныхъ, министерскихъ и жандармскихъ, слѣдопроизводителей, и дѣло приняло иной оборотъ. Помѣщица отправилась въ Сибирь на поселеніе, ея мужъ былъ взятъ подъ опеку. Всѣ члены уголовной палаты отданы подъ судъ; чѣмъ ихъ дѣло кончилось, не знаю.

Я въ другомъ мѣстѣ <sup>1)</sup> рассказалъ о человѣкѣ, засѣченномъ княземъ Трубецкимъ, и о камергерѣ Базилевскомъ, высѣченномъ своими людьми. Прибавлю еще одну дамскую исторію.

Горничная жены пензенскаго жандармскаго полковника пнула чайникъ полный кипяткомъ; дитя ея барыни, бѣжавши, наткнулся на горничную и та пролила кипятокъ; ребенокъ былъ обваренъ. Барыни, чтобъ отомстить той же монетой, велѣла привести ребенка горничной и обварила ему руку изъ самовара... Губернаторъ Панчулидзевъ, узнавъ объ этомъ чудовищномъ пропешествіи, душевно жалѣлъ, что находится въ деликатномъ отношеніи съ жандармскимъ полковникомъ и что, вѣдѣствіе этого, считаетъ неприличнымъ начать дѣло, которое могутъ счесть за личность!

Въ началѣ 1842 года я былъ до невозможности утомленъ губернскимъ правленіемъ и придумывалъ предлогъ, какъ бы отдѣлаться отъ него. Пока я выбиралъ то одно, то другое средство, случай совершенно вишній рѣшилъ за меня.

Разъ въ холодное зимнее утро пріѣзжаю я въ правленіе, въ передней стоитъ женщина лѣтъ тридцати, крестьянка; увидавши меня въ мундирѣ, она бросилась передо мной на колѣни и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Баринъ ея, Мусинъ-Пушкинъ, ссылая ея съ мужемъ на поселеніе, ихъ сынъ лѣтъ 10 оставался, она умоляла позволить ей взять съ собой дитя. Пока она мнѣ рассказывала дѣло, взошелъ военный губернаторъ, я указалъ ей на него и передалъ ея просьбу. Губернаторъ объяснилъ ей, что дѣти старше десяти лѣтъ оставляются у помѣщика. Мать, не понимая глупаго закона, продолжала просить; ему было скучно, женщина, рыдая, цѣплялась за его ноги, и онъ сказалъ, грубо отталкивая ее отъ себя: «да что ты за дура такая, вѣдь, по-русски тебѣ говорю, что я ничего не могу сдѣлать, что же ты пристаешь». Послѣ этого онъ пошелъ твердымъ и рѣшительнымъ шагомъ въ уголь, гдѣ ставилъ саблю.

И я пошелъ..... Съ меня было довольно.... Развѣ эта женщина не приняла меня за одного изъ нихъ? пора кончить комедію.

— Вы нездоровы?—спросилъ меня совѣтникъ Хлопинъ, переведенный изъ Сибири за какіе-то грѣхи.

<sup>1)</sup> «Крещеная Собственность».

— Боленъ, отвѣчалъ я, всталъ, раскланялся и уѣхалъ. Въ тотъ-же день написалъ я рапортъ о моей болѣзни и съ тѣхъ поръ нога моя не была въ губернскомъ правленіи. Потомъ я подалъ въ отставку «за болѣзнію». Отставку мнѣ сенатъ далъ, присовокупивъ къ ней чинъ *надворнаго совѣтника*; но Бенкендорфъ съ тѣмъ вмѣстѣ сообщилъ губернатору, что мнѣ запрещено въѣздить въ столицы и вѣчно жить въ Новгородѣ.

Огаревъ, возвратившійся изъ первой поѣздки за границу, принялся хлопотать въ Петербургѣ, чтобъ намъ было разрѣшено переѣхать въ Москву. Я мало вѣрилъ успѣху такого протектора и странно скучалъ въ дрянномъ городишкѣ съ огромнымъ историческимъ именемъ. Между тѣмъ Огаревъ все обдѣлалъ. 1 іюля 1842 года императрица, пользуясь семейнымъ праздникомъ, просила государя разрѣшить мнѣ жительство въ Москвѣ, взявъ во вниманіе болѣзнь моей жены и ея желаніе переѣхать туда. Государь согласился и черезъ три дня моя жена получила отъ Бенкендорфа письмо, въ которомъ онъ сообщалъ, что мнѣ разрѣшено сопровождать ее въ Москву, вѣдѣствіе предстательства государыни. Онъ заключилъ письмо пріятнымъ извѣщеніемъ, что полицейскій надзоръ будетъ продолжаться и тамъ.

Новгородъ я оставлялъ безъ всякаго сожалѣнія и торопился какъ можно скорѣе уѣхать. Впрочемъ, при разлукѣ съ нимъ, случилось чуть-ли не единственно пріятное происшествіе въ моей новгородской жизни.

У меня не было денегъ, ждаль изъ Москвы я не хотѣлъ, а потому и поручилъ Матвѣю сыскать мнѣ тысячи полторы р. асс. Матвѣй черезъ часъ явился съ содержателемъ гостиницы Гибинымъ, котораго я зналъ и у котораго въ гостиницѣ жилъ съ недѣлю. Гибинъ толстый купецъ съ добродушнымъ видомъ, кланяясь, подалъ пачку ассигнацій.

— Сколько желаете процентовъ?—спросилъ я его.

— Да я, видите, отвѣчалъ Гибинъ, этимъ дѣломъ не занимаюсь и въ прирентъ денегъ не даю, а такъ какъ слышалъ отъ Матвѣя Савельевича, что вамъ нужны деньги на мѣсяцъ, на другой, а мы вамъ очень довольны, а деньги, слава Богу, свободныя есть,—я и принесъ.

Я поблагодарилъ его и спросилъ, что онъ желаетъ, простую расписку или вексель? но Гибинъ и на это отвѣчалъ:

— Дѣло излишнее, я вашему слову вѣрю больше, чѣмъ гербовой бумагѣ.

— Помилуйте, да, вѣдь, могу-же я умереть.

— Ну, такъ къ горести объ вашей кончинѣ, прибавилъ Гибинъ смѣясь, немного прибудеть отъ потери денегъ.

Я былъ тронуть и вмѣсто расписки горячо пожалъ ему руку. Гибинъ, по русскому обычаю, обнялъ меня и сказалъ:

— Мы, вѣдь, все смекаемъ, знаемъ, что служили-то вы по-неволѣ и что вели себя не то что другіе, прости Господи, чиновники, и за нашего брата и за черныи народъ заступались, вотъ я и радъ, что потрафился случай сослужить службу.

Когда мы поздно вечеромъ выѣзжали изъ города, ямщикъ осадилъ лошадей противъ гостиницы и тотъ-же Гибинъ подалъ мнѣ на дорогу торть величиною съ колесо...

Вотъ моя «пряжка за службу!»

### ГЛАВА XXVIII.

Grübelel. — Москва послѣ ссылки. — Покровское. — Смерть Матвѣя. — Іерей Іоаннъ.

Жизнь наша въ Новгородѣ шла нехорошо. Я пріѣхалъ туда не съ самоотверженіемъ и твердостью, а съ досадой и озлобленіемъ. Вторая ссылка съ своимъ пошлымъ характеромъ раздражала больше, чѣмъ огорчала; она не была до того несчастна, чтобы поднять духъ, а только дразнила, въ ней не было ни интереса новости, ни раздраженія опасности. Одного губернскаго правленія, съ своимъ Эльзидифоромъ Антиоховичемъ Зуровымъ, совѣтникомъ Хлопинымъ и вице-губернаторомъ Пименомъ Араповымъ, было за глаза довольно, чтобы отравить жизнь.

Я сердился; грустное расположеніе брало верхъ у Natalie. Нѣжная натура ея, привыкшшая въ дѣтствѣ къ печали и слезамъ, снова отдавалась себя-буравящей тоскѣ. Она долго останавливалась на мучительныхъ мысляхъ, легко пропуская все свѣтлое и радостное. Жизнь становилась сложнѣе, струнъ было больше, а съ ними и больше тревоги. Вслѣдъ за болѣзью Саши,—испугъ III отдѣленія, несчастные роды, смерть младенца. Смерть младенца едва чувствуется отцомъ, забота о родильницѣ заставляетъ почти забывать промелькнувшее существо, едва успѣвшее проплакать и взять грудь. Но для матери, новорожденный—старый знакомый, она давно *чувствовала* его, между ними была физическая, химическая, нервная связь; сверхъ того, младенецъ для матери выкупъ за тяжесть беременности, за страданія родовъ, безъ него мученія, лишеныя цѣли, оскорбляютъ, безъ него ненужное молоко бросается въ мозгъ.

Послѣ кончины Natalie я нашелъ между ея бумагами записочку, о которой я совсѣмъ забылъ. Это были нѣсколько строкъ, написанныхъ мною за часъ или за два до рожденія Саши. Это

была молитва, благословеніе, посвященіе неродившагося существа на «службу человечества», обреченіе его на «трудный путь».

Съ другой стороны было написано рукой Natalie: «1 января, 1841 г. Вчера Александръ далъ мнѣ этотъ листокъ; лучшаго подарка онъ не могъ сдѣлать, этотъ листокъ разомъ вызвалъ всю картину трехлѣтняго счастья, непрерывнаго, безпредѣльнаго, основаннаго на одной любви.

«Такъ перешли мы въ новый годъ; что бы ни ждало насъ въ немъ, я склоняю голову и говорю за насъ обоихъ: да будетъ Твоя воля!

«Мы встрѣчали новый годъ дома, уединенно; только А. Л. Витбергъ былъ у насъ. Недоставало маленькаго Александра въ кружкѣ нашемъ, малютка покоился безмятежнымъ сномъ, для него еще не существуетъ ни прошедшаго, ни будущаго. Спи, мой ангелъ, беззаботно, я молюсь о тебѣ — и о *тебѣ*, дитя мое, еще неродившееся, по котораго я уже люблю всей любовью матери, твое движеніе, твой трепетъ такъ много говорятъ моему сердцу. Да будетъ твое приневствіе въ міръ радостно и благословенно!»

Но благословеніе матери не сбылось.

Смерть малютки не прошла ей даромъ.

Съ грустью и взошедшей внутрь злобой переѣхали мы въ Новгородъ.

*Правда* того времени, такъ какъ она тогда понималась, безъ искусственной перспективы, которую даетъ даль, безъ охлажденія временемъ, безъ исправленнаго освѣщенія лучами, проходящими черезъ ряды другихъ событій, сохранилась въ записной книгѣ того времени. Я собирался писать журналъ, начиналъ много разъ и никогда не продолжалъ. Въ день моего рожденія въ Новгородѣ Natalie подарила мнѣ бѣлую книгу, въ которой я иногда писалъ, что было на сердцѣ или въ головѣ.

Книга эта уцѣлѣла <sup>1)</sup>. На первомъ листѣ Natalie написала: «Да будутъ всѣ страницы той книги и всей твоей жизни свѣтлы и радостны!»

А черезъ три года она прибавила на ея послѣднемъ листѣ:

«Въ 1842 г. я желала, чтобъ всѣ страницы твоего дневника были свѣтлы и безмятежны; прошло три года съ тѣхъ поръ и оглянувшись назадъ, я не жалѣю, что желаніе мое не исполнилось,—и наслажденіе и страданіе необходимо для полной жизни, а успокоеніе ты найдешь въ моей любви къ тебѣ, въ любви, которой исполнено все существо мое, вся жизнь моя».

---

<sup>1)</sup> Этотъ журналъ напечатанъ въ VI т. наст. собранія сочиненій, подъ заглавіемъ: «Дневникъ».

*Примѣчаніе издан.*

«Миръ прошедшему и благословеніе грядущему! 25 марта, 1845, Москва».

Вотъ что тамъ записано 4 апрѣля, 1842 года:

«Господи, какая невыносимая тоска! слабость ли это или мое законное право? Неужели мнѣ считать жизнь оконченною, неужели всю готовность труда, всю необходимость обнаруженія держать подъ спудомъ, пока потребности заглохнутъ и тогда начать пустую жизнь. Можно было бы жить съ единой цѣлью внутренняго образованія, но середь кабинетныхъ занятій является та же ужасная тоска. Я долженъ обнаруживаться... ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой нищитъ сверчокъ... и еще годы надобно таскать эту тяжесть!»

И будто самъ испугавшись, я выписалъ вслѣдъ за тѣмъ стихи Гёте:

Gut verloren—et was verloren,  
Ehre verloren viel verloren,  
Musst Ruhm gewinnen,  
Da werden die Leute sich anders besinnen.  
Muth verloren—alles verloren,  
Da wäre es besser nicht geboren.

и потомъ:

...«Мои плечи ломаются, но еще несутъ!»

...«Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія? А между тѣмъ наши страданія—почки, изъ которыхъ разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, отчего мы лѣнтяи, нищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино, и пр.? Отчего руки не поднимаются на большой трудъ, отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски? Пусть же они остановятся съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ: мы заслужили ихъ грусть!»

...«Я не могу долго пробыть въ моемъ положеніи, я задохнусь,—и какъ бы ни вынырнуть, лишь бы вынырнуть. Писалъ къ Дубельту (просилъ его, чтобъ онъ выхлопоталъ мнѣ право переѣхать въ Москву). Написавши такое письмо, я дѣлаюсь боленъ, on se sent flétri. Вѣроятно, это чувство, которое испытываетъ публичные женщины, продаваясь первые раза за деньги...» <sup>1)</sup>).

И вотъ эту-то досаду этотъ строптивый крикъ нетерпѣнія, эту тоску по *свободной дѣятельности*, чувство цѣпей на ногахъ—Natalie приняла иначе.

Часто заставлялъ я ее у кровати Саши съ заплаканными глазами; она увѣряла меня, что все это отъ разстроенныхъ нервовъ, что лучше этого не замѣчать, не спрашивать... Я вѣрилъ ей.

<sup>1)</sup> См. т. VI «Дневникъ», стр. 6; здѣсь текстъ нѣсколько измѣненъ А. Н. Герценымъ.

Примѣчаніе издат.

Разъ возвратился я домой поздно вечеромъ; она была уже въ постелѣ, я взошелъ въ спальную. На сердцѣ у меня было скверно. Ф. пригласилъ меня къ себѣ, чтобъ сообщить мнѣ свое подозрѣніе на одного изъ нашихъ обычныхъ знакомыхъ, что онъ въ сношеніяхъ съ полиціей. Такого рода вещи обыкновенно щемятъ душу не столько возможной опасностью, сколько чувствомъ нравственнаго отвращенія.

Я ходилъ молча по комнатѣ, перебирая слышанное мною, вдругъ мнѣ показалось, что Natalie плачетъ; я взялъ ея платокъ, — онъ былъ совершенно взмоchenъ слезами.

— Что съ тобой? спросилъ я, испуганный и потрясенный.

Она взяла мою руку и голосомъ, полнымъ слезъ, сказала мнѣ:

— Другъ мой, я скажу тебѣ правду; можетъ, это самолюбіе, эгоизмъ, сумасшествіе, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя; тебѣ скучно, — я понимаю это, я оправдываю тебя, но мнѣ больно, больно и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебѣ меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты, ты чувствуешь бѣдность твоей жизни, — и въ самомъ дѣлѣ, что я могу сдѣлать для тебя?

Я былъ похожъ на человѣка, котораго вдругъ разбудили среди ночи и сообщили ему, прежде чѣмъ онъ совсѣмъ проснулся, что-то странное: онъ уже испуганъ, дрожитъ, но еще не понимаетъ, въ чемъ дѣло. Я былъ такъ вполне покоенъ, такъ увѣренъ въ нашей полной, глубокой любви, что и не говорилъ объ этомъ, это было великое *подразумываемое* всей жизни нашей; покойное сознаніе, безпредѣльная увѣренность, исключаяющая сомнѣніе, даже неуверенность въ себѣ, — составляли основную стихію моего личнаго счастья. Покой, отдохновеніе, художественная сторона жизни, все это было — какъ передъ нашей встрѣчей на кладбищѣ 9 мая 1838, какъ въ началѣ владимірской жизни — въ ней, въ ней и въ ней!

Мое глубокое огорченіе, мое удивленіе сначала разсѣяли эти тучи, но черезъ мѣсяць, черезъ два, онѣ стали возвращаться. Я успокаивалъ ее, утѣшалъ, она сама улыбалась надъ черными призраками и снова солнце освѣщало нашъ уголокъ; но только что я забывалъ ихъ, они опять подымали голову, совершенно ничѣмъ не вызванные, и, когда они проходили, я впередъ боялся ихъ возвращенія.

Таково было расположеніе духа, въ которомъ мы, въ іюлѣ 1842 года, перѣехали въ Москву.

Московская жизнь, сначала слишкомъ разсѣянная, не могла благотворно дѣйствовать, ни успокоить. Я не только не помогъ ей въ это время, а напротивъ, далъ поводъ развиться сильнѣе и глубже всеѣмъ *Grübeleien*...



Грустно сосредоточивалась Natalie больше и больше,—вѣра ея въ меня поколебалась, долѣе быть разрушенъ.

Это былъ кризисъ, болѣзненный переходъ изъ юности въ совершеннолѣтіе. Она не могла сладить съ мыслями, точившими ее, —она была больна, худѣла... Испуганный, упрекая себя, стоялъ я возлѣ и видѣлъ, что той самодержавной власти, съ которой я могъ прежде заклинять мрачныхъ духовъ, у меня нѣтъ больше, мнѣ было больно это и бесконечно жаль ее.

Говорятъ, что дѣти растутъ въ болѣзняхъ; въ эту психическую болѣзнь, которая поставила ее на край чахотки, она выросла колоссально. вмѣсто утренняго, яркаго, но косога освѣщенія, она входила этимъ скорбнымъ путемъ въ свѣтлый полдень. Организмъ вынесъ,—это только и было нужно. Не утрачивая ни одной іоты женственности, она мыслью развилась съ необычайной смѣлостью и глубиной. Тихо и съ самоотверженной улыбкой склонялась она передъ неотвратимымъ, безъ романтическаго ропота, безъ личной строптивости и безъ кичливаго удовольствія, съ другой стороны.

Не въ книгѣ и книгой освободилась она, а ясновидѣніемъ и жизнью. Неважныя испытанія, горькія столкновенія, которыя для многихъ прошли бы безслѣдно, провели сильныя бразды въ ея душѣ и были достаточнымъ поводомъ внутренней глубокой работы. Довольно было легкаго намека, чтобъ отъ послѣдствія къ послѣдствію она доходила до того безбоязненнаго пониманія истины, которое тяжело ложится и на мужескую грудь. Она грустно разставалась съ своимъ иконостасомъ, въ которомъ стояло такъ много заветныхъ святиль, облитыхъ слезами печали и радости; она покидала ихъ не краснѣя, какъ краснѣють большія дѣвочки своей вчерашней куклы. Она не отвернулась отъ нихъ, она ихъ уступила съ болью, зная, что она станетъ отъ этого бѣднѣе, беззащитнѣе, что кроткій свѣтъ мерцающихъ лампадъ замѣнится сѣрымъ разсвѣтомъ, что она дружится съ суровыми, равнодушными силами, глухими къ лепету молитвы, глухими къ загробнымъ упованіямъ. Она тихо отняла ихъ отъ груди, какъ умершее дитя, и тихо опустила ихъ въ гробъ, уважая въ нихъ прошлую жизнь, поэзію, данную имъ, ихъ утѣшенія въ пныя минуты. Она и послѣ не любила холодно касаться до нихъ, такъ, какъ мы минуемъ безъ нужды ступать на земляную насыпь могилы.

При этой сильной внутренней работѣ, при этой ломкѣ и перестройкѣ всѣхъ убѣжденій, явилась естественная потребность отдыха и одиночества.

Мы уѣхали въ подмосковную моего отца.

И какъ только мы очутились одни, окруженные деревьями и полями,—мы широко вздохнули и опять свѣтло взглянули на жизнь. Мы жили въ деревнѣ до поздней осени. Изрѣдка пріѣз-

жали гости изъ Москвы, К. гостилъ съ мѣсяцъ, все друзья явились къ 26 августа; потомъ опять тишина, тишина и лѣсъ и поля—и никого, кромѣ насъ.

Уединенное Покровское, потерянное въ огромныхъ лѣсныхъ дачахъ, имѣло совершенно другой характеръ, гораздо больше серьезный, чѣмъ весело брошенное на берегу Москвы-рѣки Васильевское съ своими деревнями. Разница эта даже была замѣтна между крестьянами. Покровскіе мужички, задвинутые лѣсами, меньше васильевскихъ ходили на подмосковныхъ, несмотря на то, что жили двадцатью верстами ближе къ Москвѣ. Они были тише, проще и чрезвычайно тѣсно сжились между собой. Мой отецъ переселялъ въ Покровское одну богатую крестьянскую семью изъ Васильевского, но они никогда не считали эту семью за принадлежащую къ ихъ селу, и называли ихъ «посельщиками».

Съ Покровскимъ я тоже былъ тѣсно соединенъ веѣмъ дѣтствомъ, тамъ я бывалъ даже такимъ ребенкомъ, что и не помню, а потомъ съ 1821 года, почти всякое лѣто, отправляясь въ Васильевское или изъ Васильевского, мы заѣзжали туда на нѣсколько дней. Тамъ жилъ старикъ Каменцовъ, разбитый параличемъ, въ опалѣ съ 1813 года и мечталъ увидѣть своего барина съ кавалеріями и регаліями; тамъ жилъ и умеръ потомъ, въ холеру 1831, почтенный, сѣдой староста съ брюшкомъ Василій Яковлевъ, котораго я помнилъ во все свои возрасты и во все цвѣта его бороды, сперва темно-русой, потомъ совершенно сѣдой; тамъ былъ молочный братъ мой Пикифоръ, гордившійся тѣмъ, что для меня отняли молоко его, матери умершей впоследствии въ домѣ умалишенныхъ...

Небольшое село изъ какихъ-нибудь двадцати или двадцати пяти дворовъ стояло въ нѣкоторомъ разстояніи отъ довольно большого господскаго дома. Съ одной стороны, былъ расчищенный и обнесенный рѣшеткой полукруглый лугъ, съ другой, видъ на запруженую рѣчку, для предполагаемой лѣтъ за пятнадцать тому назадъ мельницы, и на покосившуюся, ветхую деревянную церковь, которую ежегодно собирались поправить, тоже лѣтъ пятнадцать, Сенаторъ и мой отецъ, владѣвшіе этимъ имѣніемъ сообща.

Домъ, построенный Сенаторомъ, былъ очень хорошъ: высокія комнаты, большія окна, и съ обѣихъ сторонъ сѣни въ родѣ террасъ. Онъ былъ построенъ изъ отборныхъ толстыхъ бревенъ, ничѣмъ не покрытыхъ ни снаружи, ни внутри, и только проконопаченыхъ паклей и мохомъ. Стѣны эти пахли смолой, выступавшей тамъ-сямъ янтарнымъ потомъ. Передъ домомъ, за небольшимъ полемъ, начинался темный, строевой лѣсъ, черезъ него шелъ просѣкъ въ Звенигородъ; по другую сторону тянулась селомъ и пропадала во ржи пыльная, тонкая тесемка проселочной дороги, вы-

ходившей через майковскую фабрику—на Можайку. Дубравный покой и дубравный шумъ, непрерывное жуужаніе мухъ, пчелъ, шмелей... и запахъ... этотъ травянолѣсной запахъ, насыщенный растительными испареніями, листвою, а не цвѣтами... котораго я такъ жадно искалъ и въ Италіи, и въ Англіи, и весной и жаркимъ лѣтомъ, и почти никогда не находилъ. Иногда будто пахнетъ имъ, послѣ скошеннаго сѣна, при спрокко, передъ грозой... и вспомнится небольшое мѣстечко передъ домомъ, на которомъ, къ великому оскорбленію старосты и дворовыхъ людей, я не велѣлъ косить траву подъ гребенку; на травѣ трехлѣтній мальчишъ, валяющійся въ клеверѣ и одуванчикахъ, между кузнечиками, всякими жуками и божьими коровками, и мы сами, и молодость, и друзья!

Солнце сѣло, еще очень тепло, домой идти не хочется, мы сидимъ на травѣ. К. разбираетъ грибы и бранится со мной безъ причинъ. Что это, будто колокольчикъ? Къ намъ, что ли? Сегодня суббота, можетъ быть. — «Исправникъ ѣдетъ куда-нибудь», говоритъ К., подозревая, что это не онъ. Тройка катитъ селомъ, стучитъ по мосту, ушла за пригорокъ, тутъ одна дорога и есть — къ намъ. Пока мы бѣжимъ навстрѣчу, тройка у подъѣзда; Михаилъ Семеновичъ, какъ лавина, уже скатился съ нея, смѣется, цѣлуется и моритъ со смѣха, въ то время, какъ Бѣлинскій, проклиная даль Покровскаго, устройство русскихъ телегъ, русскихъ дорогъ, еще слѣзаетъ, расправляя поясницу. А К. уже бранитъ ихъ:

— Да что васъ эта нелегкая принесла въ восемь часовъ вечера, не могли раньше ѣхать, все привередникъ Бѣлинскій, не можетъ рано встать. Вы что смотрѣли!

— Да онъ еще больше одичалъ у тебя, говоритъ Бѣлинскій, — да и волосы какіе отрастали! Ты К. могъ бы въ Макбетъ представлять подвижной лѣсъ. Погоди, не истощай всего запаса ругательства, есть злодѣи, которые позже нашего пріѣзжаютъ.

Другая тройка уже погибаетъ на дворъ, Грановскій, Е. К.

— На долго ли вы?

— На два дни.

— Превосходно! — И самъ К. радъ до того, что встрѣчаетъ ихъ почти такъ, какъ Тарасъ Бульба своихъ сыновей.

Да, это была одна изъ свѣтлыхъ эпохъ нашей жизни, отъ прошлыхъ бурь едва оставались печезавшія облака; дома, въ кругу друзей, была полная гармонія!

А чуть было нелѣпная случайность не перепортила все.

Какъ-то вечеромъ, Матвѣй, при насъ показывая Сашѣ что-то на плотинѣ, поскользнулся и упалъ въ воду съ мелкой стороны. Саша перепугался, бросился къ нему, когда онъ вышелъ, вцѣпился въ него рученками и повторялъ сквозь слезы: «Не ходи, не ходи,

ты утонешь!» Никто не думалъ, что эта дѣтская ласка будетъ для Матвѣи послѣдняя и что въ словахъ Саши заключалось для него страшное пророчество.

Измокшій и замаравшійся Матвѣй пошелъ спать,—и мы больше не видали его.

На другое утро, я стоялъ на балконѣ, часовъ въ семь, слышались какіе-то голоса, больше и больше, нестройные крики и велѣдъ за тѣмъ показались мужики, бѣжавшіе стремглавъ... «Что у васъ тамъ?»—«Да бѣда, отвѣчали они, человѣкъ-отъ вашъ никакъ тонетъ... одного во время вытащили, а другого не могутъ сыскать». Я бросился къ рѣкѣ. Староста былъ налицо и распоряжался безъ сапогъ и съ засученными портками; двое мужиковъ съ кояги забрасывали неводъ. Минуть черезъ пять они закричали: «Нашли, нашли!» и вытащили на берегъ мертвое тѣло Матвѣя. Цвѣтушій юноша этотъ, красивый, краснощекій, лежалъ съ открытыми глазами, безъ выраженія жизни и ужъ нижняя часть лица начала вздвигаться. Староста положилъ тѣло на берегу, строго наказавъ мужикамъ не дотрагиваться, набросилъ на него армякъ, поставилъ караульнаго и послалъ за земской полиціей...

Когда я возвратился домой, я встрѣтился съ Natalie; она уже знала, что случилось, и рыдая бросилась ко мнѣ.

Жаль, очень жаль намъ было Матвѣя. Матвѣй въ нашей большой семьѣ игралъ такую близкую роль, былъ такъ тѣсно связанъ со всѣми главными событіями ея послѣднихъ пяти лѣтъ и такъ некрепко любилъ насъ, что потеря его не могла легко пройти.

«Можетъ, писалъ я тогда,—для него смерть благо, жизнь ему сулила страшные удары, у него не было выхода. Но страшно быть свидѣтелемъ такого спасенія отъ будущаго. Онъ развился подъ моимъ вліяніемъ, но слишкомъ поспѣшно, его развитіе мучило его своей неравномѣрностью».

Печальная сторона въ судьбѣ Матвѣя состояла именно въ разрывѣ, который неосторожное развитіе внесло въ его жизнь, и въ немогутъ наполнить его, въ отсутствіи твердой воли одолѣть имъ. Благородныя чувства и нѣжное сердце въ немъ были сильнѣе ума и характера. Онъ быстро, *по-женски*, почуялъ многое, особенно изъ нашего воззрѣнія; но смѣренно возвратиться къ началамъ, къ азбукѣ и выполнить ученіемъ пустоты и пробѣлы, онъ не былъ въ состояніи. Званія своего онъ не любилъ, да и не могъ любить. Общественное неравенство нигдѣ не является съ такимъ унижающимъ, оскорбительнымъ характеромъ, какъ въ отношеніи между барининомъ и слугой. Ротшильдъ на улицѣ гораздо ровнѣе съ нищимъ, который стоитъ съ метлой и размета-

еть передь нимъ грязь, чѣмъ съ своимъ камердинеромъ въ шелковыхъ чулкахъ и бѣлыхъ перчаткахъ.

Жалобы на слугъ, которыя мы слышимъ ежедневно, такъ же справедливы, какъ жалобы слугъ на господъ, и это не потому, чтобъ тѣ и другіе сдѣлались хуже, а потому, что ихъ отношеніе больше и больше приходитъ въ сознаніе. Оно удручительно для слуги и развращаетъ барина.

Мы такъ привыкли къ нашему аристократическому отношенію къ прислугѣ, что вовсе его не замѣчаемъ. Сколько есть на свѣтѣ барышень добрыхъ и чувствительныхъ, готовыхъ плакать о зябнущемъ щенкѣ, отдать нищему послѣднія деньги, готовыхъ ѣхать въ трескучій морозъ на томболу въ пользу раззоренныхъ въ Сиріи, на концертъ, дающійся для погорѣлыхъ въ Абиссиніи, и которыя, прося маменьку еще остаться на кадриль, ни разу не подумали о томъ, какъ малютка фореиторъ мерзнетъ на почномъ морозѣ, сидя верхомъ съ застывающей кровью въ жилахъ.

Гнусно отношеніе господъ съ слугами. Работникъ, по крайней мѣрѣ, знаетъ свою работу, онъ что-нибудь дѣлаетъ, онъ что-нибудь можетъ сдѣлать поскорѣе, и тогда онъ правъ, наконецъ, онъ можетъ мечтать, что самъ будетъ хозяиномъ. Слуга не можетъ кончить своей работы, онъ въ бѣличьемъ колесѣ; жизнь сорить, сорить безпрестанно, слуга безпрестанно подчиняется за ней. Онъ *долженъ* взять на себя всѣ мелкія неудобства жизни, всѣ грязныя, всѣ скучныя ея стороны. На него надѣваютъ ливрею, чтобъ показать, что онъ *не самъ, а чей-то*. Онъ ухаживаетъ за человѣкомъ вдвое больше здоровымъ, чѣмъ онъ самъ, онъ *долженъ* ступать въ грязь, чтобъ тотъ сухо прошелъ, онъ *долженъ* мерзнуть, чтобъ тому было тепло.

Ротшильдъ не дѣлаетъ нищаго прландца свидѣтелемъ своего лукулловскаго обѣда, онъ его не посылаетъ наливать двадцати человѣкамъ Clos de Vougeot, съ подразумѣваемымъ замѣчаніемъ, что если онъ нальетъ себѣ, то его прогонять какъ вора. Наконецъ, прландецъ тѣмъ уже счастливѣе комнатнаго раба, что онъ не знаетъ, какія есть мягкія кровати и пахучія вины.

Матвѣю было лѣтъ 15, когда онъ перешелъ ко мнѣ отъ Зоенберга. Съ нимъ я жилъ въ ссылкѣ, съ нимъ во Владимірѣ; онъ намъ служилъ въ то время, когда мы были безъ денегъ. Онъ какъ нянька ходилъ за Сашей, наконецъ, онъ имѣлъ ко мнѣ безграничное довѣріе и слѣпую преданность, которыя шли изъ пониманья, что я *не въ самомъ дѣлѣ баринъ*. Его отношеніе ко мнѣ больше походило на то, которое встарь бывало между учениками итальянскихъ художниковъ и ихъ maestri. Я часто былъ имъ недоволенъ, но вовсе не какъ слугой... Я печально

смотрѣлъ на его будущность; чувствуя тягость своего положенія, страдая объ этомъ, онъ ничего не дѣлалъ, чтобъ выйти изъ него. Въ его лѣта, если-бъ онъ хотѣлъ заниматься, онъ могъ бы начать новую жизнь; но для этого-то и надобенъ былъ постоянный, настойчивый трудъ, часто скучный, часто дѣтскій. Его чтеніе ограничивалось романами и стихами; онъ ихъ понималъ, цѣнилъ, иногда очень вѣрно, но серьезные книги его утомляли. Онъ медленно и плохо считалъ, дурно и нечетко писалъ. Сколько ни настаивалъ, чтобъ онъ занялся арифметикой и чистописаніемъ, не могъ дойти до этого: вмѣсто русской грамматики, онъ брался то за французскую азбуку, то за нѣмецкіе діалоги, разучивался, это было потерянное время и только обезкураживало его. Я его сильно бранилъ за это, онъ огорчался, иногда плакалъ, говорилъ, что онъ несчастный человѣкъ, что ему учиться поздно, и доходилъ иногда до такого отчаянія, что желалъ умереть, бросалъ все занятія, и недѣли, мѣсяцы проводилъ въ скукѣ и праздности.

Съ посредственными способностями безъ большого размаха можно было бы еще сладить. Но, по несчастію, у этихъ психически тонко развитыхъ, но мягкихъ натуръ, большею частію сила тратится на то, чтобъ ринуться впередъ, а на то, чтобъ продолжать путь, ея и нѣтъ. Издали—образованіе, развитіе представляются имъ съ своей поэтической стороны, се-то они и хотѣли бы захватить, забывая, что имъ не достаетъ всей технической части дѣла—*doigté*, безъ котораго инструментъ все-таки не покоряется.

Часто спрашивалъ я себя, не ядовитый-ли даръ для него его полуразвитіе? Что-то ждетъ его въ будущемъ?

Судьба разрубила гордіевъ узелъ!

Бѣдный Матвѣй! Къ тому же и самые похороны его были окружены, при всемъ подавляющемъ, угрюмомъ характерѣ, скверной обстановкой и притомъ совершенно отечественной.

Къ полудню пріѣхалъ становой и писарь, съ ними явился и нашъ сельскій священникъ, горькій пьяница и старый старикъ. Они освидѣтельствовали *тѣло*, взяли допросы и сѣли въ залѣ писать. Попъ, ничего не писавшій и ничего не читавшій, надѣлъ на носъ большіе серебрянные очки, и сидѣлъ молча, вздыхая, зѣвая и крестя ротъ, потомъ вдругъ обратился къ старостѣ и, сдѣлавши движеніе, какъ будто нестерпимо болитъ поясница спросилъ его:

— А что, Савелій Гавриловичъ, закусочка будетъ?

Староста, важный мужикъ, произведенный Сенаторомъ и номъ отцемъ въ старосты за то, что онъ былъ *хорошій плотникъ*, не изъ той деревни (слѣдственно, ничего въ ней не зная) и

быть очень красивъ собой, несмотря на шестой десятокъ;—погладилъ свою бороду расчесанную вѣеромъ и, такъ какъ ему до этого никакого дѣла не было, отвѣчалъ густымъ басомъ, по-сматривая на меня изъ подлобья:

— А ужъ это не можемъ доложить-съ!

— Будетъ, отвѣчалъ я, и позвалъ человѣка.

— Благодареніе Господу Богу; да и пора, рано встаю, Ле-ксандръ Ивановичъ, такъ и отошаль.

Становой положилъ перо и, потирая руки, сказалъ, прихораши-ваясь:

— У насъ, кажись, отецъ-то Іоаннъ взалкалъ; дѣло доброе-съ, коли хозяинъ не прогнѣвается, можно-съ.

Человѣкъ принесъ холодную закуску, сладкой водки, настойки и хересу.

— Благословите-ка, батюшка, яко пастырь, и покажите при-мѣръ, а мы грѣшные за вами,—замѣтилъ становой.

Понъ, съ поспѣшностію и съ какой-то чрезвычайно сжатой молитвой, хватилъ винную рюмку сладкой водки, взялъ крошеч-ной верешокъ хлѣба въ ротъ, погрызъ его и въ ту же минуту вынулъ другую, и потомъ уже тихо и продолжительно занялся вѣтчиной.

Становой—и это мнѣ особенно врѣзалось въ память,—повторяя тоже сладкую водку, былъ ею доволенъ и, обращаясь ко мнѣ, съ видомъ знатока замѣтилъ:

— Полагаю - съ, что допселькюмель у васъ отъ вдовы Руже-съ?—Я не имѣлъ понятія, гдѣ покупали водку, и велѣлъ подать полуштофъ; дѣйствительно водка была отъ вдовы Руже. Какую практику надобно было имѣть, чтобъ различить *по букету водки*—нмѣ заводчика!

Когда они окончили, староста положилъ становому въ те-лѣгу куль овса и мѣшокъ картофеля; писарь, напившійся въ кухнѣ, сѣлъ на облучекъ, и они уѣхали.

Священникъ пошелъ нетвердыми стопами домой, ковыряя въ зубахъ какой-то щепкой. Я приказывалъ людямъ о похоронахъ, какъ вдругъ отецъ Іоаннъ остановился и замахалъ руками; ста-роста побѣжалъ къ нему, потомъ отъ него ко мнѣ.

— Что случилось?

— Да батюшка велѣлъ вашу милость спросить, отвѣчалъ староста, не скрывая улыбки, кто, молъ, поминки будетъ спра-влять по покойникѣ?

— Что же ты ему сказалъ?

— Сказалъ, чтобъ не сумѣвался, блины, молъ, будутъ.

Матвѣя схоронили, блиновъ и водки попу дали, а все-то это



оставило за собой длинную темную тѣнь, мнѣ же предстояло еще ужасное дѣло,—извѣстить его мать.

Разстаться съ честнымъ іереемъ храма Покрова Божіей Матери въ селѣ Покровскомъ я никакъ не могу, не рассказавъ объ немъ слѣдующее событіе.

Отецъ Іоаннъ былъ не модный семинарской священникъ, не зналъ греческихъ спряженій и латинскаго синтаксиса. Ему было за семьдесятъ лѣтъ, полжизни онъ провелъ діакономъ въ большомъ селѣ «Елпсаветъ Алексіевны Голохвастовой», которая упростила митрополита рукоположить его священникомъ и опредѣлить на открывшуюся вакансію въ селѣ моего отца. Какъ онъ ни старался всею жизнью привыкнуть къ употребленію большого количества свухи, онъ не могъ побѣдить ея дѣйствія, и поэтому онъ послѣ полудня былъ постоянно пьянъ. Шилъ онъ до того, что часто со свадьбы или съ крестинъ, въ сосѣднихъ деревняхъ, принадлежавшихъ къ его приходу, крестьяне выносили его за-мертво, клали какъ снопъ въ телѣгу, привязывали вожжи къ передку и отправляли его подъ единственнымъ надзоромъ его лошади. Ключенка, хорошо знавшая дорогу, привозила его преаккуратно домой. Матушка попадья также пила до пьяна всякой разъ, когда Богъ пошлетъ. Но замѣчательнѣе этого то, что его дочь, лѣтъ четырнадцать, могла не морщась выпивать чайную чашку пѣнника.

Мужики презирали его и всю его семью, они даже разъ жаловались на него міромъ Сенатору и моему отцу, которые просили митрополита взойти въ разборъ. Крестьяне обвиняли его въ очень большихъ запросахъ денегъ за требы, въ томъ, что онъ не хоронилъ болѣе трехъ дней, безъ платы впередъ, а вѣнчать вовсе отказывался. Митрополитъ или консисторія нашли просьбу крестьянъ справедливой, и послали отца Іоанна на два или на три мѣсяца толочь воду. Попъ возвратился послѣ архипастырскаго иеправленія, не только вдвое пьяницей, но и воромъ.

Наши люди рассказывали, что разъ въ храмовой праздникъ подъ хмелькомъ, бражничая вмѣстѣ съ попомъ, старикъ крестьянинъ ему сказалъ: «Ну вотъ, молъ, ты озорникъ какой, довель дѣло до высокопреосвященнѣйшаго! Честью не хотѣлъ, такъ вотъ тебѣ и подрѣзали крылья». Обиженный попъ отвѣчалъ будто бы на это: «Зато, вѣдь, я васъ, мошенниковъ, такъ и вѣнчаю, такъ и хороню, что ни есть самыя дрянныя молитвы, ихъ то-я вамъ и читаю».

Черезъ годъ, т. е., въ 1844, мы опять жили лѣто въ Покровскомъ. Сѣдой, исхудалый попъ все также пилъ, и также не могъ одолѣть сильнаго дѣйствія алкоголя. По воскресеньямъ, онъ по-вадилъ послѣ обѣдни приходить ко мнѣ, напиваться водкой и

сидѣть часа два. Миѣ это надоѣло, я не велѣлъ его принимать и даже прятался отъ него въ лѣсъ, но онъ и тутъ нашелся: «Барина дома нѣтъ, говорилъ онъ,—ну, а водка-то дома вѣрно? Небось, не взялъ съ собой?» Человѣкъ мой выносилъ ему въ переднюю большую рюмку сладкой водки, и священникъ, выпивъ ее и закусивъ паюсной икрой, смиренно уходилъ во-свои.

Наконецъ, наше знакомство рушилось окончательно.

Однимъ утромъ, является ко миѣ дьячекъ, молодой долговзый малый, по женски зачесанный, съ своей молодой женой, покрытой веснушками; оба они были въ сильномъ волненіи, оба говорили вмѣстѣ, оба прорезались, и отерли слезы въ одно время. Дьячекъ какимъ-то силеноснутымъ дискантомъ, супруга его, страшно картавя, разсказывали въ обгонки, что на дняхъ у нихъ украли часы и шкатулку, въ которой было рублей пятьдесятъ денегъ, что жена дьячка нашла «воя» и что этотъ «вой» никто иное, какъ честнѣйшій богомолецъ нашъ отецъ-Іоаннъ.

Доказательства были непреложны: жена дьячка нашла въ хламѣ, выброшенномъ изъ священникова дома, кусокъ отъ крышки украденнаго ящика.

Они приступили ко миѣ, чтобъ я защитилъ ихъ. Сколько я имъ ни объяснялъ раздѣленія властей на духовную и свѣтскую, но дьячекъ не сдавался, жена его плакала; я не зналъ, что дѣлать. Жаль миѣ его было, потерю свою онъ цѣнилъ въ 90 р. Подумавъ, я велѣлъ заложить телѣгу и послалъ старосту съ письмомъ къ исправнику; у него-то я спрашивалъ того совѣта, который дьячекъ надѣялся получить отъ меня. Къ вечеру староста воротился, исправникъ миѣ на словахъ велѣлъ сказать: «Бросьте это дѣло, а то консисторія вступится и надѣластъ хлопотъ. Пусть, молъ, баринъ не трогаетъ кутьи, коли не хочетъ, чтобъ отъ рукъ воняло». Отвѣтъ этотъ, и въ особенности послѣднее замѣчаніе, Савелій Гавриловъ передавалъ съ большимъ удовольствіемъ. «А что шкатулку укралъ батюшка, прибавилъ онъ, то это такъ вѣрно, какъ я передъ вами стою».

Я съ горестью передалъ дьячку отвѣтъ свѣтской власти. Староста, напротивъ, успокоительно говорилъ ему: «Ну, что безвременно носъ повѣсилъ? погоди, подведемъ еще; что ты,—баба или дьячекъ?»

И подвелъ староста съ компаніей.

Былъ ли Савелій Гавриловъ раскольникъ, или нѣтъ, я навѣрное не знаю; но семья крестьянъ, переведенная изъ Васильевского, когда отецъ мой его продалъ, вся состояла изъ старообрядцевъ. Люди трезвые, смышленные и работающіе, они всѣ ненавидѣли попа. Одинъ изъ нихъ, котораго мужики называли лабазникомъ, имѣлъ на Неглинной въ Москвѣ свою лавку. Исторія

украденныхъ часовъ тотчасъ дошла до него; наводи справки, лабазникъ узналъ, что дьяконъ безъ мѣста, зять покровскаго пона, предлагалъ кому-то купить или отдать подъ закладъ часы, что часы эти у мѣнялы; лабазникъ зналъ часы дьячка, онъ къ мѣнялъ, какъ разъ часы тѣ самыя. На радостяхъ онъ не пожалѣлъ лошади и пріѣхалъ самъ съ вѣстію въ Покровское.

Тогда, съ полными доказательствами въ рукахъ, дьячекъ отправился къ благочинному. Дни черезъ три я узналъ, что пощъ заплатилъ дьячку сто руб. и они помирились.

— Какъ же это было?—спросилъ я дьячка.

— Благочинный соизволилъ, какъ изволили слышать, нашего Прода выписывать къ себѣ-съ. Долго держали ихъ-съ и уже что было,—не знаю-съ. Только потомъ изволили меня потребовать и строго сказали мнѣ: «Что у васъ тамъ за дразги? Стыдно, молодой человекъ, мало ли что подъ хмелькомъ случится, старикъ, видишь, старый, въ отцы тебѣ годится. Онъ тебѣ сто рублевъ на мировую даетъ. Доволенъ ли?—Доволенъ, говорю я, молъ, ваше высокоблагословеніе.—«Ну, а доволенъ, такъ хайло-то держи, нечего въ колокола звонить, все же ему за семьдесятъ лѣтъ; а не то, смотри, самого въ бараній рогъ сверну».

И этотъ пьяный воръ, уличенный лабазникомъ, снова явился священнодѣйствовать, при томъ же старостѣ, который такъ утвердительно говорилъ мнѣ, что онъ укралъ «шкатунку», съ тѣмъ же дьячкомъ на крылосѣ, у котораго теперь наки и наки въ карманѣ измѣряли скудельное время знаменитые часы, и — при тѣхъ же крестьянахъ.

Случилось это въ 1844 г., въ пятидесяти верстахъ отъ Москвы и я былъ всего этого свидѣтелемъ!

## ГЛАВА XXIX.

### Н а ш и.

#### I.

Московскій кругъ.—Застольная бесѣда.—Западники. (Боткинъ, Рѣдкинъ, Крюковъ, Е. К....)

Поѣздкой въ Покровское и тихимъ лѣтомъ, проведеннымъ тамъ, начинается та изыщная, возмужалая и дѣятельная полоса нашей московской жизни, которая длилась до кончины моего отца и, пожалуй, до нашего отъѣзда.

Судорожно натянутые нервы въ Петербургѣ и Новгородѣ отдали, внутреннія непогоды улеглись. Мучительные разборъ насъ самихъ и другъ друга, эти ненужныя разберекиванія словами недавнихъ рапъ, эти безпрерывныя возвращенія къ однимъ и тѣмъ же наболѣвшимъ предметамъ, миновали; а потрясенная вѣра въ нашу непогрѣзительность придавала больше серьезный и истинный характеръ нашей жизни. Моя статья: «По поводу одной драмы» была заключительнымъ словомъ прожитой болѣзни <sup>1)</sup>.

Съ вѣншей стороны тѣснилъ только полицейскій надзоръ <sup>2)</sup>; не могу сказать, чтобъ онъ былъ очень докучливъ, но непріятное чувство дамокловой трости, занесенной рукой кварталнаго, очень противно.

Новые друзья приняли насъ горячо, гораздо лучше, чѣмъ два года тому назадъ. Въ ихъ главѣ стоялъ Грановскій, ему принадлежить главное мѣсто этого пятилѣтія. Огаревъ былъ почти все время въ чужихъ краяхъ. Грановскій замѣнялъ его намъ и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви лежала въ этой личности. Со многими я былъ согласенъ въ мнѣніяхъ, но съ нимъ я былъ ближе—тамъ гдѣ-то, въ глубинѣ души.

Грановскій и все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто занимая каѳедры въ университетѣ, кто участвуя въ обзрѣніяхъ и журналахъ, кто изучая русскую исторію; къ этому времени относятся начала всего сдѣланнаго потомъ.

Мы были уже очень не дѣти; въ 1842 году мнѣ стукнуло тридцать лѣтъ; мы слишкомъ хорошо знали, куда насъ вела наша дѣятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы нашъ путь съ тѣмъ успокоеннымъ, ровнымъ шагомъ, къ которому приучилъ насъ опытъ и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарѣлись, нѣтъ, мы были въ то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую каѳедру, другіе, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставкѣ, ссылкѣ.

<sup>1)</sup> Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV) прибавлено: „Разумѣется, мы не могли возвратиться къ весеннему, юному владимірскому отшельничеству. Шиллеръ правъ: «май жизни цвѣтетъ одинъ разъ», но есть еще другіе цвѣты, не майскіе, которые распускаются въ іюнѣ, іюлѣ, августѣ, — они на своемъ мѣстѣ такъ же красивы и благоуханны, какъ весеннія violetки и ландыши на своемъ. Самая старость имѣетъ зимніе вѣнки, которые ей очень идутъ, лишь бы она не красила сѣдыхъ кудрей своихъ. Жизнь наша, устроившаяся въ Москвѣ къ концу 1847 года, была очень изящна и носила особый характеръ возмужалости и силы.

<sup>2)</sup> Въ «Полярной Звѣздѣ» прибавлено: продолжавшійся до 1847 г.

Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ, многостороннихъ и чистыхъ, я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ, ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго. А я много ѣздилъ, вездѣ жилъ и со всѣми жилъ; революціей меня прибило къ тѣмъ краямъ развитія, далѣе которыхъ ничего нѣтъ, и я по совѣсти долженъ повторить то же самое.

Оконченная, замкнутая личность западнаго человѣка, удивляющая насъ сначала своей спеціальностью, велѣтъ за тѣмъ удивляеться односторонностью. Онъ всегда доволенъ собою, его *suffisance* насъ оскорбляетъ. Онъ никогда не забываетъ личныхъ видовъ, положеніе его вообще стѣсненное и нравы приложены къ жалкой средѣ.

Я не думаю, чтобъ люди всегда были здѣсь таковы, западный человѣкъ не въ нормальномъ состояніи: онъ *линяетъ*. Неудачныя революціи вошли внутрь, ни одна не перемѣнила его, каждая оставила слѣдъ и сбила понятія, а историческій валъ естественнымъ чередомъ выплеснулъ на главную сцену типпестый слой мѣщанъ, покрывшій собою ископаемый классъ аристократіи и затонившій народныя входы. Мѣщанство несовмѣстно съ нашимъ характеромъ—и слава Богу!

Распущенность ли наша, недостатокъ ли нравственной осядлости, опредѣленной дѣятельности, юность ли въ дѣлѣ образованія, аристократизмъ ли воспитанія, но мы въ жизни, съ одной стороны, больше художники, съ другой, гораздо проще западныхъ людей: не имѣемъ ихъ спеціальности, но за то многостороннѣе ихъ. Развитыя личности у насъ рѣдко встрѣчаются, но они пышно, разметисто развиты, безъ шпалеръ и заборовъ. Совѣмъ не такъ на Западѣ.

Съ людьми самыми симпатичными какъ разъ здѣсь договориться до такихъ противурѣчій, гдѣ ужъ ничего нѣтъ общаго и гдѣ убѣдить невозможно. Въ этой упрямой упорности и непроизвольномъ непониманіи такъ и стучишь головой о предѣлы міра завершеннаго.

Наши теоретическія несогласія, совѣмъ напротивъ, вносили болѣе жизненный интересъ, потребность дѣятельнаго обмѣна, держали умъ бодрѣе, двигали впередъ; мы росли въ этомъ треніи другъ объ друга, и въ самомъ дѣлѣ были сильнѣе тою *composite* артели, которую такъ превосходно опредѣлилъ Прудонъ въ механическомъ трудѣ.

Съ любовью останавливаюсь я на этомъ времени дружнаго труда, полнаго, поднятаго пульса, согласнаго строя и мужественной борьбы; на этихъ годахъ, въ которые мы были юны въ послѣдній разъ!...

Нашъ небольшой кружокъ собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядомъ съ болтовней, шуткой, ужинкомъ и виномъ, шелъ самый дѣятельный, самый быстрый обменъ мыслей, новостей и знаній; каждый передавалъ прочтенное и узнанное, споры обобщали взглядъ и выработанное каждымъ дѣлалось достояніемъ всѣхъ. Ни въ одной области вѣдѣнія, ни въ одной литературѣ, ни въ одномъ искусствѣ не было значительнаго явленія, которое не попало бы кому-нибудь изъ насъ, и не было бы тотчасъ сообщено всѣмъ.

Вотъ этотъ характеръ нашихъ сходовъ не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видѣли мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Ипръ идетъ къ полнотѣ жизни, люди воздержные бываютъ обыкновенно сухіе, эгоистическіе люди. Мы не были монахи, мы жили во всѣ стороны и, сидя за столомъ, побольше развились и едѣвали не меньше, чѣмъ эти постные труженики, копающіеся на заднемъ дворѣ науки <sup>1)</sup>.

Ни васъ, друзья мои, ни того яснаго, славнаго времени я не дамъ въ обиду; я объ немъ вспоминаю болѣе, чѣмъ съ любовью, чуть ли не съ завистью. Мы не были похожи на изнуренныхъ монаховъ Зурбарана, мы не плакали о грѣхахъ міра сего, мы только сочувствовали его страданіямъ и съ улыбкой были готовы *кой на что*, не наводя тоски предвкушеніемъ своей будущей жертвы. Вѣчно угрюмые постники мнѣ всегда подозрительны; если они не притворяются, у нихъ или умъ, или желудокъ разстроены.

Ты правъ, мой другъ, ты правъ...

да, ты правъ, Боткинъ—и гораздо больше Платона—ты, поучавшій пѣкогда насъ не въ садахъ и портикахъ (у насъ слишкомъ холодно безъ крыши), а за дружеской трапезой, что человекъ равно можетъ найти «пантенистическое» наслажденіе, созерцая пляску волнъ морскихъ и дѣвъ испанскихъ, слушая пѣсни Шуберта и запахъ индѣйки съ трюфлями. Внимая твоимъ мудрымъ словамъ, я въ первый разъ оцѣнилъ демократическую глубину нашего языка, приравнивающего запахъ къ звуку.

Не даромъ покидалъ ты твою Моросейку, ты въ Парижѣ научился уважать кулинарное искусство и съ береговъ Гвадалквивира привезъ религію не только ножекъ, но самодержавныхъ, высочайшихъ икръ, *soberana pantorilla*!

<sup>1)</sup> Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV, стр. 137), прибавлено: Такъ и вижу теперь всю застольную бесѣду, гдѣ-нибудь на Моросейкѣ или на Трубѣ, Б., щурящаго свои и безъ того китайскіе глазки и философски толкующаго о пантенистическомъ наслажденіи ѣсть индѣйку съ трюфлями и слушать Бетховена.

Вѣдь, вотъ и Рѣдкинъ былъ въ Испаніи,—но какая польза отъ этого? Онъ ѣздилъ въ этой странѣ историческаго безправія для юридическихъ комментарій къ Пухтъ и Савиньи, вмѣсто фанданго и боллеро, смотрѣлъ на возстаніе въ Барселонѣ (окопчившееся совершенно тѣмъ же, чѣмъ всякая качуча, т. е. ничѣмъ) и такъ много рассказывалъ объ немъ, что кураторъ Строгоновъ, качая головой, сталъ посматривать на его большую ногу и бормоталъ что-то о баррикадахъ, какъ будто сомнѣваясь, что «радикальный юристъ» зашибъ себѣ ногу, свалившись въ вѣрноподанническомъ Дрезденѣ съ дилижанса на мостовую.

— Что за неуваженіе къ наукѣ! ты, братецъ, знаешь, что я такихъ шутокъ не люблю, говорить строго Рѣдкинъ и вовсе не сердится.

— Это вѣв-сѣ мо-о-жетъ быть, замѣчаетъ, запкаясь, Е. К.,—но отчего же ты себя до того идентифицировалъ съ наукой, что нельзя шутить надъ тобой, не обижая ее?

— Ну, пошло, теперь не кончится, прибавляетъ Рѣдкинъ и принимается съ пастойчивостью человѣка, прочитавшаго всего Ротека; за сунъ, осыпaeмый слегка остротами Крюкова—съ изящной античной отдѣлкой по классическимъ образцамъ.

Но вниманіе всѣхъ уже оставило ихъ, оно обращено на осетрину; *ее объясняетъ* самъ Щенкинъ, изучившій мясо современныхъ рыбъ больше, чѣмъ Агассеъ кости допотопныхъ. Боткинъ взглянулъ на осетра, прищурилъ глаза и тихо покачалъ головой, не изъ боку въ бокъ, а склоняясь; одинъ Кетчеръ, равнодушный по принципу къ величіямъ міра сего, закурилъ трубку и говоритъ о другомъ.

Не сердитесь за эти строки вздору, я не буду продолжать ихъ, онѣ почти невольно сорвались съ пера, когда мнѣ представились наши московскіе обѣды; на минуту я забылъ и невозможность записывать шутки и то, что очерки эти живы только для меня да для немногихъ, очень немногихъ, оставшихся. Мнѣ бываетъ страшно, когда я считаю, давно ли передъ всѣми было такъ много, такъ много дороги!...

... И вотъ передъ моими глазами встаютъ наши Лазари, но не съ облакомъ смерти, а моложе, полные силъ. Одинъ изъ нихъ угасъ, какъ Станкевичъ, вдали отъ родины—И. П. Галаховъ.

Много смѣялись мы его рассказамъ, но не веселымъ смѣхомъ, а тѣмъ, который возбуждалъ иногда Гоголь. У Крюкова, у Е. К. остроты и шутки искрились, какъ шипучее вино, отъ избытка силъ. Юморъ Галахова не имѣлъ ничего свѣтлаго, это былъ юморъ человѣка, живущаго въ разладѣ съ собой, со средой, сильно жаждущаго выйти на покой, на гармонію, но безъ болъшой надежды.



Воспитанный аристократически, Галаховъ очень рано попалъ въ измайловскій полкъ и также рано оставилъ его, и тогда уже принялся себя воспитывать въ самомъ дѣлѣ. Умъ сильный, но больше порывистый и страстный, чѣмъ діалектическій, онъ съ строптивой нетерпѣливостью хотѣлъ вынудить *истину*, и притомъ практическую, сейчасъ прилагаемую къ жизни. Онъ не обращалъ вниманія; такъ, какъ это дѣлаетъ большая часть французовъ, на то, что *истина* только дается методъ, да и то остается неотъемлемой отъ нея; истина же какъ результатъ—битая фраза, общее мѣсто. Галаховъ некалъ не съ скромнымъ самоотверженіемъ, чтобы ни нашлось, а некалъ именно истины успокоительной, оттого и не удивительно, что *она* ускользала отъ его капризнаго преслѣдованія. Онъ досадовалъ и сердился. Людямъ этого слоя не живется въ отрицаніи, въ разборѣ, имъ анатомія противна, они ищутъ готоваго, цѣлаго, созидающаго. Что же Галахову могъ дать нантъ вѣкъ?

Онъ всюду бросался; постучался даже въ католическую церковь, но живая душа его отирянула отъ мрачнаго полусвѣта, отъ сыраго, могильнаго, тюремнаго запаха ея безотрадныхъ склеповъ. Оставивъ старый католицизмъ іезуитовъ и новый—Бюше, онъ принялся было за философію; ея холодныя, непривѣтныя сѣни отстращали его, и онъ на нѣсколько лѣтъ остановился на фурьеризмѣ.

Готовая организація, обязательный строй и долею казарменный порядокъ фаланстера, если не находятъ сочувствія въ людяхъ критики, то, безъ сомнѣнія, сильно привлекаютъ тѣхъ усталыхъ людей, которые просятъ почти со слезами, чтобы истина, какъ кормилица, взяла ихъ на руки и убаюкала. Фурьеризмъ имѣлъ опредѣленную цѣль, трудъ и трудъ обща. Люди вообще готовы очень часто отказаться отъ собственной воли, чтобы прервать колебаніе и нерѣшительность. Это повторяется въ самыхъ обыкновенныхъ, ежедневныхъ случаяхъ. «Хотите вы сегодня въ театръ, или за городъ?»—«Какъ вы хотите», отвѣчаетъ другой и оба не знаютъ, что дѣлать, ожидая съ нетерпѣніемъ, чтобы какое-нибудь обстоятельство рѣшило за нихъ, куда идти и куда итѣ. На этомъ основаніи развилась въ Америкѣ кабетовская обитель, коммунистическій скитъ, ставропингальная, икарійская лавра. Неугомонные французскіе работники, воспитанные двумя революціями и двумя реакціями, выбились, наконецъ, изъ силъ, сомнѣнія начали одолевать ими; испугавшись ихъ, они обрадовались новому дѣлу, отрелись отъ безцѣльной свободы и покорились въ Икаріи такому строгому порядку и подчиненію, которое, конечно, не меньше монастырскаго чина какихъ-нибудь бенедиктинцевъ.

Галаховъ былъ слишкомъ развитъ и независимъ, чтобы со-

вѣмъ печезнуть въ фурьеризмѣ, но на нѣсколько лѣтъ онъ его увлекъ. Когда я съ нимъ встрѣтился въ 1847 въ Парижѣ, онъ къ фалангѣ питалъ скорѣе ту нѣжность, которую мы имѣемъ къ школѣ, въ которой долго жили, къ дому, въ которомъ провели нѣсколько спокойныхъ лѣтъ, чѣмъ ту, которую вѣрующіе имѣютъ къ церкви.

Въ Парижѣ Галаховъ былъ еще оригинальнѣе и милѣе, чѣмъ въ Москвѣ. Его аристократическая натура, его благородныя, рыцарскія понятія были оскорбляемы на каждомъ шагѣ; онъ смотрѣлъ съ тѣмъ отвращеніемъ, съ которымъ гадливые люди смотрятъ на что-нибудь сальное, на мѣщанство, окружавшее его тамъ. Ни французы, ни нѣмцы его не надули и онъ смотрѣлъ нѣсколько свысока на многихъ изъ тогдашнихъ героев,—чрезвычайно просто указывая ихъ мелочную ничтожность, денежные виды и наглое самолюбіе. Въ его пренебреженіи къ этимъ людямъ проявлялось даже національное высокомеріе, совершенно чуждое ему. Говоря, напр., объ одномъ человѣкѣ, который ему очень не нравился, онъ сжалъ въ одномъ словѣ «нѣмецъ!» выраженіемъ, улыбкой и прищуриваніемъ глазъ—цѣлую біографію, цѣлую фізіологію, цѣлый рядъ мелкихъ, грубыхъ, неуклюжихъ недостатковъ, специально принадлежащихъ германскому племени.

Какъ всѣ первые люди, Галаховъ былъ очень неровенъ, иногда молчаливъ, задумчивъ, но *par saccade* говорилъ много, съ жаромъ, увлекалъ вещами серьезными и глубоко прочувствованными, а иногда морилъ со смѣху неожиданной капризностью формы и рѣзкой вѣрностью картинъ, которыя дѣлалъ въ два-три штриха.

Повторять эти вещи почти невозможно. Я передамъ, какъ сумѣю, одинъ изъ его рассказовъ, и то въ небольшомъ отрывкѣ. Рѣчь какъ-то шла въ Парижѣ о томъ непріятномъ чувствѣ, съ которымъ мы переѣзжаемъ нашу границу. Галаховъ сталъ намъ рассказывать, какъ онъ ѣздилъ въ послѣдній разъ въ свое имѣніе, это было *chef d'œuvre*.

...«Подѣзжаю къ границѣ, дождь, слякоть, черезъ дорогу бревно, покрашенное черной и бѣлой краской; ждемъ, не пропускаютъ. Смотрю, съ той стороны наѣзжаетъ на насъ казакъ съ пикой, верхомъ.—«Пожалуйте паспортъ». Я ему отдалъ и говорю: я, братецъ, съ тобой пойду въ караульню, здѣсь очень дождь мочить. «Никакъ нельзя-съ».—Отчего?—«Извольте обождать». Я повернулъ въ австрійскую кордегардію, не тутъ-то было, очутился, какъ изъ подъ земли, другой казакъ съ китайской рожей.—«Никакъ нельзя-съ!» Что случилось?—«Извольте обождать!»—а дождь все сѣчетъ, сѣчетъ... Вдругъ изъ караульни кричитъ унтеръ-офицеръ: «Подвысь!» цѣпи загремѣли и полосатая гильотина стала подыматься; мы подѣхали подъ нее, цѣпи опять загре-

мѣли и бревно опустилось. Ну, думаю, попался! Въ караульнѣ какой-то кантонистъ прописываетъ паспортъ.—«Это вы сами и есть?»—спрашиваетъ, я ему тотчасъ цванцигеръ. Тутъ взмошелъ унтеръ-офицеръ, тотъ ничего не говоритъ, ну, а я поскорѣй и ему цванцигеръ. «Все въ исправности, извольте отправляться въ таможену». Я сѣлъ, ѣду... только все кажется за нами погоня, оглядываюсь — казакъ съ пикой—тряхъ, тряхъ... «Что ты, братецъ?»—«Въ таможену ване благородіе конвоирую».—На таможенѣ чиновникъ въ очкахъ книжки осматриваетъ. Я ему талеръ и говорю: «Не беспокойтесь, это все такія книги, ученые, медицинскія!»—«Помилуйте, что это-съ! Эй сторожъ, запирай чемоданъ!» Я опять цванцигеръ.

«Выпустили, наконецъ; я нашлъ тройку, ѣдемъ безконечными полями, вдругъ зардѣлось что-то, больше да больше... зарево... «Смотри-ка, говорю я ямщику,—а? несчастіе».—«Ничего-съ, отвѣчаетъ онъ,—должно быть избенка какая или овинъ какой горитъ; ну, ну, пошевеливай, знай!» Часа черезъ два съ другой стороны красное небо, я ужъ и не спрашиваю, успокоенный тѣмъ, что это избенка или овинишко горитъ.

...«Въ Москву я изъ деревни пріѣхалъ въ великій постъ, снѣгъ почти сошелъ, полозья рѣжутъ по камнямъ, фонари тускло освѣчиваются въ темныхъ лужахъ и пристяжная бросаетъ прямо въ лицо мороженую грязь огромными кусками. А, вѣдь, престранное дѣло, въ Москвѣ только-что весна установится, дней пять пройдутъ сухихъ и вмѣсто гризи какія-то облака ныли летятъ въ глаза, перищить, и полицеймейстеръ, стоя озабоченно на дрожкахъ, показываетъ съ неудовольствіемъ на ныль, а полицейскіе суетятся и посыпаютъ какимъ-то толченыхъ кирпичемъ отъ *ныли*!»

Иванъ Павловичъ былъ чрезвычайно разсѣянъ и его разсѣянность была такимъ же милымъ недостаткомъ въ немъ, какъ запканіе у Е. К.; иногда онъ немного сердился, но большей частью самъ смѣялся надъ оригинальными ошибками, въ которыя онъ безпрестанно попадалъ. Х. звала его разъ на вечеръ; Галаховъ поѣхалъ съ нами слушать Лиду ди Шамуни; послѣ оперы онъ заѣхалъ къ Шевалье и, проспѣвъ тамъ часа полтора, поѣхалъ домой, переодѣлся и отправился къ Х. Въ передней горѣла свѣча, валялись какія-то пожитки. Онъ въ залу, никого нѣтъ; онъ въ гостиную, тамъ засталъ онъ мужа Х. въ дорожномъ плащѣ, только-что пріѣхавшаго изъ Пензы. Тотъ смотритъ на него съ удивленіемъ. Галаховъ освѣдомляется о пути и спокойно садится въ кресла. Х. говоритъ, что дороги скверны и что онъ очень усталъ. — «А гдѣ же Марья Дмитриевна?» — спрашиваетъ Галаховъ. — «Давно спитъ». — «Какъ спитъ? Да развѣ такъ поздно?» —

спрашиваетъ онъ, начиная догадываться.—Четыре часа!—отвѣчаетъ Х.—«Четыре часа?» повторяетъ Глаховъ. «Извините, я только хотѣлъ васъ поздравить съ пріѣздомъ».

Другой разъ, у нихъ же, онъ пріѣхалъ на званый вечеръ: всѣ были во фракахъ и дамы одѣты. Галахова не звали, или онъ забылъ, но онъ явился въ пальто; посидѣлъ, взялъ свѣчу, закурилъ сигару, говорилъ, никакъ не замѣчая ни гостей, ни костюмовъ. Часа черезъ два онъ меня спросилъ: «Ты куда-нибудь ѣдешь?»—Нѣтъ.—«Да ты во фракъ?» Я расхохотался. «Фу, вздоръ какой!» пробормоталъ Галаховъ, схватилъ шляпу и уѣхалъ.

Когда моему сыну было лѣтъ пять <sup>1)</sup>, Галаховъ привезъ ему на елку восковую куклу, не меньше его самого ростомъ. Куклу эту Галаховъ самъ усадилъ за столomъ и ждалъ дѣйствія сюрприза. Когда елка была готова и двери отворились, Саша, удрученный радостью, медленно двигался, бросая влюбленные взгляды на фольгу и свѣчи, но вдругъ онъ остановился, — постоялъ, постоялъ, покраснѣлъ, и съ ревомъ бросился назадъ. «Что съ тобой, что съ тобой?» спрашивали мы всѣ; заливаясь горькими слезами, онъ только повторялъ:—«Тамъ чужой мальчикъ, его не надо, его не надо!». Въ куклѣ Галахова онъ увидѣлъ какого-то соперника, alter ego, и сильно огорчился этимъ; но сильнѣе его огорчился самъ Галаховъ, онъ схватилъ несчастную куклу, уѣхалъ домой и долго не любилъ говорить объ этомъ.

Въ послѣдній разъ я встрѣтился съ нимъ осенью 1847 года въ Ниццѣ. Итальянское движеніе закипало тогда, онъ былъ увлеченъ имъ. вмѣстѣ съ взглядомъ, исполненнымъ пропіи, онъ хранилъ романтическія надежды и все еще рвался къ какимъ-то вѣрованіямъ. Наши долгіе разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать ихъ. Однимъ изъ нашихъ разговоровъ начинается «Съ того берега». Я читалъ его начало Галахову, онъ былъ тогда очень боленъ, видимо таялъ и приближался къ гробу. Незадолго до своей смерти онъ прислалъ мнѣ въ Парижъ длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нѣтъ, я напечаталъ бы изъ него отрывки.

Съ его могилы—перехожу на другую, больше дорогую и больше свѣжую.

---

<sup>1)</sup> Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV, стр. 135) прибавлено въ началѣ: «Обидчивость его была совершенно дѣтская».

II.

На могилѣ друга.

Онъ духомъ чистъ и благороденъ былъ,  
Имѣлъ онъ сердце нѣжное, какъ ласка,  
И дружба съ нимъ мнѣ памятна, какъ сказка.

...Въ 1840 году, бывши проездомъ въ Москвѣ, я въ первый разъ встрѣтился съ Грановскимъ. Онъ тогда только-что возвратился изъ чужихъ краевъ и приготовлялся занять свою кафедру исторіи. Онъ мнѣ понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами съ насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; онъ носилъ тогда длинные волосы и какого-то особеннаго покроя снѣгій берлинскій пальто съ бархатными отворотами и суконными застѣжками. Черты, костюмъ, темные волосы,—все это придавало столько изящества и граціи его личности, стоявшей на предѣлѣ ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и неувлекающемуся человѣку нельзя было остаться равнодушнымъ къ нему. Я же всегда уважалъ красоту и считалъ ее талантомъ, силой.

Мелькомъ видѣлъ я его тогда и только увезъ съ собой во Владиміръ благородный образъ и основанную на немъ вѣру въ него, какъ въ будущаго близкаго человѣка. Предчувствіе мое не обмануло меня. Черезъ два года, когда я побывалъ въ Петербургѣ и второй разъ сосланный возвратился на житье въ Москву, мы сблизились тѣсно и глубоко.

Грановскій былъ одаренъ удивительнымъ *тактомъ* сердца. У него все было такъ далеко отъ неувѣренной въ себя раздражительности, отъ притязаній, такъ чисто, такъ открыто, что съ нимъ было необыкновенно легко. Онъ не тѣснилъ дружбой, а любилъ сильно, безъ ревнивой требовательности и безъ равнодушнаго «все равно». Я не помню, чтобъ Грановскій когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тѣхъ «волосняныхъ», нѣжныхъ, бѣгущихъ свѣта и шума сторонъ, которыя есть у всякаго человѣка, жившаго въ самомъ дѣлѣ. Отъ этого съ нимъ было не страшно говорить о тѣхъ вещахъ, о которыхъ трудно говорить съ самыми близкими людьми, къ которымъ имѣешь полное довѣріе, но у которыхъ *строй* нѣкоторыхъ, едва слышныхъ, струнъ не по одному камертону.

Въ его любящей, покойной и снисходительной душѣ исчезали угловатая распри и смягчался крикъ себялюбивой обидчивости. Онъ былъ между нами звеномъ соединенія многаго и многихъ

и часто примирялъ въ снмнатіи къ себѣ цѣлые круги, враждовавшіе между собой, и друзей, готовыхъ разойтись. Грановскій и Вѣлинскій, вовсе не похожіе другъ на друга, принадлежали къ самымъ свѣтлымъ и замѣчательнымъ личностямъ нашего круга.

Къ концу тяжелой эпохи, изъ которой Россія выходитъ теперь—когда все было прибито къ землѣ, литература была приостановлена, цензура вымарывала басни Крылова, въ то время, встрѣчая Грановскаго на каедрѣ, становилось легче на душѣ. «Не все еще погнбло, если онъ продолжаетъ свою рѣчь», думалъ каждый и свободнѣе дышалъ.

А, вѣдь, Грановскій не былъ ни боецъ, какъ Вѣлинскій, ни діалектикъ, какъ Бакуиннъ. Его сила была не въ рѣзкой полемикѣ, не въ смѣломъ отрицаніи, а именно въ положительно правдивномъ вліянніи, въ безусловномъ довѣріи, которое онъ вселялъ, въ художественности его натуры, покойной ровности его духа, въ чистотѣ его характера и въ постоянномъ, глубокомъ протестѣ противъ существующаго порядка въ Россіи. Не только слова его дѣйствовали, но и его молчаніе: мысль его, не имѣя права высказаться, проступала такъ ярко въ чертахъ его лица, что ее трудно было не прочесть. Грановскій сумѣлъ въ мрачную годину гоненій сохранить не только кафедру, но и свой независимый образъ мыслей, и это потому, что въ немъ съ рыцарской отвагой, съ полной преданностью страстнаго убѣжденія, стройно сочеталась женская нѣжность, мягкость формъ и та примиряющая стихія, о которой мы говорили.

Грановскій напоминаетъ мнѣ рядъ задумчиво покойныхъ проповѣдниковъ-революціонеровъ временъ реформаціи; не тѣхъ бурныхъ, грозныхъ, которые въ «гнѣвѣ своемъ чувствуютъ вполне свою жизнь», какъ Лютеръ, а тѣхъ ясныхъ, кроткихъ, которые такъ же просто надѣвали вѣнокъ славы на свою голову, какъ и терновый вѣнокъ. Они невозмущаемо тихи, идутъ твердымъ шагомъ, но не топаютъ; людей этихъ боятся судьи, имъ съ ними пеловко; ихъ примпрительная улыбка оставляетъ по себѣ угрызненіе совѣсти у палачей.

Таковъ былъ самъ Колинъ, лучшіе изъ жирондистовъ и дѣйствительно Грановскій, по всему строенію своей души, по ея романтическому складу, по нелюбви къ крайностямъ, скорѣе былъ бы гугенотъ и жирондистъ, чѣмъ анабаптистъ или монтаньяръ.

Вліяніе Грановскаго на университетъ и на все молодое поколѣніе было огромно и пережило его; длинную, свѣтлую полосу оставилъ онъ по себѣ. Я съ особеннымъ умиленіемъ смотрю на книги, посвященныя его памяти бывшими его студентами, на горячія, восторженныя строки объ немъ въ ихъ предисловіяхъ, въ

журнальныхъ статьяхъ, на это юношески-прекрасное желаніе позный трудъ свой примкнуть къ дружеской тѣни, коснуться, начиная рѣчь, до его гроба, считать отъ него свою уметвенную генеалогію.

Развитіе Грановскаго не было похоже на наше. Воспитанный въ Орлѣ, онъ попалъ въ петербургскій университетъ. Получая мало денегъ отъ отца, онъ съ весьма молодыхъ лѣтъ долженъ былъ писать «по подряду» журнальныя статьи. Онъ и другъ его Е. К., съ которымъ онъ встрѣтился тогда и остался съ тѣхъ поръ и до кончины въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ, работали на Сенковского, которому были нужны свѣжія силы и неопытные юноши для того, чтобы претворять добросовѣтный трудъ ихъ въ шинуемое цимлянское «Библіотеки для чтенія».

Собственно бурнаго періода страстей и разгула въ его жизни не было. Послѣ курса, педагогическій институтъ послалъ его въ Германію. Въ Берлинѣ Грановскій встрѣтился съ Станкевичемъ, это важнѣйшее событіе всей его юности <sup>1)</sup>.

Кто зналъ ихъ обоихъ, тотъ пойметъ, какъ быстро Грановскій и Станкевичъ должны были ринуться другъ къ другу. Въ нихъ было такъ много сходнаго въ правѣ, въ направленіи, въ лѣтахъ... и оба носили въ груди своей роковой зародыши преждевременной смерти. Но для кровной связи, для неразрывнаго родства людей сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняетъ другъ друга, для дѣятельной любви различіе нужно столько же, сколько сходство; безъ него чувство вяло, страдательно и обращается въ привычку.

Въ стремленіяхъ и силѣ двухъ юношей было огромное различіе. Станкевичъ, съ рапнихъ лѣтъ закаленный гегелевскою діалектикой, имѣлъ рѣзкія спекулятивныя способности и, если онъ вносилъ эстетическій элементъ въ свое мышленіе, то, безъ сомнѣнія, онъ столько же философіи вносилъ въ свою эстетику. Грановскій, сильно сочувствуя тогдашнему научному направленію, не имѣлъ ни любви, ни таланта къ отвлеченному мышленію. Онъ очень вѣрно понималъ свое призваніе, избравъ главнымъ занятіемъ исторію. Изъ него никогда бы не вышелъ ни отвлеченный мыслитель, ни замѣчательный натуралистъ. Онъ не выдержалъ бы ни безстрастную нелицепріятность логики, ни безстрастную объективность природы; отрѣшаться отъ всего для мысли, или отрѣшаться отъ себя для наблюденій, онъ не могъ;

<sup>1)</sup> Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV, стр. 122) прибавлено: О Станкевичѣ мы говорили прежде, когда шла рѣчь о Бѣлинскомъ. Безслѣдно нельзя было подходить къ этой сильной умомъ и сильной поэзіей натурѣ. Онъ имѣлъ огромное вліяніе на своихъ друзей и товарищей и на всѣхъ оставилъ въ чемъ-нибудь свой отпечатокъ.



человѣческія дѣла, напротивъ, страстно занимали его. И развѣ исторія не та же мысль и не та же природа, выраженный инымъ проявленіемъ? Грановскій думалъ исторіей, учился исторіей и исторіей въоцѣдствіи дѣлалъ пропаганду. А Станкевичъ привилъ ему поэтически и даромъ не только воззрѣніе современной науки, но и ея пріемъ.

Педанты, которые каплями пота и одышкой измѣряютъ трудъ мысли, усомнятся въ этомъ... Ну, а какъ же, спросимъ мы ихъ, Прудонъ и Бѣлинскій, неужели они не лучше поняли—хоть бы методу Гегеля, чѣмъ все схоласты, изучавшіе се до потери волосъ и до морщинъ? А, вѣдь, ни тотъ, ни другой не знали по-нѣмецки, ни тотъ, ни другой не читали ни одного гегелевскаго произведенія, ни одной диссертациі его *львы*хъ и *правы*хъ послѣдователей, а только иногда говорили объ его методѣ съ его учениками.

Жизнь Грановскаго въ Берлинѣ съ Станкевичемъ была, по рассказамъ одного и писемъ другого, одной изъ ярко-свѣтлыхъ полосъ его существованія, гдѣ избытокъ молодости, силъ, первыхъ страстныхъ порывовъ, беззлобной проны и шалости шли вмѣстѣ съ серьезными учеными занятіями, и все это согрѣтое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какою дружба только бываетъ въ юности.

Года черезъ два они разстались. Грановскій поѣхалъ въ Москву занимать свою кафедру; Станкевичъ въ Италію лечиться отъ чахотки и умереть. Смерть Станкевича сразила Грановскаго. Онъ при мнѣ получилъ гораздо спустя медальонъ покойника; и рѣдко видѣлъ болѣе подавляющую, тихую, молчаливую грусть.

Это было вскорѣ послѣ его женитьбы. Гармонія, окружавшая плавно и покойно его новый бытъ, подернулась траурнымъ крепомъ. Слѣды этого удара долго не проходили, не знаю, прошли ли вообще когда-нибудь.

Жена его была очень молода и еще не совсѣмъ сложилась; въ ней сохранился тотъ особенный элементъ отроческой нестройности, даже апатіи, которая рѣдко встрѣчается у молодыхъ дѣвушекъ съ бѣлокурыми волосами и особенно германскаго происхожденія. Эти натуры, часто даровитыя и сильныя, поздно просыпаются и долго не могутъ придти въ себя. Толчекъ, заставившій молодую дѣвушку проснуться, былъ такъ нѣженъ и такъ лишенъ боли и борьбы, пришелъ такъ рано, что она едва замѣтила его. Кровь ея продолжала медленно и покойно переливаться по ея сердцу.

Любовь Грановскаго къ ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нѣжная, чѣмъ страстная. Что-то спокойное, трогательно-тихое царило въ ихъ молодомъ домѣ. Душѣ было хо-

рошо видѣть иной разъ возлѣ Грановскаго, поглощеннаго своими занятіями, его высокую, гнущуюся, какъ вѣтка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тутъ, глядя на нихъ, думалъ о тѣхъ ясныхъ и цѣломудренныхъ семьяхъ первыхъ протестантовъ, которыя безбоязненно пѣли гонимые псалмы, готовые рука въ руку спокойно и твердо идти передъ инквизитора.

Они мнѣ казались братомъ и сестрой, тѣмъ больше, что у нихъ не было дѣтей.

Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; почти сидѣли мы до разсвѣта, болтая обо всякой вещицѣ... Въ эти-то потерянные часы и ими люди срастаются такъ неразрывно и безвозвратно.

Страшно мнѣ и больно думать, что въ послѣдствіи мы надолго расходились съ Грановскимъ въ теоретическихъ убѣжденіяхъ. А они для насъ не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь впередъ заявить, что если время доказало, что мы могли разнѣ понимать, могли не понимать другъ друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сдѣлаться чужими, что на это и самая смерть была безсильна.

Правда, гораздо позже между Грановскимъ и Огаревымъ, которые пламенно, глубоко любили другъ друга, протѣснилась, сверхъ теоретической размолвки, какая-то недобрая полоска, но мы увидимъ, что и она, хотя поздно, но совершенно была снята.

Что касается до споровъ нашихъ, ихъ самъ Грановскій окончилъ, онъ заключилъ слѣдующими словами письмо ко мнѣ изъ Москвы въ Женеву 25 августа, 1849 года. Съ благочестіемъ и гордостью повторяю я ихъ:

«На дружбу мою къ вамъ двумъ (т. е. къ Огареву и ко мнѣ) ушли лучшія силы моей души. Въ ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать въ 1846 и обвинять себя въ безсиліи разорвать связь, которая, повидимому, не могла продолжаться. Почти съ отчаяніемъ замѣтилъ я, что вы прикрѣплены къ моей душѣ такими нитками, которыхъ нельзя перерѣзать, не захвативъ живого мяса. Время это прошло не безъ пользы для меня. Я вышелъ побѣдителемъ изъ худшей стороны самаго себя. *Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось слѣда.* За то все, что было романтическое въ самой натурѣ моей, вошло въ мои личные привязанности. Помнишь ли ты письмо мое по поводу твоего Крунова? Оно написано въ памятную мнѣ ночь. Съ души сошла черная пелена, твой образъ воскресъ передо мной во всей ясности своей, и я протянулъ тебѣ руку въ Парижѣ такъ же легко и любовно, какъ протягивалъ въ лучшія, святыя минуты нашей московской жизни. Не талантъ

твой только подѣйствовалъ на меня такъ сильно. Отъ этой пьесы мнѣ повѣяло вѣтмъ тобой. Когда-то ты оскорблялъ меня, говори: «не полагай ничего на личное, вѣрь въ одно общее», а я всегда клалъ много на личное. Но личное и общее слилось для меня въ тебѣ. Отъ этого я такъ полно и горячо люблю тебя».

Пусть же эти строки вспомнятся при чтеніи моего разсказа о нашихъ размолвкахъ...

Въ концѣ 1843 года я печаталъ мои статьи о «Дилетантизмѣ въ наукѣ»; успѣхъ ихъ былъ для Грановскаго источникомъ дѣтской радости. Онъ ѣздилъ съ *Отечественными Записками* изъ дому въ домъ, самъ читалъ вслухъ, комментировалъ и серьезно сердился, если онѣ кому не нравились. Велѣдъ за тѣмъ пришлось и мнѣ видѣть успѣхъ Грановскаго, да и не такой. Я говорю о его первомъ публичномъ курсѣ средневѣковой исторіи Франціи и Англіи.

«Лекціи Грановскаго,—сказалъ мнѣ Чаадаевъ, выходя съ третилаго или четвертаго чтенія изъ аудиторіи, биткомъ набитой дамами и вѣтмъ московскимъ свѣтскимъ обществомъ,—имѣютъ историческое значеніе». Я совершенно съ нимъ согласенъ. Грановскій сдѣлалъ изъ аудиторіи гостиную, мѣсто свиданья, встрѣчи—beau mond'a. Для этого онъ не парядилъ исторіи въ кружева и блонды, совѣтмъ напротивъ, его рѣчь была строга, чрезвычайна серьезно, исполнена силы, смѣлости и поэзіи, которыя мощно потрясали слушателей, будили ихъ. Смѣлость его сходилла ему съ рукъ не отъ уступокъ, а отъ кротости выраженій, которая ему была такъ естественна, отъ отсутствія сентенцій à la française, ставящихъ огромныя точки на крошечныя і, въ родѣ правоученій послѣ басни. Излагая событія, художественно группируя ихъ, онъ говорилъ *ими*, такъ что мысль, не сказанная имъ, но совершенно ясная, представлялась тѣмъ знакомѣе слушателю, что она казалась его собственной мыслью.

Заключеніе перваго курса было для него настоящей оваціей, вѣщью неслыханной въ московскомъ университетѣ. Когда онъ, оканчивая, глубоко тронутый, благодарилъ публику,—все векочило въ какомъ-то опьяненіи, дамы махали платками, другіе бросились къ каедрѣ, жали ему руки, требовали его портрета. Я самъ видѣлъ молодыхъ людей съ раскраснѣвшимися щеками, кричавшихъ сквозь слезы «браво! браво!» Выйти не было возможности; Грановскій блѣдный какъ полотно, сложа руки, стоялъ, слегка склоняя голову; ему хотѣлось еще сказать нѣсколько словъ, но онъ не могъ. Трескъ, вопль, неистовство одобренія удвоились, студенты построились на лѣстницѣ, въ аудиторіи они предоставили шумѣть гостямъ. Грановскій пробрался измученный въ совѣтъ; черезъ нѣсколько минутъ его увидѣли выходящаго

изъ совѣта, и снова безконечное рукоплесканіе; онъ воротился, проси рукой пощады и изнемогая отъ волненія взошелъ въ правленіе. Тамъ бросился я ему на шею и мы молча заплакали <sup>1)</sup>).

... Такія слезы текли по моимъ щекамъ, когда герой Чичероваккіо въ Колизеѣ, освѣщенномъ послѣдними лучами заходящаго солнца, отдавалъ возставшему и вооружившемуся народу *римскому* отрока-сына, за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ, какъ они оба нали разстрѣлянные безъ суда военными палачами.

Да, это были дорогія слезы, одними я вѣрилъ въ Россію, другими въ революцію!

Гдѣ революція? Гдѣ Грановскій? Тамъ, гдѣ и отрокъ съ черными кудрями и широкоплечій Роролано, и другіе близкіе, близкіе намъ. Осталась еще вѣра въ Россію. Неужели и отъ нея придется отвыкать?

И зачѣмъ тупая случайность унесла Грановскаго, этого благороднаго дѣятеля, этого глубоко страдавшагося человѣка въ самомъ началѣ какого-то другого времени для Россіи, еще неяснаго, но все-таки другого; зачѣмъ не дала она ему подышать новымъ воздухомъ, которымъ повѣяло у насъ!

Грубо поразила меня вѣсть о его смерти. Я шелъ въ Ричмондъ на желѣзную дорогу, когда мнѣ подали письмо. Я прочиталъ его, идучи, и истинно сразу не понималъ. Я сѣлъ въ вагонъ, письма не хотѣлось перечитывать, я боялся его. Посторонніе люди, съ глухими, уродливыми лицами, входили, выходили, машина свистала, я смотрѣлъ на все и думалъ: «Да это вздоръ! Какъ? этотъ человѣкъ въ цвѣтѣ лѣтъ, онъ, котораго улыбка, взглядъ у меня передъ глазами,—и его будто нѣтъ?»... Меня клонилъ тяжелый сонъ и мнѣ было странно холодно. Въ Лондонѣ со мной встрѣтился А. Таляндъ; здороваясь съ нимъ, я сказалъ, что получилъ дурное письмо, и, какъ будто самъ только что услышалъ вѣсть, не могъ удержать слезъ.

Мало было у насъ сношеній въ послѣднее время, но мнѣ *нужно* было знать, что тамъ, вдали, на нашей родинѣ *живетъ* этотъ человѣкъ!

Безъ него стало пусто въ Москвѣ, еще связь порвалась!... Удастся ли мнѣ когда-нибудь, одному, вдали отъ всѣхъ посѣтить его могилу, она скрыла такъ много силъ, будущаго, думъ, любви, жизни, — какъ другая, не совсѣмъ чуждая ему могила, на *которой я былъ!*

Тамъ перечту я строки грустнаго примиренія, которыя такъ близки мнѣ, что я ихъ выпросилъ въ даръ *нашимъ* воспоминаніямъ.

<sup>1)</sup> Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV) прибавлено: Это одинъ изъ лучшихъ, святѣйшихъ слезъ моихъ—радостныхъ до умиленія, до грусти.

МЕРТВОМУ ДРУГУ.

То было осенью унылой.  
Средь урнъ надгробныхъ и камней  
Свѣжа была твоя могила  
Недавней насыпью своей.  
Дары любви, дары печали —  
Рукой твоихъ учениковъ  
На ней разсыпаны лежали  
Вѣнки изъ листьевъ и цвѣтовъ.  
Надъ ней суровымъ днѣмъ послушна,  
Кладбища сторожъ вѣковой,  
Сосна качала равнодушно  
Зелено-грустною главой,  
И рѣчка, берегъ омывая,  
Волной безслѣдною вблизи  
Лилась, лилась, не отдыхая  
Вдоль нескончаемой стези.

\* \* \*

Твоею дружбой не согрѣта  
Вдали шла долго жизнь моя  
И словъ послѣдняго привѣта  
Изъ устъ твоихъ не слышала я.  
Размолвкой нашей недовольный  
Ты, можетъ, глубоко скорбѣлъ;  
Обиды горькой, но невольной  
Тебѣ простить я не успѣлъ.  
Никто изъ насъ не могъ быть злобенъ,  
Никто, тая строптивый правъ,  
Быть повиниться не способенъ,  
Но каждый думалъ, что онъ правъ.  
И жаль я на примиренье,  
Я жаждалъ искренно сказать  
Тебѣ сердечное прощенье  
И отъ тебя его принять...  
Но было поздно...

Въ день унылый,  
Въ глухую осень, одинокъ  
Стоять я у твоей могилы  
И все опомниться не могъ.  
Я, стало, не увижу друга?  
Твой взоръ потухъ и навсегда?  
Твой голосъ смолкъ среди недуга?  
Меня отнынь никогда  
Ты въ часъ свиданья не обнимешь,  
Не молвишь въ проводъ ничего?  
Ты сердцемъ любящимъ не примешь  
Признаній сердца моего?  
Все кончено, все неозвратно, —  
Какъ правды ужасъ не таи!  
Шептали что-то непонятно  
Уста холодныя мои

И дрожь по тѣлу пробѣгала,  
Мнѣ кто-то говорить укоръ,  
Къ груди рыданье подступало,  
Мѣшался умъ, мутился взоръ,  
И кровь по жиламъ стыла, стыла...  
Скорѣй на воздухъ! дайте свѣтъ!  
О! это страшно, страшно было,  
Какъ сонъ пистущій или бредъ...

\* \* \*

Я пережилъ,—и вновь блуждаетъ  
Жизнь между дѣла и утѣхъ,  
Но въ сердцѣ скорбь не заживаетъ  
И слезы чуются сквозь смѣхъ.  
Въ наслѣдье мнѣ дала утрата  
Портретъ съ умершаго чела,  
Гляжу—и будто образъ брата  
У сердца смерть не отняла:  
И вдругъ мечта на умъ приходитъ,  
Что это только мирный сонъ;  
Онъ это спитъ, улыбка бродитъ,  
И завтра вновь проснется онъ;  
Раздастся голосъ благородный  
И юношамъ въ заветный даръ  
Онъ принесетъ и духъ свободный,  
И мысли свѣтъ, и сердца жаръ...  
Но снова въ памяти унылой  
Рядъ урнъ надгробныхъ и камней  
И насыпь свѣжая могилы  
Въ цвѣтахъ и листьяхъ, и надъ ней,  
Дыханью осени послушна,  
Кладбища сторожъ вѣковой,  
Сосна качаетъ равнодушно  
Зелено-грустною главой,  
И волны, берегъ оmyвая,  
Бѣгутъ, спѣшатъ, не отдыхая.

Грановскій не былъ гонимъ. Онъ умеръ, окруженный любовью новаго поколѣнія, сочувствіемъ всей образованной Россіи, признаніемъ своихъ враговъ. Но тѣмъ не меньше я удерживаю мое выраженіе, да, онъ много страдалъ. Не однѣ желѣзныя цѣпи перетираютъ жизнь; Чаадаевъ въ единственномъ письмѣ, которое онъ мнѣ писалъ за границу (20 іюля 1851) говоритъ о томъ, что онъ гибнетъ, слабѣетъ и быстрыми шагами приближается къ концу, — «не отъ того угнетенія, противъ котораго возстаютъ люди, а того, которое они сносятъ съ какимъ-то трогательнымъ умиленіемъ и которое по этому самому пагубнѣе перваго».

Передо мною лежатъ три-четыре письма, которыя я получилъ отъ Грановскаго въ послѣдніе годы; какая развѣдающая, мертвящая грусть въ каждой строкѣ!

«Положеніе наше, пишеть онъ въ 1850 году, становится пестеримѣе день отъ дня. Всякое движеніе на Западѣ отзывается у насъ стѣснительной мѣрой. Доносы идутъ тысячами. Обо мнѣ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ два раза собирали справки. Но что значитъ личная опасность въ сравненіи съ общимъ страданіемъ и гнетомъ. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились слѣдующими уже приведенными въ исполненіе мѣрами: возвысили плату со студентовъ и уменьшили ихъ число закономъ, въ силу котораго не можетъ быть въ университетѣ больше 300 студентовъ. Въ московскомъ 1.400 человекъ студентовъ, стало быть, надобно выпустить 1.200, чтобъ имѣть право принять сотню новыхъ. Дворянскій институтъ закрыть, многимъ заведеніямъ грозить та же участь, напр. лицеею. Для кадетскихъ корпусовъ составлены новыя программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы.

... «Есть съ чего сойти съ ума. Благо Бѣлинскому, умершему во время. Много порядочныхъ людей впали въ отчаяніе и съ тупымъ спокойствіемъ смотрять на происходящее.

«Я рѣшился не идти въ отставку и ждать на мѣстѣ совершенія судебъ. Кое-что можно дѣлать, пусть выгонять сами.

... «Вчера пришло извѣстіе о смерти Галахова, а на дняхъ разнесся слухъ и о твоей смерти. Когда мнѣ сказали это, я готовъ былъ хохотать отъ всей души. А впрочемъ, почему же и не умереть тебѣ? Вѣдь, это не было бы глуше остального».

Осенью 1853 года онъ пишетъ: «Сердце ноетъ при мысли, чѣмъ мы были прежде (т. е. при мнѣ) и чѣмъ стали теперь. Вино пьемъ по старой памяти, но веселья въ сердцѣ нѣтъ; только при воспоминаніи о тебѣ молодѣетъ душа. Лучшая, отраднѣйшая мечта моя въ настоящее время еще разъ увидѣть тебя,—да и она, кажется, не сбудется».

Одно изъ послѣднихъ писемъ онъ заключаетъ такъ: «Слышешь глухой, общій ропотъ, но гдѣ силы? Гдѣ противудѣйствіе? Тяжело, братъ,—а выхода нѣтъ *живому*».

Грановскій былъ не одинъ, а въ числѣ нѣсколькихъ молодыхъ профессоровъ, возвратившихся изъ Германіи во время нашей ссылки. Они сильно двинули впередъ московскій университетъ, исторія ихъ не забудеть. Люди добросовѣстной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали ихъ именно въ то время, когда остовъ діалектики сталъ обростать мясомъ, когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Гансъ приходилъ на лекцію не съ древнимъ фоліантомъ въ рукѣ, а съ послѣднимъ номеромъ парижскаго или лондонскаго журнала. Діалектическимъ настроеніемъ пробовали тогда



рѣшить историческіе вопросы въ современности, это было невозможно, но привело факты къ болѣе свѣтлому сознанію.

Наши профессора привезли съ собою эти завѣтные мечты, горячую вѣру въ науку и людей; они сохранили весь пылъ юности и кафедры для нихъ были святыми наложми, съ которыхъ они были призваны благовѣстить истину; они являлись въ аудиторію не цеховыми учеными, а миссіонерами челоѣческой религіи.

И гдѣ вся эта плеяда молодыхъ доцентовъ, начиная съ лучшаго изъ нихъ, съ Грановскаго? Милый, блестящій, умный, ученый Крыковъ умеръ лѣтъ 35 отъ роду. Эллинизмъ Печеринъ побился, побился въ страшной русской жизни, не вытерпѣлъ и ушелъ безъ цѣли, безъ средствъ, надломленный и больной въ чужіе края, скитался безпріютнымъ спротою, сдѣлался іезуитскимъ священникомъ и жжетъ протестантскія библіи въ Ирландіи. Рѣдкинъ постригся въ гражданскіе монахи, служитъ себѣ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и пишетъ боговдохновенныя статьи съ текстами. Крыловъ—но довольно.—*La toile! La toile!*

## ГЛАВА XXX.

### Не наши.

Славянофилы и панславизмъ.—Хомяковъ, Кирѣевскіе, К. Аксаковъ.—П. Я. Чаадаевъ.

Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была *одна* любовь, но не одинакая — и мы, какъ Янусъ или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны въ то время, какъ *сердце билось одно*.

*Колоколъ*, листъ 90 (На смѣртъ К. С. Аксакова).

Рядомъ съ нашимъ кругомъ были наши противники, *nos amis les ennemis*, или вѣрнѣе, *nos ennemis les amis* — московскіе славянофилы.

Борьба между нами давно кончилась и мы протянули другъ другу руки; но, въ началѣ сороковыхъ годовъ, мы должны были встрѣтиться враждебно,—этого требовала послѣдовательность нашихъ началъ. Мы могли бы не ссориться изъ-за ихъ дѣтскаго поклоненія дѣтскому періоду нашей исторіи; но принимая за серьезное ихъ православіе, но видя ихъ церковную нетерпимость въ обѣ стороны, въ сторону науки и сторону раскола, мы должны были враждебно стать противъ нихъ. Мы видѣли

въ ихъ ученіи новый слей, новую цѣнь, налагаемую на мысль, новое подчиненіе совѣсти византійской церкви.

На славянофилахъ лежитъ грѣхъ, что мы долго не понимали ни народа русскаго, ни его исторіи; ихъ иконописные идеалы и дымъ ладана мѣшали намъ разглядѣть народный бытъ и основы сельской жизни.

Православіе свянофиловъ, ихъ историческій патріотизмъ и преувеличенное, раздражительное чувство народности были вызваны крайностями въ другую сторону. Важность ихъ воззрѣнія, его истина и существенная часть вовсе не въ православіи и не въ исключительной народности, а въ тѣхъ *стихіяхъ* русской жизни, которыя они открыли подъ удобреніемъ искусственной цивилизаціи.

Идея народности, сама по себѣ, идея консервативная—выраживаніе своихъ, противоположеніе себя другому; въ ней есть и юдаическое понятіе о превосходствѣ племени, и аристократическія притязанія на чистоту крови и на маіоратъ. Народность, какъ знамя, какъ боевой крикъ, только тогда окружается ореоломъ, когда народъ борется за независимость, когда свергаетъ иноземное иго. Оттого-то національныя чувства, со всеми ихъ преувеличеніями, исполнены поэзіи въ Италіи, и въ то же время пошлы въ Германіи.

Намъ доказывать нашу народность было бы еще смѣшнѣе, чѣмъ нѣмцамъ; въ ней не сомнѣваются даже тѣ, которые насъ бранятъ, они насъ ненавидятъ отъ страха, но не отрицаютъ, какъ Меттернихъ отрицалъ Италію. Намъ надо было противопоставить нашу народность противъ своихъ ренегатовъ. Эту домашнюю борьбу нельзя было поднять до эпоса. Появленіе славянофиловъ, какъ школы и какъ особаго ученья, было совершенно на мѣстѣ; но если-бъ у нихъ не нашлось другого знамени, какъ православная хоругвь, другого идеала, какъ «Домострой» и очень русская, но чрезвычайно тяжелая жизнь допетровская, они прошли бы курьезной партіей оборотней и чудаковъ, принадлежащихъ другому времени. Сила и будущность славянофиловъ лежала не тамъ. Кладъ ихъ можетъ и былъ спрятанъ въ церковной утвари старинной работы, но цѣнность-то его была не въ сосудѣ и не въ формѣ. Они не дѣлили ихъ сначала.

Къ собственнымъ историческимъ воспоминаніямъ прибавились воспоминанія всѣхъ единоплеменныхъ народовъ. Сочувствіе къ западному панславизму приняли наши славянофилы за тождество дѣла и направленія, забывая, что тамъ исключительный націонализмъ былъ съ тѣмъ вмѣстѣ воплемъ притѣсненнаго чувственно-жестокимъ игомъ народа. Западный панславизмъ, при появленіи своемъ, былъ принятъ самымъ австрійскимъ правительствомъ

за шагъ консервативный. Онъ развился въ печальную эпоху вѣнскаго конгресса. Это было вообще время всяческихъ воскресеній и возстановленій, время всевозможныхъ Лазарей, свѣжихъ и смердящихъ. Рядомъ съ Тейчтумомъ, шедшимъ на воскресеніе *счастливыхъ* временъ Барбароссы и Гогенштауфеновъ, явился чешскій панславизмъ. Правительства были рады этому направленію и сначала поощряли развитіе международныхъ ненавистей; массы снова лѣпились около племеннаго родства, узелъ котораго затягивался туго, и снова отдалялись отъ общихъ требованій улучшенія своего быта; границы становились непроходимѣе, связь и сочувствіе между народами обрывалась. Само собою разумѣется, что однимъ апатическимъ или слабымъ народностямъ позволяли просыпаться и именно до тѣхъ поръ, пока дѣятельность ихъ ограничивалась учено-археографическими занятіями и этимологическими спорами. Въ Миланѣ, гдѣ національность никакъ не ограничилась бы грамматикой, ее держали въ ежовыхъ рукахъ.

Чешскій панславизмъ подзадорилъ славянскія сочувствія въ Россіи.

Славинизмъ или руссизмъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и вѣрный инстинктъ, какъ противудѣйствіе исключительно иностранному вліянію, существовалъ со времени обрѣтія первой бороды Петромъ I.

Противудѣйствіе петербургскому терроризму образованія никогда не перемежалось: казенное, четвертованное, повѣшенное на зубцахъ Кремля и тамъ пристрѣленное Меншиковымъ и другими царскими *потѣшниками*, въ видѣ буйныхъ стрѣльцевъ, оно является какъ партія Долгорукихъ при Петрѣ II, какъ ненависть къ нѣмцамъ при Биронѣ, какъ Пугачевъ при Екатеринѣ II, какъ сама Екатерина II при Петрѣ III, какъ Елизавета, опиравшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобъ сѣсть на престолъ (народъ въ Москвѣ ждалъ, что при ея коронаціи избыютъ всѣхъ нѣмцевъ).

Всѣ раскольники славянофилы.

Все бѣлое и черное духовенство славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за его нѣмецкую фамилію, были предшественники Хомякова и его друзей.

Война 1812 г. сильно развила чувство народнаго сознанія и любви къ родинѣ, но патріотизмъ 1812 г. не имѣлъ старообрядчески-славянскаго характера. Мы его видимъ въ Карамзинѣ и Пушкинѣ, въ самомъ императорѣ Александрѣ. Практически онъ былъ выраженіемъ того инстинкта силы, который чувствуютъ всѣ могучіе народы, когда чужіе ихъ задѣваютъ; потомъ это было торжественное чувство побѣды, гордое сознаніе даннаго отпора.

Но теорія его была слаба; для того, чтобъ любить русскую исторію, патріоты ее перекладывали на европейскіе нравы; они вообще переводили съ французскаго на русскій языкъ римско-греческій патріотизмъ и не шли далѣе стиха

Pour un coeur bien né, que la patrie est chère!

И правда, Шинковъ бредилъ уже и тогда о возстановленіи стараго слога, но вліяніе его было ограничено. Что же касается до настоящаго народнаго слога, его зналъ одинъ офранцузенный графъ Ростопчинъ въ своихъ прокламаціяхъ и воззваніяхъ.

По мѣрѣ того, какъ война забывалась, патріотизмъ этотъ утихалъ и вырождался, наконецъ, съ одной стороны, въ подлую, циническую лестъ *Съверной Пчелы*, съ другой, въ пошлый загоскинский патріотизмъ, называющій Шую—Манчестеромъ, Шебуева—Рафаэлемъ, хвастающій штыками и пространствомъ отъ льдовъ Торнео до горъ Тавриды...

При Николаѣ патріотизмъ превратился въ что-то полицейское, особенно въ Петербургѣ, гдѣ это направленіе окончилось своеобразно космополитическому характеру города, и Прокопьемъ Ляпуновымъ—по Шиллеру.

Встрѣча московскихъ славянофиловъ съ петербургскимъ славянофильствомъ была для нихъ большимъ несчастьемъ. Общаго между ними ничего не было, кромѣ словъ. Ихъ крайности и нелѣпности все же были безкорыстно нелѣпы и безъ всякаго отношенія къ III отдѣленію или къ Управѣ благочинія. Что разумѣется несколько не мѣшало ихъ нелѣпностямъ быть чрезвычайно нелѣпыми.

Такъ, напримѣръ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ былъ въ Москвѣ, проѣздомъ, панславистъ Гай, игравшій потомъ какую-то неясную роль, какъ кроатскій агитаторъ и въ то же время близкій человѣкъ Бана Теллачича. Москвитяне вѣрятъ вообще всѣмъ иностранцамъ; Гай былъ больше, чѣмъ иностранецъ, больше чѣмъ свой, — онъ былъ то и другое. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить нашихъ славянъ судьбою страждущей и православною братіи въ Далмаціи и Кроаціи; огромная подписка была сдѣлана въ нѣсколько дней и, сверхъ того, Гаю былъ данъ обѣдъ во имя всѣхъ сербскихъ и русняцкихъ симпатій. За обѣдомъ одинъ изъ нѣжнѣйшихъ по голосу и по запятіямъ славянофиловъ, человѣкъ *краснаго* православія, разгоряченный, вѣроятно, тостами за черногорскаго владыку, за разныхъ великихъ босняковъ, чеховъ и словаковъ, импровизировалъ стихи, въ которыхъ было слѣдующее, не вовсе христіанское выраженіе:

Уиьюся я кровью мадяровъ и нѣмцевъ,

все неповрежденные съ отвращеніемъ слышали эту фразу. По счастью, остроумный статистикъ Андреевъ выручилъ кровожаднаго пѣвца; онъ вскочилъ съ своего стула, схватилъ десертный ножикъ и сказалъ: «Господа, извините меня, я васъ оставлю на минуту; мнѣ пришло въ голову, что хозяинъ моего дома, старикъ настройщикъ Дидъ — нѣмецъ; я сбѣгаю его пригласить и сейчасъ возвращусь».

Громъ смѣха заглушилъ негодованіе.

Въ такую-то кровожадную въ *тогдашнѣ* партію сложились московскіе славяне во время нашей ссылки и моей жизни въ Петербургѣ и Новгородѣ.

Страстный и вообще полемическій характеръ славянской партіи особенно развился вълѣдствіе критическихъ статей Бѣлинскаго; и еще прежде нихъ, они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появленіи письма Чаадаева и шумѣ, который оно вызвало.

Письмо Чаадаева было своего рода послѣднее слово, рубежъ. Это былъ выстрѣлъ, раздавшійся въ темную ночь; тонуло ли что и возбѣждало свою гибель, былъ ли это сигналъ, зовъ на помощь, вѣсть объ утрѣ или о томъ, что его не будетъ,—все равно, надобно было проснуться.

Что, кажется, значать два, три листа, помѣщенныхъ въ ежемѣсячномъ обзорѣнн? А между тѣмъ, такова сила рѣчи сказанной, такова мощь слова въ странѣ, молчащей и не привыкнущей къ независимому говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россію. Оно имѣло полное право на это. Послѣ *Горь* отъ ума не было ни одного литературнаго произведенія, которое сдѣлало бы такое сильное впечатлѣніе. Петровскій періодъ переломился съ двухъ концовъ. Мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно—да и нечего было сказать; вдругъ тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала рѣчи для того, чтобъ спокойно сказать свое *lasceate ogni speranza*.

Лѣтомъ 1836 года, я спокойно сидѣлъ за своимъ письменнымъ столомъ въ Вяткѣ, когда почтальонъ принесъ мнѣ послѣднюю книжку «Телескопа». Надобно жить въ ссылкѣ и глуши, чтобъ оцѣнить, что значить новая книга. Я, разумѣется, бросилъ все и принялся разрѣзывать «Телескопъ»—«Философія письма», писанныя къ дамѣ, безъ подписи. Въ подстрочномъ замѣчаніи было сказано, что письма эти писаны русскимъ по-французски, т. е. что это переводъ. Все это скорѣе предупредило меня противъ статьи, чѣмъ въ ея пользу, и я принялся читать критику и смѣхъ.

Наконецъ, дошелъ чередъ и до письма. Съ второй, третьей страницы, меня остановилъ печально-серьезный тонъ: отъ каждого

слова вѣяло долгимъ страданіемъ, уже охлажденнымъ, но еще озлобленнымъ. Эдакъ пишутъ только люди долго думавшіе, много думавшіе и много перепробовавшіе жизнью, а не теоріей... Читаю далѣе,—письмо растетъ, оно становится мрачнымъ обвинительнымъ актомъ противъ Россіи, протестомъ личности, которая за все вынесенное хочетъ высказать часть накопившагося на сердцѣ.

Я раза два останавливался, чтобъ отдохнуть и дать улежаться мыслямъ и чувствамъ и потомъ снова читалъ и читалъ. И это напечатано по-русски неизвѣстнымъ авторомъ... Я боялся, не сошелъ ли я съ ума. Потомъ я перечитывалъ «письмо» Витбергу, потомъ С., молодому учителю вятской гимназіи, потомъ опять себя.

Весьма вѣроятно, что то же самое происходило въ разныхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, въ столицахъ и господскихъ домахъ. Имя автора я узналъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ.

Долго оторванная отъ народа часть Россіи протрѣпала молча, подъ самымъ прозаическимъ, бездарнымъ, ничего не дающимъ въ замѣну погмъ. Каждый чувствовалъ гнетъ, у каждого было *что-то* на сердцѣ и все-таки все молчали; наконецъ, пришелъ человекъ, который по-своему сказалъ *что*. Онъ сказалъ только про боль, свѣтлаго ничего нѣтъ въ его словахъ, да нѣтъ ничего и во взглядѣ. Письмо Чаадаева—безжалостный крикъ боли и упрека петровской Россіи, она имѣла право на него; развѣ эта среда жалѣла, щадила автора или кого-нибудь?

Разумѣется, такой голосъ долженъ былъ вызвать противъ себя оппозицію или онъ былъ бы совершенно правъ, говоря, что прошедшее Россіи пусто, настоящее невыносимо, а будущаго для ней вовсе нѣтъ, что это «пробѣлъ разумѣнія, грозный урокъ, данный народамъ, — до чего отчужденіе и рабство могутъ довести». Это было покаяніе и обвиненіе; знать впередъ *чѣмъ* примириться — не дѣло раскаянія, не дѣло протеста, или признаніе въ винѣ — шутка, и искупленіе—неискренно.

Но оно и не прошло такъ; на минуту все, даже сонные и забытые, отпрянули, испугавшись зловѣщаго голоса. Все были изумлены, большинство оскорблено, человекъ десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки въ гостиныхъ предупредили мѣры правительства, накликали ихъ. Нѣмецкаго происхожденія русскій патріотъ Вигель (пзвѣстный не съ лицевой стороны по эпиграммѣ Пушкина) пустилъ дѣло въ ходъ.

Обозрѣніе было тотчасъ запрещено; Болдыревъ, старикъ, ректоръ московскаго университета и цензоръ, былъ отставленъ; Надеждинъ, издатель, сосланъ въ Усть-Сысольскъ; Чаадаева Николай приказалъ объявить *сумасшедшимъ* и обязать подпиской *ничего не писать*.

Я видѣлъ Чаадаева прежде моеѣ ссылки одинъ разъ. Это было въ самый день взятія Огарева. Я упомянулъ, что въ тотъ день у М. Ѳ. Орлова былъ обѣдъ. Всѣ гости были въ сборѣ, когда взмошелъ, холодно кланяясь, человекъ, котораго оригинальная наружность, красивая и самобытно рѣзкая, должна была каждого остановить на себѣ. Орловъ взялъ меня за руку и представилъ, это былъ Чаадаевъ. Я мало помню объ этой первой встрѣчѣ, мнѣ было не до него; онъ былъ какъ всегда холоденъ, серьезенъ, уменъ и золъ. Послѣ обѣда, Раевская, мать Орловой, сказала мнѣ: «Что вы такъ печальны? ахъ, молодые люди, молодые люди, какіе вы нынче стали!» — «А вы думаете, сказалъ Чаадаевъ, что нынче еще есть молодые люди?» вотъ все, что осталось у меня въ памяти.

Возвратившись въ Москву, я сблизился съ нимъ и съ тѣхъ поръ до отъѣзда мы были съ нимъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ.

Печальная и самобытная фигура Чаадаева рѣзко отдѣляется какимъ-то грустнымъ упрекомъ на линючемъ и тяжеломъ фонѣ московской high life. Я любилъ смотрѣть на него середь этой мишурной знати, вѣтренныхъ сенаторовъ, сѣдыхъ повѣсь и почетнаго ничтожества. Какъ бы ни была густа толпа, глазъ находилъ его тотчасъ; лѣта не исказили стройнаго стана его, онъ одѣвался очень тщательно, блѣдное, нѣжное лицо его было совершенно неподвижно, когда онъ молчалъ, какъ будто изъ воску или изъ мрамора, «чело какъ черепъ голый», сѣро-голубые глаза были печальны и съ тѣмъ вмѣстѣ имѣли что-то доброе, тонкія губы, напротивъ, улыбались проницески. Десять лѣтъ стоялъ онъ сложа руки гдѣ-нибудь у колонны, у дерева на бульварѣ, въ залахъ и театрахъ, въ клубѣ и—воплощеннымъ вѣто, живой протестаціей смотрѣлъ на вихрь лицъ, безмысленно вертѣвшихся около него, капризничалъ, дѣлался страннымъ, отчуждался отъ общества, не могъ его покинуть, потомъ сказалъ свое слово, спокойно спрятавъ, какъ пряталъ въ своихъ чертахъ страсть подъ ледяной корой. Потомъ опять умолкъ, опять являлся капризнымъ, недовольнымъ, раздраженнымъ, опять тяготѣлъ надъ московскимъ обществомъ и опять не покидалъ его. Старикамъ и молодымъ было неловко съ нимъ, не по-себѣ; они, Богъ знаетъ отчего, стыдились его неподвижнаго лица, его прямо смотрящаго взгляда, его печальной насмѣшки, его язвительнаго снисхожденія. Что же заставляло ихъ принимать его, звать... и еще больше ѣздить къ нему? Вопросъ очень серьезный.

Чаадаевъ не былъ богатъ, особенно въ послѣдніе годы; онъ не былъ и знатенъ, ротмистръ въ отставкѣ съ желѣзнымъ кульмскимъ крестомъ на груди. Онъ, по словамъ Пушкина,



... вышней волею небесъ  
Рожденъ въ оковахъ службы царской:  
Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Афинахъ—Периклесь,  
А здѣсь онъ—офицеръ гусарской.

Знакомство съ нимъ могло только компрометировать человѣка въ глазахъ полиціи. Откуда же шло вліяніе, зачѣмъ въ его небольшомъ, скромномъ кабинетѣ, въ Старой Басманной, толпились по понедѣльникамъ «тузы» англійскаго клуба, патриціи тверскаго бульвара? Зачѣмъ модныя дамы заглядывали въ келью угрюмаго мыслителя, зачѣмъ генералы, не понимающіе ничего штатскаго, считали себя обязанными явиться къ старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потомъ, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на ихъ же счетъ? Зачѣмъ я встрѣчалъ у него дикаго *Американца* Толстого и дикаго генераль-адъютанта Шипова, уничтожавшаго просвѣщеніе въ Польшѣ?

Чаадаевъ не только не дѣлалъ имъ уступокъ, но тѣснилъ ихъ и очень хорошо давалъ имъ чувствовать разстояніе между имъ и ними <sup>1)</sup>. Разумѣется, что люди эти ѣздили къ нему и звали на свои рауты изъ тиеславія, но до этого дѣла нѣтъ; тутъ важно невольное сознаніе, что мысль стала мощью, имѣла свое почетное мѣсто.

Чаадаевъ имѣлъ свои странности, свои слабости, онъ былъ озлобленъ и избалованъ. Я не знаю общества менѣе снисходительнаго, какъ московское, болѣе исключительнаго, именно по этому оно смахиваетъ на провинціальное и напоминаетъ недавность своего образованія. Отчего же человѣку въ пятьдесятъ лѣтъ,

---

<sup>1)</sup> Чаадаевъ часто бывалъ въ англійскомъ клубѣ. Разъ какъ-то морской министръ, Меншиковъ, подошелъ къ нему со словами:

— Что это, Петръ Яковлѣвичъ, старыхъ знакомыхъ не узнаете?

— Ахъ, это вы! — отвѣчалъ Чаадаевъ, — дѣйствительно не узналъ. Да и что это у васъ черный воротникъ, прежде, кажется, былъ красный?

— Да, развѣ вы не знаете, что я морской министръ?

— Вы? Да, я думаю вы никогда шляпкой не управляли.

— Не черти горшки обжигаютъ, отвѣчалъ нѣсколько недовольный Меншиковъ.

— Да, развѣ на этомъ основаніи, заключилъ Чаадаевъ.

Какой-то сенаторъ сильно жаловался на то, что очень занятъ.

— Чѣмъ-же? спросилъ Чаадаевъ.

— Помилуйте, одно чтеніе записокъ, дѣль—и сенаторъ показалъ аршинъ отъ полу.

— Да, вѣдь, вы ихъ не читаете.

— Нѣтъ, иной разъ и очень, да потомъ все же иногда надобно подать свое мнѣніе.

— Вотъ въ этомъ я ужъ никакой надобности не вижу, замѣтилъ Чаадаевъ.

одинокому, лишившемуся почти всѣхъ друзей, потерявшему состояніе, много жившему мыслию, часто огорченному, не имѣть своего обычая, свои причуды?

Чаадаевъ былъ адъютантомъ Васильчикова во время пзвѣстнаго семеновскаго дѣла. Государь находился тогда, помнится, въ Веронѣ или въ Ахенѣ на конгрессѣ. Васильчиковъ послалъ Чаадаева съ рапортомъ къ нему, и онъ какъ-то опоздалъ часомъ или двумя и пріѣхалъ позже курьера, посланнаго австрійскимъ посланникомъ Лебцельтерномъ. Государь, раздраженный дѣломъ, увлекаемый тогда окончательно въ реакцію Меттернихомъ, который съ радостью услышалъ о семеновской исторіи, очень дурно принялъ Чаадаева, бранился, сердился и потомъ, опомнившись, велѣлъ ему предложить званіе флигель-адъютанта; Чаадаевъ отклонилъ эту честь и просилъ одной милости — отставки. Разумѣется, это очень не понравилось, но отставка была дана.

Чаадаевъ не торопился въ Россію; разставшись съ золоченымъ мундиромъ, онъ принялся за науку. Умеръ Александръ, случилось 14 декабря (отсутствіе Чаадаева спасло его отъ вѣроятнаго преслѣдованія <sup>1)</sup>), около 1830 года онъ возвратился.

Въ Германіи Чаадаевъ сблизился съ Шеллингомъ; это знакомство, вѣроятно, много способствовало, чтобъ навести его на мистическую философію. Она у него развилась въ революціонный католицизмъ, которому онъ остался вѣренъ на всю жизнь. Въ своемъ письмѣ онъ половину бѣдствій Россіи относитъ на счетъ греческой церкви, на счетъ ея отторженія отъ всеобъемлющаго западнаго единства.

Какъ ни странно для насъ такое мнѣніе, но ненадобно забывать, что католицизмъ имѣетъ въ себѣ большую тягучесть. Лакордеръ проповѣдывалъ католическій социализмъ, оставаясь доминиканскимъ монахомъ, ему помогалъ Шеве, оставаясь сотрудникомъ *Voix du peuple*. Въ сущности нео-католицизмъ не хуже риторическаго деизма, этой не-религіи и не-вѣдѣнія, этой умѣренной теологіи образованныхъ мѣщанъ, «атеизма, окруженнаго религіозными учрежденіями».

Если Ронге и послѣдователи Бюше еще возможны послѣ 1848 г., послѣ Фейербаха и Прудона, послѣ Пія IX и Ламене, если одна изъ самыхъ энергическихъ партій движенія ставитъ мистическую формулу на своемъ знамени, если до сихъ поръ есть люди какъ Мицкевицъ, какъ Красинскій, продолжающіе быть мессіанистами, то дивиться нечему, что подобное ученіе привезъ съ собою Чаадаевъ изъ Европы двадцатыхъ годовъ. Мы

---

<sup>1)</sup> Теперь мы знаемъ достовѣрно, что Чаадаевъ былъ членомъ общества, изъ записокъ Якушкина.

ее нѣсколько забыли; стоить вспомнить исторію Волабелы, нисѣмъ леди Морганъ, занески Адриани, Байрона, Леонарди, чтобы убѣдиться, что это была одна изъ самыхъ тяжелыхъ эпохъ исторіи. Революція оказалась несостоятельной, грубый монархизмъ, съ одной стороны, циничски хвастался своей властію, лукавый монархизмъ, съ другой, цѣломудренно прикрывался листомъ хартии; едва только, и то изрѣдка, слышались нѣсни освобождающихся эллиновъ, кака-нибудь энергическая рѣчь Канинига или Ройе Коллара.

Въ протестантской Германіи образовалась тогда католическая партія, Шлегель и Лео мѣняли вѣру, старый Янгъ и другіе бредили о какомъ-то народномъ и демократическомъ католицизмѣ. Люди спасались отъ настоящаго въ средніе вѣка, въ мистицизмъ,—читали Эккартегаузена, занимались магнетизмомъ и чудесами князя Гогенло; Гюго, врагъ католицизма, столько же помогалъ его возстановленію, какъ тогдашній Ламене, ужасавшійся бездушному индифферентизму своего вѣка.

На русскаго такой католицизмъ долженъ былъ еще сильнѣе подѣйствовать. Въ немъ было формально все то, чего не доставало въ русской жизни, оставленной на себя и ищущей пути собственнымъ чутьемъ. Строгій чинъ и гордая независимость западной церкви, ея оконченная ограниченность, ея практическія приложенія, ея безвозвратная увѣренность и мнимое снятіе всѣхъ противурѣчій своимъ высшимъ единствомъ, своей вѣчной фатоморганой, своимъ *inibi et obi*, своимъ презрѣніемъ свѣтской власти, должно было легко овладѣть умомъ пылкимъ и начавшимъ свое серьезное образованіе въ совершенныхъ лѣтахъ.

Когда Чаадаевъ возвратился, онъ засталъ въ Россіи другое общество и другой тонъ. Какъ молодъ я ни былъ, но я помню, какъ наглядно высшее общество пало и стало грязнѣе, работнѣе. Аристократическая независимость, гвардейская удалъ александровскихъ временъ,—все это исчезло съ 1826 годомъ.

Были иные входы, подѣды, еще не совсѣмъ пзвѣстные самимъ себѣ, еще ходившіе съ раскрытой шеей *à l'enfant* или учившіеся по пансіонамъ и лицамъ; были молодые литераторы, начинавшіе пробовать свои силы и свое перо, но все это еще было скрыто, и не въ томъ мірѣ, въ которомъ жилъ Чаадаевъ.

Друзья его были на каторжной работѣ. Онъ сначала оставался совсѣмъ одинъ въ Москвѣ, потомъ вдвоемъ съ Пушкинымъ, наконецъ, втроемъ съ Пушкинымъ и Орловымъ. Чаадаевъ показывалъ часто, послѣ смерти обомъ, два небольшія пятна на стѣнѣ надъ спинкой дивана, тутъ они прислоняли голову!

Безмѣрно печально сличеніе двухъ посланій Пушкина къ Чаадаеву; между ними прошла не только ихъ жизнь, но цѣлая

эпоха, жизнь цѣлаго поколѣнія, съ надеждою ринувшагося впередъ и грубо отброшеннаго назадъ. Пушкинъ юноша говоритъ своему другу:

Товарищъ, вѣрь, взойдетъ она,  
Заря плѣнительнаго счастья,  
Россія встрянетъ ото сна  
И на обломкахъ самовластия  
Напишутъ наши имена.

Но заря не взошла, и Пушкинъ пишетъ:

Чаадаевъ, поминишь-ли былое?  
Давно-ль съ восторгомъ молодымъ  
Я мыслить имя роковое  
Предать развалинамъ инымъ?  
... Но въ сердцѣ, бурями смиреннѣмъ,  
Теперь и лѣнь и тишина  
И въ умиленьи вдохновенномъ,  
На камнѣ дружбой освещенномъ,  
Пишу я наши имена!

Въ мирѣ не было ничего противоположнѣе славянамъ, какъ безнадежный взглядъ Чаадаева, которымъ онъ метилъ русской жизни, какъ его обдуманное, выстраданное проклятіе ей, которымъ онъ замыкалъ свое печальное существованіе и существованіе цѣлаго періода русской исторіи. Онъ долженъ былъ возбудить въ нихъ сильную оппозицію, онъ горько и уныло-зло оскорблялъ все дорогое имъ, начиная съ Москвы.

«Въ Москвѣ, говаривалъ Чаадаевъ, каждого иностранца водятъ смотрѣть большую пушку и большой колоколъ. Пушку, изъ которой стрѣлять нельзя, и колоколъ, который свалился прежде, чѣмъ звонилъ. Удивительный городъ, въ которомъ достопримѣчательности отличаются нелѣпостью; или, можетъ, этотъ большой колоколъ безъ языка — гіероглифъ, выражающій эту огромную нѣмую страну, которую заселяетъ племя, назвавшее себя *славянами*, какъ будто удивляясь, что имѣетъ слово человеческое» <sup>1)</sup>.

Чаадаевъ и славяне равно стояли передъ неразгаданнымъ сфинксомъ русской жизни, сфинксомъ, спящимъ подъ солдатской шинелью; они равно спрашивали: «Что же изъ этого будетъ? Такъ жить невозможно: тягость и нелѣпость настоящаго очевидны, невыносимы, — гдѣ же выходъ?»

«Его нѣтъ», отвѣчалъ человѣкъ петровскаго періода исключительно западной цивилизаціи, вѣрившій при Александрѣ въ

<sup>1)</sup> «Въ дополненіе къ тому, говорилъ онъ мнѣ въ присутствіи Хомякова, они хвастаются даромъ слова, а во всемъ племени говоритъ одинъ Хомяковъ».

европейскую будущность Россіи. Онъ печально указывалъ, къ чему привели усилія цѣлаго вѣка. Переворотъ Петра сдѣлалъ изъ насъ худшее, что можно сдѣлать изъ людей,—*просвѣщенныя* рабовъ. Довольно мучились мы въ этомъ тяжеломъ, смутномъ нравственномъ состояніи, непонятые народомъ, побитые правительствомъ; пора отдохнуть, пора свести миръ въ свою душу, прислониться къ чему-нибудь... это почти значило «пора умереть» и Чаадаевъ думалъ найти общій всѣмъ страждущимъ и обремененнымъ покой въ католической церкви.

Съ точки зрѣнія западной цивилизаціи, такъ, какъ она выразилась во время реставраціи, съ точки зрѣнія петровской Руси взглядъ этотъ совершенно оправданъ.

Славяне рѣшили вопросъ иначе.

Въ ихъ рѣшеніи лежало вѣрное сознаніе *живой души* въ народѣ, чутье ихъ было проникательнѣе ихъ разумѣнія. Они поняли, что современное состояніе Россіи, какъ бы тяжело ни было, *не смертельная болѣзнь*. И въ то время, какъ у Чаадаева слабо мерцаетъ возможность спасенія лицъ, а не народа,—у славянъ явно проглядываетъ мысль о гибели лицъ, захваченныхъ современной эпохой, и вѣра въ спасеніе народа.

«Выходъ за нами, говорили славяне, выходъ въ отреченіи отъ петербургскаго періода, въ возвращеніи къ народу, съ которымъ насъ разбило иностранное образованіе, иностранное правительство, *воротимся къ прежнимъ правамъ!*»

Но исторія не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бываютъ нужны старыя платья. Всѣ возстановленія, всѣ реставраціи были всегда маскарадами. Мы видѣли двѣ; ни легитимисты не возвратились къ временамъ Людовика XIV, ни республиканцы къ 8 термидору. Случившееся стоитъ писаннаго, его не вырубишь топоромъ.

Намъ, сверхъ того, не къ чему возвращаться. Государственная жизнь до-петровской Россіи была уродлива, бѣдна, дика,—а къ ней-то и хотѣли славяне возвратиться, хотя они и не признаются въ этомъ; какъ же иначе объяснить всѣ археологическія воскрешенія, поклоненіе правамъ и обычаямъ прежняго времени и самыя попытки возвратиться не къ современной (и превосходной) одеждѣ крестьянъ, а къ стариннымъ неуклюжимъ костюмамъ?

Во всей Россіи, кромѣ славянофиловъ, никто не носитъ мурмолокъ. А К. Аксаковъ одѣлся такъ національно, что народъ на улицахъ принималъ его за персіанина, какъ рассказывалъ шутя Чаадаевъ.

Возвращеніе къ народу они тоже поняли грубо, въ томъ родѣ, какъ большая часть западныхъ демократовъ — принимая его *со-всѣмъ готовымъ*. Они полагали, что дѣлать предразсудки народа—

значить быть съ нимъ въ единствѣ, что жертвовать своимъ разумомъ, вмѣсто того, чтобъ развивать разумъ въ народѣ—великій актъ смиренія. Отсюда натянутая набожность, исполненіе обрядовъ, которые, при наивной вѣрѣ, трогательны и оскорбительны, когда въ нихъ видна преднамѣренность. Лучшее доказательство, что возвращеніе славянъ къ народу не было дѣйствительнымъ, состоитъ въ томъ, что они не возбудили въ немъ никакого сочувствія. Ни византійская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадутъ для будущаго развитія славянскаго міра. Возвратиться къ селу, къ артели работниковъ, къ мірской сходкѣ, къ казачеству, другое дѣло; но возвратиться не для того, чтобъ ихъ закрѣпить въ неподвижныхъ азіатскихъ кристаллизаціяхъ, а для того, чтобъ развить, освободить начала, на которыхъ они основаны, очистить отъ всего наноснаго, искажающаго, отъ дикаго мяса, которымъ они обросли, — въ этомъ, конечно, наше призваніе. Но ненадобно ошибаться, все это далеко за *предѣломъ* государства; московскій періодъ такъ же мало поможетъ тутъ, какъ петербургскій; онъ же никогда и не былъ лучше сего. Новгородскій вѣчевой колоколъ былъ только перелить въ пушку Петромъ, а снять съ колокольной Иоаномъ Васильевичемъ; крѣпостное состояніе только закрѣплено ревизіей при Петрѣ, а введено Годуновымъ; въ Уложеніи уже пѣтъ и помину цаловальниковъ, и кнутъ, батоги, плети являются гораздо прежде шницрутеновъ и фухтелей.

Ошибка славянъ состояла въ томъ, что имъ кажется, что Россія имѣла когда-то свойственное ей развитіе, затемненное разными событіями и, наконецъ, петербургскимъ періодомъ. Россія никогда не имѣла этого развитія и *не могла имѣть*. То, что приходитъ теперь къ сознанію у насъ, то, что начинается мерцать въ мысли, въ предчувствіи, то, что существовало безсознательно въ крестьянской избѣ и на полѣ,—то теперь *только* всходитъ на пажитяхъ исторіи, утучненныхъ кровью, слезами и потомъ двадцати поколѣній.

Это—основы нашего быта, не воспоминанія, это—живыя стѣхи, существующія не въ лѣтописяхъ, а въ настоящемъ; но онѣ только *уцѣлѣли* подъ труднымъ историческимъ выработываніемъ государственнаго единства и подъ государственнымъ гнетомъ только сохранились, но не развились. Я даже сомнѣваюсь, нашлись ли бы внутреннія силы для ихъ развитія безъ петровскаго періода, безъ періода европейскаго образованія.

Непосредственныхъ основъ быта недостаточно. Въ Индіи до сихъ поръ и споконъ вѣка существуетъ сельская община, очень сходная съ нашей и основанная на раздѣлѣ полей; однако индѣйцы съ ней недалеко ушли.

Одна мощная мысль Запада, къ которой примыкаетъ вся длинная исторія его, въ состояніи оплодотворить зародыши, дремлющіе въ патриархальномъ быту славянскомъ. Артель и сельская община, раздѣлъ прибытка и раздѣлъ полей, мірская сходка и соединеніе сель въ волости, управляющіеся сами-собою, все это краугольные камни, на которыхъ соизидется храмъ нашего будущаго свободно-общиннаго быта. Но эти краугольные камни—все же камни... и безъ западной мысли нашъ будущій соборъ остался бы при одномъ фундаментѣ.

Такова судьба всего истинно *соціального*, оно невольно влечетъ къ круговой поруки народовъ... Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при дикомъ общинномъ бытѣ, другіе при отвлеченной мысли коммунизма, которая, какъ христіанская душа, носится надъ разлагающимися тѣломъ.

Воспримчивый характеръ славянъ, ихъ *женственность*, недостатокъ самодѣтельности и большая способность усвоенія и пластицизма дѣлаетъ ихъ по преимуществу народомъ нуждающимся въ другихъ народахъ, они не вполне довольствуютъ себя. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими пѣснями», какъ замѣтилъ одинъ византійскій лѣтописецъ, «и дремлютъ». Возбужденные другими, они идутъ до крайнихъ слѣдствій; нѣтъ народа, который глубже и полнѣе усваивалъ бы себя мысль другихъ народовъ, оставаясь самимъ собою. Того упорнаго непониманья другъ друга, которое существуетъ теперь, какъ за тысяччу лѣтъ, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нѣтъ. Въ этой симпатичной, легко усваивающей, воспринимающей натурѣ лежитъ необходимость отдаваться и быть увлекаемымъ.

Чтобы сложиться въ княжество, Россіи были нужны варяги.

Чтобы сдѣлаться государствомъ—монголы.

Европеизмъ развилъ изъ царства московскаго колоссальную имперію петербургскую.

Но при всей своей воспримчивости не оказали ли славяне вездѣ полнѣйшую неспособность къ развитію *современнаго*, европейскаго, государственнаго чина, постоянно впадая или въ отчаяннѣйшій деспотизмъ или въ безвыходное неустройство?

Эта неспособность и эта неполнота—великіе *таланты* въ нашихъ глазахъ.

Вся Европа пришла теперь къ необходимости деспотизма, чтобъ какъ-нибудь удержать современный государственный бытъ противъ напора *соціальныхъ* идей, стремящихся водворить новый чинъ, къ которому Западъ, боясь и упираясь, все-таки несетя съ невѣдомой силой.

Было время, когда полусвободный Западъ гордо смотрѣлъ на



Россію, и образованная Россія вздыхая смотрѣла на счастіе старшихъ братій. Это время прошло.

Мы присутствуемъ теперь при удивительномъ зрѣлищѣ; страны, гдѣ остались еще свободныя учрежденія, и тѣ напрашиваются на деспотизмъ. Человѣчество не видало ничего подобнаго со временъ Константина, когда свободные римляне, чтобъ спастись отъ общественной тяги, просились въ рабы.

Деспотизмъ или социализмъ—выбора нѣтъ.

А между тѣмъ Европа показала удивительную неспособность къ социальному перевороту.

Мы думаемъ, что Россія не такъ неспособна къ нему и на этомъ сходимся съ славянами. На этомъ основана наша вѣра въ ея будущность. Вѣра, которую я проповѣдывалъ съ конца 1848 года.

Европа выбрала деспотизмъ, предпочла имперію. Деспотизмъ—военный станъ, имперія—война, императоръ—военачальникъ. Все вооружено, война и будетъ, но гдѣ настоящій врагъ? Дома—внизу, на днѣ, и тамъ за Нѣманомъ.

Начавшаяся теперь война <sup>1)</sup> можетъ имѣть перемирія, но не кончится прежде начала всеобщаго переворота, который смѣняетъ всѣ карты и начнетъ новую игру. Нельзя же двумъ великимъ историческимъ личностямъ, двумъ посѣдѣлымъ дѣятелямъ всей западной исторіи, представителямъ двухъ міровъ, двухъ традицій, двухъ началъ—государства и личной свободы, нельзя же имъ не остановить, не сокрушить третью личность, нѣмую, безъ знамени, безъ имени, являющуюся такъ не во время и грубо толкающуюся въ двери Европы и въ двери исторіи съ притязаніемъ на Византію, съ одной ногой на Германіи, съ другой на Тихомъ океанѣ.

## II.

Возвратившись изъ Новгорода въ Москву, я засталъ оба стана на барьерѣ. Славяне были въ полномъ боевомъ порядкѣ, съ своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина, съ своими застрѣльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послѣ кіевскаго періода, и умѣренными жирондистами, отвергавшими только петербургскій періодъ; у нихъ были свои каѳедры въ университетѣ, свое ежемѣсячное обозрѣніе, выходившее всегда два мѣсяца позже, но все же выходившее. При главномъ корпусѣ состояли православные гегельянцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ, и пр., и пр.

---

<sup>1)</sup> Писано во время крымской войны.

Война наша сильно занимала литературные салоны въ Москвѣ. Вообще Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизни. Появленіе замѣчательной книги <sup>1)</sup> составляло событіе, критики и антикритики читались и комментировались съ тѣмъ вниманіемъ, съ которымъ бывало въ Англіи или во Франціи слѣдили за парламентскими преніями. Подавленность всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности бросала образованную часть общества въ книжный міръ и въ немъ одномъ дѣйствительно совершался, глухо и полусловами, протестъ противъ гнета.

Въ лицѣ Грановскаго, московское общество привѣтствовало рвущуюся къ свободѣ мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. Въ лицѣ славянофиловъ оно протестовало противъ оскорбленнаго чувства народности.

Здѣсь я долженъ оговориться. Я въ Москвѣ зналъ два круга, два полюса ея общественной жизни и могу только объ нихъ говорить. Сначала я былъ потерянъ въ обществѣ стариковъ, гвардейскихъ офицеровъ временъ Екатерины, товарищей моего отца, и другихъ стариковъ, нашедшихъ тихое убѣжище въ страннопріимномъ сенатѣ, товарищей его брата. Потомъ я зналъ одну *молодую* Москву, литературно-свѣтскую, и говорю только объ ней. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, ожидавшими своихъ похоронъ по рангу, и ихъ сыновьями или внуками, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не зналъ и не хотѣлъ знать. Промежуточная среда эта была безцвѣтна и пошла, безъ екатерининской оригинальности, безъ отваги и удали людей 1812 г., безъ нашихъ стремленій и интересовъ. Это было поколѣніе жалкое, подавленное, въ которомъ бился, задыхался и погибли нѣсколько мучениковъ. Говоря о московскихъ гостинныхъ и столовыхъ, я говорю о тѣхъ, въ которыхъ нѣкогда царилъ А. С. Пушкинъ, гдѣ до насъ декабристы давали тонъ, гдѣ смѣялся Грибоѣдовъ, гдѣ М. Ѳ. Орловъ и А. П. Ермоловъ встрѣчали дружескій привѣтъ, потому что они были въ опалѣ; гдѣ, наконецъ, А. С. Хомяковъ спорилъ до четырехъ часовъ утра, начавши въ девять; гдѣ К. Аксаковъ съ мурмошкой въ рукѣ свирѣпетовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, и никогда не бралъ въ руки бокала шампанскаго, чтобъ не сотворить тайно моленіе и тостъ, который всѣ знали; гдѣ Р... выводилъ логически личнаго бога, *ad maiorem gloriam Hegelij*, гдѣ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой рѣчью, гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станке-

<sup>1)</sup> Въ «Полярной Звѣздѣ» прибавлено: напр., «Мертвыхъ душъ».

вича, гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаниями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными; гдѣ молодой старикъ А. И. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы, отъ Шатобріана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варигагенъ; гдѣ Боткинъ и Крюковъ *пантеистически* наслаждались разсказами М. С. Щепкина, и куда, наконецъ, иногда падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало.

Вообще въ Москвѣ жизнь большіе деревенская, чѣмъ городская, только господскіе дома близко другъ отъ друга. Въ ней не приходитъ все къ одному знаменателю, — а живутъ себѣ образцы разныхъ временъ, образованій, слоевъ, широтъ и долготъ русскихъ. Въ ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчиваютъ свой вѣкъ; но не только они, а и Владиміръ Ленскій и нашъ чудакъ Чацкій; Онѣгиныхъ было даже слишкомъ много. Мало занятые, все они жили не торопясь, безъ особыхъ заботъ, спустя рукава. Помѣщичья распущенность, признаться сказать, намъ по душѣ; въ ней есть своя ширь, которую мы не находимъ въ мѣщанской жизни Запада. Подобострастный кліентизмъ, о которомъ говорить дѣвица Вильмотъ въ запискахъ Данковой и который я самъ еще засталъ, — въ тѣхъ кругахъ, о которыхъ идетъ рѣчь, не существовалъ. Хоръ этого общества былъ составленъ изъ неслужащихъ помѣщиковъ или служащихъ не для себя, а для успокоенія родственниковъ, людей достаточныхъ, изъ молодыхъ литераторовъ и профессоровъ. Въ этомъ обществѣ была та свобода неустоявшихся отношеній и неприведенныхъ въ козный порядокъ обычаевъ, которой нѣтъ въ старой европейской жизни, и въ то же время въ немъ сохранилась привитая намъ воспитаніемъ традиція западной вѣжливости, которая на Западѣ печезаетъ; она, съ примѣсью славянскаго *laisser aller*, а подъ часъ и разгула, составляла особый русскій характеръ *московскаго* общества, къ его великому горю, потому что оно смертельно хотѣло быть *парижскимъ* и это хотѣніе, навѣрное, осталось.

Мы Европу все еще знаемъ заднимъ числомъ; намъ все мерещатся тѣ времена, когда Вольтеръ царилъ надъ парижскими салонами, и на споры Дидро звали какъ на стерлядь; когда пріѣздъ Давида Юма въ Парижъ сдѣлалъ эпоху и всѣ контессы, виконтессы ухаживали за нимъ, кокетничали съ нимъ до того; что другой баловень, Гриммъ, надулся и нашелъ это вовсе неумѣстнымъ. У насъ все въ головѣ времена вечеровъ барона Гольбаха и перваго представленія Фигаро, когда вся аристократія Парижа стояла дни цѣлые, дѣлая хвостъ, и модныя дамы безъ

обѣда фли сухія бріюшки, чтобъ добиться мѣста и увидать революціонную пьесу, которую черезъ мѣсяцъ будутъ давать въ Версаль (графъ Прованскій, т. е., будущій Людовикъ XVIII въ роли Фигаро, Марія Антуанета—въ роли Сусанны!).

Tempi passati... не только гостинныя XVIII столѣтія не существуютъ, эти удивительныя гостинныя, гдѣ подъ пудрой и кружевами — аристократическими ручками взлелѣвали и откормили аристократическимъ молокомъ львенка, изъ котораго выросла исполинская революція; но и такихъ гостинныхъ больше нѣтъ, какъ бывали, напр., у Стааль, у Рекамье, — гдѣ съѣзжались всѣ знаменитости аристократіи, литераторы, политики. Литературы боялся, да ея и нѣтъ совсѣмъ, партіи разошлись до того, что люди разныхъ оттѣнковъ не могутъ учтиво встрѣтиться подъ одной крышей.

Одинъ изъ послѣднихъ опытовъ «гостинной» въ прежнемъ смыслѣ слова не удался и потухъ вмѣстѣ съ хозяйкой. Дельфина Ге истощала всѣ свои таланты — блестящій умъ — на то, чтобъ какъ-нибудь сохранить *приличный* миръ между гостями, подозрѣвавшими, ненавидѣвшими другъ друга. Можетъ ли быть какое-нибудь удовольствіе въ этомъ натянутомъ, тревожномъ состояніи перемирія, въ которомъ хозяинъ, оставшійся одинъ, усталый, бросается на софу и благодарить небо за то, что вечеръ сошелъ съ рукъ безъ непріятностей.

Дѣйствительно, Западу и въ особенности Франціи теперь не до литературной болтовни, не до хорошаго тона, не до изящныхъ манеръ. Закрывъ страшную пронасть императорской мантией съ ичелами, мѣщане-генералы, мѣщане-министры, мѣщане-банкиры кутятъ, наживаются милліоны, теряютъ милліоны, ожидая Каменнаго Гостя ликвидаціи... Не легкая «козри» нужна имъ, а тяжелыя оргіи, безцвѣтное богатство, въ которомъ золото, какъ въ первой имперіи, вытѣсняетъ искусство, лоретка — даму, биржевой игрокъ — литератора.

Это распаденіе общества не въ одномъ Парижѣ. Ж. Зандъ была живымъ средоточіемъ всего своего сосѣдства въ Ноанъ. Къ ней съѣзжались простые и непростые знакомые, безъ большихъ церемоній, всегда, когда хотѣли, и проводили вечеръ чрезвычайно изящно. Тутъ была музыка, чтеніе, драматическія импровизаціи и, что всего важнѣе, тутъ была сама Ж. Зандъ. Съ 1852 года тонъ началъ мѣняться, добродушные берішоны уже не пріѣзжали затѣмъ, чтобъ отдохнуть и поемѣяться, но со злобой въ глазахъ, исполненные желчи, терзали другъ друга заочно и въ лицо, выказывали новую ливрею, другіе боялись доносовъ; непринужденность, которая дѣлала легкой и милой шутку и веселость, исчезла. Постоянная забота ладить, разводить, смягчать,

до того надоѣла, намучила Ж. Зандъ, что она рѣшилась прекратить свои Ноанскіе вечера и свела свой кругъ на два, на три старыхъ пріятеля...

... Говорятъ, Москва—молодая Москва—состарѣлась, не пережила Николая, что и университетъ ея измѣльчалъ и помѣничиья натура слишкомъ рельефно выступила передъ вопросомъ освобожденія; что ея англійской клубъ сдѣлался всего менѣе англійской, что въ немъ Собакевичи кричатъ противъ освобожденія и Поздревы шумятъ за *естественныя и неотъемлемыя* права дворянъ. Можетъ быть!... Но не такова была Москва сороковыхъ годовъ, и вотъ эта-то Москва и принимала дѣятельное участіе за муромки и противъ нихъ; барыни и барышники читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или за Грановскаго, жалѣя *только*, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патриотъ.

Споры возобновлялись на всѣхъ литературныхъ и не литературныхъ вечерахъ, на которыхъ мы встрѣчались, — а это было раза два или три въ недѣлю. Въ понедѣльникъ собиравлись у Чаадаева, въ пятницу у Свербѣева, въ воскресенье у А. П. Елагинной.

Сверхъ участниковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имѣвшихъ мнѣнія, на эти вечера пріѣзжали охотники, даже охотницы, и сидѣли до двухъ часовъ ночи, чтобъ посмотрѣть, кто изъ матадоровъ кого одѣлаетъ и какъ одѣлаютъ его самого; пріѣзжали, въ томъ родѣ, какъ встарь ѣздили на кулачные бои и въ амфитеатръ, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцемъ, разившимъ всѣхъ, со стороны православія и славянизма, былъ Алексѣй Степановичъ Хомяковъ, «Горгіасъ, совопросникъ міра сего», по выраженію полуповрежденнаго Морозкина. Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на нихъ, богатый памятью и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизнь. Боецъ безъ усталости и отдыха, онъ билъ и кололъ, нападалъ и преслѣдовалъ, осыпалъ островами и цитатами, пугалъ и заводилъ въ лѣсъ, откуда безъ молитвы выйти нельзя, — словомъ, кого за убѣжденіе — убѣжденіе прочь, кого за логику — логику прочь.

Хомяковъ былъ дѣйствительно опасный противникъ; закапавшійся старый бретѣрь діалектики, онъ пользовался малѣйшимъ разсѣяніемъ, малѣйшей уступкой. Необыкновенно даровитый человѣкъ, обладавшій страшной эрудиціей, онъ, какъ средне-вѣковые рыцари, караулившіе богородицу, спалъ вооруженный. Во всякое время дня и ночи онъ былъ готовъ на запутаннѣйшій споръ и употреблялъ для торжества своего славянскаго воззрѣнія все на свѣтъ — отъ казуистики византійскихъ богослововъ до

тонкостей изворотливого леписта. Возраженія его, часто минимы всегда ослѣпляли и сбивали съ толку.

Хомяковъ зналъ очень хорошо свою силу и игралъ ею; забрасывалъ словами, запугивалъ ученостью, надо всѣмъ издѣвался, заставлялъ человѣка смѣяться надъ собственными вѣрованіями и убѣжденіями, оставляя его въ сомнѣніи, есть-ли *у него у самаго* что-нибудь завѣтное. Онъ мастерски ловилъ и мучилъ на діалектической жаровнѣ остановившихся на полдорогѣ, пугалъ робкихъ, приводилъ въ отчаяніе дилетантовъ и при всемъ этомъ смѣялся, *какъ казалось*, отъ души. Я говорю «какъ казалось», потому что въ нѣсколько восточныхъ чертахъ его выражалось что-то затаенное и какое-то азіатское простодушное лукавство вмѣстѣ съ русскимъ себѣ на умѣ. Онъ вообще больше сбивалъ, чѣмъ убѣждалъ.

Философскіе споры его состояли въ томъ, что онъ отвергалъ возможность разумомъ дойти до истины; онъ разуму давалъ одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, иначе получаемыя, относительно готовыя (т. е., даваемыя откровеніемъ, получаемыя вѣрой). Если же разумъ оставить на самаго себя, то бродя въ пустотѣ и строя категорію за категоріей, онъ можетъ обличить свои законы, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духѣ, ни до понятія о безсмертіи и пр. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, остановившихся между религіей и наукой. Какъ они ни бились въ формахъ гегелевской методы, какія ни дѣлали построенія, Хомяковъ шелъ съ ними шагъ въ шагъ и подъ конецъ дулъ на карточный домъ логическихъ формулъ или подставлялъ ногу и заставлялъ ихъ падать въ «матеріализмъ», отъ котораго они стыдливо отрекались, или въ «атеизмъ», котораго они просто боялись. Хомяковъ торжествовалъ!

Присутствуя нѣсколько разъ при его спорахъ, я замѣтилъ эту уловку, и въ первый разъ, когда мнѣ самому пришлось помѣряться съ нимъ, я его самъ завлекъ къ этимъ выводамъ. Хомяковъ щурился своей косою глазоу, потряхивалъ черными, какъ смоль, кудрями и впередъ улыбался.

— Знаете-ли что, сказалъ онъ вдругъ, какъ бы удивляясь самъ новой мысли, не только однимъ разумомъ нельзя дойти до разумнаго духа, развивающагося въ природѣ, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, какъ простое, непрерывное броженіе, не имѣющее цѣли, и которое можетъ и продолжаться, и остановиться. А если это такъ, то вы не докажете и того, что исторія не оборвется завтра, не погибнетъ съ родомъ человѣческимъ, съ планетой?



— Я вамъ и не говорилъ, отвѣтилъ я ему, что я берусь это доказывать, я очень хорошо зналъ, что это невозможно.

— Какъ? сказалъ Хомяковъ, нѣсколько удивленный,—вы можете принимать эти страшные результаты *свирѣпѣющей имманенціи* и въ вашей душѣ ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу я ихъ или нѣтъ.

— Ну, вы, по крайней мѣрѣ, послѣдовательны; однако, какъ человѣку надобно свихнуть себѣ душу, чтобъ примириться съ этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть къ нимъ.

— Докажите мнѣ, что *не-наука* ваша истиннѣе, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, къ чему бы она меня ни привела.

— Для этого надобно вѣру.

— Но, Алексѣй Степановичъ, вы знаете: «на нѣтъ, и суда нѣтъ» <sup>1)</sup>.

Многіе—и нѣкогда я самъ—думали, что Хомяковъ спорилъ изъ артистической потребности спорить, что глубокихъ убѣждений у него не было, и въ этомъ была виновата его манера, его вѣчный смѣхъ и поверхностность тѣхъ, которые его судили. Я не думаю, чтобъ кто-нибудь изъ славянъ сдѣлалъ больше для распространенія ихъ воззрѣнія, чѣмъ Хомяковъ. Вся его жизнь, человѣка очень богатаго и не служившаго, была отдана пропагандѣ. Смѣялся ли онъ, или плакалъ,—это зависѣло отъ нервъ, отъ склада ума, отъ того, какъ его сложила среда и какъ онъ отражалъ ее; до глубины убѣжденія это не касается.

Хомяковъ, можетъ быть, непрерывной суетой споровъ и хлопотливо-праздной полемикой заглушалъ то же чувство пустоты, которое, съ своей стороны, заглушало все свѣтлое въ его товарищахъ и ближайшихъ друзьяхъ, въ Кирѣвскихъ.

Сломанность этихъ людей была очевидна. Въ жару полемики можно было иногда забывать это,—теперь это было бы слабо и жалко.

Оба брата Кирѣвскихъ стоятъ печальными тѣнями на рубежѣ народнаго воскресенія; не признанные живыми, не дѣлившіе ихъ интересовъ, они не скидали савана.

Преждевременно состарѣвшееся лицо Ивана Васильевича носило рѣзкіе слѣды страданій и борьбы, послѣ которыхъ уже выступилъ печальный покой морской зыби надъ потонувшимъ кораблемъ. Жизнь его не удалась. Съ жаромъ принялся онъ, по-

<sup>1)</sup> Въ «Полярной Звѣздѣ» прибавлено: Хомяковъ по обыкновенію заключилъ смѣхомъ, и мы стали говорить о другомъ.



мнителен въ 1833 г., за ежемѣсячное обозрѣніе, *Европеецъ*. Двѣ вышедшія книжки были превосходны, при выходѣ второй *Европеецъ* былъ запрещенъ. Онъ помѣстилъ въ *Денницу* статью о Новиковѣ,—*Денница* была схвачена и цензоръ Глинка посаженъ подъ арестъ. Кирѣевскій, разстроившій свое состояніе *Европеецъ*, уныло почилъ въ пустынь московской жизни; ничего не представлялось вокругъ, — онъ не вытерпѣлъ и уѣхалъ въ деревню, затаивъ въ груди глубокую скорбь и тоску по дѣятельности. И этого человѣка, твердаго и чистаго, какъ сталь, разѣбла ржа страшнаго времени. Черезъ десять лѣтъ онъ возвратился въ Москву изъ своего отшельничества — мистикомъ и православнымъ.

Положеніе его въ Москвѣ было тяжелое. Совершенной близости, сочувствія у него не было ни съ его друзьями, ни съ нами. Между нимъ и нами была церковная стѣна. Поклонникъ свободы и великаго времени французской революціи, онъ не могъ раздѣлять пренебреженія ко всему европейскому новыхъ старообрядцевъ. Онъ однажды съ глубокой печалью сказалъ Грановскому: «Сердцемъ я больше связанъ съ вами, но не дѣлю многого изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе вѣрой, но столько же расхожусь въ другомъ». И онъ въ самомъ дѣлѣ потухалъ какъ-то одиноко въ своей семьѣ. Возлѣ него стоялъ его братъ, его другъ — Петръ Васильевичъ. Грустно, какъ будто слеза еще не обсохла, будто вчера постигло несчастье, появлялись оба брата на бесѣды и сходы. Я смотрѣлъ на Ивана Васильевича, какъ на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утѣшеніе:

Погоди немного  
Отдохнешь и ты!

Жаль было разрушать его мистицизмъ; эту жалость я прежде испытывалъ съ Витбергомъ. Мистицизмъ обоихъ былъ художественный; за нимъ будто не исчезала истина, а пряталась въ фантастическихъ очертаніяхъ и монашескихъ рясахъ. Безпощадная потребность разбудить человѣка является только тогда, когда онъ облакаетъ свое безуміе въ полемическую форму, или когда близость съ нимъ такъ велика, что всякой диссонансъ раздражаетъ сердце и не даетъ покоя.

И что же было возражать человѣку, который говорилъ такіа вещи: «Я разъ стоялъ въ часовнѣ, смотрѣлъ на чудотворную икону богородицы и думалъ о дѣтской вѣрѣ народа, молящагося ей; нѣсколько женщинъ, больные, старикъ стояли на колѣнахъ и, крестясь, клали земные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядѣлъ я потомъ на святые черты и мало-по-малу тайна чудесной

силы стала мнѣ уясняться. Да, это не просто доска съ изображеніемъ... Вѣка цѣлые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ; она должна была наполниться силой, струящейся изъ нея, отражающей отъ нея на вѣрующихъ. Она сдѣлалась живымъ органомъ, мѣстомъ встрѣчи между творцомъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрѣлъ на старцевъ, на женщинъ съ дѣтьми, поверженныхъ въ прахъ, и на святую икону,—тогда я самъ увидѣлъ черты богородицы одушевленными, она съ милосердіемъ и любовью смотрѣла на этихъ простыхъ людей... И я палъ на колѣни и смиренно молился ей».

Петръ Васильевичъ былъ еще неисправимѣе и шелъ дальше въ православномъ славянизмѣ,—натура, можетъ быть, меньше даровитая, но цѣльная и строго послѣдовательная. Онъ не старался, какъ Иванъ Васильевичъ или какъ славянскіе гегеллисты, мирить религію съ наукой, западную цивилизацію съ московской народностью; совсѣмъ напротивъ, онъ отвергалъ всѣ перемирія. Самобытно и твердо держался онъ на своей почвѣ, не накупаясь на споры, но и не минуя ихъ. Бояться ему было нечего: онъ такъ безвозвратно отдался своему мнѣнію и такъ снался съ нимъ горестнымъ состраданіемъ къ современной Руси, что ему было легко. Соглашаться съ нимъ нельзя было, какъ и съ братомъ его; но понимать его можно было лучше, какъ всякую безпощадную крайность. Въ его взглядѣ (и это я оцѣнилъ гораздо послѣ) была доля тѣхъ горькихъ, подавляющихъ истинъ объ общественномъ состояніи Запада, до которыхъ мы дошли послѣ бурь 1848 года. Онъ понялъ ихъ печальнымъ ясновидѣніемъ, догадался ненавистью, мстью за зло, принесенное Петромъ во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, какъ у его брата, рядомъ съ православіемъ и славянизмомъ, стремленія къ какой-то гуманно-религіозной философій, въ которую разрѣшалось его невѣріе къ настоящему. Нѣтъ, въ его утrophомъ націонализмѣ было полное, оконченное отчужденіе всего западнаго.

Ихъ общее несчастье состояло въ томъ, что они родились или слишкомъ рано, или слишкомъ поздно; 14 декабря застало насъ дѣтьми, ихъ юношами. Это очень важно. Мы въ это время учились, вовсе не зная, что въ самомъ дѣлѣ творится въ практическомъ мірѣ. Мы были полны теоретическихъ мечтаній, мы были Гракхи и Ріензи въ дѣтской; потомъ, замкнутые въ небольшой кругъ, мы дружно прошли академическіе годы; выходя изъ университетскихъ воротъ, насъ встрѣтили ворота тюрьмы. Тюрьма и ссылка въ молодыхъ лѣтахъ, во времена душнаго и сѣраго гоненія, чрезвычайно благотворны; это закалъ,—однѣ слабыя организаціи смиряются тюрьмой, тѣ, у которыхъ борьба была мнимо-

летнымъ юпошескимъ порывомъ, а не талантомъ, не внутренней необходимостью. Сознаніе открытаго преслѣдованія поддерживаетъ желаніе противудѣйствовать, удвоенная опасность пріучаетъ къ выдержкѣ, образуетъ поведение. Все это занимаетъ, разсѣиваетъ, раздражаетъ, сердитъ, и на колодника или сосланнаго чаще находятъ минуты бѣшенства, чѣмъ утомительные часы равномернаго, обезсиливающаго отчаянія людей, потерянныхъ на волѣ въ пошлой и тяжелой средѣ.

Когда мы возвратились изъ ссылки, уже другая дѣятельность закинула въ литературѣ, въ университетѣ, въ самомъ обществѣ. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Бѣлинскаго, чтеній Грановскаго и молодыхъ профессоровъ.

Не то было съ нашими предшественниками. Ихъ встрѣтили тѣ десять лѣтъ, которыя оканчиваются мрачнымъ письмомъ Чаадаева. Разумѣется, въ десять лѣтъ они не могли состарѣться, но они сломились, затаились, окруженные обществомъ безъ живыхъ интересовъ, жалкимъ, струсившимъ, подобострастнымъ. И это были десять первыхъ лѣтъ юности! По неволѣ приходилось, какъ Онѣгину, завидовать параличу тульского засѣдателя, уѣхать въ Персію, какъ Печоринъ Лермонтова, идти въ католики, какъ настоящій Печоринъ, или броситься въ отчаянное православіе, въ непетовый славянизмъ, если нѣтъ желанія пить запоемъ, сѣчь мужиковъ или играть въ карты.

Въ первую минуту, когда Хомяковъ почувствовалъ эту пустоту, онъ поѣхалъ гулять по Европѣ во время соннаго и скучнаго царствованія Карла X; *докончивъ* въ Парижѣ свою забытую трагедію *Ермакъ* и потолковавши со всякими чехами и далматами на обратномъ пути, онъ воротился. Все скучно! По счастью, открылась турецкая война, онъ пошелъ въ полкъ, безъ нужды, безъ цѣли и отправился въ Турцію. Война кончилась и кончилась другая забытая трагедія *Дмитрій Самозванецъ*. Опять скука!

Въ этой скукѣ, въ этой тоскѣ, при этой страшной обстановкѣ и страшной пустотѣ мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмѣяна; тѣмъ яростнѣе бросился на отстаиваніе ея Хомяковъ, тѣмъ глубже вошла она въ плоть и кровь Кирѣевскихъ.

Сѣмя было брошено; на посѣвъ и защиту всходовъ пошла ихъ сила. Надобно было людей новаго поколѣнія, не свихнутыхъ, не надломленныхъ, которыми мысль ихъ была бы принята не страданіемъ, не болѣзью, какъ до нее дошли учителя, а передачей, наслѣдіемъ. Молодые люди откликнулись на ихъ призывъ, люди Станкевича круга примыкали къ нимъ и въ ихъ числѣ такіа сильныя личности, какъ К. Аксаковъ и Юрій Самаринъ.

Константинъ Аксаковъ не смѣялся, какъ Хомяковъ, и не сосредоточивался въ безвыходномъ сѣтованіи, какъ Кирѣевскіе. Мужающій юноша, онъ рвался къ дѣлу. Въ его убѣжденіяхъ не неуверенное пытанье почвы, не печальное сознаніе проповѣдника въ пустынѣ, не темное предыханіе, не дальнія надежды, а фанатическая вѣра, нетерпимая, втѣсняющая, односторонняя, та, которая предвѣщаетъ торжество. Аксаковъ былъ одностороненъ, какъ всякій воинъ; съ покойно взвѣшивающимъ эклектизмомъ нельзя сражаться. Онъ былъ окруженъ враждебной средой, средой сильной и имѣвшей надъ нимъ большія выгоды, ему надобно было пробиваться рядомъ всевозможныхъ непріятелей и водрузить свое знамя. Какая тутъ терпимость!

Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя непризнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектикѣ Хомякова, онъ не былъ поэтъ-мыслитель, какъ Н. Кирѣевскій, но онъ за свою вѣру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, онъ становится страшно убѣдительно. Онъ въ началѣ сороковыхъ годовъ проповѣдывалъ сельскую общину, міръ и артель. Онъ научилъ Гакстгаузена понимать ихъ и, послѣдовательный до дѣтства, первый опустилъ панталоны въ сапоги и надѣлъ рубашку съ кривымъ воротомъ. «Москва столица русскаго народа, говорилъ онъ, а Петербургъ только резиденція императора».—И замѣтьте, отвѣчалъ я ему, какъ далеко идетъ это различіе: въ Москвѣ васъ непременно посадятъ на *съѣзжу*, а въ Петербургѣ сведутъ на *гауптвахту*.

Аксаковъ остался до конца жизни вѣчнымъ восторженнымъ и безпредѣльно благороднымъ юношей; онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотѣли больше встрѣчаться, я какъ-то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. «Мнѣ было слишкомъ больно, сказалъ онъ, проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и мной, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ позвать вамъ руку и проститься». Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился; я стоялъ на томъ же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко поцѣловать. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту ссоры! <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> «Колоколъ», листъ 90.

Ссора, о которой идетъ рѣчь, была слѣдствіемъ той полемики, о которой я говорилъ.

Грановскій и мы еще кой-какъ съ ними ладили; не уступая начать, мы не дѣлали изъ нашего разномыслія личнаго вопроса. Бѣлинскій, страстный въ своей нетерпимости, шелъ дальше и горько упрекалъ насъ. «И жидъ по натурѣ, пишетъ онъ мнѣ изъ Петербурга, и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу... Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ *Москвитянинѣ*? Нетъ, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія».

За то честили его и славяне. *Москвитянинъ*, раздраженный Бѣлинскимъ, раздраженный успѣхомъ *Отечественныхъ Записокъ* и успѣхомъ лекцій Грановскаго, защищался чѣмъ попало и всего менѣе жалѣлъ Бѣлинскаго; онъ прямо говорилъ о немъ, какъ о человѣкѣ опасномъ, жаждущемъ разрушенія, радующемся при зрѣлищѣ пожара.

Впрочемъ, *Москвитянинъ* выражалъ преимущественно университетскую доктринерскую партію славянофиловъ. Партію эту можно назвать не только университетской, но и отчасти *правительственной*. Это большая новость въ русской литературѣ. У насъ рабство или молчать, беретъ взятки и плохо знаетъ грамоту или, пренебрегая прозой, беретъ аккорды на лирѣ.

Булгаринъ съ Гречемъ не идутъ въ примѣръ: они никого не надули, ихъ ливрейную кокарду никто не принялъ за отличный знакъ мнѣнія. Погодинъ и Шевыревъ, издатели *Москвитянина*, совѣмъ напротивъ, были добросовѣстно рабѣшны: Шевыревъ,—не знаю отчего, можетъ, увлеченный своимъ предкомъ, который середь пытокъ и мученій, во времена Грознаго, пѣлъ псалмы и чуть не молился о продолженіи дней свирѣпаго старика; Погодинъ—изъ ненависти къ аристократіи.

Бываютъ времена, въ которыя люди мысли соединяются съ властью, но это только тогда, когда власть ведетъ впередъ, какъ при Петрѣ I, защищаетъ свою страну, какъ въ 1812 г., врачуетъ ея раны и даетъ ей вздохнуть, какъ при Генрихѣ IV<sup>м</sup>, *можетъ быть*, при Александрѣ II<sup>м</sup>).

Погодинъ былъ полезный профессоръ, явившійся съ новыми силами и съ не-новымъ Гереномъ на пепелищѣ русской исторіи, вытравленной и превращенной въ дымъ и прахъ Каченовскимъ. Но какъ писатель, онъ имѣлъ мало значенія, несмотря на то, что онъ писалъ все, даже Гецъ-Фонъ-Берлихтгена по-русски. Его шероховатый, неметеный слогъ, грубая манера бросать кор-

<sup>1)</sup> Писано въ 1855 году.

поухія, обгрызенныя отмѣтки и нежеваныя мысли вдохновить меня какъ-то въ старые годы, и я написалъ въ подражаніе ему небольшой отрывокъ изъ—«Путевыхъ записокъ Ведрина». Строгоновъ (попечитель), читая ихъ, сказалъ: «А, вѣдь, Погодинъ вѣрно думаетъ, что онъ это въ самомъ дѣлѣ написалъ».

Шевыревъ врядъ даже сдѣлалъ ли что-нибудь какъ профессоръ. Что касается до его литературныхъ статей, я не помню во всемъ писанномъ имъ ни одной оригинальной мысли, ни одного самобытнаго мнѣнія. Слогъ его за то совершенно противоположенъ погодинскому, дутый, губчатый, въ родѣ неокрѣпнутаго бланъ-манже и въ которое забыли положить горькаго миндаля, хотя подъ его потокой и заморожено бездна желчной, самолюбивой раздражительности. Читая Погодина, все думаешь, что онъ бранится и осматриваешься, иѣтъ ли дамъ въ комнатѣ. Читая Шевырева, все видишь что-нибудь другое во снѣ.

Говоря о слогѣ этихъ сіамскихъ братьевъ московскаго журнализма, нельзя не вспомнить Георга Форстера, знаменитаго товарища Кука—по Сандвическимъ островамъ, и Робеспьера—по конвенту, единой и нераздѣльной республикѣ. Будучи въ Вильнѣ профессоромъ ботаники и прислушиваясь къ польскому языку, такъ богатому согласными, онъ вспомнилъ своихъ знакомыхъ въ Отантѣ, говорящихъ почти одними гласными, и замѣтилъ: «Если-бъ эти два языка смѣшались, какое бы вышло звучное и плавное нарѣчіе!»

Тѣмъ не меньше, хотя и дурнымъ слогомъ, но близнецы *Москвитянина* стали зацѣплять ужъ не только Бѣлинскаго, но и Грановскаго за его лекціи. И все съ тѣмъ же несчастнымъ отсутствіемъ такта, который возстановлялъ противъ нихъ всѣхъ порядочныхъ людей. Они обвиняли Грановскаго въ пристрастіи къ западному развитію, къ извѣстному *порядку идей*.

Грановскій поднималъ ихъ перчатку и смѣлымъ, благороднымъ возраженіемъ заставлялъ ихъ покраснѣть. Онъ публично съ каедръ спросилъ своихъ обвинителей, почему онъ долженъ ненавидѣть Западъ—и зачѣмъ, ненавидя его развитіе, сталъ бы онъ читать его исторію?

«Меня обвиняютъ, сказалъ Грановскій, въ томъ, что исторія служить мнѣ только для высказыванія моего воззрѣнія. Это отчасти справедливо, и имѣю убѣжденія и провожу ихъ въ моихъ чтеніяхъ; если-бъ я не имѣлъ ихъ, я не вышелъ бы публично передъ вами для того, чтобъ рассказывать, больше или меньше занимательно, рядъ событій».

Отвѣты Грановскаго были такъ просты и мужественны, его лекціи такъ увлекательны, что славянскіе доктринеры притихли, а молодежь ихъ рукоплескала не меньше насъ. Послѣ курса былъ



даже сдѣланъ опытъ примиренія. Мы давали Грановскому обѣдъ послѣ его заключительной лекціи. Славяне хотѣли участвовать съ нами, и Ю. Самаринъ былъ выбранъ ими (такъ, какъ я нашими) въ распорядители. Пиръ былъ удаченъ, въ концѣ его послѣ многихъ тостовъ не только единодушныхъ, но выпитыхъ, мы обнялись и облобызались по-русски съ славянами. И. В. Кирѣевскій просилъ меня одного, чтобъ я вставилъ въ моей фамиліи *и* вмѣсто *е* и черезъ это сдѣлалъ бы ее больше русской для уха. Но Шевыревъ и этого не требовалъ, напротивъ, обнимая меня, повторялъ своимъ соргано: «Онъ и съ *е* хороше, онъ и съ *е* русскій». Съ обѣихъ сторонъ примиреніе было откровенно и безъ заднихъ мыслей, что, разумѣется, не помѣшало намъ черезъ недѣлю разойтись еще далѣе.

Примиренія вообще только тогда возможны, когда они необходимы, т. е., когда личное озлобленіе прошло или мнѣнія сблизились и люди сами видятъ, что не изъ чего ссориться. Иначе всякое примиреніе будетъ взаимное ослабленіе, обѣ стороны поליняють, т. е., сдадутъ свою рѣзкую краску. Попытка нашего Кучукъ-Каинарджи очень скоро оказалась невозможной и бой закончился съ новымъ ожесточеніемъ.

Съ нашей стороны было невозможно заарканить Бѣлинскаго, онъ слалъ намъ грозныя грамоты изъ Петербурга, отлучалъ насъ, предавалъ анаемѣ и писалъ еще злѣе въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Наконецъ, онъ торжественно указалъ пальцемъ противъ «проказы» славянофильства, и съ упрекомъ повторилъ: «Вотъ вамъ они!» Мы все понурили голову. Бѣлинскій былъ правъ!

Умирающей рукой, нѣкогда любимый поэтъ, сдѣлавшійся святошей отъ болѣзни и славянофиломъ по родству, хотѣлъ стянуть насъ; по несчастію, онъ для этого избралъ опять-таки полицейскую нагайку. Въ пьесѣ подъ заглавіемъ «Не наши» онъ называлъ Чаадаева — отступникомъ отъ православія, Грановскаго — лже-учителемъ, растлѣвающимъ юношей, меня слугой, носящимъ блестящую ливрею западной науки, и всехъ трехъ — измѣнниками отечеству. Конечно, онъ не называлъ насъ по имени, ихъ добавляли чтецы, носившіе съ восхищеніемъ изъ залы въ залу доносъ въ стихахъ. К. Аксаковъ съ негодованіемъ отвѣчалъ ему тоже стихами, рѣзко клеймя злыя нападки и называя „*Не наши*“ разныхъ славянъ, во Христѣ-Богѣ нашемъ жандармствующихъ.

Обстоятельство это прибавило много горечи въ наши отношенія. Имя поэта, имя чтеца, кругъ, въ которомъ онъ жилъ, кругъ который этимъ восхищался,—все это сильно раздражало умы.

Споры наши чуть-чуть было не привели къ огромному несчастію, къ гибели двухъ чистѣйшихъ и лучшихъ представите-



лей обѣихъ партій. Едва усиліями друзей удалось затушить ссору Грановскаго съ И. В. Кирѣевскимъ, которая быстро шла къ дуэли.

Середь этихъ обстоятельствъ, Шевыревъ, который никакъ не могъ примириться съ колоссальнымъ успѣхомъ лекцій Грановскаго, вздумалъ побить его на его собственномъ поприщѣ и объявилъ свой публичный курсъ. Читалъ онъ о Дантѣ, о народности въ искусствѣ, о православіи въ наукѣ и пр.; публики было много, но она осталась холодна. Онъ бывалъ иногда смѣлъ и это было очень оцѣнено, но общій эффектъ ничего не произвелъ. Одна лекція осталась у меня въ памяти, это та, въ которой онъ говорилъ о книгѣ Мишле *Le Peuple* и о романѣ Ж. Зандъ *La Mare au diable*, потому что онъ въ ней живо коснулся живаго и современнаго интереса.

Шевыревъ портилъ свои чтенія тѣмъ самымъ, чѣмъ портилъ свои статьи—выходками противъ такихъ идей, книгъ и лицъ, за которыя у насъ трудно было заступаться, не понавнивъ въ острогъ.

Между тѣмъ «какихъ ни вымышляли пружинъ, чтобъ уму-дриться» хорошо издавать *Москвитянина*, онъ рѣшительно не шелъ. Для живого полемическаго журнала надобно непременно имѣть чутье современности, надобно имѣть ту цѣнную щекотливость нервъ, которая тотчасъ раздражается всѣмъ, что раздражаетъ общество. Издатели *Москвитянина* вовсе были лишены этого ясновидѣнія и какъ ни вертели они бѣднаго Нестора и бѣднаго Данта, они убѣдились, наконецъ, сами, что ни рубленой сѣчкой погодинскихъ фразъ, ни поющей плавностью шевыревскаго краснорѣчія ничего не возмешь въ нашемъ испорченномъ вѣкѣ. Они подумали, подумали и рѣшились предложить главную редакцію И. В. Кирѣевскому. Выборъ Кирѣевскаго былъ необыкновенно удаченъ не только со стороны ума и талантовъ, но и съ финансовой стороны. Я самъ ни съ кѣмъ въ мірѣ не желалъ бы такъ вести торговыхъ дѣлъ, какъ съ Кирѣевскимъ.

Чтобъ дать понятіе о хозяйственной философіи его, я расскажу слѣдующій анекдотъ. У него былъ конскій заводъ, лошадей приводили въ Москву, дѣлали имъ оцѣнку и продавали. Однажды является къ нему молодой офицеръ покупать лошадь; конь сильно ему приглянулся; кучеръ, видя это, набавилъ цѣну: они поторговались, офицеръ согласился и взмошелъ къ Кирѣевскому. Кирѣевскій, получая деньги, справился въ спискѣ и замѣтилъ офицеру, что лошадь оцѣнена въ 800 рублей, а не въ 1,000, что кучеръ, вѣроятно, ошибся. Это такъ озадачило кавалериста, что онъ попросилъ позволенія снова осмотрѣть лошадь и, осмотрѣвши, отказался, говоря: «хороша должна быть лошадь, за которую хозяину было совѣстно деньги взятьъ... Гдѣ же лучше можно было взять редактора?

Онъ горячо принялся за дѣло, потратилъ много времени, перѣхалъ для этого въ Москву, но, при всемъ своемъ талантѣ, не могъ ничего сдѣлать. *Москвитянинъ* не отвѣчалъ ни на одну живую, распространенную въ обществѣ потребность и стало быть не могъ имѣть другого хода, какъ въ своемъ кружкѣ. Неусиѣхъ долженъ былъ сильно огорчить Кирѣевского.

Послѣ второго крушенія *Москвитянина*, онъ не оправлялся и сами славяне догадались, что на этой ладѣ далеко не уйдешь. У нихъ стала носиться мысль другого журнала.

На этотъ разъ побѣдителями вышли не они. Общественное мнѣніе громко рѣшило въ нашу пользу. Въ глухую почъ, когда *Москвитянинъ* тонулъ и *Маякъ* не свѣтилъ ему больше изъ Петербурга, Бѣлинскій, вскормивши своею кровью *Отечественныя Записки*, поставилъ на поги ихъ побочнаго сына и далъ имъ обонимъ такой толчекъ, что они могли нѣсколько лѣтъ продолжать свой путь съ одними корректорами и батырчиками, литературными мытарями и книжными грѣшниками. Бѣлинскаго имя было достаточно, чтобъ обогатить два прилавка и сосредоточить все лучшее въ русской литературѣ въ тѣхъ редакціяхъ, въ которыхъ онъ принималъ участіе,—въ то время какъ талантъ Кирѣевского и участіе Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей *Москвитянину*.

Такъ я оставилъ поле битвы и уѣхалъ изъ Россіи. Обѣ стороны высказались еще разъ <sup>1)</sup>, и всѣ вопросы переставились громадными событіями 1848 года.

Умеръ Николай; новая жизнь увлекла славянъ и насъ за предѣлы нашей убоины, мы протянули имъ руки, но гдѣ они?—Ушли! и К. Аксаковъ ушелъ и нѣтъ этихъ «противниковъ, которые были ближе намъ многихъ своихъ».

Не легка была жизнь, сожигавшая людей какъ свѣчу, оставленную на осеннемъ вѣтру.

Все они были живы, когда я въ первый разъ писалъ эту главу. Пусть она на этотъ разъ окончится слѣдующими строками изъ надгробныхъ словъ Аксакову.

«Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ—сдѣлали свое дѣло; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаніемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петромъ, и въ которой сидитъ Биронъ и колотитъ ямщика, чтобъ тотъ скакалъ по нивамъ и давилъ людей,—то они остановили увлеченное общественное мнѣніе и заставили призадуматься всѣхъ серьезныхъ людей.

<sup>1)</sup> Статья К. Кавелина и отвѣтъ Ю. Самарина. Объ нихъ въ «Developpement des idées révolutionnaires en Russie».

Съ нихъ начинается *переломъ русской мысли*. И когда мы это говоримъ, кажется, насъ нельзя заподозрить въ пристрастіи.

Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была *одна любовь*, но не *одинакая*.

У нихъ и у насъ зашло съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за пророчество, — чувство безграничной, обхватывающей все существованіе, любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ, или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны, въ то время, какъ *сердце билось одно*.

Они всю любовь, всю нѣжность перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ чертахъ, да потому, что ея нѣни были намъ роднѣе водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была слишкомъ тѣсна. Въ ея комнаткѣ было намъ душно; все почернѣлыя лица изъ-за серебряныхъ окладовъ, все попы съ причетомъ, путавшіе несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ея вѣчный плачъ объ утраченномъ счастьи раздражалъ наше сердце; мы знали, что у ней нѣтъ свѣтлыхъ воспоминаній, мы знали и другое, что ея счастье впереди, что подъ ея сердцемъ бьется зародышъ, — это нашъ меньшій братъ, которому мы безъ чечевницы уступимъ старшинство. А пока—

Mutter, Mutter lass mich gehen  
Schweifen auf die wilden Höhen!

Такова была наша семейная разладица, лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Много воды утекло съ тѣхъ поръ, и мы встрѣтили *горный духъ*, остановившій нашъ бѣгъ, и они вмѣсто міра мощей натолкнулись на живые русскіе вопросы. Считается намъ странно, патентовъ на пониманье нѣтъ; время, исторія, опытъ сблизили насъ, не потому, чтобъ они насъ перетянули къ себѣ, или мы ихъ, а потому что и они, и мы ближе къ истинному воззрѣнію теперь, чѣмъ были тогда, когда безпощадно терзали другъ друга въ журнальныхъ статьяхъ, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомнѣвались въ ихъ горячей любви къ Россіи или они въ нашей.

На этой вѣрѣ другъ въ друга, на этой общей любви имѣемъ право и мы поклониться ихъ гробамъ, и бросить нашу горсть земли на ихъ покойниковъ, съ святымъ желаніемъ, чтобъ на могиллахъ ихъ, на могиллахъ нашихъ разцвѣла сильно и широко молодая Русь<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> «Колоколъ», 15 января, 1861 года.

## ГЛАВА XXXI.

Кончина моего отца.—Наслѣдство.—Дѣлѣжъ.—Два племянника.

Съ конца 1845 года силы моего отца постоянно уменьшались; онъ явнымъ образомъ гаснулъ, особенно со смерти Сенатора, умершаго совершенно послѣдовательно всей своей жизни, невзначай и чуть-чуть не въ каретѣ. Въ 1839 году однимъ вечеромъ онъ по обыкновенію сидѣлъ у моего отца; пріѣхалъ онъ изъ какой-то агрономической школы, привезъ модель какой-то агрономической машины, употребленіе которой, я полагаю, очень мало его интересовало, и въ одиннадцать часовъ вечера уѣхалъ домой.

Онъ имѣлъ обыкновеніе дома очень немного закусывать и выпивать рюмку краснаго вина; на этотъ разъ онъ отказался и, сказавъ моему старому другу Кало, что онъ что-то усталъ и хочетъ лечь, отпустилъ его. Кало помогъ ему раздѣться, поставилъ у кровати свѣчу и вышелъ; едва дошелъ онъ до своей комнаты и успѣлъ снять съ себя фракъ, какъ Сенаторъ дернулъ звонокъ; Кало бросился,—старикъ лежалъ возлѣ постели мертвый.

Случай этотъ сильно потрясъ моего отца и испугалъ; одиночество его уеугублялось, страшный чередъ былъ возлѣ, три старшихъ брата были схоронены. Онъ сталъ мрачнѣе и хотя по обыкновенію своему скрывалъ свои чувства и продолжалъ ту же холодную роль, но мыщцы измѣняли, я съ намѣреніемъ говорю мыщцы, потому что мозгъ и нервы у него остались тѣ же до самой кончины.

Въ апрѣлѣ 1845 лицо старика стало принимать предсмертный видъ, глаза потухали; онъ уже былъ такъ худъ, что часто, показывая мнѣ свою руку, говорилъ: «Скелетъ совсѣмъ готовъ, стоитъ только снять кожицу». Голосъ его сталъ тише, онъ говорилъ медленнѣе; но умъ, память и характеръ были какъ всегда,—та же проницательность, то же постоянное недовольство всѣми и та же раздражительная капризность.

«Помните, спросилъ дней за десять до кончины кто-то изъ его старыхъ знакомыхъ,—кто былъ нашъ повѣренный въ дѣлахъ въ Туринѣ послѣ войны; вы его знавали за границей».

«Северинъ», отвѣчалъ старикъ, едва подумавши нѣсколько секундъ.

Третьяго мая я его засталъ въ постели, щеки горѣли лихорадочно, что у него почти никогда не бывало, онъ былъ безпокоенъ и говорилъ, что не можетъ встать; потомъ велѣлъ себѣ поставить пиявки и, лежа въ постелѣ во время этой операціи, продолжалъ свои колкія замѣчанія.

— А! ты здѣсь, сказалъ онъ, будто я только-что взошелъ: ты бы, любезный другъ, съѣздить куда-нибудь разсѣяться, это очень меланхолическое зрѣлище смотрѣть, какъ разлагается человѣкъ, *cela donne des pensées noires!* Да вотъ прежде дай-ка мальчику гривенникъ на водку.

Я пошарилъ въ карманѣ, ничего не нашелъ меньше четвертака и хотѣлъ дать, но больной увидѣлъ и сказалъ:

— Какой ты скучный, я тебѣ сказалъ гривенникъ.

— У меня нѣту съ собой.

— Подай мой кошелекъ изъ бюро, и онъ, долго искавши, нашелъ гривенникъ.

Взошелъ Голохвастовъ, племянникъ моего отца; старикъ молчалъ. Чтобъ что-нибудь сказать, Голохвастовъ замѣтилъ, что онъ сейчасъ отъ генераль-губернатора; больной при этомъ словъ дотронулся, но военному, пальцемъ до черной бархатной шапочки; я такъ хорошо изучилъ всѣ его движенія, что тотчасъ понялъ, въ чемъ дѣло: Голохвастову слѣдовало сказать—у Щербатова.

— Представьте, какая странность, продолжалъ тотъ, у него открылась каменная болѣзнь.

— Отчего же странно, что у генераль-губернатора открылась каменная болѣзнь? спросилъ медленно больной.

— Какъ же, mon oncle, ему слишкомъ семьдесятъ лѣтъ и въ первый разъ открылся камень.

— Да, вотъ и я, хоть и не генераль-губернаторъ, а тоже очень странно, мнѣ семьдесятъ шесть лѣтъ и я въ первый разъ умираю.

Онъ дѣйствительно чувствовалъ свое положеніе; это-то и придавало его прониі какой-то макабрескій характеръ, заставлявшій разомъ улыбаться и цѣпенѣть отъ ужаса. Камердинеръ его, который всегда по вечерамъ дѣлалъ мелкіе, домашніе доклады, сказалъ, что хомутъ у водовозной лошади очень худъ и что слѣдуетъ купить новый. «Какой ты чудакъ, отвѣчалъ ему мой отецъ, человѣкъ отходить, а ты ему толкуешь о хомутѣ. Погоди денекъ-другой, какъ отнесешь меня въ залу на столъ, тогда доложи ему (онъ указалъ на меня), онъ тебѣ велитъ купить не только хомутъ, но сѣдло и вожжи, которыхъ совсѣмъ ненужно».

Пятаго мая лихорадка усилилась, черты еще больше опустились и почернѣли, старикъ видимо тлѣлъ отъ внутренняго огня. Говорилъ онъ мало, но съ совершеннымъ присутствіемъ духа; утромъ онъ спросилъ кофею, бульону... и часто пилъ какую-то тизану. Въ сумерки онъ подозвалъ меня и сказалъ: «Кончено», при этомъ онъ провелъ рукой какъ саблей или косою по одѣялу. Я прижалъ къ губамъ его руку, она была горяча. Онъ хотѣлъ что-то сказать, начиналъ... и, ничего не сказавши, заключилъ: «Ну, да ты знаешь». И обратился къ Г. П., стоявшему по дру-

гую сторону кровати.—«Тяжело», сказалъ онъ ему и остановилъ на немъ томный взглядъ.

Г. П.—завѣдывавшій тогда дѣлами моего отца, человекъ чрезвычайно честный и пользовавшійся его довѣріемъ, больше другихъ, наклонился къ больному и сказалъ:

— Все до сихъ поръ употребленные вами средства остались безуспѣшными, позвольте мнѣ вамъ посоветовать прибѣгнуть къ другому лекарству.

— Къ какому лекарству? спросилъ больной.

— Не пригласить ли священника?

— Охъ, сказалъ старикъ, обращаясь ко мнѣ,—я думалъ, что Г. П. въ самомъ дѣлѣ хочетъ посоветовать какое-нибудь лекарство.

Вскорѣ потомъ онъ уснулъ. Сонъ этотъ продолжался до слѣдующаго утра, должно быть это было забытье. Болѣзнь за ночь сдѣлала страшный успѣхъ; конецъ былъ близокъ, я въ девять часовъ послалъ верховаго за Голохвастовымъ.

Въ половину одиннадцатаго больной потребовалъ одѣться. Онъ не могъ ни стать на ноги, ни вѣрно взять что-нибудь рукой, по тотчасъ замѣтилъ, что серебряной прищипки, которой застегивались панталоны, не доставало и велѣлъ ее принести. Одѣвшись, онъ перенелъ, поддерживаемый нами, въ свой кабинетъ. Тамъ стояли большія вольтеровскія кресла и узенькая, жесткая кушетка; онъ велѣлъ себя положить на нее, тутъ онъ сказалъ нѣсколько словъ непонятно и безсвязно, но минутъ черезъ пять раскрылъ глаза и, встрѣтивъ взоромъ Голохвастова, спросилъ его:

— Что такъ раненько пожаловалъ?

— Я, дядюшка, былъ тутъ поблизости, отвѣчалъ Голохвастовъ, такъ захалъ узнать о вашемъ здоровьи.—Старикъ улыбнулся, какъ бы говоря: «Не проведешь, любезный другъ». Потомъ спросилъ свою табакерку, я подаль ее ему и раскрылъ, но, дѣлая долгія усплія, онъ не могъ настолько свести пальцы, чтобы взять табакъ; его, казалось, поразило это, мрачно посмотрѣлъ онъ вокругъ себя и снова туча набѣжала на мозгъ, онъ сказалъ нѣсколько невнятныхъ словъ, потомъ спросилъ:

— Какъ бишь называются вотъ эти трубки, что черезъ воду курятъ?

— Кальянъ, замѣтилъ Голохвастовъ.

— Да, да... мой кальянъ—и ничего.

Между тѣмъ Голохвастовъ приготовилъ за дверями священника съ дарами, онъ громко спросилъ больного, желаетъ ли онъ его принять; старикъ раскрылъ глаза и кивнулъ головой. К.... растворилъ дверь и возшелъ священникъ... Отецъ мой былъ снова въ забытѣ, но нѣсколько словъ, сказанные протяжно, и еще



больше запахъ ладона, разбудили его, онъ перекрестился; священникъ подошелъ, мы отступили.

Послѣ церемоніи больной увидѣлъ доктора Левенталъ, усердно писавшаго рецептъ.

— Что вы пишете? спросилъ онъ.

— Рецептъ для васъ.

— Какой рецептъ, или мошусъ, что ли? Какъ вамъ не стыдно, вы бы онѣума прописали, чтобъ спокойнѣе отойти... Подымите меня, я хочу сѣсть на кресла, прибавилъ онъ, обращаясь къ намъ. Это были послѣднія слова, сказанныя имъ въ связи.

Мы подняли умирающаго и посадили.

— Подвиньте меня къ столу.

Мы подвинули. Онъ слабо посмотрѣлъ на всѣхъ.

— Кто это? спросилъ онъ, указывая на М. К.,—я назвалъ.

Ему хотѣлось опереть голову на руку, но рука опустилась и упала на столъ, какъ неживая, я подставилъ свою. Онъ раза два взглянулъ тошно, болѣзненно, какъ будто просилъ помощи, лицо принимало больше и больше выраженіе покоя и тишины... вздохъ—еще вздохъ и голова, отяжелѣвшая на моей рукѣ, стала стынуть... Все въ комнатѣ хранило нѣсколько минутъ мертвое молчаніе.

Это было шестаго мая, 1846 года, около трехъ часовъ пополудни.

Торжественно и пышно былъ онъ схороненъ въ Дѣвничьемъ монастырѣ; два семейства крестьянъ, отпущенныхъ имъ на волю, принесли изъ Пикровскаго, чтобъ нести гробъ на рукахъ, мы шли за ними, факелы, пѣвчіе, попы, архимандриты, архіереи... потрясающее душу «со святыми упокой», а потомъ могила и тяжелое паденіе земли на крышу гроба,—тѣмъ и кончилась длинная жизнь старика, такъ упрямо и сильно державшаго въ рукѣ своей власть надъ домомъ, такъ тяготѣвшаго надо всѣмъ окружающимъ, и вдругъ его вліяніе исчезло, его воля исключена, его нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ!

Могилу засыпали, поповъ и монаховъ повели обѣдать, я не пошелъ, а отправился домой. Экипажи разѣзжались, нищіе толкались около монастырскихъ воротъ, крестьяне стояли въ кучкѣ, обтирая потъ съ лица, я всѣхъ ихъ зналъ коротко, простился съ ними, поблагодарилъ ихъ и уѣхалъ.

Передъ кончиной моего отца мы почти совсѣмъ переѣхали изъ маленькаго дома въ большой, въ которомъ онъ жилъ; а потому и неудивительно, что въ суетѣ первыхъ трехъ дней я не успѣлъ оглядѣться, но теперь, возвращаясь съ похоронъ, какъ-то странно сжалось сердце; на дворѣ, въ сѣняхъ, меня встрѣтили слуги, мужчины и женщины, прося покровительства и защиты (почему, я сейчасъ объясню); въ залѣ пахло ладаномъ, я взшелъ въ ком-



нату, въ которой стояла постель моего отца, она была вынесена; дверь, къ которой столько лѣтъ не только люди, но и я самъ подходили осторожно ступая, была настѣжъ и горничная въ углу накрывала небольшою столъ. Все адресовалось ко мнѣ за приказаніями. Мое новое положеніе было мнѣ противно, оскорбительно,—все это, этотъ домъ, принадлежитъ мнѣ, оттого, что кто-то умеръ и этотъ кто-то мой отецъ. Мнѣ казалось въ этомъ грубомъ завладѣніи было что-то нечистое, словно я обкрадывалъ покойника.

Наслѣдство имѣетъ въ себѣ сторону глубоко безнравственную, оно искажаетъ законную печаль о потерѣ близкаго лица введеніемъ во владѣніе его вещами.

По счастью, насъ избѣжало другое отвратительное послѣдствіе его,—дикія распри, безобразные ссоры дѣлящихъ добычу возлѣ гроба. Раздѣлъ всего имѣнья сдѣлался въ какіе-нибудь два часа времени, при которыхъ никто не сказалъ ни одного холоднаго слова, никто не возвысилъ голоса, и послѣ котораго всѣ разошлись съ большимъ уваженіемъ другъ къ другу. Фактъ этотъ, главная честь котораго принадлежитъ Голохвастову, заслуживаетъ, чтобъ объ немъ сказать нѣсколько словъ.

При жизни Сенатора, онъ и мой отецъ сдѣлали взаимное завѣщаніе родового имѣнья другъ другу, съ тѣмъ, чтобъ послѣдній передалъ его Голохвастову. Часть своего имѣнья отецъ мой продалъ и капиталъ этотъ назначилъ намъ. Потомъ онъ далъ мнѣ небольшое имѣнье въ Костромской губерніи, и это по настоятельному требованію Ольги Александровны Жеребцовой. Имѣнье это и теперь находится подъ секвестромъ, который правительство, вопреки закона, наложило, прежде чѣмъ мнѣ былъ сдѣланъ запросъ,—хочу ли я возвратиться. Послѣ смерти Сенатора, мой отецъ продалъ его тверское имѣнье. Пока собственное родовое имѣнье моего отца покрывало проданное имъ изъ принадлежавшаго его брату, Голохвастовъ молчалъ. Но когда у старика явилась мысль отдать мнѣ подмосковную съ тѣмъ, чтобъ я деньгами заплатилъ по назначенію его, долю моему брату и долю другимъ лицамъ, тогда Голохвастовъ замѣтилъ, что это несообразно съ волей покойника, хотѣвшаго, чтобъ имѣнье перешло къ нему. Старикъ, невыносившій ни въ чемъ ни малѣйшей оппозиціи, особенно такими планами, которые онъ долго обдумывалъ и потому считалъ непогрѣшительными, осыпалъ племянника колкостями. Голохвастовъ отказался отъ всякаго участія въ его дѣлахъ и пуще всего отъ званія душеприказчика. Размолвка сначала пошла такъ круто, что они было прервали всѣ сношенія.

Ударъ этотъ былъ не легокъ старику. Мало было людей на свѣтѣ, которыхъ бы онъ въ самомъ дѣлѣ любилъ, Голохвастовъ

былъ въ томъ числѣ. Онъ выросъ на его глазахъ, имъ гордилась вся семья, къ нему отецъ мой имѣлъ большое довѣріе, его онъ ставилъ мнѣ всегда въ образецъ, и вдругъ «Митя, сынъ сестры Лизаветы», въ ссорѣ, отказывается отъ распоряженій, заявляетъ свое veto, и уже изъ за него видны пропитые глаза Химики, съ улыбкой потирающаго свой носъ пальцами, обожженными селитренной кислотой.

По обыкновенію, отецъ мой не показывалъ ни малѣйшаго вида, что это огорчаетъ его, и избѣгалъ разговора о Голохвастовѣ, но замѣтно сталъ угрюмѣе, безпокойнѣе и чаще говорилъ объ «ужасномъ вѣкѣ, въ которомъ ослабли все узы родства и старшіе не находятъ больше того уваженія, какимъ были окружены въ счастливыя времена».

Въ началѣ этой ссоры я былъ въ Соколовѣ и едва мелькомъ слышалъ о ней, но на другой день послѣ моего возвращенія въ Москву, рано утромъ, пріѣхалъ ко мнѣ Голохвастовъ. Большой педантъ и формалистъ, онъ пространно, хорошимъ и правильнымъ слогомъ, разсказалъ мнѣ все дѣло, прибавивъ, что именно потому поторопился пріѣхать, чтобъ предупредить меня, въ чемъ дѣло, прежде чѣмъ я услышу что-нибудь о размолвкѣ.

— Не даромъ, сказалъ я ему шутя, — меня зовутъ Александръ, этотъ гордіевъ узелъ я вамъ тотчасъ разрублю. Вы должны во чтобъ то ни стало помириться, и для того, чтобъ уничтожить спорный предметъ, я скажу вамъ прямо и рѣшительно, что я отказываюсь отъ Покровскаго; а тамъ одиѣхъ лѣсныхъ дачъ будетъ довольно, чтобъ покрыть потерю тверского имѣнія.

Голохвастовъ нѣсколько смѣшался и поэтому еще больше доказывалъ мнѣ все то, что я такъ хорошо понялъ по первымъ двумъ словамъ. Мы съ нимъ разстались въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ.

Черезъ нѣсколько дней мой отецъ какъ-то вечеромъ самъ заговорилъ о Голохвастовѣ. По своему обыкновенію, когда онъ былъ недоволенъ кѣмъ-нибудь, онъ не оставилъ въ немъ ни одного здороваго мѣста. Идеаль, на который онъ мнѣ указывалъ съ десятилѣтняго возраста, этотъ образцовый сынъ, этотъ примѣрный братъ, этотъ лучший племянникъ въ мірѣ, этотъ благовоспитанный человѣкъ по превосходству, этотъ человѣкъ, наконецъ, одѣвающийся до того хорошо, что никогда узелъ галстука не былъ ни великъ, ни малъ, этотъ человѣкъ являлся теперь въ какомъ-то отрицательномъ фотографическомъ снимкѣ, такъ что впадины были выпуклы, а бѣлыя мѣста черны.

Переходъ къ простой брани былъ бы слишкомъ крутъ и замѣтенъ безъ разныхъ переливовъ, оттѣнковъ и мостовъ. Такой непосредственности отецъ мой при своемъ умѣ не могъ сдѣлать.

— Да, скажи, пожалуйста, все забываю тебя спросить, видѣлся ты съ Дмитріемъ Павловичемъ (онъ его всегда звалъ Митя) послѣ твоего возвращенія?

— Одинъ разъ.

— Ну, что, какъ его превосходительство?

— Ничего, здоровъ.

— Очень хорошо, что ты съ нимъ видаешься, такихъ людей надобно держать. Я его люблю и привыкъ любить, да онъ всего этого и заслуживаетъ. Конечно, есть и у него свои, и пресмѣшные, недостатки... но одинъ Богъ безъ грѣха. Скорая карьера вскружила ему голову... ну—молодъ въ аннинской лентѣ; къ тому же родъ его службы такой, ѣздить кураторомъ учениковъ бранить, да все съ школярами привыкъ говорить свысока... поучаетъ ихъ, тѣ слушаютъ его на вытяжкѣ... онъ и думаетъ, что со всѣми можно говорить тѣмъ-же тономъ. Не знаю, замѣтилъ ли ты, даже голосъ у него перемѣнился? Я помню при покойной императрицѣ князь Прозоровскій такимъ же рѣзкимъ голосомъ приказывалъ своимъ ординарцамъ. Ридикулярно. сказать, прѣхалъ вдругъ ко мнѣ выговоръ читать. Я слушаю его и думаю, что если бы покойница сестра Лизавета могла видѣть это! Я ее съ рукъ на руки Павлу Ивановичу передалъ въ день ихъ вѣчанія, а тутъ ея сынокъ—Да, дядюшка, кричить, если такъ, вы ужъ лучше обратитесь къ Алексѣю Александровичу, а меня прошу извинить. Я, ты знаешь, одна нога въ гробу, бездна заботъ, болѣзни, ну, Іовъ многострадальный. А онъ кричить, распалахнулся въ лицѣ... *Quel siecle!* Я знаю, ну, онъ привыкъ въ декастеріяхъ... вѣдь онъ никуда не ѣздитъ, а любить распоряжаться дома со старостами, да съ конюхами, а тутъ эти писаринки—все ваше превосходительство! ваше превосходительство!—ну, затменіе...

Словомъ, какъ въ портретѣ Людовика Филиппа, измѣняя слегка черты, послѣдовательно доходишь отъ снѣлаго старика до гнилой груши,—такъ и «образцовый Митя»—оттѣнокъ за оттѣнкомъ, подѣ конецъ ужъ какъ-то сталъ сбиваться на Картуша или на Шемяку.

Когда послѣдніе удары кистью были кончены, я рассказалъ весь мой разговоръ съ Голохвастовымъ. Старикъ выслушалъ внимательно, насунилъ брови, потомъ продолжительно, отчетливо, систематически нюхая табакъ, сказалъ мнѣ:

— Ты, пожалуйста, любезный другъ, не думай, что ты меня очень затруднилъ тѣмъ, что отказываешься отъ Покровскаго... Я никого не упрощаю и никому не кланяюсь, возьми те моѣ имѣніе, и тебѣ кланяться не стану. Охотники найдутся. Всѣ контркарпируютъ мои прожекты; мнѣ это надобно, — отдамъ все въ больницу, больные будутъ добромъ поминать. Не только Митя,

ужь ты, наконецъ, учини меня распоряжаться моимъ добромъ, а давно ли Вѣра тебя въ корытѣ мыла? Нѣтъ, усталъ, пора въ отставку: я и самъ пойду въ больницу.

Такъ разговоръ и окончился.

На другой день, часовъ въ одиннадцать утромъ, отецъ прислалъ за мной своего камердинера. Это случилось очень рѣдко, обыкновенно я заходилъ къ нему передъ обѣдомъ или, если не обѣдалъ у него, то приходилъ къ чаю.

Я засталъ старика передъ его письменнымъ столомъ, въ очкахъ и за какими-то бумагами.

— Поди-ка сюда, да если можешь подарить мнѣ часикъ времени... помоги-ка тутъ мнѣ въ порядокъ привести разные записки. Я знаю, ты занятъ, все статейки пишешь, литераторъ... видѣлъ я какъ-то въ *Отечественной Почтѣ* твою статью, ничего не понималъ, все такіе термины мудреные. Да ужь и литература-то такая... Прежде писывали Державинъ, Дмитріевъ, а нынче ты... да мой племянникъ Огаревъ. Хотя, по правдѣ сказать, лучше дома сидѣть и писать всякіе пустяки, чѣмъ все въ санкахъ, да къ Яру, да шампанское.

Я слушалъ и никакъ не понималъ, куда идетъ это *carpatio benevolentiae*.

— Садись-ка, вотъ здѣсь, прочти эту бумагу и скажи твое мнѣніе.

Это было духовное завѣщаніе и нѣсколько прибавленій къ нему. Съ его точки зрѣнія это было высшее довѣріе, которое онъ могъ оказать.

Странный психологическій фактъ. Въ продолженіе чтенія и разговора, я замѣтилъ двѣ вещи: во-первыхъ, что ему хотѣлось помириться съ Голохвастовымъ, а во-вторыхъ, что онъ очень оцѣнилъ мой отказъ отъ имѣнія, и въ самомъ дѣлѣ съ этого времени, т. е., съ октября мѣсяца 1845 и до своей кончины, онъ во всѣхъ случаяхъ показывалъ не только довѣріе, но иногда совѣтовался со мной и даже раза два поступилъ по моему совѣту.

А что бы подумалъ человѣкъ, который бы вчера подслушалъ нашъ разговоръ? Въ отвѣтъ моего отца насчетъ Покровскаго я не измѣнилъ ни йоты, я очень помню его.

Завѣщаніе въ главной части было просто и ясно; онъ оставлялъ все недвижимое имѣніе Голохвастову, все движимое, капиталъ и дома моей матери, брату и мнѣ, съ условіемъ равнаго раздѣла. Зато прибавочныя статьи, написанныя на разныхъ лоскуткахъ безъ чиселъ, далеко не были просты. Отвѣтственность, которую онъ клалъ на насъ и въ особенности на Голохвастова, была до чрезвычайности непріятна. Онѣ противурѣчили другъ

другу и носили тотъ характеръ неопредѣленности, изъ за котораго обыкновенно выходять безобразныя ссоры и обвиненія.

Напримѣръ, тамъ были такія вещи: Всѣхъ дворовыхъ людей, *хорошо и усердно* мнѣ служившихъ, отпускаю я на волю и поручаю вамъ выдать имъ денежные награжденія по *заслугамъ*.

Въ одной запискѣ было сказано, что старый каменный домъ оставляется Г. П. Въ другой, домъ имѣлъ иное назначеніе, а Г. П. оставлялись деньги, но вовсе не было сказано, чтобъ эти деньги шли взамѣнъ дома. По одному прибавленію, отецъ мой оставлялъ 10.000 серебромъ одному родственнику, а по другому онъ оставлялъ его сестрѣ небольшое имѣнье, съ тѣмъ, чтобъ она отдала своему брату эти 10.000 серебромъ.

Надобно замѣтить, что о половинѣ этихъ распоряженій я прежде слыхалъ отъ него, и не я одинъ. Старикъ много разъ при мнѣ говорилъ, напр., о домѣ Г. П. и совѣтовалъ ему даже переѣхать въ него.

Я предложилъ моему отцу пригласить Голохвастова и поручить ему съ Г. П. составить общую записку.

— Конечно, говорилъ онъ, Митя могъ бы помочь, да, вѣдь, онъ очень занятъ. Знаешь, эти государственные люди... Что ему до умирающаго дяди, онъ все семинаріи ревизуетъ.

— Онъ навѣрно пріѣдетъ, замѣтилъ я,—это дѣло слишкомъ важно для него.

— Я всегда радъ его видѣть. Только не всегда у меня голова достаточно здорова говорить о дѣлахъ. Митя *il est très verbeux*, онъ заговоритъ меня, а у меня сейчасъ мысли кругомъ пойдутъ. Ты лучше снеси къ нему все эти бумаги, да пусть онъ прежде на маржахъ поставитъ свои замѣчанія.

Дни черезъ два Голохвастовъ пріѣхалъ самъ; онъ, какъ большой формалистъ, перенутился больше меня безпорядка, а какъ классикъ выразился объ этомъ такъ: «*mais, mon cher, c'est le testament d'Alexandre le grand*». Мой отецъ, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ бывало, представилъ себя вдвое больше больнымъ, говорилъ Голохвастову косвенныя колкости, потомъ обнялъ его, тронулъ щекой его щеку и семейное Кампо-Форміо было заключено.

Насколько мы могли, мы уговорили старика переимѣнить редакцію его прибавленій и сдѣлать одну записку. Онъ самъ хотѣлъ ее написать и не кончилъ въ продолженіе шести мѣсяцевъ.

Вслѣдъ за раздѣломъ явился естественно вопросъ, кто же поступать на волю и кто нѣтъ? Что касается до денежнаго награжденія, я уговорилъ моего отца опредѣлить сумму; послѣ долгихъ преній онъ назначилъ 3.000 р. сереб. Голохвастовъ объявилъ

людямъ, что, не зная, кто именно служилъ въ домѣ и какъ, онъ предоставляетъ мнѣ разборъ ихъ правъ. Я началъ съ того, что помѣстилъ въ списокъ всѣхъ до одного изъ служившихъ въ домѣ. Но когда разнесся слухъ о моемъ листѣ, на меня хлынули со всѣхъ сторонъ какіе-то дворовые прошлыхъ поколѣній, съ дурнобритыми съдыми подбородками, плѣшивые, обтерханные, съ тѣмъ невѣрнымъ качаніемъ головы и трясеніемъ рукъ, которыя приобѣтаются двумя-тремя десятками лѣтъ пьянства, старухи, сморщившіяся и въ чепцахъ съ огромными оборками, заочные крестники и крестницы, о христіанскомъ существованіи которыхъ я не имѣлъ понятія. Однихъ изъ этихъ людей я совсѣмъ не видывалъ, другихъ помнилъ какъ во снѣ; наконецъ, явились и такіе; о которыхъ я навѣрно зналъ, что они никогда не служили у насъ въ домѣ, а вѣчно ходили по паспорту, другіе когда-то жили и то не у насъ, а у Сенатора, или пребывали споконъ вѣка въ деревнѣ. Если-бъ эти разбитые на ноги старики и уменьшившіяся въ ростѣ и закончившія отъ лѣтъ старухи хотѣли вольную для себя, бѣда была бы не велика; совсѣмъ напротивъ, они-то и были готовы окончить вѣкъ свой за Дмитріемъ Павловичемъ, но у каждаго почти нашлись сыновья, дочери, внучата. Приздумался я, думалъ, думалъ, да и далъ всѣмъ имъ свидѣтельства. Голохвастовъ очень хорошо понималъ, что половина этихъ незнакомцевъ никогда не была на службѣ, но, видя мои свидѣтельства, велѣлъ всѣмъ писать отнужденныя; когда мы ихъ подносили, онъ, почесывая пальцемъ волосы, сказалъ мнѣ, улыбаясь: — Я думаю, мы тутъ и чужихъ нѣсколько человѣкъ отпустили.

Голохвастовъ былъ въ своемъ родѣ тоже оригинальное лицо, какъ вся семья моего отца.

Меньшая сестра моего отца была за-мужемъ за старымъ, стариннымъ, столбовымъ и очень богатымъ русскимъ бариномъ Павломъ Ивановичемъ Голохвастовымъ. Голохвастовы мелькаютъ тамъ-сямъ въ русской исторіи со временъ Грознаго; при Самозванцѣ, во время междоусобицы, встрѣчаются ихъ имена. Келарь Авраамій Налицынъ навлекъ на себя сначала гнѣвъ Дмитрія Павловича, а потомъ предлинную статью, неосторожно отозвавшись объ одномъ изъ предковъ его въ своемъ сказаніи объ осадѣ Троице-Сергіевской Лавры.

Павелъ Ивановичъ былъ угрюмый, скупой, но чрезвычайно честный и дѣловой человѣкъ. Мы видѣли, какъ онъ помѣшалъ моему отцу уѣхать изъ Москвы въ 1812 году и какъ умеръ потомъ въ деревнѣ отъ удара.

У него остались два сына и дочь. Они жили съ матерью въ томъ самомъ большомъ домѣ на Тверской, котораго пожаръ такъ

поразить старика. <sup>1)</sup> Нѣсколько строгій, скупой и тяжелый тонъ, введенный старикомъ, пережилъ его. Въ домѣ ихъ царствовала обдуманная, важная скука и официально учтивый, благосклонный тонъ съ чувствомъ собственного достоинства, который à la longue чрезвычайно надоѣдалъ. Большія и хорошо убранныя комнаты были слишкомъ пусты и беззвучны. Молча сидѣла, бывало, за своей работой дочь; мать, сохранившая слѣды большой красоты и тогда еще не старая, лѣтъ сорока пяти съ чѣмъ-нибудь, начинала хворать и обыкновенно лежала на софѣ; обѣ говорили протяжно и нѣсколько на распѣвъ, какъ тогда вообще говорили московскія дамы и дѣвицы. Дмитрій Павловичъ лѣтъ восемнадцати походилъ на сорокалѣтняго мужчину. Меньшой братъ былъ живѣе его, но зато его почти никогда не было налицо...

..... И все-то это примерло... А я еще помню, когда мать дала Дмитрію Павловичу торжественную инвеституру на полное поряженіе лошадей и дрожками. Ихъ бывший гувернеръ Маршалъ, превосходный человѣкъ, послужившій мнѣ когда-то типомъ Жозефа въ «Кто виновать?», давалъ мнѣ уроки послѣ Буно.

Какъ ни обходи, ни маскируй, какъ умно ни разрѣшай эти тревожные вопросы о жизни, смерти, судьбѣ, они все-таки являются съ своими могильными крестами и съ той будто неумѣстной улыбкой, которая остается на ослабившихся челюстяхъ мертвой головы!

А если раздумашься, то самъ увидишь, что и нельзя не улыбаться. Вотъ хоть бы и судьба этихъ двухъ братьевъ,—чего и чего не придетъ въ голову, думая о нихъ!

Разница, бывшая между моимъ отцомъ и Сенаторомъ, блѣднѣетъ передъ рѣзкой противоположностью ихъ, несмотря на то, что они выросли въ одной комнатѣ, имѣли одного гувернера, однихъ учителей, одинакую обстановку.

Старшій братъ былъ блондинъ съ британски-рыжеватымъ оттенкомъ, съ свѣтло-сѣрыми глазами, которые онъ любилъ щурить и которые говорили о невозмущаемомъ штилѣ души. Съ лѣтами фигура его все больше и больше выражала чувство полнаго уваженія къ себѣ и какой-то нехической сытости собою. Онъ тогда сталъ щурить не только глазами, но и ноздрями, особеннаго, довольно удачнаго покроя. Говоря, онъ почесывалъ третьимъ пальцемъ лѣвой руки волосы на вискахъ, всегда подвитые и правильно причесанные, притомъ онъ постоянно держалъ губы на благосклонной улыбкѣ; послѣднее онъ унаследовалъ у матери и у Лампіева портрета Екатерины II. Правильныя черты

<sup>1)</sup> «Былое и Думы», часть I, глава I.



его вмѣстѣ съ стройнымъ и довольно высокимъ ростомъ, съ тщательно округленными движеніями, съ шейнымъ платкомъ, котораго узелъ «никогда не былъ ни великъ, ни малъ», придавали ему какую-то торжественную красоту посаженного отца, почетнаго свидѣтеля, человѣка которому предоставлено раздавать награды отличившимся ученикамъ, или, по крайней мѣрѣ, человѣка, пріѣхавшаго поздравить съ Рождествомъ Христовымъ, или съ наступающимъ новымъ годомъ. Но для будней, для ежедневнаго обихода, онъ былъ слишкомъ параденъ.

Вся его жизнь была рядомъ наградъ за успѣхи и нравственность. Онъ ихъ заслуживалъ вполнѣ. Маршалъ, посѣдившій отъ меньшаго брата его, не могъ нахвалиться Дмитріемъ Павловичемъ и безусловно вѣрилъ въ непогрѣшимость его французскаго синтаксиса. Дѣйствительно, онъ говорилъ по-французски съ той непорочной правильностью, съ которой французы никогда не говорятъ (вѣроятно потому, что въ нихъ не развито чувство сознанія всей важности знать французскую грамматику). Четырнадцать лѣтъ, онъ не только участвовалъ въ управленіи имѣніемъ, но перевелъ на французскій языкъ въ прозѣ всю Россіаду Хераксова для упражненія въ стилѣ. Вѣроятно, старикъ радовался на томъ свѣтѣ больше, чѣмъ «Лебедь на водахъ Меандра», узнавши это. Но Голохвастовъ не только правильно говорилъ по-французски и по-нѣмецки, не только хорошо зналъ по-латыни, но зналъ и говорилъ правильно и хорошо по-русски.

Такъ, какъ Маршалъ считалъ его лучшимъ ученикомъ, такъ его мать считала его лучшимъ сыномъ, дядя его—лучшимъ племянникомъ, а князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ, когда онъ опредѣлился къ нему на службу, считалъ его лучшимъ чиновникомъ. Но что еще важнѣе, что все это дѣйствительно такъ и было. А странное дѣло... чувствовалось отсутствіе *чего-то*. Онъ былъ уменъ, дѣловой человѣкъ, много читалъ и помнилъ,—чего же больше, кажется, требовать?

Я впоследствии не разъ встрѣчалъ эти натуры, эти «гладенькіе» умы, эти свѣтлопонимающія—на извѣстномъ пространствѣ и въ извѣстную глубину—головы. Они умно разсуждаютъ, не отступая отъ данныхъ; они еще умнѣе поступаютъ, не сходя съ торной дороги; они настоящіе современники своего времени, своего общества. Все, что они говорятъ,—истинно, но они могли бы говорить что-нибудь другое; все, что они дѣлаютъ,—хорошо, но они могли бы дѣлать что-нибудь иное. Они обыкновенно нравственны, но вамъ нечистая сила шепчетъ на ухо: «Да могутъ ли они быть безнравственны?» Нѣмцы называли бы такихъ людей «разсудочными»; это среда випизма въ Англіи, среда, которой геній и высшій представитель теперь—Маколей, въ старые годы

былъ Вальтеръ-Скоттъ, среда практической философіи пустыника de la chaussée d'Antin и философскихъ поученій Вейса. Все у этихъ господъ исправно, чинно, на мѣстѣ; они правильно любятъ добродѣтель и бѣгутъ порока; все у нихъ не лишено извѣстной прелести сѣренькаго лѣтняго дня—безъ дождя и солнца, а чего-то нѣтъ,—ну, такъ бездѣлицы, *ничего*, какъ у великихъ князей цари Никиты... но

И того не доставало.

а безъ того и все остальное не въ честь.

Меньшой братъ Голохвастова родился хромой; ужъ одно это обстоятельство лишило его возможности пріобрѣсть античную позу и версальскую поступь старшаго брата. Къ тому же у него были черные волосы и огромные черные глаза, которыми онъ никогда не щурился. Эта энергическая и красивая наружность была все; внутри бродили довольно неустроенныя страсти и смутныя понятія. Мой отецъ, не ставившій его ни въ грошъ, говорилъ, когда особенно былъ имъ недоволенъ: «*Quel jeu interessant de la nature видѣть на плечахъ Николаши—и при этомъ старикъ поднимать свои собственныя—голову переидекаго шаха!*»

Такъ, какъ его старшій братъ не могъ ни на минуту обдосужиться весь свой вѣкъ и постоянно что-нибудь дѣлалъ, такъ Николай Павловичъ всю жизнь рѣшительно ничего не дѣлалъ. Въ юности онъ не учился; лѣтъ 23 онъ уже былъ женатъ и это презабавнымъ образомъ. Онъ увезъ самъ себя. Влюбившись въ бѣдную и незнатную дѣвушку, чрезвычайно милую грѣзовскую головку или севрскую изящѣйшую куколку, онъ просилъ позволенія жениться на ней, и этому я всего меньше дивлюсь. Мать, исполненная аристократическихъ предразсудковъ и воображавшая, что за своихъ сыновей меньше взять нельзя какъ Румянцеву или Орлову, и то съ цѣлымъ народонаселеніемъ какой-нибудь Воронежской или Рязанской губерніи, разумѣется, не согласилась. Но какъ братъ его ни уговаривалъ, какъ дяди и тетки ни усовѣщивали, свѣтленькіе глазки молодой дѣвушки взяли свое; нашъ Вертеръ, видя, что ничѣмъ не сломить волю своихъ родныхъ, спустилъ почью въ окно шкатулку, нѣсколько бѣлья, камердинера Александра, потомъ спустился самъ, оставивъ свою дверь запертою изнутри. Когда къ обѣду слѣдующаго дня открыли дверь, онъ былъ уже обвѣнчанъ. Его мать такъ огорчилась тайнымъ бракомъ, что слегла въ постель и умерла, принеся свою жизнь въ жертву на алтарь этикета и приличій.

У нихъ въ домѣ жила вдова коменданта Орской крѣпости во времена чумы и Пугачева, старушка офицерша, глухая, съ небольшими усами и ворчунья. Часто рассказывала она мнѣ потомъ

о потрясающемъ событіи побѣга и всякій разъ прибавляла: «И, батюшка, съ малыхъ лѣтъ видѣла, что въ Николаѣ-то Павловичѣ проку никакого не будетъ и никакого утѣшенія Елизаветѣ Алексѣевнѣ. Ему, извольте видѣть, было лѣтъ двѣнадцать, вѣкъ не забуду, прибѣжалъ ко мнѣ, хохочетъ до слезъ, говорить: Надежда Ивановна, Надежда Ивановна, поскорѣе къ окну: посмотрите, что съ нашей коровой сдѣлалось! Я къ окну, да такъ и ахнула. Ну, представъ, батюшка, ей собака, что ли, хвостъ оторвали, только она, моя голубушка, такъ-таки безъ хвоста и есть... Корова была тирольская... Не вытерпѣла я, такъ это, я говорю, ты смѣешься надъ маменькиной коровой, да надъ своимъ добромъ, ну, какой же въ тебѣ будетъ путь! Такъ я ужъ и махнула рукой съ той самой поры».

Пророчество, такъ странно вышедшее изъ коровьяго хвоста, котораго не было на своемъ мѣстѣ, начало сбываться быстро. Братья раздѣлились и меньшей пошелъ кутить.

Кто не помнитъ рядъ Гогартовыхъ рисунковъ, въ которыхъ онъ представляетъ параллельно жизнь трудолюбиваго и лѣнтяя. Трудолюбивый скучаетъ въ церкви, лѣнливый играетъ въ кости; трудолюбивый читаетъ въ семействѣ назидательную книгу, лѣнтивъ пьетъ водку и т. д. Эту параллель съ измѣненіемъ общественнаго положенія представляли наши братья. У Гогарта одинъ изъ героевъ начинаетъ воровать и оканчиваетъ висѣльницей, а другой всю жизнь совсѣмъ не веселится и приговариваетъ своего пріятеля къ смерти. Воровство *hors d'oeuvre*—не его вина, что ему мать не оставила двухъ тысячъ душъ въ Калужской губерніи, какъ Елизавета Алексѣевна, и полмилліона денегъ. Сталъ ли бы онъ тогда хлопотать и трудиться; воровать вовсе не отдохновеніе, а работа очень непріятная и чрезвычайно опасная.

Оба брата, раздѣлившись, горячо принялись за дѣло. Одинъ улучшать свое имѣнье, другой разорять его; не знаю, прибавилъ ли Дмитрій Павловичъ сто рублей своими неусыпными заботами къ имуществу, Николай Павловичъ черезъ десять лѣтъ имѣлъ больше милліона долга.

Вскорѣ послѣ смерти матери, устроивъ свою сестру, т. е., выдавъ ее замужъ, Дмитрій Павловичъ уѣхалъ въ Парижъ и Лондонъ, глядѣть Европу; а Николай Павловичъ принялся себя показывать въ Москвѣ: балы, обѣды, спектакли слѣдовали другъ за другомъ; его домъ съ утра былъ набитъ охотниками до хорошаго завтрака, знатоками винъ, танцующей молодежью, интересными французами, гвардейскими офицерами; вино лилось, музыка гремѣла, онъ даже иногда поднималъ мѣстные образа первой величины, князя Д. В. Голицына, князя Юсупова.

Холостой Дмитрій Павловичъ, между тѣмъ, правильно осмот-

рѣшивъ Европу и выучившись по-англійски, возвращался вооруженный планами девонширскихъ фермъ и корнвальскаго конскаго завода, въ сопровожденіи англійскаго берейтора и двухъ огромныхъ, породистыхъ ньюфаундлендскихъ собакъ съ длинной шерстью, съ перепонками на лапахъ и одаренныхъ невѣроятной глупостью. Моремъ плыли сѣяльныя и вѣяльныя машины, необыкновенные плуги и модели всякихъ агрономическихъ затѣй.

Пока Дмитрій Павловичъ старательно заводилъ четырехпольное хозяйство, не идущее къ нашей землѣ, и обсеивалъ клеверомъ наши православные луга, пока онъ давалъ англійское воспитаніе жеребятѣ, отъ русскихъ родителей рожденнымъ, и изучалъ Теэра,—Николай Павловичъ, и это я думаю худшій и глубѣйшій поступокъ въ его жизни, успѣлъ разлюбить свою жену и, какъ бы не находя довольно быстрымъ средствомъ разоренія балы и обѣды, взявъ на содержаніе актрисы-танцовщицу, которая, безъ сомнѣнія, была недостойна завязывать шнурковъ корсета его жены. Съ этой минуты все пошло какъ на парахъ, имѣнне было описано, жена погорѣвала-погорѣвала о судьбѣ дѣтей и о своей собственной, простудилась и въ нѣсколько дней умерла, домъ распадался.

Видя это, Дмитрій Павловичъ принялъ энергическую мѣру, чтобъ и его имѣнне не пошло къ кредиторамъ его брата,—онъ рѣшился жениться. Онъ тщательно выбралъ умную и дѣльную жену; бракъ его не былъ дѣломъ безумной страсти; онъ изъ династическаго интереса желалъ прямыхъ наслѣдниковъ, чтобъ оградить родовое имѣнне праотцевъ.

Свадьба брата сильно огорчила Николая Павловича. Такого сюрприза отъ него онъ не ждалъ; видно, имъ было на роду написано удивлять другъ друга своими бракосочетаніями. Чобъ утѣшиться, онъ сталъ вдвое кутить. Какъ медленно ни дѣлаются у насъ эти дѣла, но, наконецъ, настало время продажи имѣнія съ аукціоннаго торга. Не думаю, чтобъ это очень заботило Дмитрія Павловича, но тутъ опять замѣшались династическіе интересы, и потому Дмитрій Павловичъ съ помощью дядей принялся за спасеніе брата. Начали скупать разные двойные векселя, давая копеекъ 40 съ рубля, т. е., бросали въ печь большую сумму денегъ и увидѣли потомъ, что это совершенно бесполезно, такъ много было векселей. Одинъ изъ эпизодовъ этой исторіи остался у меня въ памяти. При раздѣлѣ, брильянты матери достались Николаю Павловичу; Николай Павловичъ, наконецъ, заложилъ и ихъ. Видѣть брильянты, украшавшіе нѣкогда величавый станъ Елизаветы Алексѣевны, проданными какой-нибудь купчихѣ, Дмитрій Павловичъ не могъ. Онъ представилъ брату весь ужасъ его поступка; тотъ плакалъ, клялся, что раскаивается; Дмитрій Пав-

ловичъ далъ ему вексель на себя и послалъ къ ростовщику выкупить брильянты; Николай Павловичъ просилъ его позволеніе привезти брильянты къ нему, чтобъ онъ ихъ спряталъ, какъ единственное наследство его дочерей. Брильянты онъ выкупилъ и повезъ къ брату, но вѣроятно *chemin faisant*, онъ раздумалъ, потому что вмѣсто брата онъ заѣхалъ къ другому ростовщику и снова ихъ заложилъ. Надо себѣ представить удивленіе Сенатора, досаду Дмитрія Павловича и пространныя разсужденія моего отца, чтобъ понять, какъ я отъ души хохоталъ надъ этимъ высоко комическимъ происшествіемъ.

Когда все средства окончательно истощились, имѣнье было продано, домъ назначенъ въ продажу, люди распущены, брильянты не выкуплены во второй разъ; когда, наконецъ, Николай Павловичъ велѣлъ рубить свой московскій садъ, для того чтобъ *пожить печи*, та же благодатная судьба, которая баловала его всю жизнь, снова помогла ему. Онъ поѣхалъ на дачу къ своему двоюродному брату и вышелъ пройтись, приостаивался середь разговора, взялъ себя за голову рукой, усталъ и умеръ.

Въ эти послѣдніе годы *the diligent* Дмитрій Павловичъ, какъ Циципачъ, оставивъ плугъ, перешелъ къ управленію ученой республики въ Москвѣ. Случилось это такъ. Императоръ Николай, полагая, что генераль-маіоръ Писаревъ довольно остригъ студентовъ и основательно научилъ застегивать вицъ-мундирные сюртуки, захотѣлъ перемѣнить военное управленіе университета на статское. На дорогѣ между Москвой и Петербургомъ, онъ назначилъ попечителемъ князя Сергія Михайловича Голицына, — по какому соображенію, это трудно сказать, вѣроятно, онъ и самъ себѣ въ этомъ отчета не могъ дать. Развѣ онъ назначилъ его для того, чтобы доказать, что мѣсто попечителя вовсе нецужно. Голицынъ, котораго онъ взялъ съ собою, безъ того уже полуживой отъ курьерской ѣзды сломя голову, къ которой онъ не привыкъ, до того испугался новаго мѣста, что сталъ отказываться. Но въ этихъ случаяхъ толковать было невозможно.

Вронченко, когда его сдѣлали министромъ финансовъ, бросился ему въ ноги, увѣряя его въ своей неспособности. Николай отвѣчалъ ему: «Все это вздоръ, я прежде не управлялъ государствомъ, а вотъ научился же, — научишься и ты». И Вронченко остался поневолѣ министромъ къ великой радости всѣхъ, «*unprotected females*» Мѣщанской улицы, которыя освѣтили свои окна, говоря: — «Нашъ Василій Федоровичъ сталъ министромъ!»

Голицынъ, проскакавши еще верстѣ сто и еще больше изматый, рѣшился идти на переговоры и доложилъ, что онъ только тогда возьметъ мѣсто, когда у него будетъ надежный товарищъ, который бы помогать ему пасти университетскую паству. Госу-

дарь черезъ пятьдесятъ верстъ велѣлъ ему самому сыскать себѣ товарища. Такъ они благополучно пріѣхали въ Петербургъ.

Отдохнувъ съ мѣсяцъ отъ дороги, Голицынъ тихонько поѣхалъ въ Москву и принялся искать товарища. У него былъ по университету помощникъ, высочайшій изъ смертныхъ послѣ своего брата и преображенскаго тамбуръ-мажора, графъ А. Панинъ; но онъ дѣйствительно былъ слишкомъ высокъ, чтобъ маленькой старичокъ могъ его избрать. Осмотрѣвшись въ Москвѣ, взгляды Голицына остановились на Дмитріѣ Павловичѣ. Съ его точки зрѣнія, онъ не могъ сдѣлать лучшаго выбора. Дмитрій Павловичъ имѣлъ всѣ тѣ достоинства, которыя высшее начальство ищетъ въ человѣкѣ нашего вѣка, — безъ тѣхъ недостатковъ, за которые оно гонитъ его. Образование, хорошая фамилія, богатство, агрономія, и не только отсутствіе «завиральныхъ идей», но и вообще всякихъ проишествій въ жизни. Голохвастовъ не имѣлъ ни одной любовной интриги, ни одного дуэля, не игралъ отроду въ карты, ни разу не напивался до пьяна, но часто по воскресеньямъ ѣздили къ обѣднѣ, и не просто къ обѣднѣ, а къ обѣднѣ въ домовую церковь князя Голицына. Къ этому надобно прибавить мастерскою французскій языкъ, округленные манеры и одна страсть, страсть совершенно невинная, къ лошадямъ.

Только что Голицынъ придумалъ, какъ ужъ Николай опять несся стремглавъ въ Москву. Тутъ Голицынъ поймалъ его, пока онъ не ударился въ Тулу, и представилъ ему Дмитрія Павловича. Онъ вышелъ отъ государя товарищемъ попечителя.

Съ этого времени Дмитрій Павловичъ началъ примѣтно толстѣть, наружность его выражала еще больше важности, онъ сталъ какъ-то больше говорить въ носъ, чѣмъ прежде, и фракъ сталъ носить какъ-то пошире, безъ звѣзды, но видимо предчувствуя ее.

До его назначенія въ университетъ, мы были съ нимъ настолько близко, насколько различіе лѣтъ позволяло (онъ былъ лѣтъ 16 старше меня). Тутъ я съ нимъ чуть не разсорился, по крайней мѣрѣ, лѣтъ десять къ ряду мы смотрѣли другъ на друга съ непріязненнымъ холодомъ.

Частной причины на это не было никакой. Его поведение относительно меня было всегда исполнено деликатности, безъ ненужной короткости, безъ оскорбительнаго отдаленія. Это потому заслуживаетъ вниманіе, что отецъ мой съ своей стороны, стараясь насъ сблизить, дѣлалъ все, что слѣдуетъ, чтобъ поселить между нами ненависть.

Онъ постоянно толковалъ мнѣ, что Сенаторъ и Дмитрій Павловичъ мои естественные *покровители*, что я долженъ быть къ нимъ *привѣженъ*, что я долженъ цѣнить ихъ родственную ласку. Къ этому онъ прибавлялъ, что само собою разумѣется,



что все ихъ знаки вниманія оказываются собственно для него, а не для меня. Относительно старика Сенатора, къ которому я привыкъ почти столько же, сколько къ моему отцу, съ той разницей, что его я не боялся, мнѣ эти слова ничего не значили, но отъ Голохвастова они меня отдаляли и, если не отдалили, то это благодаря такту, съ какимъ себя Голохвастовъ постоянно велъ.

Вещи эти отецъ мой говорилъ не въ минуту досады, а въ самомъ лучшемъ расположеніи духа, и это оттого, что въ екатерининскомъ вѣкѣ кліентизмъ былъ обыкновененъ, подчиненные не смѣли сердиться за «ты» отъ начальника, и все на свѣтѣ открыто искали милостивцевъ и покровителей.

Когда Дмитрій Навловичъ былъ назначенъ въ университетъ, я думалъ точно такъ, какъ князь Сергій Михайловичъ, что это будетъ очень полезно для университета; вышло совсѣмъ напротивъ. Если-бы Голохвастовъ тогда попалъ въ губернаторы или въ оберъ-прокуроры, весьма можно предположить, что онъ былъ бы лучше многихъ губернаторовъ и многихъ оберъ-прокуроровъ. Мѣсто въ университетѣ было совсѣмъ не по немъ; свой холодный формализмъ, свое педанство, онъ употребилъ на мелочное, канцлерское управленіе студентами; такого внимательства начальства въ жизнь аудиторій, такого неделства на больномъ размѣрѣ не было при самомъ Писаревѣ. И тѣмъ хуже, что Голохвастовъ сдѣлался въ нравственномъ отношеніи то, что были Панинъ и Писаревъ для волостъ и купцовъ.

Прежде въ немъ было, при всемъ можайско-верейскомъ то-ризмѣ его, что-то образованно-либеральное, любовь къ законности, негодованіе противъ произвола, противъ чиновничьяго грабежа. Съ вступленія въ университетъ онъ становился *ex officio* со стороны всехъ стѣпенительныхъ мѣръ, онъ считалъ это необходимою своею саною. Время моего курса было временемъ наибольшей политической экзальтаціи; могъ ли же я остаться въ хорошихъ отношеніяхъ съ такимъ усерднымъ слугою?

Формализмъ его и это вѣчное священнодѣйствіе, *mise en scene* себя, иногда вводили его въ самыя забавныя исторіи, изъ которыхъ вѣчно занятый сохраненіемъ достоинства и постоянно довольный собою, онъ не умѣлъ никогда ловко вывернуться.

Какъ предсѣдатель московскаго цензурнаго комитета, онъ, разумеется, тяжелой гирей висѣлъ на немъ и сдѣлалъ то, что вносѣдствіи книги и статьи посылали цензуровать въ Петербургъ. Въ Москвѣ былъ старикъ Мясновъ, большой охотникъ до лошадей; онъ составилъ какую-то генеалогическую таблицу лошадиныхъ родовъ и, желая выиграть время, просилъ позволенія посылать въ цензуру корректурные листы вмѣсто рукописей, въ



которой, вѣроятно, хотѣлъ сдѣлать поправки. Голохвастовъ затруднился, произнесъ длинную рѣчь, гдѣ плодовито изложилъ про и contra, и заключилъ ее тѣмъ, что, впрочемъ, разрѣшить присылку корректурныхъ листовъ въ цензуру можно, буде авторъ удостовѣритъ, что въ его книгѣ нѣтъ ничего противъ правительства, религій и нравственности.

Холерическій и раздражительный Мясновъ всталъ и съ серьезнымъ видомъ сказалъ:

— Такъ какъ это дѣло остается на моей отвѣтственности, то я считаю необходимымъ оговориться: въ книгѣ моей, конечно, нѣтъ ни одного слова противъ правительства, ни противъ нравственности, но насчетъ религій я не такъ увѣренъ.

— Помилуйте! сказалъ удивленный Голохвастовъ.

— А вотъ, извольте видѣть, въ Кормчей книгѣ есть статья, такъ гласящая: «Надъ корчагами клянущіе, волосы плетущіе, и на конскія ристалища ходящіе, да будутъ преданы анаѣмѣ». А я въ моей книгѣ очень много говорю о конскихъ ристалищахъ, такъ право и не знаю...

— Это не можетъ быть пренятствіемъ, замѣтилъ Голохвастовъ.

— Покорнѣйше васъ благодарю за разрѣшеніе сомнѣнія, отвѣтилъ колкій старикъ, откланиваясь.

Когда я возвратился изъ второй ссылки, положеніе Голохвастова въ университетѣ было не прежнее. На мѣсто князя *Сергій* Михайловича, поступилъ графъ *Сергій* Григорьевичъ Строгановъ. Понятія Строганова, сбивчивыя и неясныя, были все же несравненно образованнѣе. Онъ хотѣлъ поднять университетъ въ глазахъ государя, отстаивалъ его права, защищалъ студентовъ отъ полицейскихъ набѣговъ и былъ либераленъ, насколько можно быть либеральнымъ, нося на плечахъ генераль-адъютантскій «нашъ» и будучи смиреннымъ обладателемъ строгановскаго маюрата. Въ этихъ случаяхъ ненадо забывать la difficulté vaincue.

— Какая страшная повѣсть Гоголева «Шинель», сказалъ развѣ Строгановъ Е. К.; вѣдь, это привидѣніе на мосту тащить просто съ каждаго изъ насъ шинель съ плечъ. Поставьте себя въ мое положеніе и взгляните на эту повѣсть.

— Мнѣ о-очень т-трудно, отвѣчалъ К., я не привыкъ разсматривать предметы съ точки зрѣнія человѣка, имѣющаго тридцать тысячъ душъ.

Графъ Строгановъ иногда застучалъ постромку, дѣлался чисто-на-чисто генераль-адъютантомъ, т. е. взбалмошно-грубымъ, особенно когда у него разыгрывался его желчный почечуй, но генеральской выдержки у него не доставало, и въ этомъ снова выражалась добрая сторона его натуры. Для объясненія того, что я хочу сказать, приведу одинъ примѣръ.

Разъ кончившій курсъ казенный студентъ, очень хорошо занимавшійся и опредѣленный потомъ въ какую-то губернскую гимназію старшимъ учителемъ, услышавъ, что въ одной изъ московскихъ гимназій открылась по его части вакансія младшаго учителя, пришелъ просить у графа перемѣщенія. Цѣль молодого человѣка состояла въ томъ, чтобы продолжать заниматься своимъ дѣломъ, на что онъ не имѣлъ средствъ въ губернскомъ городѣ. Но несчастію, Строгановъ вышелъ изъ кабинета желтый, какъ церковная свѣчка.

— Какое вы имѣете право на это мѣсто?—спросилъ онъ, глядя по сторонамъ и подергивая усы.

— И потому прошу, графъ, этого мѣста, что именно теперь открылась вакансія.

— Да и еще одна открывается, перебилъ графъ, вакансія нашего посла въ Константинополь. Не хотите ли ее?

— Я не зналъ, что она зависить отъ вашего сіятельства, отвѣтить молодой человѣкъ, я приму мѣсто посла съ искренней благодарностью.

Графъ сталъ еще желтѣе, однако учтиво просилъ его въ кабинетъ.

У меня лично съ нимъ бывали прекуръезныя сношенія; самое первое свиданіе наше не лишено того родного колорита, по которому сразу узнается русская нкола.

Вечеромъ какъ-то, во Владимірѣ, сижу я дома за своею Лыбедью; вдругъ является ко мнѣ учитель гимназій, нѣмецъ, докторъ Іенскаго университета, по прозванію Деличъ, въ мундирѣ. Докторъ Деличъ объявилъ мнѣ, что утромъ пріѣхалъ изъ Москвы попечитель университета, графъ Строгановъ, и прислалъ его пригласить меня завтра въ 10 часовъ утра къ себѣ.

— Не можетъ быть; я его совсѣмъ не знаю и вы, вѣрно, перемѣшали.

— Это не фозможно. Der Herr Graf geruhten auf's freundlichste sich bei mir zu beurkunden über ihre Lage hier. Увы ѣдете?

Русскій человѣкъ, я поборолся еще съ Деличемъ, убѣдился еще больше, что ѣздить совсѣмъ ненужно, и поѣхалъ на другой день.

Альфieri, какъ человѣкъ не русскій, поступилъ иначе, когда французскій маршалъ, занявшій Флоренцію, пригласилъ его незнакомаго къ себѣ на вечеръ. Онъ ему написалъ, что если это просто частное приглашеніе, то онъ за него весьма благодарить, но просить его извинить, потому что онъ никогда не ѣздитъ къ незнакомымъ. Если же это приказъ, то, зная военное положеніе города, онъ непремѣнно въ восемь часовъ вечера отдастся въ плѣнь (se constituera prisonnier).

Строгановъ звалъ меня какъ рѣдкость, принадлежавшую прежде къ университету, какъ блуднаго кандидата. Ему просто хотѣлось меня видѣть и, сверхъ того, хотѣлось, такова слабость души человѣческой даже подѣ толстымъ аксельбантомъ, похватать передо мной своими улучшеніями по университету.

Онъ меня принялъ очень хорошо. Наговорилъ мнѣ кучу комплиментовъ и скорымъ шагомъ дошелъ, до чего хотѣлъ.

— Жаль, что вамъ нельзя побывать въ Москвѣ, вы не узнаете теперь университетъ; отъ зданія и аудиторіи профессоровъ и объема преподаванія, все измѣнилось,—и пошелъ, и пошелъ.

Я очень скромно замѣтилъ, чтобъ показать, что я внимательно слушаю и не пошлый дуракъ, что, вѣроятно, преподаваніе оттого такъ измѣнилось, что много новыхъ профессоровъ возвратилось изъ чужихъ краевъ.

— Безъ всякаго сомнѣнія, отвѣчалъ графъ, но, сверхъ того, духъ управленія, единство, знаете, моральное единство...

Впрочемъ, отдадимъ ему справедливость, онъ своимъ «моральнымъ единствомъ» больше сдѣлалъ пользы университету, чѣмъ Земляника своей больницей «честностью и порядкомъ». Университетъ очень много обязанъ ему, но все же нельзя не улыбнуться при мысли, что онъ хвастался этимъ передъ человѣкомъ, сосланнымъ подѣ надзоръ за политическіе проступки. Вѣдь, это стоитъ того, что человѣкъ, сосланный за политическіе проступки, безъ всякой необходимости поѣхалъ по зову генераль-адъютанта. О, Русь!.. Что же тутъ удивительнаго, что иностранцы ничего не понимаютъ, глядя на насъ!

Второй разъ я видѣлъ его въ Петербургѣ, именно въ то время, когда меня ссылали въ Новгородъ. Сергѣй Григорьевичъ жилъ у брата своего, министра внутреннихъ дѣлъ. Я входилъ въ залу въ то самое время, какъ Строгановъ выходилъ. Онъ былъ въ бѣлыхъ штанахъ и во всѣхъ своихъ регаліяхъ, лента черезъ плечо; онъ ѣхалъ во дворецъ. Увидя меня, онъ остановился и, отведя меня въ сторону, сталъ спрашивать о моемъ дѣлѣ. Онъ и его братъ были возмущены безобразіемъ моей ссылки.

Это было во время болѣзни моей жены, нѣсколько дней послѣ рожденія малютки, который умеръ. Должно быть въ моихъ глазахъ, словахъ было видно большое негодованіе или раздраженіе, потому что Строгановъ вдругъ сталъ меня уговаривать, чтобы я переносилъ испытанія съ христіанскою кротостію. «Повѣрьте, говорилъ онъ, каждому на свой пай достается нести крестъ».

Даже и очень много иногда, подумалъ я, глядя на всевозможные кресты и крестикки, заставлявшіе его грудь, и не могъ удержаться, чтобъ не улыбнуться.

Онъ догадался и покраснѣлъ. «Вы вѣрно думаете, сказалъ онъ, хорошо, молъ, ему проповѣдывать. Повѣрьте, что *tout est compensé*» — по крайней мѣрѣ такъ думаетъ Азапсъ.

Сверхъ проповѣди, онъ и Жуковскій дѣйствительно хлопотали обо мнѣ.

Поселившись въ 1842 году въ Москвѣ, я сталъ иногда бывать у Строганова. Онъ ко мнѣ благоволилъ, но иногда будировалъ. Мнѣ очень нравились эти приливы и отливы. Когда онъ бывалъ въ либеральномъ направленіи, онъ говорилъ о книгахъ и журналахъ, восхвалялъ университетъ и все сравнивалъ его съ тѣмъ жалкимъ положеніемъ, въ которомъ онъ былъ въ мое время. Но когда онъ былъ въ консервативномъ направленіи, тогда упрекалъ, что я не служу, и что у меня нѣтъ религіи, бранилъ мои статьи, говоря, что я развращаю студентовъ, бранилъ молодыхъ профессоровъ, толковалъ, что они его больше и больше ставятъ въ необходимость измѣнить присягѣ или закрыть ихъ кафедръ.

— Я знаю, какой крикъ поднимется отъ этого, вы первый будете меня называть вандаломъ.

Я склонилъ голову въ знакъ подтвержденія и прибавилъ:

— Вы этого никогда не сдѣласте, и потому я васъ могу искренно поблагодарить за хорошее мнѣніе обо мнѣ.

— Непремѣнно сдѣлаю; ворчалъ Строгановъ, потягивая усь и желтѣя, — вы увидите.

Мы все знали, что онъ ничего подобнаго не предприметъ, за это можно было позволить ему періодически пострадать, особенно взявъ въ расчетъ его маіоратъ, его чинъ и почечуй.

Разъ какъ-то онъ до того зарантортовался, говоривши со мной, что, браня все революціонное, разсказалъ мнѣ, какъ 14 декабря Т. ушелъ съ площади, разстроенный прибѣжалъ въ домъ къ его отцу и, не зная, что дѣлать, подошелъ къ окну и сталъ барабанилъ по стеклу; такъ прошло нѣкоторое время. Француженка, бывшая гувернанткой въ ихъ домѣ, не выдержала и громко сказала ему: «Постыдитесь, тутъ-ли ваше мѣсто, когда кровь вашихъ друзей льется на площади, такъ-то вы понимаете вашъ долгъ?» Онъ схватилъ шляпу и пошелъ — куда вы думаете? — спрятаться къ австрійскому послу.

— Конечно, ему слѣдовало-бы идти въ полицію, сказалъ я.

— Какъ? — спросилъ удивленный Строгановъ и почти понялся отъ меня.

— Или вы считаете, какъ француженка, сказалъ я, не удерживая больше смѣха, что его обязанность была идти на площадь?

— Видите, замѣтилъ Строгановъ, поднимая плечи и нехотя поглядывая на дверь, какой у васъ несчастный ріі ума; я только говорю, что вотъ эти люди... когда нѣтъ истинныхъ, мо-

ральныхъ, основанныхъ на вѣрѣ принциповъ, когда они сходятъ съ прямого пути... все путается. Вы съ лѣтами все это увидите.

До этихъ лѣтъ я еще не дожилъ, но эту сторону неаходчивости у Строганова, надъ которой часто зло подсмѣивался Чаадаевъ, я, совсѣмъ напротивъ, ставлю ему въ большое достоинство.

Говорятъ, что послѣ февральской революціи, увлекся и Строгановъ. Онъ будто-бы настоялъ въ новомъ цензурномъ совѣтѣ на воспрещеніи пропускать чтобы то ни было изъ писаннаго мною. Я это принимаю за дѣйствительный знакъ его хорошаго расположенія ко мнѣ; услышавъ это, я принялся за русскую типографію. Вскорѣ реакція обошла и перешла нашего графа, онъ не хотѣлъ быть палачемъ университета и вышелъ изъ попечителей. Но это еще не все. Черезъ два-три мѣсяца послѣ Строганова, вышелъ въ отставку и Голохвастовъ, устрешенный рядомъ мѣръ, которыя ему предписывались изъ Петербурга.

Такъ окончилась публичная карьера Дмитрія Павловича, и онъ, какъ настоящій москвичъ, сложивъ съ себя бремя государственныхъ дѣлъ, расположился важно отдохнуть, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ и окруженный семьей, рысаками и хорошо переплетенными книгами.

Въ внутренней жизни его, въ продолженіи его кураторства, все шло благополучно, т. е., въ свое время являлись на свѣтъ дѣти, въ свое время у нихъ рѣзались зубы. Имѣнье было ограждено законными наслѣдниками. Сверхъ того, еще одно лицо обрадовало и согрѣло послѣдніе десять лѣтъ его жизни. Я говорю о пріобрѣтеніи *Бычка*, перваго рысака по бѣгу, красотѣ, мышцамъ и конытамъ, не только Москвы, но и всей Россіи. *Бычокъ* представлялъ поэтическую сторону серьезнаго существованія Дмитрія Павловича. У него въ кабинетѣ висѣли нѣсколько портретовъ *Бычка*, писанныхъ масляными красками и акварелью. Какъ представляютъ Наполеона, то худымъ конеуломъ, съ длинными и мокрыми волосами, то жирнымъ императоромъ съ клочкомъ волосъ на лбу, сидящимъ верхомъ на стулѣ, съ коротенькими ножками, то императоромъ, отрѣшеннымъ отъ дѣлъ, стоящимъ, заложивъ руки за спину, на скалѣ середь плещущаго океана,—такъ и *Бычокъ* былъ представленъ въ разныхъ моментахъ своей блестящей жизни: въ стойлѣ, гдѣ онъ провелъ свою юность, въ полѣ—свободный, съ небольшой уздечкой, наконецъ заложанный едва-видимой, невѣсомой упряжью въ крошечную коробочку на полозьяхъ и возлѣ него кучеръ въ бархатной шапкѣ, въ синемъ кафтанѣ, съ бородой такъ правильно расчесанной, какъ у ассирійскихъ царей-быковъ,—тотъ самый кучеръ, который выигралъ на немъ, не знаю сколько кубковъ Сазнковой работы, стоявшихъ подъ стекломъ въ залѣ.

Казалось-бы, отдѣлавшись отъ скучныхъ заботъ по университету, съ огромнымъ имѣньемъ и огромнымъ доходомъ, съ двумя звѣздами и четырьмя дѣтьми, тутъ-то бы и жить да поживать. Судьба рѣшила иначе; вскорѣ послѣ своей отставки Дмитрій Павловичъ, здоровый, сильный мужчина, лѣтъ пятидесяти съ чѣмъ-то, занемогъ, хуже да хуже, едѣлалась горловая чахотка и онъ умеръ послѣ тяжелой и мучительной болѣзни въ 1849 году.

И вотъ, я поневолѣ останавливаюсь въ раздумьи передъ этими двумя могилами и рядъ странныхъ вопросовъ, о которыхъ я упомянулъ, снова представляется уму.

Смерть приравниала двухъ непохожихъ братьевъ. Кто-же изъ нихъ лучше воспользовался своимъ промежуткомъ между двумя нѣмыми и безответными пропастями? Одинъ истратилъ и себя и свое состояніе, но имѣлъ свой медовый мѣсяцъ изъ лучшихъ липовыхъ сотъ. Положимъ, что онъ и былъ человѣкъ безполезный, но вреда *наимѣреннаго* никому не дѣлалъ. Онъ оставилъ дѣтей въ бѣдности — плохо; но они все-таки получили воспитаніе и должны были получить кой-что отъ дяди. А сколько тружениковъ, работавшихъ всю жизнь, съ горькой слезой закрываютъ глаза, глядя на дѣтей, которымъ они не могли дать ни воспитанія, ни куска хлѣба? Т. Карлейль, утѣшая людей, слишкомъ умилявшихся надъ судьбой несчастнаго сына Людовика XVI, сказалъ имъ: «Это правда, онъ былъ воспитанъ сапожникомъ, т. е., получилъ то дурное воспитаніе, которое получали и теперь получаютъ милліоны дѣтей бѣдныхъ поселянъ и работниковъ».

Другой братъ совсѣмъ не жилъ, онъ *служилъ* жизнь, такъ, какъ священники *служатъ* обѣдню, т. е., съ чрезвычайной важностію совершали какой-то привычный ритуалъ, болѣе торжественный, чѣмъ полезный. Обдумать, зачѣмъ онъ его исполнялъ, ему было также некогда, какъ его брату. Если изъ жизни Дмитрія Павловича исключить два-три случая—*Бычка*, скачки и кубки—да два-три входа и выхода, напр., когда онъ взошелъ въ университетъ съ сознаніемъ, что онъ начальникъ его, когда онъ вышелъ въ первый разъ изъ своей комнаты въ звѣздѣ, когда онъ представлялся е. и. величеству, когда водилъ по аудиторіямъ е. и. высочество,—останется одна проза, одно дѣловое, натянутое, официальное утро. Споры нѣтъ, мысль о важности его участія въ дѣлахъ административныхъ доставляла ему удовольствіе; этикетъ—своего рода поэзія, своего рода артистическая гимнастика, какъ парады и танцы; но, вѣдь, какая бѣдная поэзія въ сравненіи съ пышными пирами, въ которыхъ провелъ свою жизнь его братъ, тайкомъ обвѣнчавшійся на хорошенькой барышнѣ съ упительными глазками!

И въ дополненіе, Дмитрій Павловичъ своей правильной жизнию,

своимъ образцовымъ поведеніемъ въ нравственномъ, служебномъ и гигиеническомъ отношеніяхъ, даже не дожилъ ни до здоровья, ни до долголѣтія и умеръ такъ же неожиданно, какъ его братъ, но только съ гораздо большими мученіями <sup>1)</sup>.

Ну, и all right!

## ГЛАВА XXXII.

Послѣдняя поѣздка въ Соколово.—Теоретическій разрывъ.—Натянутое положеніе.—Dahin! Dahin!

Послѣ примиренія съ Бѣлинскимъ въ 1840 году, наша небольшая кучка друзей шла впередъ безъ значительнаго разномыслія: были отѣнки, личные взгляды, но главное и общее шло изъ тѣхъ же началъ. Могло ли оно такъ продолжаться навсегда,—я не думаю. Мы должны были дойти до тѣхъ предѣловъ, до тѣхъ оградъ, за которыя одни пройдутъ, а другіе зацѣпятся.

Года черезъ три, четыре, я съ глубокой горестью сталъ замѣчать, что, идучи изъ однихъ и тѣхъ-же началъ, мы приходили къ разнымъ выводамъ — и это не потому, чтобъ мы ихъ разнѣ понимали, а потому, что они не всѣмъ *правились*.

Сначала эти споры шли полусушня. Мы смѣялись, напр., надъ малороссійскимъ упрямствомъ Р., старавшагося вывести логическое построеніе личнаго духа. При этомъ я вѣдоминаю одну изъ послѣднихъ шутокъ милаго, добраго Крюкова. Онъ уже былъ очень боленъ, мы сидѣли съ Р. у его кровати. День былъ ненастный, вдругъ блеснула молнія и вѣлѣдъ за ней разыгрался сильный ударъ грома. Р. подошелъ къ окну и опустилъ штору.

— Что же, отъ этого будетъ лучше? спросилъ я его.

— Какъ же, отвѣтилъ за него Крюковъ, Р. вѣрить in die Persönnlichkeit des absoluten Geistes и потому завѣшиваетъ окно, чтобъ ему не было видно, куда цѣлится, если вздумаетъ въ него пустить стрѣлу.

Но можно было догадаться, что на шуткахъ такое существенное различіе въ воззрѣніяхъ долго не остановится.

На одномъ листѣ записной книжки того времени, съ видимой *arrière pensée*, помѣчена слѣдующая сентенція: «Личныя отно-

<sup>1)</sup> Мнѣ кажется, что, говоря о Дмитріи Павловичѣ, я не долженъ умолчать о его послѣднемъ поступкѣ со мною. Послѣ кончины моего отца, онъ мнѣ остался долженъ 40,000 сер. Я уѣхалъ за границу, оставивъ этотъ долгъ за нимъ. Умирая, онъ завѣщалъ, чтобы мнѣ первому было уплачено, потому что официально я не могъ ничего требовать. Вслѣдъ за вѣстью о его кончинѣ, я по слѣдующей почтѣ получилъ всѣ деньги.



шенія много вредятъ прямотѣ мнѣній. Уважая прекрасныя качества лицъ, мы жертвуемъ для нихъ рѣзкостью мнѣній. Много надобно силъ, чтобы плакать и все-таки умѣть подписать приговоръ Камиля Демулена».

Въ этой зависти къ силѣ Робеспьера уже дремали зачатки злыхъ споровъ 1846 года.

Вопросы, до которыхъ мы коснулись, не были случайны; ихъ, какъ суженаго, нельзя было на конѣ объѣхать. Это тѣ гранитные камни преткновенія на дорогѣ знанія, которые во все время были одни и тѣ же, пугали людей и манили къ себѣ. И такъ, какъ либерализмъ, послѣдовательно проведенный, непременно поставитъ человѣка лицомъ къ лицу съ социальнымъ вопросомъ, такъ наука—если только человѣкъ вѣрится ей безъ якоря—непременно прибьетъ его своими волнами къ сѣдымъ утесамъ, о которые бился, отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта и Гегеля, все державшее думать. вмѣсто простыхъ объясненій, почти все пытались ихъ обогнуть и только покрывали ихъ новыми слоями символовъ и аллегорій, оттого-то и теперь они стоятъ также грозно, а пловцы боятся ѣхать прямо и убыдиться, что это вовсе не скалы, а одинъ туманъ, фантастически освѣщенный.

Шагъ этотъ не легокъ, но я вѣрилъ и въ силы и въ волю нашихъ друзей, имъ же не вновь приходилось искать фарватера, какъ Бѣлинскому и мнѣ. Долго бился мы съ нимъ въ бѣличьемъ колесѣ діалектическихъ повтореній и выпрыгнули, наконецъ, изъ него на свой страхъ. У нихъ былъ нашъ примѣръ передъ глазами и Фейербахъ въ рукахъ. Долго не вѣрилъ я, но, наконецъ, убѣдился, что если друзья наши не дѣляютъ образа доказательствъ Р., то въ сущности все-же они съ нимъ согласны, чѣмъ со мной, и что, при всей независимости ихъ мысли, еще есть истины, которыя ихъ пугаютъ. Кромѣ Бѣлинскаго, я расходился со всѣми, съ Грановскимъ и Е. К.

Открытіе это исполнило меня глубокой печалью; порогъ, за который они загнулись, однажды приведенный къ слову, не могъ больше подразумеваться. Споры вышли изъ внутренней необходимости снова придти къ одному уровню; для этого надобно было, такъ сказать, окликнуться, чтобъ узнать кто гдѣ.

Прежде чѣмъ мы сами привели въ ясность нашъ теоретическій раздоръ, его замѣтило новое поколѣніе, которое стояло несравненно ближе къ моему воззрѣнію. Молодежь не только въ университетѣ и лицѣ сильно читала мои статьи о *Диалектизмѣ въ наукѣ* и *Письма объ изученіи природы*, но и въ духовныхъ учебникахъ заведеній. О послѣднемъ я узналъ отъ графа С. Строганова, которому жаловался на это Филаретъ, грозившій

принять душеоборонительныя мѣры противъ такой вредоносной яствы.

Около того-же времени я иначе узналъ объ ихъ успѣхѣ между семинаристами. Случай этотъ мнѣ такъ дорогъ, что я не могу не рассказать его.

Сынъ одного знакомаго подмосковнаго священника, молодой человѣкъ лѣтъ 17, приходилъ нѣсколько разъ ко мнѣ за *Отечественными Записками*. Застѣнчивый, онъ почти ничего не говорилъ, краснѣлъ, мѣшался и торопился скорѣй уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило въ его пользу, я переломилъ, наконецъ, его отроческую неувѣренность въ себя и сталъ съ нимъ говорить объ *Отечественныхъ Запискахъ*. Онъ очень внимательно и дѣльно читалъ въ нихъ именно философскія статьи. Онъ общилъ мнѣ, какъ жадно въ вышемъ курсѣ семинаріи учащіеся читали мое историческое изложеніе системъ и какъ оно ихъ удивило послѣ философіи по Бурмейстеру и Волфію.

Молодой человѣкъ сталъ иногда приходилъ ко мнѣ, я имѣлъ полное время убѣдиться въ силѣ его способностей и въ способности труда.

— Что вы намѣрены дѣлать послѣ курса? — спросилъ я его разъ.

— Постричься въ священники, отвѣчалъ онъ, краснѣя.

— Думали ли вы серьезно объ участи, которая васъ ожидаетъ, если вы пойдете въ духовное званіе?

— Мнѣ нѣтъ выбора, мой отецъ рѣшительно не хочетъ, чтобъ я шелъ въ свѣтское званіе. Для занятій у меня досуга будетъ довольно.

— Вы не сердитесь на меня, возразилъ я, но мнѣ невозможно не сказать вамъ откровенно моего мнѣнія. Вашъ разговоръ, вашъ образъ мыслей, который вы нѣсколько не скрывали, и то сочувствіе, которое вы имѣете къ моимъ трудамъ,—все это и, сверхъ того, искреннее участіе въ вашей судьбѣ даютъ мнѣ, вмѣстѣ съ моими лѣтами, нѣкоторыя права. Подумайте сто разъ прежде, чѣмъ вы надѣнете рясу. Снять ее будетъ гораздо труднѣе, а, можетъ, вамъ въ ней будетъ тяжело дышать. Я вамъ сдѣлаю одинъ очень простой вопросъ: скажите мнѣ, есть-ли у васъ въ душѣ вѣра хоть въ одинъ догматъ богословія, которому васъ учать?

Молодой человѣкъ, потупя глаза и помолчавъ, сказалъ:

— Передъ вами лгать не стану—нѣтъ!

— Я это зналъ. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбѣ. Вы должны будете всякій день, во всю вашу жизнь, всенародно, громко лгать, измѣнять истинѣ; вѣдь, это-то и есть грѣхъ противъ св. Духа, грѣхъ сознательный, обдуманый. Станетъ ли васъ на то, чтобъ сладить съ такимъ раздвоеніемъ? Все ваше обществен-

ное положеніе будетъ неправдой. Какими глазами вы встрѣтите взглядъ усердно молящагося, какъ будете утѣшать умирающаго раемъ и безсмертіемъ, какъ отпускать грѣхи? А еще тутъ васъ заставляютъ убѣждать раскольниковъ, судить ихъ!

— Это ужасно! ужасно! сказалъ молодой чѣловѣкъ и ушелъ взволнованный и разтросенный.

На другой день вечеромъ онъ возвратился.

— Я къ вамъ пришелъ за тѣмъ, сказалъ онъ, чтобъ сказать, что я очень много думалъ о вашихъ словахъ. Вы совершенно правы; духовное званіе мнѣ невозможно, и будьте увѣрены, я скорѣе пойду въ солдаты, чѣмъ позволю себя постричь въ священники.

Я горячо пожалъ ему руку и общалъ, съ своей стороны, когда время придетъ, уговорить, насколько могу, его отца.

Вотъ и я на свой пай спасъ душу живу, по крайней мѣрѣ, споспѣвовалъ къ ея спасенію.

Философское направленіе студентовъ я могъ видѣть ближе. Весь курсъ 1845 года ходилъ я на лекціи сравнительной анатоміи. Въ аудиторіи и въ анатомическомъ театрѣ я познакомился съ новымъ поколѣніемъ юношей.

Направленіе занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е., положительно научное. Замѣчательно, что таково было направленіе почти всѣхъ царскосельскихъ лицестовъ. Лицей, выведенный изъ прекрасныхъ садовъ своихъ, оставался еще тѣмъ же великимъ разсадникомъ талантовъ; завѣщаніе Пушкина, благословеніе поэта, пережило удары власти.

Съ радостью привѣтствовалъ я въ лицествахъ, бывшихъ въ московскомъ университетѣ, новое, сильное поколѣніе.

Вотъ эта-то университетская молодежь, со всѣмъ нетерпѣніемъ и пыломъ юности преданная вновь открывшемуся передъ ними свѣту реализма, съ его здоровымъ румянцемъ, разглядѣла, какъ я сказалъ, въ чемъ мы расходились съ Грановскимъ. Страстно любя его, они начинали возставать противъ его «романтизма». Они хотѣли непременно, чтобъ я склонилъ его на нашу сторону, считая Бѣлинскаго и меня представителями ихъ философскихъ мнѣній.

Такъ насталъ 1846 г. Грановскій началъ новый публичный курсъ. Вся Москва опять собралась около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая рѣчь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлеченья, которое было въ первомъ курсѣ, не доставало, будто онъ усталъ, или какая-то мысль, съ которой онъ еще не сладилъ, занимала его, мѣшала ему. Это такъ и было, какъ мы увидимъ гораздо позже.

На одной изъ этихъ-то лекцій, въ мартѣ мѣсяцѣ, кто-то изъ

нашихъ общихъ знакомыхъ прибѣжать сломя голову сказать о прїѣздѣ изъ чужихъ краевъ Огарева и С.

Мы не видались нѣсколько лѣтъ и очень рѣдко переписывались... Что-то они... какъ?... Съ сильно бьющимся сердцемъ бросились мы съ Грановскимъ къ Яру, гдѣ они остановились. Ну, вотъ они наконецъ,—и какъ перемѣнились и какая борода—и не видались нѣсколько лѣтъ... Мы принялись смотрѣть вздоръ, говорить вздоръ, хоть и чувствовалось, что хотѣлось говорить другое.

Наконецъ, нашъ маленькій кругъ былъ почти весь въ сборѣ,—теперь-то заживемъ.

Лѣто 1845 года мы жили на дачѣ въ Соколовѣ. Соколово, это—красивый уголокъ Московскаго уѣзда, верстъ двадцать отъ города по тверской дорогѣ. Мы нанимали тамъ небольшой господскій домъ, стоявшій почти совсѣмъ въ паркѣ, который спускался подъ гору къ небольшой рѣчкѣ. Съ одной стороны его стлалось наше великороссійское море нивъ; съ другой—открывался прекрасный видъ въ даль, почему хозяинъ и не преминулъ назвать бесѣдку, поставленную тамъ, «Бельвию».

Соколово нѣкогда принадлежало графамъ Румянцовымъ. Богатые помѣшники, аристократы XVIII столѣтія, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своимъ наслѣдникамъ. Старинныя барскія села и усадьбы по Москвѣ-рѣкѣ необыкновенно хороши, особенно тѣ, въ которыхъ два послѣднихъ поколѣнія ничего не поправляли и не переначивали.

Прекрасно провели мы тамъ время. Никакое серьезное облако не застилало лѣтняго неба; много работая и много гуляя, жили мы въ нашемъ паркѣ. К. меньше ворчалъ, хотя иной разъ и случалось ему забирать брови очеръ высоко и говорить крупныя рѣчи съ сильной мимикой. Грановскій и Е. прїѣзжали почти всякую недѣлю въ субботу и оставались ночевать, а иногда уѣзжали ужъ въ понедѣльникъ. М. С. нанималъ неподалеку другую дачу. Часто приходилъ и онъ пѣшкомъ, въ шляпѣ съ широкими полями и въ бѣломъ сюртукѣ, какъ Наполеонъ въ Лонгвудѣ, съ кузовкомъ набранныхъ грибовъ, шутилъ, пѣлъ малороссійскія пѣсни и морилъ со смѣху своими разсказами, отъ которыхъ, я думаю, самъ Іоаннъ Кручинникъ, точившій всю жизнь слезы о грѣхахъ міра сего, сталъ бы ихъ точить отъ хохота...

Сидя дружной кучкой въ углу парка подъ большой липой, мы бывало жалѣли только объ одномъ, объ отсутствіи Огарева. Ну, вотъ и онъ, и въ 1846 году мы ѣдемъ снова въ Соколово и онъ съ нами; Грановскій нанялъ на все лѣто небольшой флигель; Огаревъ помѣстился въ антресоляхъ надъ управляющимъ, флотскимъ маіоромъ безъ уха.

И со все́мъ этимъ, черезъ двѣ-три недѣли неопредѣленное чувство мнѣ подсказало, что наша villeggiatura не удалась и что этого не поправишь. Кому не случалось готовить пиръ за-ранѣе, радуясь будущему веселью друзей, и вотъ они являются; все идетъ хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идетъ, когда не чувствуешь, какъ кровь по жиламъ течетъ, и не думаешь, какъ легкія поднимаются. Если каждый толчекъ отдается, того и смотри, явится боль, диссонансъ, съ которымъ не всегда сладишь.

Первое время послѣ пріѣзда друзей прошло въ чаду и одушевленіи праздниковъ; не успѣли они миновать, какъ занемогъ мой отецъ. Его кончина, хлопоты, дѣла,—все это отвлекало отъ теоретическихъ вопросовъ. Въ тиши соколовской жизни, наши разногласія должны были придти къ слову.

Огаревъ, не видѣвшій меня года четыре, былъ совершенно въ томъ направленіи, какъ я. Мы разными путями прошли тѣ же пространства и очутились вмѣстѣ. Къ намъ присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взглядъ подавляющіе выводы наши не пугали ее, она имъ придавала особый поэтической отблескъ.

Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладовъ. Разъ мы обѣдали въ саду. Грановскій читалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* одно изъ моихъ писемъ объ изученіи природы (помнится, объ *Энциклопедистахъ*) и былъ имъ чрезвычайно доволенъ.

— Да что же тебѣ нравится, спросилъ я его,—неужели одна наружная отдѣлка? Съ внутреннимъ смысломъ его ты не можешь быть согласенъ.

— Твои мнѣнія, отвѣтилъ Грановскій,—точно такъ же историческій моментъ въ наукѣ мышленія, какъ и самыя писанія энциклопедистовъ. Мнѣ въ твоихъ статьяхъ нравится то, что мнѣ нравится въ Вольтерѣ или Дидро; они живо, рѣзко затрогиваютъ такіе вопросы, которые будятъ чело́вѣка и толкаютъ впередъ; ну, а во все́й односторонности твоего воззрѣнія я не хочу вдаваться. Развѣ кто-нибудь говоритъ теперь о теоріяхъ Вольтера?

— Неужели же нѣтъ никакого мѣрила истины, и мы будимъ людей только для того, чтобы имъ сказать пустяки?

Такъ продолжался довольно долго разговоръ. Наконецъ, я замѣтилъ, что развитіе науки, что современное состояніе ея *обязываетъ насъ* къ принятію кой-какихъ истинъ, независимо отъ того, хотимъ мы или нѣтъ; что однажды узнанныя, онѣ перестаютъ быть историческими загадками, а дѣлаются просто неопровержимыми фактами сознанія, какъ Евклидовы теоремы, какъ Кеп-

лёровы законы, какъ нераздѣльность причины и дѣйствія, духа и матеріи.

— Все это такъ мало обязательно, возразилъ Грановскій, слегка измѣнившись въ лицѣ, что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тѣла и духа, съ ней исчезаетъ безсмертіе души. Можетъ, вамъ его ненадобно, но я слишкомъ много схоронилъ, чтобъ поступиться этой вѣрой. Личное безсмертіе мнѣ необходимо.

— Славно было бы жить на свѣтѣ, сказалъ я, если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчасъ и было бы тутъ какъ тутъ, на манеръ сказокъ.

— Подумай, Грановскій, прибавилъ Огаревъ,—вѣдь, это своего рода бѣгство отъ несчастья.

— Послушайте, возразилъ Грановскій, блѣдный и придавая себѣ видъ посторонняго, вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить объ этихъ предметахъ, мало ли есть вещей занимательныхъ, и о которыхъ толковать гораздо полезнѣе и пріятнѣе.

— Изволь, съ величайшимъ удовольствіемъ!—сказалъ я, чувствуя холодъ на лицѣ. Огаревъ промолчалъ. Мы вѣкъ взглянули другъ на друга и этого взгляда было совершенно достаточно; мы вѣкъ слишкомъ любили другъ друга, чтобъ по выраженію лицъ не вымѣрить вполне, что произошло. Ни слова больше, споръ не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дѣти, всегда выручающіе въ этихъ случаяхъ, послужили предметомъ разговора, и обѣдъ кончился такъ мирно, что посторонній, который бы пришелъ послѣ разговора, не замѣтилъ бы ничего...

Послѣ обѣда Огаревъ бросился на своего Кортика, я сѣлъ на выслужившую свои лѣта жандармскую клячу, и мы выѣхали въ поле. Точно кто-нибудь близкій умеръ, такъ было тяжело; до сихъ поръ, Огаревъ и я, мы думали, что сладимъ, что дружба наша сдуетъ разногласіе какъ пыль; но тонъ и смыслъ послѣднихъ словъ открывалъ между нами даль, которой мы не предполагали. Такъ вотъ она межа—предѣлъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ цензура! Всю дорогу ни Огаревъ, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой, и оба въ одинъ голосъ сказали: «И такъ, видно мы опять одни?»

Огаревъ взялъ тройку и поѣхалъ въ Москву, на дорогѣ сочинилъ онъ небольшое стихотвореніе, изъ котораго я взялъ эпиграфъ.

... Ни скорбь, ни скука  
Не утомятъ меня. Всему свой срокъ,  
Я правды рѣчь вѣдь строго въ дружномъ кругѣ,  
Ушли друзья въ младенческомъ испугѣ.

И онъ ушелъ — котораго, какъ брата  
Иль какъ сестру, такъ нѣжно я люблю!

.....  
Опять одни мы въ грустный путь пойдемъ,  
Объ истинѣ глася неутомимо,  
И пусть мечты и люди идутъ мимо...

Съ Грановскимъ я встрѣтился на другой день какъ ни въ чемъ не бывало, дурной признакъ съ обѣихъ сторонъ. Боль еще была такъ жива, что не имѣла словъ; а нѣмая боль, не имѣющая пехода, какъ мышь середъ тишины, перегрызаетъ нить за нитью...

Дни черезъ два я былъ въ Москвѣ. Мы поѣхали съ Огаревымъ къ Е. К. Онъ былъ какъ-то предупредительно любезенъ, грустно миль съ нами, будто ему насъ жаль. Да что же это такое, точно мы сдѣлали какое-нибудь преступленіе? Я прямо спросилъ Е. К., слышалъ ли онъ о нашемъ спорѣ? Онъ слышалъ; говорилъ, что мы все слишкомъ погорячились изъ-за отвлеченныхъ предметовъ; доказывалъ, что того идеальнаго тождества между людьми и мифіями, о которыхъ мы мечтаемъ, вовсе нѣтъ, что симпатіи людей, какъ химическое сродство, имѣютъ свой предѣлъ насыщенія, черезъ который переходить нельзя, не наткнувшись на тѣ стороны, въ которыхъ люди становятся вновь посторонними. Онъ шутилъ надъ нашей молодостью, пережившей тридцать лѣтъ, и все это онъ говорилъ съ дружбой, съ деликатностью,—видно было, что и ему не легко.

Мы разстались мирно. Я, не много краснѣя, думалъ о моей «наивности», а потомъ, когда остался одинъ и легъ въ постель, мнѣ показалось, что еще кусокъ сердца отхватили—ловко, безъ боли, но его нѣтъ!

Далѣе не было ничего... а только все подернулось чѣмъ-то темнымъ и матовымъ; непринужденность, полный abandon исчезли въ нашемъ кругѣ. Мы сдѣлались внимательнѣе, обходили нѣкоторые вопросы, т. е., дѣйствительно отступили на «границу химическаго сродства», и все это приносило тѣмъ больше горечи и боли, что мы искренно и много любили другъ друга.

Можетъ, я былъ слишкомъ нетерпимъ, заносчиво спорилъ, колко отвѣчалъ... можетъ быть... но въ сущности, я и теперь убѣжденъ, что въ дѣйствительно близкихъ отношеніяхъ тождество *religii* необходимо, тождество въ главныхъ теоретическихъ убѣжденіяхъ. Разумѣется, одного теоретическаго согласія недостаточно для близкой связи между людьми; я былъ ближе по симпатіи, напр., съ И. В. Кирѣевскимъ, чѣмъ съ многими изъ нашихъ. Еще больше, можно быть хорошимъ и вѣрнымъ союзникомъ, схо-



дѣсь въ какомъ-нибудь опредѣленномъ дѣлѣ и расходѣсь въ мнѣніяхъ; въ такомъ отношеніи я былъ съ людьми, которыхъ безконечно уважалъ, не соглашаясь въ многомъ съ ними, напр., съ Мацини, съ Ворцелемъ. Я не искалъ ихъ убѣдить, ни они меня, у насъ довольно было общаго, чтобы идти, не ссорясь, по одной дорогѣ. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнью, нельзя было такъ глубоко расходиться.

Еще бы у насъ было неминуемое дѣло, которое бы насъ совершенно поглощало, а то вѣдь, собственно, вся наша дѣятельность была въ сферѣ мысленія и пропаганды нашихъ убѣждений... Какіе же могли быть уступки на этомъ полѣ?..

Трещина, которую дала одна изъ стѣнъ нашей дружеской хранины, увеличилась, какъ всегда бываетъ, мелочами, недоразумѣніями, ненужной откровенностью тамъ, гдѣ лучше было бы молчать,—и вреднымъ молчаніемъ тамъ, гдѣ необходимо было говорить; эти вещи рѣшаютъ одинъ тактъ сердца, тутъ нѣтъ правилъ.

Вскорѣ и въ дамскомъ обществѣ все разладилось...

На ту минуту нечего было дѣлать.

Ѣхать — ѣхать вдаль, надолго, непременно ѣхать! Но ѣхать было не легко. На ногахъ была веревка полицейскаго надзора и *безъ* разрѣшенія—заграничнаго паспорта мнѣ выдать было невозможно.

---

### ГЛАВА XXXIII.

Частный приставъ въ должности камердинера.—Оберъ-полицмейстеръ Кошкинъ.—«Безпорядокъ въ порядкѣ». — Еще разъ Дуббельтъ.—Паспортъ.

... За нѣсколько мѣсяцевъ до кончины моего отца, графъ Орловъ былъ назначенъ на мѣсто Бенкендорфа. Я написалъ тогда къ Ольгѣ Александровнѣ, не можетъ ли она мнѣ выхлопотать заграничнаго пасса или какой-нибудь видъ для пріѣзда въ Петербургъ, чтобы самому достать его. О. А. отвѣчала, что второе легче, и я получилъ черезъ нѣсколько дней отъ Орлова «высочайшее» разрѣшеніе пріѣхать въ Петербургъ на короткое время для устройства дѣлъ. Болѣзнь моего отца, его кончина, дѣйствительное устройство дѣлъ и нѣсколько мѣсяцевъ на дачѣ задержали меня до зимы. Въ концѣ ноября я отправился въ Петербургъ, предварительно подавъ просьбу генералъ-губернатору о пассѣ. Я зналъ, что онъ не могъ разрѣшить, потому что я все еще былъ подѣ *строгимъ* надзоромъ полиціи, мнѣ хотѣлось одного, чтобы онъ послалъ запросъ въ Петербургъ.

Въ день отъѣзда, я утромъ послалъ взять билетъ изъ полиціи, но вмѣсто билета явился квартальный сказать, что есть какіи-то затрудненія и что самъ частный приставъ будетъ ко мнѣ. Приѣхалъ и онъ, и, попросивши, чтобъ я остался съ нимъ наединѣ, онъ таинственно объявилъ мнѣ новость, что мнѣ пять лѣтъ тому назадъ въѣздъ въ Петербургъ запрещенъ, и что безъ высочайшаго повелѣнія онъ билета не подпишетъ.

— За этимъ у насъ дѣло не станетъ, сказалъ я смѣясь, и вынулъ изъ кармана письмо.

Частный приставъ, сильно удивленный, прочитавъ, попросилъ дозволеніе показать оберъ-полицмейстеру и часа черезъ два прислалъ мнѣ билетъ и мою бумагу.

Надобно сказать, что половину разговора мой приставъ велъ на необыкновенно очищенномъ французскомъ языкѣ. Насколько вредно частному приставу и вообще русскому полицейскому знать по-французски, онъ испыталъ очень горько.

За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, приѣхалъ въ Москву съ Кавказа какой-то путешественникъ, легитимистъ шевалье Про. Онъ былъ въ Персіи, въ Грузіи, много видѣлъ и имѣлъ неосторожность сильно критиковать тогдашнія военныя дѣйствія на Кавказѣ и особенно администрацію. Боясь, что Про будетъ тоже говорить въ Петербургѣ, генералъ-губернаторъ кавказскій благоразумно написалъ военному министру, что Про преопасный военный агентъ со стороны французскаго правительства. Про жилъ преспокойно въ Москвѣ и былъ хорошо принятъ княземъ Д. В. Голицынымъ; какъ вдругъ князь получилъ приказъ отправить его съ полицейскимъ чиновникомъ изъ Москвы за границу. Сдѣлать такую глупость и такую грубость надъ знакомымъ всегда труднѣе, и потому Голицынъ, помявшійся дни два, пригласилъ къ себѣ Про и послѣ краснорѣчиваго вступленія, наконецъ, сказалъ ему, что какіе-то доносы, вѣроятно съ Кавказа, дошли до государя и что онъ приказалъ ему оставить Россію, что, впрочемъ, даже ему дадутъ провожатаго...

Про, разсерженный, замѣтилъ князю, что такъ какъ правительство имѣетъ право высылать, то онъ ѣхать готовъ, но провожатаго не возьметъ, не считая себя преступникомъ, котораго слѣдуетъ конвоировать.

На другой день, когда полицмейстеръ приѣхалъ къ Про, тотъ его встрѣтилъ съ пистолетомъ въ рукѣ, объявляя наотрѣзъ, что онъ ни въ комнату, ни въ свою коляску не пуститъ полицейскаго, не пославши ему пули въ лобъ, если тотъ захочетъ употребить силу.

Голицынъ былъ вообще очень порядочный человѣкъ и потому затрудненъ; онъ послалъ за Вейеромъ, французскимъ кон-

судомъ, чтобъ посоветоваться, какъ быть. Вейеръ нашелъ ex-re-dient, онъ потребовалъ полицейскаго, хорошо говорящаго по-французски, и обѣщалъ его представить Про, какъ путешественника, просящаго уступитъ ему мѣсто въ коляскѣ Про за половину про-гоновъ.

Съ первыхъ словъ Вейера Про догадался, въ чемъ дѣло.

— Я не торгую мѣстами въ моей коляскѣ, сказалъ онъ консулу.

— Человѣкъ этотъ будетъ въ отчаяніи.

— Хорошо, сказалъ Про, — я его беру даромъ, за это пусть онъ возьметъ на себя маленькія услуги, — да не капризникъ-ли это какой? Я его тогда брошу на дорогѣ.

— Самый услужливый въ мірѣ человѣкъ, вы просто расно-ряжайтесь имъ. Я васъ благодарю за него. И Вейеръ поскакалъ къ князю Голицыну объявить о своемъ торжествѣ.

Вечеромъ Про и bona fide traveller отправились. Про молчалъ всю дорогу; на первой станціи онъ взошелъ въ комнату и легъ на диванъ.

— Эй! закричалъ онъ товарищу, подите сюда, снимите сапоги.

— Что вы, помилуйте, съ какой стати?

— Вамъ говорятъ, снимите сапоги, или я васъ брошу на до-рогѣ, вѣдь я не держу васъ.

Снялъ мой полицейскій офицеръ сапоги...

— Вытрясите ихъ и вычистите.

— Это изъ рукъ вонъ!

— Ну, оставайтесь!..

Вычистилъ офицеръ сапоги.

На слѣдующей станціи та-же исторія съ платьемъ, и такъ Про тормошилъ его до самой границы.

На третій день послѣ моего приѣзда въ Петербургъ, дворникъ пришелъ спросить отъ квартальнаго, «по какому виду я приѣхалъ въ Петербургъ?» Единственный видъ, бывший у меня, указъ объ отставкѣ, былъ мною представленъ генераль-губернатору при просьбѣ о пассѣ. Я далъ дворнику билетъ, но дворникъ возвра-тился съ замѣчаніемъ, что билетъ годенъ для выѣзда изъ Москвы, а не для вѣзда въ Петербургъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ пришелъ по-лицейскій съ приглашеніемъ въ канцелярію оберъ-полицмейстера. Отправился я въ канцелярію Кокошкина (днемъ освѣщенную лампами!), черезъ часъ времени онъ приѣхалъ. Кокошкинъ лучше другихъ лицъ того же разбора выражалъ чернорабочаго времен-щика, безъ совѣсти, безъ размысленія, — онъ служилъ и нажи-вался такъ же естественно, какъ птицы поютъ.

Перовскій сказалъ Николаю, что Кокошкинъ сильно беретъ взятки. «Да, отвѣчалъ Николай, но я сплю спокойно, зная, что онъ полицмейстеромъ въ Петербургѣ».

Я посмотрѣлъ на него, пока онъ толковалъ съ другими... какое измятое, старое и дряхло-растлѣнное лицо; на немъ былъ запытой парикъ, который вопіюще противурѣчилъ онустившимся чертамъ и морщинамъ.

Поговоривши съ какими-то нѣмками по-нѣмецки и притомъ съ какой-то фамиліарностью, показывавшей, что это старыя знакомыя, что видно было и изъ того, что нѣмки хохотали и шушукались, Кокоскинъ подошелъ ко мнѣ и, смотря внизъ, довольно грубымъ голосомъ спросилъ:

— Вѣдь, вамъ высочайше запрещенъ вѣздъ въ Петербургъ?

— Да, но я имѣю разрѣшеніе.

— Гдѣ оно?

— У меня.

— Покажите—какъ же, вы это второй разъ пользуетесь, тѣмъ же разрѣшеніемъ?

Какъ во второй разъ?

— Я помню, что вы пріѣзжали.

— Я не пріѣзжалъ.

— И какія это у васъ дѣла здѣсь?

— У меня есть дѣло къ графу Орлову.

— Что-же, вы были у графа?

— Нѣтъ, но былъ въ третьемъ отдѣленіи.

— Видѣли Дуббельта?

— Видѣлъ.

— А я вчера видѣлъ самого Орлова, онъ говоритъ, что никакого разрѣшенія вамъ не посылалъ.

— Оно у васъ въ рукахъ.

— Богъ знаетъ когда это писано, и время прошло.

— Впрочемъ, странно было бы съ моей стороны пріѣхать безъ позволенія и начать съ визита генералу Дуббельту.

— Коли не хотите хлопотъ, такъ извольте отправляться назадъ и то не дальше какъ черезъ двадцать четыре часа.

— Я вовсе не располагался пробыть здѣсь долго, но мнѣ нужно же подождать отвѣта графа Орлова.

— Я вамъ не могу позволить, да и графъ Орловъ очень недоволенъ, что вы пріѣхали безъ позволенія.

— Позвольте мнѣ мою бумагу, я сейчасъ поѣду къ графу.

— Она должна остаться у меня.

— Да, вѣдь, это письмо ко мнѣ, на мое имя, единственный документъ, по которому я здѣсь.

— Бумага останется у меня какъ доказательство, что вы были въ Петербургѣ. Я вамъ серьезно совѣтую завтра ѣхать, чтобъ не было хуже.

Онъ кивнулъ головой и вышелъ. Вотъ тутъ и толкуй съ ними.

У старика генерала Тучкова былъ процессъ съ казной. Староста его взялъ какой-то подрядъ, наплутовалъ и попался подъ начеть. Судъ велѣлъ взыскать деньги съ помѣщика, давняго довѣренность старостѣ. Но довѣренности на этотъ предметъ вовсе не было дано. Тучковъ такъ и отвѣчалъ. Дѣло пошло въ сенатъ. Сенатъ снова рѣшилъ: «Такъ какъ отставной генераль-лейтенантъ Тучковъ далъ довѣренность... то...» На что Тучковъ опять отвѣчалъ: «А такъ какъ генераль-лейтенантъ Тучковъ довѣренности на этотъ предметъ не давалъ, то...» Прошелъ годъ, снова полиція объявляетъ съ строжайшимъ подтвержденіемъ: «Такъ какъ генераль-лейтенантъ... то...», и опять старикъ пишетъ свой отвѣтъ. Не знаю, чѣмъ это интересное дѣло кончилось. Я оставилъ Россію, не дождавшись рѣшенія.

Все это вовсе не исключеніе, а совершенно нормально. Коконкинъ держитъ въ рукахъ бумагу, въ достовѣрности которой не сомнѣвается, на которой стоитъ № и число для легкой справки, въ которой написано, что мнѣ разрѣшается прїѣздъ въ Петербургъ, и говоритъ: «А такъ какъ вы прїѣхали безъ позволенія, то отправляйтесь назадъ», и бумагу кладетъ въ карманъ.

Чаадаевъ дѣйствительно правъ, говоря объ этихъ господахъ: «Какіе они всѣ шалуны!»

Я поѣхалъ въ III отдѣленіе и разсказалъ Дуббельту, что было. Дуббельтъ расхохотался.

— Какъ это они вѣчно все перепутаютъ! Коконкинъ доложилъ графу, что вы прїѣхали безъ позволенія, графъ и сказалъ, чтобъ васъ выслали, но я потомъ объяснилъ дѣло; вы можете жить, сколько хотите, я сейчасъ вслю написать въ полицію. Но теперь объ вашемъ дѣлѣ графъ не думаетъ, чтобъ полезно было просить вамъ позволеніе ѣхать за границу. Государь вамъ два раза отказалъ, послѣдній разъ по просьбѣ графа Строгонова; если онъ откажетъ въ третій разъ, то въ это царствованіе вы ужъ, конечно, не поѣдете къ *водамъ*.

— Что же мнѣ дѣлать? спросилъ я съ ужасомъ, такъ мысль путешествія и воли обжигалась въ моей груди.

— Отправляйтесь въ Москву: графъ напишетъ генераль-губернатору частное письмо о томъ, что вы желаете для здоровья вашей супруги ѣхать за границу, и спроситъ его, замѣтивъ, что знаетъ васъ съ самой лучшей стороны, думаетъ-ли онъ, что можно съ васъ снять надзоръ? На такой вопросъ нечего отвѣчать, кромѣ «да». Мы представимъ государю о снятіи надзора, тогда берите себѣ паспортъ какъ всѣ другіе и съ Богомъ къ какимъ хотите *водамъ*.

Мнѣ казалось все это чрезвычайно сложнымъ и даже просто уловкой, чтобъ отдѣлаться отъ меня. Отказать мнѣ они не могли,

это навлекло бы на нихъ гоненіе Ольги Александровны, у которой я бываю всякой день. Однажды уѣхавши изъ Петербурга, я не могъ еще разъ пріѣхать; переписываться съ этими господами дѣло трудное. Долою моихъ сомнѣній я сообщилъ Дуббельту: онъ началъ хмуриться, т. е., еще больше улыбаться ртомъ и щурить глазами.

— Генераль, сказали я въ заключеніе, не знаю, а мнѣ даже не вѣрится, что до государя дошло представленіе Строгонова?

Дуббельтъ позвонилъ и велѣлъ подать «дѣло» обо мнѣ и, ожидая его, добродушно сказалъ мнѣ:

— Графъ и я, мы предлагаемъ вамъ тотъ путь для полученія паспорта, который мы считаемъ вѣрнѣйшимъ; ежели у васъ есть средства болѣе вѣрныя, употребите ихъ, вы можете быть увѣрены, что мы вамъ не помѣшаемъ.

— Леонтій Васильевичъ совершенно правъ, замѣтилъ какой-то гробовой голосъ; я обернулся, возлѣ меня стоялъ еще болѣе сѣдой и состарившійся Сахтынский, который принималъ меня пять лѣтъ тому назадъ въ томъ же III отдѣленіи.

— Я вамъ *совѣтую* руководствоваться его мнѣніемъ, если хотите ѣхать.

И поблагодарилъ его.

— А вотъ и дѣло, сказалъ Дуббельтъ, принимая толстую тетрадь изъ рукъ чиновника (что бы я далъ—прочесть ее всю! Въ 1850 г. я видѣлъ въ кабинетѣ Карлье мой «досье» въ Парижѣ; интересно было бы сличить); порывшись въ ней, онъ мнѣ ее подалъ раскрытую; это была докладная записка Бенкендорфа велѣдствіе письма Строгонова, просившаго мнѣ разрѣшеніе ѣхать на шесть мѣсяцевъ къ водамъ въ Германію. На полѣ было крупно написано карандашемъ «рано», но карандашу было проведено лакомъ, внизу написано было перомъ: «рукою е. н. в. написано *рано*. Графъ А. Бенкендорфъ».

— Вѣрите теперь? спросилъ Дуббельтъ.

— Вѣрю, отвѣчалъ я,—и такъ вѣрю вашимъ словамъ, что завтра же ѣду въ Москву.

— Да вы, пожалуй, погуляйте у насъ, полиція теперь васъ беспокоить не будетъ, а передъ отъѣздомъ заѣзжайте, я велю вамъ показать письмо къ Щербатову. Прощайте, bon voyage, если не увидимся.

— Счастливаго пути, прибавилъ Сахтынский.

Мы разстались, какъ видите, пріятельски.

Пріѣхавъ домой, я нашелъ приглашеніе отъ частнаго пристава, кажется, II адмиралтейской части. Онъ меня спрашивалъ, когда я выѣзжаю.

— Завтра вечеромъ.

— Помилуйте, да кажется, я думалъ... генераль говорилъ сегодншняго числа. Его превосходительство, конечно, отерочить, но позвольте быть удостовѣрену?

— Можете, можете; кетати дайте мнѣ билетъ.

— И его напишу въ части и пришло часа черезъ два. Въ какомъ заведеніи изволите ѣхать?

— Въ Серанинскомъ, если найду мѣсто.

— И прекрасно, а въ случаѣ, если мѣста не найдете, благоволите сообщить.

— Съ удовольствіемъ.

Вечеромъ опять явился квартальный: частный приставъ велѣлъ мнѣ сказать, что *не можетъ* выдать мнѣ билета, а чтобъ я пришелъ завтра въ *восемь часовъ* утра къ оберъ-полицмейстеру.

Что за пропасть такая и что за скука! Въ 8 часовъ я не пошелъ, а въ продолженіи утра явился въ канцелярію. Частный приставъ былъ тамъ и сказалъ мнѣ:

— Вамъ нельзя ѣхать есть бумага изъ III отдѣленія.

— Что случилось?

— Не знаю, генераль не велѣлъ выдавать билета.

— Правитель дѣлъ знаетъ?

— Какъ не знать, и онъ мнѣ указалъ полковника въ мундирѣ и саблѣ, сидѣвшаго за большимъ столомъ въ другой комнатѣ, я спросилъ его, въ чемъ дѣло.

— Точно-съ, сказалъ онъ, была бумага, да вотъ она,—онъ прочиталъ ее и подаль мнѣ. Дуббельтъ писалъ, что я имѣлъ полное право пріѣхать въ Петербургъ и могу остаться, *сколько хочу*.

— Поэтому-то вы меня не пускаете? Извините, я не могу удержаться отъ смѣха: вчера оберъ-полицмейстеръ гналъ меня отсюда противъ моей воли, сегодня противъ моей воли оставляетъ, и все это на томъ основаніи, что въ бумагѣ сказано, что я могу остаться, *сколько хочу*.

Дѣло было такъ очевидно, что самъ полковникъ-секретарь расхохотался.

— На что-же я брошу деньги за два мѣста въ дилижансѣ, велите, пожалуйста, написать билетъ.

— Я не могу, а пойду доложить генералу.—Кокошкинъ велѣлъ написать билетъ и, проходя по канцеляріи, съ упрекомъ сказалъ мнѣ:

— На что это похоже, то хотите остаться, то ѣдете; вѣдь, сказано, что можете остаться.

Я ему ничего не отвѣчалъ.

Когда вечеромъ мы выѣхали изъ-за заставы и я снова увидѣлъ безконечную поляну, тянувшуюся къ Четыремъ Рукамъ, я посмотрѣлъ на небо и искренно присягнуть себѣ не возвращаться



въ этотъ городъ канцелярскаго безпорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзіи, въ которомъ учтивъ одинъ Дуббельтъ да и тотъ начальникъ III отдѣленія.

Щербатовъ неохотно отвѣчалъ Орлову. У него тогда былъ секретаремъ не полковникъ, а піэтистъ, ненавидѣвшій меня за мои статьи, какъ «аосъ и гегельянца». Я самъ ѣздилъ толковать съ нимъ. Схи-секретарь елейнымъ голосомъ и съ христіанскимъ помазаніемъ говорилъ, что генераль-губернатору ничего неизвѣстно обо мнѣ, что онъ въ моихъ высокихъ нравственныхъ качествахъ не сомнѣвается, но что слѣдуетъ забрать справки у оберъ-полицмейстера. Онъ хотѣлъ затянуть дѣло; къ тому же этотъ господинъ не бралъ взятка. Въ русской службѣ всего страшнѣе безкорыстные люди; взятка у насъ наивно не берутъ только иѣмцы, а если русскій не беретъ деньгами, то беретъ чѣмъ-нибудь другимъ и ужъ такой злодѣй, что не приведи Богъ. По счастью, оберъ-полицмейстеръ Лужинъ одобрилъ меня.

Дней черезъ десять, возвращаясь домой, я въ дверяхъ столкнулся съ жандармомъ. Появленіе полицейскаго въ Россіи равняется черепицѣ, упавшей на голову, и потому не безъ особенно непріятнаго чувства ждалъ я, что онъ мнѣ скажетъ: онъ подалъ мнѣ пакетъ. Графъ Орловъ извѣщалъ о высочайшемъ повелѣніи снять надзоръ. Съ тѣмъ вмѣстѣ я получалъ право на *заграничный* паспортъ.

Ну, радуйтесь! Я отпущенъ!  
Я отпущенъ въ страны чужія!  
Да это, полно-ли, не сонъ?  
Нѣтъ, завтра-жъ кони почтовые,  
И я скачу vom Ort zu Ort,  
Отдавши деньги за паспортъ.  
Поѣду. Что-то будетъ тамъ?...  
Не знаю! вѣрю! но темно  
Грядущее передъ очами,  
Богъ вѣсть, что мнѣ сулитъ оно!  
Стою со страхомъ предъ дверями  
Европы. Сердце такъ полно  
Надеждой, смутными мечтами,  
Но я въ сомнѣніи, другъ мой,  
Качая грустной головой. (Юморъ, ч. II).

...«Шесть, семь троекъ провожали насъ до Черной Грязи... мы тамъ въ послѣдній разъ сдвинули стаканы и рыдая разстались.

«Былъ ужъ вечеръ, возокъ заскрипѣлъ по снѣгу... Вы смотрѣли печально вслѣдъ, но не догадывались, что то были похороны и вѣчная разлука. Всѣ были налицо, одного только не доставало, ближайшаго изъ близкихъ, онъ одинъ былъ боленъ и какъ будто своимъ отсутствіемъ омылъ руки въ моемъ отъѣздѣ.

«Это было 21 января, 1847 года».....

...Унтеръ-офицеръ отдалъ мнѣ насаы; небольшой, старый солдатъ въ неуклюжемъ киверѣ, покрытомъ клеенкой, и съ ружьемъ неимоверной величины и тяжести, поднялъ шлагбаумъ; уральскій казакъ съ узенькими глазками и широкими скулами, державшій поводья своей небольшой лошаденьки, шершавой, растрепанной и сплошь украшенной ледянными сосульками, подошелъ ко мнѣ «пожелать счастливаго пути»; грязной, худой и блѣдный жиденокъ ямщикъ, у котораго шея была обвернута раза четыре какими-то тряпками, взбирался на козлы.

— Прощайте! Прощайте! говорилъ во-первыхъ намъ старый знакомецъ Карлъ Ивановичъ, проводившій насъ до Таурогена, и кормилица Таты, красивая крестьянка, заливавшаяся слезами.

Жиденокъ тронулъ коней, возокъ двинулся, я смотрѣлъ назадъ, шлагбаумъ опустился, вѣтеръ мель снѣгъ изъ Россіи на дорогу, поднимая какъ-то вкося хвостъ и гриву казацкой лошади.

Кормилица въ сарафанѣ и душегрѣйкѣ все еще смотрѣла намъ влѣдъ и плакала; Зоненбергъ, этотъ образчикъ родительскаго дома, эта забавная фигура изъ дѣтскихъ лѣтъ, махалъ фуляромъ; кругомъ—безконечная степь снѣгу.

— Прощай, Татьяна! Прощайте, Карлъ Ивановичъ!

Вотъ столбъ и на немъ обсыпанный снѣгомъ *одноглавый* и худой орелъ съ растопыренными крыльями.

Прощайте!

# ПРИБАВЛЕНІЕ

КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

„Былого и Думъ“.

Н. Х. К.

(1842—1847).

Мнѣ приходится говорить о К. опять, и на этотъ разъ гораздо подробнѣе. Возвратившись изъ ссылки, я засталъ его по прежнему въ Москвѣ. Онъ, впрочемъ, до того сросся и сжился съ Москвой, что я не могу себѣ представить Москву безъ него, или его въ какомъ-нибудь другомъ городѣ. Какъ-то онъ попробовалъ перебраться въ Петербургъ, но не выдержалъ шести мѣсяцевъ, бросилъ свое мѣсто и снова явился на берега Неглинной, въ кофейной Бажанова, проповѣдывать вольный образъ мыслей офицерамъ, играющимъ на бильярдѣ, поучать актеровъ драматическому искусству, переводить Шекспира и любить до притѣненія прежнихъ друзей своихъ. Правда, теперь у него былъ и новый кругъ, т. е., кругъ Бѣлинскаго, Бакунина; но, хотя онъ ихъ и поучалъ денно и нощно, однако душою и сердцемъ все же держался насъ.

Ему было тогда лѣтъ подъ сорокъ, но онъ рѣшительно остался старымъ студентомъ. Какъ это случилось? Это-то и надобно прослѣдить.

К. по всему принадлежитъ къ тѣмъ страннымъ личностямъ, которыя развились на окраинѣ Петровской Россіи, особенно послѣ 1812 г., и какъ ея послѣдствіе, какъ ея жертвы и косвенно какъ ея выходъ. Люди эти сорвались съ общаго пути, тяжелаго и безобразнаго, и никогда не попадали на свой собственный, искали его и на этомъ исканіи останавливались. Въ этой пожертвованной шеренгѣ черты очень разны: не все похоже на Онегина или Печорина, не все лишніе и праздные люди; а есть люди, трудившіеся и ни въ чемъ не успѣвшіе,—люди неу-

давшиися. Мнѣ тысячу разъ хотѣлось передать рядъ своеобразныхъ фигуръ, рѣзкихъ портретовъ, снятыхъ съ натуры, и я невольно останавливался, подавленный матеріаломъ. Въ нихъ нѣтъ стаднаго, рядскаго; чеканъ розный, но одна общая связь связуетъ ихъ, или, лучше, одно *общее несчастье*; вглядываясь въ темносѣрый фонъ, видны солдаты, крѣпостные, колодники, бритые лбы, клейменные лица, словомъ, петербургская Россія. Ею они несчастны, и нѣтъ силъ ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь дѣлу. Они хотятъ бѣжать съ полотна и не могутъ: земли нѣтъ подъ ногами; хотятъ кричать,—языка нѣтъ, да нѣтъ и уха, которое бы слышало.

Дивиться нечему, что при этомъ потерянномъ равновѣсіи больше развивалось оригиналовъ и чудаковъ, чѣмъ практически-полезныхъ людей, чѣмъ неутомимыхъ работниковъ, что въ ихъ жизни было столько же неустроеннаго и безумнаго, какъ хорошаго и чисто человѣческаго.

Отецъ К. былъ инструментальный мастеръ. Онъ славился своими хирургическими инструментами и высокой честностью. Онъ умеръ рано, оставивъ большую семью на рукахъ вдовы и очень разстроеныя дѣла. Происхожденіемъ онъ былъ, кажется, шведъ. Стало, объ истинной связи, о той непосредственной связи съ народомъ, которая всасывается съ молокомъ, съ первыми играми, даже въ господскомъ домѣ, не можетъ быть и рѣчи. Общество иностранныхъ производителей, индустріаловъ, ремесленниковъ и ихъ хозяевъ составляетъ замкнутый кругъ жизни, привычками, интересами, веѣмъ на свѣтѣ отдѣленный и отъ верхняго, и отъ низшаго русскаго слоя. Часто эта среда внутри своей семейной жизни гораздо правдивѣе и чище, чѣмъ дикая тиранія и затворническій развратъ нашего купечества, чѣмъ печальное и тяжелое пьянство мѣщанъ, чѣмъ узкая, грязная и основанная на воровствѣ жизнь чиновниковъ, но тѣмъ не меньше она совершенно чуждая окружающему міру, иностранная, дающая съ самаго начала другой плі и другія основы.

Мать К. была русская, вѣроятно отъ того К. и не сдѣлался иностранцемъ. Въ воспитаніе дѣтей, я не думаю, чтобъ она входила; но чрезвычайно важно было то, что дѣти были крещены въ православной вѣрѣ, т. е., не имѣли никакой. Будь они лютеране или католики, они совѣмъ бы отошли на нѣмецкую сторону, они ходили бы въ ту или другую кирку и вступили бы незамѣтно въ выдѣляющуюся, обособляющуюся Gemeinde, съ ея партіями и приходскими интересами. Въ русскую церковь, конечно, К. никто не посылалъ; сверхъ того, если онъ иногда и хаживалъ туда ребенкомъ, то она не имѣетъ того паутиннаго свойства, какъ ея сестры, особенно на чужбинѣ.

Когда пришло время, К. поступилъ въ Медико-хирургическую академію. Это было тоже чисто иностранное заведеніе, и тоже не особенно православное. Тамъ проповѣдывалъ Just Christian Loder, другъ Гёте, учитель Гумбольдта, одинъ изъ той плеяды сильныхъ и свободныхъ мыслителей, которые подняли Германію на ту высоту, о которой она не мечтала. Для этихъ людей наука еще была религіей, пропагандой военной; имъ самимъ свобода отъ теологическихъ цѣпей была нова, они еще помнили борьбу, они вѣрили въ побѣду и гордились. Возлѣ него стояли Финнеръ Вальдгеймскій и операторъ Гильдебрандтъ, о которыхъ я говорилъ въ другомъ мѣстѣ. Ни слова русскаго, ни русскаго лица, а разные другіе нѣмецкіе адъюнкты, лаборанты, прозекторы и фармацевты: все русское было отодвинуто на второй планъ. Одно исключеніе мы только и помнимъ, это Дядьковскій. К. чтить его память, и онъ, вѣроятно, имѣлъ хорошее вліяніе на студентовъ; впрочемъ, медицинскіе факультеты и въ позднѣйшее время жили не общей жизнью университетовъ, составленные изъ двухъ націй: нѣмцевъ и семинаристовъ, а занимались своимъ *дѣломъ*.

Этого дѣла показалось мало К., и это лучшее доказательство тому, что онъ не былъ нѣмецъ и не искалъ прежде всего профессіи.

Особенной симпатіи къ своему домашнему кругу онъ не могъ имѣть; съ молодыхъ лѣтъ любилъ онъ жить особнякомъ. Остальная окружающая среда могла только оскорблять и отталкивать его. Онъ принялся читать и читать Шиллера.

К. впоследствии перевелъ всего Шекспира, но Шиллера съ себя стереть не могъ.

Шиллеръ былъ необыкновенно по плечу нашему студенту. Поэза и Максъ, Карлъ Моръ и Фердинандъ, студенты, разбойники-студенты,—все это протестъ перваго разсвѣта, перваго негодованія. Больше дѣятельный сердцемъ, чѣмъ умомъ, К. понялъ, овладѣлъ поэтической рефлексіей Шиллера, его революціонной философіей въ діалогахъ и на нихъ остановился. Онъ былъ удовлетворенъ, критика и скептицизмъ были для него совершенно чужды.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ Шиллера, онъ попалъ на другое чтеніе и нравственная жизнь его была окончательно рѣшена. Все остальное проходило безслѣдно, мало занимало его. Девяностые годы, эта громадная, колоссальная трагедія въ Шиллеровскомъ родѣ, съ рефлексіями и кровью, съ мрачными добродѣтелями и свѣтлыми идеалами, съ тѣмъ же характеромъ разсвѣта и протеста, поглотили его. Отчета К. и тутъ себѣ не давалъ. Онъ бралъ французскую революцію, какъ библейскую ле-

генду; онъ вѣрилъ въ нее, онъ любилъ ея лица, имѣлъ личныя къ ней пристрастія и ненависти: за кулисы его ничто не звало.

Такимъ я его встрѣтилъ въ 1831 году у Пассека и такимъ оставилъ въ 1847 году на Черной Грязи.

Мечтатель, не романтическій, а, такъ сказать, этико-политическій, врядъ ли могъ найти въ тогдашней Медико-хирургической академіи ту среду, которую искалъ. Червь точилъ его сердце и врачебная наука не могла заморить его. Отходя отъ окружающихъ людей, онъ больше и больше вживался въ одно изъ тѣхъ лицъ, которыми было полно его воображеніе. Наталкиваясь вездѣ на совѣтъ другіе интересы, на мелкихъ людишекъ, онъ сталъ дичать, привыкъ хмурить брови, говорить безъ нужды горькія истины и истины въѣмъ извѣстныя, старался жить какимъ-то лафонтеновскимъ «Зондерлингомъ», какимъ-то «Робинсономъ въ Сокольникахъ». Въ небольшомъ саду ихъ дома была бесѣдка, туда перебрался «лекарь К. и принялся переводить лекаря Шиллера», какъ въ тѣ времена острилъ Н. А. Полевой. Въ бесѣдкѣ дверь не имѣла замка... въ ней было трудно повернуться: это-то и было надобно. Утромъ копался онъ въ саду, сажалъ и пересаживалъ цвѣты и кусты, даромъ лечилъ бѣдныхъ людей въ окологдѣ, правилъ корректуру «Разбойниковъ» и «Фіески», и, вмѣсто молитвы на сонъ грядущій, читалъ рѣчи Марата и Робеспьера. Словомъ, если-бъ онъ меньше занимался книгами и больше заступомъ, онъ былъ бы тѣмъ, чѣмъ желалъ Руссо, чтобы былъ каждый.

Съ нами К. сблизился черезъ Вадима въ 1831 году. Въ нашемъ кружкѣ, состоявшемъ тогда, сверхъ насъ двоихъ, изъ Сазонова, старшихъ Пассековъ и еще двухъ-трехъ студентовъ, онъ увидѣлъ какой-то зачатокъ исполненія своихъ заветныхъ мечтаній, новые входы на плотно скошенной нивѣ въ 1826 году, и потому горячо къ намъ придвинулся. Постарше насъ, онъ вскорѣ овладѣлъ «цензурой нравовъ» и не давалъ намъ дѣлать шагу безъ замѣчаній, а иногда и выговора. Мы вѣрили, что онъ практическій человекъ и опытный больше насъ, сверхъ того, мы любили его, и очень. Занемогъ ли кто, К. являлся сестрой милосердія и не оставлялъ больного, пока тотъ оправлялся. Когда взяли Кольрейфа, Антоновича и др., К. первый пробрался къ нимъ въ казармы, развлекалъ ихъ, дѣлалъ имъ поученія и дошелъ до того, что жандармскій генералъ Лисовскій призывалъ его и внушалъ ему быть осторожнѣе и вспомнить свое званіе (штабъ-лекарь!). Когда Надеждинъ, теоретически влюбленный, хотѣлъ тайно обвѣнчаться съ одной барышней, которой родители запретили думать о немъ, К. взялся ему помогать, устроилъ романтическій побѣгъ, и самъ, завернутый въ знаменитомъ плащѣ

чернаго цвѣта съ красной подкладкой, остался ждать завѣтнаго знака, сидя съ Надеждинымъ на лавочкѣ Рождественскаго бульвара. Знака долго не подавали. Надеждинъ унылъ и палъ духомъ. К. стончески утѣшалъ его; отчаяніе и утѣшеніе подѣйствовали на Надеждина оригинально, онъ задремалъ. К. насунилъ брови и мрачно ходилъ по бульвару. «Она не придетъ, говоритъ Надеждинъ съ просонья, пойдемте спать». К. вдвое насунилъ брови, мрачно покачалъ головой и повелъ соннаго Надеждина домой. Велѣдъ за ними вышла и дѣвушка въ сѣни своего дома, и условленный знакъ былъ повторенъ не одинъ, а десять разъ, и ждала она часть-другой; все тихо, она сама еще тише возвратилась въ свою комнату, вѣроятно поплакала, но зато радикально вылечилась отъ любви къ Надеждину. К. долго не могъ простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, съ дрожащей нижней губой говорилъ: «онъ ее не любилъ!»

Участіе К. во время нашего тюремнаго заключенія, во время моей женитьбы, разсказано въ другихъ мѣстахъ. Пять лѣтъ, которые онъ оставался почти одинъ, съ 1834 до 1840, изъ нашего круга въ Москвѣ, онъ съ гордостью и доблестью представлялъ его, храня нашу традицію и не измѣняя ни въ чемъ ни юты. Такимъ мы его и застали, кто въ 1840, кто въ 1842; въ насъ ссылка, столкновеніе съ чужимъ міромъ, чтеніе и работа измѣнили многое; К., неподвижный представитель нашъ, остался тотъ же, только вмѣсто Шиллера переводилъ Шекспира.

Одна изъ первыхъ вещей, которой занялся К., чрезвычайно довольный, что старые друзья съѣзжались снова въ Москву, состояла въ возобновленіи своей цензуры тогдашн,—и тутъ оказались первыя шероховатости, которыхъ онъ долго не замѣчалъ. Его брань иногда сердила, чего прежде не бывало, иногда надѣдала. Прежняя жизнь кнѣзѣ такъ быстро и шла такъ обще, что никто не обращалъ вниманія на маленькіе камешки по дорогѣ. Время, какъ я сказалъ, измѣнило многое; личности развились рѣзче, развились розно; роль добраго, но ворчащаго дяди, часто была хуже, чѣмъ смѣшна; всѣ старались повернуть въ смѣшное, покрыть его дружбой, его чистыми намѣреніями ненужную искренность и обличительную любовь, и дѣлали очень дурно. Да, дурно было и то, что была необходимость покрывать, объяснять, натягивать. Если-бъ его остановили съ самаго начала, не выросли бы тѣ несчастныя столкновенія, которыми заключилась наша московская жизнь въ началѣ 1847 года.

Впрочемъ, новые друзья не совсѣмъ были такъ снисходительны, какъ мы, и самъ Бѣлинскій, очень любившій его, выбившись иной разъ изъ силъ и столько же истерпѣвшій несправедливости, какъ самъ К., давалъ ему рѣзкіе уроки, на цѣлые мѣ-



сяцы переставая съ нимъ спорить. Холоднымъ или равнодушнымъ К. никогда не бывалъ. Онъ былъ постоянно въ пароксизмъ преслѣдованія или въ припадкѣ любви, быстро переходя изъ самаго горячаго друга—въ уголовного судью; изъ этого ясно, что онъ всего менѣе выносилъ холодъ и молчаніе.

Тотчасъ послѣ ссоры или ряда крупныхъ обвиненій, К. развлекался, гнѣвъ проходилъ безслѣдно, вѣроятно внутренно бывалъ онъ недоволенъ собой, но никогда не сознавалъ; напротивъ, онъ старался всему придать видъ шутки и опять переходилъ за тѣ предѣлы, за которыми шутка не веселитъ. Это было вѣчное повтореніе знаменитаго «гусака» въ примиреніи Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Кто не видалъ дѣтей, которыя, закусивъ удила, нервно не могутъ остановиться въ какой-нибудь шалости; увѣренность въ томъ, что будетъ наказаніе, какъ будто усиливаетъ искушеніе. Чувствуя, что успѣлъ снова додразнить кого-нибудь до холодныхъ и колкихъ отвѣтовъ, онъ окончательно возвращался въ мрачное расположеніе духа, поднималъ брови, ходилъ большими шагами по комнатѣ, становился трагическимъ лицомъ изъ Шпллеровскихъ драмъ, присяжнымъ изъ суда Фуке-Тенвиля, произноситъ свирѣпымъ голосомъ рядъ обвиненій на всѣхъ насъ, обвиненій, не имѣвшихъ ни малѣйшаго основанія, самъ подъ конецъ убѣждался въ нихъ и, подавленный горемъ, что его друзья такіе мерзавцы, уходилъ угрюмо домой,—оставляя насъ ошеломленными, взбѣшенными до тѣхъ поръ, пока гнѣвъ ложился на милость и мы хохотали, какъ сумасшедшіе.

На другой день К., съ ранняго утра, тихій и печальный, ходилъ изъ угла въ уголъ, свирѣпо дымя трубкой и ожидая, чтобъ кто-нибудь изъ насъ пріѣхалъ побранить его и помириться; мирился онъ, разумѣется, сохраняя всегда все свое достоинство взыскательнаго, но стараго дяди. Если же никто не являлся, то К., затаивъ въ груди смертельный страхъ, шелъ печально въ кофейную на Неглинной или въ свѣтлую, покойную гавань, въ которой всегда встрѣчалъ его добродушный смѣхъ и дружескій пріемъ, т. е., отправлялся къ М. С. Щепкину, ожидая у него, пока буря, поднятая имъ, уляжется; онъ, разумѣется, жаловался М. С. на насъ; добрый старикъ мылил ему голову, говорилъ, что онъ поретъ дичь, что мы совсѣмъ не такіе злодѣи, какъ онъ говоритъ, и что онъ его сейчасъ повезетъ къ намъ. Мы знали, какъ К. мучился послѣ своихъ выходокъ, понимали, или лучше прощали то чувство, почему онъ не говорилъ прямо и просто, что виноватъ, и стирали по первому слову до чиста слѣды размолвки. Въ нашихъ уступкахъ на первомъ планѣ участвовали дамы, становившіяся почти всегда его заступницами. Имъ нравилась его открытая простота (онъ и ихъ не щадилъ), доходившая до гру-

бости, какъ странность; видя ихъ потворство, К. убѣдился, что такъ и слѣдуетъ поступать, что это мило, и что, сверхъ того, это его обязанность.

Наши споры и ссоры въ Покровскомъ иногда бывали полны комизма, а все-таки оставляли на цѣлые дни длинную, сѣрую тѣнь.

— Отчего кофе такъ дуренъ? спросилъ я у Матвѣя.

— Его не такъ варять, отвѣчалъ К. и предложилъ свою методу. Кофе вышелъ такой же.

— Давайте сюда спиртъ и кофейникъ,—я самъ сварю, замѣтилъ К. и принялся за дѣло. Кофе не поправился,—я замѣтилъ это К. К. попробовалъ и, уже нѣсколько взволнованнымъ голосомъ и устремивъ на меня свой взглядъ изъ подъ очковъ, спросилъ:

— Такъ по твоему этотъ кофе не лучше?

— Нѣтъ.

— Однако же это удивительно, что ты въ эдакой мелочи не хочешь отказаться отъ своего мнѣнія.

— Не я, а кофе.

— Это, наконецъ, изъ рукъ вонъ, что за несчастное самолюбіе.

— Помилуй, да, вѣдь, не я варилъ кофе и не я дѣлалъ кофейникъ...

Знаю я тебя... лишь бы поставить на своемъ. Какое ничтожество изъ-за поганого кофе,—адское самолюбіе!—Больше онъ не могъ, удрученный моимъ деспотизмомъ и самолюбіемъ во вкусѣ,—онъ нахлобучилъ свой картузь, схватилъ лукошко и ушелъ въ лѣсъ. Онъ воротился къ вечеру, исходивши верстъ двадцать; счастливая охота по бѣлымъ грибамъ, березовикамъ и масленкамъ разогнала его мрачное расположеніе, я, разумеется, не поминалъ о кофе и дѣлалъ разныя вѣжливости грибамъ.

На слѣдующее утро онъ попытался было снова поставить кофейный вопросъ, но я уклонился.

Одинъ изъ главныхъ источниковъ нашихъ препинаній было воспитаніе моего сына. Воспитаніе дѣлитъ судьбу медицины и философіи: всѣ на свѣтѣ имѣютъ объ нихъ опредѣленные и рѣзкія мнѣнія, кромѣ тѣхъ, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройкѣ моста, объ осушеніи болота, человѣкъ откровенно скажетъ, что онъ не инженеръ, не агрономъ. Заговорите о водяной или чахоткѣ, онъ предложитъ лекарство, по памяти, по наслышкѣ, по опыту своего дяди, но въ воспитаніи онъ идетъ далѣе. «У меня, говоритъ, такое правило, и я отъ него никогда не отступаю; что касается до воспитанія, я шутить не люблю, это предметъ слишкомъ близкій къ сердцу».

Какія понятія о воспитаніи долженъ былъ имѣть К., можно вывести до послѣдней крайности изъ того очерка его характера,

который мы сдѣлали. Тутъ онъ былъ послѣдователенъ себѣ, обыкновенно толкующіе о воспитаніи и этого не имѣютъ. К. имѣлъ Эмилевскія понятія и твердо вѣровалъ, что неиспроверженіе всего, что теперь дѣлается съ дѣтьми, было бы само по себѣ отличное воспитаніе. Ему хотѣлось исторгнуть ребенка изъ *искусственной* жизни и сознательно возратить его въ дикое состояніе, въ ту первобытную независимость, въ которой равенство простирается такъ далеко, что различіе между людьми и обезьянами снова стерлось бы.

Мы сами были не очень далеки отъ этого взгляда, но у него онъ дѣлался, какъ все однажды усвоенное имъ, фанатизмомъ, не терпящимъ ни сомнѣній, ни возраженій. Въ противодѣйствіи старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанію, съ его догматизмомъ, доктринаризмомъ, натянутымъ педантскимъ классицизмомъ и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась дѣйствительная и справедливая потребность. Но несчастію, въ дѣлѣ воспитанія, какъ во всемъ, крупный и революціонный путь, зря ломая старое, ничего не давалъ въ замѣну. *Дикій предразсудокъ нормальнаго человека, къ которому стремились послѣдователи Жанъ-Жака, отрывалъ ребенка отъ исторической среды, дѣлалъ его въ ней иностранцемъ, какъ будто воспитаніе не есть привитіе родовой жизни лицу.*

Споры о воспитаніи рѣдко велись на теоретическомъ полѣ, прикладное было слишкомъ близко. Мой сынъ, тогда ему было лѣтъ семь-восемь, былъ слабаго здоровья, очень подверженъ лихорадкамъ и кровавымъ поносамъ. Это продолжалось до нашей поѣздки въ Неаполь, или до встрѣчи въ Сорренто съ однимъ неизвѣстнымъ докторомъ, который измѣнилъ всю систему леченія и гігіены. К. хотѣлъ его закалить сразу, какъ желѣзо, я не позволялъ и онъ выходилъ изъ себя: «Ты консерваторъ»; кричалъ онъ съ неистовствомъ, «ты погубишь несчастнаго ребенка, ты сдѣлаешь изъ него изнѣженнаго барича и вмѣстѣ съ тѣмъ раба».

Ребенокъ шалилъ и кричалъ во время болѣзни матери, я останавливалъ его; сверхъ простой необходимости, мнѣ казалось совершенно справедливымъ заставлять его стѣнать себя для другого, для матери, которая его такъ безконечно любила; но К. мрачно говорилъ мнѣ, затыкаясь до глубины сердечной Жуковымъ: «Гдѣ твое право останавливать его крикъ, онъ долженъ кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей!»

Размолвки эти, какъ я ни бралъ ихъ легко, дѣлали тяжелыми наши отношенія и грозили серьезнымъ отдаленіемъ между К. и его друзьями. Если-бъ это было, онъ больше всѣхъ былъ бы наказанъ и потому, что онъ все же былъ очень привязанъ ко всѣмъ,

и потому, что мало умѣлъ жить одинъ. Его нравъ былъ по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто-нибудь ему былъ необходимъ. Самый трудъ его былъ постоянной бесѣдой съ *другимъ*, этотъ другой былъ Шекспиръ. Проработавши цѣлое утро, ему становилось скучно. Лѣтомъ онъ еще могъ бродить по полямъ, работать въ саду; но зимой оставалось надѣть знаменитый плащъ или верблюжьяго цвѣта шереховатое пальто, и идти пѣз-подъ Сокольниковъ къ намъ на Арбатъ или на Никитскую.

Доля его строптивой петеринности происходила отъ этого отсутствія внутренней работы, повѣрки, разбора, приведенія въ ясность вопросовъ; для него вопросовъ не было: дѣло рѣшенное, и онъ шелъ впередъ, не оглядываясь. Можетъ, если-бъ онъ былъ призванъ на практическое дѣло, это и было бы хорошо, но его не было. Живое вмѣшательство въ общественныя дѣла было невозможно, у насъ въ нихъ мѣшаютъ только первые три класса, и онъ свою жажду дѣла перенесъ на частную жизнь друзей. Мы избавлялись отъ пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой. К. рѣшалъ всѣ вопросы *sommairement*, съ плеча, такъ или иначе—все равно; а рѣшивши, продолжалъ, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо вѣрнымъ своему рѣшенію.

При всемъ томъ, серьезнаго отдаленія до 1846 между нами не было. Natalie очень любила К., съ нимъ неразрывна была память 9 мая 1838 года, она знала, что подъ его ежевыми колючками хранилась нѣжная дружба, и не хотѣла знать, что колючки росли и пускали дальше и дальше свои корни.

Ссора съ К. представлялась ей чѣмъ-то зловѣщимъ; ей казалось, если время можетъ подпилить, и притомъ такой маленькой шилкой, одно изъ колець, такъ крѣпко державшихся во всю юность, то оно приметъ за другое, и вся цѣпь разсынется. Среди суровыхъ словъ и жесткихъ отвѣтовъ, я видѣлъ, какъ она блѣднѣла и просила взглядомъ остановиться, стряхивала минутную досаду и протягивала руку. Иногда это трогало К., но онъ употреблялъ гиганскія усилія, чтобъ показать, что ему въ сущности все равно, что онъ готовъ примириться, но, пожалуй, будетъ продолжать ссору.

На этомъ можно было бы годы продлить страшное, колебавшееся отношеніе карающей дружбы и дружбы уступающей. Но новыя обстоятельства, усложнившія жизнь К., повели дѣла круче.

У него былъ свой романъ, странный какъ все въ его жизни и заставившій его быстро осѣсть въ довольно топкой семейной сферѣ. Жизнь К., сведенная на величайшую простоту, на элементарныя потребности студентскаго бездомовья и кочевья по

товарищамъ, вдругъ измѣнилась. У него въ *домѣ* явилась женщина, или вѣрнѣе, у него *явился домъ* по тому, что въ немъ была женщина. До тѣхъ поръ никто не предполагалъ К. семейнымъ человѣкомъ, въ своемъ *chez soi*; его, любовнаго до того все дѣлать безпорядочно, ходя закусывать, курить между супомъ и говядиной, спать не на своей кровати, что Константинъ Аксакъ замѣчалъ шути, «что К. отличается отъ людей тѣмъ, что люди обѣдаютъ, а К. ѣстъ»,—у него вдругъ ложе, свой очагъ, своя крыша!

Случилось это вотъ какъ.

За нѣсколько лѣтъ до того, К., ходя всякій день по пустыннымъ улицамъ между Сокольниками и Басманной, сталъ встрѣчать бѣдную, почти нищую дѣвочку; утомленная, печальная возвращалась она этой дорогой изъ какой-то мастерской. Она была некрасива, запугана, застѣнчива и жалка; ея существованіе никѣмъ не было замѣчено... ее никто не жалѣлъ. Круглая сирота, она была принята ради имени Христова въ какой-то раскольнический скитъ, тамъ выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, безъ защиты, безъ опоры, одна на свѣтѣ. К. сталъ съ ней разговаривать, пріучилъ ее не бояться себя, распранивая ее о ея печальномъ ребячествѣ, о ея горемычномъ существованіи. Въ немъ первомъ она нашла участіе и теплоту, и привязалась къ нему душой и тѣломъ. Его жизнь была одинока и сурова: за всѣми шумами пріятельскихъ шпротъ, московскихъ первыхъ спектаклей и Бажановской кофейни, была пустота въ его сердцѣ, въ которой онъ, конечно, не признался бы даже себѣ самому, но которая сказывалась. Бѣдный, невзрачный цвѣтокъ самъ собою падалъ на его грудь,—и онъ принималъ его, не очень думая о послѣдствіяхъ и, вѣроятно, не приписывая этому случаю особенной важности.

Въ лучшихъ и развитыхъ людяхъ для женщинъ все еще существуетъ что-то въ родѣ электоральнаго ценза, и есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. Съ ними не женировались мы всѣ, и потому бросить камень врядъ ли посмѣетъ кто-нибудь.

Сирота безумно отдалась К. Не даромъ воспиталась она въ раскольническомъ скиту; она изъ него вынесла способность изувѣрства, идолопоклонства, способность упорнаго, сосредоточеннаго фанатизма и безграничной преданности. Все, что она любила и чтילה, чего боялась, чему повиновалась, Христосъ и Богоматерь, святые угольники и чудотворныя иконы,—все это теперь было въ К., человѣкѣ, который первый пожалѣлъ, первый приласкалъ ее. И все это было въ половину скрыто, погребено, не смѣло обнаружиться.

... У ней родился ребенокъ; она была очень больна, ребенокъ умеръ... Связь, которая должна была скрѣпить ихъ отношенія, лопнула. К. сталъ холодѣе къ С., выдался рѣже и, наконецъ, совсѣмъ оставилъ ее. Что это дикое дѣтя «не разлюбить его даромъ»,—можно было смѣло предсказать. Что же у ней оставалось на всемъ бѣломъ свѣтѣ, кромѣ этой любви? Развѣ броситься въ Москву-рѣку? Бѣдная дѣвушка, окончивая дневную работу, едва прикрытая скуднымъ платьемъ, выходила, несмотря ни на ненастье, ни на холодъ, на дорогу, ведущую къ Басманной, и ждала часы цѣлые, чтобъ встрѣтить его, проводить глазами, и потомъ плакать, плакать цѣлую ночь; большею частью она пряталась, но иногда кланялась ему и заговаривала. Если онъ ласково отвѣчалъ, С. была счастлива и весело бѣжала домой. О своемъ же „несчастьи“, о своей любви, она говорить стыдилась и не смѣла. Такъ прошли года два или больше. Молча и безропотно выносила она судьбу свою. Въ 1845 К. переселился въ Петербургъ. Это было свыше силъ. Не видать его даже на улицѣ, не встрѣчать издали и не проводить глазами, знать, что онъ за семьсотъ верстъ, между чужими людьми, и не знать, здоровъ ли онъ и не случилось ли съ нимъ какой бѣды... Этого вынести она не могла. Безъ всякихъ пособій и помощи, С. начала копить копейками деньги, сосредоточила все усилія къ одной цѣли, работала мѣсяцы, исчезла и добралась таки до Петербурга. Тамъ, усталая, голодная, исхудалая, она явилась къ К., умоляя его, чтобъ онъ не оттолкнулъ ее, чтобъ онъ ее примилъ, что дальше ей ничего не нужно, она найдетъ себѣ уголъ, найдетъ черную работу, будетъ жить на хлѣбъ и водѣ,—лишь бы остаться въ томъ городѣ, гдѣ онъ, и иногда видѣть его. Тогда только К. вполне понялъ, что за сердце билось въ ея груди. Онъ былъ подавленъ, потрясенъ. Жалость, раскаяніе, сознаніе, что онъ такъ любимъ, измѣнили роли: теперь она останется здѣсь у него, это будетъ ея домъ, онъ будетъ ея мужемъ, другомъ, покровителемъ. Ея мечтанія сбылись, забыты холодныя осеннія ночи, забытъ страшный путь, и слезы ревности, и горькія рыданія: она съ нимъ, и уже навѣрное не разстанется больше—живая. До пріѣзда К. въ Москву никто не зналъ всей этой исторіи, развѣ одинъ Михаилъ Семеновичъ; теперь скрыть ее было невозможно и ненужно: мы двое и весь нашъ кругъ приняли съ распростертыми объятіями этого дичка, сдѣлавшаго геройскій подвигъ. И эта-то дѣвушка, полная любви, со своей безусловной преданностью, покорностью, надѣлала К. бездну вреда. На ней было все благословеніе и все проклятіе, лежащее на пролетаріатѣ, да еще особенно на нашемъ. Въ свою очередь и мы нанесли ей чуть ли не столько же зла, сколько она К.



И то и другое въ совершенномъ невѣдѣніи и съ безусловной чистотой намѣреній! Она окончательно испортила жизнь К., какъ ребенокъ портитъ кистью хорошую гравюру, воображая, что онъ ее раскрашиваетъ. Между К. и С., между С. и нашимъ кругомъ, лежалъ огромный, страшный обрывъ, во всей рѣзкости своей крутизны, безъ мостовъ, безъ брода. Мы и она принадлежали къ разнымъ возрастамъ человѣчества, къ разнымъ формаціямъ его, къ разнымъ томамъ всемірной исторіи. Мы—дѣти новой Россіи, вышедшіе изъ университета и академіи, мы, увлеченные тогда политическимъ блескомъ Запада, мы, религіозно хранившие свое невѣріе, открыто отрицавшіе церковь; и она, воспитавшаяся въ раскольническомъ скитѣ, въ до-петровской Россіи, во всемъ фанатизмѣ сектаторства, со всѣми предразсудками причущейся религіи, со всѣми причудами стариннаго русскаго быта. Связывая вновь, необыкновенной силой воли, порванные концы, она крѣпко держалась за узелъ. Ускользнуть К. уже не могъ. Но онъ и не хотѣлъ этого. Упрекая себя въ прошедшемъ, К. некрепко стремился загладить его; подвигъ С. увлекъ его. Склоняясь передъ нимъ, онъ зналъ, что въ свою очередь и онъ дѣлаетъ жертву; но, натура въ высшей степени чистая и благородная, онъ былъ радъ ей какъ искупленію. Только зналъ онъ одну матеріальную сторону ея: фактическое стѣсненіе жизни; противорѣчіе сожитія стараго студента, съ шиллеровскими мечтами, съ женщиной, для которой не только міръ Шиллера не существовалъ, но и міръ грамотности, міръ всего свѣтскаго образованія,—ему и въ голову не приходило.

Что ни говори и не толкуй, но пословица *inter pares amicitia* совершенно вѣрна, и всякій *mésaillance*—впередъ посѣянное несчастье. Много глупаго, надменнаго, буржуазнаго разумѣлось подъ этимъ словомъ, но сущность его истинна. Въ худшемъ изъ всѣхъ неравенствъ—въ неравенствѣ развитія, одно спасеніе и есть: *воспитаніе одного лица другимъ*; но для этого надобно два рѣдкіе дара: надобно, чтобъ одинъ умѣлъ воспитывать, а другой умѣлъ воспитываться, чтобъ одинъ вель, другой шель. Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, безъ другихъ захватывающихъ душу интересовъ, одолеваетъ; челоѣка возьметъ одурь, усталъ; онъ незамѣтно мельчаетъ, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокоивается, закутанный нитками и тесемками. Бываетъ и то, что ни та, ни другая личность не сдаются, и тогда сожитіе превращается въ консолидированную войну, въ вѣчное единоборство, въ которомъ лица крѣпнутъ и остаются на вѣки вѣковъ въ бесплодныхъ усиліяхъ, съ одной стороны, поднять и, съ другой, стянуть, т. е., отстоять свое мѣсто. При равныхъ силахъ этотъ бой поглощаетъ



жизнь, и самыя крѣпкія натуры истощаются и падаютъ обезсиленными середѣ дороги. Падаетъ всего прежде натура развитая; ея эстетическое чувство глубоко оскорблено двойнымъ строемъ, лучшія минуты, въ которыя все звонко и ярко, ей отравлены: экзальсивные люди страстно требуютъ, чтобъ все близкое имъ, было близко ихъ мысли, ихъ религій; это принимаютъ за нетерпимость. Для нихъ прозелитизмъ дома—продолженіе апостольства, пропаганда; ихъ счастье оканчивается тамъ, гдѣ ихъ не понимаютъ... а чаще всего ихъ не хотятъ понять.

Позднее воспитаніе сложившейся женщины дѣло очень трудное; особенно трудное въ тѣхъ сожитіяхъ, которыми оканчиваются, а не начинаются близкія отношенія. Связи легко, вѣтрено начатыя, рѣдко поднимаются выше спальни и кухни. Общая крыша слишкомъ поздно покрываетъ ихъ, чтобъ подъ ней можно было учиться, развѣ какое-нибудь странное несчастіе разбудитъ душу спящую, но способную проснуться. Но большей части *la petite femme* никогда не дѣлается большой, никогда не дѣлается женой и сестрой вмѣстѣ. Она остается или любовницей и лореткой, или дѣлается кухаркой и любовницей.

Сожитіе подъ одной крышей само по себѣ вещь странная, на которой рушилась половина браковъ. Живя тѣсно вмѣстѣ, люди слишкомъ близко подходятъ другъ къ другу, видятъ другъ друга слишкомъ подробно, слишкомъ параснашку, и незамѣтно срываютъ по лестку все цвѣты вѣнка, окружающаго поэзіей и граціей личность. Но одинаковость развитія сглаживаетъ многое. А когда ея нѣтъ, а есть праздный досугъ, нельзя вѣчно пороть вздоръ, говорить о хозяйствѣ или любезничать; а что же дѣлать съ женщиной, когда она что-то промежуточное между одалиской и служанкой, существо тѣлесно близкое и умственно далекое. Ее ненужно днемъ, а она безпрестанно тутъ; мужчина не можетъ дѣлать съ ней своихъ интересовъ, она не можетъ не дѣлать съ нимъ своихъ сплетенъ.

Каждая неразвитая женщина, живущая съ развитымъ мужемъ, напоминаетъ мнѣ Далилу и Самсона: она отрѣзываетъ его силу, и отъ нея никакъ не остережешься. Между обѣдомъ, даже и очень позднимъ, и постелью даже тогда, когда ложимся въ десять часовъ, есть еще бездна времени, въ которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, въ которое бѣлье сочтено и расходъ провѣренъ. Вотъ въ эти-то часы жена стягиваетъ мужа въ тѣсоту своихъ дрягъ, въ міръ раздражительной обидчивости, пересудовъ и злыхъ намесковъ. Безслѣднымъ это не остается. Бываютъ прочныя отношенія сожитія мужчины съ женщиной безъ особеннаго равенства развитія, основанныя на удобствахъ, на хозяйствѣ, я почти скажу, на гигиенѣ. Иногда это—рабочія ассоціа-

ціи, взаимная помощь, соединенная съ взаимнымъ удовольствіемъ большей частию жена берется, какъ сидѣлка, какъ добрая хозяйка, pour avoir un bon pot au feu, какъ говорилъ мнѣ Прудонъ. Формула старой юриспруденціи очень умна: a mensa et toto, — уничтожь общій столъ и общую кровать, они и разойдутся съ покойной совѣстью.

Эти дѣловые браки чуть ли не лучшіе. Мужъ постоянно въ своихъ занятіяхъ, ученыхъ, торговыхъ, въ своей канцеляріи, копторѣ, лавкѣ. Жена постоянно въ бѣльѣ и припасахъ. Мужъ возвращается усталый: все готово у него, и все идетъ шагомъ и маленькой рысью къ тѣмъ же воротамъ кладбища, къ которымъ доѣхали родители. Это явленіе чисто городское; въ Англіи оно является чаще, чѣмъ гдѣ-либо; это та среда мѣщанскаго счастья, о которомъ проповѣдывали моралисты французской сцены, о которой мечтаютъ пѣмцы <sup>1)</sup>; въ ней легче уживаются разныя степени развитія черезъ годъ послѣ окончанія курса въ университетѣ; тутъ есть раздѣленіе труда и чинопочитаніе. Мужъ, особенно при капиталѣ, дѣлается тѣмъ, чѣмъ его назвалъ смыслъ народный — *хозяинъ*, «mon bourgeois» своей жены. Этимъ путемъ, и благодаря законамъ о наслѣдствѣ, онъ не зарастетъ травой, всякая женщина постоянно остается женщиной на содержаніи, если не у посторонняго, то у своего мужа. Она это знаетъ.

Dessen Brod man ist  
Dessen Lied man singt.

Но въ этихъ бракахъ есть свое нравственное единство, есть свое одинакое воззрѣніе, свои одинакія цѣли. К. самъ цѣли не имѣлъ и не могъ быть ни *хозяиномъ*, ни воспитателемъ. Онъ не могъ даже бороться съ С., она всегда уступала. Своимъ крикомъ, своимъ строптивымъ характеромъ онъ запугалъ ее. При ея развитомъ сердцѣ, у ней было тяжелое, упирающееся пониманіе, та неповоротливость мозга, которую мы часто встрѣчаемъ въ людяхъ, совершенно непривычныхъ къ отвлеченной работѣ, и которая составляетъ одну изъ отличительныхъ чертъ допетровскихъ временъ. Соединенная съ своимъ кровнымъ, болѣзненнымъ, она ничего не желала и ничего не боялась. Да и чего же было бояться? Бѣдности? Да развѣ она всю жизнь не была бѣдна, развѣ она не вынесла нищету, эту бѣдность съ униженіемъ. Работы? развѣ она не работала съ утра до ночи въ мастерской за нѣсколько грошей. Ссоры, разлуки? Да, послѣднее было страшно,

<sup>1)</sup> Ни у пролетарія, ни у крестьянъ нѣтъ между мужемъ и женой двухъ разныхъ образованій, а есть тяжелое равенство передъ работой и тяжелое неравенство власти мужа и жены.

и очень; но она до такой степени отказалась отъ всякой воли, что трудно было съ ней въ самомъ дѣлѣ поссориться, а капризъ она вынесла бы, пожалуй, вынесла бы и побои, лишь бы быть увѣренной, что онъ ее хоть немного любитъ и не хочетъ съ ней разстаться. И онъ этого не хотѣлъ, и на это, сверхъ всего, росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чуткость любви С. Темно сознавая, что она не можетъ вполне удовлетворить К., она стала замѣнять чего въ ней не было постоянными уходомъ и заботливостью.

К. было за сорокъ лѣтъ. Въ отношеніи къ домашнему комфорту онъ не былъ избалованъ. Онъ почти всю жизнь прожилъ дома такъ, какъ киргизъ въ кибиткѣ, безъ собственности и безъ желанія ее имѣть, безъ всякихъ удобствъ и безъ потребности на нихъ. Исползовъ все мѣняется; онъ окруженъ сѣтью вниманія и услугъ, онъ видитъ дѣтскую радость, когда онъ чѣмъ-нибудь доволенъ; ужась и слезы, когда онъ поднимаетъ брови; и это всякій день, съ утра до ночи. К. сталъ чаще оставаться дома: жалъ же было и ее оставлять постоянно одну. Къ тому же трудно было, чтобъ К. не бросалось въ глаза различіе между ея совершенной покорностью и возраставшимъ отпоромъ нашимъ. С. переносила самые несправедливые взрывы его съ кротостью дочери, которая улыбается отцу, скрывая слезы, и ожидаетъ, безъ гнѣва, чтобъ туча прошла. Покорная, безответная до рабства, С., трепещущая, готовая плакать и цѣловать руку, имѣла огромное вліяніе на К. Нетерпимость воспитывается уступками.

Тереза, бѣдная, глупая Тереза Руссо, развѣ не сдѣлала изъ пророка равенства щепетильнаго разночинца, постоянно занятого сохраненіемъ своего достоинства.

Вліяніе С. на К. приняло ту самую складку, о которой говоритъ Дидро, жалуясь на Терезу. Руссо былъ подозрителенъ; Тереза развила подозрительность его въ мелкую обидчивость и, нехотя, безъ умысла, разсорила его съ лучшими друзьями. Вспомните, что Тереза никогда не умѣла порядкомъ читать и никогда не могла выучиться узнавать, который часъ,—что ей не помѣшало довести психондрію Руссо до мрачнаго помѣшательства.

Утромъ Руссо заходитъ къ Гольбаху; человѣкъ приноситъ завтракъ и три куверта: Гольбаху, его женѣ и Гримму; въ разговорѣ никто не замѣчаетъ этого, кромѣ Жанъ-Жака. Онъ беретъ шляпу. «Да оставайтесь же завтракать», говоритъ г-жа Гольбахъ и велитъ подать приборъ; но уже поправитъ поздно: Руссо, желтый отъ досады, бѣжитъ, мрачно проклиная родъ человѣческій, къ Терезѣ и рассказываетъ, что ему не поставили тарелки, намекая, чтобъ онъ ушелъ. Ей такіе рассказы по душѣ; въ нихъ

она могла принять *горячее* участіе: они ставили ее на одну доску съ нимъ, и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать то на m-me Удето, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо перерываетъ связи, пишетъ безумныя и оскорбительныя письма, вызываетъ иногда страшные отвѣты (напр., отъ Юма) и удаляется, оставленный всеми, въ Монморанси, проклиная, за недостаткомъ людей, воробьевъ и ласточекъ, которыми бросалъ зерна.

Еще разъ: безъ равенства нѣтъ брака въ самомъ дѣлѣ. Жена, исключенная изъ всехъ интересовъ, занимающихъ ее мужа, чуждая имъ, не дѣлящая ихъ,—наложница, экономка, нянька, по не *жена* въ полномъ, въ благородномъ значеніи слова. Гейне говорилъ о своей «Терезѣ», что она «не знаетъ, и никогда не узнаетъ о томъ, что онъ писалъ». Это находили милымъ, смѣшнымъ и никому не приходило въ голову спросить: «Зачѣмъ же она была его жена?» Мольеръ, читавшій своей кухаркѣ свои комедіи, былъ во сто разъ человѣчественнѣе. За то m-me Айнъ и заплатила вовсе нехотя своему мужу. Въ послѣдніе годы его страдальческой жизни, она окружила его своими пріятельницами и пріятелями, увядшими камеліями прошлаго сезона, сдѣлавшимися правдивыми дамами отъ морщинъ, и полилильными, посѣдѣвшими, падшими на ноги друзьями ихъ.

Я нисколько не хочу сказать, чтобъ жена непременно должна и дѣлать и любить то, что дѣлаетъ и любитъ мужъ. Жена можетъ предпочитать музыку, а мужъ живопись,—это не разрушить равенства. Для меня всегда были ужасны, смѣшны и безсмысленны официальные тасканія мужа и жены, и чѣмъ выше, тѣмъ смѣшнѣе; зачѣмъ какой-нибудь императрицѣ Евгеніи являться на кавалерійское ученіе и зачѣмъ Викторіи возить своего мужчину, le Prince Consort, на открытіе парламента, до котораго ему дѣла нѣтъ. Гейне прекрасно дѣлалъ, что не возилъ свою дородную половину на веймарскіе куртаги. Проза ихъ брака была не въ этомъ, а въ отсутствіи всякаго общаго поля, всякаго общаго интереса, который бы связывалъ ихъ помимо полового влеченія...

Перехожу ко вреду, который мы сдѣлали бѣдной С. Ошибка, сдѣланная нами, опять-таки родовая ошибка всехъ утопій и идеализмовъ. Вѣрно схватывая одну сторону вопроса, обыкновенно не обращается никакого вниманія, къ чему эта сторона приросла и можно ли ее отдѣлить,—никакого вниманія на глубокое сплетеніе жилъ, связывающихъ дикое мясо со всемъ организмомъ. Мы все еще по-христіански думаемъ, что стоитъ сказать хрому: «возьми одръ твой и ступай», онъ и пойдетъ.

Мы разомъ перебросили затворницу С.,—С. полудикую, не-

видавнюю людей, изъ ея одиночества въ нашъ кругъ. Ея оригинальность правилась, мы хотѣли ее сберечь и обломали послѣднюю возможность развитія, отняли у нея охоту къ нему, увѣривъ ее, *что и такъ хорошо*. Но остаются *просто* попрежнему ей самой не хотѣлось. Что же вышло? Мы, революціонеры, социалисты, защитники женскаго освобожденія, сдѣлали изъ наивнаго, преданнаго, простодушнаго существа *московскую мѣщанку*.

Не такъ ли конвентъ, якобинцы и сама коммуна сдѣлали изъ Франціи—мѣщанина, изъ Парижа—*срисіегъ*?

Первый домъ, открывшійся С. съ любовью, съ теплотой сердца, былъ нашъ домъ. Natalie поѣхала къ ней и силой привезла къ намъ. Съ годъ времени С. держалась тихо и дичилась чужихъ; пугливая и застычивая, какъ прежде, она была полна тогда своего рода народной поэзіей. Ни малѣйшаго желанія обращать на себя вниманіе своей странностью; напротивъ, желаніе, чтобъ ее не замѣтили. Какъ дитя, какъ слабый звѣрекъ, она прибѣгала подъ крыло Natalie; ея преданности тогда не было границъ. Часы цѣлые любила она играть съ Сашей и рассказывала ему и намъ подробности своего ребячества, своей жизни у раскольниковъ, своихъ горестей въ ученніи, т. е., въ мастерской.

Она сдѣлалась игрушкой нашего круга; это, наконецъ, ей понравилось; она поняла, что ея положеніе, что она сама—*оригинальны*, и съ этой минуты она пошла ко дну;—никто не удерживалъ ее. Одна Natalie серьезно думала о томъ, чтобъ развить ее. С. не принадлежала къ гуртовымъ натурамъ; ее миновали множество дрижныхъ недостатковъ; она не любила рядиться, была равнодушна къ роскоши, къ дорогимъ вещамъ, къ деньгамъ,—лишь бы К. не чувствовалъ нужды, былъ бы доволенъ, до остального ей не было дѣла. Сначала С. любила долго-долго говорить съ Natalie и вѣрила ей, кротко слушала ея совѣты и старалась имъ слѣдовать..., но оглядѣвшись, обжившись въ нашемъ кругу и, можетъ, подстрекаемая другимъ, тѣшившимся ея странностями, она начала показывать страдательную оппозицію и на всякое замѣчаніе далеко не наивно отвѣчала: «Ужъ я такая несчастная, гдѣ мнѣ мѣняться, да передѣлываться; видно, ужъ такая глупая и безталанная и въ могилу сойду». Въ этихъ словахъ, свѣдома или безъ вѣдома, звучало задѣтое самолюбіе. Она перестала себя чувствовать свободной у насъ, рѣже и рѣже ходила она къ намъ. «Богъ съ ней, съ Н. А., говорила она, разлюбила она меня бѣдную». Панибратство, пансіонская фамиліарность были чужды Natalie; въ ней во всемъ преобладалъ элементъ покойной глубины и великаго эстетическаго чувства. С. не поняла смысла разницы въ обхожденіи съ нею Na-

talie и другихъ, и забыла, кто первый протянулъ ей руку и прижалъ къ сердцу; вмѣстѣ съ ней отдалился и К., все больше и больше угрюмый и раздражительный.

Подозрительность К. удвоилась. Въ каждомъ неосторожномъ словѣ онъ видѣлъ преднамѣренность, злой умыселъ, желаніе обидѣть, и не его одного, а и С. Она, со своей стороны, плакала, жаловалась на судьбу, обижалась за К. и, по закону нравственной реверберациі, собственные подозрѣнія его возвращались къ нему удесятѣренными. Его обличительная дружба стала превращаться въ желаніе найти въ насъ вины, въ надзоръ, въ постоянное полицейское слѣдствіе, и мелкіе недостатки его друзей покрывали для него гуще и гуще все остальные стороны ихъ.

Въ нашъ чистый, свѣтлый, совершеннѣйшій кругъ стали врываться пересуды дѣвичьей и пикировка провинціальныхъ чиновниковъ.

Раздражительность К. становилась заразительной; постоянныя обвиненія, объясненія, примиренія отравляли наши сходы.

Вся эта фдкая пыль насаждала во все щели, и мало-по-малу разлагала цементъ, соединявшій такъ прочно наши отношенія къ друзьямъ. Мы все подверглись вліянію силетень. Самъ Грановскій сталъ угрюмъ и раздражителенъ, несправедливо защищалъ К. и сердился. Къ Грановскому приходилъ К. съ своими обвиненіями противъ меня и Огарева. Грановскій не вѣрилъ имъ; но, жалѣя «больнаго, огорченнаго и все-таки любящаго К.», запальчиво бралъ его сторону и сердился на меня за недостатокъ терпимости. «Вѣдь, ты знаешь, что у него нравъ такой; это болѣзнь, вліяніе доброй С., но неразвитой и тяжелой, дальше и дальше толкаетъ его на этотъ несчастный путь, а ты споришь съ нимъ, какъ будто онъ былъ въ нормальномъ положеніи».

Чтобъ кончить этотъ грустный разсказъ, приведу два примѣра. Въ нихъ ярко выразилось, какъ далеко мы ушли отъ теоріи варенія кофей въ Покровскомъ.

Какъ-то вечеромъ, весной 1846 года, у насъ было человекъ пять близкихъ знакомыхъ, и въ томъ числѣ Михайлъ Семеновичъ.

— Нанялъ ты нынѣшній годъ домъ въ Соколовѣ?

— Нѣтъ еще: денегъ нѣтъ, а тамъ надобно платить впередъ.

— Неужели же все лѣто останешься въ Москвѣ?

— Подожду немного, потомъ увидимъ.

Вотъ и все. Никто не обратилъ на этотъ разговоръ никакого вниманія и, черезъ секунду, шла покойно другая рѣчь. Мы собирались на другой день послѣ обѣда съѣздить въ Кунцово, которое любили съ дѣтства. К., Коршъ и Грановскій хотѣли ѣхать съ нами. Поѣздка состоялась, и все шло своимъ поряд-

комъ, кромѣ К., мрачно подымавшего брови; но, наконецъ, всѣ были обстрѣлены.

Вечеръ былъ весенній, безъ палящаго жара, но теплый; листь только-что развернулся; мы сидѣли въ саду, шутя и разговаривая. Вдругъ К., молчавшій съ полчаса, всталъ и остановился передо мной; съ лицомъ прокурора оемическаго суда и съ дрожащей отъ негодованія губой, онъ сказалъ мнѣ:

— А надобно тебѣ честь отдать: ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнилъ, что онъ еще не заплатилъ тебѣ девятьсотъ рублей, которые бралъ у тебя.

Я истинно ничего не понялъ; тѣмъ больше, что навѣрное годъ не думалъ о долгѣ Щепкина.

— Деликатно, нечего сказать: старикъ теперь безъ денегъ, со своей огромной семьей, собирается въ Крымъ, а тутъ ему въ присутствіи пяти человѣкъ: «нѣтъ денегъ на наемъ дачи!» Фу, какая гадость.

Огаревъ вступился за меня. К. накинулся на него, нелѣпымъ обвиненіямъ не было конца; Грановскій попробовалъ его унять, не смогъ и уѣхалъ съ Корнемъ прежде насъ. Я былъ разсерженъ, униженъ и отвѣчалъ очень жестко. К. посмотрѣлъ изъ подлобья и, не говоря ни слова, пошелъ пѣшкомъ въ Москву. Мы остались одни и въ какомъ-то жалкомъ раздраженіи поѣхали домой. Я хотѣлъ на этотъ разъ дать сильный урокъ и, если не вовсе прервать, то приостановить сношенія съ К. Онъ расканвался, плакалъ; Грановскій требовалъ мира, говорилъ съ Natalie, былъ глубоко огорченъ. Я помирился, но не весело и говоря Грановскому: «вѣдь, это на три дня».—Вотъ прогулка, а а вотъ и другая.

Мѣсяца черезъ два мы были въ Соколовѣ. К. и С. отправились вечеромъ въ Москву. Огаревъ поѣхалъ ихъ провожать верхомъ на своей черкесской лошади; не было ни тѣни ссоры, размолвки.

... Огаревъ возвратился черезъ два-три часа; мы посмѣялись, что день прошелъ такъ мирно,—и разошлись.

На другой день Грановскій, который наканунѣ былъ въ Москвѣ, встрѣтилъ меня у насъ въ паркѣ; онъ былъ задумчивъ, грустилъ обыкновеннаго, и, наконецъ, сказалъ мнѣ, что у него есть что-то на душѣ и что онъ хочетъ поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сѣли на лавочкѣ, видъ съ которой знаютъ всѣ, бывшіе въ Соколовѣ.

— Герценъ, сказалъ мнѣ Грановскій, если-бъ ты зналъ, какъ мнѣ тяжело, какъ больно... какъ я, несмотря ни на что, всѣхъ люблю, ты знаешь... и съ ужасомъ вижу, что все разваливается. И тутъ, какъ на смѣхъ, мелкія ошибки, проклятое невниманіе, не-деликатность...



— Да что случилось, скажи, пожалуйста? спросилъ я, дѣйствительно испуганный.

— То, что К. взбѣшенъ противъ Огарева, да и по правдѣ сказать, трудно не быть взбѣшеннымъ; я стараюсь, дѣлаю, что могу, но силъ моихъ нѣтъ, особливо, когда люди не хотятъ ничего сами сдѣлать.

— Да дѣло-то въ чемъ?

А вотъ въ чемъ: вчера Огаревъ поѣхалъ К. и С. провожать верхомъ.

— При мнѣ было, да я и Огарева видѣлъ вечеромъ, онъ ни слова не говорилъ.

— На мосту «Кортикъ» зашлилъ, сталъ на дыбы; Огаревъ, умиряя его, съ досады выругался при С., и она слышала... да и К. слышала. Положимъ, что онъ не подумалъ, но К. спрашиваетъ: «отчего на него не находятъ разсѣянности въ присутствіи твоей жены или моей». Что на это сказать?... и притомъ, при всей простотѣ своей, С. очень сентиментальна, что при ея положеніи очень понятно.

Я молчалъ. Это перешло всѣ границы.

— Что же тутъ дѣлать?

— Очень просто: съ негодами, которые въ состояніи намѣренно забываться при женщинѣ, надобно разнакомиться. Съ такими людьми быть близкимъ другомъ—презрительно...

— Да онъ не говоритъ, что Огаревъ это сдѣлалъ намѣренно.

— Такъ о чемъ же рѣчь? И ты, Грановскій, другъ Огарева, ты, который такъ знаешь его безграничную деликатность, повторяешь бредъ безумнаго, котораго пора посадить въ желтый домъ. Стыдно тебѣ.

Грановскій смутился.

— Боже мой, — сказалъ онъ, — неужели наша кучка людей, единственное мѣсто, гдѣ я отдыхалъ, надѣялся, любилъ, куда спасался отъ гнетущей среды, — неужели и она разойдется въ ненависти и злобѣ?

Онъ покрылъ глаза рукой.

Я взялъ другую; мнѣ было очень тяжело.

— Грановскій, сказалъ я ему, — К. правъ: мы всѣ слишкомъ близко подошли другъ къ другу, слишкомъ стиснулись и заступили другъ другу въ постромки... Gemach! другъ мой, Gemach! намъ надобно провѣтриться, освѣжиться. Огаревъ осенью ѣдетъ въ деревню, я скоро уѣду въ чужіе края, — мы разойдемся безъ ненависти и злобы; что было истиннаго въ нашей дружбѣ, то поправится, очистится разлукой.

Грановскій плакалъ. Съ К. по этому дѣлу никакихъ объясненій не было.

Огаревъ дѣйствительно осенью уѣхалъ, а велѣдъ за нимъ и мы.

Laurelhouse, Putney, 1857.

Пересмотрѣно въ Буассьерѣ и на дорогѣ, въ сентябрѣ 1865.

... Рѣже и рѣже доходили до насъ вѣсти о московскихъ друзьяхъ. Запутанные терроромъ послѣ 1848 г., они ждали вѣрной оказіи. Оказіи эти были рѣдки, паспортовъ почти не выдавали. Отъ К. годы цѣлые ни слова, впрочемъ онъ никогда не любилъ писать.

Первую живую вѣсть, послѣ моего переселенія въ Лондонъ, привезъ въ 1855 году докторъ П.—К. былъ въ своей стихіи, шумѣлъ на банкетахъ въ честь севастопольцевъ, обнимался съ Погодинымъ и Кокоревымъ, обнимался съ черноморскими моряками, шумѣлъ, бранился, поучалъ. Огаревъ, пріѣхавшій прямо со свѣжей могилы Грановскаго, рассказывалъ мало; его рассказы были печальны.

Прошло еще года полтора. Въ это время была окончена мною эта глава, и кому первому изъ постороннихъ прочтена?

Да,—habeunt sua fata libelli.

Осенью 1857 года пріѣхалъ въ Лондонъ Чичеринъ. Мы его ждали съ нетерпѣніемъ; нѣкогда одинъ изъ любимыхъ учениковъ Грановскаго, другъ Корша и К., онъ для насъ представлялъ близкаго человѣка. Слышали мы о его жесткости, о консерваторскихъ веллентетахъ, о безмѣрномъ самолюбіи и доктринаризмѣ, но онъ еще былъ молодъ... Много угловатаго обтачивается теченьемъ времени.

— Я долго думалъ, ѣхать мнѣ къ вамъ, или нѣтъ? Къ вамъ теперь такъ много ѣздятъ русскихъ, что, право, надобно имѣть больше храбрости не быть у васъ, чѣмъ быть; я же,—какъ вы знаете,—вполнѣ уважая васъ, далеко не во всемъ согласенъ съ вами.

Вотъ съ чего началъ Чичеринъ.

Онъ подходилъ не просто, не юно, у него были камни за пазухой; свѣтъ его глазъ былъ холоденъ, въ тембрѣ голоса былъ вызовъ и страшная, отталкивающая самоувѣренность. Съ первыхъ словъ я понялъ, что это не противникъ, а врагъ; но подавилъ физиологическій сторожевой окрикъ, и мы разговорились.

Разговоръ тотчасъ перешелъ къ воспоминаніямъ и къ разспросамъ съ моей стороны. Онъ рассказывалъ о послѣднихъ мѣсяцахъ жизни Грановскаго, и, когда онъ ушелъ, я былъ доволенъ, нѣ помъ, чѣмъ сначала.

На другой день, послѣ обѣда, рѣчь зашла о К. Чичеринѣ; говорилъ о немъ, какъ о человѣкѣ, котораго онъ любитъ, беззлобно смѣялся надъ его выходками; изъ подробностей, сообщенныхъ имъ, я узналъ, что обличительная любовь къ друзьямъ продолжается, что вліяніе С. дошло до того, что многіе изъ друзей ополчились противъ нея, исключили изъ своего общества и проч. Увлеченный разсказами и воспоминаніями, я предложилъ Чичерину прочесть ненапечатанную тетрадь о К. и прочесть ее всю. Я много разъ раскаивался въ этомъ, не потому, чтобъ онъ во зло употребилъ чтанное мною, а потому, что мнѣ было больно и досадно, что я въ сорокъ пять лѣтъ могъ разоблачать наше прошедшее передъ четвертымъ человѣкомъ, насмѣившимся потомъ съ такой безпощадной дерзостью надъ тѣмъ, что онъ называлъ моимъ «темпераментомъ».

Разстоянія, дѣлившія наши воззрѣнія и наши темпераменты, обозначались скоро. Съ первыхъ дней начался споръ, по которому ясно было, что мы расходимся во всемъ. Онъ былъ почитатель французскаго демократическаго строя и имѣлъ нелюбовь къ англійской, неприведенной въ порядокъ, свободѣ. Онъ въ императорствѣ видѣлъ воспитаніе народа и проповѣдывалъ сильное государство и ничтожность лица передъ нимъ. Можно понять, что были эти мысли въ приложеніи къ русскому вопросу. Онъ былъ гувверnementалистъ, считалъ правительство гораздо выше общества и его стремленій, и принималъ императрицу Екатерину II почти за идеалъ того, что надобно Россіи. Все это ученіе шло у него изъ цѣлага догматическаго построенія, изъ котораго онъ могъ всегда и тотчасъ выводить свою философію бюрократіи.

— Зачѣмъ вы хотите быть профессоромъ?—спрашивалъ я его, и пишите кафедрѣ? Вы должны быть министромъ и искать портфель.

Споря съ нимъ, проводили мы его на желѣзную дорогу и разстались несогласные ни въ чемъ, кромѣ взаимнаго уваженія.

Изъ Франціи онъ написалъ мнѣ недѣли черезъ двѣ письмо, съ восхищеніемъ говорилъ о рабочихъ, объ учрежденіяхъ. «Вы нашли то, что искали, отвѣчалъ я ему, и очень скоро. Вотъ что значить ѣхать съ готовой доктриной». Потомъ я предложилъ ему начать печатную переписку и написалъ начало длиннаго письма.

Онъ не хотѣлъ, говорилъ, что ему некогда, что такая полемика будетъ вредна...

Замѣчаніе, сдѣланное въ *Колоколь* о доктринерахъ вообще, онъ принялъ на свой счетъ; самолюбіе было задѣто и онъ мнѣ прислалъ свой «обвинительный актъ», надѣлавшій въ то время большой шумъ.

Чичеринъ камнѣнію потерялъ, въ этомъ для меня нѣтъ сомнѣнія. Взрывъ негодованія, вызванный его письмомъ, напечатаннымъ въ *Гололохъ*, былъ общимъ въ молодомъ обществѣ, въ литературныхъ кругахъ. Я получилъ десятки статей и писемъ, одно было напечатано. Мы еще шли тогда въ восходящемъ пути, и Катковскія бревна трудно было класть подъ ноги. Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкій тонъ возмутилъ, можетъ, больше содержанія, и меня и публику одинакимъ образомъ: онъ былъ еще новъ тогда. Зато со стороны Чичерина стали: Елена Павловна, Тиманевъ, начальникъ III отдѣленія и Н. X. К.

К. остался вѣренъ реакціи, не потому, чтобъ «Грандисона Ловласу предпочла», а потому—что, поспѣтый безъ собственнаго комаса à la remorque кружка, онъ остался вѣренъ ему, не замѣчая, что тотъ плыветъ въ противную, ложную сторону. Человѣкъ котерин, для него вопросы шли подъ знаменемъ лицъ, а не наоборотъ.

Никогда не доработавшись ни до одного яснаго понятія, ни до одного твердаго убѣжденія, онъ шелъ съ благородными стремленіями и завязанными глазами, и постоянно билъ враговъ, не замѣчая, что позиціи мѣнялись, и въ этихъ-то жмуркахъ билъ насъ, билъ другихъ, бьетъ кого-нибудь и теперь, воображая, что дѣлаетъ дѣло.

Прилагаю письмо, писанное мною къ Чичерину для начала пріятельской полемики, которой помѣшалъ его прокурорскій обвинительный актъ.

My learned friend,

Спорить съ вами мнѣ невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все въ вашей головѣ свѣжо и ново, а главное, вы увѣрены въ томъ, что знаете, и потому покойны; вы съ твердостью ждете рациональнаго развитія событій въ подтвержденіе программы, раскрытой наукой. Съ настоящимъ вы не можете быть въ разладѣ, вы знаете, что если прошедшее было *такъ и такъ*, настоящее должно быть *такъ и такъ* и привести къ *такому-то* будущему; вы примпаетесь съ нимъ вашимъ пониманіемъ, вашимъ объясненіемъ. Вамъ досталась завидная доля священниковъ: утѣшеніе скорбящихъ вѣчными истинами вашей науки и вѣрой въ нихъ. Всѣ эти выгоды вамъ даетъ доктрина потому, что доктрина исключаетъ сомнѣніе. Сомнѣніе—открытый вопросъ, доктрина—вопросъ закрытый, рѣшенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнѣніе никогда не достигаетъ такой рѣзкой законченности; оно потому и сомнѣніе, что готово согласиться съ говорящимъ, или добросовѣстно искать смыслъ въ его словахъ; теряя драгоцѣнное время, необходимое на прип-

скиваніе возраженій. Доктрина видитъ истину подъ опредѣленнымъ угломъ и принимаетъ его за едино-спасающій уголъ, а сомнѣніе нищетъ отдѣлаться отъ всѣхъ угловъ, осматривается, возвращается назадъ, и часто парализуетъ всякую дѣятельность своимъ смиреніемъ передъ истиной. Вы, ученый другъ, опредѣленно знаете, куда идти, какъ вести,—я не знаю. И оттого я думаю, что намъ надобно наблюдать и учиться; а вамъ,—учить другихъ. Правда, мы можемъ сказать *какъ не надобно*, можемъ возбудить дѣятельность, привести въ безпокойство мысль, освободить ее отъ цѣней, улетучить призраки, академіи и уголовныя палаты, вотъ и все; но вы можете сказать *какъ надобно*.

Отношеніе доктрины къ предмету есть религіозное отношеніе, то есть, отношеніе съ точки зрѣнія вѣчности; временное, проходящее, лица, событія, поколѣнія едва входятъ въ Campo Santo науки, или входятъ, уже очищенные отъ *живой жизни*, въ родъ гербарія логическихъ тѣней. Доктрина въ своей всеобщности живетъ дѣйствительно во все времена, она и въ своемъ времени живетъ какъ въ исторіи, не портя страстнымъ участіемъ теоретическое отношеніе. Зная необходимость страданія, доктрина держитъ себя, какъ Симеонъ-Столпникъ, на недесталь, жертвуя всѣмъ временнымъ—вѣчному, общимъ идеямъ—живыми частностями. Словомъ, доктринеры больше всего историки; а мы, вмѣстѣ съ толпой, вагъ субстратъ; вы исторіи für sich, мы исторія an sich. Вы намъ объясняете, чѣмъ мы больны, но больны ли мы? Вы насъ хороните, послѣ смерти награждаете или наказываете, вы доктора и поны наши; но больные ли мы и умирающіе?

Этотъ антагонизмъ не новость, и онъ очень полезенъ для движенія, для развитія. Если-бъ родъ людской могъ весь повѣрить вамъ, онъ, можетъ, сдѣлался бы благоразумнымъ, но умеръ бы отъ всемірной скуки. Покойный Филимоновъ поставилъ эпитафію къ своему «дурацкому колпаку»: Si la raison dominait le monde, il ne s'y passerait rien.

Геометрическая сухость доктрины, алгебраическая безличность ея даютъ ей обширную возможность обобщеній; она должна бояться впечатлѣній и, какъ Августъ, приказывать, чтобъ Клеопатра опустила покрывало. Но для дѣятельнаго внимательства надобно больше страсти, нежели доктрины, а алгебраически страстенъ человѣкъ не бываетъ. Всеобщее онъ понимаетъ, а частное любитъ или ненавидитъ. Сипноза со всею мощью своего откровеннаго генія проповѣдывалъ необходимость считать существеннымъ одно неточное молью, вѣчное, неизмѣнное, субстанцію, и не полагать своихъ надеждъ на случайное, частное, личное. Кто этого не пойметъ въ теоріи? Но только привязывается человѣкъ къ одному частному, личному, совершенному; въ уравниваніи этихъ

крайностей, въ ихъ согласномъ сочетаніи, высшая мудрость жизни.

Если мы отъ этого общаго опредѣленія нашихъ противоположныхъ точекъ зрѣнія перейдемъ къ частнымъ, мы, при одинаковости стремленій, найдемъ не меньше антагонизма, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда мы согласны въ началѣ. Примѣромъ это легче объяснить. Мы совершенно согласны въ отношеніи къ религіи; но согласіе это идетъ только на отрицаніе надзвѣздной религіи, и какъ только мы являемся лицомъ къ лицу съ *подлунной* религіей, разстояніе между нами неизмѣримо. Изъ мрачныхъ стѣнъ собора, пропитанныхъ ладономъ, вы переѣхали въ свѣтлое присутственное мѣсто, изъ Гвельфовъ вы сдѣлались Гибеллинамъ, чины небесныя замѣнились для васъ—государственнымъ чиномъ, поглощеніе лица въ Бога—поглощеніемъ его въ государство, Богъ замѣненъ централизаціей и попъ кварталнымъ надзирателемъ.

Вы въ этой переменѣ видите переходъ, успѣхъ; мы—новыя фѣи. Мы не хотимъ быть ни Гвельфами, ни Гибеллинами. Ваша свѣтская, гражданская и уголовная религія тѣмъ страшнѣе, что она лишена всего поэтическаго, фантастическаго, всего дѣтскаго характера, который замѣнится у васъ канцелярскимъ порядкомъ, идоломъ государства. Вы хотите, чтобъ человѣчество, освободившееся отъ церкви, ждало столѣтія два въ передней присутственнаго мѣста, пока каста жрецовъ-чиновниковъ и монаховъ-доктринеровъ рѣшится, какъ ему быть вольнымъ и насколько, въ родѣ нашихъ комитетовъ объ освобожденіи крестьянъ. А намъ все это противно; мы можемъ многое допустить, сдѣлать уступку, принести жертву обстоятельствамъ; но для васъ это не жертвы. Разумѣется, и тутъ вы счастливы насъ. Утративъ религіозную вѣру, вы не остались ни при чемъ и, найдя, что гражданскія вѣрованія человѣку замѣняютъ христіанство, вы ихъ приняли, и хорошо сдѣлали для нравственной гігіены, для покоя. Но лекарство это намъ першитъ въ горлѣ, и мы ваше присутственное мѣсто, вашу централизацію ненавидимъ совсѣмъ не меньше инквизаціи, консисторіи, кормчей книги.

Понимаете ли вы разницу. Вы, какъ учитель, хотите учить, управлять, пасти стадо.

Мы, какъ стадо, приходящее къ сознанію, не хотимъ, чтобъ насъ пасли, а хотимъ имѣть свои земскія избы, своихъ повѣренныхъ, своихъ подъячихъ, которымъ поручать хожденіе по дѣламъ. Оттого насъ *правительство* оскорбляетъ на всякомъ шагу своею властью, а вы ему рукоплещете, такъ, какъ вашъ предшественникъ, попъ, рукоплескалъ свѣтской власти. Вы можете и расхотѣться съ нимъ, такъ, какъ духовенство расхотѣлось, или какъ

люди, ссорившіеся на кораблѣ: какъ бы они ни удалились другъ отъ друга, за бортъ вы не уйдете, и для насъ, мірянъ, вы все-таки будете со стороны его.

Гражданская религія, апотеоза государства — идея чисто романская, а въ новомъ мірѣ, преимущественно французская. Съ нею можно быть сильнымъ государствомъ, но нельзя быть свободнымъ народомъ; можно имѣть славныхъ солдатъ... но нельзя имѣть независимыхъ гражданъ. Сѣверо-Американскіе Штаты, совсѣмъ напротивъ, отняли религіозный характеръ полиціи и администраціи, до той степени, до которой это возможно.

### Эпилогъ.

Перечитывая главу о К., невольно призадумываешься о томъ, что за чудачки, что за оригинальныя личности живутъ и жили на Руси! Какими капризными развитіями сочилась и просочилась исторія нашего образованія. Гдѣ, въ какихъ краяхъ, подъ какимъ градусомъ широты, долготы, возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, недобрая, шумная, не укладистая фигура К., кромѣ Москвы?

А сколько я ихъ наглядѣлся, этихъ оригинальныхъ фигуръ «во всѣхъ родахъ различныхъ», начиная съ моего отца и оканчивая «дѣтьми» Тургенева.

«Такъ русская печь печетъ!» говорилъ мнѣ Ногодинъ. И въ самомъ дѣлѣ, какихъ чудесъ она не печетъ, особенно когда хлѣбъ сажаютъ на нѣмецкій ладъ... отъ сакъ и калачей до православныхъ булокъ съ Гегелемъ и французскихъ хлѣбовъ à la quatorze-treize! Досадно, если всѣ эти своеобразныя печенья пропадутъ безслѣдно. Мы останавливаемся обыкновенно только на сильныхъ дѣятеляхъ.

...Но въ нихъ меньше видна русская печь, въ нихъ ея особенности поправлены, выкуплены; въ нихъ больше русскаго склада ума, чѣмъ печи. Возлѣ нихъ пробиваются, за ними плетутся разныя партикулярныя люди, сбившіеся съ дороги: вотъ въ ихъ-то числѣ не оберешься чудачковъ. Волостные проводники историческихъ теченій, капли дрожжей, потерявшіеся въ опарѣ, но поднявшихъ ее не для себя. — Люди, рано проснувшіеся темной ночью и ошущую отправившіеся на работу, толкаясь обо все, что ни попадалось на дорогѣ, они разбудили другихъ на совѣмъ другой трудъ.

...Попробую когда-нибудь спасти еще два-три профиля отъ полного забвенія. Ихъ ужъ теперь едва видно изъ-за сѣраго тумана, изъ-за котораго только и вырѣзываются вершины горъ и утесовъ.



## Базиль и Армансъ.

(Эпизодъ изъ 1844 года).

Къ нашей второй *виллежіатуръ* относится очень характеристическій эпизодъ; его не помѣстить просто жалъ, несмотря на то, что я и Natalie участвовали въ немъ очень мало. Эпизодъ этотъ можно бы назвать: *Армансъ и Базиль—философъ изъ учтивости, христіанинъ изъ вѣжливости и Жакъ Ж.-Занда, дѣлающійся Жакомъ фаталистомъ*. Начался онъ на французской томболѣ.

Зимой 1843 г. я поѣхалъ на томболу. Публики было бездна, помнится тысячъ пять человѣкъ; знакомыхъ почти никого. Базиль нымгнулъ съ какой-то маской, ему было не до меня. Онъ слегка покачалъ головой и прищурилъ рѣсницы такъ, какъ дѣлають знатоки, находя вино превосходнымъ и бекаса удивительнымъ.

Балъ былъ въ залѣ благороднаго собранія. Я походилъ, поспѣлъ, глядя, какъ русскіе аристократы, переодѣтые въ разныхъ пьеро, ото всей души усердствовали представить изъ себя парижскихъ сидѣльцевъ и отчаянныхъ канканеровъ, — и пошелъ ужинать наверхъ. Тамъ-то меня отыскалъ Базиль. Онъ былъ совершенно не въ нормальномъ положеніи, а въ первомъ разгарѣ остраго періода любви; онъ у него былъ тѣмъ острѣе, что Базилю тогда было около сорока лѣтъ, и волосъ началъ падать съ его возвышеннаго чела. Безсвязно толковалъ онъ мнѣ о какой-то французской «Миньонѣ, со всей простотой «Клерхентъ» и со всей игривой прелестью парижской гризетки».

Сначала я думалъ, что это одинъ изъ тѣхъ романовъ въ одну главу, въ которыхъ побѣда на первой страницѣ, а на послѣдней — вмѣсто оглавленія — счетъ. Но убѣдился, что это не такъ. Базиль видѣлъ свою парижанку во второй или третій разъ и вель циркумволюціонныя линіи, не бросаясь на приступъ. Онъ меня познакомилъ съ ней. Армансъ была дѣйствительно живое, милое

дети Парижа, совершенно уродившееся въ отца. Отъ ея языка до манеръ и извѣстной самостоятельности, отваги, — все въ ней принадлежало благородному плебейству великаго города. Она еще была работница, а не мѣщанка. У насъ этотъ типъ никогда не существовалъ. Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и, среди всего, чутье самосохраненія, чутье опасности и чести. Дѣти, брошенные иногда съ десяти лѣтъ на борьбу съ бѣдностью и искушеніями, беззащитныя, окруженныя заразой Парижа и всевозможными сѣтими, они сами становятся своимъ провидѣніемъ и охраной. Такія дѣвушки могутъ легко отдаться, но взять ихъ невзначай, врасплохъ, трудно. Тѣ изъ нихъ, которыхъ можно бы было купить, — до этого круга работницъ не доходятъ: онѣ уже куплены прежде, заертѣлись, унеслись и исчезли въ омутѣ другой жизни, иногда навсегда, иногда для того, чтобъ черезъ пять-шесть лѣтъ явиться въ своей коляскѣ по Longchamp, или въ первомъ ярусь оперы въ своей ложѣ — mit Perlen und Diamanten. — Базиль былъ влюбленъ по уши. Резонеръ въ музыкѣ и философъ въ живописи, онъ былъ одинъ изъ самыхъ полныхъ представителей ультрагегельянцевъ. Онъ всю жизнь носился въ эстетическомъ небѣ, въ философскихъ и критическихъ подробностяхъ. На жизнь онъ смотрѣлъ такъ, какъ Ретнеръ на Шекспира, возводя все въ жизни къ философскому значенію, дѣлая скучнымъ все живое, пережеваннымъ все свѣжее; словомъ, не оставляя въ въ своей непосредственности ни одного движенія души. Взглядъ этотъ, впрочемъ, въ разныхъ степеняхъ принадлежалъ тогда почти всему кружку; иные срывались талантомъ, другіе живостью; но у всѣхъ еще долго оставался — у кого жаргонъ, у кого и самое дѣло. «Пойдемъ, — говорилъ Бакуининъ Т... въ Берлинѣ, въ началѣ сороковыхъ годовъ, — окунуться въ пучину дѣйствительной жизни, бросимся въ ея волны»; — и они шли просить Фарнгагена фонъ Энзе, чтобы онъ ихъ ввелъ ловкимъ купальщикомъ въ практическія пучины и представилъ бы ихъ одной хорошенькой актрисѣ. Понятно, что съ этими приготовленіями не только ни до какого купанья въ страстяхъ, «разъѣдающихъ тайники духа нашего», но вообще ни до какого *поступка* дойти нельзя. Не доходятъ до нихъ и нѣмцы; но зато нѣмцы и не ищутъ поступковъ, а какъ бы успокойнѣ. Наша натура, напротивъ, не выноситъ этого нашего отношенія — des theoretischen Schwelgen — запутывается, спотыкается и падаетъ больше смѣшно, чѣмъ опасно. Итакъ, влюбленный и сороколѣтній философъ, щуря глазки, сталъ сводить всѣ спекулятивные вопросы на «демоническую силу любви», равно влекущую Геркулеса и слабого отрока къ ногамъ Омфалы, началъ уяснять себѣ и другимъ нравственную идею семьи, почву брака (Гегелевой философіи права, глава

Sittlichkeit). Пренятствій не было со стороны Гегеля. Но призрачный міръ случайности и кажущагося, — міръ духа, неосвободившагося отъ преданій, не былъ такъ сговорчивъ. У Базиля былъ отецъ Петръ Конычъ, богачъ, который самъ былъ женатъ послѣдовательно на трехъ, и отъ каждой имѣлъ человѣка по три дѣтей. Узнавъ, что его сынъ, и притомъ старшій, хотѣлъ жениться на католичкѣ, на нищей, на французенкѣ, да еще съ Кузнецкаго моста, онъ рѣшительно отказалъ въ своемъ благословеніи. Безъ родительскаго благословенія, можетъ, Базиль, принявшій инкиъ и манеры скептицизма, какъ-нибудь и обошелся бы; но старикъ связывалъ съ благословеніемъ не только послѣдствіе jenseits (на томъ свѣтѣ), но и desesseite (на этомъ свѣтѣ), а именно *наслѣдство*.

Пренятствіе старика, какъ всегда, двинуло дѣло впередъ, и Базиль сталъ подумывать о скорѣйшей развязкѣ. Оставалось жениться, не говоря худого слова, и впоследствии заставить старика принять un fait accompli или скрыть отъ него бракъ, въ ожиданіи, что онъ скоро не будетъ ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться наслѣдствомъ.

Но непроедѣнный міръ преданій и тутъ подставлялъ свою ногу. Обвиняться подъ сурдинку въ Москвѣ было нелегко, чрезвычайно дорого и тотчасъ бы дошло до отца черезъ діаконъ, архидіаконъ, дьячковъ, просвиренъ, свахъ, приказчиковъ, сидѣльцевъ и разныхъ потаскушекъ. Положено было позондировать нашего отца Іоанна, въ с. Покровскомъ, извѣстнаго читателямъ по мнѣ, своей исторіей о похищеніи въ нетрезвомъ видѣ серебряныхъ «часовъ и шкатулки» у дьячка.

Отецъ Іоаннъ, узнавъ, что непокорному сыну около сорока лѣтъ, что невѣста не русская и что родителей ея здѣсь нѣтъ, что, сверхъ меня, подпишется свидѣтелемъ университетскій профессоръ, — сталъ меня благодарить за такую милость, полагая вѣроятно, что я старался женить Базиля для доставленія ему двухсотенной бумажки. Онъ былъ до того тронутъ, что закричалъ въ другую комнату: — «Попадья, попадья, выпусти два-три яичка», и досталъ изъ шкапа полуштофъ, заткнутый бумажкой, для того, чтобъ меня попотчевать.

Все шло прекрасно.

Дня свадьбы и прочее не назначали. Армансъ должна была пріѣхать къ намъ, въ Покровское, погостить; Базиль (хотѣвшій ее сопровождать) возвратиться въ Москву и, окончательно устроившись, идти отъ отцовскаго проклятія — подъ благословеніе пьяненькаго отца Іоанна.

... Ожидая i promessi sposi, мы велѣли приготовить ужинъ и сѣбя ждать. Ждемъ — ждемъ; бьетъ двѣнадцать ночей. Никого

нѣтъ... Часъ,—никого нѣтъ. Дамы пошли уснуть; я съ Г. и К. принялся за ужинъ. Le ore suonan al quadrano, e una, e due e tre...

Ма... ихъ нѣтъ, какъ нѣтъ.

... Наконецъ, колокольчикъ ближе и ближе; повозка постучала по мосту. Мы бросились въ сѣни. Тарантасъ, заложенный тройкою, быстро вѣзжалъ на дворъ—и остановился. Вышелъ Базиль. Я подошелъ дать руку Армансъ; она вдругъ меня схватила за руку, да съ такой силой, что я чуть не вскрикнулъ, и потомъ разомъ бросилась мнѣ на шею, съ хохотомъ повторяя: Monsieur Herstin... Это былъ никто иной, какъ Виссаріонъ Григорьевичъ Вѣлинескій in propria persona.

Въ тарантасѣ не было больше никого, кромѣ Вѣлинскаго, который хохоталъ до кашля, и Базиль, который до насморка чуть не плакалъ. Мы смотрѣли другъ на друга съ удивленіемъ. Для дополненія эффекта надобно замѣтить, что два дня тому назадъ въ Москвѣ о Вѣлинескомъ и слуху не было.

«Давайте мнѣ вѣсть—сказать, наконецъ, Вѣлинескій,—я вамъ расскажу тамъ, какія у насъ были чудеса; надобно же выручить несчастнаго Базиль, который васъ боится больше Армансъ».

Вотъ что случилось. Видя, что дѣло быстро приближается къ развязкѣ, Базиль испугался; началъ *рефлексировать* и совершенно сконфузился, обдумывая неумолимый фатализмъ брака, неразрушимость его по кормчей книгѣ и по книгѣ Гегеля. Онъ занерсѣ, отданный на жертву духу мучительнаго изслѣдованія и безпощаднаго анализа. Страхъ возрасталъ съ часу на часъ, и тѣмъ больше, что дорога къ отступленію была тоже не легка и, чтобы рѣшиться на нее, почти надобно было имѣть столько же характера, какъ и на самый бракъ. Страхъ этотъ росъ до тѣхъ поръ, пока въ дверь постучался Вѣлинескій, пріѣхавшій изъ Петербурга прямо къ нему въ домъ. Базиль рассказалъ ему весь ужасъ, съ которымъ онъ идетъ на срѣщеніе своего счастья, и все отвращеніе, съ которымъ онъ вступаетъ въ бракосочетаніе по любви,—и требовалъ его совѣта и помощи.

Вѣлинескій отвѣчалъ ему, что надобно быть сумасшедшимъ, чтобъ послѣ этого—сознательно и зная впередъ что будетъ,—положить на себя такую цѣпь. «Вотъ Герценъ, говорилъ онъ, и женился, и жену свою увезъ, и за ней пріѣзжалъ изъ ссылки; а спроси его: онъ ни разу не задумывался, слѣдуетъ ему такъ дѣлать, или нѣтъ, и какія будутъ послѣдствія. Я увѣренъ, что ему казалось, что онъ не можетъ иначе поступить. Ну, ему и вытанцовалось. А ты тоже хочешь сдѣлать, любомудрствуя и рефлекслируя».

Только этого и надобно было Базиллю. Онъ въ ту же ночь написалъ Армансъ диссертацию о бракѣ, о своей несчастной рефлексіи, о невозможности простого счастья для пытливаго духа; излагалъ всѣ невыгоды и опасности ихъ соединенія и спрашивалъ у Армансъ совѣта, что имъ теперь дѣлать?

Отвѣтъ Армансъ онъ привезъ съ собой.

Въ разсказѣ Бѣлинскаго и въ письмѣ Армансъ обѣ природы, — ся и Базилля, — вполне вышли какъ на ладони. Дѣйствительно, брачный союзъ такихъ противоположныхъ людей былъ бы страшенъ. Армансъ писала ему грустно; она была удивлена, оскорблена, рефлексіей его не понимала, а видѣла въ нихъ предлогъ, охлажденіе; говорила, что, въ такомъ случаѣ, не должно быть и рѣчи о свадьбѣ, развязывала его отъ даннаго слова и заключила тѣмъ, что, послѣ случившагося, имъ не слѣдуетъ видѣться. «Я васъ буду помнить, писала она, съ благодарностью, и нисколько не виню васъ: я знаю, вы чрезвычайно *добры*, но еще больше слабы! Прощайте же и будьте счастливы!»

Такое письмо, должно быть, не совѣтъ пріятно получить. Въ каждомъ словѣ сила, энергія и немного свысока. Дитя славнаго плебейскаго кряжа, Армансъ поддержала свое происхожденіе. Будь это англичанка, какъ бы крѣпко она ухватила за письмо Базилля, какъ, ртомъ бы своего добродѣтельнаго солпситора, разсказала съ негодованіемъ, со стыдомъ, о первомъ пожатіи руки, о первомъ поцѣлуѣ, и какъ бы ея адвокатъ, со слезами на глазахъ и мѣломъ въ нарикѣ, потребовалъ у присяжныхъ вознаградить обиженную невинность тысячею или двумя фунтовъ.

Француженкѣ, бѣдной швеѣ, это и въ голову не пришло.

Два или три дня, которые они провели въ Покровскомъ, были печальны для эксъ-жениха. Точно ученикъ, сильно напакостившій въ классѣ — и который боится и учителя, и товарищей.

Векорѣ мы услышали, что Б. ѣдетъ въ чужіе края. Онъ писалъ ко мнѣ письмо смутное, недовольное собой, звалъ проститься. Въ первыхъ числахъ августа я поѣхалъ изъ Покровскаго въ Москву; новая диссертация поѣхала въ то же время изъ Москвы въ Покровское къ Natalie. Я отправился къ Б. и прямо попалъ на прощальный пиръ. Пили шампанское, и въ тостахъ, въ желаніяхъ были какіе-то странные намеки. «Вѣдь, ты не знаешь», — сказалъ мнѣ Базиль на ухо: «вѣдь, я... того... и онъ прибавилъ шопотомъ: вѣдь, Армансъ ѣдетъ со мной. Вотъ дѣвушка, я теперь только ее узналъ», и онъ качалъ головою.

Это стоило появленія Бѣлинскаго.

Въ эпистолѣ къ Natalie онъ пространно объяснялъ ей, что мысль и рефлексія о женитьбѣ повергли его въ раздумье и отчая-

ніе: онъ усомнился и въ своей любви къ Армансѣ, и въ своей способности къ семейной жизни; что, такимъ образомъ, онъ дошелъ до мучительнаго сознанія, что онъ долженъ все разорвать и бѣжать въ Парижъ, что въ этомъ расположеніи онъ явился смѣннымъ и жалкимъ въ Покровское. Рѣшившись такимъ образомъ, онъ, перечитывая письмо Армансѣ, сдѣлалъ новое открытіе; именно, что онъ Армансѣ любитъ очень много, и потому потребовалъ у нея свиданія и снова предложилъ ей руку. Онъ думалъ опять о Покровскомъ поѣѣ, но близость Мамоновской фабрики пугала его. Вѣнчаться онъ собирался въ Петербургѣ и тотчасъ ѣхалъ во Францію. «Армансѣ рада, какъ ребенокъ».

Въ Петербургѣ Базиль придумалъ вѣнчаться въ Казанскомъ соборѣ. Чтобы при этомъ философія и наука не были забыты, онъ пригласилъ для совершенія обряда протоіерея Сидонскаго, ученаго автора «Введенія въ науку философіи». Сидонскій давно зналъ Б. по его статьямъ, какъ свободнаго свѣтскаго мыслителя и нѣмецкаго любомудра. Послѣ всѣхъ чудесъ, бывшихъ съ Армансѣ, ей досталась честь, рѣдко достающаяся, послужить поводомъ одной изъ самыхъ комическихъ встрѣчъ двухъ заклятыхъ враговъ: религіи и науки.

Сидонскій, чтобы блеснуть своимъ мірскимъ образованіемъ, передъ вѣнчаніемъ сталъ говорить о новыхъ философскихъ брошюрахъ и, когда все было готово и дьячекъ подаль ему эпитрахиль, къ которой онъ приложился и сталъ надѣвать, онъ, потупивъ взоры, сказалъ Б.: «Вы извините: обряды-съ; я весьма хорошо знаю, что христіанскій ритуаль сдѣлалъ свое время, что...»

— О нѣтъ, нѣтъ, — прервалъ его Базиль голосомъ полнымъ участія и состраданія:—Христіанство вѣчно; его сущность, его субстанція не можетъ пройти.

Сидонскій поблагодарилъ цѣломудреннымъ взглядомъ «рыцарственнаго» антагониста, обратился къ клиру и заплѣлъ. Грянулъ клиръ, и дѣло пошло своимъ порядкомъ, и Б. въ вѣнцѣ, и Армансѣ въ вѣнцѣ повелѣ Сидонскій вокругъ аналая,... заставляя ликовать Исаію.

Изъ собора Базиль отправился съ Армансѣ домой и, оставивъ ее тамъ, явился на литературный вечеръ Краевского. Черезъ два дня Бѣлинскій посадилъ молодыхъ на пароходъ. Теперь-то, полагаютъ, исторія навѣрное окончена.

Нисколько.

До Каттегата дѣло шло очень хорошо; но тутъ попался проклятый Жакъ Ж.-Занда.

— Какъ ты думаешь о Жакѣ?—спросилъ Б. Армансѣ, когда она кончила романъ.

Армансѣ сказала свое мнѣніе.

Базиль объявилъ ей, что оно совершенно ложно, что она оскорбляетъ своимъ сужденіемъ глубочайшія стороны его духа и что его *міросозерцаніе* не имѣетъ ничего общаго съ ея.

Сангвиническая Армансъ не хотѣла мѣнять *міросозерцанія*; такъ прошли оба Бельта.

Вышедши въ Нѣмецкое море, Б. почувствовалъ себя больше дома и сдѣлалъ еще разъ опытъ перемѣнить *міросозерцаніе* и убѣдить Армансъ иначе взглянуть на Жака.

Умирающая отъ морской болѣзни, Армансъ собрала послѣднія силы и объявила, что мнѣнія своего о Жакѣ она не перемѣнитъ.

— Что же насъ связываетъ послѣ этого?—замѣтилъ сильно расходившійся Б.

— Ничто,—отвѣчала Армансъ, *et si vous me cherchez quelque*, такъ лучше просто разстаться, какъ только коснемся земли.

— Вы рѣшились,—говорилъ Б., *пѣтушась*.— Вы предпочтаете?..

— Все на свѣтѣ, чѣмъ жить съ вами; вы несносный чело-вѣкъ, слабый и тиранъ.

— *Madame!*

— *Monsieur!*

Она пошла въ каюту; онъ остался на палубѣ. Армансъ сдержала слово. Изъ Гавра она уѣхала къ отцу и, черезъ годъ, возвратилась въ Россію одна, и притомъ въ Сибирь.

На этотъ разъ, кажется, исторія этого перемежающагося брака кончилась.

А, впрочемъ, Барреръ говорилъ же: «только мертвые не возвращаются».

(Писано 1857, Putney, Laurelhouse)





## Примѣчанія.

**Стр. 6.** Грютли—дугъ на берегу Ури-скаго озера, гдѣ по преданію состоялся тайный союзъ въ 1307 г. 3-хъ вожаковъ швейцарскаго народа (Штауфхера, Фюрста и Мельхтала), съ цѣлью освобожденія отъ габсбургъ-австрійскаго дома.

**Стр. 25.** Марья Савинина Перекусихина (1739—1824) была любимой и вліятельной камеръ-юнгферой Екатерины II, завѣдывая такъ назыв. «комнатными обстоятельствами» императрицы.

**Стр. 36.** Маргарита Жоржъ (1786—1867), знаменитая французская актриса, славилась исполненіемъ героинь трагедій Корнея и Расина.

**Стр. 38.** «Le soldat de Villainton» заключаетъ въ себя игру словъ: солдатъ дурного тона и въ то же время солдатъ Веллингтона (по французскому произношенію этого англійскаго имени), разбиившаго вмѣстѣ съ Блюхеромъ Наполеона I при Ватерлоо.

**Стр. 40.** Протоіерей Петръ Матв. Терновскій (1798—1874), профессоръ богословія и церковной исторіи въ московскомъ университетѣ.

**Стр. 41.** Упоминаемый здѣсь знакомый отца Герцена жандармскій генералъ графъ Евграфъ Федор. Комаровскій (1769—1843) оставилъ послѣ себя любопытныя записки о своемъ времени, напечатанныя въ сборникъ «XVIII вѣкъ» (1868) и въ «Русск. Архивъ» (1867).

Александръ Федор. Лавинъ (1766—1825), писатель-мистикъ, издававшій журналъ «Сіонскій Вѣстникъ» (1816—1817—18) и написавшій также много мистическихъ сочиненій («Угрозы Свѣтовостановъ» и др.); былъ сосланъ въ 1821 г. въ Сибирьскъ.

**Стр. 42.** Викторъ Этьенъ, прозванный де-Жун (1764—1846), остроумный французскій писатель. Его лучший романъ «L'hermite de la Chaussée d'Antin»

(5 т., 1812—14), представляющій яркую и живую картину французскихъ нравовъ временъ первой имперіи, былъ переведенъ и на русскій языкъ.

Люсиль Демуленъ—жена революціонера Камилла Демулена, казненнаго въ апрѣль 1794 г. Арестованная послѣ его казни по совершенно недоказанному обвиненію въ попыткѣ устроить бѣгство мужа изъ тюрьмы, она была казнена черезъ двѣ недѣли послѣ него.

Алибо, французскій революціонеръ-заговорщикъ, гильотинированный при Луи-Филиппѣ.

**Стр. 43.** Графъ Александръ Христофор. Бенкендорфъ (1783—1844), съ 1826 г. былъ шефомъ жандармовъ, начальникомъ III отдѣленія.

Княгиня Екатерина Пав. Трубецкая (урожд. графиня Лаваль)—жена декабриста кн. С. П. Трубецкаго, первая изъ женъ декабристовъ прибывшая въ 1829 г. въ Сибирь, гдѣ и оставалась до своей смерти (въ 1853 г.).

Князь Евгений Петр. Оболенскій, декабристъ (1796—1865). Сосланный въ каторжную работу, 13 лѣтъ пробылъ въ перчинскихъ рудникахъ, а въ 1856 г. былъ возвращенъ. Его «Записки» изданы въ 1862 г. во франц. переводѣ за границей; письма-же его помѣщены въ «Русск. Архивъ» 1873 г. и «Истор. Вѣстн.» 1890 г.

**Стр. 44.** Полковникъ Пав. Пав. Пестель (1792—1826), одинъ изъ главныхъ вожаковъ декабристовъ, учредитель «Союза Благоденствія»; дѣятель петербургскаго и южнаго тайныхъ обществъ и авторъ «Русской Правды», содержащей проектъ конституціи и критику тогдашняго положенія Россіи. Повѣшенъ 13 іюня 1826 г.

Ив. Евдоким. Протопоповъ, русскій учитель Герцена, въ то время бывший студентомъ московской медико-хирурги-

ческой академіи, а впоследствии ставший военным врачом в карабинерном полку. Были слухи, что онъ былъ убитъ во время бунта военныхъ поселеній въ Старой Руссѣ, Новгородской губ., въ 1831 г. Въ «Запискахъ одного молодого человека» (т. I, 55—62) онъ названъ Пандиферскимъ.

**Стр. 45 — 49.** «Виучка старшаго брата отца» Герцена—проживавшая въ г. Корчевѣ, Тверской губ., Татьяна Петровна Пассекъ (урожд. Кучина), которую даже Герценъ называетъ «корчевскою кузиной».

**Стр. 48.** Анахарсисъ — мифическій скифъ, будто бы путешествовавшій въ VI в. до Р. Х. по Греціи и, пораженный ея образованностью и культурой, пожелавшій ввести ихъ въ Скиіи.

Франц. археологъ Жанъ-Жакъ Бартеlemi написалъ прославившееся въ свое время сочиненіе «Voyage du jeune Anacharsis en Grèce» (1788), переведенное затѣмъ и на русскій языкъ. Объ этомъ сочиненіи и говорится въ текстѣ.

**Стр. 53.** Стихи на этой страницѣ принадлежатъ Н. И. Огареву.

**Стр. 59.** Александръ Лаврент. Витбергъ (1787—1855), даровитый архитекторъ. Онъ составилъ замѣчательный проектъ грандіознаго храма Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ близъ Москвы и началъ строить его, но, несправедливо обвиненный въ злоупотребленіяхъ, былъ сосланъ въ Вятку, гдѣ и жилъ до смерти. Во время своей вятской ссылки (1834—37 гг.) Герценъ близко подружился съ Витбергомъ, который продиктовалъ ему и свои «Записки» (напечат. въ «Русск. Стар.» 1872 и 1876 гг.).

**Стр. 60.** Агатонъ—типъ идеальнаго друга, выведенный Карамзинымъ.

**Стр. 63.** Князь Николай Борис. Юсуповъ (ум. въ 1831 г.), одинъ изъ большихъ вельможъ екатерининскаго времени, былъ одно время главнымъ начальникомъ кремлевскойдворцовой эксквизиціи, гдѣ фиктивно служилъ Герценъ.

Джамбатиста Касти (1721—1803), талантливый итальянскій поэтъ, писавшій сонеты, анакреонтическіе стихи, комическія оперы, поэмы и новеллы въ стихахъ.

**Стр. 67.** Князь Мих. Ѳеодор. Орловъ (1788—1842), генералъ-майоръ и флигель-адъютантъ, заключилъ капитуляцію Парижа въ 1814 г.; принадлежалъ къ членамъ «Союза Благоденствія» и былъ

близокъ съ декабристами, почему въ 1826 г. былъ вынужденъ выйти въ отставку.

Графиня Анна Алексѣевна Орлова-Чесменская (1785—1848), дочь извѣстнаго А. Р. Орлова, отличалась крайней религіозностью, подпавъ подъ влияние архимандрита Фотія. После смерти завѣщала все свои деньги (болѣе 2-хъ милліоновъ) монастырямъ.

**Стр. 73.** Князь Петръ Ив. Шаликовъ (1767—1852), писатель сентиментальной школы, издававшій 25 лѣтъ «Моск. Вѣд.» и журналы: «Моск. Зритель», «Аглая» и «Дамскій журналъ».

Владимір Ив. Панаевъ (1792—1859), поэтъ, получившій въ 1820 г. за свои «Идилліи» золотую медаль отъ российской академіи, гдѣ онъ состоялъ членомъ.

Иямень Никол. Араповъ (1796—1861), историкъ русскаго театра, издававшій цѣнный трудъ «Лѣтопись русскаго театра». Кроме того, написалъ много пьесъ, рецензій и проч.

Пьеръ Мариво (1688—1763), французскій драматургъ, отличавшійся чрезвычайной искусственностью своихъ комедій.

Герцогъ Франсуа Ларошфуко (1613—1680), франц. писатель, извѣстный своими философскими и моральными афоризмами («Maximes»).

**Стр. 76.** Луи-Антуанъ Бурбень (1769—1834), былъ другомъ Наполеона I и его секретаремъ, а при Людовикѣ XVIII—государственнымъ министромъ. Онъ написалъ 10 томовъ «Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration» (1829).

**Стр. 79.** Князь Дмитр. Владим. Голицынъ (1771—1844) былъ боевымъ генераломъ во время войнъ при Александрѣ I, а съ 1820 г. состоялъ московскимъ генералъ-губернаторомъ до 40-хъ годовъ.

**Стр. 81.** «Химикъ» —сынъ дяди Герцена Александра Алексѣев. Яковлева, —Алексѣй Александровичъ.

**Стр. 82.** Дмитрій Никол. Свербѣевъ—умѣренный славянофилъ, одинъ изъ хорошихъ знакомыхъ Герцена, начиная съ 40-хъ годовъ. Свербѣевъ возобновилъ это знакомство въ Парижѣ, въ концѣ декабря 1869 г., и описалъ въ своихъ «Запискахъ» (т. I, стр. 501—507) послѣдніе дни жизни Герцена, его болѣзнь, смерть и погребеніе.

**Стр. 83.** Жозефъ-Иеромъ Лаландъ (1732—1807), французскій астрономъ, оставившій рядъ капитальныхъ работъ

**Стр. 83.** Лоренцъ Окенъ (1779—1851), нѣмецкій естествоиспытатель и философъ, основатель такъ называемой натурфилософii.

**Стр. 89.** Ив. Алексѣевъ Двигубскій (1771—1839), профессоръ и ректоръ московскаго университета, былъ извѣстенъ, какъ натуралистъ и физикъ.

Федоръ Андреевичъ Гильдебрантъ (1773—1845) былъ проф. химiи въ московскомъ университетѣ.

Христіанъ Ив. Лодеръ (1753—1832), проф. тамъ-же, анатомъ, лейбъ-медикъ Александра I.

Григ. Ив. Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ (1771—1853), проф. тамъ-же, впоследствии былъ президентомъ медико-хирургической академiи, извѣстенъ изслѣдованiями по физиологiи животныхъ и по палеонтологiи.

Алексѣй Федор. Мерзляковъ (1778—1830), проф. русской словесности тамъ-же; боролся противъ псевдо-классицизма; переводилъ Горациа, Виргилiя и Θεокрита, сочинилъ нѣмнiя въ свое время большой успѣхъ пѣсни въ народномъ духѣ («Среди долины ровныя» и др.).

Вас. Мих. Котельницкiй (1770—1844), проф. тамъ-же, читалъ исторiю медицины и химiи, издавалъ и редактировалъ (съ 1821 г.) «Медико-физич. журналъ».

Филиппъ-Генрихъ Дильтъй (ум. въ 1781 г.) былъ первымъ (и единственнымъ) профессоромъ по юридическимъ наукамъ въ московскомъ университетѣ.

**Стр. 91.** Луи Пуансо (1777—1859), французскiй математикъ-академикъ, издавшiй много замѣчательныхъ математическихъ трудовъ.

Гавр. Ив. Милковъ съ 1820-хъ годовъ преподавалъ въ московскомъ университетѣ военныя науки и математику.

**Стр. 92.** Дюрэмъ (Durham), Джонъ, графъ, англ. государств. дѣятель (1792—1840); въ 1835—37 гг. былъ англ. посланникомъ въ Россiю.

**Стр. 93.** Александръ Александр. Писаревъ (1780—1840) былъ попечителемъ москов. университета, варшавскимъ военнымъ губернаторомъ, сенаторомъ, председателемъ общ. любит. росс. словесности и членомъ росс. академiи.

Серг. Никол. Глинка (1776—1847), плодовитый писатель и журналистъ, отличавшiйся крайнимъ патриотизмомъ, участвовалъ въ войнѣ 1812 г. Издавалъ «Русскiй Вѣстникъ», «Новое Дѣтское Чтенiе» и мн. др.

**Стр. 94.** Графъ Серг. Сем. Уваровъ (1786—1855), въ 1833—49 гг. министръ народнаго просвѣщенiя; авторъ извѣстной формулы «Просвѣщенiе въ цѣляхъ самодержавiя, православiя и народности».

Джованни Никъ-де-ла-Мираandola (1463—1494) поражалъ всѣхъ своихъ современниковъ поразительной многосторонней ученостiю и энциклопедизмомъ своихъ знанiй. Въ своихъ сочиненiяхъ онъ старался примирить философию съ религiей.

Графъ Александръ Федор. Ланжеронъ (1763—1831) и графъ Леонтiй Леопт. Беннигсенъ (1745—1826), боевые генералы, въ особенноти отличившiеся въ войнѣ 1812 г. Стихи, въ которыхъ они упоминаются, приведенные Герценомъ, принадлежать партизану-поэту Д. В. Давыдову.

**Стр. 96.** Ренъ-Жюстъ Гайюп (1743—1822), франц. минералогъ, создавшiй научную кристаллографiю.

Авраамъ-Готтлибъ Вернеръ (1760—1817), нѣм. минералогъ и одинъ изъ создателей геологiи, авторъ теорiи петунизма.

Эйлордъ Митчерлихъ (1794—1863), нѣм. химикъ, оставившiй много цѣнныхъ изслѣдованiй и внесшiй въ науку новыя данныя.

Александръ-Огюстъ Ледрю-Ролленъ (1807—1874), франц. политическiй дѣятель. Съ 1841 г. былъ единственнымъ радикаломъ въ палатѣ депутатовъ и издавалъ въ 40-хъ г. радикальную газету «Réforme». Въ 1848 г. былъ членомъ республиканскаго временнаго правительства и министромъ внутреннихъ дѣлъ. Послѣ неудачной попытки къ возстанiю въ июнѣ 1849 г. бѣжалъ въ Англію, гдѣ во время 2-ой имперiи составлялъ противъ нея заговоры, состоя членомъ международнаго революціоннаго комитета. Воротясь во Францію (1870 г.), былъ депутатомъ въ палатѣ въ 1871 и 1874 гг.

**Стр. 97.** Князь Александръ Никол. Голицынъ (1773—1844), оберъ-прокуроръ синода и министръ народ. просв. На этомъ посту Голицынъ, прежній либераль и «вольтеріанецъ», сталъ ревностнымъ реакціонеромъ, покровителемъ Магницкаго, Руничя и др. обскурантовъ. Впавши въ мистицизмъ, онъ основалъ «Библейское общество», но еще болѣе крайніе реакціонеры, въ лицѣ Аракчеева и архим. Фотiя, низвергли его въ 1824 г.

**Стр. 98.** Жань-Батистъ Лакордеръ (1802—1861), красноречивый и либеральный проповѣдникъ. Издавалъ вмѣстѣ съ Ламенне католическо-демократическую газету «Будущность», въ 1842 г. принялъ монашество, а въ 1848 г. былъ членомъ законодательнаго собранія.

Святѣйшій князь Петръ Михайл. Водконовскій (1776—1852), министр имп. двора.

**Стр. 100.** Дюлонъ де-Леръ, Жакъ-Шарль (1767—1855), французскій политическій дѣятель, бывший въ 1848 г. президентомъ временнаго правительства.

Бенжаменъ Констанъ (1767—1830), французскій политическій дѣятель и либеральный писатель, боротившійся противъ абсолютизма Наполеона I и противъ реакціи при Бурбонахъ. Онъ написалъ имѣвшій въ свое время большой успѣхъ романъ «Адольфъ», переведенный и на русскій языкъ кн. П. А. Вяземскимъ (Спб., 1831).

Каррель, Арманъ (1800—1836), талантливый республиканскій публицистъ и историкъ, убитый на дуэли Эмилемъ Жирарденомъ. Его «Исторія контрреволюціи въ Англіи» переведена на русскій языкъ въ 1866 г.

Вадимъ Вас. Пассекъ (1808—1842), историкъ-этнографъ, одинъ изъ первыхъ представителей украинофильства. Главный его трудъ «Очерки Россіи» (5 т., 1842); кроме того онъ написалъ «Путевыя замѣтки Вадима» (1834) и рядъ др. трудовъ. Онъ былъ женатъ на двоюродной сестрѣ Герцена, Татьянѣ Петровнѣ (1810—1889), оставившей въ своихъ воспоминаніяхъ «Нѣзъ дальнихъ дѣлъ» (3 т.) много драгоцѣнныхъ свѣдѣній о Герценовѣ. Братъ В. В., Діомидъ Вас. Пассекъ, упоминаемый дальше Герценомъ, служилъ въ военной службѣ и въ чинѣ генерала убитъ на Кавказѣ въ 1845 г.

**Стр. 101.** Буквою К. здѣсь обозначенъ одинъ изъ друзей Герцена Николай Христофоров. Кетчеръ (1809—1886) переводчикъ Шекспира и Гофмана.

**Стр. 102.** Петръ Богдан. Пассекъ (1736—1804), былъ не «генералъ-губернаторомъ въ польскихъ провинціяхъ», какъ сказано у Герцена, а намѣстникомъ моголевскимъ и полоцкимъ до 1796 г., когда былъ уволенъ Павломъ I.

**Стр. 106.** Карлъ Вильгельмовичъ Рабусъ (1800—1857), пейзажистъ и каррикатуристъ.

**Стр. 107.** Мих. Вас. Петрашевскій (1819—1867) составилъ съ нѣсколькими

знакомыми — «петрашевцами» — секретное общество, занимавшееся чтеніемъ и изученіемъ социалистическихъ теорій. Къ этому обществу принадлежали и за участіе въ немъ пострадали: Ф. М. Достоевскій, поэты А. Н. Плещеевъ и С. Ф. Дуровъ, драматургъ А. Н. Пальмъ и др.

**Стр. 107.** Подъ буквою С. означенъ поэтъ Ник. Мих. Сатинъ, а подъ буквою К. на этой и на слѣдующей страницѣ — Ник. Христофор. Кетчеръ.

**Стр. 108.** Студентъ московск. университета Як. Нв. Костенецкій (1811—1885), сосланный въ 1831 г. на Кавказъ за участіе въ Сунгуровскомъ тайномъ обществѣ, за отличіе произведенный въ офицеры, вышелъ въ отставку и поселился въ Черниговской губ., занимаясь литературой, служилъ въ земствѣ, былъ поч. мир. судьей и проч. О Сунгуровскомъ дѣлѣ, о своемъ въ немъ участіи онъ подробно разсказалъ въ «Воспоминаніяхъ изъ студенческой жизни» («Рус. Архивъ» 1887 г. №№ 1—3).

**Стр. 110.** Дм. Матв. Перевощиковъ (1788—1880), извѣстный астрономъ и математикъ, академикъ.

**Стр. 113.** Буквою С. обозначенъ Н. М. Сатинъ, а буквою К. — Н. Х. Кетчеръ.

Владимъ Нв. Соколовскій (1808—1839), поэтъ. Арестованный въ одно время съ Герценомъ и Огаревымъ, содержался въ шлиссельбургской крѣпости до 1837 г., затѣмъ жилъ въ Вологдѣ и Петербургѣ. Лучшее его произведеніе поэма «Мірозданіе», имѣвшая 3 изданія. Кроме того, написалъ «Разсказы сибиряка» и драматическую поему «Хеверъ», о которой говоритъ здѣсь Герценъ.

Михаилъ Александр. Максимовичъ (1804—1873), ученый, много сдѣлавшій для малорусской этнографіи.

**Стр. 115.** Буквою К. обозначенъ Н. Х. Кетчеръ.

**Стр. 120.** Бартеlemi-Просперъ Анфатенъ (1796—1864), одинъ изъ вождей сенъ-симонизма, устроившій въ своемъ помѣстьѣ Менильмонтанъ общину (Менильмонтанское семейство) сенъ-симонистовъ на принципахъ социализма. Эта община была закрыта правительствомъ послѣ судебнаго процесса.

**Стр. 128.** Могенъ — французскій либеральный депутатъ 30-хъ годовъ.

Джонъ Гемпденъ (1594—1643), англ. политическій дѣятель, глава парламентской оппозиціи при Карлѣ I, первый поднявшій противъ него вооруженное возстаніе.

Жань-Сильвентъ Бальи (1736—1793),

астрономъ и политическій дѣятель, президентъ національнаго собранія и мэръ Парижа во время 1-й революціи.

Жозефъ Фіески (1790—1836), произведшій въ 1835 г. посредствомъ адекой машины покушеніе на жизнь француз. короля Луи-Филиппа.

Стр. 129. Подъ «княземъ», о которомъ говорится на этой стр., подразумевается тогдашній московскій генералъ-губернаторъ князь Д. В. Голицынъ.

Стр. 130. «...его братъ», т. е., братъ Михаила Федоровича Орлова, — Алексѣй Федор. Орловъ (1788—1861), незаконный сынъ Федора Григ. Орлова. Въ 1825 г. содѣйствовалъ, команду конногвард. полкомъ, усмирению возстанія 14 декабря, за что пожалованъ въ графы. Съ 1844 г. былъ шефомъ жандармовъ, а съ 1856 г. былъ председателемъ госуд. совѣта и комитета министровъ, съ 1857 г. председательствовалъ въ комитетѣ о крестьянахъ, къ освобожденію которыхъ относился праждебно. Въ этомъ же году ему были дарованы княжескій титулъ.

Стр. 133. Молодая дѣвушка, о свиданіи съ которой на кладбищѣ говоритъ Герценъ, была Нат. Александр. Захарыина, его двоюродная сестра и будущая жена.

Стр. 150. Филиппъ Вуверманъ (1619—1668), голландскій живописецъ, жанристъ, пейзажистъ и батальистъ.

Жакъ Калло (1592—1635), франц. художникъ, прославившійся гравюрами, полными юмора и фантазій.

Стр. 151. Жанъ-Поль Рихтеръ (1763—1825), знаменитый нѣмецкій юмористъ и беллетристъ, богатый фантазійей и проповѣдывавшій гуманность и любовь къ бѣднякамъ.

Стр. 152. Буквою С. обозначенъ Н. М. Сатинъ.

Стр. 153—154. Графъ Клодъ-Генри де-Сенъ-Симонъ (1760—1825) изложилъ свое социалистическое ученіе—сень-симонизмъ—въ своемъ сочиненіи «Lettres d'un habitant de Genève» (1803).—Его предокъ герцогъ Луи де-Сенъ-Симонъ (1675—1755) былъ придворнымъ при Людовикѣ XIV и регентъ герцогъ Филиппъ Орлеанскомъ. Его многотомные мемуары вплоть были изданы лишь въ 1829—30 гг. (въ раннихъ изданіяхъ многое секвестровалось; за нихъ его даже называли «французскимъ Тацитомъ», за желчное изображеніе двора).

Стр. 157. Гаазъ, Федоръ Петровичъ (1780—1833), псев. филантропъ и врачъ.

Стр. 159—160. Буквою С. означенъ Н. М. Сатинъ.

Стр. 162. Въ концѣ этой стр. говорится о прощальномъ свиданіи, которое имѣлъ Герценъ, отправляясь въ ссылку, съ Н. А. Захарьиной, своей будущей женой.

Стр. 166. Подъ «нашимъ Щ.» здѣсь разумѣется одинъ изъ московскихъ друзей Герцена, извѣстный артистъ М. С. Щенкинъ.

Стр. 171. Генералы: К. А. Крейцъ (1777—1850) и Ридигеръ участвовали въ войнахъ времени Александра I и Николая I.

«Войнаровский», поэма К. Ф. Рылѣева, въ тѣ времена (во все время царствованія Николая I) была запрещена.

Стр. 175. Графъ Егоръ Францовичъ Канкринъ (1774—1845) былъ министромъ финансовъ съ 1823 г. до своей смерти. Онъ переделалъ ассигнационный рубль на серебряный (3½ р. ассигн.—1 сер. р.) и написалъ нѣсколько ученыхъ сочиненій.

Стр. 180. Генералъ Измайловъ былъ богатый помѣщикъ въ Рязанской губерніи въ началѣ XIX в. Онъ такъ жестоко притѣснялъ и тиранилъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ, что объ его зверствахъ сохранились цѣллы невѣроятныя по ужасу легенды и преданія. См. статью С. Т. Славутинскаго: «Генералъ Измайловъ и его дворня» въ «Древней и Новой Россіи» 1876 г.

Стр. 181. Мамоновъ, о которомъ здѣсь упоминаетъ Герценъ, — Ал-дръ Матв. Дмитріевъ-Мамоновъ (1758—1803), бывший однимъ изъ фаворитовъ Екатерины II, но оскорбившій ее своей жеманностью на княжнѣ Щербатовой въ 1789 г., за что и былъ удаленъ отъ двора и жилъ въ Москвѣ. Павелъ I далъ ему графское достоинство, но онъ остался всеми забытъ по своему ничтожеству.

Стр. 186. Иосифъ-Антоній Понятовскій (1763—1813), братъ послѣдняго польскаго короля Станислава-Августа, участвовалъ, въ качествѣ дивизіоннаго генерала подъ командою Костюшко, въ войнѣ съ русскими въ 1793—94 гг., въ 1807 г. былъ военнымъ министромъ герцогства варшавскаго, въ 1809 г. командовалъ у Наполеона польскими войсками въ войнѣ съ Австріей, а въ 1812—13 гг., съ Россіей и Пруссіей. Въ битвѣ подъ Лейпцигомъ утонулъ въ р. Эльстерѣ.

**Стр. 186.** Симонъ Конарскій (1808—1839), польскій революціонеръ. Послѣ участія въ возстаніи 1830—31 гг., эмигрировалъ, но въ 1838 г. возвратился въ западный край для подготовки возстанія, былъ схваченъ въ 1838 г. и расстрѣлянъ въ февралѣ 1839 г.

**Стр. 187.** Графъ Дм. Никол. Блудовъ (1765—1864). Въ молодости былъ близокъ съ Жуковскимъ, Карамзиннымъ и др. писателями и членомъ литерат. общества «Арзамасъ». Но въ 1826 г., будучи дѣлопроизводителемъ следственной коммисіи о декабристахъ, составилъ обвинительный актъ, гдѣ ему пришлось обвинить и некоторыхъ изъ бывшихъ своихъ друзей (Н. П. Тургенева и др.). Въ 1832—37 гг. былъ министромъ вн. дѣлъ.

**Стр. 189—190.** Ив. Борис. Пестель (1765—1843), отецъ декабриста, при Павлѣ I былъ почтъ-директоромъ, а при Александрѣ I сенаторомъ и генералъ-губернаторомъ Сибири, управляя ею изъ Петербурга, чѣмъ и воспользовался пркутскій губернаторъ Трескинъ, ограбившій полтъ-Сибиря. У Герцена (въ выноскѣ на 190 стр.) онъ ошибочно названъ Борисомъ Ивановичемъ.

**Стр. 190.** Графъ Мх. Андреев. Милорадовичъ (1771—1825), генералъ, прославившійся въ суворовскихъ войнахъ, а за подвиги въ войну 1812 г. получившій графскій титулъ. Затѣмъ онъ состоялъ петербургскимъ генералъ-губернаторомъ и убитъ во время возстанія 14 декабря 1825 г.

Генералъ отъ артиллеріи Петръ Мх. Каппевичъ (1772—1840) участвовалъ въ войнахъ съ французами при Павлѣ I и Александрѣ I, а съ 1823 г. былъ генералъ-губернаторомъ западной Сибири.

**Стр. 191.** Семенъ Богдан. Броневскій (1786—1858) почти всю жизнь (съ 1808) прослужилъ въ Сибири; генералъ-губернаторомъ вост. Сибири состоялъ до 1857 г., когда былъ назначенъ сенаторомъ.

Графъ Никол. Никол. Муравьевъ-Амурскій (1809—1881), генералъ-губернаторъ вост. Сибири, прославившійся экспедиціей на Амуръ и пріобрѣтеніемъ, по договорамъ съ Китаемъ, Амурскаго и Уссурийскаго краевъ.

**Стр. 192.** Александръ Самойл. Фигнеръ (1787—1813) и Александръ Никит. Сеславинъ (1780—1858)—два партизана, особенно прославившіеся въ 1812 г. своими успѣшными дѣйствіями

противъ французовъ во время ихъ пребыванія въ Москвѣ и затѣмъ отступленія изъ нея.

**Стр. 203.** Графъ Пав. Дм. Киселевъ (1788—1872). Въ 1837—1856 гг., будучи министромъ госуд. имуществъ, улучшилъ положеніе казенныхъ крестьянъ; противникъ крѣпостного права, поддерживалъ въ этомъ направленіи Александра II.

Графъ Левъ Алексѣев. Перовскій (1792—1856). Въ молодые годы участвовалъ въ «Союзѣ благоденствія», но въ событіи 14 декабря не былъ замѣшанъ. Въ 1841—1852 гг. былъ министромъ вн. дѣлъ (причемъ возбуждалъ и раздувалъ дѣло Петрашевскаго), а въ 1852—56 гг.—министромъ удѣловъ.

**Стр. 213.** Мх. Леонт. Магницкій (1778—1855), занимая съ 1819 г. мѣсто попечителя Казанскаго учебнаго округа, заявилъ себя какъ ультра-реакціонеръ и притѣснитель. Въ 1826 г. былъ по суду уволенъ, но продолжалъ писать доносы на разныхъ лицъ.

Дм. Павл. Руничъ (1780—1860) при Александрѣ I былъ членомъ главнаго управленія училищъ, а затѣмъ попечителемъ Сиб. и Кіевскаго университетовъ. За растрату казенныхъ денегъ былъ отставленъ. Какъ обскурантъ, Руничъ давилъ и преслѣдовалъ все живое.

**Стр. 217.** Пьеръ Леру (1798—1871), французскій социалистъ и философъ. Въ 1841 г. вмѣстѣ съ Жоржъ-Зандѣ основалъ журналъ «Revue indépendante», затѣмъ издавалъ журналы: «Eclaircissement» и «Revue Sociale». Во время второй имперіи жилъ въ изгнаніи.

Сценарій двухъ драматическихъ опытовъ Герцена «Ипполитъ и Виллемъ Пеннъ», о которыхъ здѣсь говорится, напечатанъ въ I томѣ настоящаго изданія (стр. 98—104).

**Стр. 221.** Ив. Вас. Енохинъ (1791—1863) съ 1832 г. лейбъ-медикъ

Конст. Ив. Арсеньевъ (1789—1856), географъ, статистикъ и историкъ. Преподавалъ исторію и статистику наслѣднику (впослѣдствіи импер. Александру II), котораго, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, сопровождалъ въ 1837 г. въ путешествіи по Россіи.

**Стр. 223.** Алексисъ Токвиль (1805—1859), выдающійся французскій писатель, бывший министромъ иностранныхъ дѣлъ послѣ революціи 1848 г. и написавшій пріобрѣтшія большую извѣстность книги: «Демократія въ Америкѣ» (о которой здѣсь говоритъ Герценъ) и



«Старый порядок и революция», переведенный и на русский языкъ.

Стр. 228. «Тарангастъ» — романъ гр. В. А. Сологуба, гдѣ описана дорога отъ Москвы до Казани и, между прочимъ, городъ Владимиръ.

Стр. 241—242. Подъ именемъ «химика» здѣсь обрисованъ двоюродный братъ Герцена и родной братъ его будущей жены — Алексѣй Александр. Захарьинъ.

Стр. 246—248. Объ этой любимой горничной Натальи Александровны часто говорится и въ перепискѣ Герцена съ его невестой въ VII томѣ настоящаго изданія. Сама впоследствии вышла замужъ и умерла отъ чахотки.

Стр. 249. Эмилія Михайловна Аксбергъ, сперва бывшая гувернанткой и учительницей невесты Герцена Н. А. Захарьинной, а затѣмъ ставшей однимъ изъ ея ближайшихъ друзей. О ней многократно говорится въ перепискѣ Герцена съ невестой (въ VII томѣ).

Стр. 250. Ген. - адъют. Як. Пав. Ростовцевъ (1803—1860), въ 1825 г. раскрылъ заговоръ декабристовъ, хотя и не назвалъ именъ. При Николаѣ I былъ главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведеній. Въ 1859 г. былъ назначенъ председателемъ комитета по освобожденію крестьянъ и содѣйствовалъ этой реформѣ.

Стр. 252. Ксавье Сентинъ (Saintine, 1798—1865), — у Герцена: Сантинъ, — нивѣ забытый плодотворный французскій драматургъ (написалъ около 200 пьесъ) и романистъ. Наибольшей славой въ свое время пользовался его романъ «Пиччіола» (1836), выдержавшій 40 изданій и переведенный на всѣ европейскіе языки (русскій переводъ 1837 г.).

Стр. 253. Грандисонъ, — добродѣтельный герой романа англійскаго писателя XVIII вѣка С. Ричардсона «Сэръ Чарльзъ Грандисонъ», — сталъ нарицательнымъ именемъ sentimentalныхъ и добродѣтельныхъ героевъ.

Стр. 256. Эжель - Франсуа Видокъ (1775—1857), знаменитый французскій сыщикъ временъ первой имперіи и реставраціи. Изданные имъ въ 1828 г. «Мемуары» были переведены и на русскій языкъ. Имя его стало нарицательнымъ для обозначенія ловкаго сыщика.

Стр. 257. Буквою Р. здѣсь и на слѣдующихъ страницахъ обозначена Прасковья Петровна Медвѣдева, съ которою Герценъ имѣлъ въ Вяткѣ непродолжительный романъ.

Стр. 261. Филаретами (любителями добродѣтели) называлось общество студентовъ виленаго университета, возникшее въ началѣ 1820-хъ годовъ съ цѣлью воспитывать людей въ идеяхъ свободы. Въ 1823 г. общество филаретовъ было закрыто правительствомъ, а его члены административно разосланы по Россіи за политическую неблагонадежность. Изъ видныхъ людей къ филаретамъ принадлежали Ад. Мицкевичъ, Юма Занъ, оріенталистъ Верниковскій и др.

Стр. 265. «Die Mädchen aus Fremde» («Дѣва изъ чужбины») — одно изъ лучшихъ стихотвореній Шллера.

Стр. 272—273. «Компаньонка» — М. С. Макашина.

Стр. 274—275. Буквою К. обозначенъ здѣсь одинъ изъ друзей Герцена — Николай Христофоровичъ Кетчеръ. См. о немъ выше прим. къ 101 стр. этого тома. Натфайндеръ (искатель слѣдовъ) — герой нѣсколькихъ романовъ Купера, прямой, независимый и простодушный человекъ, чуждый общепринятыхъ условностей свѣтскаго общества.

Стр. 276. Бенvenuto Челлини (1500—1572), знаменитый итальянскій ювелиръ, золотыхъ дѣлъ мастеръ и скульпторъ. Его автобіографія переведена и на русскій языкъ въ 1848 г.

Стр. 277—280. Буквою К. означенъ Ник. Христоф. Кетчеръ.

Стр. 278—279. Подъ «княгиней» подразумевается тетка Герцена, кн. Марья Алексѣевна Хованская, въ домѣ которой жила невеста Герцена.

Стр. 294. Жанъ Деруанъ — французскій журналистъ 50-хъ годовъ.

Стр. 296. Жераръ де - Нерваль, собственно Лабрюни (1803—1855), французскій поэтъ - романтикъ, котораго вмѣстѣ съ Боделеромъ считаютъ во Франціи основателямъ символизма.

Стр. 297. Поль Нике (по имени хозина) называлась въ 40-хъ и 50-хъ годахъ одна изъ самыхъ характерныхъ трущобъ Париза, въ родѣ, такъ называемой, «Виземской лавры» въ Петербургѣ.

Прасковья Андреевна — Н. А. Эрнъ, мать Маріи Каспаровны Эрнъ (о послѣдней см. примѣчаніе къ стр. 432).

Стр. 299. Буквою М. обозначена «маменька», т. е. мать Герцена, а буквами Е. И. — его старшій братъ Егоръ Ивановичъ. Эмилія Михайловна — это Аксбергъ, гувернантка и близкій другъ Натальи Александровны.



Стр. 302. Буквою С. (въ самомъ началѣ страницы) обозначенъ Н. М. Сатинъ. Офицеръ С.—жандармскій офицеръ Соколовъ.

Стр. 304. «Вадимъ» — Вадимъ Васильевичъ Пассекъ. См. прим. къ 100 стр. этого тома.

Стр. 305. Буквою К. обозначенъ Н. Х. Кетчеръ.

Стр. 311. Карлъ Вердеръ (1806—1893), нѣмецкій философъ, ученикъ и послѣдователь Гегеля, былъ профессоромъ берлинскаго университета.

Филиппъ-Конрадъ Маргейнске (1780—1846) былъ профессоромъ въ Эрлангенѣ, Гейдельбергѣ и Берлинѣ; написалъ рядъ книгъ по теологич. и морали.

Людвигъ Михелсъ (1801—1893), профессоръ берлинскаго университета, самый преданный послѣдователь Гегеля. Отто, Вадке и Шаллеръ — философы-гегелисты.

Арнольдъ Руге (1802—1880), нѣмецкій писатель и революціонеръ. Въ 1837 г. основалъ философско-критическій журналъ «Halle'sche Jahrbücher», который въ 1841 г. былъ запрещенъ. Въ 1848—49 гг. принималъ дѣятельное участіе въ нѣмецкомъ революціонномъ движеніи, а затѣмъ эмигрировалъ и жилъ сперва въ Парижѣ, потомъ въ Англіи. Написалъ цѣлый рядъ историческихъ сочиненій, романовъ, свою автобіографію и проч.

Стр. 312. Людвигъ Фейербахъ (1804—1872), нѣмецкій философъ, ученикъ Гегеля. Его сочиненія главнымъ образомъ имѣютъ задачей критику религій и христіанства («Das Wesen der Religion», «Das Wesen des Christenthums»). По своимъ философскимъ воззрѣніямъ примыкалъ къ матеріалистическому сенсуализму.

Стр. 313. Іоганнъ - Христіанъ - Фридрихъ Гельдерлинъ (1770—1843) — нѣмецкій поэтъ.

Эдуардъ Гансъ (1798—1839) былъ даровитымъ представителемъ философской школы въ нѣмецкой юриспруденціи.

Стр. 317. Теруанъ де - Мерикуръ (1762—1817), прозванная «амазонкой революціи», была экцентричной дѣятельницей въ революціонный періодъ въ Парижѣ. Высѣченная въ 1793 г. на улицѣ толпою женщинъ, она тутъ-же помѣшалась и остальную жизнь провела въ сумасшедшемъ домѣ.

Карлъ - Густавъ Карусъ (1789—1869), нѣмецкій врачъ, натуралистъ, философъ и пейзажистъ.

Карлъ - Фридрихъ Бурдахъ (1776—1847), извѣстный въ свое время нѣмецкій физиологъ, профессоръ въ Дерптѣ и Кенигсбергѣ, оставившій важныя работы по анатоміи и первой физиологич.

Стр. 320. Ив. Никит. Скобелевъ, генералъ и военный писатель 30 - хъ и 40 - хъ годовъ.

Буквою К. здѣсь означенъ, повидимому, другъ Бѣлинскаго Н. Х. Кетчеръ.

Стр. 321. Археологъ Ив. Петр. Сахаровъ (1807—1863) издалъ рядъ цѣнныхъ трудовъ («Сказанія русскаго народа» и др.), положившихъ начало русской этнографіи.

Буквами А. К. обозначенъ здѣсь извѣстный издатель «Отеч. Записокъ» и впоследствии «Голоса» Андрей Александр. Краевскій (1810—1889).

Стр. 322. Подъ «денежно притѣснявшими Бѣлинскаго литературными подрядчиками» здѣсь подразумѣвается издатель «Отеч. Записокъ» А. А. Краевскій, немилосердно эксплуатировавшій своего лучшаго и талантливейшаго сотрудника Бѣлинскаго, создавшаго успѣхъ журнала.

Стр. 324. Н. В. Анненковъ издалъ въ 1858 г. книгу: «Н. В. Станкевичъ, переписка и его біографія».

Стр. 329. Вас. Петр. Боткинъ (1810—1869), литературный критикъ, авторъ извѣстныхъ «Писемъ объ Испаніи», одинъ изъ близкихъ друзей Герцена, Бѣлинскаго и Грановскаго.

Стр. 331. Ив. Петр. Ключниковъ (1811—1885), поэтъ, обратившій на себя вниманіе талантливыми стихотвореніями рефлексивно-философскаго характера, печатавшимися имъ (подъ псевдонимомъ—Ө.)—въ концѣ 30-хъ и въ началѣ 40-хъ годовъ въ «Москов. Наблюдатель» и въ «Отеч. Запискахъ». Онъ принадлежалъ къ кружку Станкевича.

Стр. 335. Стихи, приведенные здѣсь, принадлежать Н. П. Огареву.

Стр. 338. Алексѣй Васил. Тимофеевъ (1812—1883), забытый теперь поэтъ.

Дмитрій Васил. Дашковъ (1784—1839) съ 1829 до 1839 г. былъ министромъ юстиціи. Онъ былъ извѣстенъ своими литературными связями съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, П. П. Дмитриевымъ и участіемъ въ литературныхъ кружкахъ.

Стр. 346. Подъ «княземъ Александромъ Ивановичемъ» подразумѣвается тогдашній военный министръ и предсѣдатель государственнаго совѣта кн. А. П. Чернышевъ (1785—1857).

**Стр. 353.** Федоръ Андреевичъ Остерманъ (1723—1804), сынъ разжалованнаго и умершаго въ ссылкѣ (въ Березовѣ) канцлера; при Екатеринѣ II былъ дѣйств. тайн. советникомъ, сенаторомъ и генералъ-губернаторомъ Москвы.

Миссъ Вильмотъ, двѣ сестры прелюбви, жившія у Е. Р. Дашковой и оставившія о ней и о Россіи того времени свои записки, изданныя за границей, вмѣстѣ съ записками самой Дашковой.

**Стр. 355.** Подъ «княземъ Петромъ Михайловичемъ» здѣсь подразумѣвается тогдашній министръ юстиціи, двора свѣтлѣйшій князь, генер.-фельдмаршалъ П. М. Волконскій (1776—1852).

**Стр. 356.** Свѣтлѣйшій князь Мих. Семен. Воронцовъ (1782—1856) былъ въ то время новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ (внѣдѣствіи кавказскимъ наместникомъ).

**Стр. 363.** Салтычиха — свирѣпая помещица, нещадно мучившая и убивавшая своихъ крѣпостныхъ во время Екатерины II.

Пѣточникъ — утонченный и цивилизованный помещикъ, притѣснитель своихъ крестьянъ въ рассказѣ Тургенева «Ермолай и Мельничиха» («Записки охотника»).

**Стр. 371.** Буквою К. обозначенъ здѣсь Н. Х. Кетчеръ.

**Стр. 372.** Буквами К. обозначенъ Н. Х. Кетчеръ, буквами Е. К. — Евгенийъ Федор. Коршъ, Михаилъ Семеновичъ — актеръ М. С. Щепкинъ.

**Стр. 380.** Статья «По поводу одной драмы», на которую здѣсь ссылается Герценъ, помѣщена въ IV томѣ настоящаго изданія (стр. 29—51).

**Стр. 382.** Франциско Зурбаранъ (1598—1662), великій испанскій художникъ, писавшій религіозныя картины.

Буквою В. (въ выноскѣ) означенъ Вас. Петр. Боткинъ, всю жизнь бывший извѣстнымъ гастрономомъ.

**Стр. 383.** Георгъ - Фридрихъ Пухта (1798—1846) и Карлъ-Фридрихъ Савиньи (1779—1861) — знаменитые нѣмецкіе ученые юристы, представители исторической школы въ юриспруденціи.

Буквами Е. К. обозначенъ Евг. Фед. Коршъ.

Дм. Льв. Крюковъ (1809—1845), талантливый профессоръ римской словесности и римскихъ древностей въ московскомъ университетѣ.

Карлъ - Вячеславъ фонъ - Роттекъ (1775 — 1840), нѣмецкій историкъ и экономистъ, издавалъ газету «Der Frei-

sinnige», запрещенную баденскимъ правительствомъ.

Петръ Григ. Рѣдкинъ (1803—1891), извѣстный русскій юристъ, профессоръ сперва московскаго, затѣмъ петербургскаго университетовъ. Главный его трудъ: «Лекціи по философіи права».

Луи Агассенъ (1807—1873), знаменитый швейцарскій натуралистъ, создавшій ледниковую теорію и оставившій рядъ капитальныхъ работъ по систематикѣ допотопныхъ животныхъ.

**Стр. 381.** Филиппъ-Бенжаменъ-Йозефъ Бюше (1796—1865), французскій философъ, экономистъ и историкъ.

**Стр. 386.** Здѣсь, какъ и далѣе на стран. 390, буквы Е. К. обозначаютъ Е. О. Корша.

«Инди ди-Шамуни» — названіе оперы Донизетти.

**Стр. 395—396.** Стихотвореніе «Мертвому другу» (Т. Н. Грановскому) принадлежитъ Н. П. Огареву.

**Стр. 397.** Генрихъ Риттеръ (1791—1869), нѣмецкій философъ.

**Стр. 398.** В. С. Печеринъ былъ даровитымъ эллинистомъ и адъюнктомъ въ московскомъ университетѣ въ началѣ 40-хъ годовъ. О немъ см. статью Герцена въ III томѣ этого изданія, стр. 349—358.

Никита Ив. Крыловъ (1807—1879), ученикъ Савиньи, былъ съ 1836 г. профессоромъ римскаго права въ московскомъ университетѣ и пользовался популярностью.

**Стр. 401.** Вас. Кузьм. Шебуевъ (1777—1855), художникъ.

Людевитъ Гай (1809—1872), хорватскій писатель и дѣятель славянскаго движенія. Въ 1840 г. ѣздилъ въ Россію и получилъ отъ акад. наукъ 5.000 р., а въ Москвѣ собралъ 20.000 р. на цѣли славизма и панславизма.

Графъ Йосифъ Иеллачичъ (1801—1859), хорватскій банъ, въ 1848 г. дѣйствовавшій противъ венгерцевъ и революціи.

**Стр. 402.** Вас. Петр. Андросовъ (1803—1841), статистикъ, редакторъ «Московск. Наблюдателя» (съ 1835 г.), переданнаго имъ потомъ (съ 1838 г.) въ руки Вѣльнискаго.

**Стр. 403.** Филиппъ Филипп. Вигель (1786—1856), служилъ въ разныхъ вѣдомствахъ и писалъ доносы на неприятныхъ ему писателей и общественныхъ дѣятелей. Больше всего извѣстенъ своими «Воспоминаніями» (3 т. 1866).

Никол. Пав. Надеждинъ (1804—1856), ученый и журналистъ, издавалъ въ 1831—36 гг. журналъ «Телескопъ», который за «Философское письмо» Чаадаева былъ запрещенъ, а Надеждинъ сосланъ.

Алексей Вас. Болдыревъ (1780—1842) былъ извѣстнымъ въ свое время ориенталистомъ, профессоромъ, а съ 1832 и ректоромъ москов. университета, но въ 1836 г. лишился мѣста за пропускъ статьи Чаадаева.

**Стр. 405.** Адмиралъ князь Александръ Серг. Меншиковъ (1787—1869) былъ морскимъ министромъ, затѣмъ въ 1853 г. посланъ въ Константинополь, а въ 1854 г. главнокомандующимъ крымской арміей.

**Стр. 406.** Князь Палар. Вас. Васильчиковъ (1777—1847), председатель государственн. совѣта и комитета министровъ.

Иоаннъ Ронге (1813—1887) въ 1844 г. былъ лишенъ сана священника и отлученъ отъ церкви, но основалъ особую нѣмецко-католическую церковь.

Ив. Дм. Якушкинъ (1797—1857), извѣстный декабристъ.

Юзефъ - Феликсъ - Робертъ де-Ламенне (1782—1854), сперва былъ священникомъ, но послѣ польской революціи вышелъ изъ духовнаго званія и защищалъ демократическія революціонныя идеи въ своемъ журналѣ «Avenir» и др. сочиненіяхъ.

Графъ Сигизмундъ Красинскій (1812—1859), знаменитый польскій поэтъ, главныя произведенія котораго представляютъ попытки рѣшенія въ поэтич. формѣ социальныхъ и философскихъ вопросовъ, но на мистической почвѣ.

**Стр. 407.** Графъ Джакомо Леонарди (1797—1837), извѣстный итальянскій поэтъ, произведенія котораго проникнуты духомъ скорби и пессимизма.

Пьеръ-Поль Ройе-Колларъ (1763—1845), французскій публицистъ, философъ и политическій дѣятель. Какъ президентъ палаты депутатовъ, онъ въ 1830 г. подаль Карлу X адресъ 221 депутатовъ, осуждавшихъ политику министерства Полиньяка.

Генрихъ Лео (1799—1878), нѣмецкій историкъ, сочиненія котораго написаны въ крайне реакціонномъ и клерикально-обскурантномъ духѣ.

Фридрихъ-Людвигъ Янгъ (1778—1852), прозванный «отцомъ гимнастики», основывалъ, начиная съ 1811 г. въ Германіи гимнастическіе союзы съ патріотиче-

скими цѣлями. Въ 1819 г. былъ арестованъ какъ демагогъ, а въ 1821 г. былъ приговоренъ къ 2 годамъ тюрьмы.

Фридрихъ Шлегель (1772—1829), нѣмецкій критикъ и философъ. Вседѣло поглощенный романтизмомъ, дошелъ до крайностей въ своихъ отрицаніяхъ по отношенію къ литературѣ — теорій и школъ, а по отношенію къ жизни — общественныхъ учреждений и законовъ. Подъ конецъ жизни онъ впалъ въ мистицизмъ и отказался отъ своихъ прежнихъ убѣжденій и взглядовъ. На русскій языкъ переведена его «Исторія древней и новой литературы».

Эккартсгаузенъ (1752—1803), нѣмецкій мистикъ.

Принцъ Александръ - Леопольдъ - Францъ-Эммерихъ Гогенлоэ (1794—1849), сталъ священникомъ и выдавалъ себя за чудотворца и исцѣлителя больныхъ. Его обвиняли въ обскурантизмѣ и иезуитствѣ.

**Стр. 413.** Буквоею Р. здѣсь обозначенъ извѣстный юристъ Петръ Григ. Рѣдкинъ.

**Стр. 414.** Александръ Ив. Тургеневъ (1784—1845), братъ эмигранта Н. П. Тургенева, историкъ и археологъ, объѣздившій съ научной цѣлью Европу и бывшій въ близкихъ отношеніяхъ съ Гёте, В. Скоттомъ, Шатобрианомъ, Пушкинымъ, Жуковскимъ и др.

Юлія Рекамье (1777—1849), отличаясь умомъ, образованіемъ и красотой, устроила у себя салонъ, гдѣ собирався цвѣтъ парижской интеллигенціи при первой имперіи.

Рахель (1771—1833), жена писателя Варигагена фонъ-Энзе, была дружна съ Гёте и соединяла въ своей гостинной всѣхъ выдающихся современниковъ.

Баронъ Фридрихъ - Мельхіоръ Гриммъ (1723—1807), жилъ до революціи въ Парижѣ, гдѣ былъ знакомъ со всѣми французскими энциклопедистами, учеными и литераторами и въ своихъ письмахъ къ Екатеринѣ II сообщалъ ей о всѣхъ литературныхъ новостяхъ.

**Стр. 416.** Авдотья Петр. Елагина, урожденная Юшкова (1789—1877), была племянницей Жуковского и матерью (отъ перваго ея брака) извѣстныхъ славянофиловъ, братьевъ И. В. и П. В. Кирѣевскихъ. Въ ея московскомъ салонѣ, въ 20, 30 и 40-хъ годахъ собирались всѣ извѣстные представители науки и литературы.

Федоръ Лукичъ Морошкинъ (1804—1857), профессоръ гражданскаго права

п исторіи права въ московскомъ уни-  
верситетѣ.

Стр. 422. Баронъ Августъ Гакста-  
узенъ (1792—1866), нѣмецкій путеше-  
ственникъ и экономистъ. Проведя нѣ-  
сколько лѣтъ въ Россіи, открылъ сель-  
скую общину и много до него незавѣ-  
стныхъ расколыничьихъ сектъ.

Стр. 423. Ариольдъ Геренъ (1760—  
1842), профессоръ философіи и исторіи  
въ Геттингенѣ. Главное его сочиненіе,  
доставившее ему извѣстность въ Гер-  
мани, было переведено и отчасти пе-  
редѣлано на русскій языкъ М. П. По-  
годинымъ. Это—«Лекціи по Герену о  
политикѣ, связяи и торговлѣ главныхъ  
народовъ древняго міра» (2 т., М.  
1835—36).

Стр. 424. «Путевыя записки Вѣдри-  
на», на который ссылается здѣсь Гер-  
ценъ, помѣщены въ IV томѣ настоя-  
щаго изданія (стр. 157—159).

Георгъ-Іоганнъ Форестеръ (1729—  
1798), нѣмецкій натуралистъ и путе-  
шественникъ, сопровождавшій знамени-  
таго англійскаго мореплавателя Джек-  
са Кука въ его второмъ путешествіи  
въ Полинезію въ 1772—79 гг. и опи-  
савшій эту экспедицію по-англійски и  
по-нѣмецки.

Стр. 425. Кучукъ-Кайнарджѣ—бол-  
гарская деревня близъ Силистріи. Въ  
ней былъ заключенъ въ 1774 г. миръ  
между Россіею и Турціей, причемъ по-  
слѣдняя отказалась отъ своихъ правъ  
на Крымъ и Кубань.

Подъ «умирающимъ, нѣкогда люби-  
мымъ поэтомъ, сдѣлавшимся святошѣю»  
подразумѣвается Н. М. Изыковъ (1803—  
1843).

Стр. 427. Подъ «побочнымъ сыномъ  
*Отца Записокъ*», котораго поставилъ на  
ноги Бѣлинскій, подразумѣвается жур-  
налъ *Современникъ*, преобразованный съ  
1847 г. при дѣятельномъ участіи Бѣли-  
нскаго, Некрасовымъ и Панаевымъ.

Стр. 429. Дм. Петр. Северинъ (1792—  
1865), дипломатъ и поэтъ, былъ дру-  
жень съ Жуковскимъ, кн. П. Вязем-  
скимъ, Вяздовымъ и др. Онъ славился  
своими стихотвореніями, эпиграммами и  
экспромтами.

Стр. 432. Буквами М. К. обозначена  
Марья Каспаровна Эрнъ (впослѣдствіи  
вышедшая замужъ за Рейхеля), бывшая  
многолѣтнимъ другомъ Герцена и его  
жены и вѣсть съ ними выѣхавшая  
потомъ за границу.

Стр. 435. Князь Александръ Алек-  
сандр. Прозоровскій (1732—1809), уча-

ствовалъ въ 7-лѣтней войнѣ, а при Ека-  
теринѣ II въ покореніи Крыма и др.  
войнахъ. Былъ фельдмаршаломъ.

Стр. 437. Въ Кампо-Форміо въ 1797 г.  
былъ заключенъ миръ между Австріей  
и Франціей, представителемъ которой  
былъ генералъ Наполеонъ Бонапартъ,  
одержавшій передъ этимъ рядъ блестя-  
тельныхъ побѣдъ.

Стр. 441. «Пустынникъ Шоссе-д'Ан-  
тенской улицы» («L'hermite de la Chaus-  
sée d'Antin» (5 т., 1812—14) романъ  
французскаго писателя Жюль, см. о немъ  
выше прим. къ 42 стр.

Францискъ Вейсъ (1751—1798),  
швейцарскій генералъ, книга котораго  
«Principes philosophiques, politiques et  
morales»—кодексъ свѣтской и буржуаз-  
ной морали—пятиз большой успѣхъ  
(болѣе 20 изданій) и дважды была пе-  
реведена по русски (въ 1807 и 1837 г.).

Стр. 442. Вильямъ Гогартъ (1697—  
1764), знаменитый англійскій каррикату-  
ристъ и граверъ, прославившійся сво-  
ими жанровыми сатирическими карти-  
нами и каррикатами, полными реал-  
изма и юмора.

Стр. 444. Федоръ Павловичъ (у Гер-  
цена ошибочно названъ Василіемъ Фе-  
доровичемъ) Вропченко (1780—1852),  
былъ министромъ финансовъ съ 1844  
до 1852 г.

Стр. 447. Буквами Е. К. и К. обо-  
значенъ Евгений Федор. Коршъ.

Стр. 450. Буквою Т. здѣсь обозна-  
ченъ декабристъ князь Серг. Петр. Тру-  
бецкой (1790—1860), избранный дикта-  
торомъ въ предполагавшемся переворо-  
тѣ. Онъ былъ арестованъ въ домъ сво-  
его зятя, австрійскаго посла графа Леб-  
цельтерна. Его «Записки» изданы за  
границей («Международная Библіотека»,  
1875 г., т. III).

Стр. 453. Буквою Р. здѣсь, по всей  
вѣроятности, означенъ П. Г. Рѣдкинъ.

Стр. 454. Буквами Е. К. обозначенъ  
Е. О. Коршъ.

Стр. 455. Бурмейстеръ—схоластиче-  
скій нѣмецкій философъ XVIII в.

Стр. 457. Буквою С. обозначенъ  
Ник. Мих. Сатинъ, буквою К.—Н. Х.  
Кетчеръ, буквою К.—Е. О. Коршъ и  
буквами М. С.—артистъ М. С. Щепкинъ.

Стр. 460. Буквы Е. К. обозначаютъ  
Е. О. Корша.

Стр. 468. Стихи, приведенные на  
этой страницѣ, принадлежать Н. П.  
Огареву.

Стр. 469. «Тата» — старшая дочь  
Герцена.

Стр. 470—4. Здесь буквою К. (въ заголовкѣ прибавленіи; Н. Х. К.) вездѣ обозначенъ Никол. Христ. Кетчеръ.

Стр. 475. Антуанъ Фуке-Тевиль (1747—1795), известный своей кровожадностью дѣлатель великой французской революціи, бывший официальнымъ обвинителемъ революціоннаго трибунала.

Стр. 480. «Михаилъ Семеновичъ» — артистъ М. С. Щепкинъ.

Стр. 484. Тереза Левассеръ (1721—1801), возлюбленная Ж.-Ж. Руссо, совершенно необразованная женщина, бывшая прежде прачкой.

Стр. 485. Г-жа Удето—близкая знакомая Руссо и др. энциклопедистовъ, одна изъ образованнѣйшихъ женщинъ второй половины XVIII вѣка.

Жена Гейне, Матильда, была совершенно необразованная, неграмотная парижанка.

Стр. 487—88. Михаилъ Семеновичъ — артистъ М. С. Щепкинъ.

Стр. 490. Докторъ И.—Павель Луличъ Пикупинъ (род. въ 1822 г.), адъюнктъ терапевтической клиники въ московскомъ университетѣ, въ 1855 г. онъ ѣздилъ за границу и двѣ недѣли прогостилъ у Герцена. (См. «Всемирный Вѣстникъ» 1905 г., № 1, статьи В. И. Батуринскаго о Герценѣ).

Вас. Александр. Кокоревъ (1817—1859), известный монополистъ-откупщикъ, вышедшій изъ простыхъ сдѣльцевъ, нажившій миллионы на откупахъ кабаковъ во время крымской войны.

Стр. 490—91. Чичеринъ пріѣхалъ въ Лондонъ не осенью 1857, а осенью 1858 г. (см. «Всемирн. Вѣстн.» 1905 г., № 2, стр. 43). Напечатанный въ «Колоколѣ» «Обвинительный актъ», какъ называетъ Герценъ (въ концѣ 491 стр. настоящаго тома) присланное ему въ послѣдствіи письмо Чичерина, помѣщенъ въ VI томѣ настоящаго изданія. Этотъ «обвинительный актъ» вызвалъ протестъ проживавшихъ тогда за границей русскихъ писателей: К. Д. Кавелина, проф. И. К. Бабста, И. С. Тургенева, П. В. Анненкова, А. И. Скребицкаго, И. Н. Тютчева и И. Маслова, пославшихъ свое коллективное заявленіе Чичерину (см. «Всемирн. Вѣстн.» 1905 г., № 3,

стр. 21—41, гдѣ рассмотрѣна полемика Герцена съ Чичеринымъ).

Стр. 492. Александръ Егор. Тихашевъ (1818—1893), съ 1856 г. былъ начальникомъ штаба корпуса жандармовъ и управляющимъ III отдѣленіемъ. Позднѣе (1868—1877) онъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Стр. 493. Владим. Серг. Филимоновъ (1787—1858), плодовитый, но теперь уже давно забытый писатель, авторъ юмористической поэмы-романа «Дурацкій колпакъ» (5 ч., Спб., 1838 г.). Онъ былъ друженъ съ Пушкинымъ, обезсмертившимъ его своимъ посланіемъ по поводу «Дурацкаго колпака».

Стр. 496. «Вазилемъ» и буквою В. здѣсь и на послѣдующихъ страницахъ названъ другъ Герцена, Бѣлинскаго и Грановскаго—Вас. Петр. Боткинъ.

«Жакъ» — романъ Жоржъ-Занда. а «Жакъ-фаталистъ» — романъ Дидро.

Стр. 497. Генрихъ-Теодоръ Ретшеръ (1803—1871), нѣмецкій гегелистъ-эстетикъ и критикъ, пытавшійся установить научныя основы драматическаго искусства.

Буквою Т. обозначенъ И. С. Тургеневъ.

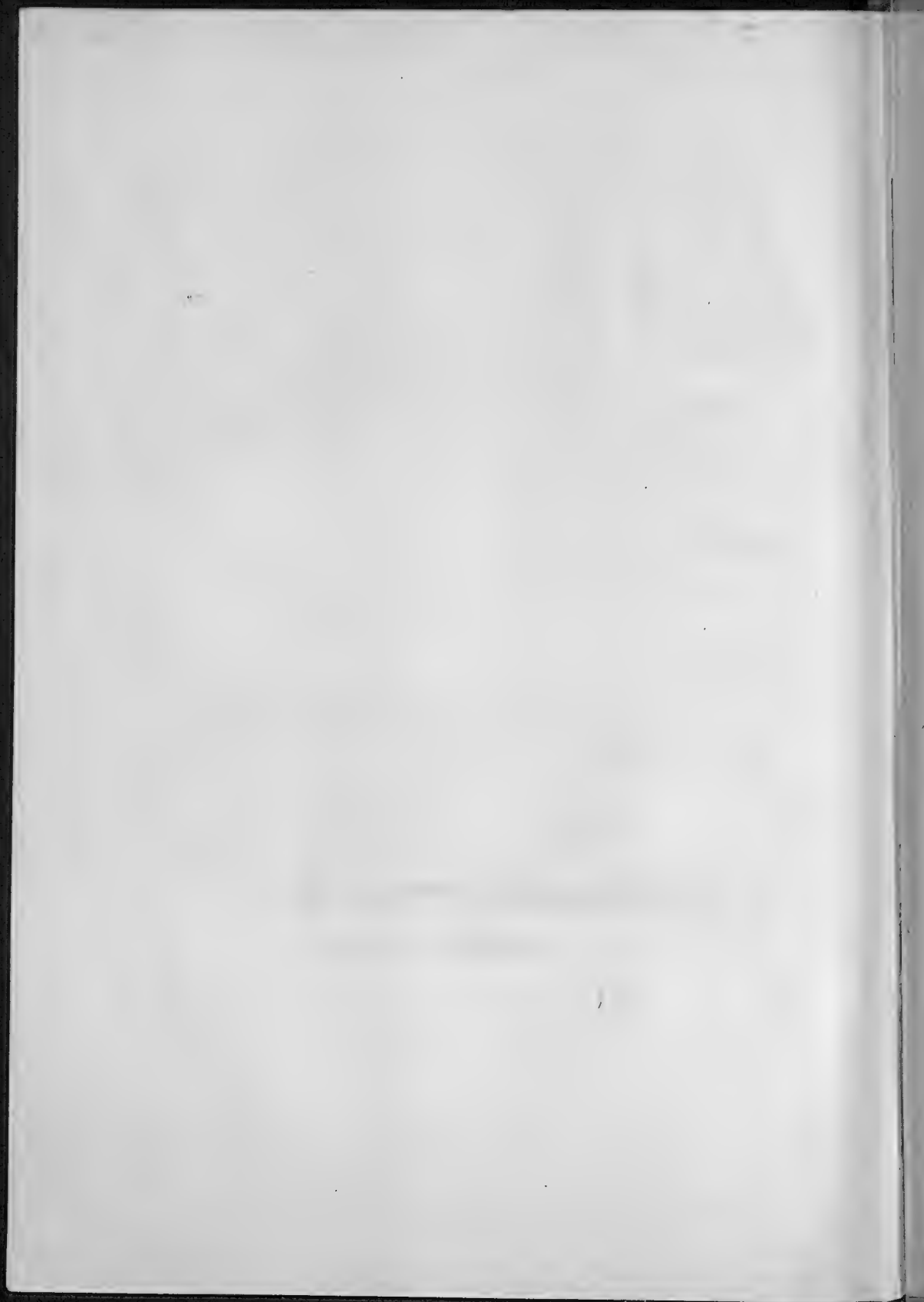
Карлъ-Августъ Варнгагенъ фонъ-Энзе (1785—1858), нѣмецкій писатель, оставившій рядъ замѣчательныхъ биографическихъ характеристикъ, писемъ и любопытный дневникъ.

Стр. 499. Буквами Г. и К., повидному, обозначены Грановскій и Кетчеръ.

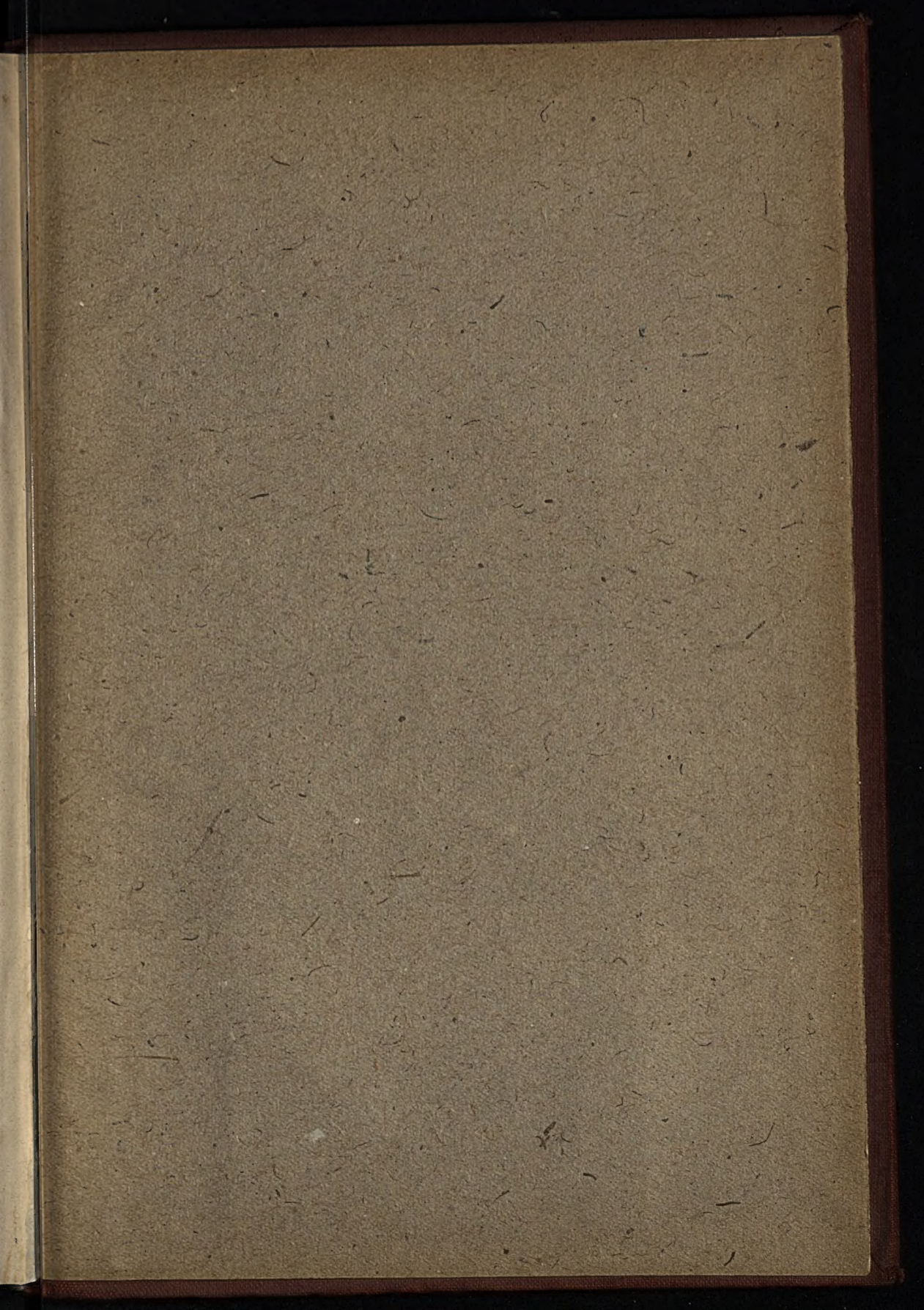
Стр. 501. Профессоръ богословія и философіи петербургской духовной академіи и Спб. университета, протоіерей Ѳеодоръ Ѳеодор. Сидонскій (1801—1873) считался въ свое время однимъ изъ ученѣйшихъ нашихъ теологовъ. Его книга «Введеніе въ науку философіи» (1833 г.) была признана «неблагонамѣренною», онъ за нее лишился каведры въ дух. академіи и лишь въ концѣ 60 годовъ сталъ профессоромъ въ Спб. университетѣ.

Стр. 502. Бертранъ Барреръ (1755—1841), франц. террористъ, членъ національнаго конвента и комитета общественнаго спасенія, въ которомъ принималъ такое энергичное участіе, что его прозвали «Анакреономъ гильотины».

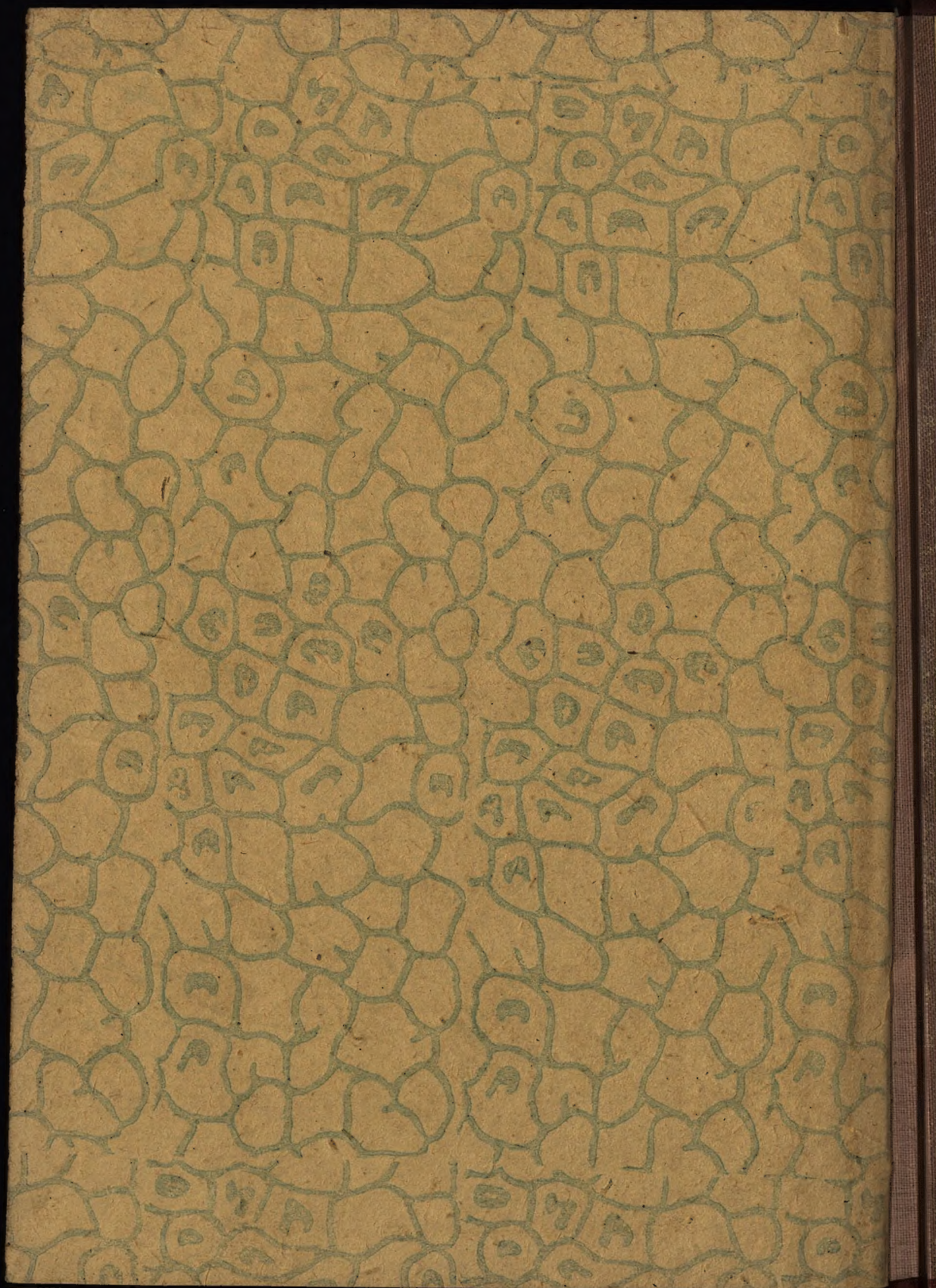


















1Рк'  
193

1905  
т. 2